This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Google

Это цифровая коиия книги, хранящейся для иотомков на библиотечных иолках, ирежде чем ее отсканировали сотрудники комиании Google в рамках ироекта, цель которого - сделать книги со всего мира достуиными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный достуи. Книга иереходит в свободный достуи, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав истек. Переход книги в свободный достуи в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, иерешедшие в свободный достуи, это наш ключ к ирошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все иометки, иримечания и другие заииси, существующие в оригинальном издании, как наиоминание о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использовапия

Комиания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы иеревести книги, иерешедшие в свободный достуи, в цифровой формат и сделать их широкодостуиными. Книги, иерешедшие в свободный достуи, иринадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, иоэтому, чтобы и в дальнейшем иредоставлять этот ресурс, мы иредириняли некоторые действия, иредотвращающие коммерческое исиользование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические заиросы.

Мы также иросим Вас о следующем.

- Не исиользуйте файлы в коммерческих целях.
  Мы разработали ирограмму Поиск книг Google для всех иользователей, иоэтому исиользуйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.

- Не отиравляйте автоматические заиросы.
  Не отиравляйте в систему Google автоматические заиросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного иеревода, оитического расиознавания символов или других областей, где достуи к большому количеству текста может оказаться иолезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем исиользовать материалы, иерешедшие в свободный достуи.

- Не удаляйте атрибуты Google.
  В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он иозволяет иользователям узнать об этом ироекте и иомогает им найти доиолнительные материалы ири иомощи ирограммы Поиск книг Google. Не удаляйте его.

- Делайте это законно.
  Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте ироверить законность своих действий, за которые Вы несете иолную ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный достуи в США, то ее на этом основании могут исиользовать читатели из других стран. Условия для иерехода книги в свободный достуи в разных странах различны, иоэтому нет единых иравил, иозволяющих оиределить, можно ли в оиределенном случае исиользовать оиределенную книгу. Не думайте, что если книга иоявилась в Поиске книг Google, то ее можно исиользовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным.

О программе Поиск кпиг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне достуиной и иолезной. Программа Поиск книг Google иомогает иользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый иоиск ио этой книге можно выиолнить на странице `http://books.google.com/`

STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES

КНЯЗЬ
Александръ Ивановичъ
УРУСОВЪ.

СТАТЬИ ЕГО о театрѣ, о литературѣ и объ искусствѣ.

ПИСЬМА ЕГО.

ВОСПОМИНАНІЯ О НЕМЪ: А. А. Андреевой, К. К. Арсеньева, К. Д. Бальмонта, Н. В. Баснина, П. Д. Боборыкина, В. Я. Брюсова, А. И. Введенскаго, А. Л. Волынскаго, О. Б. Гольдовскаго, Баронессы Е. И. Кангеръ, А. И. Кирпичникова, А. Ѳ. Кони, А. А. Плещеева, Е. А. Пушкина, Р. М. Хинъ, Т. Л. Щепкиной-Куперникъ.

ТОМЪ II и III.

МОСКВА
Типографія И. Н. Холчевъ и К°. Тверской бульваръ, домъ № 105.
1907.

Оглавленіе II тома.

Стран.

1. **Мнимая Саламбо.** (Новости и Бирж. Газета 17 окт. 1884 г.). 3
2. **По поводу постановки Маріи Стюартъ.** (Русск. Вѣдом. 1886 г. № 36). 10
3. **Письма о театрѣ I.** (Новости и Бирж. Газ. 29 нояб. 1891 г.) 15
4. **То-же II.** (Новости и Бирж. Газ. 20 дек. 1891 г.) 19
5. **Четыре мысли по поводу чествованія Пушкина.** (Бирж. Вѣд. 20 дек. 1898 г.). 28
6. **О Пушкинскомъ словарѣ.** 31
7. **Пушкинскій словарь** 33
8. **Второе представленіе „Чайки“.** (Курьеръ 1899 г. 3 янв. . . . 34
9. **Памяти В. И. Жуковскаго.** (Курьеръ 7 февраля 1899 г.). . . 39
10. **„Антигона“ Софокла въ Москвѣ.** (Міръ Искусства 1899 г.). . 42
11. **За букинистовъ.** (Новости Дня 24 марта 1900 г.). 48
12. **Интересны ли мы?** (Курьеръ.). 53
13. **Философская драма.** (Новости Дня 17 апрѣля 1900 г.). . . . 57
14. **Судейскіе протесты противъ „Воскресенія“.** (Новости Дня 1900 г.). 64
15. **Заблудившіеся шедевры.** (Новости Дня 1900 г. 5 іюня) . . . 70
16. **О памятникѣ Гоголю.** (Міръ Искусства 1900 г. №№ 9—10) . 73
17. **Недоразумѣніе.** (Новости Дня 1900 г. 13 іюня) 80

Оглавленіе III тома.

1. **Воспоминанія о князѣ А. И. Урусовѣ.** *Е. А. Пушкина* 89
2. **Князь А. И. Урусовъ.** *А. Кирпичникова* 117
3. **Мой братъ.** *Бар. Е. И. Каперъ* 128
4. **Письма къ сестрѣ.** *Кн. А. И. Урусова* 130
5. **Изъ письма къ издателямъ.** *Т. Щепкиной-Куперникъ* 160
6. **Письма къ Т. Щепкиной-Куперникъ.** *Кн. А. И. Урусова* . . . 167
7. **Письмо И. Тэна** 189
8. **Воспоминанія о кн. А. И. Урусовѣ.** *А. Кони.* 191
9. **Памяти князя А. И. Урусова.** *А. Плещеева* 217
10. **За обѣдомъ.** *П. Боборыкина* 223
11. **Воспоминанія о князѣ А. И. Урусовѣ.** *А. Введенскаго* 233
12. **Воспоминанія о князѣ А. И. Урусовѣ.** *К. Арсеньева* 237
13. **Воспоминанія о князѣ А. И. Урусовѣ.** *Н. Баснина* 240

Стран.

14. **Князь А. И. Урусовъ, какъ патронъ.** *О. Гольдовскаго* 243
15. **Память кн. А. И. Урусова.** *Р. М. Хинъ* 262
16. **Александръ Ивановичъ Урусовъ.** *А. Волынскаго* 276
17. **Изъ письма къ издателямъ.** *Валерія Брюсова* 288
18. **Князь А. И. Урусовъ.** *К. Д. Бальмонта.* 289
19. **Письма А. И. Урусова:**
    а) къ Л. Н. Позняковой 297
    б) къ Кн. И. А. Урусову. 299
    в) къ П. А. Стрепетовой 301
    г) къ М. Н. Муромцевой 302
    д) къ В. Д. Спасовичу 302
    е) къ А. Ѳ. Онѣгину 303
    ж) къ Д. В. Философову 308
20. **Письма А. И. Чехова** къ Кн. А. И. Урусову 312
21. **Письма кн. А. И. Урусова:**
    з) къ К. Д. Бальмонту 316
    і) къ Е. А. Бальмонтъ 328
    и) къ А. А. Андреевой 345
    к) къ Н. А. Никулиной 384
22. **Переводы Кн. А. И. Урусова изъ Ш. Боделэра** 386
    а) Изъ стихотвореній въ прозѣ 388
    б) Изъ „Цвѣтовъ Зла“ 392
23. **Молодой Урусовъ.** *П. Боборыкина* 395
24. **Кн. А. И. Урусовъ.** (Къ характеристикѣ литератора и человѣка). *А. Андреевой.* 405

Мнимая Саламбо.

На Большой Морской, въ помѣщеніи „Художественно-промышленнаго музея императорскаго общества поощренія художествъ“—или, короче, въ музеѣ Григоровича—на вывѣскѣ красными буквами написано: „Саламбо“. Каждому, кто знакомъ съ романомъ великаго писателя, интересно посмотрѣть, какъ исполнилъ свою задачу живописецъ? Неужели удалось ему воплотить въ художественномъ образѣ видѣнія Флобера?

Вмѣстѣ съ билетами, намъ за пятакъ предоставляется пріобрѣсти печатное „объясненіе картины“. Изъ него мы узнаемъ, что Саламбо есть „новѣйшая“ картина г. Жмурко. Что такое новѣйшая? Развѣ есть у г. Жмурко „новая“ картина, другая „наиновѣйшая?“. Не напоминаетъ-ли это слово, поставленное въ самомъ заголовкѣ, о зазываньяхъ газетныхъ рекламъ, о шведскихъ курткахъ, о папиросахъ „Слава“ и о „новѣйшихъ гуттаперчевыхъ“ плащахъ? Далѣе мы узнаемъ, что г. Жмурко воспитывался въ мюнхенской академіи. Ну и прекрасно, что воспитывался, хотя гордиться тутъ особенно нечѣмъ, ибо „Нѣмецкія Аѳины“ произвели на свѣтъ академическую школу, гдѣ, наряду съ немногими талантами, процвѣтали чисто-нѣмецкая риторика, банальность и позёрство. Далѣе: г. Жмурко занимался подъ „личнымъ“ руководствомъ (а то какое-же

*) „Новости“ и „Биржевая Газета“ 1884 г. № 287.

еще бываетъ руководство?) „извѣстнаго художника Ганса Маккарта, который открылъ въ своемъ ученикѣ „необыкновенный талантъ“. Потомъ, въ Римѣ, Жмурко „пріобрѣлъ славу первостепеннаго художника“ (когда и чѣмъ пріобрѣлъ—неизвѣстно). Итакъ, Маккартъ „извѣстный“, а г. Жмурко—„первостепенный“ художникъ. Нечего сказать: довольно-таки аляповатая реклама и г-ну Жмурко угрожаетъ участь бѣднаго пустынника въ извѣстной баснѣ Крылова: Пустынникъ и Медвѣдь. Пожелаемъ г-ну Жмурко другого медвѣдя.

Входимъ. Въ темной комнатѣ виднѣется картина, освѣщенная ламповымъ рефлекторомъ. Не лучше-ли бы эту штуку à la Торочешниковъ—бросить? Вѣдь искусственное освѣщеніе даетъ искусственные эффекты. Если колоритъ картины разсчитанъ на освѣщеніе желтыми лучами лампы, то едва-ли сохранитъ она свою цвѣтовую гамму при бѣломъ освѣщеніи дня. Злоупотребленіе рефлекторами въ контрастѣ съ темною комнатою создаетъ какія-то панорамы, но, въ то-же время, зарождаетъ сомнѣніе, что дѣло ведется не на чистоту, а съ маленькимъ подвохомъ.

Но вотъ и Саламбо: передъ нами красиво написанная нагая женщина; сидитъ она нѣсколько откинувшись назадъ и изогнувъ торсъ, на лицѣ, семитическаго типа, какое-то сладострастное выраженіе. Поза въ описаніи почему то названа „фантастическою“ (?); вокругъ одной руки обвита змѣя, на полу разбросаны аксессуары: ткани, драгоцѣнности; на второмъ планѣ голова старика (точно отрѣзанная), играющаго на цитрѣ и юноша съ флейтою. Второй планъ плохо набросанъ кое-какъ. Неважно выписаны и детали: надъ руками Саламбо „первостепенный“ художникъ, видимо, немного терялъ времени. Колоритъ тѣла, насколько можно судить при освѣщеніи рефлекторомъ, пріятный, сочный. Тѣло, вообще, написано красиво, но композиція картины не только плоха и мало осмыслена, но и совершенно фальшива. Это—„этюдъ“ женщины,

„женщина играющая со змѣею“, что угодно, но только не Саламбо.

Сцена, послужившая сюжетомъ картины г. Жмурко, заимствована изъ десятой главы „Саламбо“, оглавленной Le serpent. Вотъ отрывокъ этой главы, переведенный нами съ оригинала, насколько мы могли, тщательно. Замѣтимъ, для ясности, что Шахабаримъ — жрецъ Таниты (Астарты), Таанахъ—кормилица Саламбо, Пиѳонъ—змѣй, достигающій большихъ размѣровъ и почитавшійся божествомъ.

——

„И насталъ день, назначенный Шахабаримомъ, когда Саламбо должна была уѣхать.

„Около двѣнадцатаго часа, въ глубинѣ сикоморовой рощи она увидѣла слѣпого старца. Опираясь одною рукою о плечо шедшаго передъ нимъ ребенка, онъ въ другой рукѣ несъ родъ цитры изъ чернаго дерева. Евнухи, рабы, женщины были тщательно удалены изъ дому; никто не могъ знать—какое готовилось таинство.

„Таанахъ зажгла по угламъ покоя четыре треножника, полныхъ ладона и кардамома; затѣмъ, развернувъ большіе вавилонскіе ковры, она развѣсила ихъ на веревкахъ вокругъ всей комнаты: Саламбо не хотѣла, чтобы ее видѣли даже стѣны. Снаружи за дверью, на корточкахъ присѣлъ музыкантъ съ киннóромъ, а мальчикъ, стоя около него, прикладывалъ къ губамъ флейту изъ камыша. Уличный гамъ умолкалъ вдали. Фіолетовыя тѣни вытягивались передъ галлереями храмовъ; а на другой сторонѣ залива—подножія горъ, поля оливъ и желтые пустыри, волнами уходившіе въ безконечную даль—все уже сливалось въ голубоватомъ парѣ: не слышно было ни звука, въ воздухѣ царила невыразимая истома.

„Саламбо присѣла на ониксовой ступенькѣ водоема; она подняла широкіе рукава, завязала ихъ за плечами и приступила къ омовеніямъ, методически, по чину священнаго обряда.

„Наконецъ, Таанахъ принесла ей въ алебастровой фляжкѣ какую-то свернувшуюся жидкость; то была кровь чернаго пса, въ зимнюю ночь зарѣзаннаго безплодными женами среди развалинъ гробницы. Саламбо кровью натерла себѣ уши, пятки и большой палецъ правой руки, даже ноготь ея остался краснымъ, какъ бы отъ сока раздавленнаго плода.

„Взошла луна; тогда заиграли вмѣстѣ цитра и флейта.

„Саламбо сняла серьги, ожерелье, наручни, длинную бѣлую симарру; она расплела свою косу, распустила по плечамъ волосы и нѣсколько минутъ тихонько встряхивала ими, чтобы освѣжится. Музыка за дверью продолжалась: только три ноты, все однѣ и тѣ же, порывистыя, бѣшеныя; струны визжали, флейта хрипѣла. Таанахъ мѣрно ударяла въ ладоши; Саламбо, раскачиваясь всѣмъ тѣломъ, нараспѣвъ читала молитвы, и одежды ея, одна за другою— падали.

„Дрогнулъ тяжелый коверъ и надъ веревкою, на которой онъ былъ развѣшенъ, появилась голова Пиѳона. Онъ медленно спускался внизъ, подобно каплѣ воды, стекающей по стѣнѣ, проползъ между разбросанными тканями, потомъ, упершись хвостомъ о земь, онъ поднялся, выпрямился и глаза его, сверкавшіе ярче карбункуловъ, словно вонзились въ Саламбо.

„Страхъ передъ холоднымъ прикосновеніемъ или, быть можетъ, стыдливость заставили ее сначала колебаться. Но она вспомнила о приказаніяхъ Шахабарима—и подошла. Пиѳонъ наклонился и, положивъ ей на затылокъ средину своего тѣла, повисъ, какъ разомкнутое ожерелье, концы котораго влачатся по землѣ. Саламбо обернула его вокругъ своихъ чреслъ, подъ плечами, между колѣнъ; взявъ его за челюсть, она приблизила маленькую трехугольную пасть къ своимъ зубамъ и, полузакрывъ глаза, склонилась навзничь, вся озаренная лунными лучами. Бѣлый свѣтъ, казалось, облекалъ ея серебрянымъ туманомъ, мокрые

отпечатки шаговъ блестѣли на плитахъ пола; трепетали звѣзды, отражаясь въ глубинѣ водоема; онъ сжималъ ее черными кольцами своего тѣла, на которомъ, какъ у тигра, пестрѣли золотыя пятна. Саламбо задыхалась подъ этою тяжестью, колѣни ея подгибались, она чувствовала, что умираетъ; концомъ хвоста онъ билъ ее тихонько по бедру; потомъ, когда замолкла музыка, онъ отпалъ".

Флобера слѣдовало-бы переводить, какъ переводятъ классиковъ, т..е. какъ можно ближе къ тексту и, въ тоже время, къ тону подлинника. Переводъ не можетъ передать всѣхъ особенностей языка Флобера, который онъ неустанно стремился довести до художественнаго совершенства, стараясь соединить: архитектуру изящныхъ построеній цѣлаго, отдѣльныхъ главъ и каждаго абзаца, съ рельефностью періодовъ, живописными эпитетами, ритмомъ и музыкальностью фразы. Всѣ эти качества соединяются съ необыкновенною сжатостью—какъ результатомъ упорной работы надъ слогомъ и сосредоточенія, въ рамкахъ одного предложенія, множества конкретныхъ признаковъ; потому у Флобера нѣтъ лишнихъ словъ, всякая подробность мотивирована и каждое лыко—въ строку. Этимъ языкъ его рѣзко отличается отъ вялаго, гладкаго языка огромнаго большинства французскихъ романистовъ, полагающихъ, что изящество стиля заключается въ преобладаніи отвлеченностей и установленныхъ однажды на всегда образцовыхъ оборотовъ. Зато языкъ Флобера имѣетъ и свои неудобства: Флоберъ положительно не годится для невнимательнаго читателя, ибо въ немъ нѣтъ, такъ сказать, вспомогательныхъ переходовъ въ изложеніи. Сжатость языка требуетъ нѣкотораго напряженія вниманія, а такъ какъ романы читаются для отдыха и умственное напряженіе, вообще, для многихъ—вещь непріятная и непривычная, то Флоберъ многимъ кажется „скучнымъ". Трудно понять, какимъ образомъ можетъ быть „скученъ" авторъ, немилосердно истреблявшій всякія длинноты и писавшій такимъ образнымъ

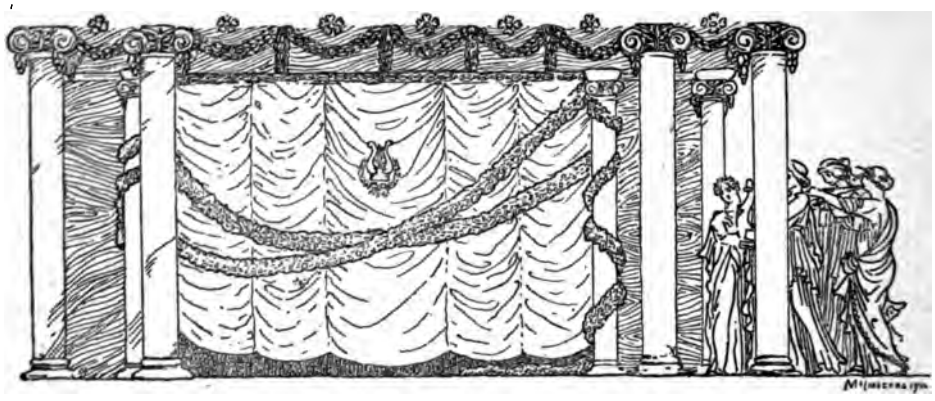
языкомъ. Еще необъяснимѣе, какъ можетъ быть „скученъ“ писатель, обладавшій такою фантазіею, что созданныя имъ лица, даже второстепенныя—живутъ, очерченныя въ нѣсколькихъ строкахъ... Но чему-же, собственно тутъ удивляться? Читателю, поглощенному цѣлый день заботами и трудами—Флоберъ не дастъ пріятнаго отдыха. Горечь и смѣлость его пессимистическаго міросозерцанія должны шокировать многихъ. Пуристы, эстетики, моралисты, педагоги—тоже недовольны: мало-де заботился объ очищеніи нравовъ. Что-же дѣлать! Всѣхъ не переспоришь, да и убѣждать ихъ совсѣмъ не интересно. Но одинъ фактъ стоитъ отмѣтить. Съ каждымъ годомъ, на нашихъ глазахъ, пониманіе Флобера растетъ и медленно распространяется. Къ нему идутъ натуры, не лишенныя художественной воспріимчивости—и онъ покоряетъ ихъ. Флоберъ въ истинномъ смыслѣ можетъ назваться въ литературѣ учителемъ,—слово, которымъ такъ часто злоупотребляли. Но въ то-же время растетъ и вражда къ Флоберу со стороны „идейной“, тенденціозной критики и вскормленной ею беллетристики—этого худосочнаго дѣтища, котораго такъ часто и такъ несправедливо сѣкутъ его-же пестуны и отцы.

Но вернемся къ г. Жмурко и его мнимой Саламбо. Читалъ-ли г. Жмурко этотъ замѣчательный литературный памятникъ, можно сказать—единственный романъ, въ которомъ съ эпическою мощью, глубокимъ знаніемъ и необычайною силою фантазіи возсозданъ древній міръ? Если бы авторъ „объясненія“ читалъ Флобера (во второмъ изданіи 1873 г. слишкомъ 30 печатныхъ листовъ) то не могъ-бы романа назвать „повѣстью“, да еще подъ заглавіемъ „Дочь Гамилькара“. Такой „повѣсти“ Флоберъ не писалъ, а подъ этимъ заглавіемъ, кажется, имѣется плохой нѣмецкій переводъ „Саламбо“.

Сладострастное выраженіе лица на картинѣ едва-ли умѣстно. Чистая, цѣломудренная дѣва, воспитанная въ мистическомъ поклоненіи Танитѣ (лунѣ, Астартѣ)—Саламбо у г. Жмурко кажется гетерой.

Въ романѣ даже стѣны не могли видѣть ея наготы, а тутъ г. Жмурко помѣстилъ двѣ мужскія фигуры, хотя въ „описаніи“ почему-то сказано, что двѣ головы принадлежатъ старой рабынѣ Таанахъ и жрецу Шахабариму, „приносящимъ жертву“. Ни о какой жертвѣ въ романѣ здѣсь нѣтъ и помину. Далѣе, въ описаніи сказано: „Саламбо, какъ жрица таинственной (?) богини Таниты“. Саламбо не была жрицею („Ея отецъ не захотѣлъ, чтобы она вступила въ коллегію жрицъ“,— говоритъ авторъ). (2-éme ed., 1863 p. 70). Сцена должна-бы выражать контрастъ между чувственностью образа и строго-цѣломудреннымъ характеромъ античнаго религіознаго обряда. Прелесть описанія этой сцены у Флобера и заключается въ такомъ поэтическомъ, едва уловимомъ контрастѣ. Но, повторяемъ, ничего этого въ картинѣ г. Жмурко не имѣется, и къ чему тутъ приплетены Флоберъ и Саламбо—неизвѣстно.

Въ заключеніе замѣтимъ, что хотя сцена съ змѣею въ Саламбо довольно часто вдохновляла живописцевъ (я знаю, по фотографіи картину Perrir на ту-же тему), но нельзя указать на картину, которая хотя сколько-нибудь достойнымъ образомъ иллюстрировала поэму Флобера. Не потому-ли, что живописность, жизненная сила и рельефность образовъ, созданныхъ писателемъ, кажется намъ ярче въ нашемъ воображеніи „in mind's eye“, какъ говоритъ Гамлетъ, чѣмъ въ дѣйствительности, на полотнѣ?



ПО ПОВОДУ ПОСТАНОВКИ „МАРІИ СТЮАРТЪ“ *).

(Театральныя замѣтки).

Постановка „Маріи Стюартъ“ на сценѣ Малаго театра въ Москвѣ должна представлять весьма значительныя трудности. Сезонъ 1885—86 гг. былъ утомителенъ изобиліемъ эфемерныхъ произведеній, лишенъ всякаго литературнаго интереса, а драма Шиллера, написанная въ 1800 г., представляется, во всякомъ случаѣ, крупнымъ литературнымъ произведеніемъ. Новѣйшій репертуаръ пріучилъ публику къ поверхностному изображенію дѣйствительности, къ самой банальной, нехудожественной прозѣ. „Марія Стюартъ“ переноситъ насъ въ Англію шестнадцатаго вѣка, и лирическіе стихи, которыми написана драма, не позволяютъ произвольно замѣнять текстъ своими словами. Наконецъ, благодаря господству передѣлочнаго и не литературнаго репертуара, публика разучилась слушать: она только смотритъ и требуетъ прежде всего дѣйствія, т.-е. быстрой смѣны впечатлѣній. Вотъ почему постановка „Маріи Стюартъ“ составляетъ положительную заслугу даровитой бенефиціантки, и достойный уваженія трудъ нашей московской труппы. Вѣдь какъ удобно было бы, безъ всякаго труда, сорвать шумиху дешевыхъ рукоплесканій на любой бездѣлкѣ!

---

*) „Русскія Вѣдомости“ 1886. № 36.

Интересъ, внушаемый каждому любителю театра возобновленіемъ „Маріи Стюартъ“, долженъ естественно внушить желаніе—хотя малымъ-чѣмъ помочь дѣлу, лепту, что-ли, принести. Вотъ почему, быть можетъ, покажется нелишеннымъ значенія указать здѣсь, во-первыхъ, на странную ошибку въ текстѣ русскаго перевода,—ошибку, не замѣченную, кажется, никѣмъ въ теченіе болѣе 20 лѣтъ и даже основавшую довольно забавную театральную традицію, и во-вторыхъ,—на купюры шиллеровскаго текста, отчасти обязательныя, отчасти произвольныя. И тѣ и другія очень интересны для характеристики нашего времени.

Въ репертуарѣ казенныхъ театровъ въ Москвѣ и Петербургѣ нѣтъ „Маріи Стюартъ“, но въ провинціи и на частныхъ сценахъ трагедія эта дается съ успѣхомъ и дѣлаетъ сборы. Главную роль играли: М. П. Ермолова, П. А. Стрепетова, Е. Н. Горева и другія. Пьеса идетъ въ переводѣ А. А. Шишкова, помѣщенномъ въ изданіи Н. В. Гербеля „Собраніе сочиненій Шиллера въ переводахъ русскихъ писателей“. У меня подъ рукою два изданія этой книги,—третье 1864 года и шестое 1884 года. „Русская литература,—говоритъ г. Гербель въ своемъ предисловіи (1864), — не имѣетъ другого перевода этой трагедіи, кромѣ предлагаемаго здѣсь, и принадлежащаго перу даровитаго и въ высшей степени добросовѣстнаго переводчика, какимъ былъ покойный Шишковъ“. Въ ремаркѣ къ шестому выходу, 5-го дѣйствія сказано буквально слѣдующее:

„Прежніе, Марія. Она одѣта въ бѣломъ праздничномъ платьѣ, на шеѣ у ней Agnus Dei, у пояса розовый вѣнокъ, въ рукѣ распятіе, на головѣ діадема. Длинное, черное покрывало закинуто назадъ. При появленіи ея всѣ присутствующіе раздаются на обѣ стороны съ выраженіемъ сильной горести. Мельвиль невольнымъ движеніемъ падаетъ на колѣна“.

Русскія актрисы, какъ извѣстно, тщательно сообража-

ются съ текстомъ этой ремарки: у пояса Маріи красуется маленькій вѣнокъ изъ бѣлыхъ розъ. При первомъ знакомствѣ моемъ съ русскимъ переводомъ трагедіи (въ концѣ 1885 г.) „розовый вѣнокъ“ бросился мнѣ въ глаза: что это за розовый вѣнокъ? Откуда онъ, зачѣмъ? Если онъ символизируетъ мученическій вѣнецъ, то съ съ какой стати онъ болтается у пояса? Что за мѣсто для вѣнка? Вѣнокъ носятъ на головѣ или въ рукахъ, да и странно какъ-то: мученица сама несетъ вѣнокъ,—небесную награду! Еслибы это было въ замыслѣ автора, то, конечно, на такую черту нашлось бы указаніе въ текстѣ. Въ немъ сказано: „опять на мнѣ я чувствую вѣнецъ“, но здѣсь рѣчь идетъ о царскомъ вѣнцѣ, а не о вѣнкѣ. Этотъ стихъ въ примѣненіи къ вѣнку, висящему у бедра, представлялся бы комическимъ. Наконецъ, — Марія Стюартъ обезглавлена 18-го февраля 1587 г., а въ февралѣ въ Англіи розы не цвѣтутъ. Не стóитъ и говорить, конечно, что бѣлыя розы въ данномъ случаѣ не могли имѣть никакого отношенія къ гербу дома Іоркъ, такъ какъ распря Ланкастеровъ и Іорковъ закончилась слишкомъ зá сто лѣтъ до смерти Маріи Стюартъ сраженіемъ при Босвортѣ (1485 г.) и бракомъ Генриха VII съ Елизаветою, происходившею изъ дома Іоркъ.

Для разъясненія, въ чемъ ошибка русскаго переводчика обратимся къ нѣмецкому оригиналу. Въ соотвѣтствующей ремаркѣ мы читаемъ: Am Gürtel trägt sie einen Rosenkranz. Буквально переводъ вѣренъ: Rosen—розы, kranz—вѣнокъ, но слово Rosenkranz имѣетъ два смысла (см. словари Макарова и Павловскаго). 1) Розовый вѣнокъ, вѣнокъ изъ розъ. 2) Чётки. У Павловскаго: bei den Katholiken—Paternoster чётки. Rosenkranzförmig—чётковидный. Rosenkranz—Gefässe—чётковидные сосуды; ботаническій терминъ. (Павловскій, изд. 1856. II, 242).

Эти указанія подтвердили, что Rosenkranz должно быть тоже самое, что французское rosaire, хотя у Павловскаго невѣрно указаніе на Paternoster. У Литрэ (Dict. de la

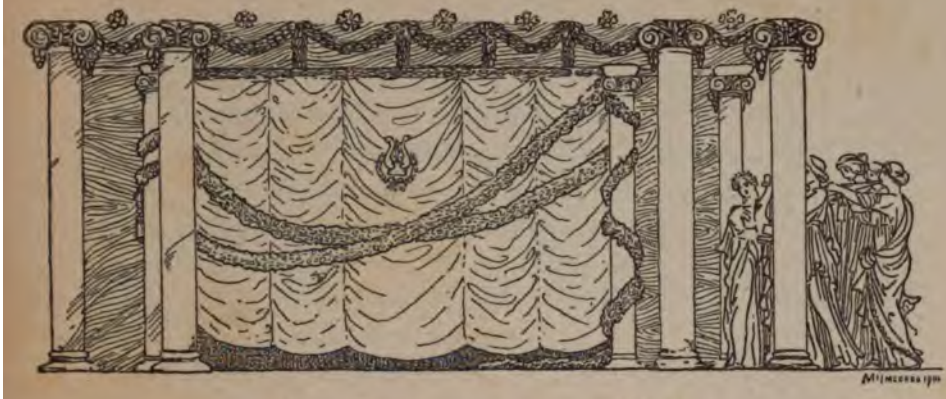
langue française, 1863. I p. 556; II p. 1759) объяснено, что существуетъ два рода четокъ: 1) Chapelet, состоящій изъ 50-ти бусъ или зеренъ, соотвѣтствующихъ пяти десяткамъ Ave (молитвы, обращенныя къ Дѣвѣ Маріи) и 2) rosaire, который состоитъ изъ 150 бусъ, соотвѣтствующихъ пятнадцати десяткамъ Ave. Послѣ каждыхъ десяти бусъ, приходится одна крупная: дойдя до нея читаютъ „Отче нашъ". Rosaire установленъ въ честь Дѣвы Маріи св. Доминикомъ въ XII вѣкѣ. Зерна или бусы rosaire называются розами, почему—у Литрэ не объяснено, быть можетъ названіе это имѣетъ отношеніе къ мистическимъ славленіямъ Магдалины съ розою. Извѣстно, что съ извѣстнымъ числомъ прочитанныхъ молитвъ у католиковъ связаны индульгенціи. Предлагаемая мною поправка совершенно согласна съ духомъ пьесы.

Вся трагедія Шиллера проникнута католическимъ лиризмомъ: въ особенности въ роли Мортимера и Маріи. Въ послѣднемъ дѣйствіи поэтъ усиливаетъ мистическій ореолъ, которымъ окружилъ шотландскую королеву. Религія здѣсь служитъ примиряющимъ мотивомъ. Вотъ почему знаменита сцена, гдѣ Мельвиль является священникомъ, совершающимъ таинство покаянія и причащенія. Шиллеръ потому тщательно отмѣтилъ въ ремаркѣ, что Марія идетъ на казнь демонстративно, облеченная множествомъ католическихъ символовъ: на шеѣ agnus, у пояса rosaire, въ рукахъ распятіе. Затѣмъ Мельвиль обнаруживаетъ свою тонзуру и совершаетъ таинство. Всѣ эти великолѣпныя сцены обдуманы авторомъ до мелкихъ подробностей и всѣ эти подробности сливаются въ одно глубокое религіозное положеніе.

И вотъ, большія четки, rosaire у пояса, четки въ 150 крупныхъ зеренъ, независимо отъ четокъ въ рукахъ,— вотъ настоящій смыслъ ремарки Шиллера, неправильно переведенной А. А. Шишковымъ и успѣвшей создать забавную традицію недоразумѣній на русской сценѣ.

На нѣмецкой сценѣ никому и въ голову не приходило

понимать слово Rosenkranz въ смыслѣ вѣнка. Знаменитый трагикъ Лудвигъ Барнай, которому я сообщилъ объ этой подробности русской постановки „Маріи Стюартъ“, сначала выразилъ крайнее недоумѣніе, а потомъ разсмѣялся: такъ чудно показалось ему такое неожиданное нововведеніе. Менѣе комичнымъ представляются купюры пьесы. Но о нихъ въ другой разъ.



Письма о театрѣ *).

I.

Москва, 22-го ноября.

Пишу вамъ подъ непосредственнымъ впечатлѣніемъ „Норы“ Ибсена, которую я смотрѣлъ сегодня въ театрѣ Корша, на второмъ ея представленіи. Въ первый разъ она шла на дняхъ, въ бенефисъ г-жи Потоцкой, за которой и слѣдуетъ признать всю честь почина въ этомъ дѣлѣ. „Нору“, какъ извѣстно, играли въ Петербургѣ, въ томъже переводѣ П.И. Вейнберга, нѣсколько лѣтъ тому назадъ— и, несмотря на то, что заглавную роль играла М. Г. Савина, пьеса успѣха не имѣла. Затѣмъ драма геніальнаго норвежскаго драматурга исчезла изъ репертуара, а другія его пьесы, глубокая поэзія которыхъ оцѣнена всею Европою—у насъ не исполняются. „Призраки“,—это великолѣпное произведеніе, полное потрясающаго драматизма,— очутилось подъ спудомъ, а „Хедда Габлеръ“, „Дикая Утка“, „Эллида“ (Fruen fra have) и др. все еще не удостоились вниманія нашихъ артистовъ; отчего-бы,— спрашиваю,— г-жѣ N. не взять на свой бенефисъ „Эллиду“?—Ахъ, нѣтъ. Она хочетъ играть положительный типъ, а у Ибсена— „отрицательные типы“. Вотъ, какъ на современномъ театральномъ жаргонѣ въ Москвѣ осуждается Ибсенъ. Впрочемъ, г-жа Ѳедотова въ свой бенефисъ ставитъ „Сѣверную войну“, одну изъ пьесъ первой манеры Ибсена (1858 года).

*) «Новости» и «Биржевая Газета» 24 ноября 1891 г.

Г-жа Потоцкая, молодая актриса на роли ingènues, не побоялась „отрицательнаго типа“ и прекрасно олицетворила маленькую Нору, въ дѣтской душѣ которой таятся трагическія силы истинной героини.

Она была изящна, трогательна и драматична, но чувствовалось мало того вдохновенія, которое, вѣроятно, подавлено было закулисными разсужденіями и осужденіями. Трудную сцену „Тарантеллы“ въ 3-мъ актѣ—этотъ камень преткновенія русскихъ исполнительницъ—г-жа Потоцкая исполнила граціозно. Сцена съ дѣтьми въ 1-мъ актѣ была сыграна съ очаровательною натуральностью, а превосходная сцена въ сумеркахъ съ д-ромъ Ранкъ—съ положительнымъ талантомъ. Мнѣ казалось, что въ концѣ второго и въ третьемъ актѣ не чувствуется того настроенія, того дыханія смерти, которымъ проникнута пьеса и что, въ особенности, въ третьемъ актѣ игра г-жи Потоцкой недостаточно выдержана.

Когда Нора, въ заключительной сценѣ, усаживаясь въ глубину дивава (точно для пріятной causerie, поуютнѣе), говоритъ: „Намъ нужно еще много другъ съ другомъ поговорить“, актриса какъ-будто нарушила трагическій характеръ этой минуты. Тонъ вышелъ слишкомъ легкій, улыбка совсѣмъ подорвала иллюзію. Казалось, что произойдетъ одно изъ тѣхъ опостылыхъ объясненій о мнимыхъ нервозностяхъ между мужемъ и женою, которыми такъ обильно уснащены комедіи новѣйшаго репертуара. Между тѣмъ, это послѣднее объясненіе Норы—ужасно. Кризисъ, происшедшій въ ея суровой скандинавской душѣ, такъ страшенъ, что она покидаетъ навсегда и мужа, и дѣтей. Тутъ ужъ не до улыбокъ и не до causerie на кушеткѣ.

Отмѣтимъ еще, что послѣднюю сцену лучше было-бы играть въ простомъ черномъ платьѣ.

Вообще, если г-жа Потоцкая скажетъ себѣ, что Нора—трагедія, обреченная въ маскарадный костюмъ современной комедіи нравовъ, то въ ея исполненіи скажется сильнѣе тотъ „холодокъ“, которымъ вѣетъ отъ жестокаго генія Ибсена.

Въ этомъ настроеніи и заключается тайна того, что можно назвать ибсеновскимъ стилемъ.

Адвоката Торвальда Гельмера (почему-то переименованнаго въ „Роберта“) игралъ г. Людвиговъ. Артистъ этотъ, кажется, польскаго происхожденія, но говоритъ безъ малѣйшаго акцента, онъ пользуется у Корша большимъ успѣхомъ. Онъ, преимущественно, игралъ фатовъ, бонвивановъ, кутилъ. У него пріятный голосъ, пріятная наружность, хорошіе манеры. Роль свою въ „Норѣ“ онъ, по-моему, сыгралъ хорошо, хотя въ гримѣ его не было ничего норвежскаго. Онъ немножко переигрывалъ въ смыслѣ комическомъ, но съ тактомъ, и потому приходится серьезно считаться съ его концепціею роли. Дѣло-то въ томъ, что Гельмеръ нисколько не смѣшенъ. Онъ совершенно порядочный человѣкъ, отличный мужъ и отецъ. Но его формальная честность пасуетъ передъ доблестью героической, неистовой души ребенка Норы, и въ этомъ конфликтѣ вся трагедія. Замѣтимъ еще, что сцена съ письмомъ, къ которому приложенъ вексель—была скомкана. Вексель этотъ имѣетъ очень важное значеніе въ пьесѣ; онъ долженъ быть яснѣе показанъ публикѣ и долженъ болѣе интенсивно сосредоточивать на себѣ вниманіе актера.

Если-бы передъ считкою сказали артистамъ: „Господа, вы будете имѣть честь играть впервые въ Москвѣ драму одного изъ величайшихъ въ мірѣ драматурговъ. Проникнитесь-же суровою поэзіею Ибсена, всмотритесь въ глубину этихъ на первый взглядъ фамильярно-веселыхъ до тривіальности естественныхъ сценъ: вы увидите, что въ нихъ невидимо присутствуетъ смерть. Докторъ Ранкъ знаетъ, что смерть его ожидаетъ, и прощается съ уютной гостинной Норы, съ женщиною, которую онъ любитъ—безъ фразъ, шутливо, ласково... Нора должна лишить себя жизни, и Крогстадъ это понимаетъ: вопросъ этотъ обсуждается дѣловитымъ тономъ, а маскарадный костюмъ тутъ-же лежитъ на столѣ. Всмотритесь, господа въ эти контрасты. Подобныхъ вы не найдете нигдѣ, развѣ у великаго родоначаль-

ника Шекспира". Но такая рѣчь врядъ-ли пришлась бы по вкусу артистамъ, привыкшимъ къ веселому и легкому жанру театра Корша. „Еще, чего добраго, публику отвадишь... У насъ публика любитъ, что-бы посмѣшнѣе, а тутъ смерть, да смерть. Ну ее совсѣмъ эту Норвегію: и безъ нея тошно".

Кристину Линденъ недурно играла симпатичная г-жа Журавлева. Крогстада, почему-то переименованнаго въ Гюнтера и изъ частныхъ повѣренныхъ (sachwalter) — въ прокуроры (!), отлично изобразилъ г. Яковлевъ. Трезвыя манеры и дѣловой тонъ оказались совершенно вѣрными. Я не совсѣмъ согласенъ съ гримомъ г. Свѣтлова въ роли доктора Ранка. Докторъ вышелъ какъ-то старообразенъ и крайне невзраченъ. Этого въ роли я вовсе не вижу. Г. Свѣтловъ загримированъ былъ чахоточнымъ, а не табетикомъ, какъ-бы слѣдовало по пьесѣ. Ни въ походкѣ его, ни въ осанкѣ ничто не обличало болѣзни спинного мозга. Но, несмотря на это, г. Свѣтловъ все-таки былъ интересенъ и производилъ впечатлѣніе — роль взяла свое. Не слѣдовало-ли Ранка играть моложе и красивѣй, сохранивъ за нимъ какія-нибудь національныя отличія въ наружности и фигурѣ?

Относительно постановки замѣчу, что, вмѣсто „кафельной печки", указанной въ ремаркѣ автора, у Корша былъ каминъ, вмѣсто „гравюръ на стѣнахъ"—картина. Вообще, декорація и обстановка были банальны и нисколько не указывали на ту особую атмосферу, въ которой живутъ персонажи драмы. Тоже слѣдуетъ замѣтить и о костюмахъ, въ которыхъ, конечно, не могло быть ничего спеціально-норвежскаго, но гдѣ внимательное отношеніе къ деталямъ, можетъ быть, посовѣтовало-бы петербургскую шинель à la спустя рукава съ бобровымъ воротникомъ и пелеринкой, или лисью ротонду замѣнить мѣховымъ пальто и кофтой.

Въ „Норѣ", къ сожалѣнію, сдѣлано много пропусковъ и помарокъ.

Московскіе рецензенты пьесы, кажется, не одобрили. Я прочелъ одинъ такой отзывъ: авторъ находитъ драму

неправдоподобной, дѣланной, кризиса въ „Норѣ“ онъ не видитъ и, вообще, отдаетъ предпочтеніе г. Невѣжину.

Замѣчательно, что вмѣстѣ съ упадкомъ вкуса необыкновенно развилась, даже въ мелкой прессѣ, удивительная бранчивость и требовательность. Бранить, карать и порицать, какъ извѣстно, и легче, и выгоднѣе, чѣмъ указывать на хорошее или чувствовать прекрасное. Требовательность критики всегда можетъ сойти за высшее развитіе вкуса, тогда какъ съ похвалами-то еще, того и гляди, попадешь въ просакъ.

Въ ложѣ г. Корша на второмъ представленіи „Норы“ присутствовала г-жа Элеонора Дузе. Говорятъ, что, досмотрѣвъ пьесу до конца, знаменитая актриса (въ репертуаръ которой также входитъ „Нора“) сказала, что нигдѣ въ Европѣ она не видѣла болѣе правильнаго пониманія Норы. Если таковъ былъ отзывъ величайшей драматической актрисы нашихъ дней, то, откинувъ даже изъ него нѣкоторую долю международной, такъ сказать, любезности, все-же остается довольно, чтобы удовлетворить самое взыскательное артистическое самолюбіе.

Въ заключеніе два слова о главномъ событіи сезона, вернулась Дузе—и снова воскресила волшебные образы несравненныхъ твореній... Въ публикѣ, въ молодежи восторгъ, вызываемый ею, выражается такъ страстно, что, кажется, подобныхъ вызововъ, подобныхъ криковъ восторга не приходится слышать другимъ артистамъ. Но публики мало. Еще на „Дамѣ съ камеліями“ театръ былъ полонъ, но на „Ромео и Юліѣ“, гдѣ Дузе создаетъ типъ такой простой, цѣломудренной и страстной натуры—ложи были на половину пусты. Уѣдетъ Дузе—скоро-ли Москва увидитъ подобную актрису?

I.

Москва, 15 декабря *).

Двукратный пріѣздъ г-жи Элеоноры Дузе въ Москву, весною и зимою 1891 г., составляетъ безспорно самое ин-

*). «Новости» и «Биржевая Газета» 20 декабря 1891.

тересное, самое выдающееся явленіе театральнаго сезона. Среди всеобщихъ жалобъ на оскудѣніе репертуара и талантовъ—вдругъ появляется новый, совершенно новый талантъ, невиданный нами доселѣ—и появляется какъ разъ во время. Надоѣли намъ не только устарѣлая мелодраматичность, надоѣла еще больше новѣйшая натуральность, по правиламъ которой актеръ только и дѣлаетъ, что играетъ самого себя, „нутромъ“ играетъ. Сбиваемые съ толку критикой, пичкаемые изъ году въ годъ драматической самодѣльщиной съ „душкомъ“ идейности, наши артисты стали, видимо, хирѣть, застывать и клониться къ упадку. Литературные вкусы понизились. Скучно стало.

И вдругъ предшествуемая отголосками симпатій Петербурга пріѣзжаетъ въ Москву г-жа Дузе. Передъ нами новая актриса: смѣлая, но изящная натуралистка, она не выступаетъ въ классическихъ трагедіяхъ: вѣдь древніе боги умерли! Она не играетъ романтическихъ мелодрамъ съ ихъ приподнятымъ тономъ, позировкой и напыщенностью: вѣдь и романтизмъ умеръ! Ея репертуаръ—Шекспиръ, величайшій изъ реалистовъ, и французская, въ сущности, реалистическая новая драма: Дюма, Сарду, Золя (въ Италіи она съ большимъ успѣхомъ играла „Терезу Ракенъ“) — но ее тянетъ къ новѣйшимъ вѣяніямъ драматической поэзіи—къ могучему и мрачному Ибсену. Ей даже симпатиченъ Метерлинкъ. Одаренная отъ природы удивительною чуткостью, необыкновенно-выразительною мимикою и такимъ голосомъ, въ которомъ звучатъ и нѣжныя ноты, и рѣзкіе возгласы бѣшенства, г-жа Дузе обладаетъ еще рѣдкимъ даромъ поэтическаго вдохновенія: ея созданія проникнуты поэзіей и потому являются выдержанными въ одномъ стилѣ. Они не дробятся на части, не смотря на детальность разработки. Вотъ эту послѣднюю черту — детальность, необыкновенно обдуманную, можно замѣтить, если посмотрѣть г-жу Дузе нѣсколько разъ въ одной и той же роли. Темпераментъ ея, до болѣзненности чувствительный, какъ будто отражается на оттѣнкахъ исполненія,—но детали и очертанія

роли всегда строго выдержаны отъ начала до конца. Чѣмъ чаще вы смотрите роль, тѣмъ больше выступаетъ деталей. Конечно, все это довольно трудно выразить словами. Это нужно видѣть и видѣть, конечно, въ такомъ настроеніи, когда человѣкъ сосредоточенъ и воспріимчивъ къ драматической иллюзіи. Отъ такой игры, натуральной, но художественной, мы совсѣмъ отвыкли, да и репертуаръ пересталъ давать русской актрисѣ сложныя и трудныя задачи, какъ роли Клотильды или Норы. И странное дѣло: иногда въ игрѣ актрисы-венеціанки звучатъ такія ноты,—простыя и сердечныя, что минутами она напоминаетъ русскіе таланты Стрепетовой и Заньковецкой.

Во второй пріѣздъ свой г-жа Дузе сыграла въ Москвѣ слѣдующія 7 ролей, которыя я располагаю не въ хронологическомъ порядкѣ, а по степени ихъ успѣшности въ матеріальномъ смыслѣ, то есть по цифрамъ сбора: 1) Маргарита Готье („Дама съ камеліями“), 2) Фру-фру, 3) Клеопатра („Антоній и Клеопатра“), 4) Нора, 5) Джульетта („Ромео и Джульетта“), 6) Андріенна Лекувреръ и 7) Клотильда („Фернанда“). Изъ этихъ пьесъ наибольшій успѣхъ имѣла „Дама съ камеліями“; наименьшій — „Фернанда“, хотя роль Клотильды можно считать однимъ изъ наиболѣе яркихъ шедевровъ г-жи Дузе. Наибольшій интересъ возбудила „Нора“ — Ибсена, которую г-жа Дузе повторила. Въ этой замѣчательной роли петербургская публика увидитъ ее впервые. Въ „Дамѣ съ камеліями“ г-жа Дузе, можно сказать, создала вновь лицо Маргариты Готье, которое можно было считать давно умершимъ. И въ самомъ дѣлѣ: кто только у насъ, и въ столицѣ, и въ провинціи, не игралъ Маргариту Готье! Кто только не терзалъ ея заплаканную тѣнь. И мы, москвичи, то-есть, конечно, отъ другихъ не отставали. Г. Родиславскій (былъ такой московскій писатель) перевелъ драму Дюма на русскій языкъ подъ изумительнымъ заглавіемъ: „Какъ поживешь, такъ и прослывешь“—и цѣлая вереница русскихъ актрисъ кинулась на беззащитную драму. Трудно даже сказать, кто у

насъ не игралъ Маргариты Готье, но особеннаго успѣха какъ-то никому на долю не выпало. По нашей театральной эстетикѣ, слѣдуетъ прежде всего „дать типъ“. Требуется изобразить французскую кокотку,—это и будетъ типъ. Затѣмъ, конечно, нужно изобразить ея душевныя муки. Но вотъ въ чемъ бѣда: такъ какъ русскій языкъ, русскія интонаціи естественно связаны съ русскимъ темпераментомъ, то изображенія французской куртизанки у нашихъ актрисъ все-таки не выходитъ. Отчего это? Можетъ быть оттого, что такъ устроено,—что между языкомъ, интонаціями рѣчи, мимикой и душевными движеніями существуетъ не искусственная, а самая неразрывная связь. Попытка изобразить француженку, играя роль по-русски, приводитъ къ искусственному расколу: по одну сторону является типъ, а по другую его психологія, и ни та, ни другая сторона устоять не могутъ. Результатъ плачевный. Какъ этому дѣлу помочь, — я, какъ профанъ, рѣшить не берусь: это, можетъ быть, секретъ „профессоровъ драматическаго искусства“. Но на яву мы видѣли вотъ что: заигранная до смерти Маргарита Готье вдругъ воскресла. Роль Маргариты Готье, по любимому выраженію нашихъ рецензентовъ, дѣйствительно, стала „коронною“ ролью г-жи Дузе. Сколько бы разъ въ Москвѣ не шла „Дама съ камеліями“,—театръ всегда полонъ, и всегда текутъ слезы, и всегда бушуютъ безконечные апплодисменты. Нѣкоторые мудрые наставники, занимающіеся театральною критикою, съ апломбомъ объявили, что г-жа Дузе играетъ не настоящую французскую „камелію“, а больше итальянку. Но г-жа Дузе, какъ и всегда, играетъ человѣка. Она создаетъ живую и трогательную Маргариту — потрясающій образъ любящей, больной и поруганной во всемъ, что ей дорого, женщины. Человѣческую душу, истерзанную до смерти во имя буржуазной чести,—вотъ что раскрываетъ передъ нашими глазами г-жа Дузе, заставляя насъ переживать эту трагедію. Разъ актриса заставила насъ повѣрить, что возсозданный ею живой человѣкъ страдаетъ,—все, что въ

насъ осталось человѣческаго, уже захвачено. Совершается психологическое чудо, называемое театральною иллюзіею. Исчезаютъ всѣ условности: рампа, кулисы, суфлерская будка. Насъ обдаетъ вѣяніемъ иной жизни, болѣе интенсивной, чѣмъ дѣйствительность, и въ этомъ состояніи исчезаетъ также такая условность, какъ языкъ. Не все ли равно, на какомъ языкѣ говоритъ актриса, если мы ее понимаемъ? Мы уже не можемъ сказать себѣ: какъ это— Маргарита Готье, а говоритъ по-итальянски? Точно такъ же какъ не говоримъ: она страдаетъ,—а тутъ суфлеръ. Г-жа Дузе придаетъ роли Маргариты Готье много граціи и изящества, вообще свойственныхъ француженкѣ, но она, прежде всего, создаетъ женщину и заботится не о типѣ, а, напротивъ, объ индивидуальномъ, личномъ характерѣ Маргариты. Въ этой роли игра ея, какъ всегда, проникнута поэтическимъ вдохновеніемъ, не поддающимся анализу. Въ этомъ вдохновеніи актрисы, въ особенностяхъ ея натуры, и кроются тѣ неизвѣданные законы творчества, которые и придаютъ высшимъ степенямъ искусства его таинственный характеръ.

Г-жу Дузе въ роли Маргариты Готье я видѣлъ въ Москвѣ 4 раза, въ первый ея пріѣздъ, и каждый разъ— иллюзія была необыкновенно сильна. На одномъ изъ этихъ спектаклей въ числѣ зрительницъ были наши почтенныя артистки М. Н. Ермолова и Г. Н. Ѳедотова,—и нескрываемыя слезы свидѣтельствовали о силѣ произведеннаго на нихъ г-жею Дузе впечатлѣнія. Казалось, роль исполняется съ такимъ совершенствомъ, что никакихъ поправокъ въ нее уже внести невозможно; между тѣмъ, во второй свой пріѣздъ въ Москву г-жа Дузе, на второмъ представленіи, нѣсколько иначе сыграла 3-й актъ. Она освѣтила колоритъ первой его части. Она теперь играетъ 3-й актъ ярче, веселѣе, счастливѣе, безъ меланхолическаго предчувствія, отчего контрастъ съ момента появленія Дюваля—отца выходитъ еще поразительнѣе. „Фру-фру“ г-жа Дузе играетъ совершенно по-своему и съ своею непогрѣшимою техникою

оживляетъ блѣдный образъ Жильберты. Съ какою обаятельною натуральностью ведетъ г-жа Дузе извѣстную сцену репетиціи домашняго спектакля! Здѣсь вы видите обширное и разнообразное ея дарованіе. Пусть въ этомъ плѣнительномъ талантѣ преобладаетъ пессимистическій оттѣнокъ, пусть горькая усмѣшка чаще является на устахъ актрисы, чѣмъ радостная улыбка, но отъ комедіи до трагедіи ея талантъ витаетъ свободно, безъ усилій. Пьеса Мельяка и Галеви, какъ извѣстно, страдаетъ многими недостатками. Она бѣдна интересомъ. Жильберта, въ сущности, никого не любитъ. Весь кризисъ построенъ на простомъ недоразумѣніи. Банальность послѣдняго акта и сцена смерти Жильберты производитъ менѣе впечатлѣнія, чѣмъ другія смерти г-жи Дузе, а потому Фру-Фру можно смотрѣть даже слабонервнымъ дамамъ.

Г-жа Дузе—большая почитательница Шекспира, котораго она постоянно перечитываетъ, отдавая французскому переводу Франсуа-Виктора Гюго предпочтеніе передъ итальянскими переводами. Въ Московскомъ Маломъ театрѣ она смотрѣла „Виндзорскія кумушки“ и восхищалась вѣрнымъ пониманіемъ Шекспира нашими артистами: г-жею Ѳедотовою, г. Ленскимъ и др. Хотя на нашъ взглядъ, пьеса эта идетъ тяжело и не весело, но г-жа Дузе замѣтила, что ни во Франціи, ни въ Италіи не умѣютъ такъ хорошо понимать и играть Шекспира, какъ въ Москвѣ. Какъ извѣстно, въ репертуарѣ г-жи Дузе есть двѣ шекспировскія роли: Клеопатра и Джульетта. Эти роли вызвали критику нашихъ артистовъ. Они нашли, что въ Клеопатрѣ г-жа Дузе не даетъ типа царицы. Съ представленіемъ о театральной царицѣ неразрывно связано понятіе объ особенной фигурѣ, о представительности и даже дородствѣ. А г-жа Дузе — гибкая „Нильская змѣйка“, какъ называетъ ее Антоній,— къ московскому понятію о царицѣ не подходитъ. Зато замѣчательная сцена съ вѣстникомъ и смерть Клеопатры произвели громадное впечатлѣніе. Вся роль свидѣтельствуетъ о глубокомъ изученіи. Въ ней г-жа Дузе совершенно отрѣ-

шается отъ своей личности, наружности, жестовъ: она почти неузнаваема. Въ этой пьесѣ интересны костюмы Клеопатры; вообще туалеты г-жи Дузе, въ особенности въ „Фернандѣ“ невольно обращаютъ на себя вниманіе, не столько богатствомъ, сколько изяществомъ и стилемъ.

Другой шекспировскій образъ, возсозданный артисткою, — Джульетта. Возрастъ Джульетты — одно изъ тѣхъ второстепенныхъ обстоятельствъ, которыя совершенно исчезаютъ въ моментъ, когда Джульетта на сценѣ начинаетъ жить. А г-жа Дузе создаетъ типъ удивительный и живой, и, опять таки, совершенно по своему:—цѣломудріе и нѣжность выдержаны съ начала до конца, безъ всякихъ рѣзкихъ контрастовъ. Сцена брачной ночи сыграна была съ замѣчательной сдержанностью и безъ чувственнаго оттѣнка. Сцена съ наркотическимъ напиткомъ проведена была съ виртуозною детальностью, а пробужденіе Джульетты и конецъ 5-го акта кажутся мнѣ однимъ изъ шедевровъ нашей знаменитой гостьи.

Въ прекрасной, глубоко-поэтичной драмѣ Ибсена „Нора“ игра г-жи Дузе заслуживала бы особаго этюда. Здѣсь я могу сказать только, что драма великаго норвежскаго писателя въ исполненіи г-жи Дузе производитъ неизгладимое впечатлѣніе. И многое, что въ этой необыкновенно сжатой пьесѣ можетъ казаться недосказаннымъ, превосходно иллюстрируется артисткой. 1-й актъ проникнутъ обязательною веселостью и граціей молодой женщины, сохранившей всю прелесть подростка. Здѣсь натурализмъ г-жи Дузе проявляется необыкновенно ярко. 2-й актъ: веселость Норы исчезла, ее замѣнили тревожная нервная раздражительность и страхъ, но въ то же время Нора сохраняетъ притворную веселость передъ мужемъ; понятно, сколько тутъ превосходныхъ эффектовъ для выразительной мимики актрисы; къ сожалѣнію сдѣланы купюры въ сценѣ съ докторомъ Ранкъ. Тарантеллы г-жа Дузе вовсе не танцуетъ,—и сцена отъ этой купюры выиграла. Во второмъ актѣ г-жа Дузе такъ нервно напряжена, что эта нервность сообщается зрителямъ.

3-й актъ г-жа Дузе ведетъ сначала въ состояніи крайняго удрученія. Отъ ея игры вѣетъ смертью, невидимо витающей надъ Норою. Вы чувствуете, какъ назрѣваетъ рѣшимость, необходимость самоубійства. Послѣдняя сцена — разсчетъ съ мужемъ — несравненный перлъ изо всѣхъ созданій г-жи Дузе!.. Страстная сила актрисы здѣсь доходитъ до апогея: только 2-й и 3-й актъ Фернанды могутъ въ этомъ отношеніи быть поставлены на ряду съ 3-мъ актомъ Норы. Тутъ уже всякому понятно, какую истинно-великую актрису мы видимъ передъ собою,—и такія минуты, переживаемыя зрителемъ, всегда останутся у него въ памяти, какъ истинно-счастливыя минуты. Г-жа Дузе отлично поняла всю трудность этой сцены. Никогда, кажется, не раздавалось съ подмостковъ болѣе патетическаго протеста женщины. Малѣйшая примѣсь прѣснаго резонерства здѣсь могло бы убить всю сцену, — но г-жа Дузе ведетъ ее съ такою суровою энергіей, съ такимъ страстнымъ вдохновеніемъ, что поэтическое созданіе автора живетъ и трепещетъ передъ нами, и мы понимаемъ его.

Роль Клотильды въ „Фернандѣ“ я считаю одною изъ лучшихъ ролей г-жи Дузе, наравнѣ съ Норой, Маргаритою и женою Клода. Размѣръ этого письма, и безъ того слишкомъ длиннаго, не позволяетъ мнѣ распространяться о подробностяхъ этихъ созданій артистки. Скажу только, что нигдѣ она не играетъ съ такою изумительною смѣлостью, какъ въ 3 и 4 актѣ „La moglie di Claudio“. Создавая несимпатичный типъ лживой и испорченной женщины, г-жа Дузе выдерживаетъ этотъ характеръ безъ всякихъ попытокъ смягченія и примиренія. Тотъ, кто видѣлъ ее въ этой пьесѣ Дюма, никогда не можетъ отрѣшиться отъ испытанныхъ впечатлѣній.

Замѣтимъ, мимоходомъ, что въ матеріальномъ отношеніи вторичную поѣздку г-жи Дузе въ Москву нельзя, къ сожалѣнію, назвать блестящею. Но успѣхъ, заключающійся въ произведенномъ впечатлѣніи, успѣхъ въ интеллигентныхъ сферахъ Москвы,—этотъ нематеріальный успѣхъ до-

стался артисткѣ... Онъ чувствовался въ наэлектризованной атмосферѣ залы, въ энтузіазмѣ публики, въ которой видно было много учащейся, воспріимчивой къ искусству молодежи... Такіе большіе таланты, какъ г-жа Дузе, не проходятъ безслѣдно. Ихъ примѣръ пробуждаетъ молодыя дарованія, показываетъ имъ, до какого совершенства доходитъ драматическое искусство. Если можетъ быть школа для талантовъ, то, именно, въ подобныхъ зрѣлищахъ и примѣрахъ.

Четыре мысли по поводу чествованія Пушкина. *)

(Изъ письма въ редакцію).

1. ...Для изученія поэта, его психологіи, его темперамента, его генія нужно, между прочимъ, основательное знаніе его *языка*, нужно знать запасъ его *словъ* какъ матеріалъ его *мыслей*. Вотъ почему для Шекспира, Шелли и др. давно уже составлены спеціальные *словари*. Словарь Шекспира заключаетъ въ себѣ *всѣ* слова его сочиненій и стихи, гдѣ эти слова встрѣчаются. Словарь Шелли одному слову, напримѣръ „воздухъ", отводитъ цѣлую страницу систематически расположенныхъ цитатъ. Такіе словари даютъ матеріалъ для интереснѣйшихъ работъ о *богатствѣ* языка того или другого поэта, о его неологизмахъ, о любимыхъ выраженіяхъ и помыслахъ...

Слѣдовало-бы предпринять ту-же работу для Пушкина.

Но какъ это сдѣлать?

Я предлагаю вотъ что. Составляется редакціонный комитетъ, посредствомъ публикацій въ газетахъ приглашаются сотрудники въ числѣ равномъ *числу страницъ* наиболѣе распространеннаго дешеваго и сравнительно полнаго изданія сочиненій Пушкина. Допустимъ, для примѣра только, что *страницъ* двѣ тысячи (Пушк. изд. лит. фонда 2,967 стр., изд. г. Суворина—4,647). Нужно двѣ тысячи сотрудниковъ, которые *заявляютъ* письменно о своемъ

*) Биржевыя Вѣдомости 20 дек. 1898 г.

согласіи участвовать въ составленіи Пушкинскаго словаря, причемъ указываютъ на свой образовательный цензъ. Эти заявленія заносятся въ алфавитную книгу редакціи словаря.

Когда число заявленій достигнетъ извѣстной цифры (2,000), тогда *каждому* сотруднику назначается для разработки *одна* страница даннаго изданія Пушкина.

Работа сотрудника должна заключаться въ томъ, что на осьмушкахъ обыкновенной писчей бумаги пишется: 1) первое слово данной страницы, 2) стихъ или фраза, гдѣ это слово употреблено поэтомъ, 3) произведеніе, въ которомъ находится этотъ стихъ или фраза, съ *датою* произведенія, если она извѣстна.

Та-же работа для второго, третьяго, четвертаго слова страницы—до конца ея. Такимъ образомъ для каждаго слова составляется т. н. *фиша*.

Эти фиши заказною бандеролью отсылаются въ редакцію, тамъ онѣ подвергаются систематическому сортированью, причемъ ненужныя, повторныя—не уничтожаются, а откладываются въ сторону, какъ оправдательные документы (напр. для провѣрки счета словъ, числа употребленныхъ выраженій и др. работъ). Остальныя слова съ примѣрами, въ числѣ которыхъ могутъ быть допущены небольшія сокращенія, отсылаются въ наборъ.

Конечно, во главѣ редакціи Пушкинскаго словаря желательно было-бы имѣть филолога или поэта; но мнѣ кажется (а не *думается*, какъ выражаются иные), что здѣсь дѣло сводится къ *полнотѣ* и не требуетъ особыхъ познаній.

II. Гдѣ библіотека Пушкина? Гдѣ книги, которыя онъ читалъ, любилъ, вѣроятно помѣчалъ? Для каждаго изъ насъ наша библіотека, наши книги, съ которыми мы живемъ,—составляютъ какъ-бы часть нашей души, въ ветхой кожѣ переплетовъ переживающую насъ самихъ. Но мы ничтожны и неинтересны, а Пушкинъ безсмертенъ. Насколько-же интересна каждая книга, которой касалась его рука?

Мнѣ посчастливилось: я узналъ случайно, что библіотека поэта хранится вся, нераспакованная, въ ящикахъ,

въ имѣніи его внука, А. А. Пушкина, предводителя дворянства въ Бронницкомъ уѣздѣ Московской губ.

Объ этой библіотекѣ я извѣстилъ почтеннаго академика Л. Н. Майкова, который лѣтомъ собирается ее осмотрѣть на мѣстѣ.

Но не слѣдовало-ли бы такое сокровище предохранить отъ всякихъ случайностей, отъ воровъ и пожара? Не слѣдовало-ли бы академіи просить о пріобрѣтеніи библіотеки Пушкина, какъ народнаго достоянія?

III. Въ Москвѣ, въ небольшомъ кружкѣ лицъ, вполнѣ грамотныхъ, предложена была мною игра, вродѣ пушкинскаго лото: на занумерованныхъ билетикахъ написаны были стихи и фразы Пушкина. Требовалось сказать—откуда это? Отвѣты, конечно, значились подъ тѣми-же нумерами на отдѣльномъ листѣ, для справокъ, но отвѣчать нужно было не справляясь. Кто могъ отвѣтить на большее число билетовъ,—выигрывалъ. За каждое „не знаю“ платили. Помню, покойный Ѳ. И. Буслаевъ находилъ, что и профессорамъ такая игра трудна, но не доказываетъ-ли это, какъ мы въ сущности мало знаемъ Пушкина?

IV. Въ Александровскомъ скверѣ, между Исаакіевскимъ соборомъ и Мѣднымъ Всадникомъ, я вижу новый памятникъ Пушкину, достойный поэта и Петербурга. На высокомъ пьедесталѣ изъ красной яшмы возвышается извѣстный бюстъ Пушкина, близкій къ нему по эпохѣ, передающій благородныя черты поэта съ идеализаціей, свойственной его времени. Это не понурый, слишкомъ литературный обликъ Пушкина, созданный Опекушинымъ — нѣтъ, это свѣтлый ликъ спокойно-торжественный, какъ и подобаетъ полу-богу. Опекушинъ и всѣ скульпторы нашихъ дней непремѣнно изображаютъ поэта удрученнымъ. Я этого не понимаю. Геній Пушкина свѣтелъ; памятникъ—апоѳеозъ поэта, а московскій памятникъ... не знаю, какъ это выразить—скученъ какъ-то, не жизнерадостенъ, не свѣтелъ. Кто это?—спросили у извозчика.—Не знаю. Говорятъ, учитель что-ли,—отвѣчалъ возница.

Новый памятникъ, который я вижу „глазами духа“, украшенъ золотыми лирами, масками, лаврами и пальмами. Ликъ поэта изъ свѣтлой бронзы увеличенъ въ десять разъ противъ оригинала посредствомъ пантографа. На пьедесталѣ, въ прихотливыхъ линіяхъ котораго чувствуется близость XVIII вѣка, я вижу медальоны друзей и сверстниковъ Пушкина: вотъ Жуковскій, Дельвигъ, Мицкевичъ... много другихъ... Памятникъ окруженъ гранитными столбами; ихъ соединяютъ массивныя черныя цѣпи, перевитыя золотыми лаврами.

На памятникѣ читаю надпись:

„Я памятникъ себѣ воздвигъ нерукотворный“.

О „Пушкинскомъ словарѣ“.

Мое предложеніе о составленіи пушкинскаго словаря встрѣтило такое сочувствіе, что я немедленно приступилъ къ дѣлу. Въ нѣсколько дней зарегистрированы болѣе двухъ тысячъ „осьмушекъ“ (фишъ), и роздана работа 22 сотрудницамъ и сотрудникамъ *), предложившимъ мнѣ свое участіе. Каждый день я получаю пачки „фишъ“ и письма съ просьбою „указать свободныя страницы“. Работа, въ самомъ дѣлѣ, завлекательная: переписывать, слово за словомъ, золотые стихи Пушкина, работать надъ созиданіемъ „Словаря“, посвященнаго его славѣ—это, конечно, трудъ, но въ то же время и наслажденіе.

Пока идетъ первая часть работы: *всѣ* слова расписываются на отдѣльныхъ бумажкахъ, *вмѣстѣ* со стихомъ, откуда слово взято. Потомъ приступимъ ко второй, редакціонной работѣ: къ сокращенію, къ исключенію ненужнаго. „Словарь Пушкина“ долженъ состоять не изъ одного сухого перечня *словъ*. Нѣтъ, систематическій подборъ примѣровъ и цитатъ долженъ представлять какъ бы пушкинскую энциклопедію. Какъ интересно, напр., подъ словами:

*) По 5-е января с. г.

любовь, жизнь, смерть—прочесть *все,* что Пушкинъ написалъ о нихъ? Какъ важно изучить обороты Пушкинскаго языка, его эпитеты и пр. Все это должны дать примѣры и цитаты. Для поясненія условій задуманной работы составлены слѣдующія правила составленія Пушкинскаго словаря.

1. Каждое безъ исключенія слово пишется на отдѣльной осьмушкѣ (фишѣ), въ правомъ верхнемъ углу узкой стороны.

2. Глаголы пишутся въ неопредѣленномъ наклоненіи. Существительныя, прилагательныя и мѣстоименія — въ именительномъ падежѣ единственнаго числа.

Примѣчаніе. Частицы: а, и, въ, же и проч., сколько бы разъ онѣ ни повторялись, пишутся на отдѣльныхъ осьмушкахъ.

3. Подъ словомъ выписывается цѣликомъ стихъ или прозаическая строка, изъ которыхъ это слово взято, а потому, если въ стихѣ, напр., 4 слова, то стихъ переписывается 4 раза на отдѣльныхъ осьмушкахъ.

4. Осьмушки должны содержать еще сокращенное указаніе произведенія, изъ котораго выписаны стихъ или строка, напр., Р. и Л. (Русланъ и Людмила), а также томъ и стр. сочиненія извѣстнаго изданія, напр. I, 13, Сув., означаетъ I томъ, 13 стр. изд. Суворина, или Л. Ф. (Литературнаго фонда).

5. Осьмушки должны быть внизу перенумерованы въ порядкѣ ихъ составленія.

6. Осьмушки должны быть разложены и связаны отдѣльными пакетами по начальнымъ буквамъ выписанныхъ словъ: слова, начинающіяся съ А, Б, и т. д., должны присылаться въ пакетахъ, перевязанныхъ отдѣльно, а *не* по порядку ихъ нумеровъ.

7. При отправкѣ заказною бандеролью осьмушекъ прошу означать общее ихъ количество.

Принятую работу прошу присылать черезъ 7 дней по полученіи настоящаго извѣщенія.

Пушкинскій словарь.

(Письмо въ редакцію).

М. Г.

Не откажите сообщить въ Вашей уважаемой газетѣ, что дѣло составленія Пушкинскаго словаря изъ области предположеній перешло въ область фактовъ. По 11 января 35 лицъ участвуютъ въ первоначальной регистраціи словъ, причемъ для ускоренія работы теперь выбираются только слова на букву А, дабы имѣть возможность хоть часть словаря въ оконченномъ видѣ напечатать къ Пушкинскому юбилею. Мы уже разрабатываемъ пятый томъ изданія г. Суворина и большинство сотрудниковъ, прислав свою работу, требуютъ новой. Я представлю, надѣюсь, въ мартѣ часть своего труда на благоусмотрѣніе 2-го отдѣленія Императорской академіи наукъ и буду просить о напечатаніи Пушкинскаго словаря въ ея типографіи; за покрытіемъ расходовъ по изданію, чистую выручку пошлемъ голодающимъ. Окончаніе всего словаря можетъ потребовать работы около года, если не встрѣтится неожиданныхъ препятствій, и затѣмъ тотчасъ-же примемся за словарь Лермонтова, осуществляя, такимъ образомъ, утопію Фурье о travail attrayant—привлекательной работѣ. Всѣ имена сотрудниковъ будутъ напечатаны на заглавномъ листѣ въ алфавитномъ порядкѣ.

Второе представленіе „Чайки“: *)

28 декабря „Художественно-общедоступный“ театръ, какъ и въ первое представленіе „Чайки“, былъ совершенно полонъ. Въ зрительномъ залѣ чувствовалось то особенное, нервное напряженіе, которое такъ рѣдко приходится наблюдать: необыкновенная чуткость публики, страстно сосредоточенное вниманіе къ каждому слову на сценѣ. Тишина удивительная! Пьесу не только смотрѣли: ее слушали и воспринимали. Минутами казалось, что съ подмостковъ говоритъ сама жизнь—а бо́льшаго театръ дать не можетъ! Мнѣ привелось видѣть „Чайку“ въ Александринскомъ театрѣ тоже на второмъ представленіи, и теперь я могу сопоставить эти два спектакля.

Всѣмъ извѣстно, что „Чайка“, раздѣляя судьбу многихъ шедевровъ драматической литературы, на первомъ представленіи въ Петербургѣ—„провалилась“. Пьеса сложная и причины неуспѣха были тоже сложныя.

1) Пьеса раздражала старыхъ литераторовъ своими новшествами. Оригинально оборванныя окончанія актовъ, поэтическій, но безпощадный пессимизмъ автора, нѣкоторые персонажи, напр. Маша Шамраева („зачѣмъ она нюхаетъ табакъ?“) подозрѣніе, что авторъ сочувствуетъ „декаденту“ Треплеву и его символической пьесѣ—все это вызвало ужасный гнѣвъ „нашихъ маститыхъ беллетристовъ“. Одинъ „маститый“ въ своемъ рефератѣ о „Чайкѣ“, просто рвалъ и металъ, а когда его спросили: да вы видѣли пьесу на сценѣ? отвѣтилъ съ негодованіемъ: не видѣлъ и смотрѣть не хочу: я ее знаю по рукописи! Вообще старички-шестидесятники усмотрѣли въ пьесѣ „господина Че-

---

Газ. „Курьеръ“, 3 января 1899 г.

хова“ дерзость неимовѣрную: онъ осмѣлился быть самимъ собою на освященныхъ традиціями подмосткахъ! Къ тому же, по правдѣ сказать, русская сцена за послѣдніе годы такъ пріучила всѣхъ къ проваламъ новыхъ пьесъ, что въ успѣхъ новинки какъ то не вѣрилось. Нанюхавшись разной дряни, цѣнители и судьи утратили обоняніе и перестали различать запахи.

2) Пьеса раздражала молодыхъ писателей... „Какой это символистъ!—горячился одинъ изъ нихъ,—Чеховъ не знаетъ символистовъ!“—„Позвольте,—возражали другіе,—Чеховъ написалъ Треплева неудачникомъ, пьеса Треплева—неудачное произведеніе. Чеховъ знаетъ, пишетъ живыхъ людей, а не воплощеніе идей или направленій...“ Но молодые писатели пожимали плечами. Однако, одинъ изъ крупнѣйшихъ поэтовъ восьмидесятыхъ годовъ, отличающійся при томъ философскимъ складомъ ума, послѣ 3 акта восторженно воскликнулъ: „это геніально!“ Я совершенно сочувственно встрѣтилъ такой отзывъ: когда въ поэтическомъ произведеніи мѣстами чувствуется глубина недосягаемая для анализа — оно геніально, несмотря на недостатки.

3) Нѣкоторые журналисты почему-то отождествляли Чехова съ „Новымъ Временемъ“ и не прочь были провалить пьесу „изъ того лагеря“, хотя, кажется, не трудно было изъ произведеній Чехова убѣдиться, что онъ не принадлежитъ ни къ какому лагерю и всего менѣе можетъ считаться партійнымъ писателемъ. Но кто не съ нами, тотъ противъ насъ. Да, наконецъ, хвалить всѣхъ опасно: можно опростоволоситься, а брань, по меньшей мѣрѣ, доказываетъ превосходство бранителя.

4) Къ главнымъ причинамъ неуспѣха присоединились другія—частью внутреннія: сложная психологія дѣйствующихъ лицъ, смѣлость, съ которою авторъ раскрываетъ постыдныя тайны жизни, какъ клоаки, на которыхъ выстроены дворцы... частью внѣшнія, закулисныя причины: г-жа Савина, для которой назначена была великолѣпная

роль Аркадьиной, вдругъ отказалась: ее пришлось замѣнить г-жею Дюжиковою—которая, паче чаянія, была въ роли Аркадьиной очень хороша. Актеры, смущенные явно враждебнымъ отношеніемъ партера, потеряли почву подъ ногами, сбивались.

На второмъ спектаклѣ все пришло въ порядокъ, и публика, сверхъ ожиданія, приняла пьесу и артистовъ сочувственно. Дѣло какъ будто поправилось,—но вдругъ пошли какія-то закулисныя осложненія, и пьесу сняли съ репертуара, когда она могла сдѣлаться репертуарною, быть можетъ, на многіе годы.

Въ московской печати уже было отмѣчено, что успѣхъ „Чайки“ въ Москвѣ, независимо отъ поэтическаго обаянія драмы, обусловленъ и тщательностью обстановки. Отдавая полную справедливость артистичности режиссерской части и стильности исполненія, мы считаемъ необходимымъ указать на нѣкоторые маленькіе недочеты.

Первымъ мы считаемъ неудачное красное освѣщеніе въ началѣ 1-го и 4-го актовъ. Оно совершенно фальшиво и придаетъ всему неестественный колоритъ зарева пожара. Такое освѣщеніе, тусклое и зловѣщее, мѣшаетъ видѣть и слышать. Поставить въ 1-мъ и второмъ актѣ большую скамью прямо передъ рампой, а дѣйствующихъ лицъ усадить рядкомъ на скамью задомъ къ публикѣ—en rang d'oignons—нововведеніе, можетъ быть и смѣлое, но не совсѣмъ удачное. Актеры стѣсняются, вынуждены говорить въ сторону, поворачиваясь профилемъ,—иначе ихъ неслышно, а силуэты ихъ, освѣщенные рампою, представляютъ не особенно привлекательное зрѣлище. Четвертый актъ исполняется слишкомъ „тягуче“: онъ долженъ бы идти гораздо быстрѣе, съ меньшими паузами (которыми злоупотребляютъ г. Мейерхольдъ и г-жа Роксанова). Напротивъ, знаменитая сцена между матерью и сыномъ въ 3-мъ актѣ прошла какъ-то скомканно, рѣзко, грубовато и не произвела надлежащаго впечатлѣнія: У г. Мейерхольда вырвались, какъ мнѣ кажется, слишкомъ кричащія ноты, бран-

чивыя интонаціи. Тутъ была невѣрность тона, можетъ быть полу-тона. И въ первомъ актѣ онъ былъ немножко рѣзокъ, а всю роль провелъ очень обдуманно и тепло. Самая трудная сцена—конецъ 4 акта и монологъ Елены съ повтореніемъ „я—чайка". Съ нимъ плохо справлялась и г-жа Комиссаржевская. Онъ не вышелъ и у г-жи Роксановой, но кромѣ этого мѣста, вся роль проведена была молодою артисткою съ замѣчательною искренностью и я рѣшительно не могу согласиться съ упреками нѣкоторыхъ рецензентовъ по ея адресу.

Конечно, г-жа Комиссаржевская давала болѣе яркую фигуру, но роль Нины Зарѣчной всякой талантливой актрисѣ даетъ богатый матеріалъ. Зато г-жа Книпперъ и г. Станиславскій значительно выше петербургскихъ „первообразовъ". Первая всю свою роль играетъ съ удивительнымъ блескомъ, изяществомъ и натуральностью. Только въ кульминаціонномъ пунктѣ, въ большой сценѣ 3 акта она немножко слабѣетъ въ моментъ примиренія съ сыномъ: патетическія ноты звучатъ недостаточно искренно, а онѣ должны быть глубоко-искренни, несмотря на фальшивость натуры. Если актриса нарочно даетъ слегка почувствовать, что патетизмъ матери здѣсь театраленъ, что въ немъ есть нѣчто напускное, то она дѣлаетъ ошибку. Замыселъ автора лежитъ глубже, онъ нигдѣ не останавливается на преднамѣренномъ и вездѣ освѣщаетъ глубины души невидимыми лучами спектра. Г. Станиславскій, какъ истинный артистъ, въ „Чайкѣ" совершенно преобразуется. Все въ роли Тригорина у него ново и своеобразно. Онъ неизмѣримо выше, тоньше и интереснѣе г. Сазонова, у котораго, кромѣ рутины и знанія сцены, никакихъ особенныхъ способностей я никогда не замѣчалъ. Г. Станиславскій по тону и манерамъ очень напоминаетъ одного изъ нашихъ лучшихъ романистовъ. Нельзя, конечно, сравнивать громадный талантъ В. Н. Давыдова, создавшаго въ Петербургѣ роль Сорина, съ артистомъ, играющимъ ее здѣсь. Кто видѣлъ разъ Давыдова въ „Чайкѣ", никогда не забудетъ фигуру Сорина.

То было совершено живое лицо, заставляющее васъ забыть, что вы въ театрѣ. Г. Лужскій играетъ роль въ томъ же мягкомъ тонѣ, съ тѣмъ же гримомъ, и съ большою теплотою. Кажется, что въ 3-мъ актѣ послѣ удара ему слѣдуетъ быть потише... М. П. Писаревъ былъ крупнѣе и значительнѣе въ роли Дорна, чѣмъ г. Вишневскій, однако послѣдній какъ по внѣшности, такъ и по тону очень удачно олицетворилъ оригинальное созданіе Чехова, и далъ цѣльный выдержанный типъ. Очень оригинально сыграла роль Маши г-жа Лилина. Г. Артемъ обладаетъ значительною комическою силою и дѣйствуетъ на публику неотразимо. Всѣ исполнители второстепенныхъ ролей ничѣмъ не уступали петербургскимъ. Г-жа Раевская, г. Тихоміровъ, даже маленькіе персонажи—всѣ содѣйствовали ансамблю. Декораціи interieur'овъ и вся ихъ обстановка превосходны. Сцена отъѣзда въ 3-мъ актѣ исполнена живости и движенія.

Памяти В. И. Жуковскаго. *)

Вчера утромъ телеграфъ принесъ намъ изъ Петербурга извѣстіе о невознаградимой потерѣ, понесенной русской адвокатурой: послѣ долгой болѣзни „тихо скончался“ присяжный повѣренный Владиміръ Ивановичъ Жуковскій.

Исчезла яркая, крупная личность, отмѣченная такими чисто индивидуальными особенностями оригинальнаго дарованія, которыя навсегда останутся памятными и дорогими всѣмъ, знавшимъ Жуковскаго.

Покойный былъ настоящей „знаменитостью“ адвокатскаго міра, и притомъ знаменитостью, слава которой создалась какъ бы сама собой, безъ всякой рекламы и самовосхваленія. Напротивъ, скромный, застѣнчивый ироническъ не любилъ ни говорить о себѣ, ни слушать о себѣ похвалъ.

Главная сила его, спеціальность, въ которой онъ не имѣлъ соперниковъ, заключалась въ глубокой ироніи его анализа, въ мастерскомъ сарказмѣ, облеченномъ въ изящную, съ виду какъ будто безобидную форму. При этомъ сказывалась не только коренная особенность ума Жуковскаго, но и присущее только ему художественное чувство мѣры: яркій юморъ, озарявшій весь складъ его рѣчи, нерѣдко примирялъ съ нимъ даже тѣхъ, кого поражали его сарказмы. Въ ироніи онъ былъ артистъ. Онъ сыпалъ стрѣлами, но это были золотыя, отшлифованныя стрѣлы.

---

*) Газ. „Курьеръ“, 7 февраля 1899 года.

Иронія Жуковскаго была не случайнымъ проявленіемъ блестящаго остроумія: нѣтъ, она истекала изъ сокровеннѣйшей глубины его міросозерцанія. Сверстникъ и товарищъ Д. И. Писарева, почитатель Герцена и М. Е. Салтыкова, Жуковскій смотрѣлъ на окружающую его дѣйствительность взглядомъ сатирика и къ основамъ этой дѣйствительности относился отрицательно. Онъ былъ въ скромной сферѣ судебнаго краснорѣчія настоящимъ послѣдователемъ непримиримыхъ сатириковъ русской литературы.

Но что всего удивительнѣе—этотъ безпощадный ироническъ, передъ сарказмомъ котораго дрожали многіе, былъ въ дѣйствительности добрѣйшій, мягкій, кроткій, словомъ, „душевный“ человѣкъ. Его безобидный смѣхъ смягчалъ сатирическую шутливость его фразы; онъ былъ добрѣйшій изъ пессимистовъ и симпатичнѣйшій изъ насмѣшниковъ. Вглядываясь пристальнѣе въ эту сложную натуру, вы узнавали черты идеалиста шестидесятыхъ годовъ, сохранившаго всю вѣжливость дворянскаго обхожденія своей эпохи. Можетъ быть, его иронія и проистекала изъ протеста сердца и ума, уязвленныхъ грубостями жизни.

Біографія Жуковскаго мы теперь не пишемъ. Ограничимся лишь немногими чертами его жизни. Въ началѣ своей судебной карьеры Жуковскій былъ товарищемъ прокурора с.-петербургскаго окружнаго суда. Здѣсь онъ выдвинулся обвинительной рѣчью по знаменитому дѣлу милліонера Овсянникова, осужденнаго за поджогъ своей паровой мельницы. Противникомъ Жуковскаго былъ также крупный талантъ—П. А. Потѣхинъ, но обвинитель съ удивительной энергіей и силой провелъ трудное дѣло. Уже въ этой рѣчи сказался оригинальный, тонкій умъ Жуковскаго.

Всѣмъ памятны еще превосходныя защитительныя рѣчи по дѣламъ Гулакъ-Артемовской и Юханцева, гдѣ онъ, несмотря на всю затруднительность положенія защиты, сумѣлъ нанести мѣткіе удары обвиненію.

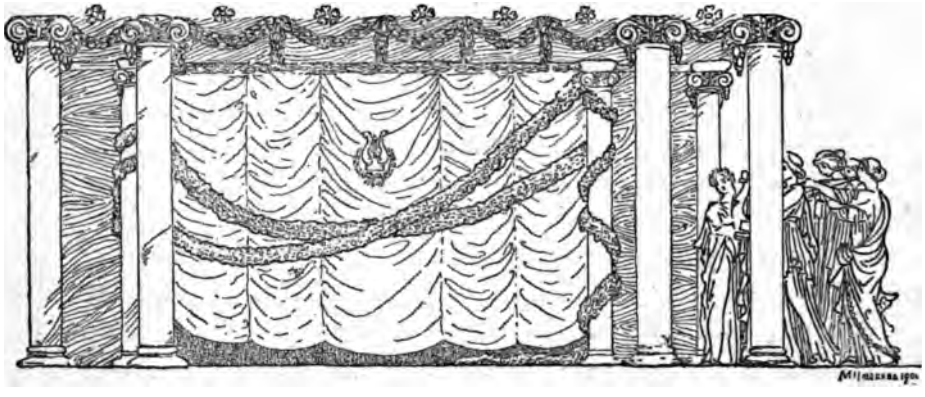
Одну изъ лучшихъ своихъ рѣчей онъ произнесъ въ военно-окружномъ судѣ: онъ защищалъ стараго интендант-

скаго чиновника Крейера; безобидная прелесть его юмора, можно сказать, обезоружила судей.

Въ Вильнѣ, въ 1896 году, по дѣлу о безпорядкахъ при закрытіи костела въ мѣстечкѣ Крожи, рѣчь Владиміра Ивановича могла бы считаться его chef-d'oeuvr'омъ. Къ сожалѣнію, дѣло производилось при закрытыхъ дверяхъ.

Но его успѣхи, его блестящія рѣчи—безчисленны.

Знавшіе его никогда не забудутъ длинной, худощавой фигуры, гибкой, какъ толедскій клинокъ,— не забудутъ тонкихъ чертъ его симпатичнаго, милаго лица, худощавый профиль котораго напоминалъ и Донъ-Кихота, и Мефистофеля. Но въ груди этого русскаго Мефистофеля билось нѣжное и любящее сердце,—сердце идеалиста, прожившаго свой вѣкъ безупречно и не оставившаго послѣ себя ничего, кромѣ чистой славы и доброй памяти въ сердцахъ товарищей.



Антигона» Софокла въ Москвѣ. *)

Во вторникъ, 12-го января 1899 г. въ „Художественно-общедоступномъ театрѣ“ въ Москвѣ „въ первый разъ на русской сценѣ“ дана была трагедія Софокла „Антигона“ въ переводѣ Д. С. Мережковскаго съ музыкою Мендельсона-Бартольди.

На афишѣ этого знаменательнаго спектакля (ее навѣрное сохранятъ коллекціонеры) значилось, что пьеса поставлена режиссеромъ г. Санинымъ, что декорація — художника В. А. Симова, новые костюмы—Степанова. Оркестромъ (за кулисами) дирижировалъ г. Калинниковъ, пѣлъ хоръ „наслѣдниковъ Васильева“.

Затѣмъ — краснорѣчивая строчка: „билеты всѣ проданы“.

Нельзя не согласиться, что для частной антрепризы, болѣе или менѣе зависимой отъ сборовъ, ставить шедевръ античной трагедіи послѣ блестящаго успѣха „Чайки“ и „Царя Ѳедора“ составляло очень рискованное предпріятіе.

Такая смѣлость, несомнѣнно—крупная заслуга гг. Немировича-Данченко и Станиславскаго. Какой-бы ни былъ результатъ подобной попытки, она не можетъ не вызвать сочувствія всѣхъ, кто въ театрѣ любитъ поэзію и красоту.

---

*) „Міръ Искусства“, № 6, 1899 г.

Со времени перваго представленія „Антигоны“ въ Аѳинахъ прошло 2341 годъ. Новинка, какъ видите, почтеннаго возраста, но истинная красота неувядаема и „Антигона“ до сихъ поръ сохранила безсмертную прелесть шедевровъ эллинскаго искусства. Такъ-же трогательно звучатъ ея прощанія съ жизнью, такъ-же прекрасенъ ея подвигъ—отрицанія закона во имя высшей правды, такъ-же проникнуты глубокою поэзіею знаменитые хоры трагедіи. Прошли вѣка, а святыня не померкла.

Но какъ же быть съ „требованіями публики“? Разучившаяся *слушать*, привыкшая смотрѣть на театръ съ точки зрѣнія эффектнаго зрѣлища, публика скучаетъ, если ея лѣнивое вниманіе не возбуждено „сценичностью“. Что же было дѣлать молодой дирекціи перваго дѣйствительно-литературнаго театра?

Хотя я не посвященъ въ тайну ея совѣщаній, но предполагаю, что для успѣха „Антигоны“ составленъ былъ такой планъ: поставить пьесу великолѣпно, чтобы спектакль вышелъ эффектный, интересный, сильный... чтобы только не было, чего Боже упаси, скуки!.. Устроить античную обстановку, и непремѣнно съ алтаремъ Діонисія: это будетъ ново. Затѣмъ, какъ быть съ хоромъ? Пѣть или читать? Въ Берлинѣ поютъ, въ Парижѣ читаютъ. Но съ музыкой — оркестромъ и капеллой — постановка выйдетъ великолѣпнѣе,—значитъ, будемъ пѣть, а кстати есть музыка Мендельсона-Бартольди къ „Антигонѣ“. Чего-же лучше?

Единство мѣста соблюдено будетъ единою декораціею, единство времени—тѣмъ, что развязку трагедіи можно пріурочить къ концу вечера: получится эффектъ ночного факельцуга, похоронной процессіи подъ звуки чудеснаго траурнаго марша Мендельсона. На этой сильной нотѣ мы и закончимъ. Медленно закрыть занавѣсъ, и москвичи унесутъ съ собою такую эмоцію, которую давно не испытывали.

Не нужно забывать, что дирекція художественнаго театра принадлежитъ къ вѣроисповѣданію Мейнингенскому:

дисциплина труппы и живописность обстановки—ея главные догматы. Постоянный успѣхъ, сопровождавшій до сихъ поръ юное предпріятіе, доказываетъ, что дирекція не ошибалась. Однако, не все же одна обстановка, нужно и объ исполненіи подумать... Въ труппѣ оказалась подходящая актриса на главную роль: г-жа Савицкая отличается высокимъ ростомъ—„античная фигура“; на лицѣ при помощи грима будетъ фиксировано трагическое выраженіе; голосъ сильный, но не особенно гармоничный,—такова московская Антигона. Для контраста въ труппѣ нашлась прелестная Исмена: нѣжный голосокъ и хрупкая фигурка—живая статуэтка изъ Танагры.

Роль Креона дали умному актеру, г. Лужскому (превосходный Соринъ въ „Чайкѣ“), съ профилемъ древняго изваянія. Для тирана онъ какъ будто немножко толстъ, ну, да не всѣ же тираны были худые.

Тирезія съиграетъ г. Мейерхольдъ, Стража — Тихоміровъ, Вѣстника — Адашевъ, Гемона — Дарскій, Хоревта — Судьбининъ, Эвридики — г-жа Раевская... Не всѣ эти роли оказались распредѣленными удачно, но достигнутъ былъ извѣстный ансамбль. Пьеса долго, тщательно разучивалась и репетировалась.

Въ техническомъ отношеніи она представляла массу мелкихъ трудностей: мѣрное движеніе массъ на небольшомъ пространствѣ, длинныя одежды, которыя волочатся по землѣ: наступи на хвостъ тирану—и все можетъ пропасть въ вихрѣ смѣха. Необходимость для главныхъ персонажей спускаться по ступенямъ внизъ изъ логейона въ оркестру, хоры, процессію, бутафорію, все это нужно было наладить. И все шло стройно и плавно.

Но главное — стиль исполненія, тонъ игры. Рѣшено было, что тонъ долженъ быть приподнятый: трагедію нельзя играть, какъ современную пьесу.

Посмотримъ теперь, какъ художественные замыслы дирекціи и режиссера осуществились на первомъ представленіи Антигоны.

Публика увидѣла передъ собою раздвинутую занавѣсь. Сцена все время остается открытою. Декорація представляетъ древній дворецъ. Внизу, посреди сцены, передъ суфлерскою будкою—алтарь Діонисія, на которомъ почему-то горитъ лампа (?). Вокругъ него группируется хоръ. На второмъ планѣ, по небольшой лѣстницѣ въ 5—6 ступеней, персонажи поднимаются на площадку, гдѣ происходитъ дѣйствіе пьесы, такъ что она идетъ одновременно какъ бы на двухъ ярусахъ: персонажи на верху, хоръ внизу. Декорація г. Симова вся выдержана въ мягкихъ желтоватыхъ тонахъ. Она красива, гармонична, не рѣжетъ глазъ, не отвлекаетъ вниманія. Входятъ Антигона и Исмена. Антигона по гриму болѣе подходитъ къ Медеѣ или Федрѣ, чѣмъ къ той кроткой дѣвѣ, которая „рождена не для ненависти, а для любви взаимной". На лѣвомъ плѣчѣ она держитъ большой бутафорскій кувшинъ, который ей ужасно мѣшаетъ. Все время, пока она ведетъ сцену съ Исменой, она не спускаетъ кувшина съ плеча: кувшинъ то наклоняется впередъ, причемъ видно, что онъ пустой, то склоняется въ сторону. Я понимаю, что режиссеръ хотѣлъ подчеркнуть, что она идетъ совершать омовенія и возліянія надъ тѣломъ Полинейкеса, но это и безъ кувшина понятно, а вести сцену съ *одною* только рукою — неудобно и некрасиво. Декламируетъ г-жа Савицкая съ страстнымъ напряженіемъ и быстро хрипнетъ. Въ интонаціяхъ замѣтное подражаніе М. Н. Ермоловой. Въ линіяхъ нѣтъ красоты, въ пластикѣ нѣтъ стиля. Г-жа Алѣева (Исмена) контрастируетъ нѣжнымъ голосомъ и граціей.

Но вотъ, медленно и чинно входитъ хоръ ѳиванскихъ старцевъ. Они запѣли—и, конечно, ничего понять не было возможно. Громъ оркестра, гудѣніе голосовъ заглушили прекрасные, окрыленные стихи Мережковскаго: дивные хоры „Антигоны" пропали, а съ ними половина литературнаго интереса трагедіи.

Появляется Креонъ съ мейнингенскою свитою. Г. Лужкій ведетъ роль *очень* энергично, но напыщенная декла-

мація, трагическій раскатистый смѣхъ, все носитъ на себѣ отпечатокъ утрировки, отсутствія чувства мѣры. Очевидно, что котурны и маски слишкомъ деспотически дѣйствуютъ на воображеніе режиссера... Живую струю натурализма вноситъ съ собою Стражъ (г. Тихоміровъ).

Вниманіе публики все время возбуждено. Лишь изрѣдка кажется, будто музыка просвѣщеннаго маэстро плохо вяжется съ настроеніемъ современнаго зрителя. Напримѣръ, Антигону ведутъ на казнь, а хоръ и оркестръ разражаются какимъ-то концертнымъ „presto". И что общаго между нѣмецкимъ музыкантомъ начала нашего вѣка и *настоящею* древностью? „Наслѣдники Васильева" поютъ исправно, въ литургическомъ стилѣ, но слова, слова, слова — увы! отсутствуютъ. „Отдайте мнѣ Софокла", шепчетъ слушатель: Опера!—довольно.

У Антигоны, у Креона попадаются удачные моменты. Нѣтъ-нѣтъ — и промелькнетъ красивый стихъ, но тутъ-же потонетъ въ декламаціонномъ потокѣ. Красота произведенія все-таки дѣйствуетъ, хотя вниманіе отвлекается отъ текста шумомъ и блескомъ обстановки. Свѣжею силою выдается читка Вѣстника (г. Адашевъ), поэтому онъ слегка детонируетъ въ ансамблѣ, однако безъ этого тонъ былъ бы слишкомъ однообразенъ.

Кульминаціоннымъ пунктомъ является конецъ трагедіи: масса народа стекается на сцену. Стройно движется процессія съ носилками, гдѣ предполагается тѣло Гемона. Сколько факеловъ! Какія красивыя плакальщицы! Несутъ кувшины, несутъ цѣлые столы, уставленные разной бутафоріей. Говорятъ, это прямо съ вазы античной списано. Лестно.

Торжественно звучитъ похоронный маршъ. Медленно задвигается занавѣсъ... Публика неистовствуетъ. Вызываютъ всѣхъ. Г. Сорину подносятъ лавровый вѣнокъ. Въ черномъ сюртукѣ, окруженный Креономъ и Антигоною, режиссеръ раскланивается. Онъ сіяетъ. Успѣхъ! Успѣхъ! Одну минуту

мнѣ казалось, будто онъ хочетъ что-то сказать. Не обычную ли фразу: автора въ театрѣ... нѣтъ.

А жаль.

На дворѣ была свѣтлая, кроткая ночь... Возвращаясь домой, я спрашивалъ себя: нужна ли такая блестящая постановка для вѣчныхъ красотъ Софокла? Необходимъ ли такой приподнятый тонъ? Нужны ли археологическіе курьезы? Не теряется ли при этомъ главное: живая прелесть стиха, его волшебное настроеніе, способное возбудить въ воображеніи такую обстановку, передъ которой померкла бы сама дѣйствительность? Зачѣмъ мнѣ музыка оркестра, когда въ гармоніи стиха есть своя музыка? Хоры у Софокла раздѣлены на строфы, антистрофы, эподы,— здѣсь они слиты въ одинъ сплошной хоръ. Вѣрно ли это? Почему въ Théatre Français въ „Oedipe-Roi“ хоры не поютъ, а лирически декламируютъ, причемъ выбираются исполнители съ звучными, нѣжными голосами,— и каждый стихъ, каждое слово звенитъ какъ золотая струна. Сколько сокровищъ таитъ въ себѣ античная трагедія! Когда-нибудь, быть можетъ, мы увидимъ Прометея, Эдипа, Филоктета,

Благоговѣя богомольно
Передъ святыней красоты.

За букинистовъ *).

На-дняхъ въ „Новостяхъ Дня“ появилась, за подписью С. О., жестоко-обличительная статья „Наши букинисты“. Появилась она какъ разъ передъ большимъ торгомъ на Вербахъ. Такая статья можетъ очень повредить букинистамъ. Припоминаю, что годъ или два тому назадъ тоже появилась въ московской газетѣ сурово-обличительная статья противъ торговцевъ на Сухаревскомъ рынкѣ; обвинялись они чуть не поголовно въ покупкѣ завѣдомо-краденаго и въ мошенничествѣ. Крайняя преувеличенность и несправедливость такихъ обвиненій противъ цѣлаго класса не крупныхъ, но, въ большинствѣ, весьма добропорядочныхъ торговцевъ, я помню, произвела тогда на многихъ любителей старья, а въ томъ числѣ на меня,—непріятное впечатлѣніе. Что-то сходное есть въ обѣихъ статьяхъ. Справедливость требуетъ дать мѣсто и противоположному мнѣнію, такъ сказать—апологіи букиниста. Истина, вѣроятно, отыщется гдѣ-нибудь въ срединѣ между двумя крайностями.

Г. С. О. увѣряетъ, что теперь нельзя, какъ прежде, „достать у букиниста, за недорогую цѣну, хорошую, хоть и подержаную книгу“, и что букинистъ „утратилъ прежній добродушный типъ“. Выходитъ какъ будто, что прежде букинисты были такъ добродушно-несвѣдущи, что у нихъ можно было за безцѣнокъ купить дорогое изданіе? Но при

*) „Новости Дня“ 24 марта 1900 г.

покупкѣ, хотя бы и „по случаю“, вовсе не желательно, для порядочнаго человѣка, пользоваться чужимъ добродушіемъ и незнаніемъ. Да, прежде букинисты бывали полуграмотные мужички, но и тѣ, по правдѣ сказать, знали своему товару цѣну и охулки на руку не клали: попробовали бы вы у покойнаго Богданова на Никольской купить дешево раскольничьи изданія! А иностранныя книги цѣнились у него дешево, и разбирался онъ въ нихъ плохо. Это правда. Да вѣдь и самому-то онѣ, вѣроятно, доставались за грошъ! Тогда (лѣтъ 30 тому назадъ) распродавались старинныя барскія библіотеки, пропадавшія на чердакахъ и въ подвалахъ. Теперь ихъ почти нѣтъ, и цѣны на книгу поднялись. Теперь букинистъ, какъ и все, что его окружаетъ, измѣнился. Поумнѣлъ, пріобрѣлъ опытъ, спеціализировался. Букинистъ нашъ сталъ приближаться къ типу иностраннаго книгопродавца-антикварія. Многіе (Клочковъ, Шибановъ, Старицынъ, Мелинъ, Трусовъ и др.) издаютъ каталоги, служащіе важнымъ источникомъ для исторіи, библіографіи, литературы. Шибановъ—спеціалистъ и знатокъ русской старины, Мелинъ — знаетъ толкъ во французской литературѣ. Въ одной Москвѣ въ 1899 году значилось 32 фирмы букинистовъ, и въ Петербургѣ столько же, если не больше, такъ какъ многіе торговцы рынковъ вмѣстѣ съ новыми книгами продаютъ и старыя, и не значатся букинистами. Но г. С. ополчается не противъ магазиновъ, а главное—противъ рыночныхъ торговцевъ, называемыхъ книжниками. Однако, подъ понятіе „наши букинисты“ подходятъ и тѣ, и другіе.

Ошибается г. С., думая, что *теперь* уже нельзя купить за сходную цѣну хорошую книгу. Случайныя покупки никогда не утратятъ своего характера. И прежде, и теперь, если вы знаете толкъ въ книгѣ, вы купите у букиниста за $^1/_2$ цѣны, а то и дешевле русскую старую книгу, а французскія изданія Шарпантье, Леви и т. п., стоящія $3^1/_2$ франка (въ дѣйствительности всегда продаваемыя въ Парижѣ за 2 фр. 75 с.) вы купите за 40—50 коп. Цѣн-

ныя иллюстрированныя изданія бываютъ поразительно дешевы. Брошюры, портреты, журналы идутъ за безцѣнокъ. Что теперешній букинистъ не отдастъ дешево русскую библіографическую рѣдкость, это очень можетъ быть, но, покупая рѣдкость, вы пріобрѣтаете вещь, цѣнность которой возрастаетъ съ каждымъ днемъ, и потому, заплативъ за нее дорого, вы не въ накладѣ. Сколько драгоцѣнностей куплено подъ Сухаревой и на Вербахъ — объ этомъ могли бы повѣдать знаменитые московскіе библіографы. Бываютъ, конечно, цѣлыя эпохи, когда какой нибудь катаклизмъ выбрасываетъ на книжный рынокъ массу рѣдкостей. Теперь этого нѣтъ, но все же рѣдкости таятся въ заманчивой пыли букиниста. За рѣдкостью тоже походить нужно.

Г. С. утверждаетъ, будто букинистъ съ русской книги, совершенно истрепанной, дѣлаетъ скидку 25%, а въ магазинѣ съ цѣны новой скинутъ 15%. Положимъ, что торговаться въ книжныхъ магазинахъ какъ-то не принято и подобныя скидки врядъ-ли дѣлаются кому, кромѣ обычныхъ „хорошихъ“ покупателей, но вѣдь, главное, у букиниста вы находите то, чего нѣтъ въ книжной лавкѣ!

Г. С. укоряетъ всѣхъ „книжниковъ“ въ томъ, что они „норовятъ надуть публику“, продавая книги съ недостающими листами. Это можетъ случиться, но отъ такой случайности можно себя обезпечить. Спросите букиниста прежде, чѣмъ брать книгу: ручаетесь за цѣлость? Если онъ скажетъ, что провѣрялъ, что ручается, можете быть увѣрены, что все въ порядкѣ; или купите съ условіемъ: если не хватитъ страницы, возвратить деньги: всякій порядочный букинистъ возьметъ книгу обратно. Случаевъ мошеннической вклейки страницъ *другого* изданія мнѣ никогда не приходилось видѣть, но вѣдь это ужъ уголовщина, а не торговля. Букинистъ, какъ и всякій купецъ, долженъ дорожить своимъ кредитомъ: если онъ обманетъ разъ, другой разъ у него вы покупать не станете, и дурная слава отобьетъ у него практику. Но, какъ старый библіоманъ, я скажу, что такіе обманы составляютъ рѣдкія исключенія,

а вовсе не правило! Часть моей библіотеки составилась изъ покупокъ подъ Сухаревой и у букинистовъ, и такія покупки оставили мнѣ самыя пріятныя воспоминанія.

Г. С. сѣтуетъ на покупку букинистами книгъ у малолѣтнихъ. Старая исторія! При мелочной продажѣ вещей изъ рукъ въ руки законъ не требуетъ представленія метрическаго свидѣтельства. Малолѣтній можетъ купить, напримѣръ, селедку въ лавкѣ, а другой малолѣтній можетъ ему ее продать. И ничего, сдѣлка дѣйствительна. Почему-же малолѣтній можетъ купить книгу, а продать не можетъ? Тогда книжную или всякую торговлю слѣдовало-бы производить только у нотаріусовъ.

Вездѣ, во всемъ мірѣ, школьники продаютъ свои старые учебники, тѣмъ болѣе, что гг. педагоги неукоснительно издаютъ все новые.

Г. С. предлагаетъ „упорядочить“ это дѣло, подвергая букинистовъ карѣ за покупку книгъ у малолѣтнихъ. Такая *кара* была-бы совершенная юридическая безсмыслица: во-первыхъ, потому что букинистъ не имѣетъ ни права, ни средствъ провѣрять возрастъ и самоличность продавца и, во-вторыхъ, потому, что такъ какъ гражданская сдѣлка съ несовершеннолѣтнимъ ничтожна, то она всегда можетъ быть судьей признана недѣйствительной, со взысканіемъ убытковъ, а уголовной карѣ здѣсь дѣлать рѣшительно нечего. Вѣдь торговля не есть только терпимое занятіе, и упорядочить не значитъ прекращать ее.

Книгопродавцы издавна враждуютъ съ букинистами. Въ Петербургѣ имъ удалось добиться крайне, по-моему, прискорбнаго мѣропріятія. Градоначальникъ Грессеръ запретилъ торговлю книгами на улицѣ, на мостовой, изъ ларей и загналъ букинистовъ въ закрытыя лавки и магазины. Дѣлалось это для благоустройства и благообразія. Совершенно непонятное соображеніе! Почему продажа книгъ на улицѣ не благообразна? По-моему, ничего не можетъ быть лучше: идешь, бывало, по мосту, лежатъ книги. Куда-бы ты ни поспѣшалъ, а остановишься невольно: по-

лустертыя золотыя буквы таинственно мерцаютъ на почтенныхъ корешкахъ. Заглавія геніальныхъ или забытыхъ твореній привлекаютъ невольное любопытство, и вдругъ, за нѣсколько двугривенныхъ покупаешь, уносишь книгу, быть можетъ, гордость и украшеніе скромной библіотеки! Помилуйте, какое еще нужно благоустройство!

— Что прежде была за улица Никольская,— говорилъ мнѣ, вздыхая, старый любитель: сколько было букинистовъ, не перечесть! Лавки темныя. Книгъ бездна, пылищи этой — страсть! Великолѣпіе. Заберешься туда — и не видишь, какъ время летитъ. А какія сокровища разыскивались въ этомъ хламѣ! Да, что и говорить! А теперь, Богъ знаетъ, что это за улица: торгуютъ губками, трубками, какими-то дамскими принадлежностями, вообще вздоромъ. А гдѣ букинисты? Нѣтъ букинистовъ! Скрывались они, бѣдные, въ Третьяковскомъ проѣздѣ, и оттуда ихъ вытѣснили. Нѣтъ, теперь куда хуже стало!

Парижъ по благообразію не чета Петербургу. А тамъ, на протяженіи нѣсколькихъ верстъ, по набережной Сены, въ ларяхъ, въ ящикахъ торгуютъ букинисты. Да это лучшее мѣсто Парижа! Тутъ-же, въ двухъ шагахъ, на лѣвомъ берегу, процвѣтаетъ книжная торговля въ тысячѣ магазиновъ. Тамъ люди умѣютъ торговать. У насъ-же норовятъ только все „запретить“, да „обуздать“, и вообще „пресѣчь“. Я-же скажу: въ интересахъ русской библіографіи не преслѣдуйте, а поощряйте букинистовъ, разрѣшайте имъ торговать на улицѣ (Скучна, господа, улица безъ букинистовъ!), на мостахъ, на набережной. Подумайте: они „книгой“ торгуютъ, т.-е. хлѣбомъ духовнымъ... вѣдь почти „всякая“ книга таитъ въ себѣ хоть малую искру духа.

Интересны-ли мы?

Въ архивахъ, въ музеяхъ, въ библіотекахъ собраны на ряду съ шедеврами и мельчайшіе, ничтожнѣйшіе памятники прошедшаго. Коллекціи автографовъ хранятъ записки, которымъ въ свое время не придавалось ни малѣйшаго значенія. Собиратели портретовъ съ любовью сортируютъ физіономіи, изъ которыхъ большинство непріятно и незначительно. Замѣтили ли вы, какъ вообще непріятно впечатлѣніе, производимое изображеніемъ незнакомыхъ намъ лицъ? Въ этомъ отношеніи особенно ужасны чужіе альбомы фотографическихъ карточекъ.

Вспомните витрины нѣкоторыхъ провинціальныхъ музеевъ, напр., севастопольскаго, виленскаго и радищевскаго. Отъ пыльныхъ обломковъ, ржавыхъ, потускнѣвшихъ, которыхъ и чистить уже нельзя и которые никогда блестѣть не будутъ—вѣетъ чѣмъ то мертвеннымъ. Все это—некрасиво, холодно, непріятно, а между тѣмъ — все это интересно, драгоцѣнно, исключительно, незамѣнимо-дорого!

Не успѣетъ пройти ста лѣтъ, какъ мы съ вами, господа, и все, что насъ окружаетъ—все это сдѣлается интереснымъ, все будетъ достояніемъ музеевъ и коллекцій. Еще сто лѣтъ — и наши кухонныя книжки попадутъ въ библіотеки, въ отдѣлъ рукописей. Весь вздоръ, какой мы пишемъ, — будетъ имѣть историческое значеніе. Каждая строчка пустого письма — черезъ нѣсколько вѣковъ пріобрѣтетъ значеніе свидѣтельства, чуть не памятника. И не возражайте, пожалуйста, что такая честь подобаетъ только геніямъ. Геніи—тѣ сами по себѣ. О тѣхъ и говорить нечего. Многіе изъ насъ, навѣрное, услышатъ изъ дѣтскихъ устъ вопросъ: неужели ты, дѣдушка, жилъ при графѣ

Толстомъ? И видѣлъ его? И что же, какой онъ былъ, разскажи? Уже теперь каждая строчка, написанная рукой гр. Л. Н. Толстого, покупается продавцами автографовъ.

Но я говорю не о геніяхъ, а о толпѣ. Дайте намъ переписку человѣка изъ толпы, самаго зауряднаго человѣка—временъ Петра I и посмотрите, какъ разгорятся глаза у коллекціонеровъ, у архиваріусовъ и библіотекарей. Исторія пишется умами высшими, а дѣлается всѣми. Моя исторія, біографія ничтожнаго и неинтереснаго человѣка—интересна и значительна какъ часть цѣлаго, а мою исторію я пишу каждый день въ моихъ письмахъ и читаю въ письмахъ, которыя мнѣ пишутъ.

Сколько въ жизни каждаго человѣка бываетъ интересныхъ, единственныхъ въ своемъ родѣ писемъ. Гдѣ они? „Ахъ, не знаю! поискать нужно. Не знаю, куда засунулъ. А вѣдь были!“

Сколько пропало драгоцѣннѣйшаго матеріала! И все некогда! И все „не знаю, куда-то дѣвалъ... а были“. А тамъ, глядишь—и смерть наступила. Нужно все бросать—и все разсѣянное по вѣтру пропадаетъ.

А между тѣмъ, вѣдь совсѣмъ не трудно сохранять свои письма, каталогировать свои книги, упорядочить свой архивъ. За 90 коп. вы купите „Распредѣлитель Сеннекена“, гдѣ по алфавиту сохранятся переплетенными тысяча писемъ.

Наступитъ время, вамъ захочется всмотрѣться въ вашу собственную исторію, въ ваше прошлое—и оно воскреснетъ передъ вами въ письмахъ друзей, въ свидѣтельствахъ о вашемъ трудѣ, о вашихъ радостяхъ и печаляхъ.

Все, господа, все нужно коллекціонировать! Старыя газеты слѣдуетъ переплетать; письма—всѣ хранить (конечно, если вы не имѣете особыхъ причинъ опасаться. Въ такомъ случаѣ храните письма особо). Старыя афиши театральныя драгоцѣнны уже черезъ 10 лѣтъ. Если же судьба доставила счастье—быть близкимъ съ поэтомъ, съ художникомъ... о! не будьте же вандаломъ! не бросайте ничего!

помните, что автографы поэта цѣнятся на вѣсъ золота... лѣтъ черезъ 25. Ну, если не золота, то во всякомъ случаѣ даже серебра.

Также драгоцѣнны тѣ смиренные предметы, которые окружаютъ насъ въ будничной жизни. Мы къ нимъ относимся съ презрѣніемъ. Какъ смѣшонъ, напримѣръ, кисетъ табачный, вышитый бисеромъ! Что за гадость, модные щипцы, которыми съ сальной свѣчки „снимали". Нѣтъ, господа: и кисетъ, и щипцы, и всякая тому подобная дребедень—заслуживаютъ сохраненія. Они документируютъ эпоху и складъ жизни, уже отошедшій въ вѣчность. Они—обломки прошедшаго, которое никогда уже не вернется. Они—историчны. Помѣщичій бытъ тургеневскихъ повѣстей полонъ такихъ подробностей, которыя уже исчезли, другія исчезаютъ, какъ „старый хламъ". Папиросы давно вытѣснили чубуки въ бисерныхъ чехлахъ. Костюмы эпохи сохранились только на рисункахъ. А гоголевская эпоха? Да что и говорить! Только подъ Сухаревой и въ пыли старьевщиковъ еще таятся бытовые памятники нашего недавняго прошлаго. Не презирайте ихъ. Спасите, что можете, отъ погибели. Вѣдь они грошъ стоятъ теперь, а черезъ 100 лѣтъ имъ цѣны не будетъ.

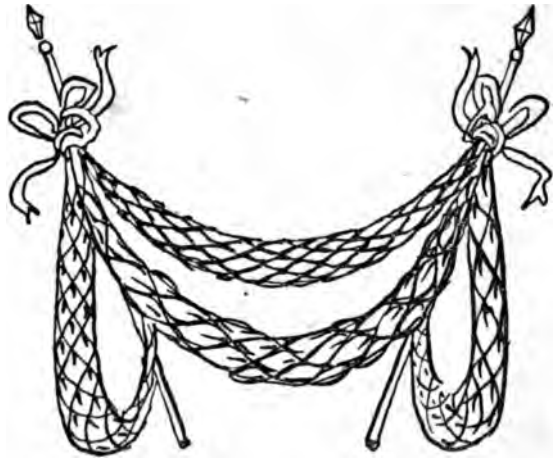
Между остроумцами почему-то принято издѣваться надъ коллекціонерами: какіе чудаки! Одинъ собираетъ старые башмаки, другой — пуговицы (что можетъ быть смѣшнѣе пуговицы!). Но смѣшного тутъ ничего нѣтъ: коллекція обуви имѣется въ британскомъ музеѣ. Пуговицы составляютъ интересную подробность историческаго костюма. Собираніе старыхъ почтовыхъ марокъ уже никѣмъ не считается смѣшнымъ, когда торговля ими достигла въ Европѣ значительныхъ оборотовъ, а нѣсколько спеціальныхъ изданій поддерживаютъ интересъ къ аукціонамъ марокъ и коллекціямъ „филалетистовъ".

Вы скажете: все это прекрасно, но куда же дѣвать такую массу хлама? Вѣдь отъ пыли одной задохнешься!

Нисколько. Если вы составили коллекцію какихъ бы то ни было вещей, подарите ее одному изъ музеевъ или продайте частному лицу, коллекціонеру: не безпокойтесь, коллекціи у насъ не залеживаются. Нѣтъ, кажется, болѣе выгоднаго даже въ чисто-денежномъ отношеніи дѣла. Тысяча разныхъ предметовъ, изъ которыхъ каждый отдѣльно взятый не имѣетъ цѣны, представляетъ цѣнность нѣсколькихъ сотъ рублей, а черезъ нѣсколько лѣтъ — тысячъ рублей.

Противъ пыли средство простое: держите вещи взаперти, въ дешевомъ сундукѣ или шкафѣ. Но главное: каталогируйте ваши коллекціи на осьмушкахъ простой бумаги, расположенныхъ въ алфавитномъ порядкѣ.

И повѣрьте, охраняя отъ разрушенія и истребленія смиренные памятники нашей жизни, вы потрудитесь для культуры. И вы сами, и ваши коллекціи, что бы то ни было — все будетъ интересно.



Философская драма*).

Имя Николая Максимовича Минскаго занимаетъ одно изъ почетныхъ мѣстъ въ современной русской поэзіи. Его стихотворенія, вышедшія 3-мъ изданіемъ въ 1899 г., изобличаютъ бурную и страстную душу лирическаго поэта, влекомаго грандіозными картинами. Это лирикъ, но и риторъ. Въ словѣ риторъ здѣсь не должно искать оттѣнка порицанія: въ Минскомъ натура ритора, естественно одареннаго страстнымъ краснорѣчіемъ, нисколько не исключаетъ искренности. Это черта его индивидуальности, какъ я ее понимаю, точно также какъ нѣжная прелесть поэзіи Андреевскаго, пышная и наивная красочность Фофанова, мистика Мережковскаго, серебристо-туманный колоритъ Бальмонта—составляютъ характерныя черты ихъ артистическихъ индивидуальностей. Въ Минскомъ мы имѣемъ лирика, совершенно лишеннаго наивности. Онъ поэтъ, но онъ и философъ. Его книга „При свѣтѣ совѣсти“ излагаетъ „мысли и мечты о цѣли жизни“. Онъ убѣжденъ, что жизнь имѣетъ цѣль, и онъ ищетъ эту цѣль. Рефлексія сильнаго ума, дисциплинированнаго метафизикой, чувствуется и въ поэтѣ. Борьба двухъ стихій—разсудка и лиризма—примиряется страстною риторикой поэта-пессимиста. Въ наслоеніяхъ, изъ которыхъ образовалась такая сложная натура, можно распознать и крѣпкія классическія основы: Минскій является новымъ талантливымъ переводчикомъ величайшаго

*) „Новости Дня“ 17 апрѣля 1900 г.

изъ поэтическихъ шедевровъ міра, гомеровской „Илліады“. Онъ пилъ живую воду Кастальской струи изъ самаго источника. Но тотъ-же поэтъ усвоилъ себѣ ученія Платона и Ницше, и онъ-же написалъ блестящую характеристику Ибсена. Поэтовъ съ такимъ умственнымъ горизонтомъ и у насъ, и въ Европѣ—немного.

Когда Минскій былъ болѣе риториченъ (какъ дебютантъ въ „Вѣстникѣ Европы“, въ поэмѣ „Бѣлыя ночи“, „Геѳсиманская ночь“ и др.) онъ пользовался популярностью. Но, къ счастью для него, это опасное преимущество вскорѣ имъ утрачено. Чѣмъ выше возносилась его мысль, чѣмъ страстнѣе стремился онъ обнять задачи красоты вѣчной, тѣмъ болѣе теряла его изъ виду публика, любящая больше всего понятное и временное. Въ одной критической статьѣ о Минскомъ говорилось, что онъ является наслѣдникомъ... Надсона. Это жестоко и несправедливо. Даже враги Минскаго не станутъ отрицать, что онъ, при всѣхъ своихъ недостаткахъ, несомнѣнно поэтъ, обладающій собственнымъ стилемъ, пишущій своимъ языкомъ, съ своимъ темпераментомъ, словомъ, какой ни-на-есть, но подлинникъ, оригиналъ, а не копія съ копіи. Эта оригинальность, какъ все, что въ области искусства ново — усваивается не легко, разстраиваетъ складъ привычекъ и традицій и, конечно, вредитъ популярности. Перепѣвы симпатичной, т.-е. популярной „идейности“ всегда должны пользоваться большимъ успѣхомъ, чѣмъ новые мотивы. Банальность—общедоступна.

Въ послѣднее время почитатели Минскаго были встревожены вѣстью о недугѣ, поразившемъ ихъ любимаго пѣвца. Говорятъ, что у этого коренастаго, приземистаго атлета развилась болѣзнь легкихъ, заставившая Минскаго покинуть тусклый небосклонъ чухонскихъ Аѳинъ и искать убѣжища въ заграничномъ санаторіи. Сильный организмъ поэта, надѣемся, преодолѣлъ недугъ. Успѣхи современной терапіи вскорѣ вернутъ намъ его такимъ-же румянымъ и здоровымъ,

какимъ онъ былъ прежде. Пламя, которое пылаетъ въ его груди, не разрушитъ свою бренную оболочку: онъ вернется, окрѣпшій, уравновѣшенный, продуктивный. По крайней мѣрѣ, его послѣднее произведеніе—„Альма“, свидѣтельствуетъ о томъ, что творческая сила поэта не изсякла.

Пьесѣ, написанной поэтическою прозою, предшествуетъ стихотвореніе, вклеенное въ книгу, повидимому, послѣ отпечатанія ея, какъ будто поэтъ счелъ нужнымъ пояснить стихотвореніемъ символическое значеніе драмы.

Нѣтъ двухъ путей добра и зла,
Есть два пути добра.
Меня свобода привела
Къ распутью въ часъ утра
И такъ сказала: двѣ тропы,
Двѣ правды, два добра.

Для толпы—это предметъ спора, но для мудраго—игра. Грѣхъ и зло—только первый поворотъ пути.

Ты призракъ Бога на землѣ,
Богъ—призракъ въ небѣ твой.

Свобода внушаетъ поэту оставаться невозмутимымъ, показать людямъ ея свѣточъ и заканчиваетъ свою мистическую проповѣдь, повторивъ, что оба пути ведутъ къ добру. Итакъ, муза, внушившая поэту его произведеніе—свобода, которая выше добра и зла, ибо она сама—высшее благо. Начинается пьеса. Мы, кажется, въ Петербургѣ, въ домѣ Лунина, простоватаго старичка, у котораго живутъ двѣ племянницы, богатыя красавицы — Альма (Александра) и Елизавета. Альма лежитъ на диванѣ съ компресомъ на головѣ, въ забытьи. Она отравилась, ее спасъ докторъ Строжъ, который при поднятіи занавѣса перелистываетъ дневникъ больной, желая узнать причину ея покушенія на самоубійство. Но въ дневникахъ онъ разгадки не находитъ. Докторъ считаетъ ее ненормальною эротоманкой, исповѣдующей культъ любви, но любви больной и призрачной, любви, которая пуще всего боится удовлетворенія, счастья.

Альма просыпается. Она признается, что рѣшилась лишить себя жизни, когда замѣтила, что полюбила юношу, Всеволода Сухонина, и что въ ней заговорилъ низменный инстинктъ половой страсти. До того она любила всѣхъ, была чиста и свободна. Теперь, когда ей не удалось умереть, она отдаетъ свою руку Сухонину.

Второй актъ, „Пріютъ Альмы", показываетъ намъ ея семейную обстановку. У Альмы родилась дѣвочка, которую мужъ ея любитъ страстно, какъ плоть отъ плоти своей. Но Альма, послѣ рожденія ребенка, разошлась съ мужемъ, сохранивъ къ нему нѣжныя чувства сестры и продолжая жить семейной жизнью. Она побѣдила инстинктъ половой, но рѣшилась побѣдить и другой инстинктъ — материнства. Свою дѣвочку она подмѣнила другою, взятою изъ пріюта, куда она принимаетъ всѣхъ дѣтей, отъ которыхъ отказываются родители. Всѣхъ дѣтей она любитъ, какъ свою родную дочь. Всеволодъ, узнавъ, что дитя, къ которому его неудержимо влекъ „голосъ крови"— не его ребенокъ, разстается навсегда съ женою. Онъ будетъ холить и любить всѣхъ дѣтей пріюта Альмы: вѣдь между ними и его дитя. Въ этомъ замыслѣ Минскаго—много оригинальнаго и несомнѣнно драматичнаго, хотя и не симпатичнаго съ общей точки зрѣнія. Впрочемъ авторъ искусно вставилъ мелькающія черточки материнской любви въ Альмѣ. Мы не можемъ здѣсь указать на эти детали и отсылаемъ читателя къ самой пьесѣ. Въ 3-мъ актѣ—на сценѣ убѣжище прокаженныхъ. Болѣе ужасныхъ страницъ, чѣмъ эти сцены, не найдется въ современной литературѣ. Поэзія ужаса и отчаянія здѣсь достигаетъ своего апогея, и впечатлѣніе это остается неизгладимымъ надолго. Альма посвятила себя служенію прокаженнымъ. Она рѣшила побѣдить инстинктъ страха и христосуется съ ними. Женщина-врачъ, ея самоотверженная подруга, замѣчаетъ, что Альма заразилась неисцѣлимою ужасною болѣзнью, и, изъ состраданія, даетъ ей яду.

Мы съ намѣреніемъ ограничились краткимъ и неполнымъ изложеніемъ трагедіи. Ее нужно прочесть всю, чтобы ощутить мощь и горечь произведенія. Въ персонажахъ второго плана, въ художникѣ Будаевскомъ, въ Софьѣ Семеновнѣ Строжъ, въ необыкновенно-ярко написанной фигурѣ юродиваго Тихона—много талантливыхъ штриховъ, много ума и наблюденія. „Альму“ придется прочесть не разъ, прежде чѣмъ читатель усвоитъ себѣ мысли автора, разбросанныя щедрою рукою, но иногда скрытыя въ символахъ и въ намѣренной темнотѣ.

Недостатки произведенія зависятъ прежде всего отъ его формы. Это — философская драма, въ родѣ Ренановскаго „Caliban“. Такъ какъ центральная фигура является глашатаемъ излюбленныхъ авторомъ истинъ, она становится абстракціей—и драма утрачиваетъ характеръ жизненности, т. е. является внутреннее противорѣчіе. Страданія абстракціи не могутъ насъ тронуть. Формула говоритъ, содержитъ въ себѣ истину, но все-таки не живетъ и не страдаетъ. Хотя авторъ и писалъ, быть можетъ, Альму съ натуры, но живою она не вышла. Онъ ее до того идеализировалъ, что всѣ контуры расплываются. То, что авторъ вѣщаетъ ея устами, интересно, поэтично, но читатель не вѣритъ въ Альму, и той божественной иллюзіи, которую даетъ искусство, создавая въ настоящей жизни другую жизнь, болѣе яркую, чѣмъ сама дѣйствительность,—этой иллюзіи я не испытываю. Наконецъ, предположенная проповѣдь чего бы то ни было можетъ, конечно, быть предметомъ поэзіи, потому что она—самое свободное изъ искусствъ, однако — эта свобода ограничивается какими-то хоть и мало знакомыми законами ея существа. Можетъ быть, когда поэтъ пишетъ съ цѣлью возсоздать жизнь какъ можно ближе къ дѣйствительности, онъ заставляетъ насъ вѣрить и въ душевный міръ своихъ персонажей, которыхъ мы видимъ живыми. Тогда и проповѣдь мы воспринимаемъ, такъ сказать, въ придачу. Произведеніе сохраняетъ единство, цѣльность. Но когда поэтъ желаетъ вну-

шить намъ извѣстныя истины и воплощаетъ ихъ въ персонажи отчасти сочиненные, отчасти списанные съ натуры— тогда происходитъ раздвоеніе: жизнь только подгоняется подъ теорію, а теорія является главнымъ; между тѣмъ, всѣ художники знаютъ, какъ трудно писать просто съ натуры, какъ разнообразна, неподатлива и капризна жизнь.

Въ трагедіи Минскаго психологія Альмы намъ совершенно непонятна. Откуда у этой петербургской demi-vierge, перебирающей до самоубійства „письма, цвѣты и духи", появились такія супра-ницшеанскія теоріи — совершенно неизвѣстно, а потому онѣ кажутся неправдоподобными. Занимаясь глубокимъ флиртомъ по формулѣ изъ „Pot-Bouille" Зола: „tout ce que vous voulez, mais pas ça"—гораздо легче дойти до раздраженія спинного мозга, чѣмъ до развитія головного.

То подчиненное значеніе, которое авторъ придавалъ дѣйствительности въ своей трагедіи, внесло въ нее элементъ двойственности, т.-е. распада. Жизнь отомстила за себя. Въ первомъ актѣ, напр., вся картина отравленія, вызвавшаго почти трехдневное безчувствіе больной, и безконечныя философствованія, которымъ та-же больная предается съ докторомъ немедленно послѣ того, какъ очнулась,—согласитесь, совсѣмъ невѣроятны! Такіе недостатки, можетъ быть, и певѣрно мною отмѣченные, въ силу моихъ субъективно-натуралистическихъ вкусовъ, не мѣшаютъ однако „Альмѣ" быть крупнымъ и значительнымъ произведеніемъ. Чувствуется, что оно выношено мрачнымъ талантомъ вдохновеннаго поэта-философа.

Въ немъ сказалось цѣлое міросозерцаніе, которое можетъ казаться намъ парадоксальнымъ, но тѣмъ не менѣе истекающимъ изъ глубины натуры исключительной. Натура Минскаго серьезная и глубокая; можно съ нимъ не соглашаться, но пренебрегать имъ нельзя, а считать его пьесу чѣмъ-то несерьезнымъ, чуть не пародіей—доказываетъ очень поверхностное отношеніе къ дѣлу. Если поэту, какъ мнѣ кажется, не удалась центральная фигура трагедіи, то онъ

можетъ намъ отвѣтить, что онъ избралъ такую форму произведенія потому, что она для публики доступнѣе, чѣмъ трактатъ. Когда-же поэтъ захочетъ утилизировать присущій ему даръ создавать новыя драматическія коллизіи, вызывать ужасъ и состраданіе—онъ найдетъ въ себѣ эту способность: доказательства въ его трагедіи на-лицо.

Судейскіе протесты противъ „Воскресенія“.

Въ январьской книжкѣ „Вѣстника Права“ помѣщена статья „Судебные дѣятели *по* „Воскресенію“ графа Л. Толстого“, за подписью „Бывшій прокуроръ, нынѣ судья“. Оказывается, что знаменитый романъ величайшаго писателя нашихъ дней уже успѣлъ вызвать маленькую литературу судейскихъ протестовъ (не смѣшивать съ кассаціонными!). „Подъ открытымъ письмомъ *Стараго судьи,* пишетъ бывшій прокуроръ,—помѣщеннымъ въ „Кіевлянинѣ“ № 222, подпишется *обѣими руками* всякій судья и прокуроръ“ (для чего-же—*обѣими руками?* Крайне безвкусное выраженіе!). Далѣе бывшій прокуроръ усматриваетъ у гр. Толстого „односторонность“, *проходящую красной чертой* (!) во всемъ романѣ... Красную односторонность! Изъ этой incohérence d'images можно усмотрѣть слабоватую литературность бывшаго прокурора. Для составленія протестовъ вообще, литературность, пожалуй, и совсѣмъ не нужна, но въ данномъ „дѣлѣ“ отсутствіе вкуса въ языкѣ доказываетъ, что авторъ мало доступенъ тому, что составляетъ главную силу Толстого: обаянію поэтическаго творчества.

Къ литературѣ судейскихъ протестовъ слѣдуетъ еще присоединить статью прис. пов. (бывшаго профессора) Л. Е. Владимірова, который тоже горько упрекалъ Толстого за несправедливость къ суду. Словомъ, у нашего суда защитниковъ оказалось много. Однако, эти протесты

кажутся лишь продуктомъ недоразумѣнія. Мы такъ привыкли повторять безсмысленную формулу „а что *хотѣлъ* авторъ этимъ сказать?“ и называть романистовъ „учителями жизни“, что, кажется, совершенно забыли о томъ, что всякій романъ есть продуктъ поэтической фантазіи, а не сколокъ съ дѣйствительности. Въ „Воскресеніи“ есть дѣйствительная жизнь,—но *претворенная* творческимъ темпераментомъ поэта. У гр. Толстого — колоссальная сила творчества совершенно субъективнаго. Всѣ предметы являются ему окрашенными не только какъ *мы* ихъ видимъ въ природѣ, а гораздо ярче. Когда онъ ихъ заноситъ на бумагу, онъ придаетъ имъ свой, толстовскій, колоритъ, рисуетъ ихъ своей, толстовской, манерой и совокупность этихъ условій создаетъ тотъ особый стиль, который свойственъ только ему одному во всемъ мірѣ. Вотъ что важно и интересно, а вовсе не то, чтобы гр. Толстой изображалъ судей и сенаторовъ по идеальному шаблону, составленному изъ самой безпристрастной помѣси достоинствъ и недостатковъ. Люди, въ сущности, чуждые литературы, почему-то воображаютъ — и пишутъ — что романистъ *обязанъ* изображать не исключенія, а типы. Но, во-первыхъ, единственная обязанность романиста, какъ и всякаго художника—это писать *хорошо,* а будутъ-ли это типы или исключенія, это ужъ какъ Богъ на душу положитъ.

Романъ „Воскресеніе“ написанъ не только хорошо, но прямо превосходно. Онъ весь точно озаренъ какимъ-то внутреннимъ свѣтомъ; отъ него такъ и вѣетъ жизнью — вѣдь это-то и есть иллюзія, производимая поэзіей, а не сама жизнь. Заставить насъ прочувствовать эмоцію жизни посредствомъ вымысла—величайшее торжество поэта. Едвали чудесная сила, таящаяся въ неисповѣдимыхъ нѣдрахъ творчества, дѣйствуетъ вполнѣ сознательно. Романистъ думаетъ, что онъ стремится къ ясно-сознанной цѣли; читатель (и въ особенности читатель-юристъ) думаетъ, что авторъ воленъ писать то или другое, такъ или иначе: воля-то, вѣдь, свободна? Но анализъ художественныхъ произведеній

показываетъ, что чисто-волевые моменты въ созданіи шедевровъ участвуютъ меньше, чѣмъ стихійно-безсознательные, непреодолимые инстинкты художественнаго творчества. Гр. Толстой—проповѣдникъ и моралистъ, но еслибы онъ былъ только проповѣдникомъ и моралистомъ, онъ не былъ-бы графомъ Толстымъ, великимъ поэтомъ и писателемъ. Проповѣдниковъ много, моралистами—пруды прудить, а поэтовъ мало. Графъ, конечно, могъ думать (судя по нѣкоторымъ извѣстіямъ), что онъ своимъ романомъ *доказалъ, показалъ* разныя несовершенства современнаго общества, но въ дѣйствительности та демоническая сила, которая клокочетъ въ груди, увлекала его то въ одну, то въ другую сторону, уносила его въ ширь поднебесную—тогда какъ онъ, можетъ быть, полагалъ, что идетъ по строго-размѣченному пути.

Хотя самъ гр. Толстой старался всячески заставить забыть, что онъ поэтъ, и увѣрялъ насъ въ исключительности своего призванія, какъ „учителя жизни", хотя и публика, повинуясь тому грубому утилитаризму, съ которымъ она лѣзетъ къ поэзіи, требуетъ „поученій" и какой-то „идейности", но, тѣмъ не менѣе, не слѣдуетъ же забывать, что графъ Толстой по своей литературной генеалогіи является прямымъ наслѣдникомъ гоголевской школы, а не аэролитомъ, упавшимъ съ неба. Вспомните вѣщія слова другого великаго писателя, соединившаго въ себѣ традиціи Пушкина и Гоголя: „мы всѣ вышли изъ *Шинели*". Эти слова Тургенева вполнѣ примѣнимы и къ „Воскресенію". Да, гр. Толстой обуреваемъ могучимъ демономъ сатиры, но сатира въ немъ составляетъ не такой ѣдкій реактивъ, какъ у Салтыкова, у котораго она значительно попортила живость красокъ; у Толстого сатира сливается съ изумительно-нѣжнымъ чувственнымъ даромъ въ изображеніи природы и красоты. Въ „Воскресеніи"—все, что составляетъ силу общества: барство, представители власти, въ томъ числѣ судьи—написаны въ ярко-сатирическомъ стилѣ. Другая половина романа, напротивъ, выписана въ самыхъ нѣжныхъ и чарующихъ тонахъ. Скажутъ, ну, и несправед-

ливо! Но поэты, какъ и сама природа, справедливы посвоему. Facit indignatio versum, но безпристрастіе еще не создавало художественныхъ шедевровъ. Сущность творчества проникнута страстнымъ вожделѣніемъ, а безпристрастіе—дѣло разсудочности. Для автора „Воскресенія“ весь складъ нашего общественнаго быта—вопіющее безобразіе. Ему кажется, что онъ долженъ ненавидѣть его всѣми силами души, и съ демоническою мощью воображенія рисуетъ ему безконечную вереницу образовъ, комическихъ или ужасныхъ. Можно-ли серьезно требовать отъ поэта, страстнаго и поэтому неуравновѣшеннаго раба своихъ впечатлѣній и владыки надъ нашими, чтобы онъ являлся „учителемъ жизни“? Вѣдь это комическое недоразумѣніе! Что мы *можемъ* иногда извлечь извѣстное *поученіе* изъ художественнаго шедевра, этого отрицать нельзя, но непосредственно шедевръ научаетъ только о своей собственной натурѣ или, вѣрнѣе, о натурѣ автора, а попутно можетъ вызвать, какъ индуктивный токъ, теченіе мыслей о другихъ предметахъ. Но это второе дѣйствіе имѣетъ мало практическаго значенія, и „ученіе *жизни*“ слѣдуетъ, конечно, понимать въ высшемъ смыслѣ, а никакъ не въ смыслѣ пользы для практическихъ цѣлей жизни.

Графъ Толстой или самъ, или черезъ своихъ героевъ, отрицаетъ науку, спектральный анализъ считаетъ безполезнымъ, порицаетъ дѣторожденіе, отвергаетъ деньги и банки, рекомендуетъ *всѣмъ* питаться растительною пищею, думаетъ, что просвѣщеніе приводитъ къ спиритизму, проклинаетъ уголовное и гражданское правосудіе. Неужели ко всёму этому можно относиться съ точки зрѣнія „учительства жизни“ или, другими словами, съ точки зрѣнія *пользы?* Всѣ эти странныя мысли составляютъ черты его индивидуальнаго темперамента, его сатирическаго демонизма. Онъ творитъ, а судить можетъ всякій. Страсть—удѣлъ богатырскихъ натуръ, а безпристрастіе—почтенныхъ посредственностей. И тѣ, и другіе люди Богу нужны, но для созданія первыхъ у него матеріала немного: на милліарды посредственностей приходится по одному генію.

Г. бывшій прокуроръ пишетъ, что одностороннее стремленіе *повлекло за собою возмездіе* (видите, какая юридическая логика: сейчасъ и возмездіе!) *извращеніе дѣйствительности жизненной, а потому и художественной правды*... сдѣлано то, что *великое произведеніе не въ состояніи доставить полнаго наслажденія*. Кому, г. бывшій прокуроръ? Вамъ? Но весь міръ испытывалъ это *полное наслажденіе* уже въ силу того, признаваемаго и вами обстоятельства, что произведеніе это—*великое*. Вы напрасно полагаете, съ такой прямолинейной логикой, что *жизненная* и художественная правда—одно и то-же. Жизнь въ искусствѣ является транспонированной и вовсе не совпадаетъ всецѣло съ дѣйствительностью. Усиленіе впечатлѣнія, освѣщеніе съ одной, а не со всѣхъ сторонъ—нисколько не противорѣчитъ художественной правдѣ (если можно употреблять такое неточное выраженіе) и можетъ не согласоваться съ безпристрастнымъ и *всестороннимъ* изученіемъ предмета.

Въ одномъ можно согласиться съ авторомъ: гр. Толстой, повидимому, не особенно хорошо *знаетъ* судебную среду. Это уже было замѣтно по „Смерти Ивана Ильича", гдѣ психологія героя не заключаетъ въ себѣ никакихъ спеціально-судебныхъ чертъ. Да, гр. Толстой не зналъ такихъ судей-праведниковъ, какъ П. М. Щепкинъ, Э. Н. Сумбулъ, такихъ сенаторовъ, какъ Д. А. Ровинскій, но странно требовать, чтобы онъ писалъ не то, что у него на душѣ, а другое, общеполезное. Отрицая всѣ формы общежитія, онъ не могъ не обрушиться на судъ—и создалъ страшныя, потрясающія картины.

Пишущій эти строки 30 лѣтъ знаетъ судъ вообще и судъ присяжныхъ въ особенности. Какъ-бы высоко ни стояло это учрежденіе, но говорить, что Толстой оклеветалъ его, взвелъ на него напраслину—невозможно. Случаи судебныхъ ошибокъ, не менѣе возмутительные, чѣмъ дѣло Масловой, вполнѣ возможны, и каждый адвокатъ можетъ привести изъ своей практики примѣры ужасающихъ приговоровъ. Комическія и несимпатичныя черты судебныхъ

дѣятелей романа взяты изъ жизни. Были и есть, конечно, идеальныя натуры въ судейской средѣ, но есть и гораздо худшіе типы, чѣмъ тѣ, которые изображены въ „Воскресеніи“. И кромѣ „бѣдныхъ и скромныхъ тружениковъ“, о которыхъ сокрушается г. бывшій прокуроръ, народилось немало дѣятелей, внесшихъ въ отправленіе судебныхъ обязанностей вовсе нежелательные пріемы. Если же мы признаемъ, что романистъ создалъ „великое“ произведеніе, но въ то-же время доказываемъ, что оно несогласно ни съ жизненною, ни съ художественною „правдою“, то должны заключить, что этотъ элементъ и не нуженъ для величія, или что съ нашими поправками романъ былъ-бы еще болѣе „великъ“. Но отъ добра добра не ищутъ. Создать великое—совершенно достаточно. Критическіе-же рецепты не только никогда не *создавали* ничего великаго, но въ большинствѣ случаевъ свидѣтельствовали о неспособности наивнаго воспріятія того, что въ литературѣ является истинно-великимъ.

Заблудившіеся шедевры *).

Въ послѣднемъ засѣданіи русскаго фотографическаго общества, 31-го мая, секретарь общества В. Н. Баснинъ предложилъ образовать комиссію по собиранію фотографій памятниковъ древности и при этомъ напомнилъ о сдѣланномъ мною въ 1899 году предложеніи „снять съ церкви на Никольской художественную группу, работы Гудона, о которой почти никто не знаетъ“.

Этихъ группъ двѣ; онѣ—произведенія знаменитаго Гудона (Jean-Antoine Houdon, 1741 — 1828), автора чудной Діаны (въ Эрмитажѣ) и поразительнаго Вольтера, улыбка котораго озаряла фойэ „Французской Комедіи“. Послѣ разныхъ злоключеній, „не успокоившись и въ вѣковомъ жилищѣ“, та-же статуя Вольтера (повтореніе) водворена, наконецъ, въ той-же галлереѣ Эрмитажа, гдѣ сіяетъ соблазнительная красота мнимой Діаны (портретъ Дюбарри?). Конечно, въ сравненіе съ такими перлами наши шедевры идти не могутъ. Но все-таки они—оригиналы Гудона, прекрасно сохранившіеся. И вдругъ, скульпторъ, воплотившій въ своихъ сознаніяхъ весь грѣховный блескъ эпохи Людовика XV—очутился гдѣ-же? въ Москвѣ, заброшенный, забытый, въ загонѣ.

А какую цѣну имѣютъ въ глазахъ современниковъ произведенія скульптуры эпохи Людовиковъ XV и XVI,—извѣстно всѣмъ. На парижской выставкѣ коллекціонеръ

*) „Новости Дня“ 5 іюня 1900 г.

баронъ Камондо поставилъ бронзовые часы, работы Фальконе, завѣщанные Лувру, и оцѣнилъ ихъ—въ три милліона франковъ.

Что-бы онъ сказалъ, увидавъ у насъ, на Никольской, невѣдомые, но несомнѣнные шедевры Гудона? Ихъ-то я и предлагалъ обществу сфотографировать, что можно сдѣлать при дневномъ освѣщеніи.

На Никольской, въ древнемъ Богоявленскомъ монастырѣ, я въ апрѣлѣ 1894 г. видѣлъ два великолѣпныхъ надгробныхъ памятника князей Алексѣя Дмитріевича и Михаила Михаиловича Голицыныхъ. Это — группы изъ бѣлаго мрамора, горельефы, если не ошибаюсь, аршина въ $1^1/_2$ или болѣе вышины и не менѣе аршина ширины, вдѣланныя въ стѣны надъ могилами. На одномъ надпись:

H. I. (то есть hic jacet).
Alexius Demetriewisch princeps a Galitzin
Anno MDCCLXVIII post impletum
Sexagesimum annum
Vita defunctus
Posuit filius Nicolaus Anno MDCCLXXIV
Houdon
Parisiis
Sculpsit 1774.

„Здѣсь покоится Алексѣй Дмитріевичъ князь Голицынъ, скончавшійся въ 1768 году шестидесяти лѣтъ. Поставилъ сынъ Николай въ 1774 году. Гудонъ въ Парижѣ изваялъ 1774“.

Другой памятникъ—свѣтлѣйшему князю Михаилу Михаиловичу Голицыну, умершему въ 1764 году.

Въ группахъ—обнаженныя фигуры, полныя граціи и своеобразной прелести. Но эти мраморныя тѣла не мало смущаютъ причтъ православнаго храма и развлекаютъ молящихся. И вотъ, во избѣжаніе соблазна, одна изъ группъ была закрыта прислоненнымъ щитомъ изъ досокъ. По просьбѣ моей, щитъ отняли. Шедевры языческой граціи выглянули на свѣтъ Божій—и скрылись.

Одинъ изъ причетниковъ, очень любезно допустившій меня къ осмотру памятниковъ, сообщилъ, что „лѣтъ шесть тому назадъ“ (около 1888?) памятники будто-бы были описаны въ „Нивѣ“.

Теперь является вопросъ: что дѣлаютъ эти миѳологическія аллегоріи съ ихъ мраморною наготою въ православномъ храмѣ? Онѣ, очевидно, заблудились и не знаютъ, какъ имъ выйти. Мѣсто-ли имъ въ мужскомъ монастырѣ? Чѣмъ закрывать Гудона досками, не лучше-ли его перевести куда слѣдуетъ, т.-е. въ университетскій музей, на Волхонкѣ? Надъ могилами остались-бы бѣлыя мраморныя плиты въ стѣнѣ, съ тѣми-же надписями. Могилъ никто-бы не потревожилъ; просвѣщенные потомки Голицыныхъ едва-ли-бы протестовали, а церковное начальство, вѣроятно, было-бы радо избавить храмъ отъ соблазна. А то среди иконъ— эти голыя ноги и спины... Странно какъ-то! Конечно, тогда было такое время, что вельможа могъ позволить себѣ нѣкоторую игру просвѣщеннаго вкуса. То былъ вѣкъ Екатерины, вѣкъ аллегорій. Теперь время иное. Пластическая грація языческихъ божествъ прекрасна въ музеѣ. А въ православномъ храмѣ она детонируетъ. Если-же, по какимъ-нибудь причинамъ, оказалось-бы, что заблудившіеся шедевры закрѣпощены навсегда, тогда, по крайней мѣрѣ, слѣдовало-бы сдѣлать съ нихъ гипсовые слѣпки, а то судьба мраморовъ тоже подвержена всевозможнымъ случайностямъ. Сегодня къ нимъ прислонятъ доски, завтра можетъ потребоваться ремонтъ зданія или вспыхнетъ, Боже упаси, пожаръ... И Москва лишится скульптурныхъ произведеній, которыя, будь они извѣстны, вѣроятно, давно-бы красовались на страницахъ исторіи искусствъ.

О памятникѣ Гоголю*).

Когда въ Греціи раздавались вѣсти о побѣдахъ—дрожали быки: ждали гекатомбы.

Когда у насъ раздаются вѣсти о новомъ памятникѣ, я чувствую какую-то дрожь, хотя казалось бы... мнѣ-то чего опасаться?

Но я перебираю въ умѣ наши русскіе памятники. Какъ сказать? Въ общемъ—они являютъ видъ печальный,—съ этимъ врядъ-ли кто будетъ спорить. Не будемъ говорить о томъ памятникѣ, который безпорядкомъ своего антуража огорчалъ Городничаго,—возьмемъ нѣсколько примѣровъ изъ болѣе извѣстныхъ.

Но предварительно предпошлемъ, какъ говорятъ профессора, нѣсколько общихъ замѣчаній и настроимъ себя, если возможно, на болѣе серьезный ладъ, съ оттѣнкомъ возвышенной меланхоліи.

Ничего нѣтъ удивительнаго, что у насъ скульптура не процвѣтаетъ: она не имѣетъ корней въ исторіи нашего національнаго искусства. На западѣ скульптура была любимою дочерью христіанской церкви,—у насъ, напротивъ, церковь не допускаетъ пластическихъ изображеній, статуй, видя въ нихъ какъ бы подобіе идоловъ. Въ народномъ искусствѣ мы создали каменныя бабы и замерли на складняхъ. Затѣмъ скульптура стала удѣломъ академическаго

*) Изъ журн. „Міръ Искусства“ 1900 г. № 9—10.

преподаванія и дала почтенныя, но мало оригинальныя пробы казеннаго творчества. На нашихъ глазахъ русская скульптура начала какъ будто проявлять признаки національнаго развитія, какъ вдругъ подоспѣли теоріи, такъ сказать, идейнаго утилитаризма, съ знаменитою формулою „что хотѣлъ этимъ сказать художникъ“, и намъ сталъ угрожать опять поворотъ къ каменнымъ бабамъ.

Итакъ, мы, русскіе, по части скульптуры — плохи. Культъ тѣла, красота формъ—это все... подъ сомнѣніемъ. А скульптура безъ тѣла врядъ-ли можетъ осуществить свои собственныя, спеціальныя задачи.

Результаты скудные, чтобы не сказать болѣе, мы видимъ на памятникахъ. Лучшій, Петра I въ Петербургѣ, и относительно недурной памятникъ Минина и Пожарскаго въ Москвѣ — произведенія не русскихъ скульпторовъ, Фальконѐ и Мартоса. Нашъ отечественный Фидій, Микѣшинъ, создалъ въ Новгородѣ родъ „поповки“ съ фигурами вокругъ, а въ Петербургѣ—огромный колокольчикъ на фундаментѣ, передъ Александринскимъ театромъ. Не думаю, что-бы эти національные шедевры могли возбудить въ насъ чувство особой гордости.

Ужасенъ памятникъ Лермонтову въ Пятигорскѣ! Печальны и остальные. А дюкъ де-Ришелье въ Севастополѣ, а Бобринскій въ Кіевѣ! Ни объ одномъ нельзя сказать, чтобы памятникъ служилъ украшеніемъ городу, чтобы онъ являлъ собою дѣйствительный апоѳеозъ человѣка, озареннаго безсмертіемъ: просто поставили памятникъ — онъ и стоитъ себѣ. Люди ходятъ мимо, никто на него не смотритъ и мало кто знаетъ—кого, почему, когда?

Памятникъ Екатерины II, Микѣшина, при натурализмѣ деталей представляетъ странную концепцію: верхняя фигура шествуетъ, а нижнія сидятъ, такъ что она идетъ у нихъ надъ головами и должна упасть. Силуэтъ и контуры страшно тяжелы, они совершенно теряются издали, а складки мантіи сливаются въ безформенную массу. Памятникъ задуманъ живописцемъ (хотя Микѣшинъ и рисовалъ-то пло-

хо), а не созданъ спеціальнымъ темпераментомъ скульптора.

О статуяхъ Кутузова и Барклая нечего и говорить. Онѣ съ какою-то покорною скукою стушевываются на фонѣ Казанскаго собора.

Одинъ изъ удивительнѣйшихъ памятниковъ находится въ Костромѣ: обелискъ, на самой верхушкѣ его бюстъ Михаила Ѳеодоровича, на самомъ краѣ пьедестала стоитъ на колѣняхъ Сусанинъ, у котораго мѣстный воръ отвинтилъ ногу.

Скажите, читатель, какъ вы понимаете, что такое памятникъ?—Это прежде всего произведеніе скульптора, вылѣпленное изъ глины, отлитое изъ бронзы или высѣченное изъ мрамора. Впрочемъ, высѣченныхъ... у насъ памятниниковъ нѣтъ: климатъ не позволяетъ. Наши морозы рвутъ на части мраморъ, начиная почему-то съ носа изображенія, ну, а при такихъ условіяхъ памятникъ существовать не можетъ.

Итакъ, скульптурное произведеніе, статуя изъ бронзы, на пьедесталѣ, поставленномъ на площади во славу великаго человѣка,—вотъ что называется памятникомъ.

Со стороны формы—статуя, какъ вещь художественная, должна быть *прекрасна*. Здѣсь умѣстно замѣтить, что подъ этимъ словомъ вовсе не разумѣется банальная красивость, le joli,—напротивъ, ничто такъ не противно прекрасному въ искусствѣ, какъ красивое, приноровленное ко вкусу толпы, воспитанной на магазинныхъ выставкахъ. Данте, Пушкинъ, Лермонтовъ, Гоголь не были красивы, но образы ихъ, созданные художникомъ, непремѣнно будутъ прекрасны, если сохранятъ свойственный имъ характеръ, печать индивидуальности поэта, и пріобрѣтутъ *стиль*, который отражаетъ индивидуальность художника.

Чтобы статуя, поставленная на площади, была прекрасна, она должна быть разсчитана на особыя условія перспективы и освѣщенія. Она стоитъ на высотѣ. Ея силуэтъ вырѣзывается отчетливыми контурами на яркомъ фонѣ

неба или освѣщенныхъ поверхностей. Поэтому невыгодно ставить бронзовую статую передъ темнымъ фономъ деревьевъ. Этотъ силуетъ долженъ быть характеренъ и стиленъ. Памятникъ дѣйствуетъ не деталями, а общею массою.

Если взглянуть на большинство нашихъ памятниковъ съ этой точки зрѣнія, т. е. спеціальной приспособленности статуи на высокомъ пьедесталѣ на открытомъ воздухѣ, то самымъ прекраснымъ изъ нихъ будетъ, конечно, *Петръ*, Фальконѐ, съ надписью „Петру *первому* Екатерина вторая".

Его силуэтомъ, гармоніей массъ, контрастомъ геніально скомпанованныхъ фигуръ и линій постамента-скалы вдоволь не налюбуешься! Сколько стиля и сколько характера! Конечно, нѣсколько страненъ костюмъ, котораго Петръ I никогда не носилъ, но вѣдь памятникъ допускаетъ извѣстную идеализацію, и допускалъ ее въ гораздо большей степени въ XVIII вѣкѣ.

Стильностью и большою виртоузностью техники отличается и другой петербургскій памятникъ — Императору Николаю. Но сравнивая натурализмъ Клодта съ манерою Фальконѐ, вы видите неизмѣримое превосходство послѣдняго. Памятникъ Клодта кажется тщательно отшлифованной металлическою моделью всадника. Памятникъ Фальконѐ дышетъ жизнью въ идеальной транскрипціи искусства. Мягкая лѣпка заставляетъ забыть о металлѣ. Но въ жесткой манерѣ Клодта есть нѣчто дающее памятнику извѣстную цѣльность. Стиль его—строго оффиціальный, казенный, но это все-таки—стиль. Возьмите теперь московскій памятникъ Пушкина: по-моему (я не навязываю своего сужденія и не стараюсь его *объективировать!)*, онъ крайне неудаченъ, въ смыслѣ формы. Его силуэтъ—скученъ, унылъ и некрасивъ. Прямыя складки плаща своимъ параллелизмомъ придаютъ контурамъ удручающую монотонность. Сомнительная стильность деталей костюма (покрой брюкъ, падающихъ грубой складкой на тупой носокъ сапога, соотвѣтствуетъ-ли эпохѣ?), притомъ отсутствіе характерности, банальность руки, держащей шляпу, удрученная поза съ понурою головой,—все это не возбуждаетъ восхищенія.

Всѣмъ извѣстно, что Пушкинъ былъ невысокаго роста,—на памятникѣ человѣкъ длинный. Пушкинъ поэтъ, одаренный божественнымъ, яркимъ лиризмомъ,—на памятникѣ человѣкъ съ понурой головой, меланхоликъ. Я понимаю, что хотѣлъ выразить скульпторъ: Пушкинъ—властитель думъ, Пушкинъ—изгнанникъ, поэтъ-учитель... Все это прекрасно, но главное, то, что составляетъ характеръ именно Пушкина, а не поэта вообще,—этого я не вижу. Москва, кажется, гордится этимъ памятникомъ, но я не встрѣчалъ людей, которые бы имъ *восхищались*. А искусство должно восхищать.

Поговоримъ теперь о внутренней, такъ сказать, сторонѣ памятника, о томъ, что онъ долженъ выражать. Въ нашемъ постоянномъ стремленіи къ утилитарности мы вѣдь требуемъ, чтобы искусство насъ (или не насъ собственно, а народъ вообще) поучало.

Казалось бы, мало-ли у насъ учителей: церковь, школа, администрація, судъ, журналистика—всѣ поучаютъ, а иногда и наказываютъ. Можно бы, кажется, предоставить живописи, музыкѣ и скульптурѣ только восхищать насъ, облагораживая попутно нашъ вкусъ.

Но нѣтъ! Музыка обязана смягчать наши нравы, живопись—будить гражданскія чувства, а скульптура—наставлять въ добродѣтели, именно посредствомъ памятниковъ.

Мнѣ же кажется, что скульпторъ долженъ стремиться *только* къ созданію характерной, стильной и прекрасной статуи.

Теперь представьте себѣ, что я долженъ былъ испытать, прочтя въ одной газетѣ слѣдующее: лицо, изъ городского управленія, состоящее, повидимому, въ коммиссіи о памятникѣ Гоголя, такъ формулируетъ свою программу: желательно изобразить Гоголя сидящимъ — это всего естественнѣе для писателя: пусть сидитъ и какъ будто пишетъ, а надъ статуей нужно устроить... прикрытіе. Вѣроятно, вродѣ навѣса!

Ну какъ же при этомъ не испустить вопля: Гоголь сидя, передъ столомъ, все это изъ бронзы,—слѣдовательно, на извѣстномъ разстояніи получится безформенная глыба съ торчащей головой. Сверху навѣсъ—сѣнь, что ли, или зонтъ, т. е. полнѣйшее безобразіе!—потому что разъ вы ставите статую на площади, то ставите ее *sub Jove,* подъ открытымъ небомъ, а если желаете сооружать навѣсы, такъ не проще-ли поставить ее въ зданіе, подъ крышу?

И вотъ при мысли, что 90.000 р. будутъ убиты для созданія новаго неудачнаго памятника на Руси, я ощутилъ то совершенно неразумное чувство, о которомъ упоминалъ въ началѣ письма. Конечно, оно глубоко неразумно: возможно ли кого-либо убѣдить, что въ вопросѣ о томъ, *какой* долженъ быть памятникъ Гоголю, никто не имѣетъ рѣшающаго голоса, кромѣ скульпторовъ и только скульпторовъ?

Я себѣ представлялъ памятникъ Гоголю такъ: 1) Прежде всего—поменьше hors-d'oeuvre'овъ, гарниру, и главное—дайте намъ Гоголя, безъ сѣней, галлерей, куполовъ и т. п. 2) Пусть характерная фигура великаго юмориста вырисовывается на высокомъ пьедесталѣ красивымъ, понятнымъ силуэтомъ. Ради Бога, забудьте о „невидимыхъ міру слезахъ“: памятникъ есть возвеличеніе генія, а вовсе не покаяніе. Памятникъ — видимое, а въ Гоголѣ видимый-то—„смѣхъ“, а не слезы. 3) Пусть скульпторъ изобразитъ намъ моментъ тріумфа Гоголя—ту единственную въ его жизни минуту, когда онъ торжествовалъ, когда успѣхъ и слава вѣнчали его безсмертіемъ, когда красота жизни, его собственная красота — просіяли съ наивысшимъ блескомъ. Вѣдь было же такое мгновеніе. Не повторите ошибки съ памятникомъ Пушкина: не изобразите намъ Гоголя идущимъ на плаху. 4) Надпись: предостерегаю васъ отъ повторенія ошибки, тоже допущенной на памятникѣ Пушкина,—тамъ стихи приведены въ редакціи... Жуковскаго, а не Пушкина, чудный же стихъ Пушкина „что въ мой жестокій вѣкъ прославилъ я свободу“... онъ-то и отсутствуетъ. Но лучше бы безъ надписей; къ чему онѣ? 5) Памят-

никъ долженъ быть прекрасенъ, — потому предоставьте скульптору скомпанировать его либо съ аллегорическими фигурами, либо безъ нихъ, но не позволяйте себѣ изрекать такіе вздорные афоризмы, какъ: *аллегорическія фигуры были-бы неумѣстны*. Да вы-то почемъ знаете? Вѣдь вы не скульпторъ, а муниципальный представитель,—такъ вы изучайте смѣту, наблюдайте за подрядчикомъ, но вопросы объ умѣстности аллегоріи предоставьте художникамъ. Это *предрѣшеніе* вопроса въ такомъ категорическомъ тонѣ... вѣдь это, господа, слѣды иконоборства. 6) Если скульпторъ создаетъ аллегорическія фигуры, не требуйте, чтобы онѣ были непремѣнно мужского пола или одѣты въ древнерусскіе сарафаны. Дайте просторъ скульптурной красотѣ линій человѣческаго тѣла. 7) Гоголь, безъ шляпы (нужно сохранить характеръ головы), стоя, въ костюмѣ своего времени, съ *римскимъ* плащемъ, накинутымъ на одномъ плечѣ, держа въ одной рукѣ первый томъ *Мертвыхъ Душъ!* Онъ читаетъ вслухъ. Другая рука мягкимъ жестомъ подчеркиваетъ прочитанную фразу. Довольно надписи, что памятникъ воздвигнутъ великому писателю Гоголю, автору Мертвыхъ Душъ и Ревизора. Это для насъ не нужно, а для народа полезно. А то выйдетъ опять тоже, что съ Пушкинымъ: да кто этотъ Пушкинъ, спросили у извозчика. —Кто его знаетъ?.. говорятъ, *учитель какой-то*,— отвѣчалъ возница, безсознательно вторя другимъ учителямъ...

Недоразумѣніе *).

(По поводу корреспонденціи г-жи Тэзи).

Въ № 6120 „Новостей Дня“ отъ 6-го іюня с. г., въ статьѣ „Вѣнскіе наброски“ г-жа А. Тэзи „считаетъ *нравственною обязанностью* назвать имя литератора, который *неслыханно дерзко присвоилъ* чужое произведеніе! Литераторъ этотъ К. Бальмонтъ, а произведеніе—„Донъ-Жуанъ“, Николауса Ленау. „Къ сожалѣнію,—пишетъ г-жа Тэзи,—у меня нѣтъ книги Бальмонта подъ рукой. Но читатель можетъ самъ сравнить. Его поэма „Донъ-Жуанъ“... *почти вся списана* у Ленау. Начало немного передѣлано. Но цѣлыя сцены, цѣлыя фразы и положенія взяты у Ленау. Пусть читатель, имѣющій подъ рукой Бальмонта, сравнитъ конецъ „Донъ-Жуана“, Бальмонта съ концомъ поэмы „Донъ-Жуанъ“, Ленау.

Mein Todtfeind ist in meine Faust gegeben,
Doch dies auch langweilt, wie das ganze Leben.

Къ сожалѣнію, не могу сейчасъ привести русскій текстъ Бальмонта, но я *сравнивала* и видѣла, что не только смыслъ, *но каждое слово* заимствовано у Ленау. Помню, какой восторгъ вызвала *эта фраза* у поклонниковъ Бальмонта: „Какой демонизмъ! Какая сила духа! Вотъ это символизмъ!“—говорили съ упоеніемъ русскіе декаденты“...

Далѣе г-жа Тэзи утверждаетъ, что „геніальный Ленау *написалъ* своего Донъ-Жуана, уже находясь въ домѣ для

*) „Новости Дня“ 13 іюня 1900 г.

сумасшедшихъ"; затѣмъ г-жа Тэзи передаетъ свой разговоръ съ докторомъ Левенфельдомъ, въ Берлинѣ, который скорбитъ, что молодые русскіе писатели „не стараются подражать" Толстому, Чехову и Короленко,—а занимаются плагіаторствомъ плохихъ нѣмецкихъ романовъ.

Въ заключеніе г-жа Тэзи посылаетъ еще по адресу Бальмонта нѣсколько отборныхъ упрековъ за его „кощунство" (?) надъ Ленау.

Я долженъ былъ выписать такъ много фразъ изъ статьи г-жи Тэзи, чтобы ясно формулировать ея обвиненіе. Литературные вкусы и мнѣнія автора и даже самого д-ра Левенфельда насъ не интересуютъ.

Мало-ли вздора пишутъ и говорятъ заграницей о русской литературѣ: на всякое чиханіе не наздравствуешься. Точно также не намѣренъ я спорить съ обличительницей о литературныхъ достоинствахъ или недостаткахъ Бальмонта. Нѣтъ, въ статьѣ г-жи Тэзи есть нѣчто другое: въ ней возводится на молодого русскаго поэта такое тяжкое обвиненіе, которое прямо касается его „чести": плагіаты—кража, дѣяніе, которое позоритъ доброе имя писателя. Въ послѣднее время было обнаружено нѣсколько подобныхъ кражъ или „позаимствованій", и вотъ г-жѣ Тэзи ея „нравственный долгъ" подсказалъ новое, эффектное обвиненіе, исполненное самаго благороднаго негодованія. Зная Бальмонта за писателя, страдающаго скорѣе избыткомъ вдохновенія, мнѣ сначала показалась странной вся эта діатриба. Но г-жа Тэзи пишетъ такъ категорично, прямо указываетъ примѣры.

Я сперва перечелъ Ленау (Sämmtliche Werke, herausgegeben von Emil Barthel. Изданіе 2-е Реклама). Во-первыхъ, я узналъ, что „Донъ-Жуанъ" написанъ въ Вѣнѣ и Штутгартѣ и оконченъ въ августѣ или сентябрѣ 1844 г., когда Ленау не былъ въ домѣ умалишенныхъ. Поступилъ же онъ въ больницу 22-го октября 1844 года и оставался въ ней до смерти, при чемъ, конечно, не былъ геніальнымъ, а просто душевно-больнымъ человѣкомъ и „Донъ-Жуана" не писалъ, такъ какъ онъ былъ уже написанъ.

Затѣмъ я исполнилъ просьбу г-жи Тэзи, обращенную къ читателю. Я взялъ книгу Бальмонта „Тишина“ (изд. 1898 г.) и сравнилъ „Донъ-Жуанъ, отрывки изъ ненаписанной поэмы“ съ „Донъ-Жуаномъ“, Ленау... Здѣсь, читатель, и я прошу вашего вниманія! Результаты получились интересные.

„Донъ-Жуанъ“ Бальмонта, состоитъ изъ 4-хъ сонетовъ и отрывка, всего 88 стиховъ.

Начало:

„La luna plena... Полная луна,
Иньесъ блѣдна, цѣлуетъ, какъ гитана,
Te amo... amo... Снова тишина,
Но мраченъ взоръ упорный Донъ-Жуана“.

Онъ не вѣритъ словамъ, онъ переходитъ отъ продажной женщины къ монахинѣ, онъ видѣлъ сонъ земли, и жаръ души исчезъ. Онъ будетъ мстить, какъ пиратъ, какъ бандитъ. На поединкѣ онъ убиваетъ Донъ-Люиса. Онъ вспоминаетъ степь и взоры *русскихъ женщинъ,* красавицу княгиню. Теперь онъ полюбилъ жестокія забавы — „полеты акробатовъ, бой быковъ“, плѣняющій развратъ, но иногда его образъ окутанъ печалью неземной.

Конецъ:

Я всѣхъ маню, какъ тонущая даль,
Уклончивымъ и тонкимъ очертаньемъ.
. . . . . .
Я весь—огонь, и холодъ, и обманъ,
Я радугой пронизанный туманъ.

Переходимъ къ Ленау... Но прежде всего нельзя не замѣтить, что Ленау, такъ же какъ Мольеръ, Да-Понте, Байронъ, Граббе, Пушкинъ, Бодэлеръ, А. Толстой, Бѣжецкій, Бальмонтъ и проч., черпалъ изъ общаго источника: изъ севильскихъ хроникъ и у Тирсо-де-Молина. Кому-же это неизвѣстно? Но „Донъ-Жуанъ Ленау,— говоритъ его біографъ Barthel,—„ist wieder Lenau selbst“ (стр. 693).

Произведеніе нѣмецкаго поэта, похищенное, будто-бы, Бальмонтомъ, написано въ драматической формѣ, занимаетъ

30 страницъ убористаго текста, приблизительно отъ 960 до тысячи стиховъ. Слѣдуя обвиненію г-жи Тэзи, сравнимъ начало, сцены, фразы, положенія и конецъ.

Начало: Донъ-Жуанъ и Донъ-Діего, его братъ. Діего присланъ отцомъ, чтобы узнать, какъ живетъ Жуанъ. „Ты, значитъ, шпіонъ и проповѣдникъ? Слушай-же. Я хочу въ бурѣ наслажденія облетѣть весь кругъ прекрасной женственности, умереть съ поцѣлуемъ“. Діего его увѣщеваетъ. Жуанъ развиваетъ теорію непостоянства. Какъ видитъ читатель,—у Бальмонта не то что передѣлано немного начало, а просто—ни малѣйшаго сходства.

Далѣе сцена: Донъ-Жуанъ и Марцелло скачутъ верхами въ лѣсу. За ними свита—двѣнадцать дѣвушекъ, переодѣтыхъ пажами. Они проникаютъ въ монастырь, соблазняютъ монаховъ, аббатъ въ отчаяніи поджигаетъ обитель и погибаетъ подъ ея развалинами. Далѣе. Садъ графа Просперо. Донъ-Жуанъ и графиня Марія. Онъ сравниваетъ ее съ цвѣтами, цѣлуетъ ей руку. Уходитъ. Сцена Маріи съ отцомъ Просперо. Онъ хочетъ ее выдать замужъ за стараго герцога. Марія противится. Маскарадъ. Маски преслѣдуютъ Донъ-Жуана. Сцена его съ Кларою: она покидаетъ его, чувствуя что онъ ее разлюбилъ. Донъ-Жуанъ и Граціозо. Монологъ.

Zum erstenmal bei diesem Weibe
Ist in der Liebe mir zu Muth,
Als sollte meine heisse Glut,
Auslöschen nie in ihrem Götterleibe.

(Привожу эти стихи для примѣра, въ какомъ стилѣ написана пьеса Ленау).

Слѣдуютъ сцены Жуана съ Маріей, съ герцогиней Изабеллой. Опять лѣсъ. Кладбище.

Dann mach ich gerne Kirchhofpromenade
Das wirkt wie eine Seelenlimonade.

Донъ-Жуанъ приглашаетъ командора. Пиршество въ залѣ. Толпа дѣтей и женщинъ врывается. Это все жертвы соблазнителя и его потомство! (Точно въ „Пурсоньякѣ“

Мольера!). Съ этой компаніей Донъ-Педро. Въ числѣ женщинъ — Констанца, Біанка, Теодора и Инеса (вотъ онъ плагіатъ-то! Но Инеса—нисколько не гитана и ничѣмъ не напоминаетъ сонетъ Бальмонта).

Донъ-Жуанъ передаетъ Дону-Педро завѣщаніе въ пользу потерпѣвшихъ, послѣ чего происходитъ дуэль, и Донъ-Педро его закалываетъ.

Конецъ: Донъ-Жуанъ произноситъ:

Мой смертельный врагъ въ моихъ рукахъ,
Но и это скучно, какъ вся жизнь.

Изъ нашего краткаго сценарія, читатель видитъ, подходитъ-ли эпитетъ „геніальный“ къ слабому произведенію Ленау, и можетъ-ли онъ кого соблазнить къ плагіату.

Теперь читатель самъ выведетъ заключеніе — гдѣ-же плагіатъ? Гдѣ кощунство? Гдѣ *положенія,* взятыя у Ленау? Гдѣ „не только смыслъ, но каждое слово, заимствованныя въ концѣ „Донъ-Жуана“ Бальмонта? „Я сравнивала и видѣла“,—патетически восклицаетъ г-жа Тэзи. Я такъ смущенъ былъ этими увѣреніями, что невольно подумалъ: не написалъ-ли Бальмонтъ *другую* поэму „Донъ-Жуанъ“, помѣщенную въ книжкахъ „Недѣли“. Въ той, которая помѣщена въ „Тишинѣ“, сходства съ Ленау—ни малѣйшаго. Я телеграфировалъ К. Д. Бальмонту въ Біарриць: „Avez vous publié un seul poème intitulé „Don-Juan“ ou deux?“ Телеграммою отъ 9-го іюня поэтъ отвѣчалъ: „Un seul“.

Теперь дѣло ясно. На Бальмонта взведена была напраслина. Авторъ ея показалъ, что онъ плохо помнитъ прочитанное даже относительно Ленау, который у него былъ подъ рукою, и еще хуже помнитъ то, чего у него на-лицо не оказалось. Память съиграла съ г-жею Тэзи жестокую шутку! Позорящее обвиненіе, взведенное ею на русскаго поэта, не положитъ пятна на его имя, но изъ этого случая можно заключить, что, не обладая „твердой“ памятью, слѣдуетъ болѣе бережно обращаться съ такими хорошими словами, какъ „нравственная обязанность“ и „неслыханная дерзость“.

III

И въ поблѣднѣвшей фотографіи, которая выцвѣла подъ вліяніемъ времени и пожелтѣла,—все еще хранятся черты умершаго человѣка, черты его, навсегда исчезнувшаго, сгинувшаго облика. Пускай сходство это будетъ слабымъ, но, основанное на личномъ впечатлѣніи, оно будетъ правдивѣе, чѣмъ описаніе, основанное на свѣдѣніяхъ изъ вторыхъ рукъ. Правдивость, положимъ, будетъ не абсолютная справедливость,—этой послѣдней, быть можетъ, даже вредитъ иной разъ личное впечатлѣніе,—а будетъ правдивость непосредственнаго ощущенія...

Изъ наброска кн. А. И. Урусова: «Въ Царствѣ Мертвыхъ, портреты по личнымъ воспоминаніямъ.»

Воспоминанія о князѣ А. И. Урусовѣ.

Я узналъ Александра Ивановича съ одиннадцати-лѣтняго возраста и былъ близокъ съ его семьей въ теченіе всей моей жизни. Но судьба такъ часто разъединяла насъ, что мои воспоминанія о немъ поневолѣ будутъ носить нѣсколько отрывочный и эпизодическій характеръ.

Прежде всего въ моей памяти весьма легко представляется появленіе Александра Ивановича и его брата Бориса въ первой московской гимназіи, когда я былъ во второмъ классѣ, и братья Урусовы поступили: младшій—въ первый классъ, а Александръ Ивановичъ—въ третій; такимъ образомъ, съ обоими ими я былъ въ разныхъ классахъ, тѣмъ не менѣе почему-то я съ первыхъ дней поступленія ихъ въ гимназію сошелся съ обоими и скоро сталъ очень часто бывать у нихъ, въ домѣ ихъ родителей. Оба они явились въ гимназію въ мундирахъ пажей и долго носили ихъ, пока имъ не сшили гимназическіе мундиры въ видѣ черныхъ сюртуковъ съ красными воротниками. Съ перваго же раза появленіе Александра Ивановича обратило на себя всеобщее вниманіе, и начальства, и товарищей; онъ держалъ себя необыкновенно свободно и много говорилъ во время рекреаціонныхъ сборовъ, такъ что вокругъ него всегда была толпа слушателей. Видно было, что онъ явился въ гимназію прекрасно подготовленнымъ, уже много видѣвшимъ и много читавшимъ. Въ гимназію и

изъ гимназіи, гдѣ оба брата были приходящими, ихъ всегда сопровождали два гувернера: нѣмецъ, Herr Holland и французъ Дюмушель. Перваго, впослѣдствіи много лѣтъ спустя, я встрѣтилъ проживающимъ на покоѣ въ имѣніи О. Н. Пономаревой (ур. Головиной) въ ея имѣніи Микулинѣ-Городищѣ Старицкаго уѣзда, Тверской губерніи, а второй—былъ впослѣдствіи содержателемъ весьма извѣстнаго пансіона въ Москвѣ и инспекторомъ классовъ одного изъ московскихъ институтовъ. Оба они были личностями выдающимися и воспитали Александра Ивановича, какъ говорится, на славу. Независимо отъ сообщенія ему массы самыхъ разнообразныхъ свѣдѣній, они передали ему превосходно знаніе обоихъ языковъ, французскаго и нѣмецкаго, которые Александръ Ивановичъ усвоилъ себѣ совершенно такъ-же, какъ и свой родной. Они оба очень долго проживали въ домѣ Урусовыхъ, до тѣхъ поръ, пока матеріальныя средства семьи были еще значительны и жизнь не стоила такъ дорого, какъ впослѣдствіи, когда семья увеличилась, а доходы уменьшились отъ плохого веденія дѣла и жизни сверхъ средствъ. Роль этихъ гувернеровъ въ семьѣ заняла впослѣдствіи англичанка миссъ Годжинъ, и всѣ заботы родителей о воспитаніи дѣтей сосредоточились на появившихся на свѣтъ двухъ дочеряхъ Ольгѣ и Евгеніи. Я не могу теперь съ увѣренностью сказать, кому обязанъ Александръ Ивановичъ полученнымъ имъ превосходнымъ образованіемъ въ первые годы его юности—отцу, или матери. Мои воспоминанія о томъ и другомъ не даютъ мнѣ никакихъ данныхъ, чтобы судить объ этомъ. Отецъ его, полковникъ Иванъ Александровичъ происходилъ изъ очень важной и аристократической семьи, зараженной всѣми предразсудками тогдашней московской знати; онъ былъ по своему времени человѣкъ образованный, даже музыкантъ, но всю жизнь ничего не дѣлавшій и исповѣдывавшій самыя крайнія убѣжденія военнаго и аристократа того времени. Княгиня Екатерина Ивановна была самая обыкновенная добрая и очень наивная женщина,

которая, конечно, не могла дать никакого опредѣленнаго направленія воспитанію своихъ дѣтей. Доказательствомъ этому служитъ то, что еще дочери получили кое-какое свѣтское воспитаніе, но оба другіе сына выросли не только почти безъ всякаго особаго воспитанія, но послѣдній, Сергѣй, даже и безъ образованія. Но зато Александръ Ивановичъ прямо блисталъ своимъ образованіемъ съ самаго ранняго юношескаго возраста и ослѣплялъ имъ своихъ сверстниковъ и гимназическое начальство. Для меня онъ съ перваго же раза сдѣлался какимъ-то кумиромъ и вліянію его я многимъ обязанъ въ своей жизни, хотя, благодаря особымъ свойствамъ его характера, бывали минуты, когда я отъ всей души ненавидѣлъ его, постоянно съ нимъ ссорился и даже расходился съ нимъ, чтобы никогда болѣе не сходиться,—но потомъ его обаяніе было такъ велико, что, несмотря на обиду, меня все-таки неудержимо влекло къ нему, я снова мирился съ нимъ и готовъ былъ на всякія пожертвованія, лишь бы быть съ нимъ въ хорошихъ отношеніяхъ. Чѣмъ болѣе мы подростали, тѣмъ болѣе Александръ Ивановичъ уходилъ отъ меня, а братъ его Борисъ сближался со мной. Эти отношенія къ нимъ обоимъ имѣли для меня прямо фатальныя послѣдствія, о которыхъ я упоминаю для того только, чтобы показать, какое громадное вліяніе могъ имѣть Александръ Ивановичъ на окружающихъ его людей. Я уже сказалъ, что мы были съ нимъ въ разныхъ классахъ и вотъ, для того, чтобы хотя въ университетѣ соединиться съ нимъ на одномъ курсѣ, я, невзирая на слезы близкихъ мнѣ людей, бросилъ гимназію послѣ пятаго класса, цѣлый годъ готовился и поступилъ въ университетъ вмѣстѣ съ нимъ въ 1861 году, шестнадцати-лѣтнимъ мальчикомъ, въ то время, когда ему уже было $17^1/_2$ лѣтъ. Толку изъ этого не вышло никакого и опять-таки, главнымъ образомъ, изъ-за Александра Ивановича. Я долженъ здѣсь разсказать и этотъ эпизодъ, потому что никогда не забуду его въ своей жизни.

У Александра Ивановича была тетка (родная сестра

скаго языка, потому что преподавалъ намъ ихъ такой человѣкъ, о которомъ у меня, по крайней мѣрѣ, сохранилось самое свѣтлое воспоминаніе. Я говорю объ учителѣ русскаго языка Михаилѣ Ивановичѣ Студениковѣ, другѣ и товарищѣ покойнаго Николая Саввича Тихонравова. Никакой грамматики онъ насъ не училъ, но языкъ мы знали превосходно и въ третьемъ классѣ писали не только безъ ошибки, но даже литературно. Это былъ необыкновенно длинный и неуклюжій господинъ, который одинаково любилъ меня и Александра Ивановича за наши литературныя занятія, которымъ мы оба предавались въ гимназіи съ какимъ-то упоеніемъ, читали наши произведенія на литературныхъ вечерахъ, стремились печатать ихъ въ журналахъ и, наконецъ, сами вздумали издавать журналъ. Съ этимъ журналомъ случился большой курьезъ. Во-первыхъ, находясь еще во второмъ классѣ гимназіи, я подалъ прошеніе на Высочайшее имя о разрѣшеніи мнѣ издавать журналъ въ гимназіи и затѣмъ, несмотря на полученный мною за это сильный нагоняй отъ начальства въ гимназіи, все-таки рѣшился издавать этотъ журналъ и безъ Высочайшаго разрѣшенія... Соредакторами моими по предположенному изданію были кн. А. И. Урусовъ и Петръ Андреевичъ Гильтебрандтъ (въ настоящее время извѣстный ученый, авторъ Словаря къ Евангелію и другихъ прозведеній). Первый нумеръ изданія, названнаго „Гимназическій Сборникъ“, былъ скоро составленъ и отлитографированъ въ количествѣ ста экземпляровъ. Но мнѣ хотѣлось, чтобы этотъ номеръ имѣлъ печатную обертку по образцу издававшагося въ то время въ Москвѣ, съ громаднымъ успѣхомъ „Русскаго Вѣстника“. И вотъ, не задумываясь долго, я составилъ эту обертку, на первой страницѣ которой значилось его содержаніе (статьи кн. А. И. Урусова, П. А. Гильтебрандта, моя и др.), а на другой были помѣщены свѣдѣнія объ условіяхъ подписки и о томъ, что журналъ издается съ разрѣшенія начальства гимназіи, а также указаны фамиліи трехъ редакторовъ; все это было

скрѣплено обычной отмѣткой: „печатать дозволяется“ и подписью цензора. Чтобы напечатать эту обертку, потребовалось, конечно, представить рукописный списокъ ея въ московскій цензурный комитетъ, который, по разрѣшеніи печатанія ея, отослалъ, на основаніи существовавшихъ правилъ, извѣстное число отпечатанныхъ экземпляровъ въ разныя мѣста, т.-е. въ главный цензурный комитетъ, въ Публичную Библіотеку, въ Академію Наукъ и проч. Не знаю, какое именно изъ этихъ учрежденій, получивъ обертку журнала, возбудило вопросъ о томъ, гдѣже самый номеръ журнала, и запросило объ этомъ начальство 1-й гимназіи. И вотъ я снова былъ призванъ предъ грозныя очи этого начальства, которое кричало на меня, по крайней мѣрѣ, четверть часа, угрожало исключеніемъ изъ гимназіи, но, въ концѣ-концовъ, смилостивилось и ограничилось отобраніемъ отъ меня всѣхъ экземпляровъ журнала и строжайшимъ запрещеніемъ издавать его въ какой бы то ни было формѣ. Эпизодъ этотъ, имѣвшій мѣсто въ 1859 году, когда намъ всѣмъ было по 14—15 лѣтъ, надѣлалъ много шуму въ гимназіи и очень содѣйствовалъ къ тому, что съ того времени наше рвеніе къ литературнымъ занятіямъ въ значительной степени ослабѣло... Но меня онъ не исправилъ, и въ 1861 году, уже студентомъ, находясь на первомъ курсѣ юридическаго факультета, я вновь издавалъ рукописную газету „Заря“ съ передовыми статьями по поводу студенческихъ безпорядковъ этого памятнаго года и съ блестящими статьями Александра Ивановича о московскомъ Маломъ театрѣ. Какъ жаль, что у меня не сохранилось этого единственнаго экземпляра „Зари“, которой, сколько мнѣ помнится, вышло 3 номера, лежавшихъ всегда на столѣ студенческой читальни. Но я хорошо помню, какимъ остроуміемъ блистали фельетоны Александра Ивановича о театрѣ. Впослѣдствіи театръ совсѣмъ наполнилъ его воображеніе, и я помню цѣлый рядъ его статей въ „Московскихъ Вѣдомостяхъ“ Корша о дебютахъ г-жи Ѳедотовой-Позняко-

вой и цѣлую монографію его, посвященную игрѣ этой актрисы и напечатанную въ одной изъ первыхъ книжекъ „Библіотеки для чтенія“, изданіе которой было тогда только что возобновлено П. Д. Боборыкинымъ, съ которымъ, кажется, уже въ то время Александръ Ивановичъ находился въ самыхъ дружескихъ отношеніяхъ. Я не ошибусь, если скажу, что первыми своими успѣхами Г. Н. Ѳедотова обязана, главнымъ образомъ, горячимъ статьямъ А. И. Урусова, подписывавшаго ихъ въ то время псевдонимомъ „Александръ Ивановъ“. Въ моей библіотекѣ сохранилось нѣсколько оттисковъ этихъ статей, подаренныхъ мнѣ Александромъ Ивановичемъ, знавшимъ про мою горячую страсть къ московскому Малому театру, постояннымъ посѣтителемъ перваго ряда креселъ коего (стоившаго въ то время 1 р. 50 к.) я былъ чуть-ли не со второго класса гимназіи.

Въ университетъ мы попали въ самый разгаръ извѣстныхъ студенческихъ исторій въ сентябрѣ 1861 года, ознаменовавшихся знаменитою битвою подъ Дрезденомъ *). Я не буду здѣсь останавливаться ни на описаніи этого движенія, ни на томъ участіи, которое въ немъ принимали отдѣльные студенты; я думаю, что для этого время еще не наступило, да и опредѣленныхъ данныхъ по этому предмету въ моемъ распоряженіи не имѣется. Въ общемъ, наше пребываніе въ университетѣ характеризуется тѣмъ, что мы много занимались политикою и нарождавшимися въ то время общественными вопросами и очень мало лекціями. Въ университетѣ въ тотъ годъ было до 3 т. студентовъ (изъ нихъ болѣе 1 т. поляковъ), которые были въ октябрѣ, кажется, почти всѣ лишены права посѣщать лекціи за отказъ въ подписаніи матрикулъ, а затѣмъ всѣ вновь были приняты по представленіи доказательствъ о болѣзни во время безпорядковъ... Медицинскія свидѣтельства выдавались студентамъ очень охотно и я помню, что

*) Такъ называлась и теперь еще называется гостинница напротивъ дома генералъ-губернатора.

получилъ свое отъ профессора Захарьина, который въ то время былъ студенческимъ врачемъ. Студенты ежедневно сходились въ саду стараго университета и занимались обсужденіемъ событій, чтеніемъ „Колокола“ и упражненіемъ въ ораторствѣ. На лекціяхъ тоже подчасъ происходили демонстраціи и протесты противъ тѣхъ изъ профессоровъ, лекціи которыхъ почему-либо не нравились слушателямъ. Я помню грандіозную демонстрацію въ этомъ родѣ, устроенную студентами второго курса юридическаго факультета Б. Н. Чичерину за то, что, по мнѣнію студентовъ, онъ проповѣдывалъ съ своей каѳедры „охранительное начало“. Демонстрація эта происходила въ присутствіи друзей Б. Н.—нынѣ уже почившихъ,—Н. Ф. Павлова и Е. Ѳ. Корша, которые очень горячились, но самъ профессоръ былъ совершенно покоенъ и въ блестящей рѣчи, безъ всякаго труда, опровергъ нападки протестантовъ, изъ среды которыхъ къ нему обратился съ мотивированнымъ обвиненіемъ какой-то блѣдный студентъ съ длинными волосами и съ лицомъ Бѣлинскаго. Рѣчь профессора была покрыта рукоплесканіями большинства студентовъ, биткомъ набившихъ большую юридическую аудиторію, а протестанты сочли долгомъ удалиться еще до окончанія этой рѣчи, провожаемые свистками товарищей. Но я не помню, что бы Александръ Ивановичъ участвовалъ въ этой демонстраціи на той или другой сторонѣ. Вообще я долженъ сознаться, что я очень рѣдко видалъ Александра Ивановича на лекціяхъ въ первые года нашего совмѣстнаго пребыванія въ университетѣ; въ 1864 году я оставилъ его, какъ выше уже было мною сказано, для того, чтобы поступить въ военную службу. Все это время я продолжалъ почти ежедневно бывать въ домѣ его матери (отецъ его, кажется, уже умеръ въ это время) и все болѣе и болѣе сближался со вторымъ его братомъ Борисомъ. Первые годы своего пребыванія въ Университетѣ Александръ Ивановичъ съ увлеченіемъ занимался чтеніемъ, посѣщеніемъ студенческихъ сборищъ и ораторствованіемъ на нихъ. Онъ

былъ непобѣдимый спорщикъ на этихъ сборищахъ и, обладая громадною эрудиціей, обыкновенно побивалъ своихъ противниковъ безъ всякой пощады, вслѣдствіе чего нажилъ себѣ массу враговъ между ними, такъ какъ въ спорахъ былъ въ высшей степени рѣзокъ, нетерпимъ и всегда старался представить своего противника въ смѣшномъ видѣ предъ аудиторіею. Въ средѣ товарищей многіе чуть не молились на него, но много было и такихъ, которые всей душей его ненавидѣли, завидуя его блестящему уму и непобѣдимому краснорѣчію. Побѣждали его, и то очень рѣдко, нѣкоторые изъ выдающихся по своему уму и образованію студентовъ-семинаристовъ, которые разбивали его иногда своей семинарской логикою, радикализмомъ и рѣзкой формой своихъ сужденій. Такихъ онъ почему-то всегда отличалъ и старался съ ними сойтись для того, чтобы впослѣдствіи такъ или иначе заставить ихъ думать по своему, что однако, не всегда ему удавалось. Изъ числа такихъ противниковъ его я помню Ѳедора Гилярова, часто ссорившагося съ нимъ, но все-таки остававшагося съ нимъ въ дружескихъ отношеніяхъ до самой смерти и А. И. К.(ирпичникова) *), который говорилъ мнѣ: „повѣрь, что голова Урусова со свищемъ: въ ней не можетъ ничего остаться изъ того, что онъ когда-нибудь прочелъ, въ тотъ же вечеръ онъ долженъ это передать кому-бы то ни было“. Кромѣ того, Александръ Ивановичъ много писалъ о московскомъ театрѣ и занимался переводами, хотя немногіе изъ нихъ были доведены до конца. Такъ онъ вмѣстѣ со мною началъ переводить исторію французской революціи 1848 года маркиза Норманби, — переводъ этотъ остался неоконченнымъ, потому что мы поспорили съ нимъ о томъ, кто изъ насъ двоихъ долженъ писать предисловіе къ русскому изданію, и когда все-таки я написалъ его, то Александръ Ивановичъ такъ рѣзко раскритиковалъ его у меня на квартирѣ

*) Хотя А. И. К. и не былъ семинаристомъ, но тогда уже приготовлялъ себя къ ученой карьерѣ и обладалъ вообще обширными свѣдѣніями, въ особенности-же въ исторіи западно-европейской литературы.

въ присутствіи А. И. К., что мы серьезно разсорились съ нимъ и долго потомъ не говорили другъ съ другомъ. Затѣмъ, какой-то московскій баринъ кн. Лобановъ-Ростовскій поручилъ ему перевести Philosophie positive Огюста Конта и заплатилъ ему 200 рублей за первый объемистый томъ этого сочиненія, который Александръ Ивановичъ перевелъ чуть-ли не въ 2 недѣли; но и этотъ переводъ остался неизданнымъ, потому что цензура запретила его печатаніе. Я уже говорилъ, что вскорѣ по поступленіи въ университетъ я сталъ все болѣе и болѣе сближаться съ Борисомъ Урусовымъ, такъ что на третьемъ курсѣ мы были уже довольно далеки съ Александромъ Ивановичемъ. Тѣмъ не менѣе я продолжалъ бывать ежедневно въ домѣ его матери, которая жила въ то время въ довольно небольшомъ деревянномъ особнякѣ въ Гагаринскомъ переулкѣ съ тремя сыновьями и младшей дочерью, а старшая Ольга Ивановна, (впослѣдствіи вышедшая замужъ за графа Сиверса) проживала въ это время у какой-то тетки въ Петербургѣ и воспитывалась въ пансіонѣ Труба. Матеріальныя средства княгини Урусовой въ то время значительно уменьшились и она сдѣлалась очень скупа, такъ что сыновья нуждались во всемъ. У Александра Ивановича даже не было дома отдѣльной комнаты и онъ помѣщался въ одной комнатѣ съ Борисомъ. Для подготовленія этого послѣдняго, а также и его брата Сергѣя неизвѣстно въ какое заведеніе, былъ приглашенъ студентъ-медикъ Шацфайеръ, который ничѣмъ съ нимъ не занимался, а только цѣлый день распѣвалъ рулады, воображая себя замѣчательнымъ теноромъ; это былъ уморительный маленькій господинъ съ прыщеватымъ лицомъ, почти влюбленный въ Александра Ивановича и влюблявшійся во всѣхъ барышень. У дочери была гувернантка француженка M-me Ellam. Кромѣ того княгиню посѣщали какія-то француженки, которыя приходили къ ней почти каждый вечеръ и громко декламировали ей Casimir Delavigne'я, Мольера и другихъ французскихъ писателей, что, помнится, очень забавляло насъ, молодежь,

и служило безконечнымъ источникомъ для остроумія Александра Ивановича, ибо всѣ эти француженки были дурны какъ смертный грѣхъ и свои декламаціи произносили съ необыкновеннымъ эмфазомъ и необыкновенно смѣшно. Впрочемъ, Александръ Ивановичъ не оставлялъ въ покоѣ и всѣхъ остальныхъ посѣтителей гостинной его матери, которая почти всегда вмѣстѣ съ нимъ смѣялась надъ ними, но иногда, въ особенности, когда была въ дурномъ расположеніи духа, начинала защищать ихъ и говорила рѣзкости своему сыну, который въ долгу не оставался и продолжалъ осыпать ея „антиковъ" своими сарказмами; происходили ссоры, очень тяжелыя для присутствующихъ, но черезъ нѣсколько дней все оканчивалось благополучно и за обѣдомъ, когда сходилась вся семья, опять всѣ отъ души смѣялись остротамъ Александра Ивановича, который въ этомъ отношеніи былъ неисчерпаемъ. Съ братьями своими Александръ Ивановичъ сходился мало, въ особенности съ младшимъ, но Бориса онъ повидимому любилъ и впослѣдствіи обоимъ имъ очень много помогалъ деньгами. На второмъ курсѣ университета Александръ Ивановичъ сталъ понемногу увлекаться московскимъ beau-monde'омъ и вмѣстѣ съ братомъ сталъ бывать на московскихъ балахъ и танцовальныхъ вечерахъ. Для посѣщенія ихъ являлась необходимость выучиться хорошо танцовать мазурку и вотъ одно время, Александръ Ивановичъ почти каждый день началъ упражняться въ этомъ искусствѣ, обучаясь ему, главнымъ образомъ, у своего брата, сдѣлавшагося впослѣдствіи извѣстнымъ дирижеромъ почти всѣхъ московскихъ баловъ въ то время, когда пріѣзжалъ въ Москву въ отпускъ изъ полка. Танцовалъ Александръ Ивановичъ немножко смѣшно, благодаря своей полнотѣ и близорукости, но танцовалъ охотно, съ большимъ увлеченіемъ, такъ что, помнится, находясь съ нимъ въ то время въ ссорѣ, я написалъ на его танцы слѣдующія вирши:

Гроза всѣхъ трусовъ,
Гусаръ Урусовъ
Плясалъ мазурку лучше всѣхъ,—

Братъ въ подражанье
Потрясъ все зданіе,
Но не потрясъ его успѣхъ.

Это былъ одинъ изъ куплетовъ цѣлаго длиннаго стихотворенія, въ которомъ я старался изобразить въ то время все московское общество. Мнѣ стыдно, конечно, теперь за эти вирши, которыя очень сердили Александра Ивановича, но написаны онѣ были въ отместку за одно его стихотвореніе, осмѣивавшее одновременно меня и его брата, которое было написано имъ въ то время и начиналось такими словами:

Гордясь лядункой и вальтрапомъ...

О, какъ все это кажется глупымъ въ настоящее время, но какъ все-таки пріятно обо всемъ этомъ вспоминать, потому что съ этимъ временемъ неразрывно связано такъ много свѣтлаго и хорошаго, что дается человѣку его молодостью. Александру Ивановичу было въ то время 19 лѣтъ, а мнѣ 18.

Въ то время въ Москвѣ было вообще какое-то повѣтріе относительно писанія разныхъ шутовскихъ стихотвореній „на“ разныхъ лицъ изъ общества и А. И., заразившись дурнымъ примѣромъ, также написалъ массу эпиграммъ, въ которыхъ осмѣивались очень извѣстные въ Москвѣ типы изъ числа занимавшихъ въ ней видное общественное положеніе. Одно изъ этихъ стихотвореній сохранилось въ моей памяти. Оно относилось къ одному когда-то очень богатому, но впослѣдствіи разорившемуся, московскому барину, очень любившему произносить звонкія рѣчи на дворянскихъ и земскихъ собраніяхъ, Д. Д. Г. (олохвастову).

Да, Г-въ, ты—ораторъ,
(Отъ слова русскаго о р а т ь),
Въ тебѣ такъ трудно разобрать,—
Какъ москвичей ты не волнуй,—
Гдѣ начинается плантаторъ
И гдѣ кончается холуй!

и служило безконечнымъ источникомъ для остроумія Александра Ивановича, ибо всѣ эти француженки были дурны какъ смертный грѣхъ и свои декламаціи произносили съ необыкновеннымъ эмфазомъ и необыкновенно смѣшно. Впрочемъ, Александръ Ивановичъ не оставлялъ въ покоѣ и всѣхъ остальныхъ посѣтителей гостиной его матери, которая почти всегда вмѣстѣ съ нимъ смѣялась надъ ними, но иногда, въ особенности, когда была въ дурномъ расположеніи духа, начинала защищать ихъ и говорила рѣзкости своему сыну, который въ долгу не оставался и продолжалъ осыпать ея „антиковъ" своими сарказмами; происходили ссоры, очень тяжелыя для присутствующихъ, но черезъ нѣсколько дней все оканчивалось благополучно и за обѣдомъ, когда сходилась вся семья, опять всѣ отъ души смѣялись остротамъ Александра Ивановича, который въ этомъ отношеніи былъ неисчерпаемъ. Съ братьями своими Александръ Ивановичъ сходился мало, въ особенности съ младшимъ, но Бориса онъ повидимому любилъ и впослѣдствіи обоимъ имъ очень много помогалъ деньгами. На второмъ курсѣ университета Александръ Ивановичъ сталъ понемногу увлекаться московскимъ beau-monde'омъ и вмѣстѣ съ братомъ сталъ бывать на московскихъ балахъ и танцовальныхъ вечерахъ. Для посѣщенія ихъ являлась необходимость выучиться хорошо танцовать мазурку и вотъ одно время, Александръ Ивановичъ почти каждый день началъ упражняться въ этомъ искусствѣ, обучаясь ему, главнымъ образомъ, у своего брата, сдѣлавшагося впослѣдствіи извѣстнымъ дирижеромъ почти всѣхъ московскихъ баловъ въ то время, когда пріѣзжалъ въ Москву въ отпускъ изъ полка. Танцовалъ Александръ Ивановичъ немножко смѣшно, благодаря своей полнотѣ и близорукости, но танцовалъ охотно, съ большимъ увлеченіемъ, такъ что, помнится, находясь съ нимъ въ то время въ ссорѣ, я написалъ на его танцы слѣдующія вирши:

Гроза всѣхъ трусовъ,
Гусаръ Урусовъ
Плясалъ мазурку лучше всѣхъ,—

ресы наши до такой степени мало сходились, что я только мелькомъ встрѣчался съ А. И. въ домѣ его матери, а остальное время проводилъ со своимъ товарищемъ Борисомъ. Въ моей памяти остались, конечно, всѣ впечатлѣнія отъ первыхъ адвокатскихъ успѣховъ А. И., относящихся къ тому времени, которымъ я, помнится, ужасно завидовалъ, но передавать эти впечатлѣнія не буду, потому что они у всѣхъ были одинаковы и всѣмъ болѣе или менѣе извѣстны. Помню я, какъ однажды, въ то время, когда вся семья Урусовыхъ сидѣла за обѣдомъ, А. И. только что вернулся изъ Тамбова, куда онъ ѣздилъ защищать въ мѣстной Палатѣ уголовнаго и гражданскаго суда знаменитыхъ скопцовъ Плотицыныхъ, и, сѣвъ за столъ, началъ вынимать изъ кармана и класть передъ матерью привезенный имъ гонораръ... Это былъ первый большой полученный имъ кушъ: я самъ видѣлъ, какъ въ трехъ пачкахъ находилось по 5 т. руб.*) Старая княгиня ахала и удивлялась, и я помню, какъ А. И. сказалъ ей тогда:

— Надѣюсь, что это лучше службы по дипломатической части, о которой ты такъ мечтала для меня.

Кстати, по поводу дипломатіи. Спѣшу разсказать здѣсь о свиданіи А. И. съ тогдашнимъ министромъ иностранныхъ дѣлъ, княземъ Горчаковымъ, который по своей женѣ приходился дядею А. И. Въ достовѣрности разсказа объ этомъ свиданіи я не имѣю никакого основанія сомнѣваться, ибо слышалъ его отъ матери А. И., княгини Екатерины Ивановны. Это свиданіе происходило въ 1867 или 1868 году, т. е. немного лѣтъ спустя послѣ извѣстныхъ нотъ Горчакова, содержавшихъ въ себѣ отвѣтъ Россіи на заступничество западныхъ державъ за Польшу.

Горчаковъ не былъ знакомъ до того времени съ А. И., и когда тотъ представился ему, онъ сказалъ, любезно пожимая ему руку:

---

*) При разсмотрѣніи дѣла въ старомъ Сенатѣ А. И. вновь получилъ отъ Плотицыныхъ такую-же сумму, но имъ, помнится, не удалось избѣгнуть обвинительнаго приговора.

— Je suis très content, que mon neveu est le premier avocat de la Russie.

— Non, c'est vous, mon oncle, qui êtes notre premier avocat, car vous avez gagné devant l'Europe la cause de notre patrie,—отвѣчалъ Александръ Ивановичъ.

Въ 1866 году я уѣхалъ на службу въ Петербургъ, а затѣмъ вскорѣ вышелъ въ отставку и на цѣлые два года поселился въ деревнѣ. Когда въ 1868 году я вернулся въ Москву, то Бориса уже не было (онъ служилъ въ это время въ Вильнѣ) и хотя я очень часто посѣщалъ старуху княгиню, жившую въ то время въ Серебряномъ переулкѣ въ домѣ Медвѣдниковой, но съ Александромъ Ивановичемъ встрѣчался очень рѣдко, главнымъ образомъ, въ свѣтѣ, на разныхъ вечерахъ. Онъ жилъ уже въ то время на отдѣльной квартирѣ.

Въ 1869 году я женился и весь конецъ этого года, а также начало слѣдующаго—усиленно занимался приготовленіемъ къ кандидатскому экзамену и составленіемъ судебной хроники для Московскихъ и Русскихъ Вѣдомостей.

По выдержаніи экзамена въ 1870 году, я поступилъ кандидатомъ на судебныя должности къ прокурору Московской Судебной Палаты Манасеину, и въ началѣ 1871 года былъ назначенъ товарищемъ прокурора ярославскаго Окружного Суда. Изъ Ярославля я очень рѣдко пріѣзжалъ въ Москву и видѣлся съ А. И. только случайно и не надолго. Только въ 1877 году судьба вновь соединила насъ въ Варшавѣ, когда мы оказались одновременно товарищами прокурора варшавскаго Окружного Суда. Но въ одинъ изъ пріѣздовъ своихъ въ Москву, я узналъ о бѣдѣ, разразившейся надъ А. И.—о его ссылкѣ въ Венденъ, и затѣмъ, въ слѣдующемъ послѣ этого году, мнѣ пришлось принимать нѣкоторое участіе въ ходатайствѣ его матери о перемѣщеніи его въ Ригу. Но объ этомъ не стоитъ разсказывать. Разскажу лучше объ обстоятельствахъ ссылки Урусова, сдѣлавшихся мнѣ достовѣрно извѣстными, такъ какъ до настоящаго времени объ этомъ эпизодѣ изъ жизни

Александра Ивановича существуютъ самые разнорѣчивые разсказы, въ которыхъ очень мало правды; едва-ли и самому А. И. эта правда была извѣстна до конца его жизни; мнѣ же она сдѣлалась доступна по совершенно случайнымъ причинамъ, о которыхъ говорить я считаю въ настоящее время неумѣстнымъ и прошу вѣрить мнѣ, что все было такъ, какъ я здѣсь разсказываю.

Въ Москвѣ у Александра Ивановича было немало враговъ, главнымъ образомъ, вслѣдствіе его неосторожнаго поведенія относительно многихъ лицъ, занимавшихъ видное общественное и служебное положеніе въ этомъ городѣ*). Кромѣ того, это было такое время, когда никто не стѣснялся,—а Александръ Ивановичъ болѣе чѣмъ кто-либо,—въ громкомъ порицаніи всѣхъ дѣйствій администраціи, бывшихъ или казавшихся нелиберальными или нарушающими законъ, строгое охраненіе котораго всѣмъ представлялось прочно установленнымъ со введеніемъ въ дѣйствіе новыхъ судебныхъ порядковъ. Самымъ непримиримымъ врагомъ своимъ считалъ Александръ Ивановичъ московскую полицію, которая не могла простить ему его извѣстной рѣчи въ процессѣ трактирщика Морозкина, окончившемся оправданіемъ послѣдняго. Поэтому ничего нѣтъ удивительнаго въ томъ, что полиція слѣдила за каждымъ его шагомъ и доносила обо всемъ въ Петербургъ. Но такъ какъ Александръ Ивановичъ, насколько мнѣ извѣстно, во всю свою жизнь никогда не принималъ активнаго участія въ дѣятельности революціонной партіи,—да и полиція того времени, дѣйствовавшая по указаніямъ III отдѣленія, прозѣвавшая всѣ случаи покушенія на жизнь незабвеннаго Царя-Освободителя вплоть до прекратившаго его драгоцѣнную жизнь взрыва 1 марта 1881 года, все исключительное свое вни-

*) Я не говорю здѣсь о случаѣ его дерзкаго поведенія на балѣ въ Высочайшемъ присутствіи, потому что не знаю въ точности о подробностяхъ этого происшествія, описаннаго въ Историческомъ Вѣстникѣ, (1902 г.) которое, если имѣло мѣсто, то, несомнѣнно, было проявленіемъ крайне страннаго фрондерства и мальчишества.

маніе сосредоточивала не на дѣйствіяхъ революціонной партіи, а на выслѣживаніи „поступковъ“ и „рѣчей“ лицъ, казавшихся ей неблагонадежными,—то очевидно, что всѣ ея донесенія объ Урусовѣ ограничивались удостовѣреніями о его политической неблагонадежности, основанными на томъ, что онъ тогда-то говорилъ въ обществѣ такія или другія либеральныя слова. Такъ продолжалось до 1872 года, когда, наконецъ, полиціи представился случай сообщить объ Урусовѣ нѣчто уже серьезное. Участвуя въ качествѣ защитника въ процессѣ, такъ называемыхъ, „Нечаевцевъ“, Александръ Ивановичъ тронулся горькою участью одного изъ участниковъ этого процесса, нѣкоего Ч(еркеза), которому предстояла ссылка въ Сибирь и при свиданіи съ нимъ въ Москвѣ успѣлъ передать ему двадцать пять рублей, причемъ обнялъ его и поцѣловалъ. Ч. былъ этимъ очень тронутъ и, въ благодарность за полученное вспомоществованіе, написалъ Александру Ивановичу письмо, въ которомъ, высказывая ему свои взгляды на способъ веденія революціоннаго дѣла въ Россіи, убѣждалъ его принять на себя въ Москвѣ ту-же роль руководителя молодежи, которую въ Петербургѣ игралъ Чернышевскій. Копіи этого письма какимъ-то образомъ получили распространеніе въ средѣ учащейся молодежи и содержаніе его скоро сдѣлалось извѣстнымъ полиціи, вслѣдствіе чего у Александра Ивановича въ маѣ мѣсяцѣ былъ произведенъ обыскъ, на которомъ онъ велъ себя самымъ вызывающимъ образомъ по отношенію къ полиціи и не хотѣлъ допустить ее осматривать свою переписку безъ приглашенія товарища прокурора для присутствованія при этомъ. По этому обыску у Урусова было найдено письмо Ч. и еще кое-какая переписка, указывавшая на его сношенія съ лицами, неблагонадежными въ политическомъ отношеніи. Произведенное по этому дѣлу дознаніе было передано на разсмотрѣніе Министровъ Внутреннихъ Дѣлъ и Юстиціи, и участь Александра Ивановича была рѣшена, но онъ успѣлъ еще до окончанія дѣла запастись заграничнымъ паспортомъ и въ

августѣ уѣхалъ изъ Москвы. Заграничное путешествіе его продолжалось довольно долго. Особенно продолжительно было пребываніе его въ Парижѣ, гдѣ онъ завелъ множество новыхъ знакомствъ, главнымъ образомъ, въ литературныхъ кружкахъ, въ которые онъ былъ введенъ И. С. Тургеневымъ, и между адвокатами, и даже, какъ извѣстно, выступалъ однажды въ качествѣ адвоката, въ одномъ процессѣ. Въ 1874 году, въ бытность мою въ Парижѣ, знаменитый Лашо, котораго я благодарилъ за наслажденіе, доставленное мнѣ его рѣчью въ одномъ процессѣ, при которомъ я присутствовалъ, сказалъ мнѣ, что мнѣ нечего удивляться краснорѣчію французскихъ адвокатовъ, когда у насъ въ Россіи существуетъ такой краснорѣчивый ораторъ, какъ кн. А. И. Урусовъ. Изъ Парижа А. И. пріѣхалъ въ Швейцарію... И вотъ это пребываніе его въ Бернѣ, совпавшее по времени съ переговорами русскаго правительства о выдачѣ Нечаева (хотя это послѣднее обстоятельство весьма сомнительно), и послужило основаніемъ къ вымыслу о томъ заключеніи, которое онъ, будто-бы, далъ швейцарскому Союзному Совѣту по вопросу о томъ—былъ-ли Нечаевъ политическій, или простой уголовный убійца. Я категорически утверждаю, что никогда подобнаго заключенія отъ А. И. не требовалось, и онъ не давалъ его въ смыслѣ противномъ тѣмъ основаніямъ къ выдачѣ Нечаева, которыя были предъявлены русскимъ правительствомъ. А. И. заѣхалъ въ Бернъ исключительно для свиданія со своимъ двоюроднымъ братомъ кн. Горчаковымъ (сыномъ канцлера), который въ то время былъ посланникомъ при швейцарскомъ Союзѣ, останавливался въ его квартирѣ и прямо оттуда пріѣхалъ въ Россію. 3 октября 1872 года онъ былъ арестованъ и отправленъ въ городъ Венденъ, принадлежащій гр. Сиверсу, сынъ котораго впослѣдствіи женился на сестрѣ А. И. княжнѣ Ольгѣ Ивановнѣ (нынѣ уже покойной). Я находился въ это время въ Москвѣ въ отпуску и былъ свидѣтелемъ неописуемаго горя его матери и всѣхъ его друзей.

Само собою разумѣется, что вскорѣ же послѣ ссылки Александра Ивановича, его мать начала хлопотать объ улучшеніи его участи, но всѣ ея ходатайства въ первое время оставлялись безъ послѣдствій, несмотря на то, что они шли чрезъ очень высокопоставленныхъ лицъ, состоявшихъ въ родственныхъ отношеніяхъ съ семьей Урусовыхъ: Генералъ-адъютантовъ кн. И. А. Урусова (родного брата его отца), кн. Радзивилла (женатаго на его родной теткѣ) и др. Генералъ-адъютантъ Мезенцевъ, начальствовавшій въ то время въ III-мъ отдѣленіи, даже не принималъ лично княгини, а присылалъ къ ней для объясненій своего адъютанта. Виною этому былъ отчасти самъ Александръ Ивановичъ, который не переставалъ изъ ссылки писать своимъ роднымъ и знакомымъ письма самаго протестующаго содержанія, наполненныя горькими упреками по адресу администраціи, которой содержаніе этихъ писемъ было, конечно, извѣстно, такъ какъ они принимались отъ него для отсылки по почтѣ не иначе какъ открытыми. Я читалъ нѣкоторыя изъ этихъ писемъ и, вмѣстѣ съ княгиней, очень досадовалъ на эту безтактность А. И. Ко всему этому присоединилось еще то обстоятельство, что по обыску у одного студента, принадлежавшаго впослѣдствіи къ дѣйствующей революціонной партіи, участвовавшаго затѣмъ во многихъ террористическихъ фактахъ, бѣжавшаго за-границу и находившагося тамъ во главѣ террористической фракціи революціоннаго сообщества и затѣмъ, по возвращеніи въ Россію—вполнѣ раскаявшагося и прощеннаго, была найдена копія или подлинникъ духовнаго завѣщанія Александра Ивановича, написаннаго въ 1870 году, т.-е. въ то время, когда ему было всего только 26 лѣтъ. Въ этомъ завѣщаніи онъ объявляетъ себя невѣрующимъ въ Бога и проситъ не дѣлать ему „похоронъ“ и поставить ему памятникъ, на которомъ должно быть написано „да здравствуетъ свобода“, завѣщаетъ своему другу Н. портретъ горячо любимаго имъ А. И. Герцена и 1000 рублей редакціи одного журнала для преміи за сочиненіе о первой

французской революціи, „написанное не въ ретроградномъ духѣ“ и разсмотрѣнное тремя указанными имъ литераторами. Болѣе всего намъ съ его матерью тогда казалось страннымъ, что завѣщаніе это было подписано: Александръ Ивановъ князь Урусовъ, при чемъ слово „князь“ было поставлено въ скобкахъ. Какимъ молодымъ задоромъ отзывается это „завѣщаніе“, неизвѣстно для чего написанное!

Эти факты и еще нѣкоторые другіе (напр. участіе въ Рижскомъ Gewerbverein) послужили поводомъ къ тому, что Александръ Ивановичъ въ концѣ 1873 года былъ вновь переведенъ въ Венденъ изъ Риги, проживать въ коей насилу удалось исходатайствовать его матери, въ виду опасной болѣзни, которою А. И. страдалъ въ Венденѣ, лишенный серьезной медицинской помощи. Не помогло и письмо его къ графу П. А. Шувалову, написанное имъ тогда въ высшей степени вѣрноподданическомъ тонѣ. На этотъ разъ пребываніе его въ Венденѣ продолжалось недолго, ибо усилившаяся болѣзнь его побудила его мать написать письмо Государю Императору и въ январѣ мѣсяцѣ 1874 года онъ былъ снова переведенъ въ Ригу. Въ началѣ слѣдующаго 1875 года Александръ Ивановичъ рѣшился, чрезъ А. Л. Потапова, ходатайствовать предъ Государемъ Императоромъ о помилованіи, но хотя ходатайство это было отклонено, тѣмъ не менѣе въ маѣ мѣсяцѣ того-же года, по представленію рижскаго генералъ-губернатора князя Багратіона, ему было разрѣшено поступить на государственную службу и онъ былъ опредѣленъ чиновникомъ особыхъ порученій при генералъ-губернаторѣ, а затѣмъ по рекомендаціи попечителя рижскаго учебнаго округа А. А. Сабурова, (нынѣ сенатора и члена Государственнаго Совѣта), прежде служившаго въ судебномъ вѣдомствѣ, А. И. въ 1876 году, при введеніи въ дѣйствіе судебныхъ уставовъ 20 ноября 1864 года въ Привислянскомъ краѣ, былъ назначенъ тогдашнимъ министромъ юстиціи графомъ Паленомъ товарищемъ прокурора варшавскаго окружного суда.

О жизни Александра Ивановича въ ссылкѣ мнѣ извѣстно очень немногое изъ его короткихъ писемъ къ его матери. Знаю только, что онъ страшно тосковалъ и мучился отъ бездѣйствія; мнѣ неизвѣстно даже бралъ-ли онъ съ собою въ Венденъ свою великолѣпную библіотеку *). Изъ писемъ его видно было, что онъ принялся тамъ за изученіе химіи и чистой математики и даже изобрѣлъ какую-то ароматическую жидкость для очищенія воздуха; въ Варшавѣ я видѣлъ у него множество флаконовъ съ этой жидкостью, которой, очевидно, не удалось пріобрѣсти распространенія въ публикѣ. Большой нравственной поддержкой для Александра Ивановича были его добрая жена и ребенокъ, въ которомъ онъ души не чаялъ, хотя относился къ его дѣтскимъ выходкамъ и вкусамъ съ такимъ же, сдѣлавшимся въ послѣднее время совершенно добродушнымъ, сарказмомъ, съ какимъ онъ относился вообще ко всѣмъ своимъ близкимъ и знакомымъ людямъ. Во всякомъ случаѣ ссылка же имѣла на него громадное отрезвляющее значеніе и ничуть не озлобила его, въ чемъ я имѣлъ случай удостовѣриться изъ нашихъ бесѣдъ съ нимъ въ Варшавѣ.

Введенію въ дѣйствіе судебныхъ уставовъ въ варшавскомъ судебномъ округѣ вообще придавалось большое значеніе министромъ юстиціи графомъ Паленомъ, но особое его вниманіе было обращено на то, чтобы персоналъ новыхъ судовъ въ этомъ округѣ былъ по возможности составленъ изъ людей образованныхъ и воспитанныхъ,—и дѣйствительно, первоначальный составъ всѣхъ судовъ,—въ особенности варшавскаго,—былъ въ полномъ смыслѣ слова блестящій и потому не замедлилъ завоевать себѣ успѣхъ среди поляковъ, которые сразу-же почувствовали громад-

*) Кромѣ библіотеки, у Александра Ивановича были шесть автографовъ русскихъ и иностранныхъ литераторовъ и ученыхъ, также различныя вещицы и въ числѣ послѣднихъ я видѣлъ у него въ Москвѣ коллекцію [illegible] перьевъ, при чемъ А. И. сказалъ мнѣ [illegible] отрывки изъ [illegible] и я помню, какъ мы съ нимъ по этому случаю вспоминали [illegible] произведенія русской музы.

ную разницу между прежними судами и новыми; одна адвокатура осталась въ этихъ губерніяхъ прежняя и на первое время, благодаря плохому знанію русскаго языка, дѣйствовала не совсѣмъ удовлетворительно, но впослѣдствіи изъ ея среды выдѣлилось нѣсколько талантливыхъ людей, сразу забравшихъ всю практику въ свои руки и начавшихъ появляться во всѣхъ безъ исключенія важныхъ уголовныхъ процессахъ (Каминскій, Пепловскій и др.). Появленіе такой крупной величины, какъ А. И. Урусовъ, среди представителей обвиненія сразу дало имъ важный перевѣсъ надъ защитою, но я все-таки долженъ сказать, что А. И.—прокуроръ былъ далеко не то, что онъ-же въ роли защитника. Я даже думаю, что прокурорская дѣятельность его, при всей ея непродолжительности, имѣла значительное вліяніе на его защитительныя рѣчи, произнесенныя имъ по вступленіи вновь въ присяжные повѣренные; я слышалъ много его защитъ, до и послѣ службы въ прокуратурѣ, и могу удостовѣрить, что во многихъ изъ нихъ, которыя я слышалъ послѣ 1880 года (года вторичнаго вступленія А. И. въ сословіе московскихъ присяжныхъ повѣренныхъ), далеко не было прежнихъ смѣлости и самоубѣжденія въ справедливости доводовъ, приводимыхъ имъ въ защиту его уголовныхъ кліентовъ. Что касается до его прокурорскихъ рѣчей (и впослѣдствіи рѣчей въ качествѣ повѣреннаго гражданскаго истца), то все-таки онѣ поражали всѣхъ своей талантливостью и красотою формы, но не всегда убѣждали опытныхъ судей, для которыхъ ораторское искусство А. И. далеко не имѣло того значенія, какъ въ судѣ съ участіемъ присяжныхъ засѣдателей. Припоминаю его блестящее обвиненіе въ дѣлѣ объ убійствѣ профессора Гирштовта, произведенномъ ученикомъ послѣдняго. Этотъ процессъ собралъ всю Варшаву въ роскошную залу засѣданій I-го уголовнаго отдѣленія окружнаго суда, помѣщающагося въ бывшемъ дворцѣ Паца на Медовой улицѣ.

былъ непобѣдимый спорщикъ на этихъ сборищахъ и, обладая громадною эрудиціей, обыкновенно побивалъ своихъ противниковъ безъ всякой пощады, вслѣдствіе чего нажилъ себѣ массу враговъ между ними, такъ какъ въ спорахъ былъ въ высшей степени рѣзокъ, нетерпимъ и всегда старался представить своего противника въ смѣшномъ видѣ предъ аудиторіею. Въ средѣ товарищей многіе чуть не молились на него, но много было и такихъ, которые всей душей его ненавидѣли, завидуя его блестящему уму и непобѣдимому краснорѣчію. Побѣждали его, и то очень рѣдко, нѣкоторые изъ выдающихся по своему уму и образованію студентовъ-семинаристовъ, которые разбивали его иногда своей семинарской логикою, радикализмомъ и рѣзкой формой своихъ сужденій. Такихъ онъ почему-то всегда отличалъ и старался съ ними сойтись для того, чтобы впослѣдствіи такъ или иначе заставить ихъ думать по своему, что однако, не всегда ему удавалось. Изъ числа такихъ противниковъ его я помню Ѳедора Гилярова, часто ссорившагося съ нимъ, но все-таки остававшагося съ нимъ въ дружескихъ отношеніяхъ до самой смерти и А. И. К.(ирпичникова) *), который говорилъ мнѣ: „повѣрь, что голова Урусова со свищемъ: въ ней не можетъ ничего остаться изъ того, что онъ когда-нибудь прочелъ, въ тотъ же вечеръ онъ долженъ это передать кому-бы то ни было“. Кромѣ того, Александръ Ивановичъ много писалъ о московскомъ театрѣ и занимался переводами, хотя немногіе изъ нихъ были доведены до конца. Такъ онъ вмѣстѣ со мною началъ переводить исторію французской революціи 1848 года маркиза Норманби, — переводъ этотъ остался неоконченнымъ, потому что мы поспорили съ нимъ о томъ, кто изъ насъ двоихъ долженъ писать предисловіе къ русскому изданію, и когда все-таки я написалъ его, то Александръ Ивановичъ такъ рѣзко раскритиковалъ его у меня на квартирѣ

*) Хотя А. И. К. и не былъ семинаристомъ, но тогда уже приготовлялъ себя къ ученой карьерѣ и обладалъ вообще обширными свѣдѣніями, въ особенности-же въ исторіи западно-европейской литературы.

въ присутствіи А. И. К., что мы серьезно разсорились съ нимъ и долго потомъ не говорили другъ съ другомъ. Затѣмъ, какой-то московскій баринъ кн. Лобановъ-Ростовскій поручилъ ему перевести Philosophie positive Огюста Конта и заплатилъ ему 200 рублей за первый объемистый томъ этого сочиненія, который Александръ Ивановичъ перевелъ чуть-ли не въ 2 недѣли; но и этотъ переводъ остался неизданнымъ, потому что цензура запретила его печатаніе. Я уже говорилъ, что вскорѣ по поступленіи въ университетъ я сталъ все болѣе и болѣе сближаться съ Борисомъ Урусовымъ, такъ что на третьемъ курсѣ мы были уже довольно далеки съ Александромъ Ивановичемъ. Тѣмъ не менѣе я продолжалъ бывать ежедневно въ домѣ его матери, которая жила въ то время въ довольно небольшомъ деревянномъ особнякѣ въ Гагаринскомъ переулкѣ съ тремя сыновьями и младшей дочерью, а старшая Ольга Ивановна, (впослѣдствіи вышедшая замужъ за графа Сиверса) проживала въ это время у какой-то тетки въ Петербургѣ и воспитывалась въ пансіонѣ Труба. Матеріальныя средства княгини Урусовой въ то время значительно уменьшились и она сдѣлалась очень скупа, такъ что сыновья нуждались во всемъ. У Александра Ивановича даже не было дома отдѣльной комнаты и онъ помѣщался въ одной комнатѣ съ Борисомъ. Для подготовленія этого послѣдняго, а также и его брата Сергѣя неизвѣстно въ какое заведеніе, былъ приглашенъ студентъ-медикъ Шацфайеръ, который ничѣмъ съ нимъ не занимался, а только цѣлый день распѣвалъ рулады, воображая себя замѣчательнымъ теноромъ; это былъ уморительный маленькій господинъ съ прыщеватымъ лицомъ, почти влюбленный въ Александра Ивановича и влюблявшійся во всѣхъ барышень. У дочери была гувернантка француженка M-me Ellam. Кромѣ того княгиню посѣщали какія-то француженки, которыя приходили къ ней почти каждый вечеръ и громко декламировали ей Casimir Delavigne'я, Мольера и другихъ французскихъ писателей, что, помнится, очень забавляло насъ, молодежь,

и служило безконечнымъ источникомъ для остроумія Александра Ивановича, ибо всѣ эти француженки были дурны какъ смертный грѣхъ и свои декламаціи произносили съ необыкновеннымъ эмфазомъ и необыкновенно смѣшно. Впрочемъ, Александръ Ивановичъ не оставлялъ въ покоѣ и всѣхъ остальныхъ посѣтителей гостинной его матери, которая почти всегда вмѣстѣ съ нимъ смѣялась надъ ними, но иногда, въ особенности, когда была въ дурномъ расположеніи духа, начинала защищать ихъ и говорила рѣзкости своему сыну, который въ долгу не оставался и продолжалъ осыпать ея „антиковъ" своими сарказмами; происходили ссоры, очень тяжелыя для присутствующихъ, но черезъ нѣсколько дней все оканчивалось благополучно и за обѣдомъ, когда сходилась вся семья, опять всѣ отъ души смѣялись остротамъ Александра Ивановича, который въ этомъ отношеніи былъ неисчерпаемъ. Съ братьями своими Александръ Ивановичъ сходился мало, въ особенности съ младшимъ, но Бориса онъ повидимому любилъ и впослѣдствіи обоимъ имъ очень много помогалъ деньгами. На второмъ курсѣ университета Александръ Ивановичъ сталъ понемногу увлекаться московскимъ beau-monde'омъ и вмѣстѣ съ братомъ сталъ бывать на московскихъ балахъ и танцовальныхъ вечерахъ. Для посѣщенія ихъ являлась необходимость выучиться хорошо танцовать мазурку и вотъ одно время, Александръ Ивановичъ почти каждый день началъ упражняться въ этомъ искусствѣ, обучаясь ему, главнымъ образомъ, у своего брата, сдѣлавшагося впослѣдствіи извѣстнымъ дирижеромъ почти всѣхъ московскихъ баловъ въ то время, когда пріѣзжалъ въ Москву въ отпускъ изъ полка. Танцовалъ Александръ Ивановичъ немножко смѣшно, благодаря своей полнотѣ и близорукости, но танцовалъ охотно, съ большимъ увлеченіемъ, такъ что, помнится, находясь съ нимъ въ то время въ ссорѣ, я написалъ на его танцы слѣдующія вирши:

Гроза всѣхъ трусовъ,
Гусаръ Урусовъ
Плясалъ мазурку лучше всѣхъ,—

Артемовской!) эта роль тяготила его,—онъ постоянно стремился возвратиться въ Москву къ своему излюбленному занятію адвокатурою, и, наконецъ, въ 1880 году, его попытки въ этомъ направленіи, при помощи сенатора Шамшина, увѣнчались успѣхомъ, ему было разрѣшено вступить вновь въ сословіе присяжныхъ повѣренныхъ и переселиться въ Москву, гдѣ онъ и прожилъ до конца своей жизни, разъѣзжая оттуда по разнымъ городамъ Россіи для уголовныхъ защитъ.

Съ того времени мы рѣдко встрѣчались съ Алесандромъ Ивановичемъ, такъ какъ я продолжалъ до 1883 года служить въ Польшѣ, а затѣмъ до 1886 года въ Петербургѣ и, наконецъ, цѣлыя десять лѣтъ я провелъ въ Твери въ должности предсѣдателя окружного суда. Въ эти послѣднія 10 лѣтъ Александръ Ивановичъ только одинъ разъ пріѣзжалъ въ Тверь и, конечно, былъ и обѣдалъ у меня. Процессъ свой (гражданскій) онъ торжественно проигралъ въ судѣ подъ моимъ предсѣдательствомъ, такъ какъ вообще былъ довольно слабъ въ гражданскихъ дѣлахъ. Когда я спросилъ его, зачѣмъ онъ взялся за такое сложное дѣло, веденіе коего требуетъ большого искусства и осторожности, то онъ вполнѣ искренно отвѣчалъ мнѣ:

— Что-же мнѣ дѣлать, если мой довѣритель-купецъ, которому я совѣтовалъ поручить его дѣло Никольскому или Пагануцци *), какъ цивилистамъ, тѣмъ не менѣе потребовалъ отъ меня, чтобы я непремѣнно явился въ Тверь въ настоящее засѣданіе и предложилъ мнѣ за это 500 рублей, несмотря на то, что я предупреждалъ его, что вовсе не ручаюсь за выигрышъ этого дѣла въ судѣ.

Вначалѣ 1896 года я перешелъ на службу въ гражданскій кассаціонный департаментъ Сената и совершенно прекратилъ свои посѣщенія Москвы, куда я прежде иногда пріѣзжалъ изъ Твери, главнымъ образомъ, для свиданья съ Н. В. Муравьевымъ въ то время прокуроромъ москов-

*) Московскіе присяжные повѣренные, долго работавшіе вмѣстѣ съ А. И.

Такихъ эпиграммъ Урусова ходило въ свое время много по рукамъ и нѣкоторыя изъ нихъ, вѣроятно, сохранились въ памяти его друзей. Чтобы покончить съ этими стихотвореніями, я не могу не припомнить здѣсь одного чрезвычайно забавнаго его двустишія, сказаннаго имъ экспромптомъ по слѣдующему случаю. Въ одномъ большомъ процессѣ, разбиравшемся въ Рязани, обвинялся цѣлый рядъ очень извѣстныхъ тамъ лицъ: губернскій воинскій начальникъ, богатая мѣстная помѣщица, городовой врачъ и т. д., въ числѣ обвиняемыхъ попала также нянька означенной помѣщицы, старое, забитое существо крайне невзрачная собою и молчавшая въ теченіе всего процесса, очень знаменитаго въ свое время (въ 1870 году) и по предмету обвиненія (вытравленіе плода) и потому что защитниками въ немъ явились всѣ извѣстные въ то время адвокаты (Плевако, Урусовъ и др.). Нянька-же по фамиліи К-ль, имѣла своимъ защитникомъ впервые выступавшаго въ судѣ кандидата на судебныя должности К-скаго, крайне юнаго, неопытнаго и совершенно необладавшаго даромъ слова. Путая въ своей рѣчи что-то о ея невиновности, К-скій имѣлъ неосторожность сказать, что его кліентку потому уже нельзя обвинить, что она—такая забитая, несчастная и невзрачная и что въ теченіе всей ея жизни ее всѣ ругали: дурой, тварью, подлой и т. д. А. И. подхватилъ это выраженія защитительной рѣчи К-скаго и въ то время, когда присяжные совѣщались написалъ

Къ портрету К-ль.

О тварь презренная, невзрачная лицомъ!
Когда-бъ не женщина—была-бъ ты подлецомъ.

Поступленіе мое въ военную службу въ 1864 году надолго разъединило насъ съ А. И. и хотя, вскорѣ по производствѣ въ офицеры въ 1865 году, мы оба съ Борисомъ вновь пріѣхали въ Москву, гдѣ я, пользуясь 28-ми дневнымъ отпускомъ, ухитрился прожить болѣе года, но инте-

ресы наши до такой степени мало сходились, что я только мелькомъ встрѣчался съ А. И. въ домѣ его матери, а остальное время проводилъ со своимъ товарищемъ Борисомъ. Въ моей памяти остались, конечно, всѣ впечатлѣнія отъ первыхъ адвокатскихъ успѣховъ А. И., относящихся къ тому времени, которымъ я, помнится, ужасно завидовалъ, но передавать эти впечатлѣнія не буду, потому что они у всѣхъ были одинаковы и всѣмъ болѣе или менѣе извѣстны. Помню я, какъ однажды, въ то время, когда вся семья Урусовыхъ сидѣла за обѣдомъ, А. И. только что вернулся изъ Тамбова, куда онъ ѣздилъ защищать въ мѣстной Палатѣ уголовнаго и гражданскаго суда знаменитыхъ скопцовъ Плотицыныхъ, и, сѣвъ за столъ, началъ вынимать изъ кармана и класть передъ матерью привезенный имъ гонораръ... Это былъ первый большой полученный имъ кушъ: я самъ видѣлъ, какъ въ трехъ пачкахъ находилось по 5 т. руб.*) Старая княгиня ахала и удивлялась, и я помню, какъ А. И. сказалъ ей тогда:

— Надѣюсь, что это лучше службы по дипломатической части, о которой ты такъ мечтала для меня.

Кстати, по поводу дипломатіи. Спѣшу разсказать здѣсь о свиданіи А. И. съ тогдашнимъ министромъ иностранныхъ дѣлъ, княземъ Горчаковымъ, который по своей женѣ приходился дядею А. И. Въ достовѣрности разсказа объ этомъ свиданіи я не имѣю никакого основанія сомнѣваться, ибо слышалъ его отъ матери А. И., княгини Екатерины Ивановны. Это свиданіе происходило въ 1867 или 1868 году, т. е. немного лѣтъ спустя послѣ извѣстныхъ нотъ Горчакова, содержавшихъ въ себѣ отвѣтъ Россіи на заступничество западныхъ державъ за Польшу.

Горчаковъ не былъ знакомъ до того времени съ А. И., и когда тотъ представился ему, онъ сказалъ, любезно пожимая ему руку:

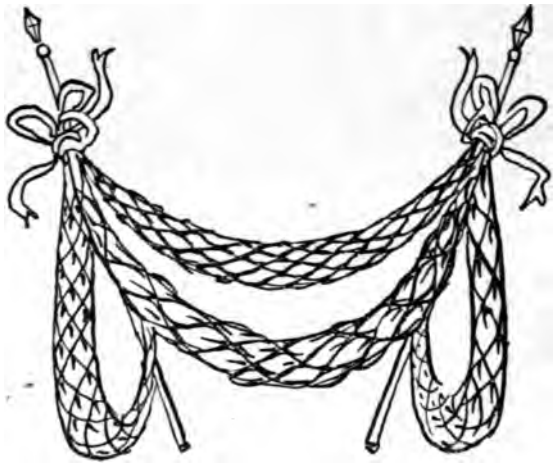
---

*) При разсмотрѣніи дѣла въ старомъ Сенатѣ А. И. вновь получилъ отъ Плотицыныхъ такую-же сумму, но имъ, помнится, не удалось избѣгнуть обвинительнаго приговора.

торые и безъ меня это сдѣлаютъ впослѣдствіи, когда его историческая личность сдѣлается ясною даже его врагамъ при помощи свѣдѣній о немъ въ печати, полученныхъ отъ лицъ, стоявшихъ къ нему близко, и его собственныхъ воспоминаній, обнародованіе которыхъ, по его завѣту, отложено, къ сожалѣнію, на довольно продолжительный срокъ.

Е. А. Пушкинъ.

Харьковъ.
30 января 1903 г.



Кн. А. И. Урусовъ *).

Въ октярѣ 1857 г. въ нашъ 4-й классъ 1-й гимназіи, если не ошибаюсь, на урокъ латинскаго языка, который преподавалъ намъ самъ инспекторъ Петръ Михайловичъ Копосовъ, привели 2-хъ пажей въ шитыхъ золотомъ мундирахъ: одного лѣтъ пятнадцати, большого и довольно полнаго. Инспекторъ проэкзаменовалъ его по Федру, и онъ оказался больше чѣмъ удовлетворителенъ: онъ зналъ и склоненія, и спряженія и переводилъ довольно свободно. Мы вообразили, что онъ экзаменуется по крайней мѣрѣ въ 5-й, если не въ 6-й классъ и довольно безучастно отнеслись къ его знаніямъ. Но на слѣдующій часъ онъ явился къ намъ экзаменоваться по математикѣ и остался у насъ, (а младшій его братъ былъ принятъ, кажется, во 2-й классъ). Во время перемѣны мы подошли къ нему и узнали, что фамилія его князь Урусовъ Александръ и экзаменовался онъ именно въ 4-й классъ, такъ какъ хорошо знаетъ только иностранные языки и всего на 2 года старше самыхъ младшихъ изъ насъ. Аристократъ и князь онъ былъ между нами не первый: былъ у насъ Бибиковъ, князь Львовъ Василій (рано, вскорѣ по окончаніи курса въ университетѣ, умершій), Лутовиновъ, Тургеневъ (родной племянникъ Ивана Сергѣевича) и др.;

*) Читано въ засѣданіи О-ва Любителей Россійской словесности, посвящ. кн. А. И. Урусову, 9 марта 1901 г.

но Урусовъ настолько былъ развитѣе и начитаннѣе насъ и такъ держалъ себя съ нами, что всѣ мы говорили ему *вы* и держались отъ него вдалекѣ. Можетъ быть, кто нибудь изъ старшихъ товарищей и толковалъ съ нимъ объ общихъ гимназическихъ дѣлахъ, но я былъ въ то время такимъ еще мальчишкой (хотя и хорошо учившимся), что Урусовъ и въ этотъ годъ и слѣдующій рѣшительно не оставилъ во мнѣ никакихъ воспоминаній.

Лѣтомъ, при переходѣ изъ V класса въ VI, я почему-то внезапно созрѣлъ и изъ ребенка почти прямо превратился въ юношу: я твердо рѣшился перестать обманывать мою мать, которая всячески поощряла меня заниматься новыми языками (по латыни учились мы очень мало), не читать романовъ Купера, чему я предавался со страстью, и начать заниматься серьезно. Увлекаясь исторіей, которую у насъ преподавалъ ученикъ Грановскаго Сопчаковъ, я надумалъ, при участіи товарищей, составить учебникъ новой исторіи, чтобы не учиться по нелѣпому Смарагдову, на котораго Сопчаковъ жаловался заранѣе. Мысль для 14-лѣтняго 6-классника довольно смѣлая и... весьма нелѣпая. Между одноклассниками, когда мы сошлись въ августѣ, я нашелъ двоихъ сочувствующихъ, и изъ нихъ старшій былъ князь Урусовъ, одобреніе котораго было для меня чрезвычайно важно, также какъ и доставляемыя имъ для общаго дѣла французскія книги, въ которыхъ событія были изложены весьма красиво, хотя и безъ указанія источниковъ.

Изъ нашего предпріятія, разумѣется, ничего не вышло тѣмъ болѣе, что скоро появилась книга такъ называемая маленькаго Вебера, переведенная Соколовымъ, которая и была введена у насъ, какъ учебникъ; но, благодаря ему, я сошелся съ кн. Александромъ Урусовымъ и близость наша продолжалась до самаго конца гимназическаго курса. Я могъ оказывать содѣйствіе Урусову относительно математики, которая ему плохо давалась, вѣроятно вслѣдствіе того, что первый его учитель ариѳметики былъ плохъ; за то онъ, Урусовъ, стоялъ несравненно выше меня во всѣхъ

остальныхъ предметахъ и прежде всего въ такъ называемой словесности. Сочиненія его были лучшими въ классѣ, и въ предпослѣднемъ и послѣднемъ годахъ онъ часто позволялъ себѣ такіе кунштюки едва ли въ силу необходимости: онъ читалъ сочиненія по чистому листу бумаги, что обнаруживалось только тогда, когда нашъ преподаватель изъявлялъ желаніе посмотрѣть трудъ Урусова: нѣтъ ли въ немъ случайныхъ ошибокъ.

Первенствовалъ Урусовъ и на нашихъ литературныхъ вечерахъ, гдѣ мы обсуждали темы слишкомъ для многихъ изъ насъ (но не для Урусова) мудреныя (напр. что такое фразеръ, по поводу Тургеневскаго Рудина); онъ говорилъ и больше всѣхъ и лучше всѣхъ, и такъ называемые казенные (т. е. пансіонеры), которые вообще его не любили за его будто бы аристократическія манеры и за выканье, въ этомъ отношеніи, какъ и въ отношеніи сочиненій охотно преклонялись передъ нимъ.

Но математика и потомъ латынь (по которой я тоже считался однимъ изъ лучшихъ учениковъ), играли въ нашей гимназіи видную роль, и родители Урусова продолжали очень любезно принимать меня до самаго конца гимназическаго курса. Я очень ясно помню его отца нѣсколько грубоватаго и вспыльчиваго, но кажется въ сущности добродушнаго полковника, и его умную, прекрасно образованную мать, которая изрѣдка появлялась къ сыну на верхъ то одна, то съ кѣмъ нибудь изъ своихъ знакомыхъ и охотнѣе говорила по французски, чѣмъ по русски. Во время экзамена изъ VI класса въ VII мы съ Урусовымъ передъ исторіей рѣшили просидѣть цѣлую ночь на пролетъ (хотя необходимости въ этомъ никакой не было: оба мы по исторіи считались лучшими учениками) и до полуночи забавлялись тѣмъ, что пугали прохожихъ по Арбату, выставивъ въ окно на улицу черепъ съ горящими глазами, почему-то лежавшій на письменномъ столѣ Урусова, и пуская искры изъ принадлежавшей ему же электрической машины. На самомъ экзаменѣ я отвѣтилъ,

вѣроятно, недурно, потому что получилъ пять, но ничего не помню, что говорилъ, и заснулъ по дорогѣ на свою Шелепиху, гдѣ мы съ матерью жили на дачѣ. А Урусовъ, какъ я узналъ отъ него потомъ, провелъ день прекрасно и только пораньше легъ спать. Настолько онъ былъ сильнѣе меня и физически!

Въ продолженіе всего 7 класса (въ то время—послѣдняго) мы сидѣли цѣлый годъ съ нимъ на одной скамейкѣ.

Въ концѣ предыдущаго года вышли прямо въ университетъ два наши старшіе товарища Ведринскій и Бейеръ, и я съ самаго начала 7 класса оказался 1-мъ ученикомъ, нынѣшній магистръ зоологіи и преподаватель въ Николаевскомъ институтѣ 2-мъ, а Урусовъ—3-мъ. Зоологъ и я жили и матерей своихъ содержали уроками, а Урусовъ жилъ съ родителями и на счетъ родителей, но былъ гораздо развитѣе насъ съ зоологомъ въ литературномъ и житейскомъ отношеніяхъ, и хотя по гимназической табели о рангахъ мы стояли капельку выше его, нравственно мы подчинялись ему, и изъ насъ троихъ говорящимъ и руководящимъ оказывался Урусовъ. Мы двое еще были полумальчиками, находившими большое удовольствіе въ борьбѣ и показываніи своей силы (вѣроятно, въ сущности еще очень небольшой), а онъ уже былъ скорѣй молодымъ человѣкомъ, который только ради пріятелей былъ непрочь иногда повозиться, но особой прелести и чести въ этомъ уже не видалъ. За то честь въ болѣе глубокомъ смыслѣ мы съ зоологомъ выучились понимать, кажется впервые отъ Урусова. Я помню, напр., такой случай, именно изъ 7-го класса. Какъ-то у насъ не было урока и къ намъ прислали на пустой часъ молодого надзирателя нѣмца, кажется, изъ Дерптскаго университета. Урусовъ, прельщенный его молодостью, сперва поговорилъ съ нимъ по нѣмецки, потомъ принялся бороться, не помню, со мной или съ будущимъ зоологомъ. Надзиратель пробовалъ остановить насъ, но напрасно. Вдругъ кто-то изъ казенныхъ крикнулъ: инспекторъ! и мы тихо сѣли на мѣсто. Инспекторъ въ

самомъ дѣлѣ вошелъ и отпустилъ надзирателя. Уходя тотъ наклонился и что то сказалъ Урусову, чего я не понялъ, по плохому знанію нѣмецкаго языка, но что, повидимому не понравилось Урусову; только отвѣтить онъ не успѣлъ. „Что вамъ сказалъ онъ?“ спросилъ я его тихо. „Надзиратель, отвѣтилъ онъ мнѣ, заявилъ, что меня и васъ онъ считаетъ нечестными людьми, такъ какъ мы перестали бороться изъ страха передъ инспекторомъ, а не вняли его упрашиваніямъ. Глупый человѣкъ не понимаетъ того, что благоразуміе вовсе не есть трусость, и что, избѣгая за полгода до университета столкновенія съ инспекторомъ, который насъ не любитъ, и ищетъ случая придраться къ намъ, мы выказали къ нему, надзирателю, въ сущности, лучшее отношеніе, нежели къ внѣшнему авторитету инспектора. А онъ, пользуясь выгодами своего положенія, бранитъ насъ нечестными“. Не разъясни мнѣ это Урусовъ, я скушалъ бы обиду отъ надзирателя вполнѣ покойно, но теперь я воспылалъ негодованіемъ и предложилъ идти въ перемѣну объясняться къ обидчику.—„Стоитъ ли?“ спросилъ Урусовъ. „Стоитъ, стоитъ непремѣнно! только говорите по нѣмецки, чтобы не поняли окружающіе“. Урусовъ согласился и мы отправились. Будущій адвокатъ говорилъ такъ хорошо и убѣдительно, что честный нѣмецъ, подумавъ немного, согласился съ нимъ: протянулъ намъ обоимъ руку и извинился передъ нами. Очень гордый одержанной побѣдой вернулся я въ классъ. Это было только мальчишеское самодовольство, но во 2-е полугодіе я испыталъ съ той же стороны и нѣчто болѣе серьезное. Наканунѣ того воскресенья, когда въ 1861 г. должны были въ церквахъ объявить *волю* 19 февраля, Урусовъ предупредилъ меня, что онъ зайдетъ утромъ (я жилъ съ матерью при въѣздѣ на тогдашнее Дѣвичье Поле) и пойдетъ со мной гулять, чтобы посмотрѣть, какъ крестьяне примутъ эту волю. Едва-ли я въ 15 лѣтъ, занятый уроками и приготовленіемъ, понималъ значеніе этого событія и пошелъ бы на Поле; едва ли я одинъ осмыслилъ бы, по-

чему народъ встрѣтилъ объявленіе такъ тихо и благоговѣйно. Но таково ли свойство ранней молодости вообще, или сказалась здѣсь прежде всего особенность того *хорошаго* человѣка, на видъ шумнаго, а въ сущности скромнаго, котораго поминаемъ мы: я рѣшительно не помню ни слова изъ того, что говорилъ мнѣ Урусовъ, а помню все такъ, какъ я самъ это видѣлъ и чувствовалъ.

Поступивъ въ университетъ, мы разошлись по разнымъ факультетамъ: зоологъ — на естественный, Урусовъ — на юридическій, а я — на филологическій. Съ зоологомъ я почти не видался лѣтъ двадцать, а съ Урусовымъ, который на 1 курсѣ юриспруденціей интересовался мало, а исторіей литературы очень много, мы прежде всего встрѣтились у Буслаева. Къ Буслаеву мы, начинающіе филологи 1-го курса, относились съ благоговѣніемъ за его гуманность, за его любовь и доброту къ намъ и за смѣлость его идей. Урусовъ говорилъ съ нимъ умнѣе и красивѣе, чѣмъ мы, и Буслаевъ отвѣчалъ ему охотнѣе, но въ спорѣ съ нимъ шелъ дальше чѣмъ съ нами и высказывалъ то, что намъ тогда казалось парадоксомъ, и все же поражало насъ настолько, что мы иногда выходили отъ него будто съ перевернутыми мозгами. Тогда же Урусовъ началъ писать и литературнымъ трудомъ зарабатывать себѣ деньги, дѣло для насъ въ то время еще недоступное. Въ студенческую исторію 1861 г. мы бросились, такъ сказать, очертя голову, а Урусовъ, все рѣже и рѣже посѣщавшій университетъ, смотрѣлъ на нее невольно сверху внизъ, какъ на что-то недозрѣлое и невзрослое.

Такимъ образомъ, мы все дальше и дальше расходились съ нимъ. Когда мы кончили курсъ, и онъ сразу сдѣлался знаменитостью, между имъ и мною произошла ссора, въ которой, какъ я теперь понимаю, я былъ виноватъ всецѣло, но считалъ себя правымъ на чисто формальномъ основаніи. Позднѣе мы иногда сталкивались съ Урусовымъ, то въ публичной библіотекѣ, то въ другомъ общественномъ мѣстѣ и никогда другъ друга не узнавали. Слышалъ я и

о ссылкѣ Урусова, и объ его поступленіи на службу, но въ самыхъ общихъ чертахъ. Разъ какъ-то 20 лѣтъ назадъ, когда я уже дѣйствовалъ вторично въ Харьковѣ профессоромъ, на jour fix'ѣ у М. М. Ковалевскаго въ Москвѣ мы встрѣтились съ Урусовымъ. Ковалевскій насъ хотѣлъ представить другъ другу, но Урусовъ, всегда бывшій находчивѣе меня, весело сказалъ хозяину: „мы съ Кирпичниковымъ прекрасно другъ друга знаемъ, мы цѣлый годъ сидѣли на одной скамейкѣ, мы гимназическіе товарищи и когда-то друзья". Цѣлый вечеръ проговорили мы съ Урусовымъ почти вдвоемъ, за ужиномъ сидѣли рядомъ и вмѣстѣ поѣхали домой, такъ какъ оказались живущими въ одной сторонѣ Москвы. Я былъ очень благодаренъ Урусову, что онъ будто забылъ объ нашей ссорѣ и не упомянулъ объ ней ни однимъ словомъ, и вообще это былъ одинъ изъ лучшихъ вечеровъ въ моей жизни. Грустно мнѣ только было, что старый и близкій товарищъ говорилъ объ своей опасной болѣзни (tabes), будто бы какъ о чемъ то непоправимомъ и неизбѣжномъ и приготовлялся къ довольно скорой смерти. Къ счастію, Урусовъ, какъ оказалось, ошибался, и если у него и былъ tabes, то какой-то медленный и совсѣмъ особенный: лица, не знавшія лично Урусова, знаютъ теперь, что онъ и до самой смерти сохранилъ полную ясность своего замѣчательнаго ума.

Лѣтъ 8 назадъ я переселился въ родную Москву, гдѣ прежде меня совсѣмъ устроился Урусовъ въ собственномъ домѣ, близъ Арбата, по прежнему занимавшійся адвокатурой, какъ профессіей. Мы съ нимъ слишкомъ далеко разошлись въ жизни, чтобы сойтись, какъ въ старые годы, какъ въ юности; но все же видались довольно часто и видались дружески. Я не буду распространяться о томъ, насколько смягченнымъ и какъ будто поблекнувшимъ нашелъ я Урусова почти черезъ 30 лѣтъ: меня, по весьма понятной причинѣ, больше интересовало то, въ чемъ Урусовъ остался вѣренъ себѣ, чѣмъ то, въ чемъ онъ измѣнился. Разъ 6—7 видались мы среди зимы; весною я какъ

то получилъ отъ него записочку, которую помню почти дословно: „Дорогой другъ, Ал. Ив., Во вторникъ мнѣ 51 (или 52 не помню хорошенько) годъ, что со всякимъ можетъ быть. Въ этотъ день я имѣю обычай собирать къ себѣ своихъ старыхъ пріятелей. Пожалуйста и пр.“. Я отправился съ большимъ удовольствіемъ. Гостей оказалось немало, по крайней мѣрѣ половина изъ нихъ мнѣ знакомыхъ, и на мой взглядъ это были все лучшіе люди Москвы; а живѣе, остроумнѣе, веселѣе всѣхъ былъ самъ хозяинъ, очевидно, сохранившій за 50 лѣтъ и охоту, и умѣнье жить и разговаривать, такъ что вечеръ прошелъ чрезвычайно пріятно. Къ крайнему для меня лично сожалѣнію, онъ окончился около 4-хъ часовъ утра. Еще съ большимъ удовольствіемъ бывалъ я у Александра Ивановича и на слѣдующихъ дняхъ его рожденія, но стремился уйти до ужина, хоторый подавался не раньше часу.

Какъ то разъ Александръ Ивановичъ встрѣтилъ у меня вечеромъ одного моего товарища по университету, года на три старше меня, но обладавшаго довольно почтенной сѣдой бородой — онъ живъ и точно такой же до сихъ поръ. Почему то я не догадался познакомить ихъ другъ съ другомъ.—Кто у тебя этотъ почтенный старецъ? спросилъ меня Александръ Ивановичъ своимъ добродушно-насмѣшливымъ тономъ, отведя меня въ сторону. Я не могъ не разсмѣяться и отвѣтилъ ему: Этотъ старецъ всего на 1 годъ старше тебя. Это такой то, очень умный и милый человѣкъ. Въ то время Урусовъ взбирался ко мнѣ, на 2-й этажъ, съ помощью палки и ѣздилъ—всего домовъ черезъ 20, закрывъ ноги пледомъ, но былъ еще очень красивъ, хоть и съ легкою просѣдью, изящно одѣтъ и чрезвычайно живъ и остроуменъ, такъ что, дѣйствительно, сравнительно съ нами, онъ казался совсѣмъ молодымъ человѣкомъ, наслаждавшимся жизнью. Тогда же я довольно часто встрѣчался съ нимъ въ одномъ очень интеллигентномъ домѣ, гдѣ кромѣ старшей барышни, всецѣло ушедшей въ занятія новой литературой, были двѣ ея сестры, тогда молодыя и

красивыя дѣвицы, развитыя и образованныя, но менѣе занятыя чтеніемъ, чѣмъ жизнью. Надо было видѣть Урусова тамъ и въ полномъ блескѣ, чтобы оцѣнить его, какъ слѣдуетъ: онъ какъ и въ старые годы говорилъ и больше всѣхъ и лучше всѣхъ, причемъ въ его легкомъ и веселомъ разговорѣ (едва я не употребилъ французское слово, которое гораздо больше шло къ его рѣчи) изящество формы соединялось съ серьезностью содержанія. О г-жѣ Сталь (M-me de Stal) сказала одна ея хорошая знакомая: еслибы я была государемъ, я приказала бы автору Коринны всегда говорить за моимъ столомъ: такъ было бы мнѣ гораздо пріятнѣе жить на свѣтѣ. Тоже могли сказать и объ Урусовѣ въ 50 слишкомъ лѣтъ его слушательницы: онѣ внимали ему, не отводя глазъ и не спуская съ устъ своихъ веселой улыбки, а мы, его бывшіе товарищи, часто младшіе его, смотрѣли на него съ старческимъ добродушіемъ, или въ худшемъ случаѣ съ старческой досадою: „И охота, молъ, тебѣ, немолодому человѣку, такъ распинаться!“

Въ томъ же интеллигентномъ домѣ я видалъ Александра Ивановича и черезъ 2 — 3 года, когда младшія барышни уже вышли замужъ, а Урусовъ сталъ терять слухъ и болѣть, сталъ весело разрушаться, по его выраженію. Онъ былъ такой же жизнерадостный и жизнью полный, какъ и прежде, хотя и могъ разговаривать только съ помощью слухового рожка. Былъ я у него какъ-то послѣ сильнаго припадка болѣзни, и онъ, по обыкновенію, остроумно и весело разсказывалъ, какъ онъ ушелъ изъ подъ операціоннаго ножа грубоватаго доктора, припугнувъ его прокуроромъ. Слушалъ я въ домѣ одного изъ московскихъ богачей его благотворительную лекцію о женщинахъ Гёте, живую и блестящую, какъ и все то, что писалъ онъ, но не поражавшую особенной глубиной и оригинальностью, такъ какъ олимпіецъ Гёте, сколько знаю, никогда не былъ Урусову особенно симпатиченъ. Видѣлъ я его, наконецъ, ранней весною, за нѣсколько мѣсяцевъ до смерти; такъ какъ органъ его слуха почти бездѣйствовалъ, то я долженъ былъ

писать то, что намѣренъ былъ сказать ему; но свои собственныя живыя и остроумныя рѣчи были у него, очевидно, хорошо продуманы и не показывали ни малѣйшаго паденія духа. Урусову, несомнѣнно, часто приходила мысль о томъ, что ему отъ этой болѣзни не оправиться, но онъ не считалъ справедливымъ переносить свое отчаяніе или, по крайней мѣрѣ, тяжелое состояніе духа на другихъ: себѣ пользы не будетъ, а имъ принесешь вредъ и непріятность. Такъ и умеръ онъ, говорятъ,—меня не было въ это время въ Москвѣ—умнымъ и пріятнымъ человѣкомъ, стараясь пройти поскорѣе для всѣхъ равно тяжелыя и некрасивыя минуты и доставить какъ можно менѣе непріятностей и другимъ и себѣ.

Нѣкоторые думаютъ, будто всякому человѣку дана одинаковая съ другими доля счастья и несчастья. Если это такъ, то и объ нашемъ покойномъ сочленѣ можно сказать, что его постоянная веселость на людяхъ, ранняя его адвокатская слава и видная роль, которую онъ до самой смерти игралъ въ обществѣ, вполнѣ вознаграждали его за тѣ тяжелыя минуты, которыя переживалъ онъ въ ссылкѣ и во время своей долгой болѣзни, которая, можетъ быть, была ея послѣдствіемъ. Но если эту теорію считать простымъ суевѣріемъ, какъ, напримѣръ, позволяю себѣ считать ее я, Урусова надо назвать несчастнымъ человѣкомъ. Обладая блестящими способностями, получивъ превосходное образованіе и выработавъ въ себѣ рѣдкую энергію и трудолюбіе, онъ всю жизнь свою сидѣлъ на двухъ стульяхъ: литературѣ и адвокатурѣ, и сдѣлалъ гораздо менѣе, чѣмъ обѣщалъ талантъ ему данный. Онъ не оставилъ послѣ себя ни крупнаго состоянія—все, до чего могутъ дойти наши талантливые адвокаты, ни серьезнаго, большого труда, а только начала въ томъ и другомъ дѣлѣ. Судьба его явно преслѣдовала, будто желая помѣряться съ нимъ силами. Но въ одномъ отношеніи онъ явно побѣдилъ свою судьбу: преслѣдуя его отъ молодости до самой могилы—даже въ наше общество любителей словесности, гдѣ онъ былъ

бы чрезвычайно полезенъ, какъ прекрасный знатокъ и поклонникъ стараго—Пушкинскаго и новаго—Боделэровскаго искусства, онъ попалъ почти наканунѣ смерти—она (судьба) будто хотѣла отучить его отъ жизнерадостности и веселости и это ей не удалось: какимъ вступилъ онъ въ жизнь, такимъ и вышелъ изъ нея на срединѣ 6-го десятка, оставивъ между друзьями самыя свѣтлыя воспоминанія.

А. Кирпичниковъ.

Мой братъ*).

Братъ мой былъ мнѣ и крестнымъ отцомъ. Въ дѣтствѣ я его любила, какъ отца, а позже мы стали пріятелями; но въ теченіи долгихъ лѣтъ я боялась его, боялась его насмѣшливости, его саркастическаго ума: у меня былъ малодушный страхъ показаться ему глупой или незначительной, и я становилась глупа и незначительна отъ застѣнчивости или отъ крайняго самолюбія. Я не смѣла показать ему мои небольшіе литературные опыты, которые онъ, навѣрно-бы, осудилъ безжалостнымъ образомъ. Однако-жъ одинъ сонетъ мой пришелся ему по вкусу, и онъ напечаталъ его въ журналѣ. Это былъ лучшій день моей жизни!

Больше всего послѣ глупости и незначительности, братъ не терпѣлъ скучныхъ, надутыхъ, похоронныхъ физіономій. Можно было и безъ большой умственной силы нравиться ему веселостью: онъ любилъ въ жизни солнце и изнутри человѣка и извнѣ его,—любилъ, словомъ, жизнь со всѣмъ ея призрачнымъ блистаніемъ. Онъ не терпѣлъ тоже некрасивости и закрывалъ глаза, чтобъ не видать безобразнаго лица или уродливости. Помню, какъ однажды, сидя за столомъ съ нашей гувернанткой-француженкой, у которой одна рука была меньше другой, братъ до конца обѣда не

*) Переводъ съ французскаго текста, посланнаго намъ сестрою кн. А. И. Урусова, бар. Евгеніею Ивановною Капгеръ.

открывалъ глазъ, несмотря на замѣчанія негодовавшей матери. Я тогда была ребенкомъ, а онъ, кажется, совсѣмъ юнымъ адвокатомъ.

Братъ мой былъ очень разсѣянъ; часто ему это прощалось, но иногда на него и сердились... Будучи товарищемъ прокурора въ Петербургѣ, онъ пустился въ большой свѣтъ, думаю, что больше изъ каприза; и тамъ, плѣняя самыхъ изящныхъ женщинъ своимъ поразительнымъ умомъ, онъ часто забывалъ быть вѣжливымъ съ дураками и открыто пренебрегалъ ими—не извиняясь. Онъ никогда не отдавалъ визитовъ молодымъ людямъ, пріѣзжавшимъ къ нему, онъ забывалъ про тѣхъ, кто не интересовалъ его. За то и его забывали: это было местью посредственностей. Однажды, когда онъ долженъ былъ появиться у принцессы Матильды въ Парижѣ, онъ забылъ надѣть галстукъ и замѣтилъ свой промахъ только послѣ обѣда. Это его не смутило, и въ другой разъ онъ пріѣхалъ къ ней въ плохо починенной обуви и гордился, что заплатилъ только 50 сантимовъ за исправленіе столь не-парижской ботинки! Въ тотъ разъ я была съ нимъ въ Парижѣ, и онъ водилъ меня всюду, куда можно повести молодую дѣвушку; это было очень мило съ его стороны, но и очень скучно для него. Мы обращали на себя вниманіе на бульварахъ: братъ ходилъ въ огромныхъ галошахъ, на одной рукѣ носилъ плэдъ, а другою велъ подъ руку сестру; на головѣ у него всегда, несмотря ни на какую погоду, надѣта была набекрень мѣховая шапка, а огромная шуба вызывала удивленіе всѣхъ проходящихъ: всѣ на насъ оборачивались съ одинаковой улыбкой. Братъ мой очень смѣялся тому впечатлѣнію, которое онъ производилъ. Мы часто бывали у букинистовъ! Сколько онъ накупалъ книгъ! Цѣлыми дюжинами! Эти „книжныя оргіи“ стоили немалыхъ денегъ, и тогда, изъ экономіи, мы завтракали въ „бульонъ Дюваль“, чтобы оплачивать эти интеллектуальные „дебоши“. Онъ питался этими книгами во всякое время дня и ночи. Неутомимый мозгъ его впитывалъ въ себя, поглощалъ ихъ сокъ—горькій или сладкій,— упива-

ясь мыслью, какъ запахомъ, опьяняясь красотой въ построеніи фразы, вкушая творчество, какъ священный напитокъ. Умъ его былъ какъ серебряное зеркало, въ которомъ переливалось сладострастное наслажденіе красотой мысли, сверкая игрой драгоцѣнныхъ камней. Я никогда не видала, чтобы братъ сидѣлъ или лежалъ безъ книги: онъ читалъ даже и за столомъ, во время кушанья, что сокрушало мать мою во время его короткихъ посѣщеній насъ въ Висбаденѣ.

Онъ имѣлъ отвращеніе къ болѣзни, къ смерти. Некрасивый русскій носъ его былъ такъ же чувствителенъ ко всему, что „дурно пахло", какъ и его прекрасная русская душа. Умирая медленно, постепенно, онъ лишился всѣхъ почти чувствъ, кромѣ обонянія. Говоря словами Боделэра: „Душа его кружилась въ ароматахъ такъ же, какъ душа другихъ кружится въ вихрѣ музыки."

Бар. Е. И. Капгеръ.

(Письма къ сестрѣ).

I*).

Марьинка, г. Бронницы.

5/17 Juin 1897.

Ma chère Jenny, je réponds à ta lettre, que je viens de recevoir ici, où je suis depuis une semaine...

J'ai été malade: de violentes névralgies d'un caractère nouveau—des engourdissements qui me reviennent, comme des paralysies—s'étaient déclarées. Je suis resté une semaine au lit. Les médecins m'envoient à Karlsbad pour y traiter

---

5/17 іюня 1897 г.

*) Милая Женни! Отвѣчаю на твое письмо, которое я только что получилъ. Я здѣсь уже недѣлю. Я былъ нездоровъ: появились сильныя невралгіи новаго характера,—повторяющаяся оцѣпенѣлость, вродѣ паралича. Недѣлю я пролежалъ. Доктора посылаютъ меня въ Карлсбадъ, лѣчить діабетъ; впро-

mon diabète, lequel du reste est une maladie incurable. Comme la tabès en est une autre, cela m'en fait deux. Du reste la vie doit être considérée comme une maladie mortelle. Le tout est de la faire dûrer en longueur, et comme j'y suis parvenu jusqu'à 54 ans, je ne vois vraiment pas de raison décente de me plaindre. J'ai publié dans le № de Mai de La Plume quelques notes „En marge de la vie", qui sont assez drôles. Huysmans les appelle: des féroces fleurettes. J'ai également publié un assez grand travail sur Baudelaire et les Fleurs du Mal dans un recueil „le tombeau de Baudelaire", qui a paru à Paris en Février. Je regrette de ne pouvoir t'en envoyer un exemplaire car le tirage n'est que de 250 exemplaires en tout et il n'y en a pas pour les auteurs—tout est vendu. Cependant on en trouve à Paris chez les bouquinistes. Peut être parviendrai-je à t'en envoyer un.

Nous sommes depuis fin Mai à Марьинка, ou il est impossible de s'ennuyer. Moi j'y travaille à un article sur Baudelaire en russe pour Cosmopolis et un autre en français sur des lettres de Baudelaire inédites, que je possède. O. et A. sont de grandes amies. Dès le matin j'entends

---

чемъ, онъ неизлѣчимъ; табесъ—также неизлѣчимъ; такимъ образомъ, неизлѣчимыхъ болѣзней у меня двѣ. Впрочемъ, и жизнь слѣдуетъ разсматривать какъ болѣзнь смертельную. Все дѣло въ томъ, чтобы ее растянуть какъ можно дольше. А такъ какъ это мнѣ уже удалось до 54 лѣтъ, то я и не вижу приличнаго повода жаловаться.

Въ майскомъ № „La Plume" я помѣстилъ нѣсколько замѣтокъ: „En marge de la vie". Онѣ довольно забавны. Гюисмансъ называетъ ихъ „свирѣпыми цвѣточками". Кромѣ того я помѣстилъ довольно большую работу „о Боделэрѣ и его „цвѣтахъ зла" въ сборникѣ „Могила Боделэра", появившемся въ Парижѣ, въ февралѣ. Жаль, что не могу прислать тебѣ экземпляра; ихъ всего на всего выпущено 250, и не хватило даже для авторовъ. Все распродано. Впрочемъ, въ Парижѣ можно найти этотъ сборникъ у букинистовъ. Можетъ быть, мнѣ и удастся достать его для тебя.

Съ конца мая мы въ Марьинкѣ, гдѣ скучать немыслимо. Я работаю надъ статьей о Боделэрѣ, по русски, для „Cosmopolis" и надъ французской статьей о хранящихся у меня его неизданныхъ письмахъ. О. и А.—большіе друзья. Съ самаго утра я слышу стукъ крокетныхъ молотковъ по шарамъ. Читаю О. Иліаду. Она учится по итальянски. У насъ бываетъ и музыка.

les coups de maillet, qui tapent sur les balles du crocket. Je lis à O. l'Iliade, elle s'amuse à apprendre l'italien, on fait de la musique...

Je vois avec ennui le moment où je devrai quitter mon paisible foyer familial pour aller endurer les salutaires supplices des eaux et des cures de Karlsbad. J'ai pense à Vichy, mais le premier est un peu plus près et dit-on classique pour le diabète. Va pour classique! J'ai encore quelques affaires à terminer ici et en Juillet—houste!

Ton frère affectueux A. O.

II *).

5/17 Septembre 97. Moscou.

Ma chère amie, pour cette fois—pas un mot d'affaires. Je te remercie pour la lettre de félicitations, qui m'a fait vraiment beaucoup de plaisir. Quelques jours avant je t'ávais écrit—avec un portrait d'„Alexandre". Il se fait vieux, Alexandre—mais grâce à une ingénieuse combinaison de défauts et de piètres qualités, il conserve un certain diable-au-corps qui lui permet de s'amuser à la bonne franquette et même de conserver la gaîté d'un autre âge. Pour le moment ton frère n'est pas joli à regarder. J'ai un clou, un furoncle au cou et depuis hier je garde la chambre, emmailloté d'essuie—mains, cuisinant comme Robinson, au milieu d'une maison, envahie par les maçons,

---

Съ грустью предвижу время, когда придется покинуть мирный домашній очагъ и ѣхать на цѣлебныя терзанья Карлсбадскихъ лѣченій и водъ. Я подумывалъ о Виши, но Карлсб. немножко ближе и, говорятъ, классическое мѣсто для діабета. Ну, и пусть будетъ оно классическое! Мнѣ надо кончить здѣсь еще кое-какія дѣла, и въ іюлѣ—удираю.

Любящій тебя братъ А. Урусовъ.

5/17 сент. 97 г. Москва.

*) Милый другъ! На сей разъ—ни слова о дѣлахъ. Спасибо тебѣ за поздравительное письмо, которое меня, право, очень обрадовало. За нѣсколько дней до него я послалъ тебѣ письмо съ портретомъ „Александра". Старится Александръ, но, благодаря удачной комбинаціи недостатковъ и небольшихъ достоинствъ, онъ сохраняетъ своего рода diable au corps, который позволяетъ ему веселиться отъ души и даже сохранять веселость

et servi par Степанъ, le dwornik excellent mais rustique. Ma bonne Marie et mes quatre nièces sont à la campagne où l'automne radieux, sec et chaud de cette année de disette rend le séjour supportable pour elles, délicieux pour moi. Ici, je suis forcé de faire, la seconde année, que ça dûre, des réparations capitales, qui absorbent le mien. Aujourd'hui, par exemple, j'ai vu apporter deux ballots, 200 pièces de feutre, qui seront mises sous les parquets, pour tenir chaud. Les tapis invisibles seront déposés sur une couche épaisse de cendres de charbon de terre, laquelle couche est mélangée à du verre de bouteilles cassé pour décourager les rongeurs. La couche de cendres repose sur des poutres revêtues d'un fort badigeon de plâtre. J'avoue, que j'ignorai jusqu'a ce jour, qu'il fallut tant de façons pour faire un plancher.

Je suis confiné chez moi. Je relis avec enchantement toute l'oeuvre des Goncourt. Hier j'ai bien ri à son „Journal" et á „Chérie". Aujourd'hui j'en suis au „Gavarni". Tout cela est merveilleux de rendu.

Malheureusement je ne puis pas écrire moi même. C'est comme un ressort gâté, qui ne lâche pas le jet. Je sens

---

иного возраста. Въ данную минуту твой братъ не очень интересенъ. У меня нарывъ на шеѣ, и, со вчерашняго дня, я сижу дома, обернутъ полотенцами, стряпаю, какъ Робинзонъ, въ домѣ, заполоненномъ каменщиками; служитъ мнѣ Степанъ, дворникъ прекрасный, но деревенщина. Моя милая Marie и 4 племянницы въ деревнѣ; ясная, сухая и теплая осень этого голоднаго года дѣлаетъ пребываніе тамъ возможнымъ для нихъ, и—наслажденіемъ для меня.

Здѣсь у меня приходится вотъ уже 2-ой годъ дѣлать капитальный ремонтъ, поглощающій мой капиталъ. Сегодня, напр., принесли два тюка: 200 штукъ войлока, который положится подъ паркетъ, чтобы было тепло. Эти невидимые ковры будутъ положены на толстый слой золы, смѣшанной съ битымъ стекломъ для обезкураживанія грызуновъ. Слой пепла покоится на бревнахъ, покрытыхъ крѣпкимъ бетономъ. Признаюсь, я до сего дня не зналъ, что нужно столько фокусовъ, чтобы сдѣлать полъ.

Перечитываю съ восторгомъ всѣ произведенія Гонкуровъ. Вчера много смѣялся надъ его „Journal" и „Chérie". Сегодня дошелъ до „Gavarni". Все это великолѣпно передано. Къ сожалѣнію, я самъ писать не могу. Это — какъ испорченная пружина, которую никакъ не заведешь.

que mon article „Baudelaire“ pour Cosmopolis (en russe) est tout prêt en moi, mais le ridicule désir d'atteindre à une perfection phantastique me cloue sur place et me ferme le bec. C'est stupide! L'article commandé, promis pour le 15... Juin.

A. O.

III *).

26 Décembre 1898. Moscou.

Ma chère Jenny! ta bonne lettre nous a fait, à M. et à moi, le plus grand plaisir: elle respire le bonheur vrai et serein de la vie de famille, le bonheur d'avoir un excellent mari et une enfant, dout le charme éclaire l'avenir. Ta lettre à H. renferme aussi des détails trés intéressants: je vois d'içi l'arbre de Noël les yeux brillants de Jennchen où se reflètent les bougies allumées, et je respire l'odeur du sapin échauffé, cette bonne odeur des souvenirs d'enfance! Certes, nous aurions bien voulu prendre part à cette joie en assistant à votre arbre, mais la vie ne s'accomode pas de ces jolis rêves! Moi, mes galoches et mon inévitable plaid, je viendrais bien volontier à D. si je pouvais le faire. Pour sûr cela aura lieu en 1900, avec M: elle a promis d'aller avec moi à l'Exposition. Il est possible cependant, que je ressente le besoin de voir du pays avant cette date et alors vous me verrez vieux, gris blanc, mais encore assez vivace.

Чувствую, что моя статья о Боделэрѣ, для „Cosmopolis“, (по русски) совершенно готова въ головѣ, но смѣшное желаніе дойти до фантастическаго совершенства пригвождаетъ меня на мѣстѣ и закрываетъ мнѣ ротъ. Это глупо! Статья мнѣ заказана и обѣщана къ 15 іюня.

А. У.

26 декабря 1898 г. Москва.

*) Милая Женни! Твое письмо чрезвычайно обрадовало М. и меня. Оно дышитъ истиннымъ и свѣтлымъ счастьемъ семейной жизни. Въ твоемъ письмѣ къ Н. тоже много интересныхъ подробностей: я отсюда вижу рождественскую елку, блестящіе глазки Женьхенъ, въ которыхъ отражаются зажженыя свѣчи; я вдыхаю запахъ теплой елки, этотъ хорошій запахъ дѣтскихъ воспоминаній! Конечно, и намъ очень бы хотѣлось принять участіе въ этомъ праздникѣ и пріѣхать къ вамъ на елку, но жизнь не сообразуется съ этими милыми мечтаніями. Въ калошахъ и съ моимъ неизбѣжнымъ пледомъ, я

En attendant voici de nos nouvelles... M. possède un chien „Joujou“ à longs poils soyeux. Toute la teudresse que renferme le coeur de M. elle peut enfin la dépenser, comme une jeune mère, qui a trop de lait et peut en donner à un autre enfaut. Elle chérit cette petite bête, l'admire, le lave, le peigne, lui parle, lui prête de bons sentiments. Quand ce chien, que nous avons vu naître, s'est perdu, M. a pensé devenir folle. Quand ou l'a apporté, après force annonces, elle a presque défailli de joie. Ceci n'est pas ridicule: le coeur humain a besoin de débouchés pour ses tendresses, et les bêtes sont souvent moins bêtes que les hommes...

Moi je ne vais pas bien. Mon diabète progresse. Je me suis remis au régime: pas de sucre, pas de farineux—et à l'eau d'Essentouki № 17. Mon oreille gauche est sourde. Je me traite. Je ne suis pas du tout triste. Je t'envoie un article de moi et je t'embrasse...

A. Ouroussoff.

очень охотно пріѣхалъ бы въ Д., если бы только могъ. Вѣроятно, это будетъ въ 1900 г. съ М. Она обѣщалась поѣхать со мной на выставку. Впрочемъ, возможно, что я почувствую потребность проѣхаться раньше этого времени, и тогда вы увидите меня старымъ, сѣдымъ, но еще довольно таки живучимъ.

Пока что, вотъ всѣ наши новости: милая жена моя здорова... У М. есть собака Жужу съ длинной шелковистой шерстью. Всю нѣжность, которой полно сердце М., она можетъ наконецъ расходовать, какъ молодая мать, у которой избытокъ молока, которымъ она можетъ кормить другого ребенка. Она обожаетъ это маленькое животное, любуется имъ, моетъ его, чешетъ, говоритъ съ нимъ и приписываетъ ему всякія добрыя чувства. Когда эта собачка, родившаяся на нашихъ глазахъ, пропала, М. едва не сошла съ ума. Когда же послѣ множества публикацій ее вернули намъ, М. съ радости чуть не упала въ обморокъ. Все это не смѣшно. Человѣческое сердце требуетъ исхода своей нѣжности и звѣри часто меньше звѣри, чѣмъ люди.

Я чувствую себя плохо. Діабетъ прогрессируетъ. Вернулся опять къ режиму: ни сахару, ни мучного и Ессентукскія воды № 17. Лѣвое ухо не слышитъ. Лѣчусь. Совсѣмъ не печаленъ. Посылаю тебѣ свою статью и цѣлую тебя и твоего мужа.

А. Урусовъ.

Bon an, félicitations cordiales! Bonne chance!

As-tu lu „Le Rouge et le Noir“, La „Chartreuse de Parme“ et „Les Souvenirs d'Henry Brûlard“? Lis tout de Stendhal. Et l' Education Sentimentale? Oh, je te recommande surtout la Correspondance de Flaubert, le livre le plus suggestif du siècle. Encore un livre meublant—à relire et à relier—le Journal des Goncourts. Ce sont de vrais trésors ces livres là. Pour les russes: Чеховъ, Чеховъ, Чеховъ. Poètes: Фофановъ, Бальмонтъ, Ѳ. Соллогубъ.

IV *).

Марьинка.

8/20 Juin 1889.

Ma chère Jenny, comme toujours je dois m'excuser de mon inéxactitude épistolaire. Ecrire est un effort, une dépense de force nerveuse: or, je suis un peu épuisé par ma maladie du printemps. Depuis le 5/17 nous sommes ici. Les médecins ne me laissaient pas partir avant. A présent voilà mon état: surdité d'oreille gauche, inflammée depuis Novembre; j'entends continuellement un bruit comme des vagues, qui déferlent sur des galets: c'est l'illusion des bains de mer à bon marché! De l'oreille droite toujours tamponnée de coton j'entends mal, mais enfin j'entends assez

---

Съ новымъ годомъ, дружескія поздравленія. Читала ты Le Rouge et le Noir, La Chartreuse de Parme и Воспоминанія Henry Brulard'a? Прочти всего Стендаля. А L'éducation sentimentale? Въ особенности рекомендую тебѣ переписку Флобера. Самая обаятельная книга вѣка. Вотъ еще книга, которую надо переплести и перечитывать — дневникъ Гонкуровъ. Эти книги,—настоящія сокровища. Изъ русскихъ: Чеховъ, Чеховъ, Чеховъ. Поэты: Фофановъ, Бальмонтъ, Ѳ. Соллогубъ.

8/20 іюня. Марьинка.

*) Милая Женни! Какъ всегда, долженъ извиниться за свою эпистолярную неаккуратность. Писать—напряженіе, затрата нервной силы, а я немного истощенъ своей весенней болѣзнью. Мы здѣсь съ 5/17. Доктора не позволяли мнѣ ѣхать раньше. Теперь вотъ въ какомъ я положеніи: глухота на лѣвое ухо. Оно воспалено съ ноября; я постоянно слышу, какъ будто шумъ волны, убѣгающей по камню. Дешевая иллюзія морского купанья! На правое ухо, постоянно забитое ватой, я слышу хотя и плохо, но все таки настолько, чтобы говорить, отвѣчать, выступать на судѣ. Но общій разговоръ

pour parler, répondre, plaider. Cependant la conversation générale m'échappe. Je ne percois que ce qui m'est adressé directement, et à la distance d'un pas ou de deux. J'entends la musique excepté quelques notes, je crois, qui me parviennent affaiblies ou altérées. J'ai été traité ici par tous les meilleurs médecins: Бѣляевъ, Никольскій, Степановъ et Фонъ-Штейнъ, tous spécialistes pour l'oreille. J'ai été opéré trois fois: on a pratiqué une incision du tympan; une fois avec chloroforme, et deux fois sans aucune mesure de précaution; et la seconde fois je n'ai pas poussé un cri, quoique la douleur fût aigue, mais presque instantannée. Tout cela a eu lieu en Avril. Tu sais qu'après la deuxième incision et un grand refroidissement gagné à Nijny, ou j'ai fait mon „passage de la Bérésina" en traversant les glaçons de l'Oka à pied deux verstes la nuit, j'ai beaucoup souffert un mois entier, exténué de névralgies et abruti de morphine. Comme résultat—faiblesse du coeur 110, pulsations, vertiges. Ces derniers se maintiennent encore, mais je marche sans canne, et je puis même marcher les yeux fermés ce qui prouve que ces vertiges ne sont pas tabétiques. Les médecins disent, que ce n'est que le résultat de la faiblesse, que cela passera. En attendant c'est l'air pur, embaumé de la campagne, qui doit me servir de fortifiant.

для меня пропадаетъ. Я слышу только то, что относится прямо ко мнѣ, на разстояніи одного или двухъ шаговъ. Музыку слышу, кромѣ нѣсколькихъ нотъ, которыя доходятъ до меня ослабленными или измѣненными. Здѣсь меня лѣчили всѣ лучшіе доктора: Бѣляевъ, Никольскій, Степановъ и Фонъ-Штейнъ. Всѣ спеціалисты уха. Оперировали меня три раза: проколъ барабанной перепонки, разъ подъ хлороформомъ и два раза безъ всякихъ мѣръ предосторожности; во второй разъ я не крикнулъ, хотя боль была острая, но почти моментальная. Все это происходило въ апрѣлѣ. Ты знаешь, что послѣ второго прокола и сильной простуды, схваченной въ Нижнемъ, гдѣ я совершилъ свой „переходъ черезъ Березину", перейдя пѣшкомъ ледъ на Окѣ (двѣ версты ночью), я сильно болѣлъ цѣлый мѣсяцъ мучился невралгіями, совсѣмъ отупѣлъ отъ морфія. Въ результатѣ слабость сердца, пульсъ 110, головокруженія. Они держатся до сихъ поръ, но я уже могу ходить безъ палки и даже съ закрытыми глазами, а это доказываетъ, что эти головокруженія не отъ табеса. Доктора увѣряютъ, что все это отъ слабости и скоро пройдетъ. А пока чистый, душистый

J'ai très souvent la sensation, que je suis fini, mais on croit involontairement à sa guérison par la simple raison, que l'univers n'existe que pour vous même et puisqu'il dûre...

Qu'allons-nous faire? Voilà. Dans huit jours je vais à Moscou. Si je me tiens un peu mieux sur mes pattes de derrière, je voudrai aller avec M. à Vienne, consulter les grands spécialistes: Pollitzer, Gruber. Ce n'est pas que j'espère en leur merveilleuses cures, mais plus tard, je ne voudrais pas me reprocher ou m'entendre dire que j'ai négligé en temps utile, quand il n'était pas encore trop tard etc... Alors, qui sait? Vienne... Carlsbad?.. D. peut être? Et l'idyllique, le paradisiaque Wiesbaden?...

A présent, quand je termine cette lettre, je suis assis en déshabillé complet à mon bureau dans ma chambre à coucher haute et vaste. Par trois très grandes fenêtres, je vois devant moi les allées sablées du parc. La verdure encore tendre des tilleuls se perd dans les hauteurs. A côté de ma chambre est la Bibliothèque ou dorment des volumes anciens, qu'ont feuilleté les декабристы: фонъ-Визинъ et Пущинъ, l'ami de Пушкинъ. De l'autre côté est un grand salon avec des portraits anciens. De là, en passant par le corridor, est la salle à manger, donnant sur une très vaste

---

воздухъ деревни долженъ меня подкрѣпить. Часто у меня бываетъ такое чувство, что со мной все кончено, но какъ то невольно вѣришь въ свое выздоровленіе; міръ существуетъ вѣдь только нами, а разъ онъ есть...

Что будемъ дѣлать дальше? Вотъ что! Черезъ недѣлю я поѣду въ Москву. Если я буду держаться крѣпче на заднихъ ногахъ, мнѣ бы хотѣлось поѣхать съ М. въ Вѣну, посовѣтываться съ знаменитыми спеціалистами— Поллицеромъ, Груберомъ. Не то, чтобы я очень надѣялся на ихъ чудодѣйственное лѣченіе, но потомъ я бы не желалъ упрекать себя или слышать упреки, что я пренебрегъ, когда было еще время и т. д. и т. д. Тогда кто знаетъ? Вѣна, Карлсбадъ? Можетъ быть Д., и идиллическій райскій Висбаденъ? Теперь, когда я кончаю это письмо, я сижу, совершенно раздѣтый въ своей высокой и просторной спальнѣ, за письменнымъ столомъ. Черезъ три громадныхъ окна, я вижу передъ собой посыпанныя пескомъ аллеи парка. Еще нѣжная зелень липъ теряется въ вышинѣ.

Рядомъ съ моей комнатой библіотека, гдѣ покоятся старинные тома, которые когда-то перелистывали декабристы: Фонъ-Визинъ и Пущинъ, другъ Пушкина. По другую сторону—большая гостинная со старинными

pelouse toute égayée de fleurettes. Nos bêtes nous requèrent. M. aime les vaches, moi je suis l'ami des énormes Yorkschires presque roses, des Berkschires noirs: ces amis sont des cochons, qui chaque année ont de 12 à 20 enfants. Voici toute une lettre remplie de bêtises. Donne moi de tes nouvelles...

A. O.

V *).

[1]) Ma chère Jenny, merci pour ta bonne lettre. Je vais un peu mieux. Je cours si vite dans les rues, que M. me suit de loin. Mes vertiges ont diminué. Pollitzer est parti pour un mois. Pendant 2 semaines je serai traité par son aide et pendant 2 semaines nous serons à Carlsbad pour M. et pour moi. Après, je dois revenir ici et attendre l'arrêt: opérer ou non opérer. Cela dépendra de la sécretion de l'oreille gauche. Si elle s'arrête (peu vraisemblable depuis Novembre) pas d'opération. Après—15 jours au sanatorium (si opéré).

A. O.

портретами. Оттуда черезъ корридоръ—столовая, она выходитъ на широкую лужайку, пестрѣющую цвѣтами.

Къ животнымъ мы привязались. М. любитъ коровъ. Я въ дружбѣ съ огромными Іоркширами, почти розовыми, и съ черными Беркширами. Друзья эти—свиньи, и приносятъ каждый годъ отъ 12 до 20 поросятъ.

Вотъ цѣлое письмо, полное глупостей.

Дай вѣсточку о себѣ.

А. У.

*) Милая Женни! Спасибо за твое милое письмо. Мнѣ лучше. Я такъ быстро хожу, что М. за мной не поспѣваетъ. Головокруженій меньше. Поллицеръ уѣхалъ на мѣсяцъ. 2 недѣли меня будетъ лѣчить его ассистентъ, а 2 недѣли мы пробудемъ въ Карлсбадѣ. Это нужно для М. и для меня. Потомъ я долженъ вернуться сюда и выслушать приговоръ: нужна операція или нѣтъ. Это будетъ зависѣть отъ состоянія лѣваго уха. Если отдѣленіе гноя прекратится, (что маловѣроятно съ ноября) то операціи не будетъ. А затѣмъ—на двѣ недѣли въ санаторію, если операція нужна.

А. У.

[1]) Почтов. штемп. Вѣна 27, 7, 99.

VI*).

10/29 Août Juillet. 1899. Vienne I. H-l Métropole.

Ma chère Jenny, je viens de recevoir ta lettre du 8. J'ai été plus malade ces deux jours: je ne pouvais plus marcher tant ma démarche était vacillante et ma tête remplie de vertige. Comme on peut dant mon étât s'attendre à chaque instant à des complications cérébrales, le médecin qui remplace Pollitzer parut un peu inquiet, et vint me voir deux fois hier. Aujourd'hui le vertige a diminué. Nous sommes sortis avec M. pour dîner et nous avons fait quelques courses. Sais tu qu' O. S. est à W. avec sa soeur, ses frères, son père etc. Elle a été malade: toujours le coeur. Je lui écrit que peut être je ne reviendrai pas à Moscou cet hiver. Je regrette beaucoup l'absence d'O. Elle a des qualités exquises d'esprit et de coeur. C'est une nature d'élite. Tout le monde l'aime. Les amies lui apportent des fleurs, des bonbons, se succèdent à son chevet, quand elle est malade... En nous quittant elle nous disait: tu sais que ce n'est qu'içi que je suis à la maison.

Voilà notre journée içi: nous logeons dans deux chambres à une fenêtre, contiguës, au troisième (l'ascenseur

---

Вѣна I, H-l Metropole. $\frac{\text{10 авг.}}{\text{29 іюля}}$ 1899.

*) Милая Женни! Только что получилъ твое письмо отъ 8 числа. Эти два дня мнѣ было хуже: я не могъ ходить, такъ меня качало на ногахъ и такъ кружилась голова. Такъ какъ при моемъ состояніи каждую минуту можно ожидать осложненій со стороны мозга, то врачъ, замѣняющій Поллицера какъ будто встревожился и вчера былъ у меня два раза. Сегодня головокруженіе слабѣе. Мы выѣзжали съ М. пообѣдать и кое-гдѣ побывали. Знаешь ли ты, что О. въ В., съ сестрой, братьями и отцомъ. Она была больна—опять сердце. Я написалъ ей, что, можетъ быть, этой зимой въ Москву не вернусь. Я очень жалѣю объ отсутствіи О. У нея рѣдкія качества ума и сердца. Это избранная натура. Всѣ ее любятъ. Ея подруги приносятъ ей цвѣты, конфекты, дежурятъ у ея постели, когда она больна... Прощаясь съ нами, она намъ говорила: „ты знаешь, что только здѣсь я чувствую себя дома".

Вотъ какъ мы здѣсь проводимъ день: занимаемъ мы двѣ комнаты; въ каждой по одному окну, въ третьемъ этажѣ. (Подъемная машина работаетъ,

fonctionne sans cesse pour monter ou descendre). A 9 heures je m'éveille, M. m'apporte 300 grammes de „Mühlbrunnen“ (Carlsbad), puis allume un réchaud à esprit de vin apporté de Moscou, et fait notre café, que je prends avec du jambon etc. Arrivent mes lettres—tous les jours.

A 10½ nous nous rendons chez le docteur. M. soutient ma tête pendant les manipulations. De là, si je puis marcher, nous allons en ville... Je tombe en arrêt devant levitrines des libraires nombreux! Chemin faisant je photographie! Visites régulières chez le photographe dans l'atelier duquel je travaille à mes clichés. Nous dînons tantôt à la maison (à 3 florins, ce qui est très cher), tantôt à 2 fl. très bien dans un restaurant avec gazettes. Puis nous absorbons, „Zwei Mélanches“ (café au lait) avec force gazettes. Nous rentrons. Je sommeille, M. lit on coud. Le soir petite re-promenade. Nous avons été au Musée, à la Cathédrale, dans des églises, au Prater, à „Venedig in Wien“, au Thiergarten. Pour moi l'impression de ces lieux de plaisir bruyants, réduis au silence de la (ou de l'ab) surdité est lugubre. Les musées et les pilastres muets des églises gothiques, parfumées d'encens, ornées de risibles

---

не переставая). Въ 9 часовъ я просыпаюсь. М. даетъ мнѣ 300 граммовъ Mühlbrunnen (Carlsbad), потомъ зажигаетъ привезенную изъ Москвы спиртовую машинку и варитъ кофе; я пью его съ ветчиной и т. п. Потомъ получаю письма—каждый день.

Въ 10½—отправляемся къ доктору. М. поддерживаетъ мнѣ голову во время манипуляцій. Оттуда, если я въ состояніи ходить, отправляемся въ городъ. Я постоянно останавливаюсь передъ витринами многочисленныхъ книжныхъ магазиновъ. По дорогѣ я снимаю. Аккуратно посѣщаю фотографа, въ мастерской котораго проявляю пластинки. Обѣдаемъ мы то дома (по 3 флорина за обѣдъ, что очень дорого), то за 2 флорина, и очень хорошо, въ ресторанѣ съ газетами. Послѣ этого мы поглощаемъ „два меланша“ (кофе со сливками) съ массой газетъ. Возвращаемся домой. Я дремлю, М. читаетъ или пьетъ. Вечеромъ—опять небольшая прогулка. Мы были въ музеѣ, въ Соборѣ, въ церквахъ, на Пратерѣ, „Venedig in Wien“ въ зоологическомъ саду. На меня производятъ мрачное впечатлѣніе тѣ мѣста шумнаго веселья, которыя теперь погружены въ молчаніе глухотой или нелѣпостью (непереводимая игра словъ: surdité и absurdité).

simulacres de saints, dansant avec un enfant sur les bras —ces endroits me plaisent. Le soir j'écris mes lettres, je dévelloppe mes clichés, je lis avec plaisir: Briefwechsel Göthe's mit einem Kinde, (les lettres de Bettina Brentano, qui avait 22 ans). Je relis Göthe; Daudet „notes sur la vie“ (médiocre!), Le Blanc: Lèvres closes (idem!) et 2 gros volumes „Ohrenkrankheiten.“

Voilà... **A. O.**

J'ai composé les apophtegmes suivants: 1. Le gouvernement absolutiste est essentiellement logique. Il ne nie pas les bienfaits de la liberté, mais les réserve pour les gouvernants. 2. Gardons-nous des sentiments haineux: ils sont indignes d'un chrétien et d'ailleurs peu récréatifs.

VII*).

2|14 Sept. 99.

Ma chère Jenny! Voici l'arrêt. J'ai ecrit à Pollitzer les questions suivantes. Il a écrit les réponses (en allemand): 1. L'opération du trépan est-elle nécessaire pour l'oreille gauche? R. Presque inévitable, quoique la possibilité d'une guérison spontanée de la supuration ne puisse pas être tout à fait niée. 2. Et pour l'oreille droite? R. Non, pas d'opé-

---

Музеи и тѣсные своды готическихъ церквей, съ ихъ запахомъ ладана украшенныхъ смѣшными изображеніями святыхъ, танцующихъ съ ребенкомъ на рукахъ,— такія мѣста мнѣ нравятся. Вечеромъ я пишу письма, проявляю, съ удовольствіемъ читаю „Briefwechsel Göthe's mit einem Kinde“, (письмо 22-хъ лѣтней Беттины Брентано). Перечитываю Гете, Додэ, „Notes sur la vie (посредственно) Le Blanc: lèvres closes (idem!). Вотъ и все. Цѣлую тебя.

А. У.

P. S. Я написалъ слѣдующіе афоризмы:

1) Абсолютизмъ по своему существу не отрицаетъ благъ свободы, но хранитъ ихъ для правителей.

2) Остережемся ненавистливыхъ чувствъ. Они недостойны христіанина, да къ тому же и мало забавны.

$^{2}/_{14}$ сент. 99.

*) Милая Женни! Вотъ приговоръ. Я написалъ Поллицеру слѣдующіе вопросы. Онъ написалъ отвѣты: (по нѣмецки) 1. Нужна ли трепанація для лѣваго уха? Отв.: Почти неизбѣжна, хотя нельзя совершенно отрицать возможности неожиданнаго прекращенія нагноенія. 2. А для праваго уха?

ration. 3. Si l'opération est nécessaire, quand doit-elle avoir lieu? R. En Novembre ou Décembre. 4. I a-t-il amélioration depuis Juillet? R. Oui. L'oreille droite surtout. Dans l'oreille gauche les granulations sont pour la plupart enlevées. Les trompes d'Eustache sont accessibles à l'air et aux liquides. 5. Puis-je partir à présent à Moscou? R. Oui. 6. I a-t-il espoir du rétablissement de la fonction de l'ouie? R. Il n'y a pas à espérer que cette fonction puisse être rétablie complétement. 7. Puis-je sans danger prendre part à des séances du tribunal maintenant? R. Oui, en évitant la fatigue. Hier j'ai acheté une trompe énorme, qui m'aide à entendre un peu. Tu vois à travers les reticences de l'Oracle, ce qui en est: opération dangereuse, périlleuse même pour le diabétiqe de 56 ans, que je suis; pas dangereuse pour enfants ou non-diabétiques—et après—plaie ouverte et surdité conservée. Je pars le 10 pour Loubny...

A. O.

VIII*).

Moscou. le 5/17 Octobre 1899.

Ma chére Jenny, me voici à Moscou, dans mon home avec M. et O. qui nous est revenue un peu amaigrie, frêle,

---

Отв.: Нѣтъ, операція не нужна. 3. Если операція необходима, то когда ее дѣлать? Отв.: Въ ноябрѣ или декабрѣ. 4. Замѣчается ли улучшеніе съ іюля? Отв.: Да, особенно въ правомъ ухѣ. Въ лѣвомъ ухѣ грануляціи большей частью исчезли. Евстахіевы трубы доступны для воздуха и для жидкости. 5. Могу ли я ѣхать теперь въ Москву? Отв.: Да. 6. Есть ли надежда на возстановленіе слуха? Отв.: На полное возстановленіе надѣяться нельзя. 7. Могу ли я теперь безъ вреда для себя выступать на судѣ? Отв.: Да, но необходимо избѣгать утомленія.

Вчера я купилъ громадную слуховую трубку, и съ ея помощью немного слышу. Несмотря на оговорки оракула, ты ясно увидишь въ чемъ дѣло: операція опасна и, можетъ быть, даже гибельна для такого діабетика 56 лѣтъ, какъ я, безопасная для ребенка или не діабетика, а потомъ открытая рана и прежняя глухота. 10-го я уѣзжаю въ Лубны.

А. У.

Москва, 5/17 октября.

*) Милая Женни! Вотъ я и въ Москвѣ у своего очага съ М. и О. О. вернулась къ намъ, немного похудѣла, слабая, но на ногахъ. Изъ Вѣны мы

mais sur pied. De Vienne nous sommes allés à Kief, où nous avons vu la nouvelle Cathédrale de S-t Wladimir avec les peintures symbolistes de Васнецовъ, et de la jeune école moderne. De là nous nous sommes enfoncés dans la plantureuse Petite Russie, le gouvernement de Poltawa, et après un trajet fort agréable en somme nous sommes arrivés à Loubny. Là un jeune médecin m'a opéré d'un énorme furoncle, qui s'était formé au bout de mon nez molesté par les manigances des otiâtres (otiâtre—médecin des oreilles). Le nez, élégamment recouvert d'un emplâtre, et enflammé comme celui d'un ivrogne, titubant sur mes jambes et sourd comme le duc de Joinville, ou comme un pot, j'allais plaider à huis-clos pour un pauvre diable, accusé à faux de viol. La jeune personne ayant déclaré, que cela s'était passé de bon gré, mon plaidoyer fut vif et énergique: je criais, comme un sourd. La lutte fut vive, le procureur ne voulant pas en démordre. Nonobstant, après 3 minutes, le jury revenait avec un verdict: нѣтъ, не виновенъ! Ah, cela fut un des meilleurs moments de ma vie! Je rendais à sa famille un père, qui ne pouvait manquer à ses devoirs conjugaux que pour revenir à des sentiments meilleurs... La nuit, une torche au pétrole attachée à la calèche, nous

---

поѣхали въ Кіевъ, гдѣ видѣли новый соборъ, съ символической живописью Васнецова и молодой школы. Оттуда мы углубились въ богатую Малороссію (въ Полтавскую губернію) и, послѣ очень пріятнаго, въ общемъ, путешествія пріѣхали въ Лубны. Тутъ молодой врачъ вскрылъ мнѣ огромный фурункулъ, образовавшійся на кончикѣ носа, отъ манипуляцій ушныхъ врачей. Съ носомъ, элегантно залѣпленнымъ пластыремъ и воспаленнымъ какъ у пьяницы, шатаясь на ногахъ, и глухой какъ герцогъ Жуэнвиль (или какъ горшокъ), я отправился защищать при закрытыхъ дверяхъ какого-то несчастнаго, невинно обвинявшагося въ изнасилованіи. Такъ какъ молодая дѣвица объявила, что все это происходило по ея доброй волѣ, то моя защита вышла живой и энергичной. Я кричалъ какъ глухой. Борьба была сильная, потому что прокуроръ не уступалъ. Тѣмъ не менѣе, присяжные, послѣ трехминутнаго совѣщанія, вынесли приговоръ: „нѣтъ, не виновенъ!". О, это была одна изъ лучшихъ минутъ моей жизни. Я возвращалъ семьѣ отца, который измѣнилъ супружескому долгу, чтобъ вернуться потомъ къ лучшимъ чувствамъ.

Мы выѣхали ночью, въ коляскѣ, при свѣтѣ керосиноваго факела. Ми-

partions avec ma chère femme, enchantée de tout ce que la province lui offrait de nouveau et de pittoresque. Revenus à Moscou sans encombres, dans de bons coupés vastes et isolés, nous éprouvions la douceur de dire: „enfin“! Immédiatement je me remettais à l'ouvrage. Un énorme procès, qui devait dûrer 14 jours de suite, l'affaire de la société du Crédit foncier de Moscou, commençait. Avocat de la partie civile, je soutenais l'accusation. La défense, était représentée par un avocat de Petersbourg. Eh bien, j'ai eu un des plus grands succès de ma carrière. Amis et ennemis m'ont comblé de louanges. Sourd, le cornet acoustique à la main, je suivais avec peine les dépositions des témoins, que mes aides inscrivaient. Le soir il n'y avait pas d'audience: je piochais. Bref, j'ai prononcé deux plaidoyers énergiques—et gais, et nous avons gagné l'affaire. Je t'envoie une découpure du journal que tu me renverra, à moins que tu ne veuilles la garder; mais où mets-tu des chiffons de papier, que j'„en-scraps?“ O. m'enchante par son naturel doux et délicat. Un pôète de mes amis, Balmont, lui a dédié des vers. A tout moment ou craint pour l'existence frêle de la pauvre enfant, qui est vraiment une nature d'élite mais non par ce qu'elle fait—sa maladie

---

лая жена моя была въ восторгѣ отъ всего, что провинція представила ей новаго и оригинальнаго. Вернувшись безъ всякихъ приключеній въ Москву, одни въ удобномъ, просторномъ купа, мы съ радостью могли сказать себѣ: наконецъ! Я сейчасъ же снова засѣлъ за работу. Начинался громадный процессъ, который долженъ былъ продолжаться двѣ недѣли сряду, дѣло Московскаго Кредитнаго Общества. Я былъ гражданскимъ истцомъ и поддерживалъ обвиненіе. Защищалъ одинъ петербургскій адвокатъ. И вотъ! Это былъ одинъ изъ самыхъ крупныхъ успѣховъ моей карьеры. Друзья и недруги осыпали меня похвалами. Глухой, съ слуховой трубкой въ рукѣ, я съ трудомъ слѣдилъ за свидѣтельскими показаніями, которыя записывали мои помощники. Вечеромъ засѣданій не было: я работалъ. Словомъ, я произнесъ двѣ рѣчи сильно и весело, и мы выграли дѣло. Посылаю тебѣ вырѣзку изъ газеты, которую ты мнѣ верни, если только не захочешь ее сохранить для себя; но, кстати, куда ты дѣваешь бумажки? Я ихъ наклеиваю въ тетради „scraps“. О. очаровываетъ меня своей кроткой и деликатной природой. Одинъ изъ моихъ друзей, поэтъ Бальмонтъ, посвятилъ ей стихи. Каждое мгновенье боишься за хрупкое существованіе милой дѣвушки. Она, право,

la comdamne au non—agir—mais par ce qu'elle pense...

Pollitzer m'a écrit deux lettres. Gentil-ca?! Ma santé, je veux dire ma maladie est stationnaire. Je vais regulièrement chez le midecin.

A. O.

IX *).

Саратовъ, le 7. Novembre 99.

Ma chère Jenny, merci pour la longue lettre! Je vous vois d'içi avec les bibelots de l'entourage, et je me réjouis dans mon for intérieur du vrai bonheur, que donne la vie de famille, les affections saines et durables sans lesquelles l'existence n'est qu'un leurre. A deux on peut supporter les plus grandes épreuves et, en regardant grandir l'enfant, vous réalisez les rêves de l'avenir.

Moi, ma chère amie, je ne vais vraiment pas bien. Ma surdité parait augmenter. J'entends mal de la seule oreille qui me reste,—même avec l'appareil acoustique et, excepté cela, je vacille de plus en plus. Si je ferme les yeux je risque de tomber. Ces indices de ma maladie nerveuse, que je connais depuis longtemps, ayant étudié la question dans des gros bouquins, ne me causent que quelques ennuis.

избранная натура, не по тому, что она дѣлаетъ, (болѣзнь осуждаетъ ее на недѣланіе) но по тому, что она думаетъ. Поллицеръ написалъ мнѣ два письма. Милое! Здоровье мое, лучше сказать, моя болѣзнь все въ томъ же положеніи. Аккуратно ѣзжу къ доктору.

А. У.

Саратовъ 7 ноября 99 г.

*) Милая Женни! Спасибо тебѣ за твое большое письмо. Я вижу васъ отсюда со всѣми мелочами обстановки и радуюсь въ душѣ своей тому истинному счастью, которое даетъ семейная жизнь, здоровое прочное чувство, безъ которыхъ существованіе одинъ обманъ. Вдвоемъ можно перенести самыя тяжелыя испытанія, и смотря, какъ растетъ ребенокъ, вы осуществляете мечту будущаго.

Я, милый другъ, чувствую себя, право, неважно. Моя глухота, какъ будто усилилась. Я плохо слышу и тѣмъ однимъ ухомъ, которое у меня осталось, даже при помощи слуховой трубы, и кромѣ того шатаюсь все болѣе и болѣе. Если закрою глаза, могу упасть. Эти признаки нервной болѣзни, которые я знаю уже давно, изучивъ этотъ вопросъ по разнымъ толстымъ книгамъ, причиняютъ мнѣ только нѣкоторую досаду. Будемъ на-

Espérons que cet état ridicule cessera d'une manière ou d'une autre. J'aurais peut être pu m'appitoyer sur mon compte, pleurer mes belles années perdues et me livrer à une mélancolie de bon goût sur mes déboires. Mais, vraiment, je n'en ai pas le temps: à peine entamé-je le mode elégiaque, que v'lan! une affaire arrive, bouleverse tout— on boucle la valise et on brûle les rails. Ainsi écoute un peu mes aventures: après l'affaire du Crédit immobilier de Moscou, dont tu me félicite si gentilment, je suis parti pour Mohilew avec M. et S. Il s'agissait d'une affaire terrible: 24 juifs de la petite ville de Шкловъ, accusés d'avoir attaqué des soldats russes et de les avoir battus. Toute cette accusation n'était que humbug: les soldats ivres avaient commis des excès un dimanche, ils avaient assomé la police (rossé le guet, comme dans les vieux romans) pillé une boutique... alors la population juive armée de bâtons, les a mis en fuite d'après l'adage connu:

Cet animal est très méchant,
Quand on l'attaque, il se défend.

Nous avons plaidé avec brio et S. a débité son maiden-speech: первую пѣсенку зардѣвшись спѣть... j'ai vu avec plaisir qu'il était empoigné, que son client l'intéressait, bref,

---

дѣяться, что это глупое состояніе прекратится такъ или иначе. Я, кажется, могъ бы плакаться на себя, оплакивать потерянные лучшіе годы жизни и предаваться красивой меланхоліи по поводу своихъ неудачъ. Но право не хватаетъ на это времени: только что затянешь элегическую ноту, какъ бацъ! явилось дѣло и все перевернуло. Укладываешь чемоданъ и мчишься по рельсамъ. Вотъ послушай-ка мои приключенія: послѣ дѣла Московскаго кредитнаго общества, съ которымъ ты меня такъ мило поздравляешь, я уѣхалъ въ Могилевъ съ М. и С. Дѣло было тамъ ужасное: 24 еврея маленькаго городка Шклова обвинялись въ томъ, что напали и побили русскихъ солдатъ. Все это обвиненіе было одинъ сумбуръ. Въ одно изъ воскресеній пьяные солдаты стали безобразничать, побили полицію и разграбили лавку... Тогда еврейское населеніе, вооружившись палками, прогнало ихъ по извѣстному изрѣченію:

Cet animal est très méchant,
Quand on l'attaque, il se défend.

Мы защищали съ необычайнымъ brio и С. произнесъ свой maiden-speech: первую пѣсенку зардѣвшись спѣть. Я съ удовольствіемъ увидѣлъ, что

qu'il venait de goûter à l'élexir fatal de l'éloquence judiciaire, dans la composition duquel breuvage entrent toutes sortes d'ingrédients: émotion du joueur, du chasseur, du lutteur et du cuisinier sans compter l'humanité, la pitié et la commisération aux douleurs d'autrui. M. était là dans le public. Résultat: 8 acquittés, le reste condamué à des peines, relativement legères. Après quoi nous plaiderons en cassation. Pour son début S. a parlé dans une affaire, où des avocats renommés de Petersbourg, de Kief et de Moscou out figuré. Voyage à Mohilew; chemin de fêr et bateau à vapeur sur le Dnièpr. La suite au prochain numéro. Bonne nuit!

Alexandre.

X *).

Chère Jenny... continuation de la lettre № 1. A Moscou nous allons assez régulièrement chez le médecin Dr Nikolsky, qui traite mes oreilles d'après les indications de Pollitzer. Ce dernier m'écrit. Il n'y a pas de pire, c'est à dire il n'y a pas de complication de l'oreille gauche, qui pourrait amener un abcès du cerveau. Là est le danger. Un abcès s'annoncera par des douleurs et de la fièvre: alors, le trépan serait indispensable. Autrement, l'opération pour

---

процессъ его захватилъ, что кліентъ его заинтересовалъ, словомъ, что онъ отвѣдалъ отъ того рокового напитка судебнаго краснорѣчія, въ составъ каковаго напитка входятъ самыя разнообразныя вещи: волненіе игрока, охотника, борца и повара, не считая гуманности, жалости и состраданія къ чужому горю. М. была среди публики. Результатъ: 8 человѣкъ оправданы, остальные приговорены къ сравнительно легкимъ наказаніямъ. Мы подадимъ кассаціонную жалобу. Для своего дебюта С. выступалъ въ дѣлѣ, въ которомъ принимали участіе видные Петербургскіе, Московскіе и Кіевскіе адвокаты. Затѣмъ поѣздка въ Могилевъ по желѣзной дорогѣ и по Днѣпру на пароходѣ. Продолженіе слѣдуетъ. Покойной ночи.

А. У.

*) Милая Женни! Продолжаю письмо № 1. Въ Москвѣ мы аккуратно ѣздимъ къ доктору Никольскому, который лѣчитъ мнѣ уши по указаніямъ Поллицера. Съ Поллицеромъ мы въ перепискѣ. Мнѣ не хуже, т. е. не наблюдается осложненій въ лѣвомъ ухѣ, что могло бы привести къ воспаленію мозга. Въ этомъ-то и вся опасность. Воспаленіе скажется болями

un diabétique de mon âge, serait plus dangereuse, que l'état présent. La plaie ne se fermerait pas. L'infection gagnerait les tissus adjacents, et je périrai d'une vilaine mort purulente. Alors, plutôt attendre. On me seringue les oreilles, soir et matin, on y verse dev gouttes, qui entravent plus ou moins la croissance des granulutions, on les extirpe. Cependant, après m'être un peu reposé à Moscou, nous sommes repartis avec M. pour Рязань, où je devrais plaider. L'affaire ayant été remise, nous sommes allés immédiatement à Saratof, où je dois plaider justement le 9 pour un docteur prévenu d'avortement, ayant amené la mort. Un autre avocat d'ici m'assiste. L'affaire est horriblement difficile.

Nous sommes ici dans un excellent hôtel tout éclairé à l'électricité avec une bonne table, un grand comfort. La ville est très grande, riche, avec un musée ect. Malheureusement ma surdité et mes vertiges ne vont pas bien. Mais les clients n'entendent pas raison: c'est moi qu'il leur faut! Et mon expérience! et mon autorité! etc. Je finirai par y laisser ma peau.

Je pense à toutes sortes de choses: à aller à Berlin consulter Lucae, une célébrité! A faire une cure à Carlsbad contre

---

и лихорадкой. Тогда трепанація будетъ неизбѣжна. А то операція для діабетика моихъ лѣтъ еще опаснѣе теперешняго состоянія. Рана бы не закрылась, воспаленіе распространилось бы на сосѣднія ткани и я умеръ бы отъ противнаго нагноенія. Чѣмъ такъ, лучше ждать. Мнѣ спринцуютъ ухо утромъ и вечеромъ, впускаютъ капли, которыя болѣе или менѣе мѣшаютъ наростанію нагноеній. Тѣмъ не менѣе отдохнувъ немного въ Москвѣ, мы снова отправились съ М. въ Рязань, гдѣ мнѣ нужно было защищать. Такъ какъ это дѣло отложили, то мы немедленно выѣхали въ Саратовъ, гдѣ я, какъ разъ 9-го, защищалъ одного доктора, обвиняемаго въ вытравленіи плода, приведшемъ къ смерти. Другой адвокатъ, здѣшній, помогаетъ мнѣ. Мы стоимъ въ прекрасной гостинницѣ... хорошій столъ, электрическое освѣщеніе, полный комфортъ. Городъ очень большой и богатый, съ музеемъ и т. п. Къ несчастью глухота и головокруженіе сильны. Но кліенты ничего слышать не хотятъ: имъ нуженъ я! И моя опытность! И мой авторитетъ. Кончится тѣмъ, что на этомъ и ноги протянешь. Я строю различные планы: ѣхать въ Берлинъ, посовѣтоваться съ Л.—знаменитостью; поѣхать въ Карлсбадъ для лѣченія діабета; провести зиму въ Египтѣ,

le diabète. A passer un hiver en Egypte pour essayer de l'effet continu d'un climat très chaud, qui pourrait résoudre les inflammations internes? A tout cela les médecins disent d'une voix vague: Oui... avec un singulier sourire.

En attendant je catalogue passionément ma bibliothèque: déjà catalogué 1300 volumes—moins du quart.

Ton frère affectionné A. Ouroussoff.

Excepté les maladies décrites, j'ai encore des palpitations de coeur: encore une porte entre-ouverte sur le Néant. Je rêve souvent de maman, avec émotion et plaisir. Je l'ai vue cette nuit.

XI *).

15|27 Janvier 1900.

Ma chère Jenny, je viens de recevoir ta carte postale de W. Ta dernière lettre était du 23 Dec. Merci des détails sur votre installation nouvelle et l'arbre et J. Merci aussi pour la bouffée tiède qui me vient de W: le passé, notre bonne chère maman, dont j'ai là tout près toutes les lettres, et les petits livrets et tout ce qui continue à exister, alors, que le moi a disparu—à jamais. Faut-il s'attrister de la mort? Non. C'est une loi de la Nature que notre instable agglomérat de molécules se désagrège et rentre dans le tourbillon universel, d'où renaissent les êtres. Il y a longtemps que j'ai écrit quelque part: La croyance à l'immortalité de l'âme est le comble de l'infatuation humaine.

чтобы испытать продолжительное дѣйствіе очень жаркаго климата, который могъ бы уничтожить внутреннее воспаленіе. На все это доктора неопредѣленно говорятъ: да... съ странной улыбкой. Пока что, я усердно занимаюсь составленіемъ каталога своей библіотеки: уже зарегистрировано 1300 томовъ—меньше четверти.

Любящій тебя братъ А. У.

Кромѣ вышеописанныхъ болѣзней, у меня еще сердцебіеніе. Еще одна дверь, пріотворенная въ небытіе. Мнѣ часто снится maman, и я волнуюсь и радуюсь. Я видѣлъ ее этою ночью.

15—27 января 1900.

*) Милая Женни! Только что получилъ твое открытое письмо изъ W. Твое послѣднее письмо было отъ 23-го декабря. Спасибо тебѣ за подробности о вашей новой квартирѣ, объ елкѣ и объ Женьхенъ. Спасибо также за ту теплую струю, которая доходитъ до меня изъ W: прошлое, наша

En effet, pense donc: chacun de nous n'offre que le résultat en somme, assez piètre, de défauts, de faiblesses, de vices,et de quelques vertus—le tout plus ou moins héréditaire, accidentel, mais en tout cas peu consistant. Bon. Après avoir passablement ennuyé le monde, et nous être suffisamment ennuyés nous—mêmes avec quelques bons moments, survient la syncope ultime, suivie (ou précédée) d'un désagrégement. Hé bien, d'après une doctrine presque obligatoire ce pauvre moi est condamné à durer—éternellement? ce serait terrible! Comment, ne jamais pouvoir dormir définitivement? Toujours trâiner on ne sait où notre individualité médiocre ou détestable. Oh, quel cauchemar! Et penser qu'on risque de rencontrer les autres... encore et toujours! Et tout ça pour être *puni* ou *recompensé*. Comment punir un être inconscient ou torturé de son vivant? Et comment récompenser quelqu'un qui dirait: j'en ai assez.

Chére amie, ne crois pas que je m'abandonne à des idées noires. Non. Mon humeur est bonne, égale, sereine. Je suis serin. Ma surdité a augmenté. Je marche mais pas

---

милая, дорогая maman... Около меня лежатъ всѣ ея письма, книжечки и все, что продолжаетъ существовать, когда человѣческое „я" исчезло навсегда. Нужно ли огорчаться смертью? Нѣтъ. Нашъ подвижный конгломератъ молекулъ возвращается въ тотъ всемірный хаосъ, изъ котораго возраждаются живыя существа. Это законъ природы. Я уже давно гдѣ-то написалъ: вѣра въ безсмертіе души—это верхъ человѣческаго самообольщенія. Дѣйствительно, подумай только. Каждый изъ насъ представляетъ изъ себя результатъ, въ общемъ неважный, недостатковъ, слабостей, пороковъ и нѣсколькихъ добродѣтелей, все это болѣе или менѣе наслѣдственно, случайно, но, безъ сомнѣнія, не особенно устойчиво. Хорошо. Когда мы достаточно наскучимъ міру и вдоволь проскучаемъ сами, хотя и не безъ хорошихъ минутъ — наступаетъ послѣдняя судорога, за которой слѣдуетъ (или которой предшествуетъ) распаденіе молекулъ. И вотъ въ силу почти обязательной доктрины это бѣдное „я" осуждено существовать вѣчно? Это было бы ужасно. Какъ, никогда не уснуть окончательно? Всегда влачить неизвѣстно гдѣ свою индивидуальность, посредственную или отвратительную. Какой кошмаръ! И подумаешь только, что еще рискуешь встрѣтить другихъ. Опять и опять, и все это въ награду или въ наказаніе. Какъ наказать существо безсознательное или замученное при жизни? И какъ наградить того, кто скажетъ: съ меня довольно.

Милый другъ, не думай, что я предаюсь мрачнымъ мыслямъ. Нѣтъ.

bien: je vacille... Tout le monde est excellent pour moi. Je vais chez le médecin tous les 3 jours. Je me traite. Je catalogue mes livres. Je ne puis plus plaider. Je t'embrasse...

A.

XII *).

Moscou. Arbate. Nicolsky per. 19. 2/15 Mars. 1900.

Ma chère Jenny, l'état de ma maladie empire d'une façon si constante et si régulière, que je crois prudent et utile d'en aviser mes proches et meilleurs amis, pendant que je puis le faire encore moi-même. Non seulement ma surdité s'est affirmée définitive par la mort des deux nerfs acoustiques, mais les vertiges en sont arrivés au point que je ne puis plus me tenir sur mes jambes, et je ne marche, qu'avec l'aide de quelqu'un et avec deux cannes. Puis, ce qui est plus grave—le coeur est affaibli. Samedi, mon médecin a demandé une consultation: un professeur de maladies nerveuses, un médecin d'oreilles, et un troisième pour le reste du corps. En somme je vois qu'il n'y a rien à faire qu'à attendre. Il se peut bien que j'en réchappe, mais je n'en mène pas large. Je ne suis pas triste: puisqu'il faut en finir un jour habituons-nous autant que possible, à considérer avec

---

Настроеніе мое ровное, ясное, хорошее. Глухота усиливается. Я хожу, но плохо: шатаюсь... Всѣ со мной удивительно добры. Ѣзжу къ доктору черезъ каждые 2 дня. Лѣчусь. Составляю каталогъ книгъ. Защищать больше не могу. Цѣлую тебя.

А.

Москва, Арбатъ, Никольскій пер. 19. 2—15 марта 1900.

*) Милая Женни! Мое состояніе ухудшается такъ настойчиво и съ такой правильностью, что я считаю осторожнымъ и полезнымъ увѣдомить объ этомъ своихъ близкихъ и лучшихъ друзей, пока еще могу сдѣлать это самъ. Не только глухота установилась окончательно, отъ омертвленія обоихъ слуховыхъ нервовъ, но головокруженія дошли до того, что я не могу больше держаться на ногахъ и хожу только съ чьей нибудь помощью, опираясь на 2 палки. Затѣмъ,—а это еще серьезнѣе,—сердце ослабѣло.

Въ субботу, мой врачъ попросилъ консиліумъ. Профессоръ по нервнымъ болѣзнямъ, другой по ушнымъ и третій по всему остальному. Въ общемъ я вижу, что дѣлать нечего, надо только ждать. Возможно, что все и обойдется, но протяну не долго. Я не грущу. Разъ нужно когда-нибудь кончить, будемъ пріучать себя, насколько возможно,

sangfroid cette éventualité. L'aspect de ma pauvre M., qui me soigne comme un ange (qu'elle est, non pas moi: les anges ne sont jamais sourds!) m'attriste. Le voyage à l'étranger est inutile, à moins qu'il soit encore possible de pratiquer la trépanation; (la faiblesse du coeur est un obstacle à la chloroformisation). Si c'est encore possible je porterai mon crâne à Pollitzer: il en a déjà une jolie collection...

Sois heureuse. Habitue toi à considerer les petits déboires de la vie comme des petites taches noires sur une statue de marbre. Réjouis toi, chère amie, de posséder tous tes organes.

p. p. c. Alexandre.

XIII *).

(Alité. 17|30 Mars 1900. Moscou).

Merci, ma bonne et chère soeur pour ta lettre. Oh, j'ai bien entendu la voix du sang! Tu as partagé mes maux, ma chère Jenny, tu n'as pas froidement raisonné, tu les as sentis, et moi aussi j'ai senti vibrer la tendresse en toi de maman. Hier tout à coup 39°. Consultation de 3 médecins (50 roubles avec excuses!) Ils déclarent la trépanation urgente. Arrive une lettre de Pollitzer, qui recommande les

---

смотрѣть на это обстоятельство хладнокровно. Видъ моей бѣдной М., которая ухаживаетъ за мной, какъ ангелъ, огорчаетъ меня. Поѣздка за границу безполезна, развѣ только возможно еще произвести трепанацію (слабость сердца препятствуетъ хлороформированію). Если это еще возможно, повезу свой черепъ Поллицеру: у него ихъ уже хорошенькая коллекція. Будь счастлива. Пріучайся смотрѣть на маленькія жизненныя непріятности, какъ на черныя пятнышки на мраморной статуѣ. Радуйся милый другъ, что владѣешь всѣми своими органами.

Александръ.

(Въ постели 17—30 марта. Москва 1900).

*) Спасибо тебѣ за письмо, дорогая, милая сестра. О, я хорошо почувствовалъ голосъ крови. Ты раздѣлила мои муки, моя милая Женни, ты не разсуждала хладнокровно, ты ихъ прочувствовала, и я тоже прочувствовалъ, что въ тебѣ звучитъ нѣжность нашей матери. Вчера вдругъ 39°. Консиліумъ съ 3 врачами (50 р., извините пожалуйста...) Они заявляютъ, что трепанація необходима. Получаются письма отъ Поллицера, который ре-

injections de pilocarpine et voudrait si elles échouent n'opérer qu'en Mai. En cas d'opération tu recevras tous les jours des bulletins. Je t'écrirai réguliérement les mardis.

Ceux d'içi, von-Stein (oreilles) Щуровскій (célébrité: coeur etc.) et le professeur Дьяконовъ (chirurge) ne veulent pas de pilocarpine. Moi je crois, qu'il est téméraire de mépriser l'avis de Pollitzer. La pilocarpine est un poison pour le coeur, mais le chloroforme, durant près de 2 heures, en est un bien plus grave. Horribles douleurs au pansement, d'une large plaie, maintenue ouverte et repetition sous peu du même supplice pour le côté droit du crâne. 2 fois je n'en reviendrai pas. Je suis très affaibli. Aujourd'hui la fièvre a disparu. Demain nouvelle consultation avec un oculiste. Il ne manque plus que le pédicure. Je suis bien sourd et infirme mais pas abattin. Je t'enverrai un article de moi. Merveilleux,—les mémoires de Chateaubriand.

Читаю твое милое письмо къ М., С. давно вернулся, онъ очень около меня хлопочетъ, старается, жалѣетъ. Я радъ, что онъ съѣздилъ въ Парижъ и Ниццу. Подумай, онъ молодъ. Я обѣднѣлъ: практика кончилась; я много потерялъ на биржѣ. Пусть же его молодость будетъ озарена свѣтлыми воспоминаніями. А дома теперь мрачно и слышенъ шорохъ смерти.

комендуетъ впрыскиванія пилокарпина, и хочетъ, если они не помогутъ, сдѣлать операцію только въ маѣ. (Если операцію будутъ дѣлать, то ты будешь получать извѣстія каждый день. Я тебѣ буду писать аккуратно по вторникамъ.)

Здѣшніе доктора Фонъ-Штейнъ (уши), Щуровскій (знаменитость: сердце и т. д.) и профессоръ Дьяконовъ (хирургъ) не хотятъ пилокарпина. Мнѣ кажется, что пренебречь мнѣніемъ Поллицера слишкомъ смѣло. Пилокарпинъ ядъ для сердца но хлороформированіе, продолжающееся около двухъ часовъ, ядъ несравненно сильнѣе. Страшныя боли при перевязкѣ широкой, открывшейся теперь раны, и повтореніе этой пытки черезъ нѣсколько времени на правой сторонѣ черепа. Двухъ разъ я не вынесу. Я оченъ слабъ. Сегодня лихорадка исчезла. Завтра новый консиліумъ съ окулистомъ.

Я глухъ и калѣка, но не упалъ духомъ. Пришлю тебѣ одну свою статью. Чудно хороши мемуары Шатобріана.

XIV *).

1/13 Avril 1900. Ma chère Jenny, puisque tu as la bonté de t'intéresser aux détails même de ma maladie, je veux répondre tout de suite à la bonne lettre du 7, sans attendre le Mardi où je ne manquerai pas de t'écrire. Je dors bien. C'est le meilleur moment de ma journée ou de ma nuit. Mais comme mon oreille me réveille, je dors avec interruptions, ce qui fait que pendant la journée je me recouche: „in ihr Bettchen, in mein schönes Bettchen", comme H. disait à maman. Le matin arrivent l'intendant, le помощникъ de service, les deux secrétaires; je lis et je dicte la correspondance au lit. Cela dure jusqu'à 4 heures. Je commence par lire en me réveillant trois gazettes. Je prends deux tasses de café à la saccharine et je mange 3 oeufs à la coque. Peste! diras-tu, il va bien, le malade. Je suis couché jusqu'à 3—4 heures. Après m'être lavé (très difficile, je tombe), je vais appuyé sur une chaise et la poussant devant moi sur la verandah respirer l'air. M. m'accompagne. Elle jette la neige par fortes pelletés. Le soleil luit. L'azur du ciel reflète le silence éternel, qui plane sur moi. Je lis beaucoup.

Chateaubriand maintenant est mon idole. On vient me voir: deux ou trois dames, que je contemple d'un air dé-

---

1—13 апрѣля 1900 г.

*) Милая Женни! Разъ ты такъ добра, что интересуешься даже подробностями моей болѣзни, то я хочу отвѣтить тебѣ сейчасъ же, на твое милое письмо отъ 7-го, не дожидаясь вторника, когда я тебѣ напишу. Сплю я хорошо. Это лучшія минуты дня или ночи. Но такъ какъ ухо меня будитъ, то сплю я съ перерывами и поэтому ложусь днемъ снова: „in ihr Bettchen, in mein schönes Bettchen, какъ Н. говорила мама. Утромъ являются управляющій, дежурный помощникъ и два секретаря. Я читаю и диктую письма въ постелѣ. Все это продолжается до 4-хъ часовъ. Проснувшись, я начинаю съ того, что читаю три газеты. Пью двѣ чашки кофе съ сахариномъ и ѣмъ 3 яйца въ смятку. Нечего сказать, подумаешь ты, недурно для больного. До 3—4 часовъ я лежу. Умывшись (съ большимъ трудомъ—падаю,) хожу, о ираясь на стулъ и толкая его передъ собой, иду на балконъ, подышать воздухомъ. М. со мной: она лопатой разбрасываетъ снѣгъ. Солнце свѣтитъ. Лазурь небесъ отражаетъ вѣчное молчаніе,

taché, mais affectueux. Elles m'écrivent, font semblant de me traiter d'homme vivant. Je me fatigue assez vite. Mes aides, qui ont pour moi une affection, qui me touche, sont tous les jours chez moi. S. apporte les papiers et opine gravement. J'aime à voir M-m B. (une des A.) ma filleule A. K. M-m S!.. O., non, elle ne rentrera pas de si tôt, pas avant l'été... Au revoir.

A.

XV *).

6/19 Avril. 1900.

Ma chère Jenny! Христосъ Воскресе. Bonnes fêtes! Je ne t'écris que quelques mots. Je suis très affaibli par un traitement peut être trop énergique: Pollitzer ne voulait qu'une injection tous les deux jours. Le médecin d'ici a soutenu qu'il était indispensable d'en faire une tous les jours. Ls résultats curatifs sont nuls, mais la faiblesse a augmenté. Aujourd'hui je vais interrompre la série et me donner un jour de répit. La tête me tourne tout le temps. J'ai l'air hébété. Je ne me sens bien, que couché. Je t'envoie les images de maman, qui doivent nous être sacrées par les larmes et les prières de notre Mère. C'est devant ces témoins muets que s'est passée une grande partie de sa vie,

---

парящее надо мной. Я много читаю. Мой идеалъ теперь Шатобріанъ. Меня навѣщаютъ: двѣ или три дамы, на которыхъ я смотрю безъ интереса, но съ участіемъ. Онѣ пишутъ мнѣ, дѣлаютъ видъ, что обращаются со мной, какъ съ живымъ человѣкомъ. Я довольно быстро утомляюсь. Помощники, привязанность которыхъ ко мнѣ меня трогаетъ, бываютъ у меня каждый день. С. приноситъ бумаги и очень серьезно разсуждаетъ. Я люблю видѣть М-ме Б. (одна изъ А.), крестницу А. К. М-ме Щ.

До свиданья А. У.

6/19 апрѣля 1900.

*) Моя милая Женни! Христосъ Воскресе! Счастливыхъ праздниковъ! Пишу тебѣ всего нѣсколько словъ. Я очень ослабъ, можетъ быть, отъ слишкомъ энергичнаго лѣченія. Поллицеръ считалъ необходимымъ дѣлать мнѣ по одному впрыскиванію каждые два дня. Здѣшній врачъ настаивалъ на ежедневныхъ впрыскиваніяхъ. Результатовъ—никакихъ, но слабость увеличилась. Сегодня я прерву эту серію и дамъ себѣ день отдыха. Голова кружится все время. Видъ у меня одурѣлый. Чувствую себя хорошо только лежа. Посылаю тебѣ образа мама, которые для насъ освя-

c'est à ces images qu'elle a demandé notre vie, notre santé, notre bonheur! Vendre pour un sou ces naifs objets d'une piété profonde me semblait un sacrilège. Tu pourras les donner à l'église de Wiesba den pour les rapprocher de la tombe de maman.

Mon humeur est très bonne, malgré mon triste état. Je vais t'envoyer encore quelques articles fort gais. A les lire on croirait un homme jovial et verveux, qui s'amuse.

Ton vieux frère, qui te plaque un gros baiser, deux et trois même.

A. O.

XVI *).

12 Avril.

Chère amie, ma lettre hebdomadaire ne contient rien de nouveau. Mon état est le même. Avec l'ouïe j'ai perdu le sens du goût: les figues, les pruneaux, les oranges ont pour mes nerfs un goût salé. Aussi plus de gourmandise. Voici donc trois choses évanouies: le son, le mouvement libre à travers l'espace et la saveur. Je mange tout de même: lait, oeufs, viande, café—on vit avec ça. J'ai commencé à rédiger mes mémoires. Je n'y metterai, que ce qui a un peu d'intérêt général; si je devais y mentionner toutes mes sot-

---

щены слезами и молитвами нашей матери. Передъ ними, нѣмыми свидѣтелями, прошла большая часть ея жизни; у нихъ она просила для насъ жизни, здоровья, счастья. Продать за грошъ эти наивные знаки глубокой вѣры казалось мнѣ святотатствомъ. Ты можешь отдать ихъ въ Висбаденскую церковь чтобы приблизить ихъ къ могилѣ матери.

Несмотря на мое печальное положеніе, настроеніе у меня очень хорошее. Я пришлю тебѣ еще нѣсколько очень веселыхъ статей. Читая ихъ, подумаешь, что веселится бойкій, остроумный человѣкъ. Твой старый братъ, который тебя крѣпко цѣлуетъ, даже нѣсколько разъ.

А. У.

12 апрѣля.

*) Милый другъ! Въ моемъ еженедѣльномъ письмѣ не будетъ ничего новаго. Состояніе мое все то же. Вмѣстѣ со слухомъ я потерялъ и чувство вкуса: финики, сливы, апельсины кажутся мнѣ солеными. Поэтому—конецъ лакомствамъ. Умерли, значитъ, уже три вещи: звукъ, свободное движеніе въ пространствѣ и вкусъ. Я все-таки ѣмъ: мясо, яйца, молоко,

tises, folies et turpitudes, cela exigerait des volumes, une encyclopédie, le dictionnaire de la conversatiou insolite. Pas de nouvelles d'O. et cette dinde de Л. qui n' écrit pas non plus! Moi j'écris tous les Lundis à O. Couché, je lis le *Studio*, excellent illustré anglais, qui te plaira. J'ai déja 7 injections de pilocarpine. On en fera encore 10 ou 13 pour savoir si le remède éfficace. Jusqu'à présent — moins que rien. Il n'y a pas d'amélioration, l'opération sera nécessaire. Pourrai-je aller à Vienne ou á Berlin, serai-je forcé de la faire içi?—je n'en sais rien encore, car à présent je suis intransportable. Je t'embrasse.

A. O.

XVII *).

12/25 Mai. 1900.

... Une nouvelle consultation après examen m'a trouvé trop faible pour aller n'impote où (excepté à Ваганьково, un cimetière très salubre). Pas d'Ессентуки, pas d'étranger! Mon coeur bat 98 à la minute: grande faiblesse! Сильная слабость! Injections de pilocarpine—20—terminées: 3/4 de fiasco! Injections d'arsénic commencées: cela doit me fortifier. Allons y gaiement!

кофе. Съ этимъ можно жить. Началъ приводить въ порядокъ свои воспоминанія. Помѣщу тамъ только то, что представитъ интересъ общій. Если-бъ я вздумалъ разказывать всѣ свои глупости, безумства и гадости, то для этого потребовались бы цѣлые тома, цѣлый необычайный энциклопедическій словарь.

Отъ О. извѣстій нѣтъ, а эта дура Л. тоже не пишетъ. Я пишу О. каждый понедѣльникъ. Въ постели я читаю Studio, превосходное англійское иллюстрированное изданіе, которое тебѣ понравилось бы. Мнѣ уже сдѣлали 7 впрыскиваній пилокарпина. Мнѣ ихъ сдѣлаютъ еще 10 или 13, чтобы убѣдиться, дѣйствуетъ ли это средство. До сихъ поръ даже меньше, чѣмъ ничего. Если улучшенія нѣтъ, операція станетъ неизбѣжной. Смогу ли я поѣхать для этого въ Вѣну, или въ Берлинъ, придется ли ее дѣлать здѣсь? Пока не знаю ничего, потому что теперь я совершенно не годенъ для перевозки.

Цѣлую тебя. А. У.

12/25 мая 1900.

*) Новый консиліумъ, послѣ осмотра, призналъ меня слишкомъ слабымъ, чтобы ѣхать куда бы то ни было (развѣ только на Ваганьково, очень здоровое кладбище). Ни въ Ессентуки, ни заграницу. Сердце бьется 98 въ

30 injections, un jeu.

M. et S. te saluent. Je serre la main à mon beau frère et j'embrasse les filleules. Et toi aussi (embrasse et filleule). Et le major? A-t-il déménagé son monocle à W.? Heureux mortel! Il peut voir et entendre. Je donnerai tout de suite une jambe pour cela!

Allons, à bientôt par lettres. O. viendra chez toi: tu en seras contente.

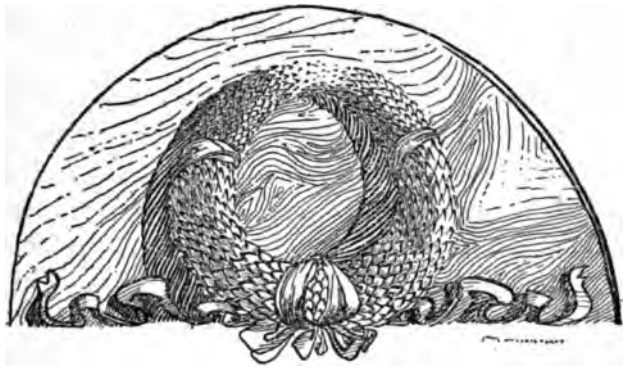
Alexandre.

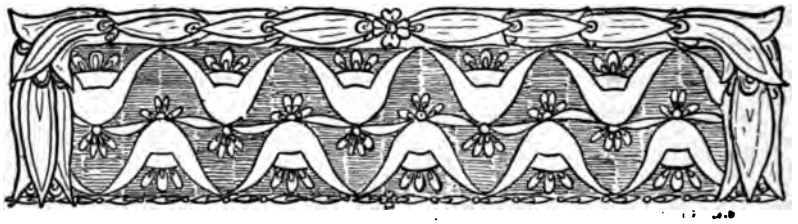
минуту; сильная слабость! Впрыскиванія пилокарпина—20—кончены. $^{3}/_{4}$—полное фіаско. Начаты впрыскиванія мышьяку. Это должно меня укрѣпить. Приступимъ къ этому весело. 30 впрыскиваній—пустякъ!

М. и С. тебѣ кланяются. Жму руку своему зятю и цѣлую крестницу и тебя. А маіоръ? Перевезъ ли онъ свой моноклъ въ W? Счастливый смертный! Можетъ видѣть и слышать. Я бы сейчасъ отдалъ за это одну ногу.

Прощай, скоро буду писать. О. пріѣдетъ къ тебѣ, ты будешь довольна.

Александръ.





Изъ письма къ издателямъ.

„... Въ людяхъ, которыхъ мы любили и которые насъ любили, умираетъ ужасно много насъ самихъ, и мы опускаемъ въ могилу часть нашей жизни, невозвратно, навсегда...“ Эти слова покойнаго кн. Александра Ивановича Урусова я могла бы поставить эпиграфомъ къ моему письму. Я особенно ясно почувствовала ихъ справедливость сегодня, когда сѣла, наконецъ, разобраться въ письмахъ и бумагахъ и исполнить данное Вамъ обѣщаніе — выбрать что нибудь изъ нихъ въ сборникъ, посвященный памяти нашего незабвеннаго друга. Съ этихъ листковъ плотной бумаги, исписанныхъ крупнымъ, характернымъ почеркомъ, стали словно отдѣляться милые образы, милыя тѣни, и, окружая меня, говорили:

— Насъ ужъ нѣтъ! Насъ ужъ нѣтъ больше! А еще эта бумага сохранила свою упругость, и слова, начертанныя чернилами, словно вчера написаны знакомой рукой. Какой-нибудь лоскутъ бумаги прочнѣе насъ! Онъ живетъ, а рука, исписавшая его, истлѣла въ могилѣ, и біеніе благороднаго сердца, блескъ изящнаго ума—все это исчезло, куда, зачѣмъ — неизвѣстно... Но дни пройдутъ, и также исчезнешь ты, и все, что будетъ послѣ тебя, исчезнетъ въ свою очередь... Жизнь — только болѣе или менѣе долгое ожиданіе смерти...

Я слушаю тихіе голоса прошлаго, и сердце мое бьется болью по невозвратномъ, и наплывъ воспоминаній дѣлаетъ

сознаніе утраты такимъ же сильнымъ, какъ въ первые дни ея...

Воспоминанія! Вы просите воспоминаній объ Александрѣ Ивановичѣ? Но тогда мнѣ пришлось бы часъ за часомъ, день за днемъ почти разсказывать свою жизнь, жизнь нашей семьи. Я не могу писать о немъ какъ объ общественномъ дѣятелѣ,— только какъ о близкомъ другѣ. Когда находишься съ человѣкомъ въ такомъ тѣсномъ общеніи, какъ мы съ нимъ, то не стараешься запоминать факты, не стремишься удерживать въ памяти сказанныя слова, не замѣчаешь какъ-то друга, какъ не замѣчаешь воздуха, которымъ дышешь. И только послѣ его потери начинаешь понимать и чувствовать, какая жизнь шла рядомъ съ твоею, „какое сердце биться перестало“... и горько упрекаешь себя, что не собиралъ капля за каплей каждой мелочи его жизни, какъ драгоцѣнной жидкости въ сосудъ...

Нѣтъ такого времени, когда я бы не привыкла слышать и произносить имя Александра Ивановича наряду съ самыми близкими и родными именами. Приведу Вамъ семейный анекдотъ, рисующій близость покойнаго нашему дому: его первому выигранному дѣлу я отчасти обязана своимъ существованіемъ. Выигравъ это первое дѣло, Ал. Ив. отправился праздновать его въ домъ покойнаго дѣда моего, П. М. Щепкина, и привезъ туда корзину фруктовъ и вина, чтобы справить торжество на славу. Но П. М. уходилъ въ судъ и, не взирая на всѣ просьбы виновника торжества и многочисленной щепкинской молодежи, не соглашался остаться. Тогда старшая дочка схватила яблоко изъ корзины:

— Ну, такъ возьми яблочко съ собой! Нужно же поздравить А. И.!

— Да я ихъ не ѣмъ.

— Такъ отдай первому, кого встрѣтишь въ судѣ, пусть съѣстъ за здоровье А. И.

Дѣдъ исполнилъ капризъ своей любимицы и отдалъ яблоко первому, кого встрѣтилъ въ судѣ, со словами:

— Вотъ вамъ моя дочка прислала.

Встрѣченный былъ начинающій адвокатъ, знавшій П. М. только какъ товарища предсѣдателя Суда; онъ хладнокровно взялъ яблоко, съѣлъ его—и только тогда попросилъ позволенія пріѣхать познакомиться съ дочкой П. М. и поблагодарить ее. Черезъ нѣсколько лѣтъ онъ на ней женился; это и были мои отецъ и мать.

Я привела эту „семейную легенду", чтобы объяснить Вамъ, какъ А. И. дѣйствительно былъ близокъ нашей семьѣ, какъ съ первыхъ дней сознанія я начала слышать о немъ, и знать его, и учиться отъ всѣхъ моихъ близкихъ любить его.

Еще совсѣмъ ребенкомъ я вспоминаю, какъ на берегу Балтійскаго моря, онъ часами занимался со мною, училъ меня писать по русски и по французски, знакомилъ съ географіей, съ исторіей, и все это — такъ интересно, что я, 5—6-ти лѣтняя крошка, забывала бѣготню и пропускала часъ завтрака, т.-е. няня должна была придти за мной, чтобы оторвать отъ уроковъ Ал. Ив. Вспоминается мнѣ, какъ по дорожкамъ сада ходили мы съ нимъ рядомъ, я— полная счастливой гордости, и бесѣдовали—какъ два равныхъ: у него совсѣмъ не было привычки говорить съ дѣтьми, какъ это почему-то принято, какъ съ обезьянками, собаченками или канарейками; онъ говорилъ съ ними — какъ съ людьми, и это впечатлѣніе осталось во мнѣ очень сильно. Если-бы отъ меня потребовали повторить теперь его рѣчи, я, конечно, не могла бы, но онѣ дѣлали свое дѣло, и слѣды ихъ остались въ душѣ моей.

Я помню и долгіе зимніе вечера въ его большомъ, внушительномъ кабинетѣ на Сергіевской, когда, страдая невыносимыми болями въ ногѣ, онъ принужденъ былъ неподвижно сидѣть съ вытянутой ногой на креслѣ или на диванѣ... Тогда его постоянными собесѣдниками были мы — его сынъ и я, дѣти 10 — 8 лѣтъ. Наигравшись, мы взбирались къ нему на диванъ, и опять шли долгія бесѣды, и начиналось огромное, вѣчно для насъ новое и интересное

„Путешествіе вокругъ моей комнаты“. Комната эта была богата всевозможными коллекціями, развѣшанными по стѣнамъ въ витринахъ или разставленными въ шкафчикахъ; и, Боже мой! Чего только не видала на своемъ вѣку и не могла разсказать каждая стоящая тамъ бездѣлка! И позеленѣвшія монеты, за которыми открывался бѣлый форумъ Рима, цезари, первое христіанство, папы... И древнія иконы, уносившія насъ въ пеструю и блещущую Византію, прямо во дворецъ Юстиніана... А маленькая статуэтка Жанны д'Аркъ... А исторія короля Людовика-Груши, грушевидная голова котораго, какъ живая смотрѣла на насъ съ полки стариннаго фарфора,— увлекшая насъ дальше впередъ, заставившая передъ широко открытыми дѣтскими глазками обрисоваться неясныя, ужасающія и прекрасныя черты великой революціи...

О, да всего не вспомнишь и не повторишь, и долго не хватало мнѣ этихъ вечеровъ, когда мы принуждены были уѣхать изъ Петербурга въ Москву, а потомъ въ Кіевъ. Мнѣ уже было около 16-ти лѣтъ, когда Ал. Ив., будучи по дѣлу гдѣ-то возлѣ Кіева, захотѣлъ увидѣть меня. У меня еще хранится его телеграмма, гдѣ онъ спрашиваетъ, буду-ли я въ это время въ Кіевѣ? Онъ пріѣхалъ, провелъ у насъ сутки, и за эти сутки снова мнѣ показалось, что мы съ нимъ никогда и не разставались. Онъ былъ тотъ-же, и такъ-же не скупился расточать жемчугъ своего ума передъ наивнымъ подросткомъ, какъ когда-то передъ ребенкомъ, и опять завоевалъ этимъ юную душу.

Вскорѣ послѣ этого онъ уѣхалъ заграницу, взявъ съ меня обѣщаніе написать ему. Къ этому времени и относится наша послѣдовательная переписка. Эти письма я съ удовольствіемъ отдаю Вамъ. Можетъ быть, въ нихъ много личнаго, но они такъ обрисовываютъ его манеру говорить и думать, такъ полны его остроумія и часто глубины, что мнѣ жаль многое вычеркивать изъ нихъ. Предоставляю ихъ на Ваше усмотрѣніе.

Слѣдующее за этимъ время я уже провела въ Москвѣ, и мы обмѣнивались только короткими записочками изъ „ruelle Nicolski“, какъ онъ шутя называлъ свою улицу, ко мнѣ: то онъ пришлетъ мнѣ новую книгу, то порошокъ кадеина и т. п. Все это всегда облечено въ сжатую и интересную форму, но уже общаго значенія не представляетъ. Въ его домѣ часто собирались мы, запросто, для дружеской бесѣды, а иногда и на литературныя собранія. У Ал. Ив. у перваго въ Москвѣ можно было услышать объ интересной новинкѣ, прослушать зачастую и самое новинку, и увидѣть автора ея. Его библіотека была замѣчательной, не говоря о новыхъ книгахъ; онъ, бывая въ Парижѣ и съ упоеніемъ бродя по quai Malaquais пополнялъ ее всевозможными томиками со стертой позолотой, имѣвшими громадную цѣнность. Онъ всегда чѣмъ нибудь увлекался, съ кѣмъ нибудь носился. Бывало, послѣ его звонка, мы еще изъ передней слышали его сочный, бархатный голосъ, до послѣднихъ дней остававшійся молодымъ и шедшій вразрѣзъ съ его немного грузной, благодаря постояннымъ страданіямъ ноги, затрудненной походкой.

— Что я открылъ, господа! Какой талантъ!

Такъ что мы уже добродушно подтрунивали, стараясь опередить его:

— Какой вы новый талантъ открыли, А. И.?

Но въ жизни, кромѣ постоянныхъ мелкихъ „открытій“, у него были три главныя страсти, три полосы ярко замѣтныя всѣмъ окружающимъ, и въ сущности всѣ три строго послѣдовательно удовлетворявшія его вѣчному стремленію къ *гармоніи прекраснаго,* истиннымъ служителемъ котораго, въ полномъ значеніи этого слова, онъ былъ. Я-бы назвала его „Петроній-христіанинъ“, если-бы не боялась невѣрно освѣтить своимъ сравненіемъ его дорогой намъ образъ.

Сначала это былъ Флоберъ, для А. И. воплощавшій красоту *ума и мысли.*

Затѣмъ—Элеонора Дузэ, красота *генія, таланта* живого.

И, наконецъ... это была... Марьинка, его имѣніе—воплотившее для него послѣднюю, можетъ быть, лучшую красоту *природы и жизни*.

Когда, за нѣсколько лѣтъ до его смерти, я встрѣтилась съ нимъ послѣ нѣкотораго отсутствія и по привычкѣ шутливо спросила:

— Ну, что, А. И., все Дузэ? Лучше ничего на свѣтѣ нѣтъ?

Онъ мнѣ серьезно отвѣтилъ:

— Нѣтъ, мой другъ, теперь Марьинка. Знаешь, ничего не можетъ сравниться съ тѣмъ, какъ распускаются почки на деревьяхъ.

И всѣ послѣдніе годы Марьинка занимала его помыслы. Съ какой дѣтской гордостью онъ привозилъ намъ „собственныя“ яблоки или смокву, или какіе-нибудь другіе припасы и говорилъ: „это Марьинскіе“. И сколько въ этомъ словѣ было радости и именно гордости! Да, Ал. Ив. въ половину увлекаться не умѣлъ!

Когда онъ былъ послѣдній разъ у меня, онъ уже очень плохо слышалъ, и съ нимъ было трудно говорить, но ни на минуту онъ не терялъ бодрости и обычнаго блеска. Толковалъ о послѣдней вещи Ибсена, разсказывалъ какую собирается написать статью, проектировалъ поѣздку заграницу... Осуществить ему ее не пришлось.

Въ послѣдній разъ и я была у него, передъ моимъ отъѣздомъ, весною.

Это впечатлѣніе до сихъ поръ остается неизгладимымъ въ моей памяти.

Его старинный барскій домъ выходилъ терассой въ небольшой садъ. Терасса была завита какимъ-то ползучимъ растеніемъ; въ саду распускались цвѣты, и стояли облитыя стыдливымъ румянцемъ молодыя яблоньки во всей вешней красотѣ своей... Изъ-за ограды виднѣлась яркая зелень чужихъ садовъ, какъ жаръ горѣли маковки и кресты ближней церкви. Въ прозрачномъ по-весеннему воздухѣ былъ разлитъ розовый колоритъ готоваго на закатъ солн-

ца... Щебетали птицы, и плавно и гулко плыли удары благовѣста, и мимо нихъ плыли розовыя облака и на глазахъ таяли какъ звуки... Ал. Ив. былъ уже приговоренъ... онъ съ трудомъ ходилъ — и ничего не слышалъ. Мои вопросы или отвѣты я писала ему на бумагѣ,—рядомъ съ нимъ теперь всегда находился блокнотъ и карандашъ.

Онъ водилъ меня опять по дорожкамъ сада, какъ въ тѣ далекіе дни, когда я была ребенкомъ... Остановился у цвѣтущей яблони, сорвалъ цвѣтокъ и произнесъ:

— Знаешь, я прежде не замѣчалъ, что они пахнутъ. А теперь я чувствую такой нѣжный, тонкій запахъ... Какъ все въ природѣ прекрасно!..

Мы проходили мимо мраморнаго бюста, бѣлѣвшагося въ темной зелени бесѣдки, и я, не разглядѣвъ, спросила:

— Кто это у васъ?

— Это? Тотъ, кому и теперь надо молиться: родоначальникъ красоты. Зевсъ! Ты не узнала?—усмѣхнулся онъ и продолжалъ нашу прогулку, обращая мое вниманіе на каждый вновь посаженный кустъ, на каждый пробивающійся ростокъ.

На порогѣ смерти—онъ такъ радовался чужой жизни, такъ любилъ ее!.. О, жизнь плохо отплатила ему за эту любовь: она слишкомъ рано отдала его смерти.

Я смотрѣла на него, такъ ясно переносясь за много лѣтъ тому назадъ, когда мы ходили съ нимъ рядомъ по аллеямъ сада... И подавляла подступавшія слезы, и грусть и умиленіе сжимали мнѣ сердце. Я знала, что и это скоро станетъ прошлымъ... но уже прошлымъ невозвратнымъ.

И этотъ величавый человѣкъ, тихо оставляющій жизнь, въ своемъ родномъ саду,—и, несмотря на тяжкія страданія, сохранившій ясность души и ласковую улыбку,—на фонѣ розоваго заката, подъ ароматъ весеннихъ цвѣтовъ и гулъ благовѣста, казалось мнѣ, уходилъ отъ насъ такъ же, не измѣняя *гармоніи прекраснаго*, какъ жилъ всю жизнь...

Т. Щепкина-Куперникъ.

7/8 1902.
Петербургъ.

I.

14 іюня 1890. London, St James. Ryder Street. 11.

Милая Таня!—Письмо, написанное вкривь и вкось красными чернилами и все наполненное твоими шаловливыми фантазіями, я въ сумрачномъ и великолѣпномъ Лондонѣ съ благодарностью получилъ, въ чемъ и расписуюсь. Ты удивительное дитя: сидитъ въ тебѣ какой то неугомонный демонъ и заливается, какъ канарейка, — но съ оттѣнкомъ недовольства и каприза. Ну, чего тебѣ еще нужно? скажи на милость! И свобода, и довольство, и успѣхи, и капризы! Ахъ, Таничка,—и все-то тебѣ мало! Скажите, пожалуйста, шестнадцать лѣтъ надоѣли и въ тягость... не бойся: скоро они умчатся, твои шестнадцать лѣтъ, баловница.

Пріѣхали мы сюда съ С., который вздыхаетъ о Парижѣ. У него довольно хорошій характеръ и я надѣюсь, что онъ будетъ не безъ удовольствія вспоминать о своей молодости, какъ и я вспоминаю о своей: я ему разрѣшилъ курить и, вообще, онъ ведетъ жизнь молодого человѣка, съ наклонностями спортсмена и денди: такихъ ногтей я никогда не носилъ. Ахъ, еслибы и ученіе шло также блестяще! Онъ способенъ, рѣчистъ, наблюдателенъ, но лѣнивъ — не то, что ты, моя умница, у которой и способности и, когда нужно, прилежаніе идутъ, бѣгутъ рука объ руку.

Здѣсь намъ придется прожить больше полумѣсяца. Я усердно занимаюсь по англійски, веду переговоры съ банкирами и адвокатами и чувствую себя великолѣпно. Духи твои разыщу, но жаль, что ты, милая Таничка, не пишешь чьи они, какой фирмы. Справлюсь у Аткинсона.

Стихи ты скоро бросишь писать, когда убѣдишься, что далеко съ ними не уйдешь. Но — усердно совѣтую тебѣ— пиши свой дневникъ, хоть не каждый день, упражняйся вѣрно, быстро, отъ руки, скиццировать впечатлѣнія, чтобы вышло похоже. Ахъ, какъ это важно и какъ интересно! Дѣло не въ содержаніи, а въ удачѣ формы... Еще совѣтъ:

достань себѣ Флобера—по французски, конечно,—и читай, не торопясь, а для самой себя вслухъ. Со временемъ скажешь спасибо твоему старому другу.

А. Урусовъ.

II.

London I. V.

11. Ryder Street. St James. Dieudonnés Hôtel.

Милая Таня, я вчера, 25 іюня, въ понедѣльникъ получилъ твое письмо отъ „кажется 21-го“ (мартобря?) и съ большимъ удовольствіемъ прочелъ его. Очень мило съ твоей стороны, что, не смотря на жару, и лѣнь, и даже разслабляющее дѣйствіе плохой Онэ'товской прозы, ты нашла въ себѣ силы написать. Очень хвалю тебя — и на этотъ разъ пишу серьезно, что ты читаешь много по французски и въ особенности Додэ и снова принялась за Диккенса (что именно?) Я любилъ Диккенса, когда мнѣ было 12 лѣтъ и по прошествіи 35, все еще люблю этого волшебника-поэта, сквозь призму котораго я вижу Лондонъ. Все это какъ будто знакомое и родное: вотъ безконечная вереница кэбовъ, омнибусовъ и торопливыхъ пѣшеходовъ точно волна течетъ по Флитъ-Стритъ, въ Сити. Диккенсъ далъ намъ почувствовать эту страшную силу. Вотъ Линкольнъ-иннъ съ его адвокатами, гдѣ контора Додсона и Фогга. Вотъ чистенькія таверны, гдѣ жарится баранья нога, запиваемая элемъ. О, здѣсь вѣрно сидитъ Самми Уэллеръ. А Темза, съ ея грязными глубинами и громадною ширью, ея мосты, укутанные въ туманы, а нѣжныя лица и дѣтскіе глаза — все это мы уже видѣли у Диккенса.

Одинъ только романъ даетъ опять впечатлѣніе Лондона, это „Нелль Горнъ“ (Nell Horn) Rosny. Я этого Рони кажется поднесъ тебѣ на станціи, но ты не сказала мнѣ, какъ онъ тебѣ понравился. А вѣдь въ сущности только романъ и даетъ душу живую города, и мнѣ кажется, что я здѣсь узналъ много Nell Horn и что я испыталъ гнетущее ощущеніе лондонской жизни... Одно плохо: не могу

сказать всего, что хотѣлось бы по англійски, хотя каждый день зубрю и перевожу.

С. ѣздилъ на велосипедѣ въ Ричмондъ и вернулся въ восторгѣ: стада ручныхъ оленей, чистый воздухъ деревни, чудный паркъ...

Непремѣнно, другъ мой, розыщу тебѣ баллады англійскія съ музыкой.

А что же папа?

Разскажи-ка кстати, о твоихъ планахъ и предположеніяхъ, а я ничего не знаю: ты въ августѣ хочешь быть въ Москвѣ? На долго-ли? У кого будешь жить? Что думаешь дѣлать зимой? Поступишь-ли въ театральное (фи!) училище и отчего не въ циркъ? Чѣмъ же лошади хуже... Смотри, не выдай меня: вѣдь театръ, это искусство, идеалъ, а циркъ это упадокъ чего-то. На вѣнкѣ, поданномъ Ермоловой отъ женскихъ курсовъ въ Москвѣ красовалось слѣдующее поэтическое четверостишіе:

Ты королева Мельпомены,
Ты величава и стройна,
Ты украшенье нашей сцены
Вѣнчаемъ лаврами тебя.

Не ужасъ ли беретъ отъ такихъ виршей?

Нѣтъ, отпросись лучше у отца за границу, посмотри людей и міръ Божій, стряхни съ себя томность и лѣнь, да ужь кстати и „занятія“, на которыхъ свѣтъ клиномъ сошелся. Твой старый другъ

А. Урусовъ.

III.

$\frac{\text{28 іюня.}}{\text{7 іюля.}}$ 1890. Четвергъ вечеромъ.

London 11. Ryder Street St James. Dieudonnés hôtel à Mr Ourousof avocat.

Милая Таня!

Сейчасъ получилъ твое письмо отъ 23 іюня, которое дошло такъ же аккуратно, какъ и всѣ предыдущія, адресъ также былъ написанъ довольно вѣрно. Прилагаю болѣе

подробный. Ты спрашиваешь о М. Ѳ.: она въ Карлсбадѣ пьетъ воды отъ жолчныхъ камней, которые начали появляться у нея зимою. Надѣюсь (и доктора обѣщаютъ), что одного — двухъ сезоновъ достаточно будетъ, чтобы уничтожить болѣзнь въ зародышѣ. Недугъ ужасно мучительный и моя бѣдная М. лѣчится усердно и скучаетъ. С. здѣсь каждый день занимается со мною. Теперь мы проходимъ славянскую этимологію и всенощное бдѣніе. Я не говорю ему, но тебѣ признаюсь, что первое нахожу чрезвычайно труднымъ у Перевлѣсскаго. Это какіе то адскіе гнусавые звуки юсовъ и бездна мелкихъ правилъ! Но, дѣлать нечего: совершаемъ прогулки по этому болоту. Въ ученіи о Богослуженіи, напротивъ, я нашелъ много поэтической прелести и трогательнаго чувства. Ты вѣрно проходила все это, но къ сожалѣнію, у насъ въ большинствѣ образованныхъ семействъ господствуютъ ироническія отношенія ко всему церковному, а между тѣмъ въ церкви всегда хранились источники, изъ которыхъ искусство, поэзія и музыка, черпали лучшія сокровища. И я полюбилъ церковь, отъ которой давно сторонился.

Сегодня мы были съ С. въ Комической Оперѣ, которая показалась мнѣ слишкомъ банальной (Marjorie). На дняхъ С., идеалъ котораго — быть образцовымъ спортсменомъ, ѣздилъ на велосипедѣ въ Ричмондъ. Это недалеко — туда и назадъ верстъ 12. Раннею весною С. ѣздилъ во Владиміръ изъ Москвы но вслѣдствіе сильнаго вѣтра, проѣхавъ сто верстъ, пересѣлъ съ своимъ товарищемъ въ вагонъ. Онъ развилъ въ себѣ хорошую мускулатуру, а это ужасно важно для равновѣсія въ жизни. Мы вообще, а женщины въ особенности, слишкомъ мало занимаемся своими мускулами, а вѣдь какъ они нужны! Я всегда сожалѣлъ, что сталъ адвокатомъ, а не наѣздникомъ или гимнастомъ. Когда я бываю въ циркѣ, то радуюсь, какъ человѣкъ, тайно страдающій тоскою по родинѣ. Все развитіе пошло на мозги: головной да позвоночный... Надѣюсь, что С. тебѣ понравится.

Здѣсь отвратительная погода: дождь каждый день. Но я люблю большіе города, въ нихъ кипитъ жизнь, какъ въ котлѣ. Люблю я толпу, вереницы кэбовъ, рѣзкое сіяніе электрическихъ фонарей; шумъ и говоръ ресторановъ, взрывы смѣха въ накаленной температурѣ театра. Ото всѣхъ этихъ жизней, охваченныхъ лихорадочною борьбою за существованіе, идутъ какіе то нервные токи, раздражающіе, но пріятные. Вся атмосфера, съ легкимъ запахомъ газа и асфальта, каменнаго угля и мокрой листвы, вся проникнутая звономъ, грохотомъ и шумомъ — все это жизнь города, ужасно сложная и захватывающая, передъ этою жизнью тихая созерцательная деревня кажется раемъ, въ которомъ потягиваются, косясь на часы — и зѣваютъ: а вѣдь, кажется, спать пора?

До свиданія, милая Таня.

А. Урусовъ.

IV.

$^{16}/_{28}$ іюля 1890

Лондонъ, II Ryder Street St James.

Милая Таня!

Сейчасъ (утромъ) получилъ твое интересное письмо отъ 10-го іюля и сѣлъ писать—но теперь уже 11 часовъ скоро. Въ $10^{1}/_{2}$ открывается засѣданіе въ Court for Divorce, гдѣ идетъ дѣло о миловидной пѣвичкѣ Леди Дёнло, съ которой мужъ ея, глупый сынъ лорда Кланкарти, добивается развода. Сегодня я буду слушать возраженія адвокатовъ истца. Все это лучшія силы Англіи... Въ темноватыхъ корридорахъ суда ярко тлѣютъ электрическія лампочки... Адвокаты въ мантіяхъ и сѣрыхъ парикахъ изъ конскаго волоса вродѣ маркизовъ, но съ усами и бородами толпятся у дверей; посылаю свою карточку: Russian barrister, и раскрываются двери... и нервная улыбочка бѣдной Беллы Билтонъ мелькаетъ передо мною—а на улицѣ ждетъ толпа, омнибусы уходятъ и приходятъ непрерывной чередою, и старый разносчикъ выкрикиваетъ фотографическія кар-

точки: „Lady Dunlo—a penny—A penny Lady Dunlo! (не прочти а рѣпу). Her Ladyship for a penny.“

Ночью прыснулъ дождичекъ. Свѣжѣе стало. Пасмурное всегда небо Лондона просвѣчиваетъ улыбкою. Изъ открытаго окна несется отдаленный гулъ раската и топота — свистъ прохожихъ мальчишекъ, труба кондуктора загородныхъ дилижансовъ... Пора! Одѣваюсь и до свиданія. Постараюсь купить тебѣ карточку и буду продолжать.

Того же дня поздно вечеромъ.

Я прослушалъ дѣло, которое не кончилось — идетъ 5 дней и волнуетъ весь Лондонъ. Прилагаю карточку для тебя. Это дѣло — исторія маленькой шансонетной пѣвицы, въ которую влюбился молодой лордъ — и женился. У нея былъ до того романъ—и очень печальный. Любовникъ ея, отъ котораго она прижила ребенка, совершилъ подлогъ и попалъ въ тюрьму. Ухаживалъ за нею и нѣкто Вертгеймеръ, богатый торговецъ картинами и древностями. Лордъ, совершенный мальчишка, былъ отправленъ родителями въ Австралію и бросилъ жену безъ всякихъ средствъ, а родители, по совѣту своего повѣреннаго, учредили надъ нею негласное наблюденіе частныхъ сыщиковъ, чтобы подготовить дѣло о разводѣ. Вертгеймеръ сталъ посѣщать ее ежедневно, ѣздилъ съ нею въ Парижъ. Доказана ли невѣрность ея или нѣтъ — на томъ вертится весь процессъ, въ которомъ я слышалъ лучшихъ адвокатовъ Англіи, Чарльза Росселя отъ имени истца, и Локвуда съ Джилемъ отъ имени отвѣтчицы и со-отвѣтчика Вертгеймера. Сегодня послѣ рѣчей (удивительное производство!) адвокатъ леди Дёнло пожелалъ предложить ей вопросы. Она вошла на маленькую трибуну, пристроенную къ самой скамьѣ присяжныхъ, сняла перчатку съ правой руки и поцѣловала маленькую книжечку, которую подалъ ей клеркъ, отобравъ отъ нея присягу. И вотъ, начался діалогъ. Она стояла лицомъ къ публикѣ. На грубоватый, хотя и звучный басъ адвоката послышался удивительно нѣжный, высокій голосъ, и въ устахъ ея англійскія слова звучали нѣжно, какъ золотыя

струны. Иногда она старалась припомнить, и тонкое, нѣжное лицо съ болѣзненнымъ напряженіемъ смотрѣло вверхъ, въ сторону, откуда падалъ яркій снопъ свѣта. „J do'nt remember, sir“ — очаровательно звенѣлъ голосокъ, легкая улыбка скользила на устахъ — и кажется, что прелестная леди говорила не совсѣмъ правду, но всѣ симпатіи вихремъ мчались къ ней навстрѣчу.

Замѣть, что ничего ей не угрожаетъ, кромѣ развода, но это все равно: она права, говоритъ внутренній голосъ, и хочется, чтобы она выиграла. Но каковы эти граціозныя, стройныя созданія: цѣлый день, отъ 12 до 2 и отъ $2^1/_2$ до 4-хъ, она простояла въ этой свидѣтельской „боксъ“ и завтра будетъ продолжать давать показанія. Подъ конецъ ее допрашивалъ адвокатъ обвинителя, и она все также кротко и мило отвѣчала: „No, sir, J do'nt remember“, и та же виноватая или запальчивая улыбка, еле замѣтная, скользила на ея устахъ, или это было нервное сокращеніе бѣднаго личика, тогда какъ брови страдальчески поднимались, какъ у Ніобеи. Говорятъ, что мужъ ея и до сихъ поръ въ нее влюбленъ, и Вертгеймеръ тоже, и Вестокъ, сдѣлавшій подлогъ, тоже, и весь Лондонъ тоже, который раскупаетъ ея фотографіи. Меня же до болѣзненности расшатала эта исторія, вродѣ того, какъ дѣйствовалъ въ дѣтствѣ на меня театръ — ненужною жалостью. Впрочемъ, въ первый день моего пріѣзда въ Лондонъ вышла смѣшная штука: я остановился, пораженный странною прелестью одной фотографіи и купилъ ее, не зная кто это? Это былъ портретъ Леди Дёнло или, вѣрнѣе, Беллы Билтонъ... Но довольно и „досыць тэго глупства“. Письмо твое, милая Таня, чрезвычайно интересно и ярко. Оно доставило мнѣ много истиннаго удовольствія, и я радъ, что мои тебѣ не надоѣли. Я, долго не получая отъ тебя ничего, подумалъ: понятно, что ей надоѣло. Ишь вѣдь тоже: „связался чортъ съ младенцемъ!“. Но, получивъ 2 письма твои, я вижу, что ты отзывчивѣе, чѣмъ я думалъ. Меня же, когда Господь Богъ судить будетъ, на вопросъ: „да что же ты любилъ кромѣ

Флобера?“— непремѣнно спасетъ реплика моего добраго ангела: онъ всегда любилъ Щепкиныхъ. Дѣйствительно — Елена Васильевна, Петръ Михайловичъ, Ольга Петровна, ты, Аля, тетя Саша (то есть Александра Петровна) всѣ мнѣ были всегда дороги, милы, родственны болѣе, чѣмъ кто либо на свѣтѣ. И для всѣхъ-то я былъ всегда сбоку припёка. Въ тебѣ же выразилось новое явленіе. Умъ отца, надѣюсь, будетъ у тебя подспорьемъ сердечности матери, а талантливость ты получила отъ обоихъ. Но время — новое, иное, чѣмъ то, въ которое они жили—дало и тебѣ особую окраску. Иди, куда тебя влечетъ твой вкусъ. Театръ, такъ театръ. Ты въ горничныхъ не застрянешь, только старайся поддерживать въ себѣ веселость молодости и не кисни! Въ кого тебѣ быть меланхоличной! Пиши, если хочешь, по прежнему адресу. Любящій тебя А. Урусовъ.

V.

Открытое письмо (изъ Англіи).

Милая Таня, спѣшу увѣдомить, что большой флаконъ Burlingtonia Аткинсона пріобрѣтенъ для тебя, но только нужно будетъ терпѣніе: отослать по почтѣ жидкости въ стеклянныхъ хранилищахъ запрещено правилами почтамта. Придется тебѣ подождать до августа. Но карточки фотографическія по почтѣ пересылать дозволяется, и стихи также, безъ особой платы.

Кланяйся отцу и не забывай стараго друга А. У.

VI.

Парижъ $^{27}/_{8}$ авг. 1890.

Милая Таня!

Да, ты права: солнце, розы, поле гречихи... и человѣкъ, для котораго ты номеръ первый и послѣдній — все это счастіе, а Москва, хотя бы и съ разными приправами, это кислота. Вообще, нѣтъ счастія внѣ природы и 14 R°, ибо при температурѣ ниже этой какъ то неловко, а выше—

ничего, только истома одолѣваетъ. Опять и это вѣрно: дѣтскія руки, голоса, цвѣты и солнце... ахъ, какъ жадно и я бы устремился въ такую жизнь!

Получивъ твое письмо, я воскликнулъ: вотъ тебѣ разъ! Значитъ, она въ Москвѣ-то не будетъ жить зимою! Жаль, но для нея лучше . . .

. . . . . .

. . . Предаваясь такимъ вполнѣ пиквикіонскимъ размышленіямъ, я написалъ кое-что въ своемъ дневникѣ и сталъ медленно одѣваться... Солнце свѣтило неярко. Раскатъ каретъ раздавался слишкомъ рѣзко. Сегодня я отправляюсь опять въ Библіотеку города, (Hôtel Carnavalet) гдѣ я работаю надъ текстомъ M-me Bovary, сравнивая его по первоначальной редакціи Revue de Paris съ первымъ изданіемъ 1857 года (А нужно это?—слышится чей-то голосъ, и я вижу вопросительно поднятыя тонкія брови. Это лицо Леди Дёнло... да, дѣло свое она, ура! выиграла). Да, нужно,—отвѣчаю я серьезно. Въ октябрѣ будетъ въ Руанѣ воздвигнутъ памятникъ Флоберу. Къ этому времени нужно что нибудь выпустить.

Ну-съ, мы съ С. въ Парижѣ. Оживленіе милѣйшаго изъ городовъ дѣйствуетъ, какъ легкое шампанское послѣ лондонскихъ stout и ale. Бульвары — это вѣчная выставка роскоши и творческой фантазіи. Особенно прелестны для меня громадныя витрины модистокъ: какія платья, что за шляпы! Чья нѣжная рука создала эти сочетанія цвѣтовъ? Какую святыню облекутъ эти божественныя ткани? Вѣчныя подспорья иллюзіи и мечты, эти платья въ своихъ складкахъ будутъ носить хрупкіе идеалы.

Сегодня я долженъ былъ обѣдать съ Гюисмансъ и Анри Сэаръ. Рекомендую тебѣ, при свѣтѣ синяго фонаря вагона, прочесть: Une belle journée, par Henri Céard или En Rade Huysmans. Но, собственно говоря, не рекомендую. Еще рано. Только брось навсегда все, что маракуетъ Ohnet. Это не для тебя, это для М. К. писано. Флобера Education sentimentale и Trois Contes ты, вѣрно, плохо прочла,

иначе перечитывала бы ихъ и чаще цитировала бы. Еще рекомендую: возьми у Gautier томъ или два Correspondance Flaubert и Mémoires de la vie littéraire Goncourt и въ особенности, ихъ же: Idées et sensations. Вотъ это квинтъ-эссенція капризнаго ума и изумительнаго совершенства формы. А Онэ, Дельпи, Шербюлье, Мало и проч. шушеру—предай вѣчному забвенію. Твой очень старый другъ А. Урусовъ.

P. S. Письма эти мои не подлежатъ оглашенію. Даже стыдно: можно ли такъ писать дѣтямъ? Отвѣтъ, если быстрый, то въ Парижъ, r. Arcade, 7.

VII.

31 авг. Москва.

Милая Таня, я передъ тобою въ долгу: получивъ твое занимательное какъ всегда письмо въ Парижѣ—я получилъ въ тоже время извѣстіе о болѣзни Мари и тотчасъ уѣхалъ въ Висбаденъ. Тамъ засталъ ее выздоравливающей; но все-таки праздновалъ трусу, волновался и вообще былъ къ письменному дѣлу неспособенъ. Но все обошлось благополучно, жена стала поправляться, (у нея было воспаленіе кишечника) пожили мы съ С. тамъ недѣли двѣ и поѣхали во-свояси, оставивъ Мари въ тепломъ воздухѣ Висбаденскихъ весей. Вчера я пріѣхалъ сюда, въ ruelle Nikolski, нашелъ твою карточку и, конечно, пожалѣлъ, что только карточку, а не тебя самое. Никого я еще здѣсь не видѣлъ, и это письмо мое еще первый звукъ, испускаемый изъ дому въ пространства иногороднія.

С. тоже вернулся и въ настоящую минуту зубритъ всеобщую исторію, но думаетъ, вѣроятно, о другихъ,—хотя тоже всеобщихъ—исторіяхъ. Вчера прямо съ вокзала онъ помчался въ Эрмитажъ, а я сѣлъ дома за столъ и занялся дѣломъ, то есть приведеніемъ въ порядокъ матеріаловъ и вновь полученныхъ статей о Флоберѣ, для подготовляемой книги: Notes sur Flaubert.

Ты все-таки, какъ истинная вертушка, не пишешь главнаго: что же, ты такъ и намѣрена совсѣмъ на всю зиму застрять въ Кіевѣ, утопая въ блаженствѣ діалоговъ? Что-же, ты совсѣмъ рѣшила бросить Москву? Все, значитъ, по-боку: и драматическую школу, и лавры? Я, ты знаешь, не сторонникъ театральнаго воспитанія, но театръ все-таки въ Москвѣ представляетъ собою что-то, иногда похожее на искусство, тогда какъ Кіевъ—это какое-то варево, гдѣ въ маленькихъ кострюляхъ прѣютъ полу-таланты, а публика-то ихъ смакуетъ, да пальчики облизываетъ. Что можетъ быть болѣе жалкаго и обиднаго, чѣмъ спектакль, гдѣ кое у кого есть нѣчто похожее на талантикъ, а за то остальные—хоть шаромъ покати! И все это суетится, перекипаетъ въ плачевной натугѣ, туда же лѣзетъ... Охъ, провинція! Ни розами, ни кіевскимъ вареньемъ не искупить тебѣ скуки, выдѣляемой мелкотою жизни. Люди хороши только тамъ, гдѣ ихъ такъ много, что можно выбирать тѣхъ, которые почище или мѣнять ихъ почаще. Ну, эту доктрину, ты должна приписать моему нежеланію видѣть тебя погруженною по уши въ кіевскомъ вареніи. Сравненіе плохо, ибо варенье это сухое, но не переписывать же изъ-за-этого письмо?

Завтра я увижу тетю Сашу и послушаю новостей. Какъ градомъ обдастъ меня пріятная сутолока щепкинскихъ разговоровъ. Вѣдь ужь что̀, кажется, чего ужъ не слыхалъ — а вотъ не знаю большаго удовольствія, какъ посидѣть у твоихъ и побесѣдовать...

Но четыре страницы уже исписаны. Спишу пожать руку поэтессы и просить отвѣта поскорѣе, быть или не быть ей въ Москвѣ?

А. Урусовъ.

VIII.

10 окт. 90.

Милая Таня!

Сегодня получилъ твое хорошенькое письмо и спѣшу благодарить тебя, ловя на лету минуту лучшаго настроенія.

Сейчасъ я получилъ преинтересное письмо отъ знаменитаго критика, историка и философа ТЭНА въ отвѣтъ на мое письмо къ нему съ запросомъ о Флоберѣ. Я былъ такъ взволнованъ, что не могъ безъ задыханія прочесть его Мари, точно это было любовное письмо... Получилъ я недавно очень милое письмо отъ Guy de Maupassant о томъ же предметѣ, но письмо отъ Taine — это драгоцѣнная рѣдкость *).

...Теперь вечеръ. Въ большой залѣ, превращенной мною въ кабинетъ и библіотеку (и въ которой была Таня) топится каминъ и ярко горитъ лампа молнія въ 40 свѣчей... на дворѣ похолодѣло. Выходить не хочется. Я сижу на вертящемся креслѣ и пересматриваю различныя изданія Madame Bovary и критическія статьи о ней: готовлю свою книгу.

Моя мечта: издать нѣсколько томовъ notes sur Flaubert, рядъ критико-библіографическихъ этюдовъ о величайшемъ романистѣ вѣка, помочь его оцѣнкѣ по достоинству, исполнить часть работъ по увѣковѣченію его генія — и перейти къ критической работѣ о русскихъ писателяхъ въ цѣломъ рядѣ характеристикъ, написанныхъ впервые безъ всякихъ политическихъ, соціальныхъ и педагогическихъ экивоковъ. Меня, напр., необыкновенно влечетъ къ себѣ Гоголь. Задача была бы: оцѣнить, понять, характеризовать, изучить и показать человѣка и писателя неразрывно связанныхъ, показать и сказать все, даже то, чего не принято говорить, подойти ближе, еще ближе къ человѣку... но все это мечтанія. Я теперь въ умственномъ отношеніи стою совершенно или почти совершенно одинокимъ. Я категорически отрицаю связь поэзіи съ публицистикой; преслѣдую всякую тенденцію, даже у геніевъ (какъ наприм. у Толстого) признаю ее только слабостью и недостаткомъ.

Я въ поэтѣ вижу художника или высокаго, какъ Пушкинъ, или плохого, какъ Надсонъ и К°. Стихи — или жи-

*) Помѣщаемъ ниже (стр. 189) это письмо, сохраненное Кн. А. И. Урусовымъ въ его коллекціи автографовъ. (Ред.).

вопись и скульптура, облеченныя въ музыкальную форму — или рифмованная, плохая проза. Но все это, пожалуй, и скучно тебѣ покажется. Но нѣтъ. Ты умница.

Пиши побольше такихъ картинокъ, какъ семейный обѣдъ.

Вѣрь мнѣ, что единственная высокая цѣль въ жизни— это возсозданіе ея: une illusion à décrire. Тотъ, кому посчастливилось схватить съ натуры нѣсколько очертаній или проблесковъ дѣйствительной, хотя бы и самой вульгарной жизни, тотъ, закрѣпивъ ихъ, сдѣлалъ уже очень много: онъ, смертный, создалъ безсмертное, вѣчное. Вѣчна не красота, въ риторическомъ смыслѣ слова, а художественно вѣрная картина жизни, хотя бы въ этой картинѣ не было ничего красиваго.

Избавь тебя Богъ, только отъ скверной замашки русскихъ плохихъ писателей: острить въ описаніяхъ, подбирать смѣшныя сравненія, вообще высовываться и гримасами, подмигиваніемъ говорить публикѣ: а вѣдь я-то здѣсь!

Очень будетъ жаль, если въ поискахъ за необыкновеннымъ и фантастичнымъ, (фантастическія картины всего легче писать, но онѣ смахиваютъ на олеографіи и преміи Нивы) ты не успѣешь развить въ себѣ способности остраго зрѣнія окружающей тебя дѣйствительности. Твои стихи, это только гимнастика языка. Но при твоей живой фантазіи и мѣткомъ, немножко зломъ умѣ — ты будешь писать со временемъ мастерскія картины дѣйствительности. Замѣть, сколько числомъ, штриховъ, деталей ты соберешь. Проанализируй-ка лучшихъ и худшихъ писателей. Ты всегда найдешь, что у лучшаго — описаніе заключаетъ большее число штриховъ, деталей, характерныхъ фактовъ, а у худшаго такихъ фактовъ будетъ очень мало, остальное наполнено бурдою общихъ фразъ.

Неужели Л. А. не возметъ тебя въ Москву. Буду обдумывать, какъ бы его подбить?

Твои фантазіи меня въ самомъ дѣлѣ развлекли: онѣ очень милы, искренни главное... Но не будь строга къ

угрюмости отца: мы съ нимъ вступили въ угрюмую пору житейской осени, а ты весенняя травка.

Дружески жму твою руку. А. Урусовъ.

IX.

21 октября 1890.

Милая Таня!

Я дѣйствительно, какъ ты пишешь, гадкій: сколько времени не могу собраться тебѣ писать. Благодарю тебя за отличную карточку. Причина моего молчанія была скучная, удручающая жизнь, которую я здѣсь веду. Утромъ читаю скучныя и бездарныя русскія газеты: сейчасъ отравляются мозги на цѣлый день. Встаю,—а кліенты уже ждутъ. Начинаю съ ними бесѣдовать, слушать ихъ бумаги, читать письма, диктовать отвѣты—и всѣ мозговые соки, весь ароматъ фантазіи и каприза—испаряется. Въ 2 часа поспѣшно, не садясь, закусываю (какъ евреи на праздникѣ опрѣсноковъ) въ то время, какъ кліенты пьютъ чай, отдуваются. Потомъ продолжаю въ томъ же вкусѣ до 5 или 6. Затѣмъ обѣдаю, угрюмо набивая свою утробу ненужной пищей... Вечеромъ читаю и т. д. При эдакой-то жизни какой я письмописецъ! И теперь-то, небось, тоску нагналъ. Да, правильная жизнь—скучна, впрочемъ, правильнѣе было бы дѣлать побольше движенія, и вотъ почему меня тянетъ на лоно природы.

Мари здорова, С. тоже. Вчера у насъ обѣдали О. П., А., А. П., С. А., А. И. П., гувернантка А. и сестра С. А. Было очень весело и щепкинскій скороговорчатый говоръ трещалъ, какъ батальный огонь среди грома смѣховъ. Но я тихонько удралъ и поѣхалъ на свиданіе съ присяжными повѣренными, гдѣ снова ѣли, пили и говорили скучныя и серьезныя вещи.

Твоя карточка всѣхъ приводитъ въ восторгъ. Въ ней много щепкинскаго.

Извини за скучное письмо. Говорятъ, что къ Рождеству ты пріѣдешь?

Жму руку. А. Урусовъ.

X.

17 ноября 1890.

Милая Таня, твое послѣднее письмо отъ 3-го ноября нѣсколько освѣтило для меня нѣкоторыя извилины твоей внутренней жизни... Я согласенъ съ тобой: сцена можетъ во всякомъ случаѣ дать заработокъ и удовлетворить стремленію къ блеску и шуму... но все же это жалкая сфера: фабрикуются кое-какъ, тяпъ да ляпъ, дешовыя иллюзіи для глупцовъ, называемыхъ публикой. Грубый вкусъ этихъ развращенныхъ дикарей создаетъ ужасное мѣрило—успѣхъ! Ихъ рявканіе—слава, ихъ шипѣніе—провалъ! Вѣдь разорвать на части могутъ: сила! И деньги платятъ—значитъ и потрафляй. Вотъ это-то и составляетъ постыдную сторону всякой популярности и всякаго публичнаго успѣха. „Публичная"—это ругательное, позорное слово, а „публика" —величается „почтеннѣйшею". Странно!

Но можно и должно презирать нелѣпый балаганъ, называемый сценою (это между нами, конечно) и все таки пользоваться имъ, лишь на придавая ему морализующаго, образовательнаго и прочаго вздорнаго значенія. Это тяжелое ремесло вродѣ ворочанія камней. У Гулливера есть разсказъ, какъ на островѣ Лапута король нѣкоторымъ придворнымъ дозволяетъ вылизывать пыль языкомъ на полу. Та ужасная проза, которую должны заучивать несчастные актеры оставляетъ такіе же слѣды на ихъ языкѣ, какъ и та ядовитая пыль. Но мало ли трудныхъ ремеслъ! И нѣтъ ни одного для женщины прибыльнѣе. Все это я пишу тебѣ подъ впечатлѣніемъ минуты. Для тебя мнѣ кажется театръ жалкимъ. Я не хотѣлъ бы, чтобы ты имъ увлекалась. Ну для какой нибудь К. это рай, сіяніе славы. Поступай, если хочешь, но храни про себя секретъ: что весь этотъ міръ пропитанъ пылью и ядомъ и что мысли и творчеству въ немъ нечего дѣлать. Не восхищайся его героями: такое восхищеніе было бы печальнымъ симптомомъ огрубѣнія вкусовъ. Пользуйся этими подмостками — но не больше. Не покланяйся имъ.

Ты не пишешь мнѣ ничего о томъ, что ты читаешь теперь, чѣмъ интересуешься. Я нахожу, что ты слишкомъ мало, слишкомъ шибко читала. Хорошо бы, если бы ты дѣлала краткія выписки или хоть съ карандашомъ въ рукахъ читала. Очень совѣтую тебѣ читать книги не о писателяхъ, не о литературѣ, не объ исторіи—а самихъ писателей исключительно, самихъ историковъ по возможности близкихъ къ эпохѣ и странѣ, о которыхъ пишутъ, сами памятники литературные. Важно не то, правильныя ли у тебя будутъ мнѣнія, важно только, что бы они были дѣйствительно твои. Такова, какъ мнѣ думается, единственная дорога къ саморазвитію. Затѣмъ нуженъ умственный режимъ: слѣдуетъ мѣсяцъ, два читать ежедневно понемножку одного писателя потомъ другого. Иначе умъ погрязнетъ въ липкой гадости газетъ, въ мутной водѣ журналовъ.

Сегодня къ намъ пріѣхала погостить А., въ квартирѣ О. П. очень холодно. Здѣсь стояли здоровые морозы градусовъ въ 25 съ вѣтеркомъ. Я совершенно здоровъ и бодръ. Мари простудилась и кашляетъ. С. учится, долго и усиленно катается на велосипедѣ въ манежѣ, что, по его словамъ, „настроеніе духа даетъ отличное и отъ глупыхъ мыслей отвлекаетъ“. Сегодня онъ упалъ со всего розмаха и пролетѣлъ сажени двѣ впередъ, но не ушибся больно и продолжалъ ѣзду.

Выищи, создай удобную минуту и отпросись въ Москву на праздники. Надѣюсь, до свиданія.

Твой старый другъ А. Урусовъ.

XI.

22 февраля 1891.

Милая Таня! Твои шаловливыя письма положительно вносятъ какія то веселыя и задорныя нотки въ монотонный напѣвъ будней... Я было дулся на тебя, а ты и не замѣтила. Да, это была ужасная, хотя и молчаливая ссора. Я угрюмо молчалъ... такъ я былъ обиженъ, такъ насупился, что просто ужасъ. „Принципъ, ворчалъ я сердито,

принципъ! Гмъ... какая же это хваленая дружба... Это все слова одни. Такой дружбы я не желаю"... Вотъ какъ я ворчалъ и теперь только это немножко улеглось.

Представь себѣ, что нога у меня все еще забинтована и точно что ее держитъ, а меня-то такъ и поднимаетъ съ мѣста: бѣжать, чуть не прыгать хочется и вдругъ нельзя. Былъ Склифасовскій, посмотрѣлъ мое колѣно (колѣно Гадово) и сказалъ, что ничего нѣтъ опаснаго и что ничего не нужно дѣлать, только резиновый бинтъ носить. Только! За это мудрое разсужденіе получилъ онъ 50 руб., а я остался съ резиновымъ бинтомъ.

Усиленно работаю надъ исторіею романа „Madame Bovary". Сегодня ночью пошелъ снѣгъ, разболѣлась невральгія, я впрыснулъ морфія и карандашемъ сдѣлалъ экстрактъ изъ статьи S-te Beuve объ этомъ романѣ. У меня множество скопилось матеріаловъ. Я въ перепискѣ съ Руаномъ и Парижемъ и скоро, скоро будетъ книга, которая должна жить, пока живо имя Флобера, какъ матеріалъ для его исторіи. Повѣрь, что тутъ нѣтъ ничего смѣшного, нѣтъ чудачества. Всѣ отрасли знанія спеціализировались настолько, что живетъ только то, что терпѣливо, упорно и систематически работаетъ надъ какимъ нибудь деталемъ. А широковѣщательныя обобщенія — цѣна имъ грошъ. Это познаешь поздно, и иные и никогда не познаютъ.

Да, милая Таня, права ты и въ томъ, что въ моемъ скромномъ домишкѣ я обрѣлъ осѣдлость настоящую. Онъ все болѣе и болѣе становится библіотекой и музеемъ моей жизни. Какъ хотѣлось бы мнѣ найти въ себѣ силы и досугъ къ творчеству или хоть къ тому, чтобы поэтически, но правдиво воскресить прошедшее, спасти эфемерныя мгновенія жизни отъ тлѣнія „фиксировать миражъ" жизни (это Флоберовское выраженіе). Ну, пошла писать губернія! Пришли-ка мнѣ лучше давно обѣщанные стихи. Кстати, почему г. Л. М. пишетъ: Я ненавижу скучной прозы вмѣсто скучную прозу?

Твой старый другъ А. Урусовъ.

XII.

25 апрѣля 1891 г.

Милая Таня, Христосъ воскресъ (троекратное чмоканіе). Послѣднее твое письмо съ почтовымъ штемпелемъ 19 февраля не заключало въ себѣ никакихъ вопросовъ, а было отвѣтомъ на мое. Оно хранится у меня подъ буквою *К.* За что мнѣ на тебя сердиться, помилуй? Я даже придумать не могу. Надоѣстъ тебѣ писать — ты перестанешь: мало-ли у тебя занятій поинтереснѣй. Я же всегда радъ твоему канареечному щебетанію: какъ звонкая трель доносится оно до меня изъ Кіева, и колокольчикомъ и дудочкой отливаютъ ярко-желтые звуки... Видѣлъ я на дняхъ А. и О. 23 мы вторично праздновали царицу Александру въ Кунцевѣ, конечно, вмѣстѣ съ тетей Сашей, то-есть не А. В., конечно... И снова я чувствовалъ себя прекрасно, ибо только у твоихъ или у нашихъ я и чувствую себя хорошо и по прежнему, провожу въ ихъ обществѣ буквально цѣлые дни съ утра до ночи. Вотъ ты пріѣдешь и будетъ, надѣюсь, еще лучше. Любящій тебя А. У.

XIII.

23 авг. 1891 г.

Милая Таня.

Сегодня получилъ твое письмо, а вчера былъ у А. П. и узналъ, что Т. сюда не ѣдетъ, а собирается замужъ. Неужели она сдѣлаетъ такую ужасную глупость! Въ ея лѣта, еле увидя уголокъ жизни, она спѣшитъ надѣть хомутъ семейныхъ обязанностей, засупонить себя хозяйственными заботами и начнетъ обогащать родину статистическими единицами! Ко всему этому—неизбѣжныя сцены супружеской ревности, неизбѣжная реакція полу-преступнаго кокетства... да это адъ какой-то, изъ котораго слишкомъ часто прыгаютъ въ самоубійство. Ея отецъ поступаетъ непозволительно, не уговаривая ее повременить съ такимъ вздорнымъ рѣшеніемъ. Хуже всего, что въ ея лѣта брачныя послѣдствія обыкновенно отзываются пагубно на орга-

низмѣ. Слишкомъ молодыя матери не только очень скоро дряхлѣютъ и старятся, какъ сморчки, но и наживаютъ болѣзни, чрезвычайно выгодныя для женскихъ врачей. Рѣшительно не понимаю ея фантазіи! А еще умница! Что же послѣ этого остается дѣлать неумнымъ?

„Ну, раскудахтался. Пошелъ“... скажешь ты. Довольно морали и переходимъ къ фактической сторонѣ „дѣла“.

Я съ С. въ Москвѣ, а Мари на дачѣ, гдѣ и я былъ вчера. Осень у насъ чудесная: бабье лѣто во всей прелести. С., слава тебѣ Господи, вступилъ въ 5-й классъ гимназіи Креймана, выдержалъ экзамены, работалъ все лѣто и теперь ходитъ и ѣздитъ аккуратно въ классы. Въ немъ много чертъ характера Мари. Я даю ему довольно много свободы и столько же денегъ, такъ что онъ на скуку пожаловаться не можетъ.

Я сильно состарился, но здоровье мое въ это лѣто лучше прежняго, а настроеніе всегда энергичное и буйное. Всегда, впрочемъ,—преувеличеніе. Случается, что и раскиснешь, но не на долго. Иногда вдругъ томное волненіе одолѣетъ и меланхолія. Думаешь: это откуда? И оказывается: не выспался. Заснешь и пройдетъ.

Этотъ годъ—тяжелъ для насъ. Въ маѣ умерла моя дорогая сестра гр. Ольга Ивановна Сиверсъ. Я давно разучился плакать, а тутъ узналъ, что запасъ слезъ хранится еще въ усталыхъ глазахъ моихъ. И я много поплакалъ. Въ людяхъ, которыхъ мы любили и которые насъ любили умираетъ ужасно много насъ самихъ и мы опускаемъ въ могилу часть нашей жизни, невозвратно, навсегда.

Но вскорѣ волна жизни зашумѣла, закрутилась и меланхолія исчезла... Я теперь занятъ перестройкой и устройствомъ дома, флигеля, сада. Я ищу имѣніе, завожу лошадей, забочусь о комфортѣ прислуги, зачитываюсь книгами о гигіенѣ, о культурѣ розъ, тайно вздыхаю по дивнымъ цвѣтамъ. Въ Москвѣ открылся новый фазисъ моей жизни. Я собралъ въ огромныхъ витринахъ воспоминанія и коллекціи, накопившіяся за цѣлую жизнь. Библіотека моя

каталогируется. Два письмоводителя и четыре помощника постоянно работаютъ со мною. И я доживаю свой вѣкъ не на спокоѣ, но безъ скуки, безъ сожалѣнія—и хотѣлъ бы умереть бодро и просто, не придавая этому и въ самомъ дѣлѣ неважному обстоятельству никакой особенной важности. Но пока что, а въ жизни есть много хорошаго и я люблю жизнь. Къ чему всѣ эти разглагольствованія? Смѣшно. Но ты, надѣюсь, истребляешь эти письма. Пиши же. Да пришли твои стихи. Что это Таня! недопросишься.

Твой престарѣлый другъ А. У.

XIV.

11 сент. 1891.
2 ч. утра.

Милая Таня!

Я получилъ твои три письма: красное, отпечатанное и тетрадку. Первое меня очень порадовало своей шаловливой игривостью. Второе я прочелъ съ интересомъ и нахожу, что въ стихотворной техникѣ ты сдѣлала успѣхи, а третье я нашелъ наиболѣе интереснымъ и характернымъ...

Я пишу тебѣ по возвращеніи изъ клуба, гдѣ видѣлъ молодого Г., передавшаго мнѣ отъ тебя привѣтъ. Я порядкомъ усталъ и жизнь у меня теперь идетъ на всѣхъ парахъ. Завтра мнѣ нужно ѣхать въ Петербургъ. 21 сентября хотѣлось бы отпраздновать здѣсь въ маленькомъ кружкѣ 25-тилѣтіе моей адвокатской дѣятельности, хотя такіе юбилеи всегда имѣютъ непріятный характеръ, не то memento mori, не то, „нашъ маститый“. Затѣмъ я долженъ спѣшить въ Парижъ, гдѣ я 9-го октября защищаю въ Tribunal correctionnel литератора Léon Bloy, моего давнишняго знакомаго, по обвиненію въ диффамаціи романиста Péladan. 17-го же октября у меня здѣсь большое уголовное дѣло. И вотъ у меня на душѣ загодя скопляется скука и утомленіе: влѣзаніе въ попыхахъ въ вагоны, грассеирующіе вопли нѣмецкихъ кондукторовъ, безсонныя ночи, толчки и подозрительное зловоніе вагоновъ... охъ! и опа-

сенія, что здѣсь назначатъ дѣла. Суета жизни неизбѣжна, но какая глупость добровольно, ради авантюры, самому создавать ее! И ничего-то я не успѣваю сдѣлать. Книга о Флоберѣ не подвигается. Писать ничего не пишу, чортъ знаетъ что такое! Даже мечтать могу только съ просонья. До свиданія, милая Таня.

Твой старый чортъ А. У.

XV.

24 сент. 1891.

Милая Таня, твои письма никогда не могутъ мнѣ наскучить. Это слово ты зачеркни навсегда изъ твоего лексикона. Что бы ты ни писала мнѣ, оно всегда прочтется съ интересомъ, и чѣмъ больше ты будешь писать, тѣмъ яснѣе выступитъ твой дѣйствительный внутренній образъ. Откровеніе живой души, хотя бы и въ сумеркахъ письма, всегда вызываетъ взаимность. Можетъ быть эти письма и для тебя самой не безполезны: только тогда мы узнаемъ самихъ себя, когда высказываемся: на бумагѣ ли, въ пѣснѣ или вещи. Иначе мы всегда кажемся самимъ себѣ или больше или меньше дѣйствительности. Питаясь иллюзіями, наше самолюбіе то рисуетъ съ насъ слишкомъ романтическіе портреты, то мажетъ гротески и каррикатуры.

Описаніе твоей прогулки и черты разсѣянныя въ письмѣ— о житьѣ бытьѣ дома у тетушки — все это вышло живо. Выборъ характерныхъ фактовъ, конечно, не всегда возможенъ при быстрой черновой работѣ письма: обыкновенно мы пишемъ что попало. Иногда выйдетъ удачно: фактъ выдастся типическій, содержащій много интересныхъ черточекъ, наприм. у тебя „чтеніе письма“ причемъ мнѣ не понравилась банальность „ослѣпительные зубы“. Хороша дама и эпизодъ молока, а также дѣвочка... не хорошъ домъ, который „зашелъ“ (?). Иногда фактъ выходитъ блѣднѣе. Характерные факты ты всегда замѣтишь по своей врожденной даровитости, но наблюдательность можно развить упражненіемъ и этюдами. Вотъ почему мнѣ о

пріятно было прочесть очеркъ прогулки. Въ этомъ родѣ ты можешь сдѣлать цѣнные очерки Кіева, только поменьше размышленій: пусть образы возбуждаютъ размышленія читателя. Попробуй описать очень подробно какую-нибудь живую фигуру, потомъ рѣчи, но все вмѣстѣ, въ перемежку и безжалостно уничтожай слѣды литературныхъ заимствованій: хоть плохое, да свое! заставь меня слышать особенныя интонаціи, видѣть при этомъ жестъ, вникнуть въ душевный механизмъ лица.*) Лучшимъ образцомъ послужитъ тебѣ Madame Bovary и еще лучше l'Education sentimentale. Я убѣжденъ, что при врожденной талантливости и охотѣ, тебѣ недостаетъ только правильной методы и выработки вкуса: а ты можешь быть писательницей и непремѣнно въ прозѣ. Стихи—только гимнастика слога.

Однако, довольно наставленій. Лучше просьба: пиши, какъ знаешь. Мои совѣты будутъ дѣйствовать на тебя незамѣтно и безсознательно для тебя самой. Они подѣйствуютъ невольно. Еще два слова: не бойся описывать некрасивое, дурное—это необходимо для контраста.

Ты, однако, другъ мой, ничего не пишешь о своихъ планахъ, а они меня занимаютъ не менѣе остального.

Я въ Кіевъ пріѣхать не могу и буду просить А. С. Гольденвейзеръ замѣнить меня въ Палатѣ: дѣло не причинитъ ему хлопотъ. Оно очень просто. Я, кажется, давно писалъ тебѣ, что ѣду въ Парижъ—защищать знакомаго литератора, богатаго стилиста, но бѣднаго по части финансовъ. Это дикая фантазія была бы непростительною дерзостью съ моей стороны если бы не усиленныя его просьбы, маловажность дѣла и необходимость, во всякомъ случаѣ поѣздки моей въ Парижъ изъ Висбадена. Теперь я весь погруженъ въ католическихъ романтиковъ. Здѣсь я скромно отпраздновалъ 25-ти лѣтіе дня, когда я при дѣдушкѣ твоемъ, незабвенномъ и миломъ Петрѣ Михайловичѣ, (который живетъ въ мамѣ, въ тетѣ С., въ Г. и въ тебѣ) дебютировалъ

*) Просмотри въ оригиналѣ Guy de Maupassant: что хочешь.

на поприщѣ торговли аргументами, причемъ товаръ свой зачастую отдавалъ даромъ. Всетаки, иногда приносилъ и пользу и всегда безъ счету тратилъ сокъ своихъ нервовъ. До скораго свиданія хоть на бумагѣ, не правда-ли, милая Таня? Твой старый другъ А. Урусовъ.

Письмо И. Тэна*).

Paris, 23 rue Cassette 6, 9bre 1890.

Monsieur,

La date de ma première rencontre avec Flaubert est indiquée par celle de Salambo; il m'envoya son livre qui venait de paraître, et j'allai aussitôt lui faire visite dans son appartement du Boulevard du Temple. Nous nous liâmes tout de suite; peu de temps après aux dîners St-Beuve chez Magny, nous nous retrouvions tous les quinze jours. Ensuite, dans son petit appartement de la rue Murillo, nous avons eu souvent des tête-à-tête de trois ou quatre heures; parfois Ivan Tourguenef était en tiers, et nous causions à fond.

Mes correspondences n'étant pas classées, je ne puis retrouver la letre sur Mme Bovary que j'ai citée dans l'Intelligence; mais je puis dire presque avec cerbitude

---

Парижъ, 23 ул. Кассетъ.
6 ноября 1890.

М. Г.

*) Время моего перваго знакомства съ Флоберомъ опредѣляется временемъ появленія Саламбо; онъ послалъ мнѣ свою книгу, какъ только она вышла, и я тотчасъ же пошелъ къ нему съ визитомъ въ квартиру его, на Тампльскомъ бульварѣ. Мы тутъ же сблизились; нѣкоторое время спустя, на обѣдахъ С-тъ-Бева у Маньи, мы встрѣчались съ нимъ каждыя двѣ недѣли. А затѣмъ, въ его небольшой квартирѣ, въ ул. Мурильо, у насъ часто бывали свиданія съ глазу на глазъ по три, четыре часа; иногда третьимъ тутъ бывалъ Иванъ Тургеневъ, и мы бесѣдовали основательно.

Такъ какъ переписка моя не разобрана, то я и не могу разыскать того письма о мадамъ Бовари, которое я цитировалъ въ (книгѣ моей) „Объ

qu'elle est de 1867; à cette date je commençais les chapitres où elle est inserée, et je posais par écrit des questions à mes amis, médecins ou artistes.

Parmi les oeuvres de Flaubert, je préfère Mme Bovary et les Trois Contes; le talent et le travail sont égaux dans les autres oeuvres, mais la matière était moins commode et la conception totale moins heureuse, du moins à mon avis.

Flaubert est un de cinq ou six hommes que j'ai le plus estimé et aimé; voilà pourqui j'avais quelque pudeur à écrire sur lui: on ne dissèque pas, même pour l'admirer, un ami intime.

Agréez Monsieur les assurances de la considération et de la sympatie avec laquelle je suis votre tout dévoué

H. Taine.

Умѣ"; но я могу почти съ достовѣрностью сказать, что оно написано въ 1867 году; объ эту пору я началъ писать тѣ главы, въ которыхъ оно помѣщено, и обратился съ письменными вопросами къ друзьямъ моимъ, врачамъ и художникамъ.

Изъ произведеній Флобера я предпочитаю „М-мъ Бовари" и „Три Сказки"; талантъ и трудъ — тѣ же и въ другихъ вещахъ, но матеріалъ былъ менѣе удобенъ и общій замыселъ менѣе удаченъ, по крайней мѣрѣ, такъ я думаю.

Флоберъ — одинъ изъ пяти или шести человѣкъ, которыхъ я больше всего уважалъ и любилъ. Вотъ почему мнѣ нѣсколько неловко было бы писать о немъ: нельзя производить вскрытія близкаго друга, даже съ цѣлью преклоненія передъ нимъ.

Примите увѣреніе въ уваженіи и симпатіи, съ которыми остаюсь преданный Вамъ И. Тэнъ.

Воспоминанія

о князѣ Александрѣ Ивановичѣ Урусовѣ.

(Письмо къ редактору).

М. Г. Я нѣсколько затрудняюсь исполнить Ваше желаніе — сообщить Вамъ мои воспоминанія о покойномъ князѣ Александрѣ Ивановичѣ Урусовѣ. Они слишкомъ отрывочны и не представляютъ чего нибудь цѣльнаго, въ виду того, что между періодами нашихъ встрѣчъ бывали большіе перерывы. Въ сущности, наиболѣе яркіе слѣды въ моей памяти оставилъ Урусовъ первыми днями его адвокатской дѣятельности и предсмертными своими письмами. Человѣкъ живой по чувству и уму, отзывчивый и чуткій, многосторонній и тонкій въ пониманіи людей и отношеній, Урусовъ провелъ жизнь, исполненную содержанія, которая должна быть особенно интересна въ своемъ *послѣдовательномъ* развитіи и видоизмѣненіи. Изъ обзора цѣлой жизни, изъ воспоминаній о всѣхъ ея періодахъ могло бы выйти цѣлостное представленіе о человѣкѣ. Я же могу Вамъ сообщить лишь отрывочныя данныя, не лишенныя притомъ субъективнаго освѣщенія, такъ какъ мои воспоминанія объ Урусовѣ нерѣдко связаны съ воспоминаніями о томъ, что было лично пережито мною.

Я не помню Александра Ивановича въ университетѣ. Между нами былъ годъ разницы, и мнѣ его не приходилось встрѣчать. Въ январѣ 1867 года я былъ назначенъ секретаремъ прокурора Московской судебной палаты Ро-

винскаго и, впервые, отъ судебной молодежи услышалъ про Урусова, какъ про одного изъ защитниковъ по дѣлу Розенштейна и Цаплина, обвинявшихся въ сбытѣ мѣдныхъ опилокъ за золотой песокъ. Вскорѣ я увидѣлъ его самого. Онъ приходилъ къ Ровинскому просить предоставленія ему должности судебнаго слѣдователя въ захолустномъ городѣ Меленкахъ, Владимірской губерніи. Ровинскій находилъ однако, что Урусова, въ виду его молодости и недостаточной опытности, невозможно назначить на просимую должность и считалъ, что ему надо еще попрактиковаться и подождать.

Такъ Урусовъ и продолжалъ тянуть свою кандидатскую лямку, пока въ одинъ прекрасный день въ февралѣ или мартѣ 1867 года, ему не пришлось быть назначеннымъ защищать крестьянку Мавру Волохову, обвинявшуюся, на основаніи косвенныхъ уликъ, въ убійствѣ мужа, разрѣзанное на куски тѣло котораго затѣмъ было брошено въ колодецъ. Я былъ въ засѣданіи по этому дѣлу и видѣлъ, какъ эта лямка кандидатской службы, которую былъ обреченъ тянуть Урусовъ, сразу преобразилась въ побѣдный лавровый вѣнокъ. Не смотря на сильное обвиненіе, на искусно сопоставленныя улики и на трудность иного объясненія убійства, чѣмъ то, которое давалось въ обвинительномъ актѣ, Урусовъ восторжествовалъ на всѣхъ пунктахъ. Нѣтъ сомнѣнія, что ему приходилось во время его долгой адвокатской карьеры говорить рѣчи, не менѣе удачныя и, быть можетъ, гораздо болѣе обработанныя. Но, конечно, никогда не производилъ онъ своимъ чарующимъ голосомъ, изящной простотою рѣчи, искренностью тона и силою критическаго анализа уликъ болѣе сильнаго впечатлѣнія. Имъ овладѣло вдохновеніе судебной борьбы, развитое и обостренное глубокимъ убѣжденіемъ въ правотѣ дѣла. Это слышалось, это чувствовалось. Умное, но некрасивое лицо его, съ широкимъ носомъ, засвѣтилось внутреннею красотою, а сознаніе своей силы и вліянія на слушателей окрылило Урусова и рѣчь его летѣла, ширясь, развиваясь и блистая яркими вспышками находчивости и

остроумія. Когда онъ кончилъ и судъ объявилъ перерывъ, публика довольно долго сидѣла тихо и молчаливо, какъ будто зачарованная. Прокуроръ не возражалъ, предсѣдательское слово было кратко, и присяжные недолго совѣщались, чтобы произнести оправдательный приговоръ. Когда подсудимая была объявлена свободной, публика дала волю своему восторгу. Волохову окружили, давали ей деньги, поздравляли. На Урусова сыпались ласковыя слова, привѣты, къ нему протягивались руки, искавшія его рукопожатія, и я самъ видѣлъ простыхъ людей, цѣловавшихъ его руку. Вчерашній скромный аспирантъ на должность слѣдователя въ медвѣжьемъ уголкѣ съ ея разъѣздами, ночевками въ волостныхъ правленіяхъ или у станового, съ ея невидимой кропотливой работой и однообразіемъ, со вскрытіями и осмотрами, не глядя ни на какую погоду, — сразу занялъ выдающееся — и на долго первое въ Москвѣ — мѣсто въ передовыхъ рядахъ русской адвокатуры, которая праздновала тогда свой медовый мѣсяцъ.

Мнѣ приходилось присутствовать не разъ при проявленіяхъ восторга слушателей, увлеченныхъ рѣчью оратора, но обыкновенно такое настроеніе являлось непосредственно вслѣдъ за окончаніемъ рѣчи, подъ первымъ впечатлѣніемъ. Такъ было, напримѣръ, послѣ рѣчи П. Я. Александрова въ дѣлѣ Засуличъ. Такъ было при Пушкинскихъ празднествахъ въ Москвѣ въ 1881 году послѣ знаменитой рѣчи Достоевскаго въ Обществѣ любителей россійской словесности. Въ этихъ случаяхъ конецъ рѣчи разряжалъ электричество настроенія и оно выражалось шумными знаками одобренія, восклицаніями радости и слезами. Но рѣчь Урусова по дѣлу Волоховой имѣла другой характеръ, она уподобилась звукамъ индійскаго гонга, которые ростутъ и усиливаются по мѣрѣ того, какъ расширяется объемъ ихъ волнообразнаго движенія. Впечатлѣніе отъ нея, вызываемыя ею мысли о невиновности подсудимой и страстное желаніе ея оправданія, наростали все болѣе и болѣе во

ремя судебной процедуры, слѣдовавшей за рѣчью, и накоплялись, какъ электрическій зарядъ въ огромной Лейденской банкѣ. Слова: „нѣтъ, не виновна!“ — разрядили эту банку въ одномъ общемъ взрывѣ восторга и умиленія. На другой день весь городъ говорилъ объ успѣхѣ Урусова и основаніе его славы было положено.

Дѣла одно другого интереснѣе посыпались, какъ изъ рога изобилія — и Урусовъ сталъ часто выѣзжать въ провинцію для уголовныхъ защитъ. Изъ московскихъ его дѣлъ въ первые мѣсяцы его дѣятельности мнѣ осталось памятнымъ дѣло о сопротивленіи и противодѣйствіи властямъ, по которому обвинялся кондитеръ Морозкинъ, не хотѣвшій допустить полицейскихъ чиновъ къ осмотру торговаго помѣщенія, который онъ считалъ не согласнымъ съ закономъ. Дѣло, въ сущности, сводилось къ оскорбленію на словахъ, но ему почему-то была предана суровая окраска и значеніе „признака времени“, будто бы состоявшаго въ колебаніи авторитета власти. Урусовъ необыкновенно искусно воспользовался присущимъ ему юморомъ, — подъ мягкимъ по формѣ прикосновеніемъ котораго иногда чувствовалось острое жало, — чтобы обратитъ въ шутку грозныя очертанія обвиненія противъ Морозкина. Сказавъ въ самомъ приступѣ въ своей рѣчи: „господа присяжные! Такого-то числа въ Москвѣ случилось необыкновенное происшествіе: кондитеръ Морозкинъ арестовалъ почти всю московскую полицію!“ и т. д. онъ продолжалъ все въ томъ-же строго выдержанномъ тонѣ и „l'accusation croûla malgré l'appoint du président“, какъ было-бы сказано во французскихъ судебныхъ отчетахъ. „L' appoint du président“ встрѣчался въ это время впрочемъ очень рѣдко. Въ большинствѣ случаевъ судьи относились съ особымъ вниманіемъ къ рѣчамъ Урусова и признавали, что талантъ имѣетъ право иногда расправить свои крылья за предѣлы условныхъ и формальныхъ рамокъ. Поэтому, — за исключеніемъ случая, когда безтактный товарищъ предсѣдателя, прославившійся столкновеніями съ секретаремъ и нелѣпыми угрозами малолѣтней свидѣтель-

ницѣ, пригрозилъ Урусову удаленіемъ его изъ залы засѣданія, — послѣдній всегда могъ сказать словами старинной французской судебной поговорки: „qu'il a l'oreille du tribunal“. Особенно сочувственно относился къ нему прекрасный человѣкъ и судья — товарищъ предсѣдателя окружного суда — Щепкинъ, умѣвшій нѣжно цѣнить замѣчательный даръ и образованіе молодого адвоката.

Надо замѣтить, что Урусовъ, благодаря своему воспитанію эстетическимъ наклонностямъ, выгодно отличался отъ многихъ изъ своихъ товарищей. Во главѣ московской адвокатуры стоялъ всѣми уважаемый, знающій и опытный М. И. Доброхотовъ. Въ ея рядахъ свѣтился тихимъ примирительнымъ свѣтомъ глубоко-ученый и благородный Я. И. Любимцевъ и начиналъ блистать своимъ неподражаемымъ словомъ Ѳ. Н. Плевако. Были и другіе почтенные и способные дѣятели, но весьма большую практику имѣли также лучшіе изъ дѣльцовъ старыхъ судовъ. На нихъ новая дѣятельность съ ея осязательными успѣхами и съ богатымъ вознагражденіемъ дѣйствовала нѣсколько опьяняющимъ образомъ, вызывая приподнятое настроеніе, выражавшееся въ пирахъ и развлеченіяхъ, сопутствовавшихъ громкимъ дѣламъ. Мнѣ помнится, что по одному изъ такихъ дѣлъ, одинъ изъ выдающихся защитниковъ того времени, человѣкъ знающій и даровитый, хотя и очень вульгарный въ своихъ рѣчахъ, съ наивной откровенностью разсказывалъ, что нѣсколько дней кутилъ съ оправданнымъ имъ купцомъ, на счетъ послѣдняго, какъ о томъ было договорено заранѣе. Урусовъ стоялъ совершенно въ сторонѣ отъ кружка такихъ покладистыхъ защитниковъ, оставаясь всегда тѣмъ, что англичане называютъ „a perfect gentleman“, погружаясь съ упоеніемъ во всѣ свободныя минуты въ чтеніе литературныхъ произведеній, которыя онъ умѣлъ истолковывать съ чрезвычайнымъ вкусомъ и пониманіемъ. Огромный заработокъ измѣнилъ его матеріальное положеніе, а всероссійская извѣстность наполняла его нескрываемой радостью. Но ни то, ни другое

не измѣнили ни его милой простоты, ни его утонченной вѣжливости свѣтскаго человѣка. Онъ сохранилъ деликатное умѣнье широко ощущать „радость жизни“, не внося этимъ диссонанса въ скромную и нерадостную жизнь другихъ. Такимъ именно я помню его въ моей меблированной комнаткѣ въ Кисельномъ переулкѣ предъ разлукой на много лѣтъ, незадолго до моего переѣзда въ Харьковъ. Урусовъ опоздалъ меня увидѣть въ канцеляріи прокурора Палаты и пріѣхалъ ко мнѣ на домъ, по дорогѣ на званный обѣдъ. Мы уже прощались, когда разговоръ коснулся Эдгара Поэ, которымъ онъ увлекался также, какъ впослѣдствіи Флоберомъ. Въ пальто моего гостя оказался томикъ этого автора въ переводѣ Боделера и онъ присѣлъ, что бы прочесть мнѣ нѣсколько строкъ, но такъ увлекся, что чтеніе (онъ превосходно говорилъ и читалъ по французски) затянулось часа на два. Званный обѣдъ былъ пропущенъ и Урусовъ, восхищенный удивительной манерой и образами геніальнаго американца и заразившій этимъ восхищеніемъ и меня, весело раздѣлилъ мою скромную трапезу „отъ хозяевъ“.

Мы встрѣтились затѣмъ черезъ четыре съ половиной года въ Петербургѣ, куда я пріѣхалъ прокуроромъ Окружнаго Суда и гдѣ онъ игралъ въ это время видную роль въ блестящей плеядѣ защитниковъ по извѣстному Нечаевскому процессу. За этотъ промежутокъ времени я мало слѣдилъ за его дѣятельностью, но не могъ не остановиться съ особеннымъ вниманіемъ на его защитительной рѣчи въ Рязанскомъ Окружномъ Судѣ по дѣлу Кострубо-Корицкаго и Дмитріевой, обвиняемыхъ въ дѣтоубійствѣ, причемъ онъ встрѣтилъ себѣ достойнаго и равносильнаго противника въ Ѳ. Н. Плевако. Здѣсь талантъ его достигъ своего полнаго развитія и въ немъ появилось не бывшее прежде свойство — горячій и неподдѣльный пафосъ. Въ концѣ его рѣчи съ призывомъ присяжныхъ „согнуть выю“ человѣка, развратившаго и погубившаго подсудимую и на судѣ все валившаго на нее, „подъ суровое ярмо закона“ послышался

будущій талантливый обвинитель. Къ этому же времени относится рядъ его выдающихся защитъ. Такова рѣчь въ Петербургѣ по дѣлу Александра Левицкаго, обвиняемаго въ самыхъ разнообразныхъ преступленіяхъ, въ которой содержался превосходный очеркъ значенія судебныхъ преній предъ присяжными, тонкій анализъ, „самаго драгоцѣннаго дара, приносимаго защитой уголовному правосудію —сознанія и раскаянія подсудимаго“ и характеристика того уваженія къ обогатившемуся человѣку „которое зачастую дается въ средѣ, не воспитавшей въ себѣ политической нравственности, подъ вліяніемъ полной внутренней солидарности“. Такова рѣчь въ тульскомъ судѣ по дѣлу крестьянъ села Сенакова, обвиняемыхъ въ неисполненіи, по уговору, законныхъ требованій власти, — полная житейскаго юмора, благодаря которому къ горѣ грозныхъ обвиненій осталось примѣнить изрѣченіе „nascitur ridiculus mus“, — рѣчь, окончившаяся оправданіемъ всѣхъ подсудимыхъ и заявленіемъ ихъ о желаніи отслужить молебенъ за Царя, давшаго имъ „правый судъ“. Такова блестящая защита въ нижегородскомъ судѣ Аттиля (внебрачнаго сына графа Литты), обвиняемаго въ двоебрачіи, съ анализомъ душевнаго состоянія „незаконнорожденнаго“ среди лицемѣрно-нравственнаго общества и съ прекраснымъ объясненіемъ присяжнымъ содержанія понятія „не виновенъ“. Наконецъ въ этотъ періодъ своей дѣятельности кн. Урусовъ выступилъ, съ блестящимъ успѣхомъ, въ соединенномъ присутствіи I-го и гражданскаго Касс. Департаментовъ Сената, какъ повѣренный по иску объ убыткахъ, причиненныхъ его довѣрителямъ неправильными дѣйствіями московскаго полиціймейстера Поля и его подчиненныхъ. Начались также и его защиты въ военно-окружномъ судѣ, во время одной изъ которыхъ онъ сказалъ надѣлавшій шума афоризмъ: „армія безъ дисциплины — есть опасное для общества скопище вооруженныхъ людей“.

Въ Петербургѣ онъ былъ все тѣмъ же милымъ и жизнерадостнымъ человѣкомъ. Отъ него вѣяло спокойнымъ

сознаніемъ своей силы и свѣтлыми надеждами на широкую дѣятельность въ будущемъ. И вдругъ все это сразу подломилось. Едва вернувшись въ Москву изъ своей первой заграничной поѣздки, Урусовъ, — по неизвѣстнымъ мнѣ причинамъ, которыхъ впослѣдствіи въ разговорахъ онъ касался вскользь и въ неопредѣленныхъ выраженіяхъ,— былъ осенью 1872-го года высланъ въ маленькій городокъ Лифляндской губерніи, Венденъ. Въ этихъ Меленкахъ своего рода, провелъ онъ три съ половиною года безъ практики и обычной товарищеской среды. По собственному признанію, онъ много читалъ въ это время и усердно занимался математическими и физическими науками, но тоска его грызла и онъ сознавалъ, что покуда тянется медлительно и безплодно это принудительное житье вдали отъ умственныхъ центровъ, уходятъ лучшіе годы его жизни. Съ этого именно времени въ его письмахъ и разговорахъ стала звучать нота сарказма и личнаго негодованія, прежде столь мало ему свойственная. Лишь въ 1876-мъ году опала была съ него снята, но только отчасти. Назначенный товарищемъ прокурора Окружнаго Суда въ Варшаву, онъ, такъ властно дѣйствовавшій на сердца присяжныхъ, покорявшій себѣ смѣлымъ словомъ свободныхъ представителей общественной совѣсти, вынужденъ былъ дѣйствовать въ судѣ, гдѣ свидѣтели говорятъ черезъ переводчика и гдѣ присяжныхъ замѣняютъ коронные судьи, приговоръ которыхъ, постановленный подъ непосредственнымъ впечатлѣніемъ, обреченъ на выцвѣтаніе въ аппелляціонной инстанціи. Коронный Судъ, хотя и не связанный теоріей формальныхъ доказательствъ, все-таки, всегда стѣсняетъ полетъ мысли и слова сторонъ. Изъ за почтеннаго облика труженика-судьи, заваленнаго ежедневной дѣловой работой, всегда невольно виднѣется „дьякъ, въ приказахъ посѣдѣлый“ и этотъ образъ налагаетъ свою руку на вдохновеніе, на блескъ красокъ и игру ума, которые такъ дѣйствуютъ на простого обывателя, дѣлающагося въ качествѣ присяжнаго засѣдателя не просто „спокойнымъ

зрителемъ“ но воспріимчивымъ и отзывчивымъ участникомъ всего происходящаго на Судѣ. Притомъ, широкая натура и родовитое происхожденіе Урусова не легко укладывались въ дисциплинарно-іерархическія рамки служебной жизни. Онъ повидимому нерѣдко выходилъ изъ этихъ рамокъ, тѣмъ болѣе, что подъ вліяніемъ воспоминаній о своей блестящей прошлой дѣятельности и о печати молчанія, столь жестоко наложенной на его уста, онъ считалъ себя вправѣ встрѣтить бо́льшее къ себѣ вниманіе. Но мѣстное начальство ввело его въ общую колею и повидимому смотрѣло на его службу въ прокурорскомъ надзорѣ, какъ на нѣкотораго рода „переводъ въ разрядъ исправляющихся“ по уставу о ссыльныхъ. А между тѣмъ, онъ съ большимъ интересомъ отнесся къ своей новой дѣятельности, смотря на нее не какъ на прохожденіе службы, а какъ на общественное служеніе и считая въ будущемъ „наградою и отдыхомъ“ мѣсто товарища предсѣдателя Окружнаго Суда въ родной ему Москвѣ.

Онъ писалъ мнѣ 2-го марта 1877 года:

„...Я всегда съ нѣкоторою брезгливостью относился къ торгашескому элементу въ адвокатурѣ. Я искалъ въ ней идеальныя цѣли и въ этихъ поискахъ нерѣдко заблуждался и натыкался на пни или попадалъ въ дебри. Меня упрекали въ томъ, что я былъ слишкомъ надмененъ съ кліентами. И теперь, вышедши изъ сферы, гдѣ многіе торгуютъ словомъ, я какъ-то внутренно ежусь, какъ-то коробитъ меня при мысли о возвращеніи въ оную, но я не могу не признать, что государственная служба хороша или для людей обезпеченныхъ или при особо счастливыхъ условіяхъ. Будь я матеріально обезпеченъ, знай я, что могу умереть спокойно, оставивъ семьѣ безбѣдное существованіе, я съ радостью служилъ бы въ судебномъ вѣдомствѣ, медленно переходя по ступенькамъ широкой лѣстницы, гдѣ есть мѣсто всякому дарованію, и чувствовалъ бы въ душѣ то внутреннее удовлетвореніе, которое дается только общественною дѣятельностью“...

Немного позже, описывая въ письмѣ отъ 19-го марта того же года первыя дѣла, по которымъ ему приходилось выступать обвинителемъ, онъ говоритъ: .....„Пишу такъ длинно, чтобы дать Вамъ понятіе о томъ, какъ во мнѣ крѣпнетъ любовь къ дѣлу и дѣловое къ нему отношеніе. Надолго ли это и не явится ли тутъ пресыщеніе—не знаю. Но теперь я чувствую, что перевѣсъ „достоинства“ и важности защищаемыхъ интересовъ на сторонѣ государственнаго обвиненія. Оно—втрое, иногда вдесятеро труднѣе защиты, сидящей и гарцующей на легконогомъ скакунѣ „сомнѣнія“.

Работать ему приходилось вообще въ довольно необычной для него обстановкѣ. Привыкшій въ свѣтлые московскіе дни видѣть сочувственное къ себѣ отношеніе и въ обществѣ, и въ судебномъ вѣдомствѣ, онъ чувствовалъ себя двояко изолированнымъ, и какъ представитель русской власти, и какъ должностное лицо. Въ качествѣ перваго, онъ былъ предметомъ довольно непріятныхъ выходокъ. „.....Настроеніе здѣсь къ намъ—пишетъ онъ 24 апрѣля 1877 года — вообще враждебное. Писалъ-ли я Вамъ, какое анонимное письмо съ угрозами я получилъ изъ Львова? Здѣсь эти шутки—обѣщанія убійства въ большомъ ходу. Впрочемъ, если вы прочли то, что „Blue Book“ сообщаетъ изъ донесеній Stanfield'а изъ Варшавы, то удивляться враждебности нельзя.....“

Съ другой стороны, его рѣчи, чуждыя узкой націоналистической окраски, не нравились нѣкоторой части русскаго общества въ Варшавѣ и это недовольство, повидимому, отражалось и на оцѣнкѣ непосредственнымъ начальствомъ его удѣльнаго вѣса въ нѣдрахъ прокуратуры. Особенное порицаніе вызвали его заключительныя слова въ рѣчи объ убійствѣ Гирштовта, въ которыхъ онъ упомянулъ, въ виду ожидающаго подсудимаго наказанія, о ледяномъ небосклонѣ Сибири и о ясныхъ небесахъ Польши. Онъ писалъ мнѣ 18-го декабря 1877 года по поводу этой невинной и справедливой экскурсіи въ область географіи и метеорологіи:

„..... Я пришлю Вамъ оттискъ моей рѣчи по дѣлу убійства Гирштовта съ просьбою на поляхъ сдѣлать отмѣтки и не отказать въ критическихъ примѣчаніяхъ. Это, говорю искренно, было бы мнѣ дороже всего. Она возбудила самые разнообразные толки и кругомъ меня, — и во мнѣ самомъ. Корреспондентъ С.-Петербургскихъ Вѣдом. приписалъ мнѣ безсмысленную собственную элукубрацію, которая, къ ужасу моему, пошла гулять, какъ перепечатка и проникла даже въ Москву: „самое строгое наказаніе не будетъ для него достаточно строгимъ“. Я просто возопилъ, прочитавъ такую неистовую ерунду, но, питая отвращеніе къ газетной полемикѣ о себѣ, хотя бы въ видѣ поправокъ, я молча обругалъ корреспондента, котораго „величайшая глупость не кажется еще достаточно глупою“. Кажется, что польское общество, относившееся къ намъ до сихъ поръ холодно и утверждавшее, что оно по русски не понимаетъ, убѣдилось, что понимаетъ достаточно, чтобы сознать, что судебная реформа носитъ на себѣ печать примиренія. Какъ взрывъ гремучаго газа соединяетъ моментально два пая водорода съ однимъ кислорода, такъ публичность слила (надолго-ли?) публику съ судомъ. Но „ультра-русскіе“ патріоты порицали выраженіе „ясныя небеса Польши“ и находили, что антитеза „ледяного небосклона Сибири“—не патріотична. Я скромно возражалъ, что признаю свою оплошность: слѣдовало сказать: „небеса Привислинскаго края“. Но за то я отстаивалъ антитезу, ибо термометръ не имѣетъ патріотизма... Другое порицаніе вызвало слово „отчизна“.—„Отчего не сказать *сама родина*“ вопрошалъ патріотъ. Я объяснилъ, что „с'мародина“ выходитъ не хорошо“.

Еще ранѣе пришлось ему вызвать неудовольствіе начальства вслѣдствіе „неумѣренныхъ“ просьбъ объ отпускахъ, причемъ просимый имъ отпускъ за границу для лѣченія не былъ ему разрѣшенъ и представленное имъ медицинское свидѣтельство возвращено ему обратно. „...Какъ на зло,—пишетъ онъ 19 іюня 1877 года—въ ночь съ 17

на 18 іюня у меня сдѣлался сильный припадокъ невральгіи и я прокричалъ полсутокъ, несмотря на хлоралъ и впрыскиванія морфія. Не знаю, отъ умиротворяющаго ли вліянія наркотиковъ—или отъ жары—но я не умѣю выразить всего негодованія, возбуждаемаго во мнѣ начальническимъ отношеніемъ ко мнѣ „отцовъ-командировъ“! Я въ ихъ глазахъ не болѣе, какъ „подчиненный“, которому и болѣть-то не позволяется, не говоря уже о леченіи. Не напоминаетъ ли это г-жу Простакову: „бредитъ? какъ смѣетъ бредить?—точно благородная!“ Что же мнѣ остается дѣлать?“...

Можно бы подумать, что такое суровое отношеніе къ талантливому человѣку, не по собственному желанію вытащенному изъ той стихіи, гдѣ онъ плавалъ, какъ рыба въ водѣ въ роли защитника, на непріютный берегъ прокуратуры, вызывалось желаніемъ использовать этотъ талантъ въ возможно большемъ рядѣ особо-важныхъ дѣлъ. Но, въ іюлѣ 1877 года онъ уже начинаетъ чувствовать, что его не цѣнятъ и пишетъ: „...Здѣсь мнѣ рѣшительно дѣлать нечего. Обвинять по дѣламъ о покушеніяхъ на кражу со взломомъ и давать заключенія о присвоеніи неизвѣстно кому принадлежащихъ пѣтуховъ, о неявкѣ къ врачебно-полицейскому осмотру и т. п.?—и скучно, и противно“. А 12-го ноября того-же года онъ подводитъ грустный итогъ своему положенію въ Варшавѣ. „...Одиночество, Вы знаете, невольно располагаетъ къ размышленіямъ и окрашиваетъ ихъ сообразно тѣмъ условіямъ, среди которыхъ слагается жизнь. Мои размышленія приняли въ послѣднее время тѣмъ болѣе меланхолическій оттѣнокъ, что условія моей жизни могутъ быть формулированы словами: болѣзнь, бездомность, порабощеніе способностей и — нужда. О будущности своей семьи я уже стараюсь не думать, благодаря тому удивительному легкомыслію, съ которымъ мы, какъ говоритъ де-Местръ, считаемъ чужую смерть явленіемъ понятнымъ и обыкновеннымъ, а свою — какимъ-то невѣроятнымъ событіемъ... ...Но можетъ-быть Вамъ пока-

залось преувеличеннымъ выраженіе моей пессимистической формулы: порабощеніе способностей. Можетъ-быть слѣдовало замѣнить ее болѣе мягкимъ выраженіемъ „субалтернатъ?“ Но въ сущности это выйдетъ одно и то же: не одинаково ли безотрадно мое положеніе какъ въ матеріальномъ, такъ и въ нравственномъ отношеніи? Я служу здѣсь полтора года. Въ теченіе этого времени мнѣ поручено счетомъ два крупныхъ дѣла и оба я провелъ недурно. Но что же? Меня съ тѣхъ поръ систематически ставятъ на послѣдній планъ. Крупныя обвиненія меня обходятъ и нельзя сказать, чтобы интересы прокуратуры, поставленные лицомъ къ лицу съ даровитыми адвокатами, особенно отъ этого выигрывали. Мои способности судебнаго обвинителя вызываютъ лишь закулисное недоброжелательство и при отсутствіи свободы въ выборѣ и направленіи выдающихся дѣлъ, создаютъ только фальшивое положеніе, похожее на положеніе прикащика, имѣющаго капиталъ хотя и небольшой, но бо́льшій, чѣмъ у хозяина. Ни мои лѣта (мнѣ идетъ 35-й годъ), ни моя десятилѣтняя судебная практика, ни мое бывшее положеніе, ни мой характеръ не даютъ мнѣ возможности быть въ подчиненіи у юношей, можетъ быть, и весьма симпатичныхъ, какъ товарищей, но не могущихъ понять, что я едва-ли гожусь кому-либо изъ нихъ въ подчиненные“...

Въ 1879 году состоялся, не безъ затрудненій, переводъ князя Урусова въ Петербургъ, на ту же должность. Здѣсь условія его дѣятельности измѣнились къ лучшему. Онъ нашелъ среду цѣнящую его и не ставящую ему, въ смыслѣ маленькихъ профессіональныхъ упущеній „всякое лыко въ строку“. Въ этой средѣ были его соратники конца шестидесятыхъ и начала семидесятыхъ годовъ. Съ ними онъ могъ вспоминать „минувшіе дни и битвы, гдѣ вмѣстѣ рубились они“. Въ ней были и служилые люди, цѣнившіе его широкое образованіе и радовавшіеся возможности дать ему случаи проявлять его талантъ и избавить его отъ необходимости восклицать, подобно Мирабо: „Mon Dieu! Don-

nez-moi la médiocrité!“ Въ Петербургѣ онъ нашелъ старыхъ пріятелей, артистическіе и художественные кружки, къ участію въ которыхъ всегда былъ склоненъ, — и, наконецъ, снова предсталъ предъ присяжныхъ засѣдателей. Первые его шаги предъ ними, въ качествѣ обвинителя, были блистательны. Онъ не былъ, по природѣ, художникомъ, подобно Спасовичу или Плевако,—и изъ его рѣчей, какъ адвокатскихъ, такъ и прокурорскихъ не приходилось выносить яркихъ образовъ, указывающихъ путь мышленію или отбрасывающихъ на этотъ путь свою тѣнь. Но строго логическій и систематическій умъ его былъ одинаково силенъ и въ анализѣ, и въ синтезѣ разбираемыхъ явленій. Умѣнье подмѣтить и очертить спеціальныя особенности тѣхъ или другихъ житейскихъ данныхъ соединялось у него со способностью къ широкимъ обобщеніямъ, сдѣланнымъ сочною и смѣлою кистью или выработаннымъ въ яркихъ и остроумныхъ афоризмахъ, на которые онъ былъ большой мастеръ. Годы безплоднаго „грызенья удилъ“ взяли свое: въ рѣчахъ его было меньше блеску и внутренняго подъема, заразительно дѣйствовавшихъ на слушателей въ первые годы его дѣятельности, но было больше глубины и отдѣлки въ подробностяхъ. Мнѣ пришлось предсѣдательствовать почти по всѣмъ большимъ дѣламъ, гдѣ онъ выступалъ какъ обвинитель, вступая въ состязаніе съ крупными величинами Петербургской адвокатуры—и почти всегда выходя побѣдителемъ. Таковы были, напримѣръ, дѣло—Гулакъ-Артемовской, обвинявшейся въ поддѣлкѣ векселей,—дѣло Юханцева, обвинявшагося въ двухмилліонной растратѣ по кассѣ Общества взаимнаго поземельнаго кредита и др.

Слушать его было истиннымъ наслажденіемъ. Его крупная фигура, превосходная дикція и необыкновенно симпатичный голосъ приковывали къ себѣ вниманіе по цѣлымъ часамъ. Онъ начиналъ, обыкновенно, съ краткой характеристики дѣла, его значенія и условій его возникновенія, обрисовывалъ бытовой и общественный смыслъ отношеній, вылившихся въ форму разсматриваемаго пре-

ступленія и намѣчалъ, точно и увѣренно, путь, по которому пойдетъ обвиненіе. Затѣмъ онъ размѣщалъ свои доказательства по широкой периферіи и по мѣрѣ разсмотрѣнія ихъ начиналъ съужать ее, образуя концентрическіе круги, пока не подходилъ къ центру, гдѣ снова, какъ уже доказанный, повторялъ мотивъ, взятый вначалѣ. Онъ любилъ составлять схематическія таблицы доказательствъ, въ порядкѣ постепенности, отъ частнаго къ общему. Его правовое развитіе очень подвинулось впередъ за время его службы—и рядъ уваженныхъ Сенатомъ протестовъ его по вопросамъ уголовной квалификаціи служитъ лучшимъ тому свидѣтельствомъ. Но въ знаніи процесса онъ былъ гораздо слабѣе. Его стѣсняла мелочная и условная сторона судопроизводственныхъ правилъ и онъ относился къ нимъ подчасъ съ нетерпѣливою небрежностью. Не даромъ вспоминалъ онъ предъ смертью мое шутливое дружеское замѣчаніе по окончаніи одного громкаго уголовнаго процесса: „поменьше бы таблицъ, побольше бы Уставовъ“. Развившаяся въ немъ, во время его пребыванія со скованными устами въ прибалтійской глуши, любовь къ точнымъ наукамъ сказывалась въ постройкѣ и содержаніи многихъ его рѣчей. Въ этомъ онъ походилъ на Спасовича. Но, влагая одинаковый трудъ въ разработку матеріала для своихъ рѣчей, онъ вносилъ въ нихъ большую страстность и меньшую объективность. Поэтому онъ не былъ „говорящимъ судьею“, а борящеюся стороною, въ полномъ смыслѣ слова. Онъ самъ любилъ называть себя въ своихъ рѣчахъ—государственнымъ обвинителемъ. Его темпераментъ, его „esprit de combativité“, мѣшали ему войти въ безстрастную роль судьи, спокойно и безъ увлеченія приходящаго къ извѣстному выводу. Логика доказательствъ, ихъ генетическая связь увлекали его и оживляли его рѣчь. онъ былъ, поэтому, очень горячъ и остроуменъ въ своихъ возраженіяхъ, хотя всегда умѣлъ соблюсти чувство мѣры и порядочности въ пріемахъ. Я помню, какъ возражая защитнику, усиленно напиравшему на безвыходность де-

нежнаго положенія подсудимаго, внушавшаго ему мысль зарѣзать своего спутника, Урусовъ вдругъ, въ разгарѣ рѣчи, остановился и оборвавъ свои соображенія, замолкъ въ какомъ-то колебаніи—и перешелъ къ другой сторонѣ дѣла. Во время перерыва засѣданія, на мой вопросъ о томъ, что значила эта внезапная пауза? не почувствовалъ ли онъ себя дурно?—онъ отвѣчалъ;—„нѣтъ! не то,—но мнѣ вдругъ чрезвычайно захотѣлось сказать, что я совершенно согласенъ съ защитникомъ въ томъ, что подсудимому деньги были нужны до зарѣзу,—и я не сразу справился съ собою, что бы не допустить себя до этой неумѣстной игры словъ“...

Въ Петербургѣ личная жизнь Урусова сложилась довольно удачно. Онъ много бывалъ въ обществѣ, куда вносилъ, вмѣстѣ съ разумнымъ оживленіемъ, умственный интересъ къ серьезнымъ вопросамъ общественной жизни, разрѣшаемымъ имъ всегда самостоятельно, а нерѣдко и очень своеобразно. Въ немъ можно было съ первыхъ-же его словъ, даже среди мало знакомыхъ ему людей, почувствовать силу мысли и силу рѣчи. Вокругъ него образовался кружокъ артистовъ, писателей и вообще людей, не чуждыхъ интересамъ искусства. Этотъ кружокъ собирался обыкновенно по субботнимъ вечерамъ, которые протекали занимательно и содержательно, оставляя по себѣ впечатлѣніе маленькихъ духовныхъ пиршествъ, гдѣ радушный хозяинъ умѣлъ дать испытать своимъ гостямъ то, что называется „гостепріимствомъ мысли“. За скромнымъ ужиномъ просиживалось иногда далеко за полночь въ оживленной бесѣдѣ, обыкновенно заканчивавшейся чтеніемъ постоянно пополняемаго хозяиномъ сборника печатныхъ нелѣпостей и курьезовъ, въ которыхъ человѣческая глупость и самодовольство являлись въ полномъ своемъ блескѣ. „Посылаю вамъ—пишетъ онъ 6-го марта 80-го года—мой „смѣховозбудитель“ и прошу, если можно, вернуть мнѣ его къ слѣдующей субботѣ. Вчерашній вечеръ... вышелъ необыкновенно удачнымъ. Я давно не запомню, чтобы такъ много смѣялись, хотя вообще смѣхъ какъ-то исчезаетъ“. Его квартира

становилась понемногу маленькимъ музеемъ рѣдкихъ книгъ, картинъ, гравюръ, автографовъ и старинныхъ вещей. Все это собиралось съ большимъ знаніемъ дѣла и любовью, несмотря на его крайне ограниченныя въ то время средства. Онъ любовался вещами изъ своей любимой коллекціи съ радостью ребенка и тонкимъ вкусомъ цѣнителя. Я подарилъ ему какъ то настоящій японскій подносъ, привезенный мнѣ пріятелемъ-морякомъ изъ кругосвѣтнаго плаванія. „Отъ души благодарю Васъ—писалъ онъ—за прелестный подносъ. На немъ точно застылъ солнечный лучъ и та сіяющая пыль, которая играетъ въ немъ, когда онъ сквозь щель прорывается въ темную комнату. Какіе художники эти японцы! Я очень люблю восточныя вещи съ ихъ яркими цвѣтами. Отъ нихъ мнѣ веселѣе на душѣ становится... Отнынѣ подносъ этотъ дѣлается оффиціальнымъ посредникомъ между моими знакомыми и мною. О томъ, чтобы всѣ вновь прибывающія карточки поступали въ его лакированные предѣлы, отданъ надлежащій приказъ всѣмъ подлежащимъ вѣдомствамъ“.

Съ переѣздомъ въ Петербургъ Урусовъ сталъ сотрудничать по временамъ въ газетахъ, а когда, въ 1881 году былъ основанъ М. М. Стасюлевичемъ, безвременно затѣмъ скончавшійся, „Порядокъ“, онъ сталъ вести въ немъ еженедѣльную театральную хронику, въ высшей степени интересную по сообщаемымъ свѣдѣніямъ о драматической литературѣ Запада и по исторіи театра, а также по своимъ научнымъ пріемамъ художественной критики. Въ эти годы мы видались довольно часто и лѣто 1879 года провели вмѣстѣ въ Вюртембергскомъ Шварцвальдѣ, въ мѣстечкѣ Тейнахъ. Два мѣсяца, прожитые мною въ тѣсномъ сосѣдствѣ съ Урусовымъ, составляютъ одно изъ весьма пріятныхъ воспоминаній моей жизни. Возможность снова быть заграницей, сознаніе своей относительной свободы и присущая ему общительность одушевляли его и вскорѣ сдѣлали любимцемъ всего маленькаго курорта. Несмотря на признаки роковой болѣзни, мало замѣтно, но настойчиво

приближавшей его къ могилѣ и, быть можетъ, даже вопреки имъ, онъ всѣмъ своимъ существомъ наслаждался жизнью, красотой и природой. Нашъ уголокъ за общимъ обѣденнымъ столомъ, гдѣ раздавались смѣхъ, остроты и каламбуры Урусова, гдѣ импровизировались quasi-научные доклады и безобидныя пародіи на ораторскія рѣчи и поэтическія произведенія, внушалъ окружающимъ добродушную зависть. Письма, которыя писалъ мнѣ Урусовъ изъ Тейнаха по отъѣздѣ моемъ оттуда, полны юмора; жизнь такъ и брызжетъ со всѣхъ ихъ строчекъ! Къ сожалѣнію, въ виду ихъ интимнаго характера, я затрудняюсь ихъ привести здѣсь. Въ концѣ августа онъ отправился „въ мѣстечко Парижъ". „Тяготѣніе къ Парижу — писалъ онъ мнѣ 23-го августа 1879 года — начинаетъ дѣйствовать неотразимо. Хороши вы, тейнахскія феи! Но... нервы приходятъ въ какое-то вяло-мочальное настроеніе отъ однообразной пріятности. Нервы просятъ возбужденія, парижскаго асфальта, бульварнаго духа, парижскаго солнца. Жалкими кажутся мнѣ нѣмцы со всею ихъ „гемютлихкейтъ" и „геніалитетъ" при сравненіи съ умною латинскою расою. Провинціаленъ нѣмецъ и неуклюжъ, а амбицію такую въ себѣ имѣетъ, что первымъ въ мірѣ себя почитаетъ. Въ сущности — повальная посредственность. Размышленія эти навѣяны мнѣ не однимъ Тейнахомъ, но и всѣмъ моимъ долголѣтнимъ знакомствомъ, якшаніемъ и запанибратствомъ съ нашими культуртрегерами. Моя галломанія росла со мною съ пеленокъ до настоящихъ прокурорскихъ брюкъ. Я ношу ее въ себѣ. Даже Бедекера „Paris" читаю съ умиленіемъ—именно съ умиленіемъ—и восторгомъ, безъ критики и рефлексіи. Только мѣста, гдѣ повѣствуется о нѣмецкихъ побѣдахъ 1870—71 годовъ, я вымаралъ съ ожесточеніемъ, какъ посягательство варваровъ на городъ, вмѣстившій въ себѣ Римъ, Аѳины и Ерусалимъ!".

Въ Парижѣ, гдѣ мы встрѣтились снова, онъ чувствовалъ себя совсѣмъ обновленнымъ, былъ чрезвычайно оживленъ и впивалъ, если можно такъ выразиться, въ себя

Парижъ всѣми своими порами. Онъ поселился очень удобно и недорого въ скромномъ Hotel Richmond въ rue Helder и съ восторгомъ относился къ кипѣвшей вокругъ него жизни. Мы ходили вмѣстѣ въ судъ, въ музеи, на лекціи. Иногда онъ увлекалъ меня въ свою любимую поѣздку на имперіалѣ омнибуса съ одного конца Парижа на другой, при помощи пересадочныхъ билетовъ, иллюстрируя такія прогулки разсказами изъ исторіи Парижа, которую зналъ въ совершенствѣ.

Между тѣмъ, его болѣзнь дѣлала свое дѣло, ведя медленнымъ, но вѣрнымъ шагомъ его сильный организмъ къ разрушенію. Еще въ апрѣлѣ 1877 года онъ писалъ мнѣ, что невроловъ Эйленбургъ нашелъ у него начало tabes dorsalis и прописалъ, въ случаѣ продолженія болей, ferrum candens, такъ что,—прибавлялъ онъ, и заплативъ ему десять марокъ, я могъ примѣнить къ себѣ надпись на прусской патріотической медали 1813 года: „ich gab Gold für Eisen...“ По возвращеніи его изъ заграницы, боли усилились до крайности. „Я болѣю, и кричу, и лихоражу (или лихорадю—что-ли?) и морфинируюсь, и ѣмъ хлоралъ-гидратъ, и прикладываю горячіе кувшины, и бѣгаю, и лежу вродѣ безпамятства, и конвульсирую. Исхіадическій собачій сынъ нервъ болитъ адски, такъ и сводитъ всю половину тѣла. Зайдите, будьте добры,—успокойте бѣснующагося, ибо Jchiadicus sinistris—это бѣсъ почище старыхъ бѣсовъ“. Когда припадки стихали, онъ оживалъ, и только желтизна лица и увеличивающаяся послѣ каждаго раза сѣдина указывали на перенесенныя страданія, да невѣрная походка широко разставленныхъ ногъ продолжала служить показателемъ коренного недуга, носящаго звучное названіе Ataxia locomotrica progressiva...

Старыя воспоминанія, глубокое призваніе преимущественно къ дѣятельности защитника, общеніе съ петербургскими корифеями адвокатуры—манили на старый, насильственно покинутый постъ этого „обвинителя по неволѣ“, какъ онъ иногда шутливо подписывался,—а недостаточ-

ность средствъ и тѣ „одинокія размышленія“ о будущности семьи, о которыхъ онъ писалъ мнѣ еще изъ Варшавы — толкали его на этотъ путь. Препятствія къ покинутію служебнаго чистилища были, наконецъ, устранены—и въ концѣ 1881 года князь Урусовъ снова надѣлъ адвокатскій значекъ, который за десять лѣтъ передъ этимъ такъ недолго, но такъ ярко блисталъ на его груди. Новая дѣятельность всецѣло захватила его—и мы встрѣчались рѣже, тѣмъ болѣе, что я сдѣлался предсѣдателемъ гражданскаго департамента Палаты, а онъ почти не велъ исковыхъ дѣлъ. Когда онъ переселился въ Москву, мы видѣлись въ каждый мой пріѣздъ туда. Но встрѣчи эти были кратковременны и посвящались, обыкновенно, воспоминаніямъ о прошломъ или попыткамъ его — по большей части удачнымъ — обратить меня во „Флоберовскую вѣру“. Я не могу судить о характерѣ его дѣятельности за это время и не знаю, не отразились ли годы, болѣзнь и усиленная работа на свойствахъ его таланта. Тѣ немногія дѣла, по которымъ онъ выступалъ въ нашемъ уголовномъ кассаціонномъ Судѣ, не давали достаточнаго матеріала для сужденія объ этомъ. Между ними было одно, по которому я предпочелъ бы не видѣть его въ роли защитника и не давать рѣшительнаго заключенія объ оставленіи *его* жалобы на приговоръ присяжныхъ безъ послѣдствій. Это, какъ мнѣ казалось, набросило нѣкоторый оттѣнокъ отчужденности на наши старыя добрыя отношенія. Но это продолжалось недолго. Когда вышла въ 1896 г. моя книга „За послѣдніе годы“, гдѣ была помѣщена статья „Новое вино и новые мѣха“, посвященная первымъ годамъ судебной реформы, онъ прислалъ мнѣ письмо, гдѣ въ теплыхъ словахъ отзывался о временахъ нашей молодости и совмѣстной службы. Въ предпослѣдній разъ я видѣлъ его, во дворѣ его дома, въ сентябрѣ 1898 года, въ ясный осенній день. Онъ былъ полонъ плановъ объ изданіи Пушкинскаго словаря, былъ какъ то особенно бодръ и съ увлеченіемъ разсказывалъ мнѣ о своемъ хозяйствѣ въ имѣніи...

Осенью слѣдующаго года онъ пріѣхалъ въ Петербургъ и писалъ мнѣ, прося зайти къ нему въ гостинницу Пале-Рояль. Я едва удержалъ слезы и крикъ душевной боли, увидѣвъ его: до того его измѣнила, до того его состарила болѣзнь. Онъ ходилъ съ чрезвычайнымъ трудомъ, слышалъ лишь однимъ ухомъ и притомъ неясно, и то безпомощно озирался на свою преданную и заботливую жену, то пытливо вглядывался въ лицо собесѣдника, какъ будто силясь прочесть на немъ скрываемое впечатлѣніе. Зимою, прочитавъ въ одной изъ медицинскихъ газетъ замѣтку о новомъ способѣ леченія глухоты нервнаго происхожденія, я послалъ ее Урусову. Онъ мнѣ отвѣчалъ—18 февраля 1900 года,—что знаетъ объ этомъ средствѣ, но не придаетъ ему никакого значенія, а замѣтку считаетъ лишь беззастѣнчивой рекламой, облеченной въ quasi-научную форму. Вмѣстѣ съ тѣмъ, спрашивая о состояніи моего здоровья, въ томъ году сильно пошатнувшагося, онъ обращался снова къ нашему прошлому. „...Да,—писалъ онъ—мои лучшія воспоминанія связаны съ Вами: какъ Вы меня выручили у Палена, (министръ юстиціи) когда „добрый“ Т. уже махнулъ на меня рукой; какъ Вы меня поддерживали въ прокуратурѣ. Я помню всѣ Ваши слова... „Поменьше бы таблицъ, побольше бы Уставовъ“—помните? когда я въ дѣлѣ Юханцева демонстрировалъ абциссы и координаты растраты? А Тейнахъ? А помните, какъ я составилъ ликеръ изъ горькихъ травъ и угощалъ имъ знакомыхъ, которые, однако, морщились, не знаю почему, такъ какъ ликеръ былъ—или могъ быть очень хорошъ... „Симпатія—вотъ то главное, что ничѣмъ не можетъ быть замѣнено. А расходиться во мнѣніяхъ... да съ кѣмъ же этого не бываетъ? Развѣ есть возможность сходиться всегда и во всемъ? А симпатія—сила, которую не замѣнить никакими разсужденіями. Кромѣ того я, признаться, всегда въ Васъ почиталъ старшаго—не по лѣтамъ, а по серьезности жизненнаго опыта и глубокой мысли. Мое же легкомысліе Вы добродушно извиняли и до послѣдней минуты были добры ко всѣмъ намъ“.... Въ мартѣ

онъ снова прислалъ мнѣ письмо, написанное уже чужою рукою и имъ лишь подписанное. Въ немъ на ряду съ невольными стонами страданія, виднѣлся неослабѣвавшій интересъ къ явленіямъ въ области искусства и литературы и слышался юморъ, но на этотъ разъ мрачный и зловѣщій. „Мнѣ только что принесли отъ переплетчика, — писалъ онъ 21 марта, — четыре тома Словаря гравированныхъ портретовъ—Ровинскаго—и мнѣ бы чрезвычайно хотѣлось приложить къ этому цѣнному изданію автографъ Дмитрія Александровича. Не найдется ли у Васъ какая нибудь, хотя бы самая ничтожная бумажка? О своемъ здоровьѣ ничего сказать не могу: у меня его давно нѣтъ. Я кое какъ живу, переходя отъ одной формы болѣзни къ другой. Теперь съ перваго марта я лишился ногъ или вѣрнѣе потерялъ чувство равновѣсія и меня катаютъ въ креслахъ. Глухота совершенная и окончательная; не утрачена надежда на воспаленіе мозга. Пока мнѣ только что начали дѣлать впрыскиванія пилокарпина, а казнь посредствомъ трепанаціи отсрочили до мая. Прилагаю Вамъ невинную статейку своего сочиненія и собираюсь Вамъ прислать другую „Судебные протесты противъ „Воскресенія“, которая вышла въ „Новостяхъ дня“. Думаю собрать эти статьи подъ заглавіемъ „Наканунѣ трепанаціи“.

Статью, названную „невинною“ — онъ прислалъ мнѣ, однако, гораздо позже, 6 Іюня. Это было письмо въ редакцію „Міра искусства“ о памятникѣ Гоголю, исполненное блеска, остроумія и оригинальности. Свойства ума Урусова, какъ огонь погасающей лампады, вспыхнули въ немъ въ послѣдній разъ съ особой силой и яркостью. Рядъ тонкихъ замѣчаній по поводу направленія нашей „монументальной“ скульптуры въ сторону „идей утилитаризма“, разборъ достоинствъ и недостатковъ главнѣйшихъ памятниковъ и глубокіе по мысли совѣты относительно будущаго памятника Гоголю — придаютъ этой статьѣ, написанной въ мукахъ, среди наростающей болѣзненной тишины вокругъ, особое значеніе. Она служитъ лучшимъ показа-

телемъ духовной живучести Александра Ивановича.. — „Судебные протесты противъ „Воскресенія“ такъ и не дошли до меня.....

На посланный Урусову заглавный листъ „Русскихъ гравированныхъ портретовъ“, подаренныхъ мнѣ Ровинскимъ (моимъ старымъ начальникомъ по московской прокуратурѣ и сослуживцемъ по Сенату), съ его собственноручной надписью, я получилъ, отъ 7 мая, слѣдующее скорбное письмо:

„...Меня просто взволновала и растрогала добрая память Ваша: этотъ листокъ будетъ мнѣ вдвойнѣ дорогъ... Не только автографъ Ровинскаго, но и Ваше имя на немъ. Я тотчасъ же вклеилъ его въ мой словарь, роскошно, но просто облеченный въ сафьянъ... Что сказать Вамъ о себѣ? Только что уѣхалъ отъ меня (я пишу вечеромъ, въ 10 часовъ) ушной врачъ Никольскій; катетеризовалъ оба уха, продулъ и прополоскалъ ихъ. У меня опухли околоушныя шейныя железы и болятъ по ночамъ, но инфильтрата нѣтъ,—церебральныхъ явленій, повышенія температуры, опасности тоже нѣтъ. Другой докторъ, Богушъ, сейчасъ пріѣдетъ. Онъ черезъ день дѣлаетъ мнѣ подкожныя впрыскиванія пилокарпина, по $^1/_4$ грана: сегодня уже 18 впрыскиваніе, всѣхъ по предписанію Полицера (онъ написалъ мнѣ изъ Вѣны — операціи не дѣлать, а пробовать пилокарпинъ) всѣхъ будетъ 20. Пользы отъ нихъ я не вижу: глухота абсолютная, шаткость въ ногахъ—остались тѣ же. Я хожу или съ помощью поддерживающаго, или толкая передъ собою стулъ. При неосторожности, я падаю. Вотъ 2-й мѣсяцъ, какъ я не выхожу и не выѣзжаю—движеніе экипажа, тряска—невыносимы. Лошадей и экипажи я продалъ и, точно въ осажденномъ городѣ, проѣдаю ихъ. Грустить и скучать положительно некогда: сегодня одно болитъ, завтра другое, а вѣчный шумъ въ ушахъ, поддерживая иллюзію слуха, содѣйствуетъ развлеченію: точно въ аду. Я много читаю (S-te Beuve, Chateaubriand,— чудные memoires d'outre-tombe, массу журналовъ и газетъ). Пишу немножко: гонорора получилъ за полное собраніе

моихъ сочиненій 161 рубль. Жена и Саша при мнѣ. Въ саду у меня цвѣтутъ гіацинты, крокусы—чего же еще?...“

Если въ этомъ письмѣ еще теплилась кое-какая надежда на жизнь, то слѣдующее и послѣднее письмо проникнуто уже сознаніемъ близкой смерти и его невозможно читать хладнокровно. Но истерзанный, умирающій Урусовъ, остается и въ немъ вѣренъ себѣ. Въ виду отверстой могилы его не покидаетъ отзывчивость на духовную красоту, на сильную и яркую мысль, не покидаетъ даже и юморъ. Онъ встрѣчаетъ смерть „лицомъ къ лицу, какъ въ битвѣ слѣдуетъ бойцу“. Вотъ это письмо, написанное нетвердымъ почеркомъ, съ перерывами. Я опускаю изъ него трогательные вопросы о тревожившемъ его состояніи моего здоровья и почерпнутые имъ изъ опыта медицинскіе совѣты относительно сердечныхъ припадковъ.

Все еще Москва! 22 іюня 1900.

Арбатъ. Никольскій пер. 19.

Дорогой и многоуважаемый Анатолій Ѳеодоровичъ!

Сейчасъ, лежа въ постелѣ (у меня 11 дней жесточайшія мигрени — все отъ уха, и я уже 4 раза въ это время впрыскивалъ морфій. Доктора бываютъ черезъ день, а теперь и ежедневно) получилъ Ваше доброе письмо, доставившее мнѣ, какъ всегда, приливъ бодрости и удовольствія...

. . . . . .

...Мнѣ теперь опять стало такъ плохо, что не могу ни работать, ни ѣхать въ деревню. Боли съ утра и до утра, съ небольшою передышкою. Я не падаю духомъ, но можетъ быть это и есть упадокъ? Не разъ подумывалъ: „а хорошо бы все это кончить!“ Пожилъ и достаточно. Ничего хорошаго изъ остатка дней не сдѣлаю. Самъ мучусь, другимъ въ тягость. Надѣюсь на „смертіе души“ и на отдыхъ въ Нирванѣ. Да, 4 тома „Correspondance“ Флобера—одна изъ лучшихъ книгъ нашего вѣка. Герой—художникъ, простодушный геній и чистая душа, какъ горный хрусталь. Французскіе критики (Brunetière, Faguet

и др.) считаютъ его глуповатымъ, но Madame Bovary, Education, Bouvard, Contes можно перечитывать всю жизнь и не скучать. Перечитываю Montaigne. За 10 франковъ удалось купить въ Парижѣ прекрасный экземпляръ 1608 года.

. . . . . .

Вчера вынужденъ былъ прервать письмо. Всѣ эти дни я очень страдаю. Боли вынуждаютъ дикія мѣры: компрессы изъ хлороформа, которые отравляютъ вдыхаемый воздухъ, наложеніе на голову кипятку въ резиновомъ мѣшкѣ до обжога. И безсонница. Я кромѣ слуха похоронилъ еще вкусъ: ни хлѣбъ, ни клубника, ни мясо—мнѣ не вкусны и глотаю съ величайшимъ трудомъ. Остались: зрѣніе, обоняніе, осязаніе. На $^3/_5$ еще живъ, на $^2/_5$ мертвъ. И то осязаніе въ смыслѣ равновѣсія наполовину утрачено... Нѣтъ, не сочувствую Вашему желанію уйти изъ Петербурга... Да Вы со скуки умрете въ Москвѣ... Лучше Одесса, Кіевъ, Варшава. А здѣсь ни климата, ни даже библіотеки. Я бы уѣхалъ совсѣмъ за границу на Вашемъ мѣстѣ. Лишь изрѣдка заѣзжалъ бы въ гнусный Питеръ: „а! вотъ вы гдѣ голубчики!“...

Чрезъ три недѣли по полученіи мною этого письма, я прочелъ въ телеграммахъ рижскихъ нѣмецкихъ газетъ, что полные ума и жизни, выразительные глаза Урусова закрылись на вѣкъ... „Ausgelitten hast du, ausgerotten!“ хотѣлось сказать ему словами великаго поэта — и онъ предсталъ предо мною такимъ, какимъ я зналъ его во всей красѣ его только-что развернувшихся силъ, съ его видной фигурой, чисто русскимъ лицомъ, изящною „повадкою“, добродушною усмѣшкою осмысленныхъ устъ, — съ его деликатностью къ слабымъ и „обремененнымъ“ и независимостью предъ сильными и самодовольными, — съ музыкой его рѣчей и убѣдительностью ихъ содержанія... Личная жизнь человѣка представляетъ собою пеструю ткань различныхъ отношеній. Въ ней есть нити, выдергиваемыя легко и безслѣдно, безъ искаженія рисунка этой ткани, безъ измѣненія ея цѣнности. Но есть и такія, съ кото-

рыми изъ нея уносятся краски, уносится одновременно и ея цѣлость, и ея разнообразіе. И я почувствовалъ, въ яркій лѣтній день на берегу моря, когда кругомъ „равнодушная природа“ продолжала „сіять вѣчною красою“, что изъ моей жизни выдернута дорогая нить, такъ тѣсно, такъ красиво переплетенная съ общественными и личными воспоминаніями о незабвенныхъ годахъ, пережитыхъ людьми нашего поколѣнія...

Примите и т. д.

Анатолій Кони.

30 марта 1906 г.
Петербургъ.

Памяти князя А. И. Урусова.

Мое знакомство съ Александромъ Ивановичемъ стародавнее; онъ былъ другомъ моего отца А. Н. Плещеева и началъ бывать у насъ еще въ Москвѣ, на дачѣ въ Мазиловѣ. У меня съ дѣтства сохранилось воспоминаніе объ одной изъ защитъ Урусова; онъ защищалъ Волохову, обвинявшуюся въ убійствѣ мужа. Если я не ошибаюсь, она изрубила его и бросила въ погребъ. Я помню, какъ Москва заговорила объ Урусовѣ послѣ оправданія Волоховой. Оправдательный приговоръ ея былъ встрѣченъ восторженно, и публика буквально закидала оправданную деньгами. Портретъ крестьянки Волоховой, поднесенный ею своему защитнику, всегда украшалъ письменный столъ Александра Ивановича. Имя Урусова съ этихъ поръ буквально загремѣло въ Москвѣ. Дѣятельность молодого Урусова, однако, прерывалась нѣсколько разъ, у него было столкновеніе съ товарищемъ предсѣдателя Окружнаго Суда, затѣмъ онъ подвергся административной карѣ и въ 1872 году былъ сосланъ на житье въ Венденъ, а потомъ переведенъ въ Ригу. Въ концѣ семидесятыхъ годовъ участь Урусова измѣнилась; его назначили товарищемъ прокурора варшавскаго Окружнаго Суда, а черезъ два года перевели въ с.-петербургскій Окружный Судъ. Едва представилась возможность, Урусовъ вышелъ въ отставку и снова посвятилъ себя адвокатурѣ. Лѣтъ за десять до своей кончины А. И. переѣхалъ жить въ Москву, хотя часто наѣзжалъ въ Петербургъ и по дѣламъ, и для свиданія съ друзьями, которыхъ у него было здѣсь очень много.

Князь Урусовъ по своему образу мыслей принадлежалъ къ числу людей свободомыслящихъ, но никогда не рисовавшихся своими убѣжденіями и никогда имъ неизмѣнявшихъ. Александра Ивановича многіе упрекали въ слабости къ евреямъ: у него всѣ помощники были евреи, и самъ онъ велъ громкіе процессы, выступая защитникомъ евреевъ. Хотя Урусову приписывали въ такихъ случаяхъ желаніе будто бы угодить богатымъ евреямъ, но знавшіе А. И. могли лишь глубоко возмущаться такимъ гнуснымъ предположеніемъ. Въ этихъ процессахъ, какъ и во всѣхъ другихъ, покойнымъ руководили лишь справедливость и уваженіе къ свободѣ совѣсти и мнѣній.

Однажды вечеромъ я, пріѣхавъ къ Александру Ивановичу, засталъ его въ угнетенномъ состояніи, утомленнымъ, убитымъ. Онъ возвратился въ этотъ день изъ провинціи, гдѣ защищалъ евреевъ, обвинявшихся въ убійствѣ. Я не помню этого, нашумѣвшаго тогда дѣла.

— Извините меня, я хочу сказать нѣсколько словъ барону Гинсбургу по телефону... онъ очень заинтересованъ этимъ дѣломъ.

Спустя пять минутъ Урусовъ обратился ко мнѣ.

— Я возмущенъ, глубоко возмущенъ обвинительнымъ приговоромъ. Обвинили невинныхъ людей... я не сомнѣваюсь, что они невинны. Ужасно.

Полагаю, что память не измѣнила мнѣ: при первомъ разборѣ дѣла тѣ же самые евреи были оправданы и Урусовъ торжествовалъ.

Не объ евреяхъ онъ скорбѣлъ, а о людяхъ, въ невиновности которыхъ былъ убѣжденъ.

Ну, разумѣется, нашлось не мало такихъ, которые рукоплескали обвинительному приговору, издѣваясь надъ княземъ Урусовымъ и его юдофильствомъ.

Красивая, талантливая, смѣлая рѣчь Урусова, котораго, кстати сказать, природа наградила такимъ же чуднымъ бархатнымъ голосомъ, какъ Сару Бернаръ, иногда не столько отличалась внутреннимъ содержаніемъ, сколько поражала

литературностью, блестящей эрудиціей, находчивостью, изящной формой, манерой говорить. Эта манера говорить князя Урусова, выступившаго однажды въ Парижѣ, очаровала французскихъ адвокатовъ, которые находили его рѣчи, впрочемъ, нѣсколько растянутыми. Тамъ адвокатъ преслѣдуетъ сжатость, а у насъ—наоборотъ. Не берусь рѣшать, что лучше и выгоднѣе для обвиняемаго, сжатость рѣчей защитника или извѣстная обстоятельность въ изложеніи и освѣщеніи фактовъ, можетъ быть, и утомляющая судъ? Мнѣ кажется, что вся сила не въ сжатости и растянутости, а въ талантѣ того, кто говоритъ это слово. А. И. на мой взглядъ отличался способностью именно не расплываться.

Александръ Ивановичъ три раза въ трехъ инстанціяхъ защищалъ меня лично, доводя дѣло, по обвиненію меня въ диффамаціи и клеветѣ въ печати, до Сената.

Не могу не вспомнить безкорыстія и доброты Александра Ивановича: онъ отказался отъ всякаго вознагражденія за веденіе дѣла. Конечно, тутъ замѣшались и наши добрыя, старинныя отношенія и дружба А. И. съ моимъ отцомъ, но и помимо этого князь, относившійся съ рѣдкимъ сочувствіемъ къ представителямъ печати, всегда являлся безкорыстнымъ защитникомъ ихъ интересовъ.

Критическія статьи князя Урусова, которыя печатались въ „Порядкѣ“, „Русскихъ Вѣдомостяхъ“ и другихъ изданіяхъ, заслуживали гораздо большаго вниманія, нежели имъ оказывалъ самъ А. И... Помнится мнѣ, А. С. Суворинъ замѣтилъ въ одной изъ своихъ статей о театрѣ, что считаетъ Урусова выдающимся театральнымъ критикомъ и былъ, безусловно, правъ. Его читали съ удовольствіемъ не только актеры или рецензенты, большинство которыхъ теперь ограничивается произнесеніемъ смертныхъ приговоровъ или хвалой не по заслугамъ, но всѣ интересующіеся театромъ. А. И. Урусовъ писалъ подъ псевдонимомъ А. Ивановъ.

За послѣдніе годы Александръ Ивановичъ въ разговорахъ со мной объ искусствѣ особенно восторженно отзывался о М. Н. Ермоловой. Если не ошибаюсь его инте-

реснѣйшая справка по поводу постановки „Маріи Стюартъ“ и указанія промаховъ, утвердившихся на сценѣ, сгруппированныя послѣ въ газетную статью, были вызваны желаніемъ служить такой художницѣ, какъ Ермолова.

— Я указываю на безусловныя нелѣпости, которыя по традиціямъ, утвердились при исполненіи „Маріи Стюартъ“... я обѣщалъ Маріи Николаевнѣ порыться въ источникахъ и нашелъ кое что—говорилъ мнѣ Урусовъ.

Пламенный почитатель Флобера, А. И. Урусовъ изучилъ его въ подробностяхъ и посвятилъ этому гиганту реалистической школы интереснѣйшую работу на французскомъ языкѣ.

24-го марта 1900 г. Александръ Ивановичъ писалъ мнѣ, между прочимъ, слѣдующее о своей болѣзни: „Вы, можетъ быть, слышали: я такъ боленъ, что, можно сказать — заживо умеръ: я не только оглохъ совершенно, но и не могу, вслѣдствіе болѣзни ушей, держаться на ногахъ. Теперь книги—моя единственная компанія; все недавнее кажется мнѣ какою-то сказкою. Завтра у меня будетъ проф. Лейденъ, случайно находящійся въ Москвѣ.“

1-го апрѣля князь Урусовъ писалъ мнѣ снова по поводу этой консультаціи: „Обо мнѣ и говорить не стоитъ. Лейденъ нашелъ, однако, что жизни опасность не грозитъ, что операція не нужна и что способность къ сознанію равновѣсія возстановится упражненіями, ходьбою, гимнастикой. Онъ пробылъ $2^1/_2$ часа. Оптимистическая консультація“.

Послѣ 10-го іюня болѣзнь А. И. приняла дурное теченіе, хотя онъ находился въ полномъ сознаніи и даже нѣсколько строкъ приписалъ своей рукой на запискѣ, адресованной къ ближайшему его другу, С. А. Андреевскому: „прощай“.

Андреевскій, котораго я какъ-то спросилъ объ Урусовѣ, опредѣлилъ Александра Ивановича такъ: „Это человѣкъ удивительный“. Съ такой характеристикой, краткой и вѣрной, согласится каждый, знавшій Урусова. Онъ былъ удивительнымъ человѣкомъ, не только по своимъ талантамъ,

по своей широкой, замѣчательной образованности, но и по своей доброй душѣ, по своимъ свѣтлымъ, искреннимъ убѣжденіямъ.

За годъ съ небольшимъ до смерти Александра Ивановича, я встрѣтилъ его съ супругой въ Вѣнѣ. Князь довольно долго прожилъ тамъ, пользуясь у знаменитаго профессора Полицера, спеціалиста по ушнымъ болѣзнямъ.

— Совсѣмъ почти оглохъ,— сказалъ мнѣ Урусовъ,— и слышу только, когда говорятъ очень громко.

— Что же вамъ обѣщаетъ Полицеръ?

— Утѣшительнаго мало, говоритъ, что, можетъ быть, обойдусь безъ операціи. Въ противномъ случаѣ, предстоитъ трепанація черепа. Полицеръ увѣряетъ, что есть какой-то удивительный операторъ по этой части, къ которому онъ меня направитъ въ случаѣ необходимости. Сегодня, однако, онъ не настаивалъ на операціи, и лучше бы не знать удивительнаго хирурга.

— Мнѣніе Полицера,— тихо замѣтила мнѣ княгиня Урусова, которую князь не могъ слышать,— самое неблагопріятное. Профессоръ сообщилъ мнѣ, что операція почти неизбѣжна.

Тяжелая перспектива, однако, не удручала особенно князя, который выглядѣлъ весьма оживленнымъ, бесѣдовалъ о Вѣнѣ, о дачѣ Григоровича подъ Вѣной въ Вейдлингаю, и о новой книжкѣ какого-то извѣстнаго вѣнскаго журналиста.

— Я прочелъ вчера эту книжку... Сплошной курьезъ о поѣздкѣ автора въ Россію, въ Петербургъ и въ Москву. Чего онъ только не сочинилъ? Я хочу сдѣлать изъ этой книжки выборки. Я хохоталъ и возмущался, читая ее.

На другой день мы встрѣтились съ Урусовымъ въ книжномъ магазинѣ, противъ собора св. Стефана.

— Вотъ мое любимое занятіе,— рыться въ книгахъ. Постоянно что-нибудь купишь и возвращаешься домой съ ношей.

При этихъ словахъ Урусовъ указалъ на большой свертокъ купленныхъ книгъ.

— Скоро вы покидаете Вѣну, Александръ Ивановичъ?

— Нѣтъ, по крайней мѣрѣ, мѣсяцъ долженъ еще пробыть. Профессоръ мой собирается уѣзжать и передаетъ меня подъ наблюденіе своего помощника.

Послѣдній разъ мнѣ пришлось увидѣться съ княземъ зимой въ Петербургѣ, куда онъ пріѣзжалъ на нѣсколько дней. Онъ страшно измѣнился, посѣдѣлъ, постарѣлъ, и на лицѣ появился уже какой-то зловѣщій отпечатокъ, указывавшій, что долго этому человѣку не прожить.

Тѣмъ не менѣе, настроеніе духа Александра Ивановича опять было въ разладѣ съ гнетущимъ состояніемъ здоровья. Онъ два слова сказалъ о себѣ и сейчасъ же перемѣнилъ разговоръ, коснувшись любимой темы, литературы. Безграничная, страстная любовь къ литературѣ жила въ этомъ человѣкѣ. Во время этой встрѣчи онъ говорилъ, между прочимъ, особенно много о Чеховѣ и его пьесѣ „Чайка", которую, по его мнѣнію, въ Петербургѣ не поняли и совсѣмъ неудачно исполнили.

Я не знаю точно, почему Александръ Ивановичъ почти въ концѣ своей жизни промѣнялъ опять Петербургъ на Москву, переселившись туда окончательно, но склоненъ думать, что князя глубоко огорчило незаслуженное, несправедливое и недостойное отношеніе къ нему нѣкоторыхъ представителей петербургской печати. Противъ него часто дѣлались вылазки, въ сущности, ни на чемъ неоснованныя, отличавшіяся пошлымъ глумленіемъ. Урусовъ молчалъ, но было много данныхъ предполагать, что его это оскорбляло.

Вспоминая объ Александрѣ Ивановичѣ, я всегда вспоминаю о его врагахъ. Но враги-ли это были? У него было больше завистниковъ, нежели враговъ.

Свѣтлая память объ Александрѣ Ивановичѣ не умретъ среди знавшихъ и любившихъ его.

А. Плещеевъ.

За обѣдомъ*).

I.

— Нѣтъ, да вы посмотрите! Какія вещи! Разнообразіе! Вкусъ!

— Да видѣлъ я это сотни разъ! Жара! Поскорѣе-бы домой дойти; вы, Николай Иванычъ, останавливаетесь передъ каждой витриной. Неужто вамъ еще Парижъ не пріѣлся? Который разъ вы въѣзжаете въ него?

— Кажется... въ шестой.

— Ну, а я, душечка, въ двадцать четвертый!

— Мнѣ никакъ не можетъ пріѣсться...

— Счастливецъ! А, все-таки, идемте домой. Нашъ гость будетъ дожидаться. Французы этого не любятъ.

Такъ переговаривались между собою двое русскихъ. Одинъ **)—плотный, съ начинающейся полнотой, одѣтый въ хорошее петербургское платье, темнорусый, съ бородой, лѣтъ за сорокъ. Онъ держитъ подъ руку своего пріятеля, постарше себя, блондина ***), съ откровенной лысиной, въ очкахъ и въ самомъ легкомъ заграничномъ костюмѣ.

Тотъ, кого зовутъ „Николаемъ Ивановичемъ", какъ-то все покачивается на ходу и однимъ плечомъ напираетъ на своего спутника, усталаго отъ ходьбы по бульварамъ и жаркой, душной погоды.

---

*) «Новости» № 177.—27 іюня 1888 года. Въ бумагахъ Кн. Урусова этотъ фельетонъ сохранился съ его собственноручными надписями, очевидно, какъ страничка его біографіи. (Примѣч. изд.).

**) Кн. А. И. Урусовъ. (Примѣч. Кн. А. И. Урусова).

***) П. Д. Боборыкинъ. (Примѣч. Кн. А. И. Урусова).

— Минутку!

— Куда еще?

— Я вотъ только зайду, спрошу цѣну того эстампа. Посмотрите, какая тонкость! Николай Иванычъ нажимаетъ своими длинными и широкими пальцами руку пріятеля и влечетъ его въ магазинъ эстамповъ. Тотъ упирается.

— Дмитрій Петровичъ, да зайдемте на минутку!

— Пощадите, Николай Иванычъ. Духота въ этихъ магазинишкахъ!..

Николай Иванычъ грузно и стремительно входитъ въ магазинъ и начинаетъ разсматривать эстампы, масляныя картины; вступаетъ въ продолжительный разговоръ съ прикащикомъ, выказываетъ знакомство съ французской школой живописи, хвалитъ, задаетъ вопросы, остритъ, смѣется, чувствуя себя такъ хорошо, какъ онъ уже не можетъ себя чувствовать въ Петербургѣ.

А Дмитрій Петровичъ, тѣмъ временемъ, топчется у входа въ магазинъ на широкомъ тротуарѣ, обтирается и обмахивается платкомъ; то сниметъ шляпу, то опять ее надѣнетъ и уныло глядитъ вдоль улицы, гдѣ, въ запыленномъ свѣтѣ, посреди проѣздной четыреугольной площади, тяжело возвышается Вандомская Колонна.

Николай Иванычъ ему очень пріятенъ — спору нѣтъ. Около двадцати пяти лѣтъ они водятъ знакомство. Дмитрій Петровичъ помнитъ то время, когда Николай Иванычъ былъ студентомъ, а самъ Дмитрій Петровичъ сдѣлался уже издателемъ журнала. Студентъ прислалъ ему очень горячую и хорошо написанную статью о московскомъ театрѣ, которая и была тотчасъ-же напечатана. Такъ завязалась переписка. Студентъ пріѣхалъ погостить въ Петербургъ къ масляницѣ и жилъ въ редакціи. Дмитрій Петровичъ любитъ часто вспоминать забавныя подробности этого житья. Какъ теперь Парижемъ, такъ тогда Петербургомъ Николай Иванычъ восхищался запоемъ, отъ чего впослѣдствіи сталъ открещиваться. Идутъ они, бывало, поздно ночью по Невскому и, такъ-же какъ и теперь, подъ руку. Студентъ

вдругъ бросалъ его и выбѣгалъ на самую середину широкой и пустой улицы и кричалъ, дѣлая указательный жестъ:

— Линія газовыхъ огней! Какая прелесть!

Потомъ Дмитрію Петровичу вспоминается часто, какъ все тотъ-же студентъ-театралъ ночевалъ у него въ кабинетѣ. Редакціонные дни были — среды. Николай Иванычъ возвращался поздно и спалъ часу до двѣнадцатаго. Въ передней раздается звонокъ. Мальчикъ Мишка, въ сѣромъ фрачкѣ, бѣжитъ отворять; Николай Иванычъ вскакиваетъ съ просонокъ, схватываютъ всю свою постель и, босикомъ, черезъ рабочую редакціонную комнату, несется въ спальню, гдѣ Дмитрій Петровичъ имѣлъ привычку сидѣть по утрамъ за чаемъ и корректурами.

Студентъ скоро получилъ извѣстность на другомъ поприщѣ и давно уже получаетъ большія деньги; редакторъ потерялъ состояніе въ литературѣ, но продолжалъ работать. Оба пріятели почти сравнялись въ лѣтахъ. Дѣловая карьера Николая Иваныча не помѣшала ему остаться большимъ любителемъ литературы. Были у него періоды различныхъ увлеченій эстетическими идеями. Вотъ уже лѣтъ пятнадцать, какъ оба пріятеля стали цѣнителями и защитниками новой французской школы писателей. Но Дмитрій Петровичъ, не измѣняя своимъ основнымъ вкусамъ и оцѣнкамъ, не впадаетъ въ излишества. У него нѣтъ фетиша; онъ не затрудняется относиться критически даже къ самымъ любимымъ своимъ писателямъ. Николай Иванычъ — вродѣ собирателя рѣдкостей. Для него Флоберъ — безгрѣшенъ, и онъ его изучаетъ много лѣтъ, преданъ каждому его слову, собираетъ о немъ все, что можетъ; задался обширной программой: добыть, на главныхъ европейскихъ языкахъ, все, что когда либо появилось въ печати о его литературномъ идолѣ.

Оба пріятеля интересуются и самыми молодыми парижскими романистами, и стихотворцами; но каждый по своему. Дмитрій Петровичъ ищетъ творческихъ дарованій, силы,

глубокой наблюдательности и простоты. Николай Иванычъ увлекается поисками формы; его не трудно подкупить и претензіей, прикрытой пестрымъ, вычурнымъ, часто неудобоваримымъ языкомъ. Онъ все еще вѣритъ въ „формулу“ Гонкура и очень ужъ равнодушно смотритъ на содержаніе, сурово преслѣдуетъ всякую мораль въ литературѣ. Онъ и къ парижскимъ „декадентамъ“ чувствуетъ слабость, за что Дмитрій Петровичъ прозвалъ его „модникомъ“.

Они частенько спорятъ, но больше о частностяхъ. Въ этотъ ихъ пріѣздъ въ Парижъ Дмитрія Петровича не особенно влекло къ тѣмъ писателямъ новыхъ школъ, которыхъ онъ давно знаетъ лично. Изъ нихъ одинъ *), выступившій нѣсколько лѣтъ тому назадъ, изъ такъ-называемыхъ „меданцевъ“—интересовалъ его когда-то оригинальностью дарованія и всѣмъ складомъ душевнаго организма. Въ послѣдніе два-три года этотъ беллетристъ далъ волю своему раздраженію противъ всего, что создала французская культурная жизнь, и даже всего здороваго, нормальнаго въ природѣ и человѣкѣ. Дмитрій Петровичъ оцѣнивалъ его въ печати, не одобрялъ его озорства и его личныя сношенія съ этимъ парижаниномъ пріостановились какъ разъ къ тому времени, когда Николай Иванычъ вдругъ—точно новое Евангеліе—открылъ его предпослѣднюю книжку, произвелъ его въ первоклассные стилисты, вступилъ съ нимъ въ переписку и теперь, по пріѣздѣ въ Парижъ, пригласилъ обѣдать въ тотъ отель, гдѣ оба пріятеля остановились, но откуда Дмитрій Петровичъ съѣхалъ въ свой любимый кварталъ, около Мадлэны.

II.

Въ салонѣ отеля Дмитрій Петровичъ поджидалъ за пріятеля прихода литературнаго гостя. Николай Иванычъ и тутъ былъ неисправенъ: куда-то пропалъ и явился почти

*) Гюисмансъ. (Примѣч. Кн. А. И. Урусова).

въ одно время съ французомъ. Представитель протестовъ противъ всего, признаваемаго цѣннымъ, красивымъ и нормальнымъ—на взглядъ Дмитрія Петровича—сильно постарѣлъ и высохъ. Ему не больше сорока лѣтъ, а онъ совсѣмъ уже сѣдой, носъ заострился клювомъ, весь онъ горбится, грудь впала и только въ глазахъ, съ нѣсколько воспаленными вѣками, сохранился еще молодой блескъ. Онъ всегда былъ болѣзненъ. Сидячая жизнь, служба въ министерствѣ, въ мелкой должности *), корпѣнье дома надъ книгами и своими рукописями точно высосали изъ него весь мышечный сокъ. Дмитрій Петровичъ уже достаточно знакомъ былъ съ нимъ, какъ съ личностью, съ его тономъ, манерой говорить и держать себя. Для Николая Иваныча все это еще было вновѣ, и онъ принялъ гостя съ нѣсколько шумной возбужденностью и съ той особаго рода учтивостью, которой онъ держался за границей. При этомъ онъ говоритъ всегда чрезвычайно литературно и старательно, надъ чѣмъ Дмитрій Петровичъ добродушно подшучиваетъ ему въ лицо и часто повторяетъ:

— Да вы не тратьте столько пороху! Это имъ не въ диковинку.

Онъ, по-просту, задалъ гостю нѣсколько вопросовъ: какъ ему живется, какъ доволенъ здоровьемъ, и гость сталъ жаловаться на парижскихъ докторовъ.

— Они ничего не знаютъ! Какая это наука? Не могутъ вылечить меня отъ самаго простого катарра вѣкъ. А пріятеля моего—онъ тоже страдаетъ глазами—такъ чуть въ гробъ не уложили впрыскиваніями изъ пилокарпина.

Все это говорилъ онъ тихимъ, отбитымъ голосомъ, съ миной человѣка, у котораго недовольство давно накопилось, ушло куда-то вглубь организма и просасывается оттуда маленькими каплями.

Онъ не скоро кончилъ о шарлатанахъ-докторахъ и о безсиліи знанія. Въ его словахъ Дмитрій Петровичъ ви-

*) Вице-директоръ Департамента Sûreté générale. (Примѣч. Кн. А. И. Урусова).

дѣлъ все то-же подкапыванье подъ какой-бы то ни было, всѣми признанный, авторитетъ и постоянно гложущій его зудъ: выставить имъ самимъ сочиненные предметы хвалы и поклоненія.

Ни одинъ изъ пріятелей съ нимъ не сталъ спорить, и если они перебивали его, то затѣмъ только, чтобы узнать подробности о его личной жизни. Хотя Дмитрій Петровичъ и не считаетъ его такимъ великимъ писателемъ, какъ Николай Ивановичъ, но онъ находитъ этого талантливаго и своеобразнаго беллетриста слишкомъ неудачнымъ въ своей карьерѣ. До сихъ поръ онъ не проникъ еще въ большую публику и, послѣ выпуска въ свѣтъ нѣсколькихъ книгъ, признанъ однимъ меньшинствомъ спеціальныхъ цѣнителей. Онъ не можетъ жить литературой, даже скромно, и долженъ держаться за свое мѣстишко въ какомъ-то министерствѣ.

Пріятели свели гостя внизъ въ столовую и сѣли отдѣльно отъ табль-д'ота за столикъ, въ глубинѣ залы. Николай Иванычъ распорядился о бутылкѣ болѣе тонкаго вина, сверхъ того, какое полагается на каждаго за обѣдомъ. Обоимъ русскимъ хотѣлось говорить, но они себя сдерживали, чтобы наводить гостя на разныя литературныя личности и слышать его оцѣнки.

Такой разговоръ, видимо, пришелся ему по душѣ. Въ Парижѣ, какъ и въ Петербургѣ, человѣкъ пишущій тогда только и оживляется, когда начнетъ перебирать своего брата-литератора.

Гость продолжалъ говорить все такъ-же тихо, какъ и на верху и, при шумѣ столовой, его надо было слушать съ напряженіемъ. Издали, по выраженію его лица, всякій-бы подумалъ, что онъ говоритъ о чемъ-то съ тихимъ сочувствіемъ, а на самомъ дѣлѣ онъ нанизывалъ, точно бисеръ на нитку, безпощадныя оцѣнки и жестокія подробности о всѣхъ, про кого спрашивали его оба русскихъ.

И безпрестанно пришпиливалъ онъ къ концу каждой тирады два неизмѣнныхъ восклицанія.

— C'est curieux! C'est extraordinaire!

Кстати сказать, у всѣхъ французовъ—у парижанъ, въ особенности — сложилась привычка повторять извѣстныя клише для оцѣнки людей, книгъ, событій — чего угодно. Кромѣ вотъ этихъ „curieux“ и „extraordinaire“, въ самомъ большомъ ходу выраженіе: „il est très fort“, когда они хвалятъ кого угодно: ученаго, писателя, виртуоза, клоуна, жокея, мошенника или убійцу.

Николай Ивановичъ подставилъ гостю имя и личность одного памфлетиста*), издавшаго въ 1887 году цѣлый томикъ, вродѣ романа, подъ заглавіемъ: „Отчаянный“. Въ этой книжкѣ всѣ, сколько-нибудь выдающіеся парижскіе писатели обруганы и загрязнены такъ, что и у насъ это было-бы событіемъ. Гость оказался его пріятелемъ и сталъ о немъ говорить съ чѣмъ-то вродѣ сочувственнаго любопытства, какъ-бы не предполагая, что по части отдѣлыванія своихъ собратовъ въ интимныхъ разговорахъ онъ имѣетъ въ этомъ памфлетистѣ, ударившемся въ мистическій католицизмъ, своего прямого соперника и конкуррента.

III.

Дмитрій Петровичъ слушаетъ и говоритъ про себя:

— Такого, чуть слышнаго Собакевича не найти второго и въ Парижѣ. Какъ-то онъ будетъ оцѣнивать тѣхъ кумировъ, передъ которыми возноситъ ѳиміамъ мой пріятель, Николай Иванычъ? Довольно и одного Флобера. Онъ начиналъ писать при немъ и долженъ былъ часто видаться съ нимъ. Кое-что я и теперь припоминаю изъ его разсказовъ объ авторѣ „Сентиментальнаго Воспитанія“...

Книжка пасквилянта написана изъ-за личныхъ счетовъ автора съ однимъ романистомъ*), вошедшимъ теперь въ большую моду среди свѣтскихъ женщинъ, которымъ онъ льститъ психологическимъ анализомъ адюльтера. Онъ имѣлъ неосто-

*) Л. Блуа. (Примѣч. изд.).

**) П. Бурже. (Примѣч. изд.).

рожность отказать автору „Отчаяннаго“ въ займѣ и оказался одной изъ главныхъ фигуръ памфлета.

Нервно-холерическій гость нашихъ пріятелей не взводилъ на моднаго романиста никакихъ грязныхъ небылицъ и не позволилъ себѣ ни одного ругательнаго слова, а только прошпиговывалъ его разными метафорами, взятыми изъ его-же романовъ. Слова произносилъ онъ также тихо и губы его складывались въ усмѣшку сожалительнаго презрѣнія.

Николай Иванычъ не сталъ защищать моднаго романиста, да и пріятель его остался равнодушенъ къ разрыванію на части этой скороспѣлой репутаціи. Онъ ждалъ болѣе крупныхъ отдѣлываній и спрашивалъ себя: „а кто-же за этимъ обѣдомъ будетъ гоголевскій прокуроръ, которымъ Собакевичъ заключилъ рядъ своихъ любезностей?“.

Дошла очередь и до главы цѣлой школы*). Гость не потрудился давать свою оцѣнку ни таланта этого главы, вообще, ни послѣдняго его романа. Онъ предполагалъ, вѣроятно, что русскіе его собесѣдники слишкомъ во всемъ этомъ сами понаторѣли, а, можетъ быть, и не желалъ рисковать... Зато объясненіе многихъ сторонъ романиста и, главное, критика полемизатора—его натурой вышло если не вполнѣ безпристрастно, зато очень мѣтко и ядовито; опять все тѣмъ-же чуть слышнымъ голосомъ, съ нервно-унылымъ видомъ.

— C'est curieux! — началъ онъ подбираться къ буржуазнымъ вкусамъ этого писателя.—Вы не знаете, господа, первой вещи, какую онъ себѣ купилъ, когда продалъ за хорошую цѣну свой первый романъ? Бриллiантовый перстень и надѣлъ его на четвертый палецъ!

— Быть не можетъ!—громко вскрикнулъ Николай Ивановичъ.

Ему стало непріятно за этого автора съ бриллiантовымъ перстнемъ, хотя онъ его не ставитъ и на половину высоты сравнительно съ Флоберомъ.

*) Зола. (Примѣч. изд.).

— Да!.. Брилліантовый перстень! — повторилъ уныло и, какъ-бы, сочувственно, гость.—C'est extraordinairement curieux.

Николай Иванычъ поглядѣлъ на Дмитрія Петровича вызывающимъ и ласковымъ взглядомъ:

„Какая, молъ, старательность въ перестановкѣ словъ!“.

Дмитрій Петровичъ опять повторилъ мысленно фразу: „Кто будетъ прокуроромъ Собакевича?“.

Явился и „прокуроръ“. Не могъ-же Николай Иванычъ не заговорить о своемъ Флоберѣ, не наслушаться отъ человѣка, знавшаго его лично, драгоцѣнныхъ характеристикъ его блистательныхъ умственныхъ свойствъ въ частной жизни, въ бесѣдахъ съ друзьями и поклонниками?..

— Онъ былъ ужасенъ. Совершенно невозможенъ. Только самый банальный комми-вояжеръ могъ такъ вести себя и такъ говорить, какъ онъ. C'était épatant! C'était extraordinaire! Такихъ глупостей я никогда ни отъ кого не слыхалъ. Онъ былъ, въ полномъ смыслѣ слова, ужасенъ и черезъ каждыя три минуты оралъ любимое свое ругательство.

Николай Иванычъ засмѣялся и принялъ это, какъ забавную бутаду, гдѣ только фактическая сторона могла быть вѣрной; но гость за дессертомъ вернулся еще разъ къ его идолу, разсказалъ нѣсколько самыхъ нецензурныхъ эпизодовъ изъ ихъ знакомства и опять въ томъ-же тихо сожалительномъ и уничтожающемъ тонѣ повторялъ:

— Да, онъ былъ невообразимой банальностью. Я думаю, теперь нѣтъ даже и такихъ комми-вояжеровъ. И все, что онъ оралъ у себя дома и за обѣдомъ, было чудовищно глупо. C'était épatant!

Дальше идти было трудно. И говорилось это такимъ голосомъ, съ такой искренностью убѣжденія и порядочностью манеры, что даже и жрецу флоберизма не оставалось ничего другого, какъ предложить гостю три сорта ликеровъ.

Столовая давно опустѣла; разбрелись всѣ англичанки, обѣдавшія за отдѣльными столами, когда оба пріятеля вышли подъ аркады Rue de Castiglione вмѣстѣ со своимъ гостемъ. Они его проводили до бульваровъ.

— Ну-съ, дорогой Николай Иванычъ, остались довольны свидѣтельскими показаніями о Флоберѣ?

— Что-же дѣлать! Бѣдняга—большой неудачникъ; надо ему простить! Забудемъ это. Хорошъ Парижъ! Сегодня открывается балъ въ Елисейскихъ поляхъ. Идемте!

— Ну васъ и съ баломъ!

И пріятели распростились.

П. Боборыкинъ.

Воспоминанія

о князѣ Алескандрѣ Ивановичѣ Урусовѣ.

Въ началѣ восьмидесятыхъ годовъ мнѣ довелось жить въ Петербургѣ въ одномъ домѣ съ княземъ Александромъ Ивановичемъ Урусовымъ, именно на Сергіевской улицѣ, въ домѣ Покатилова. Александръ Ивановичъ пользовался тогда большой славой, какъ одинъ изъ талантливѣйшихъ присяжныхъ повѣренныхъ въ Петербургѣ. Я писалъ тогда въ газетѣ „Голосъ", и естественно, мы знали другъ друга, по фамиліи, конечно. Помнится, предложеніе познакомить меня съ княземъ Александромъ Ивановичемъ было сдѣлано мнѣ Іеронимомъ Іеронимовичемъ Ясинскимъ, съ которымъ мы были тогда въ большой пріязни, и который, кажется, былъ близокъ съ Александромъ Ивановичемъ. Первое впечатлѣніе, которое во мнѣ оставилъ навсегда Александръ Ивановичъ было совершенно особенное, рѣдкое: передо мной былъ человѣкъ съ мнѣніями довольно рѣзкими, независимыми, лишенными даже элементовъ вліянія ходячихъ, модныхъ тогда, мнѣній, или, какъ былъ обычай выражаться, „убѣжденій". Очевидно было, что князь жилъ своимъ собственнымъ умомъ, что онъ много передумалъ и перечувствовалъ. Не скажу, чтобы мнѣнія его были мнѣ симпатичны,—онъ имѣлъ рѣзкую наклонность въ литературѣ цѣнить почти исключительно красоту, даже внѣшнюю красоту; формѣ онъ отдавалъ рѣшительное предпочтеніе, а я, тогда по крайней мѣрѣ, содержаніе литератур-

наго произведенія цѣнилъ прежде всего, до крайности не придавая значенія формѣ его. Говорю это потому, что въ концѣ концовъ я нѣчто заимствовалъ отъ князя Александра Ивановича въ этомъ отношеніи; безъ усилій и даже стремленія къ тому, онъ заставилъ меня нѣсколько задуматься надъ крайностями моихъ мнѣній. Между прочимъ онъ обратилъ мое вниманіе на Флобера, котораго я недостаточно цѣнилъ; я, можно сказать, изучилъ этого писателя—и согласился съ мнѣніями Александра Ивановича. Понынѣ я храню самую добрую память о покойномъ, знакомство съ нимъ—одно изъ пріятнѣйшихъ воспоминаній во всей моей жизни.

Знакомство наше было кратковременно. По закрытіи „Голоса“ я сотрудничалъ въ „Русск. Вѣд.“, а въ 1884 году долженъ былъ переѣхать въ Кіевъ на постоянное жительство. Предпріятіе это оказалось очень неудачнымъ,—въ Кіевѣ я не прожилъ и двухъ мѣсяцевъ. Но собираясь туда и зная, что князь Александръ Ивановичъ очень любитъ старинныя книги, какія бывали и у меня, я отнесъ ему на память обо мнѣ что-то въ этомъ родѣ. Онъ былъ очень тронутъ и, снявъ съ полки томикъ Сентъ-Бёва, подарилъ его мнѣ, надписавъ: „Критику отъ читателя. Урусовъ“. Томикъ этотъ хранится у меня. Вѣроятно я нашелъ у себя еще какую-то интересную старинную книжку и отослалъ ее Александру Ивановичу. Письмо, которое я прилагаю къ этимъ краткимъ воспоминаніямъ, и было мнѣ отвѣтомъ. На немъ нѣтъ даты, но я навѣрное знаю, что оно писано осенью 1884 года.

По возвращеніи изъ Кіева мнѣ не довелось возобновить моихъ отношеній съ княземъ. Затѣмъ онъ переѣхалъ въ Москву, и мы лишь изрѣдка встрѣчались.

Арсеній Введенскій.

Арс. Ив. Введенскому.

Кн. А. И. Урусовъ
пр. пов. СПб.
79 Сергіевская.

(безъ даты, но навѣрное осенью 1884 г.).

Многоуважаемый
Арсеній Ивановичъ,

Вашъ подарокъ нетолько обрадовалъ, но и тронулъ меня искренно. Я очень дорожу хорошими книгами, люблю ихъ коллекціонировать, но люблю еще болѣе хорошія отношенія, которыя коллекціонировать труднѣе. Ваше письмо я вклеилъ въ „Слово о Полку Игоревѣ"—такимъ образомъ, это будетъ вдвойнѣ мнѣ дорогая книжка. Благодаря Вамъ моя коллекція русскихъ альманаховъ обогатилась прекраснымъ экземпляромъ „Полярной Звѣзды". Теперь у меня будетъ „Заря". Считаю необходимымъ добавить, однако, что если бы когда-нибудь, Вы вздумали сами коллекціонировать такія книги, я всегда готовъ буду возвратить Вамъ Ваши экземпляры.

Напрасно Вы вернули мнѣ Флобера. Вы его прочли, но читая Васъ, я вижу, что онъ не произвелъ на Васъ того впечатлѣнія, которое я ожидалъ. Искусство литературнаго письма—вотъ что изумительно не только у Флобера, но и у сравнительно незначительныхъ писателей. На дняхъ я прочелъ романъ бельгійскаго натуралиста Lemonnier: Un mâle. Пейзажи удивительной сочности, силы. Всѣ чувства затронуты поочередно, звучатъ аккордами, природа воспроизведена во всей силѣ жизненнаго блеска... Описать природу, подмѣтить новую черту въ ней—гдѣ все кажется намъ такъ старо — вотъ искусство. Нарождаются послѣ соитій новыхъ поколѣній, новые темпераменты, новые нервные организмы. Они видятъ природу иначе, чѣмъ другіе, а потому шаблоны и подражанія всегда лживы. Но рынокъ требуетъ шаблоновъ, а критика требуетъ идей (читай: пользы) и растерявшіеся художники притупляютъ

свой рѣзецъ, работая по шаблонамъ для рынка и выдалбливая чужія идеи для чьей-то пользы. И только два-три человѣка дерзаютъ идти своею дорогой, передавая природу своими нервами (и въ числѣ ихъ: нашъ другъ Іеронимъ). А критика въ отвѣтъ на болѣзненный процессъ самотворчества, связаннаго со всѣми муками сомнѣній и со страхомъ передъ глупцомъ (т.-е. публикою)—отвѣчаетъ художнику: ваши сюжеты неинтересны. Какое намъ дѣло до восхода солнца? Вотъ, еслибы вы описали, какъ солнце входитъ, освѣщая людскую неправду, озаряя всѣ „неприглядныя картины“ общественной несправедливости и проч.

Я знаю, что Вы бичуете тенденціозность, но безъ этой закваски. Рынокъ вещей не принимаетъ. И съ двухъ сторонъ пекутъ пироги съ этою тухлою начинкою: одни—либеральною („неприглядныя картины“), другіе—съ консервативною (блаженство хамства воспѣвать...).

Конечно, критика не можетъ рожать художниковъ,—но она можетъ убивать ихъ. Она безсильна создать писателя,—но могла бы создать публику. Но—...

Впрочемъ, Богъ знаетъ, для чего это я пишу Вамъ. Теперь 3 часа утра и пора спать. Но это — дружеская болтовня на прощаніе передъ Кіевомъ. Кланяйтесь Іерониму и примите лучшія пожеланія. Напишите оттуда, на долго-ли, и зачѣмъ и какъ?

Вашъ А. Урусовъ.

Воспоминанія

о князѣ Александрѣ Ивановичѣ Урусовѣ.

Я познакомился съ кн. А. И. Урусовымъ въ Петербургѣ 30-го іюня 1871 года, наканунѣ начала первой категоріи такъ называемаго Нечаевскаго процесса. Всѣ участвовавшіе въ этомъ дѣлѣ защитники сошлись въ квартирѣ В. Д. Спасовича, чтобы потолковать о способѣ веденія дѣла и о планѣ защиты. Этотъ первый вечеръ, проведенный вмѣстѣ съ А. И., не оставилъ во мнѣ опредѣленныхъ о немъ воспоминаній, но тѣмъ и сильнѣе было впечатлѣніе, произведенное на меня 10-го іюля первою выслушанною мною рѣчью А. И. — защитой Успенскаго. Помимо изящества манеръ, красоты языка и сердечнаго отношенія къ обвиняемымъ, меня поразилъ превосходный юридическій анализъ между заговоромъ и тайнымъ обществомъ. Остальнымъ защитникамъ пришлось дополнить этотъ анализъ лишь немногими чертами, и онъ сильно повліялъ на мягкость приговора, произнесеннаго Судебной Палатой, какъ по первой категоріи процесса, такъ и по послѣдующимъ (за исключеніемъ лишь подсудимыхъ, обвинявшихся въ убійствѣ Иванова). Очень хороши были также рѣчи А. И. въ защиту Волховскаго (въ первой категоріи) и нѣсколькихъ подсудимыхъ во второй категоріи процесса.

Судебныхъ рѣчей А. И. мнѣ больше не приходилось слышать; но я встрѣчался съ нимъ довольно часто въ такъ называемомъ Шекспировскомъ кружкѣ, основанномъ въ 1874 г. и посвятившемъ первые $3^1/_2$ года своего суще-

ствованія почти исключительно изученію Шекспира. А. И., если я не ошибаюсь, вступилъ въ составъ кружка осенью 1878 г., когда это изученіе было уже окончено и на очереди стоялъ, безъ соблюденія строгой системы, разборъ драматическихъ произведеній другихъ авторовъ. Первымъ рефератомъ А. И., при которомъ я присутствовалъ (живя въ то время въ деревнѣ, я посѣщалъ не всѣ собранія кружка), касался французской классической трагедіи, въ особенности (если мнѣ не измѣняетъ память) Cid Корнеля, Mihtridate Расина и Oedipe Вольтера. Вопреки распространенному у насъ недовѣрчивому и несимпатичному отношенію къ этому жанру, А. И. съ большою убѣдительностью и большимъ искусствомъ подчеркнулъ его крупныя достоинства и поколебалъ, я думаю, даже самые закоренѣлые предвзятые взгляды. Во второй половинѣ 80-хъ годовъ, когда, въ нѣсколько измѣнившемся составѣ кружка, предметомъ рефератовъ стали служить темы, избранныя по усмотрѣнію докладчика, А. И. представилъ между прочимъ три реферата: о Бодлерѣ, о Муравлинѣ (кн. Голицынѣ), въ особенности по поводу его романа: „Мракъ“, и объ исполненіи Ермоловою Шиллеровской „Маріи Стюартъ“. Все это отличалось интересомъ содержанія и художественностью изложенія. Очень много оживленія А. И. вносилъ въ кружокъ и какъ участникъ преній, происходившихъ по поводу рефератовъ. Всегда мягкій и сдержанный, онъ былъ чрезвычайно сильнымъ діалектикомъ и очень опаснымъ противникомъ. Особенно разгорался споръ, когда заходила рѣчь о тенденціозности въ искусствѣ; А. И. былъ самымъ послѣдовательнымъ ея отрицателемъ и, конечно, не убѣждая ея защитниковъ, наносилъ имъ удары, парировать которые было не легко. Слушать его, когда онъ былъ въ ударѣ,—а это было почти всегда — было настоящимъ наслажденіемъ. Особенно глубоко врѣзалась у меня въ память небольшая рѣчь А. И.—чуть ли не послѣдняя, которую я слышалъ. Это было въ началѣ второй половины 90-хъ годовъ, когда А. И., живя въ Москвѣ только

изрѣдка бывалъ въ собраніяхъ кружка. Одинъ изъ членовъ кружка представилъ докладъ о „Чайкѣ“ Чехова, довольно неблагопріятный для этой пьесы. А. И., возражая докладчику, съ такимъ увлеченіемъ передалъ нѣкоторые моменты пьесы, такъ рельефно выставилъ на видъ ея сильныя стороны, что для слушателя, какимъ былъ я, не осталось никакого сомнѣнія въ томъ кто правъ — докладчикъ или оппонентъ. Мнѣ стало казаться, что я самъ видѣлъ Чайку и пережилъ возбуждаемыя ею впечатлѣнія. Это былъ настоящій тріумфъ живого слова, покоряющаго своимъ одушевленіемъ и силой.

Провести нѣсколько часовъ почти en tête-à-tête съ А. И. мнѣ удалось только разъ. Лѣто 1883-го года я проводилъ съ семьей въ Аренсбургѣ на островѣ Эзелѣ. А. И. пріѣхалъ туда на нѣсколько дней, зашелъ ко мнѣ и потомъ провелъ у насъ цѣлый вечеръ. Это былъ очаровательный собесѣдникъ, удивительно остроумный, полный жизни, много читавшій и еще болѣе передумавшій.

Общее мое мнѣніе объ А. И. я выразилъ въ нѣсколькихъ словахъ, написанныхъ мною подъ впечатлѣніемъ извѣстія о его смерти (въ общественной хроникѣ „Вѣстника Европы“, сентябрь 1900).

К. Арсеньевъ.

Воспоминанія

о князѣ Александрѣ Ивановичѣ Урусовѣ.

Когда я познакомился съ Александромъ Ивановичемъ точно припомнить я не могу. Одно осталось у меня въ памяти, что наше знакомство началось въ ту бурную эпоху нашего адвокатскаго сословія, когда цѣлая фаланга молодежи была выброшена Совѣтомъ за бортъ знаменитыми правилами 3 марта 1890 г. Сначала всѣ мы, ратовавшіе противъ Совѣтскаго деспотизма, сходились вмѣстѣ, не разбирая, кто съ кѣмъ знакомъ или нѣтъ; только мало по малу общее дѣло привело къ тому, что начали подавать другъ другу руки и тѣмъ упрочивать наши отношенія. Тоже было съ А. И. и мною; и вотъ тогда уже мнѣ бросилась въ глаза разница въ способѣ дѣйствія, которыя приняли многіе изъ насъ и того, котораго держался онъ. Въ то время, когда большинство изъ насъ, глубоко взволнованное дѣйствіями Совѣта, съ безпокойствомъ смотрѣло на будущее Сословія и съ лихорадочной поспѣшностью начало составлять жалобы и подавать ихъ въ Судебную Палату, мало вѣря въ ихъ успѣхъ, онъ относился къ дѣлу гораздо спокойнѣе, видѣлъ возможность бороться всѣми законными средствами и, послѣ общей нашей неудачи въ Палатѣ, довелъ дѣло до конца и въ Сенатѣ достигъ цѣли—правила были отмѣнены. Спокойствіе, мягкость по отношенію къ противникамъ и вмѣстѣ съ тѣмъ настойчивость въ отношеніи своихъ цѣлей —вотъ, сколько мнѣ кажется, были основныя черты его характера. Едва ли онѣ и не были опредѣляющими весь

кругозоръ его мыслей и взглядовъ. Онъ никогда не казался мнѣ радикаломъ. Его аристократическая натура, вся проникнутая глубокимъ эстетизмомъ, не могла, казалось мнѣ, волноваться горемъ массъ, мучиться страданіями народными, но несомнѣнно, что онъ глубоко чувствовалъ безправіе людей и въ этомъ смыслѣ всегда готовъ былъ на борьбу съ правонарушителями, борьбу упорную, безпощадную, несмотря на всю безукоризненность внѣшнихъ пріемовъ, что и сказалось въ его послѣднемъ словѣ, въ дѣлѣ Кредитнаго Общества. Припоминаю одинъ эпизодъ изъ нашей общей борьбы по поводу правилъ 3 марта: въ одномъ изъ нашихъ собраній, по поводу предстоявшихъ выборовъ въ Совѣтъ новыхъ членовъ, бывшемъ въ квартирѣ А. И., по иниціативѣ А. М. Фальковскаго рѣшено было созвать въ частное собраніе всѣхъ безъ исключенія членовъ сословія, не смотря на ихъ взгляды и мнѣнія. Я рѣзко возражалъ противъ такого созыва. Александръ же Ивановичъ по своему безпристрастію присоединился къ этому рѣшенію. Когда мы собрались въ бѣлой залѣ большой Московской Гостинницы, то, къ удивленію, противники наши не только не поразили насъ своимъ отсутствіемъ, но напротивъ — явились въ громадномъ большинствѣ, и не смотря на то, что призывъ былъ со стороны нашей партіи, не нашли даже нужнымъ деликатничать съ нами, не выбрали, какъ мы предполагали А. И. предсѣдателемъ собранія, но очевидно сговорившись впередъ, избрали предсѣдателемъ одного изъ своихъ вожаковъ. Когда же И. С. Куриловъ началъ излагать нѣкоторыя изъ положеній, принятыхъ нами на предварительномъ нашемъ собраніи, то предсѣдатель, поддерживаемый большинствомъ, повелъ пренія съ полнымъ пренебреженіемъ къ нашимъ мнѣніямъ. Положеніе наше было критическимъ. Болѣе горячіе изъ насъ хотѣли даже оставить залу собранія, но А. И. удержалъ насъ спокойнымъ замѣчаніемъ, что нельзя же хозяевамъ, пригласивъ гостей, уходить изъ квартиры, оставивъ гостей однихъ; не могу не сознаться, что это было единственно достойное пове-

деніе въ нашемъ непріятномъ положеніи. Теперь, когда страсти уже достаточно улеглись, многое изъ того, къ чему мы стремились, достигнуто, такое рыцарское отношеніе къ противникамъ можетъ быть даже имѣло свою долю пользы. Къ сожалѣнію мнѣ мало пришлось встрѣчаться съ А. И. на поприщѣ художества. Главнымъ образомъ онъ увлекался театромъ, котораго я совершенно чуждъ. Разъ только сошлись мы на родственной искусству почвѣ — фотографіи. Мы были оба членами Комитета по устройству съѣзда свѣтописи, устроивавшагося по иниціативѣ Русскаго Фотогр. Общества въ 1896 г., но и тутъ наше общее участіе коснулось не столько художественной стороны дѣла, сколько юридической. Съ полнымъ сочувствіемъ А. И. отнесся къ вопросу о правѣ фотогр. собственности и далъ по этому поводу очень много цѣнныхъ указаній. Затѣмъ встрѣчаясь съ нимъ на нашихъ частныхъ собраніяхъ, обѣдахъ, между прочимъ, на его юбилейномъ обѣдѣ, я не могу не вспомнить его, всегда слегка ироническую, улыбку, чудную литературную рѣчь, отсутствіе всякой фамиліарности, нѣкоторый сибаритизмъ. Все это вмѣстѣ взятое указывало на что-то недосказанное, потому-ли, что онъ зналъ, что иногда лучше умалчивать или потому, что онъ видѣлъ полную безцѣльность въ горячности и рѣзкости высказываемыхъ убѣжденій. Наконецъ онъ слишкомъ хорошо, можетъ быть, зналъ людей, чтобы не относиться къ нимъ съ нѣкоторою усмѣшкой хотя бы и добродушной.

Н. Баснинъ.

Кн. А. И. Урусовъ, какъ патронъ.

Раньше, чѣмъ говорить о Кн. А. И. Урусовѣ, мнѣ хочется сказать нѣсколько словъ о моемъ первомъ патронѣ, —теперь тоже уже покойномъ—о Рудольфѣ Рудольфовичѣ Минцловѣ. Практика у него была не особенно обширная. Онъ завѣдывалъ юрисконсультской частью Правленія Рязанско-Уральской ж. д. По своимъ склонностямъ Р. Р. былъ теоретикъ, по образованію энциклопедистъ, а въ жизни—прямой, сердечный человѣкъ съ широкимъ политическимъ міросозерцаніемъ.

Библіотека Минцлова славилась по Москвѣ. Она заключала въ себѣ болѣе 10 тысячъ названій. Тутъ были сочиненія по всѣмъ отраслямъ знаній, и въ этомъ отношеніи книжные шкафы въ старомъ домѣ на Старой Басманной служили вѣрнымъ отраженіемъ своего хозяина. Р. Р. зналъ древніе языки, нѣсколько иностранныхъ, по французски и по нѣмецки онъ не только превосходно говорилъ, но и писалъ совершенно свободно. Онъ занимался исторіей, философіей, гражданскимъ правомъ и политической экономіей, увлекался высшей математикой и любилъ, въ видѣ отдыха, рѣшать задачи при помощи дифференціаловъ.

Ходилъ я къ нему два или три раза въ недѣлю, но больше, какъ говорится, „для порядка“. За отсутствіемъ юридическихъ „казусовъ“ мы съ нимъ бесѣдовали на разныя темы, а иногда присаживались къ роялю и подолгу играли въ 4 руки. Чтобы посвятить меня въ ораторское искусство, онъ рекомендовалъ мнѣ читать Квинтиліана по латыни.

деніе въ нашемъ непріятномъ положеніи. Теперь, когда страсти уже достаточно улеглись, многое изъ того, къ чему мы стремились, достигнуто, такое рыцарское отношеніе къ противникамъ можетъ быть даже имѣло свою долю пользы. Къ сожалѣнію мнѣ мало пришлось встрѣчаться съ А. И. на поприщѣ художества. Главнымъ образомъ онъ увлекался театромъ, котораго я совершенно чуждъ. Разъ только сошлись мы на родственной искусству почвѣ — фотографіи. Мы были оба членами Комитета по устройству съѣзда свѣтописи, устроивавшагося по иниціативѣ Русскаго Фотогр. Общества въ 1896 г., но и тутъ наше общее участіе коснулось не столько художественной стороны дѣла, сколько юридической. Съ полнымъ сочувствіемъ А. И. отнесся къ вопросу о правѣ фотогр. собственности и далъ по этому поводу очень много цѣнныхъ указаній. Затѣмъ встрѣчаясь съ нимъ на нашихъ частныхъ собраніяхъ, обѣдахъ, между прочимъ, на его юбилейномъ обѣдѣ, я не могу не вспомнить его, всегда слегка ироническую, улыбку, чудную литературную рѣчь, отсутствіе всякой фамиліарности, нѣкоторый сибаритизмъ. Все это вмѣстѣ взятое указывало на что-то недосказанное, потому-ли, что онъ зналъ, что иногда лучше умалчивать или потому, что онъ видѣлъ полную безцѣльность въ горячности и рѣзкости высказываемыхъ убѣжденій. Наконецъ онъ слишкомъ хорошо, можетъ быть, зналъ людей, чтобы не относиться къ нимъ съ нѣкоторою усмѣшкой хотя бы и добродушной.

Н. Баснинъ.

Кн. А. И. Урусовъ, какъ патронъ.

Раньше, чѣмъ говорить о Кн. А. И. Урусовѣ, мнѣ хочется сказать нѣсколько словъ о моемъ первомъ патронѣ, —теперь тоже уже покойномъ—о Рудольфѣ Рудольфовичѣ Минцловѣ. Практика у него была не особенно обширная. Онъ завѣдывалъ юрисконсультской частью Правленія Рязанско-Уральской ж. д. По своимъ склонностямъ Р. Р. былъ теоретикъ, по образованію энциклопедистъ, а въ жизни—прямой, сердечный человѣкъ съ широкимъ политическимъ міросозерцаніемъ.

Библіотека Минцлова славилась по Москвѣ. Она заключала въ себѣ болѣе 10 тысячъ названій. Тутъ были сочиненія по всѣмъ отраслямъ знаній, и въ этомъ отношеніи книжные шкафы въ старомъ домѣ на Старой Басманной служили вѣрнымъ отраженіемъ своего хозяина. Р. Р. зналъ древніе языки, нѣсколько иностранныхъ, по французски и по нѣмецки онъ не только превосходно говорилъ, но и писалъ совершенно свободно. Онъ занимался исторіей, философіей, гражданскимъ правомъ и политической экономіей, увлекался высшей математикой и любилъ, въ видѣ отдыха, рѣшать задачи при помощи дифференціаловъ.

Ходилъ я къ нему два или три раза въ недѣлю, но больше, какъ говорится, „для порядка“. За отсутствіемъ юридическихъ „казусовъ“ мы съ нимъ бесѣдовали на разныя темы, а иногда присаживались къ роялю и подолгу играли въ 4 руки. Чтобы посвятить меня въ ораторское искусство, онъ рекомендовалъ мнѣ читать Квинтиліана по латыни.

Квинтиліана я не читалъ, да Р. Р. и не настаивалъ на этомъ. Онъ подарилъ мнѣ нѣсколько своихъ статей съ слѣдующей надписью:

„Вы поступили ко мнѣ въ помощники, О. Б., и я обязанъ Васъ научить нашему профессіональному дѣлу.

Что значитъ учить въ высшемъ значеніи этого слова? Это значитъ вести ученика къ познанію истины, къ поклоненію истинѣ и къ постепенному ея примѣненію въ практической жизни.

А „истина", говоритъ гдѣ-то Фейербахъ, „не продажная женщина, бросающаяся въ объятія перваго встрѣчнаго, а гордая красавица, созерцаніе которой достается, и то лишь на мгновеніе, тому, кто посвятитъ ей всю жизнь". И въ доказательство того, что вашъ учитель стремился въ теченіи жизни своей къ этому созерцанію, онъ, изъ числа произведеній своихъ, проситъ Васъ принять семь оттисковъ трудовъ его, напечатанныхъ въ Журналѣ Гражд. и Торг. права и въ Юридическомъ Вѣстникѣ. Къ этому прилагается и ключъ къ тому, что Египтяне поэтически называли „аптекою души", или, иначе сказать, схема систематическаго каталога библіотеки Вашего патрона. Р. Минцловъ. Москва 1889 года. Августа 1 дня".

За все время моего пребыванія у Минцлова, я, по его порученію, велъ два или три дѣла,—все больше по взысканію вознагражденія за веденіе дѣла (съ противной стороны). Но когда у Р. Р. бывали въ производствѣ дѣла, онъ давалъ мнѣ всѣ бумаги для ознакомленія и неоднократно бесѣдовалъ со мною въ связи съ данными и ходомъ процесса. По извѣстному дѣлу Вельяшева, котораго онъ защищалъ, я зналъ всѣ детали, а на судѣ принималъ косвенное участіе, какъ стенографъ.

Когда въ 1889 году въ Москву переѣхалъ Кн. А. И. Урусовъ — я сдѣлался его фактическимъ помощникомъ, но у Минцлова я по прежнему продолжалъ бывать два раза въ недѣлю, пока онъ окончательно не переселился въ Петербургъ.

Между нами ни разу не нарушались самыя дружескія отношенія. Въ послѣдній разъ я его видѣлъ уже въ лѣчебницѣ безнадежно больнымъ, незадолго до его кончины.

Урусова и Минцлова соединяли „вкусъ къ книгѣ“, непоколебимый, въ плоть и кровь воспринятый европеизмъ,— но, вообще говоря, это были люди различнаго типа. Минцловъ, по складу ума, былъ теоретикъ, а Кн. Урусовъ прежде всего былъ человѣкъ жизни и адвокатъ по призванію.

Я работалъ подъ руководствомъ Александра Ивановича и вмѣстѣ съ нимъ около десяти лѣтъ, т. е. имѣлъ возможнаблюдать его въ разнообразной 'и — такъ часто — неблагодарной обстановкѣ ежедневнаго труда.

Я далекъ отъ тщеславной претензіи изобразить портретъ Александра Ивановича во весь ростъ. Моя задача гораздо скромнѣе. Я желалъ бы въ этой книгѣ—памятникѣ любви къ Урусову—разсказать, какой онъ былъ учитель для молодыхъ адвокатовъ.

По свойству своего скептическаго ума, Ал. Ив. питалъ органическую антипатію къ установленнымъ разъ навсегда шаблонамъ. Въ каждомъ его дѣлѣ чувствуется творческій темпераментъ художника, стремящагося овладѣть дѣйствительностью, что бы дать ей высшее выраженіе.

Урусовъ никогда не работалъ одиноко, всегда съ помощниками. Это было постоянное живое общеніе, удивительно разнообразное, въ зависимости отъ индивидуальности, съ которой онъ сталкивался, и въ то же время очень опредѣленное въ основныхъ принципахъ. Я постараюсь представить его въ „дѣлѣ“ и въ обществѣ помощниковъ. Но предварительно нѣсколько словъ о немъ самомъ.

Князь А. И. Урусовъ родился въ Москвѣ 2 апрѣля 1843 г. Русскую словесность и литературу онъ изучилъ въ 1-й Московской гимназіи подъ руководствомъ Н. С. Тихонравова. Домашнимъ театромъ и литературными чтеніями въ гимназіи руководилъ Аполлонъ Григорьевъ. Въ Университетъ А. И. Урусовъ поступилъ въ 1861 г., за участіе

въ безпорядкахъ былъ исключенъ,—скоро однако былъ принятъ обратно и окончилъ юридическій факультетъ въ 1866 году.

А. Ф. Кони такъ отмѣчаетъ первые шаги его на судебномъ поприщѣ: „Кандидатъ съ родовитымъ именемъ и блестящимъ образованіемъ, котораго природа щедро одарила дарами, необходимыми для защитника". Вскорѣ этотъ кандидатъ вызвалъ неслыханный восторгъ публики защитительною рѣчью по дѣлу Волоховой, обвинявшейся въ убійствѣ мужа,—рѣчью (по отзыву А. Ф. Кони), „сломившею силою чувства и тонкостью разбора уликъ тяжкое и серьезное обвиненіе".

Въ 1872 г. Александръ Ивановичъ, только что вернувшійся изъ заграничной поѣздки*) въ Москву, былъ высланъ административнымъ распоряженіемъ въ г. Венденъ Лифляндской губерніи. Тутъ онъ пробылъ почти 4 года. Положеніе его было критическое: оторванный отъ любимой профессіи, разоренный, и впереди — никакого проблеска надежды... Но не въ его натурѣ было предаваться отчаянію. Онъ рѣшилъ искать занятій на новомъ поприщѣ и... выправилъ себѣ прикащичье свидѣтельство... Я самъ видѣлъ у Александра Ивановича этотъ любопытный документъ, на которомъ имя великаго русскаго адвоката, словно не написано, а приклеено, какъ будто готовое отдѣлиться отъ бумаги. На этотъ разъ однако, судьба сжалилась надъ А. И., да кстати ужь и надъ русской адвокатурой. Пробывъ нѣкоторое время секретаремъ Лифляндскаго, Эстляндскаго и Курляндскаго генералъ-губернатора, Александръ Ивановичъ въ 1876 г. былъ назначенъ товарищемъ прокурора варшавскаго суда, а въ 1878 г. перешелъ на ту же должность въ С.-Петербургскій судъ.

---

*) Кстати, кажется, лишь немногіе друзья его помнятъ, что во время этой поѣздки онъ сблизился съ знаменитымъ адвокатомъ Жюль Фавромъ и подарилъ ему свой портретъ съ слѣдующей надписью: Avocat prince au prince des avocats.

Адвокатъ по природѣ и прокуроръ поневолѣ — онъ чувствовалъ себя не на мѣстѣ въ роли обвинителя и не скрывалъ этого. „У насъ есть почтенное сословіе присяжныхъ повѣренныхъ, сословіе, къ которому и я когда то имѣлъ честь принадлежать“ говорилъ обвинитель Гулакъ-Артемовской. Въ мастерской рѣчи (по этому дѣлу) Урусовъ далъ классическую характеристику „темной, но сильной среды“. Теперь, когда русскій народъ и русское общество расплачивается за ажіотажъ высокопоставленныхъ авантюристовъ—слова Урусова—въ забытомъ процессѣ Гулакъ-Артемовской—звучатъ какъ первый призывъ противъ врага. Позволю себѣ привести это мѣсто:

„Дѣло, подобное настоящему, сказалъ онъ, едва ли проходило еще въ здѣшнемъ судѣ. Дѣйствительно, г.г. присяжные засѣдатели, преступленіе это является дѣломъ темной, но сильной среды. Оно исходитъ изъ міра ложнаго блеска и достоинства напускного. Это — міръ внѣшняго изящества и внутренняго безобразія, это—міръ матеріальнаго обезпеченія и нравственнаго убожества, внѣшней представительности и внутренняго мошенничества; міръ сильныхъ протекцій и вліятельныхъ связей, подъ покровомъ которыхъ играютъ инстинкты самаго необузданнаго, безстыднаго хищничества. Вотъ какой міръ, вотъ представители какого міра въ яркихъ образахъ и картинахъ прошли предъ вами въ теченіе этихъ двухъ памятныхъ для всѣхъ насъ дней. Приподнялась только часть завѣсы, только уголъ ея. Когда выступаютъ на судъ лица, принадлежащія къ такой средѣ, которая и сильна, и матеріально богата, и имѣетъ связи, имѣетъ знакомства съ высокопоставленными лицами — о, какъ трудно правосудію здѣсь достигнуть цѣли. Сколько препятствій, сколько затрудненій, сколько негодованія вызываетъ только одна попытка уголовнаго правосудія поставить передъ вами на судъ этихъ лицъ и осуществить слова законодателя, который постановилъ равенство всѣхъ передъ судомъ. Это равенство, которое провозглашено Державнымъ Законодателемъ, да-

ровавшимъ судебную реформу Россіи, какъ часто оно остается только словомъ".

Когда я въ первый разъ подходилъ къ дому Урусова въ Никольскомъ пер., я ужасно волновался. Хотя я зналъ, что Урусовъ предупрежденъ и самъ назначилъ время, когда мнѣ придти, мнѣ все казалось, что я ни за что не сумѣю объяснить, зачѣмъ я явился. Александръ Ивановичъ лишь за нѣсколько дней передъ тѣмъ переѣхалъ изъ Петербурга въ Москву и у него еще здѣсь не было помощниковъ. Отлично помню этотъ день. Это было 1 ноября 1889 года. Когда я вошелъ къ нему въ кабинетъ, Александръ Ивановичъ стоялъ на передвижной лѣстницѣ и занимался установкой книгъ на полкахъ, которыми сплошь покрыты были стѣны до самаго потолка. Онъ встрѣтилъ меня съ милой простотою, отличающей очень воспитанныхъ людей. Ни тѣни важности, которая такъ пугаетъ новичковъ, мѣшая надолго, иной разъ навсегда, сближенію. Черезъ минуту онъ уже объяснялъ мнѣ наглядно систему, принятую имъ для своихъ занятій. Въ этомъ отношеніи онъ былъ, дѣйствительно, виртуозъ. На пюпитрѣ лежала огромная толстая книга, похожая на главную книгу торговаго предпріятія. Каждая страница въ ней раздѣлена была тремя линіями на четыре части. Въ первой графѣ, рядомъ съ цифрами, писались фамиліи довѣрителей; по широкой строкѣ записано было подробно все, что въ тотъ день произошло: 1) получено письмо, 2) отвѣчено, 3) отвѣтъ копированъ на такой то стр. копировальной книги, 4) назначено засѣданіе и т. п. Въ послѣдней графѣ помѣщались случайныя примѣчанія и поправки. На верху страницы помѣчены день и число. Такимъ образомъ, ежедневно, по всѣмъ дѣламъ, записывалось рѣшительно все, что происходило. Засѣданія, резолюціи, письма, отвѣты, посѣщенія и т. д. и передъ каждой фамиліей ставился въ послѣдовательномъ порядкѣ номеръ. Каждому дѣлу соотвѣтствовала пробитая двумя отверстіями карточка; всѣ карточки въ строго алфавитномъ порядкѣ продѣвались на

дугу, въ которой онѣ передвигались, какъ адресные билеты въ Адресномъ Столѣ. На каждую карточку заносились всѣ №№, подъ которыми были записи о данномъ дѣлѣ. Достаточно было найти карточку, чтобы въ одну минуту розыскать дѣло въ архивѣ, если даже оно было сдано туда 10 лѣтъ тому назадъ. На карточкахъ оконченныхъ дѣлъ стоялъ отдѣльно № архива; карточки не вынимались изъ дуги никогда. По карточкѣ можно было легко и быстро прослѣдить весь ходъ дѣла, переписки и проч. Письма копировались. Впослѣдствіи, когда появилась машина Ремингтонъ, я сталъ всѣ письма и проч. бумаги, независимо отъ копировки въ книгѣ печатать въ 2-хъ экземплярахъ. Такимъ образомъ, въ дѣлѣ оставалась полная картина его движенія, а журналъ былъ его хронологическимъ отраженіемъ, представляя собой очевидное доказательство, какъ для насъ самихъ, такъ и, въ случаѣ надобности, для Совѣта. Для систематическаго распрѣделенія писемъ въ алфавитномъ и хронологическомъ порядкѣ, мы пользовались такъ называемыми распредѣлителями писемъ или Сенекенами. Впослѣдствіи этотъ порядокъ былъ нѣсколько видоизмѣненъ. Большая часть писемъ помѣщалась въ соотвѣтствующія дѣла, а въ распредѣлитель шли тѣ, которыя почему либо въ дѣло помѣститьбыло нельзя потому, что они относились къ разнымъ дѣламъ, или потому, что они были частнаго характера.

На стѣнѣ висѣла таблица сроковъ, куда заносились процессуальные и всякіе иные сроки.

Ознакомивъ меня съ порядкомъ, Александръ Ивановичъ просилъ меня приходить ежедневно въ 11 час. Впослѣдствіи, съ прибавленіемъ числа помощниковъ, я посѣщалъ его три и два раза въ недѣлю; — мы назначали дежурные дни, каждый въ свое дежурство оставался отъ 11 до 3 ч., а иногда и дольше, если бывали занятія. Къ „системѣ“ приноравливались очень быстро. И Урусовъ, и помощники записывали въ журналъ все, что каждый совершалъ по дѣламъ; благодаря этому, каждый изъ насъ всегда былъ

въ курсѣ всѣхъ дѣлъ и могъ дать справку о положеніи даже тѣхъ дѣлъ, которыхъ не велъ лично.

Отношенія Александра Ивановича къ помощникамъ отличались необыкновенной искренностью. Передъ нами у него не было дѣловыхъ тайнъ. Всѣ письма распечатывалъ тотъ, кто ихъ получалъ, или кто находилъ ихъ нераспечатанными; сейчасъ же они записывались въ журналъ съ указаніемъ краткаго содержанія. Кліентовъ Александръ Ивановичъ принималъ большею частью въ присутствіи помощниковъ, развѣ кто выражалъ желаніе объясниться съ нимъ наединѣ, или если это требовалось исключительными обстоятельствами самого дѣла. Въ такихъ случаяхъ, оставляя помощниковъ въ кабинетѣ, Александръ Ивановичъ переходилъ рядомъ въ гостинную; чаще всего, онъ приглашалъ туда кого нибудь изъ насъ, излагалъ вкратцѣ дѣло, —и тутъ же совѣтовался о нѣкоторыхъ деталяхъ, и затѣмъ дѣло велось совмѣстно съ тѣмъ помощникомъ, который съ нимъ ознакомился. Это также записывалось въ журналъ. Если помощникъ велъ дѣло самостоятельно, т. е. не только подготовлялъ его, но и выступалъ въ засѣданіяхъ Суда, то получалъ половину гонорара. Бывало и такъ, что половину получали тѣ, кто выступать не могъ, по причинамъ отъ нихъ независящимъ (евреи во время моего стажа у Александра Ивановича были уже лишены права получать свидѣтельства на ходатайство по чужимъ дѣламъ).

По этому поводу нельзя не вспомнить отношенія Александра Ивановича къ евреямъ. Расовая ненависть до такой степени была чужда его благородной натурѣ, что антисемиты вызывали въ немъ чувство какого-то брезгливаго сожалѣнія, какъ люди, одержимые непристойной маніей. Ихъ жалко, какъ больныхъ, но болѣзнь ихъ противная. Когда съ благословенія министра юстиціи Манассеина, въ въ присяжной адвокатурѣ—стала разыгрываться циническая травля „іудея“,—Урусовъ, возмущенный, первый высказалъ, что это начало паденія Сословія.—На одномъ

изъ общихъ собраній нѣкоторые господа пытались скрыть свои вожделѣнія подъ благочестивой маской служенія высшимъ интересамъ сословія. Лицемѣріе было слишкомъ грубое и Урусова покинуло его обычное самообладаніе.

— Господа, заговорилъ онъ негодующимъ голосомъ, откроемъ карты, скажемъ прямо, что рѣчь идетъ о прекращеніи доступа евреямъ въ адвокатуру. Это будетъ по крайней мѣрѣ честно и ясно, и споръ сосредоточится на главномъ, а не на побочномъ.

Отвѣтомъ на этотъ вызовъ были правила 3 марта 1896 г., изданныя Совѣтомъ. Вѣрный своимъ принципамъ Урусовъ, предложилъ намъ исполнять правила, пока они законнымъ образомъ не будутъ отмѣнены, и немедленно подалъ жалобу въ Палату, а затѣмъ въ Сенатъ, гдѣ правиламъ были устроены достойныя похороны. Урусовъ не терпѣлъ лицемѣрія и всегда шелъ на противника съ поднятымъ забраломъ. Но встрѣчаясь съ врагомъ внѣ „арены", онъ подходилъ къ нему съ любопытствомъ коллекціонера и любезностью свѣтскаго человѣка.

Какъ-то встрѣтился онъ въ вагонѣ съ присяжнымъ повѣреннымъ К., однимъ изъ авторовъ пресловутыхъ „Правилъ". Тотъ, увидавъ Урусова, сконфузился, сначала молчалъ, потомъ заговорилъ скромно, робко, словно извиняясь. Урусовъ отвѣчалъ съ обычной своей учтивостью и вскорѣ они разговорились. Успокоенный мирнымъ тономъ бесѣды — К., подъѣзжая къ Москвѣ, развязно замѣтилъ: Эхъ, Александръ Ивановичъ, если-бъ не нѣкоторые ваши принципы, то кому бы и быть предсѣдателемъ Совѣта, какъ не вамъ. Урусовъ шутливо отвѣтилъ:—очень вамъ благодаренъ, я не честолюбивъ. К. не удовлетворился этимъ возраженіемъ и сталъ пространно и смутно объяснять адвокатскій крестовый походъ на „не христіанъ". Знаете, князь, сказалъ онъ въ заключеніе, я гораздо больше люблю настоящихъ евреевъ, чѣмъ крещеныхъ. Урусовъ иронически замѣтилъ:— Н-ну! ваше „больше" такъ мало, что они, представьте, этого совсѣмъ не замѣчаютъ.

Но, возвращаюсь къ Урусову—патрону. Корректность не покидала Ал. Ив. даже и въ тѣхъ щекотливыхъ случаяхъ, когда вслѣдствіе промаха помощника, онъ бывалъ задѣтъ лично. Приведу интересный случай. Ко мнѣ обратился одинъ довольно извѣстный спортсмэнъ съ просьбой вести его дѣло по иску о признаніи незаконнымъ общаго собранія акціонеровъ (кажется, онъ былъ однимъ изъ учредителей общества).

Я сказалъ спортсмэну, что попрошу своего патрона принять это дѣло. Оно было довольно сложное, составленіе исковаго прошенія потребовало времени. Между тѣмъ, нашъ кліентъ окончилъ дѣло миромъ, ничего намъ не сообщивъ. Кн. Урусовъ предъявилъ искъ, явился въ засѣданіе Суда, и вдругъ противникъ заявляетъ Суду, что искъ предъявленъ уже послѣ мирового соглашенія. Въ „Новомъ Времени“ появилась статья о томъ, что Александръ Ивановичъ Урусовъ нарушаетъ де всѣ божескіе и человѣческіе законы въ угоду какому то еврею (кліентъ нашъ былъ, какъ принято выражаться, по происхожденію еврей), покусившемуся на жизнь акціонернаго Общества. Придя на дежурство я, по обыкновенію сталъ просматривать журналъ, и увидалъ подъ очереднымъ №. „См. № такой-то „Нов. Вр.“. Такіе факты ни въ какомъ случаѣ повторяться не должны“. Я обомлѣлъ отъ ужаса и стыда. Вѣдь кліентъ былъ мой... и я невольно чувствовалъ отвѣтственность за его неприличное поведеніе. Я былъ увѣренъ, что Урусовъ обрушится на меня, но онъ только протянулъ мнѣ листъ „Нов. Вр.“ и, слегка поморщившись, сказалъ—„Какъ это непріятно“! Думаю, что немного найдется патроновъ съ такой выдержкой.

Когда Александръ Ивановичъ оставался дома, то занимался вмѣстѣ съ нами. Первое время, зная мою неопытность, онъ даже диктовалъ мнѣ письма; послѣ, когда я пріобыкъ, мы вмѣстѣ обсуждали, что надо отвѣтить по тому или другому случаю. Принимая дѣло, онъ внимательно выслушивалъ мнѣнія помощниковъ, такъ же какъ и при

составленіи исковаго прошенія, жалобы и т. д. Никогда А. Ив. не давилъ насъ своимъ авторитетомъ, и до того не любилъ импонировать, что болѣе наивные товарищи имѣли о его познаніяхъ представленіе весьма далекое отъ дѣйствительности. Думали, напримѣръ, что онъ мало готовится и мало вникаетъ въ дѣла. Это совершенно невѣрно. Большей частью, кто нибудь изъ помощниковъ читалъ вслухъ исковое прошеніе противной стороны, жалобу или обвинительный актъ, и затѣмъ начиналось обсужденіе дѣла. Урусовъ такъ же внимательно выслушивалъ насъ, какъ мы его; никогда я не замѣчалъ насмѣшки — развѣ только въ формѣ добродушной шутки;—наоборотъ, удачное соображеніе, даже удачное выраженіе помощника—особенно у новичка, вызывало со стороны Александра Ивановича искреннее удовольствіе. Когда Александръ Ивановичъ возвращался изъ засѣданія (или на другой день),—то оживленно разсказывалъ о дѣлѣ, передавалъ интересныя возраженія, цитировалъ наиболѣе удачныя мѣста преній.

Онъ умѣлъ цѣнить талантъ противника, какъ умѣетъ большой художникъ наслаждаться произведеніемъ другого художника. Помнится, пріѣхалъ онъ изъ Харькова, гдѣ въ Судебной Палатѣ слушалось дѣло Павловскихъ Сторожиловъ. Онъ велъ его лѣтъ 20, или около того и—очень удачно; много было потрачено труда на это земельное дѣло; онъ выступалъ и въ Съѣздѣ (по поводу нарушенія владѣнія), и въ Судѣ, и въ Палатѣ, и въ Сенатѣ, откуда оно снова попало въ Палату. Дѣло онъ изучилъ великолѣпно, вѣрилъ въ него. Наконецъ по гонорару это было самое крупное изъ его дѣлъ. Въ Палатѣ противникомъ его выступилъ А. Я. Пассоверъ, и Урусовъ дѣло проигралъ. Вернулись они въ Москву вмѣстѣ. И что же? Урусовъ, разсказывая намъ о своей неудачѣ, говорилъ: „Что же я могъ противъ него подѣлать? Онъ сразу нашелъ слабое мѣсто, вонзился въ него и поразилъ меня. Вѣдь, это геній. Когда пріѣхалъ Пассоверъ,—Урусовъ казался гораздо веселѣе своего противника; за обѣдомъ онъ безъ конца острилъ и съ востор-

гомъ слушалъ Пассовера. Между прочимъ, оба они перебирали „перлы“ стиля въ адвокатскихъ рѣчахъ.

Кто слышалъ Урусова, тотъ помнитъ, какъ плѣнительно было его слово. Его рѣчи и въ чтеніи не теряютъ своего обаянія, (а это бываетъ не часто). Къ сожалѣнію, ихъ сохранилось очень не много. Урусовъ хоть и былъ коллекціонеръ, а не умѣлъ копить своихъ богатствъ. Онъ обладалъ всѣми данными оратора. Прекрасный голосъ (бархатный баритонъ, какъ онъ самъ шутливо говорилъ, „воспѣтый русскими фельетонистами“), великолѣпная дикція, чувство мѣры, рѣдкая находчивость, стройность изложенія и удивительная, прямо чарующая простота. Урусовъ былъ врагъ риторики и часто трунилъ надъ слабостью — даже патентованныхъ ораторовъ—притягивать за волосы не идущіе къ дѣлу сравненія и образы. Его собственная фраза отличалась сжатостью. Расплывчатость, декламацію, высокопарныя метафоры, онъ считалъ дурнымъ тономъ; больше всего ему претили общія мѣста и сантиментальность. „Лучше быть сухимъ, чѣмъ банальнымъ“, говаривалъ онъ. Онъ цѣнилъ ритмъ фразы, избѣгалъ повторенія однихъ и тѣхъ же словъ, даже однообразнаго сочетанія звуковъ и слоговъ, любилъ записывать въ свою карманную книжку ораторскіе и литературные „перлы“.—Когда бывалъ въ духѣ, онъ раскрывалъ свою книжку и торжественнымъ голосомъ начиналъ декламировать: „Господа присяжные засѣдатели, вы только что выслушали нарисованную обвинителемъ картину... Публику надо пріучать къ честности—всхлипнула она... Милостивые государыни и господа! видѣть идею—вотъ что важно..“ Въ дѣловыхъ бумагахъ онъ не терпѣлъ того, что онъ называлъ „беллетристикой“, т. е. недѣлового тона. При составленіи исковыхъ прошеній, жалобъ и т. п. онъ настойчиво требовалъ отъ помощниковъ, чтобы они, по возможности, придерживались точныхъ выраженій закона. Благодаря этому его дѣловыя бумаги и даже письма отличались лаконизмомъ. За то передъ судомъ—онъ являлся во всеоружіи своего мо-

гучаго таланта. Онъ въ совершенствѣ владѣлъ искусствомъ нюансовъ и только изрѣдка, въ самыхъ крайнихъ случаяхъ разрѣшалъ себѣ рѣзкій тонъ. Такъ, по дѣлу о злоупотребленіяхъ Кронштадскаго банка, онъ защищалъ кн. О. и, когда прокуроръ пустилъ ядовитую о стрѣлу защитѣ биржевой игры, Урусовъ отвѣтилъ: „Есть, г. г. присяжные засѣдатели, болѣе опасная игра, о которой не упомянулъ г. прокуроръ, это игра на повышеніе". Но обыкновенно Урусовъ избѣгалъ рѣзкостей и никогда не унижался до грубыхъ выраженій. Эта черта заслуживаетъ особеннаго вниманія. Нельзя подражать Урусову въ краснорѣчіи, — ораторское искусство, какъ и всякій талантъ есть удѣлъ избранниковъ,—но слѣдовать его сдержанности можетъ каждый, кто помнитъ, что самообладаніе есть первое качество адвоката.

Послѣ засѣданій Урусовъ обыкновенно разспрашивалъ помощниковъ, что и какъ они говорили. Ежедневныя совмѣстныя занятія съ нимъ были для насъ разнообразнѣйшей школой. Александръ Ивановичъ бесѣдовалъ обо всемъ: о засѣданіяхъ, о дѣлахъ, о литературѣ, о новыхъ книгахъ, о картинахъ, о своихъ встрѣчахъ.

Онъ часто ѣздилъ заграницу и оттуда привозилъ массу новыхъ впечатлѣній. По одному наслѣдственному дѣлу, напримѣръ, онъ прожилъ 6 недѣль въ Лондонѣ и потомъ много разсказывалъ объ устройствѣ англійской адвокатуры. Англійскіе судьи производили на него глубокое впечатлѣніе своей доступностью и простотой. Извѣстно, что Урусовъ выступалъ въ Парижскомъ Судѣ по дѣлу о диффамаціи (писателя Bloy). Парижскій Совѣтъ присяжныхъ повѣренныхъ оказалъ ему самый радушный пріемъ; онъ получилъ разрѣшеніе предсѣдателя выступить защитникомъ, причемъ ему было дозволено пледировать во фракѣ. Кліентъ его былъ оправданъ, и два дня газеты шумѣли объ этомъ событіи.

Какъ Урусовъ готовился къ защитѣ? Писалъ ли онъ свои рѣчи или говорилъ экспромтомъ? Ни то, ни другое. На отдѣльные листки онъ заносилъ замѣтки изъ дѣла, свидѣтельскія

показанія, законы и толкованія, удачныя сопоставленія, иногда часть рѣчи, затѣмъ онъ размѣщалъ свои карточки какъ статистикъ, въ томъ порядкѣ, какой былъ ему въ данный моментъ удобенъ, а впослѣдствіи перемѣщалъ ихъ, вставляя, по мѣрѣ надобности, новыя. Одно несомнѣнно,—остовъ рѣчи онъ записывалъ.

Большая публика знаетъ только внѣшній успѣхъ Урусова. Начало его дѣятельности было сплошнымъ тріумфомъ. Имя Александра Ивановича гремѣло по всей Россіи; онъ производилъ на судей и присяжныхъ неотразимое впечатлѣніе. Мнѣ разсказывалъ одинъ изъ первыхъ его помощниковъ, что въ одно турнэ Урусова по Россіи, онъ насчиталъ подрядъ 69 оправдательныхъ приговоровъ. При этомъ Александръ Ивановичъ никогда, по крайней мѣрѣ на моей памяти, не бралъ очень крупныхъ гонораровъ, а по нѣкоторымъ дѣламъ обнаруживалъ особенную скромность. Въ первые годы, какъ мнѣ говорили у него было очень много крестьянскихъ дѣлъ. Въ Петербургѣ (и въ мое время въ Москвѣ) онъ велъ значительное число дѣлъ увѣчныхъ. Тутъ онъ держался твердо правила о 10% вознагражденія. И очень характерно, что когда въ Совѣтѣ возникло дисциплинарное производство по поводу гонорара въ 20%,—докладывалъ дѣло Александръ Ивановичъ. Совѣтъ оставилъ жалобу безъ послѣдствій, но тутъ же рѣшилъ сдѣлать этотъ вопросъ, какъ имѣющій общій сословный интересъ, предметомъ особаго разсмотрѣнія, поручивъ докладъ также Александру Ивановичу. Именно по его предложенію и было циркулярно объявлено по округу, что въ дѣлахъ... по 683 ст. при заключеніи условія о вознагражденіи слѣдуетъ гонораръ исчислять не свыше 10% съ присужденной суммы, такъ какъ „присяжные повѣренные и помощники въ своихъ отношеніяхъ къ этой категоріи кліентовъ должны соблюдать особую осторожность, чтобы не подать поводовъ къ нареканіямъ, могущимъ повредить чести и доброму имени сословія“. (Отч. 1897—1898 г. Моск. Сов. № 51-й, стр. 14).

До какой степени Урусову были чужды злоба, вражда, мстительность, свидѣтельствуетъ слѣдующій случай. Съ однимъ изъ бывшихъ его помощниковъ у него произошло крупное недоразумѣніе на дѣловой почвѣ. Александръ Ивановичъ потребовалъ третейскаго Суда, который и призналъ его обидчика кругомъ виноватымъ. Урусовъ счелъ себя вполнѣ удовлетвореннымъ и немедленно примирился съ NN. Живо помню, какъ Александръ Ивановичъ убѣждалъ меня поступить такъ же, когда одинъ изъ нашихъ товарищей былъ осужденъ третейскимъ Судомъ за свои дѣйствія по отношенію ко мнѣ. Замѣтивъ мою постоянную холодность къ этому товарищу, Урусовъ, наединѣ, неоднократно журилъ меня за такое злопамятство.

Профессіональныя обязанности у Александра Ивановича стояли всегда на первомъ мѣстѣ... Когда надо было исполнять свое дѣло,—ни болѣзнь, ни уговоры близкихъ на него не дѣйствовали. Приведу характерный отрывокъ изъ его письма къ одной дамѣ, нашему общему другу.

St. Petersbourg. 85.

*) Pendant trois jours j'ai eu une affaire, et hier, dans la nuit—une atroce sciatiaque qui naturellement a nécéssité un emploi abondant de narcotiques.

Malgré des douleurs qui me faisaient tréssaillir en gémissant sourdement, j'ai plaidé hier matin pendant une heure et demie, puis je suis resté toute la journée au tribunal. Dix accusés, douze avocats—douze plaidoyers. Etendu sur l'ottomane crasseuse du cabinet, où les juges se retirent dans les intervalles de l'audience, je goûtais malgré mes dou-

---

*) „Втеченіе трехъ дней у меня шло дѣло, а вчера ночью—жестокій припадокъ, который, разумѣется, вынудилъ меня прибѣгнуть къ обильному наркозу. Не смотря на боли, заставлявшія меня вздрагивать и глухо стонать, я защищалъ вчера, утромъ въ продолженіи $1^1/_2$ ч.—и весь день оставался въ Судѣ. Десять обвиняемыхъ, 12 адвокатовъ, 12 рѣчей. Растянувшись на грязной отоманкѣ въ кабинетѣ, гдѣ судьи отдыхаютъ во время перерыва засѣданій, я испытывалъ, не смотря на боли, какое-то блаженное чувство. Въ этомъ святилищѣ, гдѣ законъ расправляется съ бѣдными „человѣками",—я только что впрыснулъ себѣ $^1/_2$ гр. мор-

leurs une sorte de volupté béate. Je venais de m'injecter —làdans ce sanctuaire, où la Loi expédie proprement le pauvre monde—un 1/2 grain de morphine. Le doux poison charriait ses molécules en moi et un engourdissement me prenait. Par la porte ouverte, j'entendais les avocats débiter leurs harangues très longues. Toute la journée,—et pas de dîner, car l'écoeurement de la morphine, m'empêchait de goûter aux abominables fricots du buffet. Toute la journée... et la nuit après 4 heures de conciliabule, le jury a apporté un verdict implacable. Alors j'ai vu les visages pâlir et les mains se serrer, et les bouches crispés et les gémissements. Mais après un discours très énergique adressé au tribunal pour obtenir une commutation de peine (il s'agissait de faux billets assignats, rien d'intéressant) j'ai eu le bonheur de voir tout à coup après la décision du tribunal, —qui au lieu de travaux forcés accordait la déportation,—une explosion de joie parmi ces malheureux. L'un d'eux se jettait au cou de son camarade, puis me suppliait de lui donner ma main à baiser. Ma foi, j'ai de grand coeur serré celle d'un faussaire. Avec ça que nous n'en sommes pas tous plus ou moins. Enfin, rompu, fourbu, je suis revenu à la maison. Aujourd'hui—narcose, aboulie (absence de volonté), atonie... Et douleurs persistantes.

фія. Сладкій ядъ струилъ въ меня свои молекулы и мной понемногу овладѣвало оцѣпененіе. Сквозь раскрытую дверь доносились рѣчи адвокатовъ, очень длинныя. Такъ прошелъ день. Я ничего не ѣлъ. Тошнота послѣ морфія мѣшала прикоснуться къ скверным блюдамъ буфета. День и ночь. Послѣ четырехчасового совѣщанья—судьи вынесли безпощадный приговоръ. Тогда я увидѣлъ, какъ поблѣднѣли лица, какъ стали сжиматься руки, подергиваться рты, вздыхать... Послѣ очень энергическаго обращенія къ Суду мнѣ удалось добиться уменьшенія наказанія. И когда судъ вынесъ ссылку на поселеніе вмѣсто каторжныхъ работъ,—я имѣлъ счастіе увидать, какъ вспыхнула радость на лицахъ этихъ несчастныхъ. Одинъ бросился на шею своему товарищу. Другой умолялъ, чтобы я далъ поцѣловать мою руку. Признаюсь я отъ всего сердца пожалъ руку поддѣлывателя документовъ. Какъ будто всѣ мы не занимаемся тѣмъ же—въ большей или меньшей степени. Наконецъ, разбитый, еле волоча ноги я добрался до дому Сегодня—наркозъ, абулія (отсутствіе воли) атонія... И непрекращающіяся боли".

Въ августѣ 1899 г. Александръ Ивановичъ лѣчился въ Вѣнѣ у знаменитаго отіатра Поллицера; 19 августа онъ писалъ мнѣ, что въ виду грануляціоннаго воспаленія средняго уха (съ обѣихъ сторонъ) ему пока возвращаться въ Москву невозможно. Но вотъ, черезъ нѣсколько дней, къ совершенному моему изумленію, я получаю отъ него слѣдующію записку: „Можете ли Вы безъ особаго стѣсненія въ собственныхъ дѣлахъ пріѣхать 15 сентября въ Лубны. Я буду въ Ромоданѣ въ 2 часа 14-го, хорошо бы поѣхать вмѣстѣ. Я зову Васъ помочь мнѣ въ допросѣ свидѣтелей по дѣлу Ч. Живой или мертвый я долженъ ѣхать и брошу лѣченіе, а потомъ вернусь“.

Въ заключеніе напомню объ одномъ дѣлѣ, которое особенно характеризуетъ Урусова—патрона. Въ 1881 году надъ помощникомъ присяжнаго повѣреннаго Ф. стряслась бѣда. Дѣйствуя въ качествѣ повѣреннаго должницы, у которой описано было все имущество (не исключая платья), онъ предъявилъ противъ истицы обвиненіе въ кражѣ описанной шляпки. Кража была совершена (какъ предполагалъ Ф. и его довѣрительница), изъ мести, съ цѣлью начать дѣло о растратѣ части описаннаго имущества. Мировой Судья призналъ кражу недоказанной, а обвиненіе недобросовѣстнымъ. Комиссія помощниковъ присяжныхъ повѣренныхъ по жалобѣ оправданной истицы, постановила отчислить Ф. на годъ изъ сословія. Дѣло принимало опасный оборотъ. Тогда за Ф. вступился Урусовъ. Онъ защищалъ его въ Совѣтѣ, и Совѣтъ оправдалъ Ф. Началась, однако, агитація въ газетахъ, и на Ф. была подана жалоба за ложный доносъ. Мировой Судья, по дѣлу о кражѣ, возвратилъ апелляціонную жалобу, потому что она была подписана обвинительницею (германской подданной) по нѣмецки. Приговоръ вступилъ въ законную силу, и недобросовѣстность обвиненія оставалась неопровергнутой. Урусовъ подалъ просьбу о возстановленіи срока, добился переноса дѣла въ Съѣздъ, выступилъ въ Съѣздѣ и тамъ добился отмѣны приговора:—недобросо-

вѣстность была устранена. Между тѣмъ, Судебная Палата утвердила обвинительный актъ и направила дѣло къ разсмотрѣнію съ участіемъ присяжныхъ засѣдателей. Урусовъ съ своей стороны настаиваетъ на пересмотрѣ этого постановленія ввиду новаго факта—приговора Съѣзда. Тѣмъ не менѣе, дѣло слушается; присяжные засѣдатели выносятъ обвинительный приговоръ. Тогда Урусовъ подаетъ жалобу въ Сенатъ, посылаетъ въ Судебную газету стенографическій отчетъ, на свой счетъ печатаетъ жалобу для разсылки, торопитъ дѣло въ Сенатѣ, выступаетъ и здѣсь и въ концѣ 1883 года добивается отмѣны опредѣленія Палаты о преданіи Суду и приговора со всѣми послѣдствіями. Изъ архива Урусова, по которому я ознакомился съ этимъ ужаснымъ казусомъ, видно, сколько и какъ онъ работалъ для спасенія Ф. Не говоря уже о замѣткахъ, которыми испещрено все производство,—собственной его рукой написанъ цѣлый рядъ важныхъ бумагъ, нѣтъ ни одной имъ не исправленной. Къ засѣданію Окружнаго Суда, онъ, по обыкновенію, приготовилъ цѣлую пачку замѣтокъ, поражающихъ разнообразіемъ содержанія: тутъ и кассаціонная практика, и вопросы для свидѣтелей и остроумныя замѣчанія... Изъ дѣла видно, что Урусовъ обращался и къ Товарищу Министра Юстиціи и къ Оберъ-Прокурору Неклюдову. Когда окончились пытки Ф., Александръ Ивановичъ рѣшилъ возстановить его въ правахъ (послѣ приговора Окружнаго Суда Ф. подалъ заявленіе въ Совѣтъ объ отчисленіи). Между прочимъ Урусовъ писалъ въ Совѣтъ (или Комиссію): „Что нибудь изъ двухъ: или я правъ и рѣшеніе по дѣлу Ф. подлежитъ отмѣнѣ, или я ошибаюсь, но въ такомъ случаѣ я ошибаюсь вмѣстѣ съ Сенатомъ, Товарищемъ Министра Юстиціи, Оберъ-Прокуроромъ Неклюдовымъ и т. д.“. Такъ, въ теченіе 3 лѣтъ Александръ Ивановичъ спасалъ человѣка, который безъ него имѣлъ всѣ шансы пойти ко дну.

Я счастливъ, что могъ сообщить объ этомъ, мало кому извѣстномъ, дѣлѣ. Такіе примѣры надо хранить. Это традиціи для грядущихъ поколѣній.

Надо сказать правду. Неискушенная, непоколебимая добродѣтель мало трогала Урусова. Онъ съ иронической почтительностью склонялъ передъ ней голову и разводилъ руками, какъ бы желая сказать: все бываетъ.

За то человѣка сорвавшагося, загнаннаго, согрѣшившаго онъ понималъ сразу хотя бы этотъ человѣкъ стоялъ на самой низкой ступенькѣ общественной лѣстницы.

Онъ не „снисходилъ“, а именно понималъ. Можетъ быть это происходило отъ большого презрѣнія къ условной морали, но вѣрнѣе отъ большой любви къ жизни. Византійщина была чужда его натурѣ—а человѣкъ былъ для него если не выше, то дороже субботы. Онъ зналъ, что суббота останется, а Кай смертенъ, и жалѣлъ Кая.

О. Гольдовскій.

Памяти князя А. И. Урусова.

...„Les grandes natures qui sont les bonnes, sont avant tout prodigues et n'y regardent pas de si près à se dépenser“...

G. Flaubert. (Correspondance, T. III. p. 296).

Вся Россія знала знаменитаго адвоката князя Урусова. Его имя горитъ яркой, немеркнущей звѣздой среди блестящей плеяды ораторовъ, которые, вызванные къ жизни судомъ милостивымъ, скорымъ и для всѣхъ равнымъ—увѣковѣчили въ красотѣ и могуществѣ свободнаго слова первые дни нашей судебной реформы. Но не объ Урусовѣ—юристѣ я хочу говорить. Эта благодарная задача принадлежитъ его сверстникамъ, товарищамъ, сотрудникамъ и ученикамъ. Мнѣ хочется помянуть здѣсь человѣка, страстно и безкорыстно любившаго литературу, тонкаго знатока изящной словесности, восторженнаго поклонника прекрасной формы и просвѣщеннаго цѣнителя свободной мысли — откуда бы она ни шла. Мольеръ говорилъ: je prends mon bien partout où je le trouve. Про Александра Ивановича можно сказать: il admirait le beau partout où il le trouvait. Урусова называли эллиномъ, въ печати его считали диллетантомъ, въ обществѣ за нимъ установилась репутація charmeur'a, жизнерадостнаго, остроумнаго и... легкомысленнаго. Мнѣ кажется, что къ такому сложному человѣку, какъ Урусовъ, нельзя приклеивать тотъ или другой опредѣленный ярлыкъ. Урусовъ былъ крестникомъ многихъ фей, и, по счастливой случайности,

у его колыбели отсутствовала злобная волшебница, безъ которой, какъ извѣстно, нельзя обойтись даже въ сказкѣ. Нѣтъ, на этотъ разъ сошлись только благожелательныя, свѣтлыя и... умныя феи. Каждая изъ нихъ подарила крестнику цвѣтокъ изъ своего вѣнка, и ни одна не заявила исключительныхъ претензій на его свободный духъ. Въ этомъ, можетъ быть, и кроется причина его диллетантизма. Онъ любилъ жизнь во всемъ ея безконечномъ разнообразіи, и въ борьбѣ свѣта и мрака онъ не былъ равнодушнымъ зрителемъ... Онъ умѣлъ наслаждаться и скорбѣть, восхищаться подвигомъ и не требовать героическихъ поступковъ, преклоняться передъ добровольной жертвой и не клеймить извергомъ того, кто на нее не способенъ. Чуждый самъ сектантства, фетишизма, идолопоклонства, кружковщины— онъ понималъ и даже уважалъ чувства истинныхъ сектантовъ, при условіи, однако, чтобы фанатизмъ не переходилъ въ человѣкоистребленіе. Его пугала догма. Все „непогрѣшимое“ вызывало въ немъ непріятное, почти болѣзненное чувство. Онъ не разъ шутливо признавался, что боится праведниковъ, потому что отъ нихъ пахнетъ „застѣнкомъ“. Въ Урусовѣ мирно уживались вольнодумецъ ренессанса, скептикъ XVIII в. и—какъ это ни странно — русскій человѣкъ шестидесятыхъ годовъ.

Помню, онъ заѣхалъ ко мнѣ утромъ въ день юбилея судебной реформы. Я знала, что въ судѣ молебенъ, что весь день будутъ происходить разныя торжества... „Домашній“ видъ Урусова меня удивилъ. Утомленное лицо, какая-то усталость во всей фигурѣ и въ глазахъ ни слѣда обычной „игры“. Я спросила, почему онъ не въ судѣ и не въ „праздничной одеждѣ“.

Онъ усмѣхнулся и лѣниво, точно нехотя, сталъ доказывать, что для ликованія онъ не находитъ причинъ. Вѣдь неприлично поздравлять человѣка съ тѣмъ, что его разбилъ параличъ.

— Какъ трудно быть правдивымъ даже съ самимъ собой, продолжалъ онъ послѣ небольшого молчанія. И, во-

обще-то, съ самаго начала, эта знаменитая „реформа“ оставляла весьма многого желать... А теперь!... „ни рукъ, ни ногъ, ни головы... Чему радоваться?.. Я понимаю, что бываютъ такія „ситуаціи“, когда откровенно огорчаться— ну... неудобно! Но тогда слѣдуетъ молчать, а не декламировать на разные голоса: „священные завѣты!.. общественное самосознаніе!.. судъ совѣсти!.. (онъ расхохотался). И такая декламація считается чуть не подвигомъ. Слушатели растроганы, умилены... и завтра будутъ таинственно передавать другъ другу, что Сидоръ Петровичъ—каковъ!.. успѣлъ-таки „намекнуть“ на конституцію...

Въ словахъ Урусова, несмотря на насмѣшливыя ноты, звучала горечь, какъ и всегда почти, когда разговоръ касался „гражданскихъ мотивовъ“. Въ минуты лирической откровенности, онъ охотно разсказывалъ, какъ онъ и его сверстники, невинные и прекраснодушные, повѣрили въ свою историческую миссію „водрузить знамя“... Нѣкоторые идеалисты продолжали вѣрить и тогда, когда это полинявшее розовое знамя было перекрашено въ благонадежный цвѣтъ „bleu-gendarme“.

— Но я не самолюбивъ, замѣчалъ Урусовъ. И къ тому же, невралгія... (онъ начиналъ растирать ногу) мѣшаетъ мнѣ величественно стоять на стражѣ.

Не скрывалъ Александръ Ивановичъ и крушенія своихъ адвокатскихъ иллюзій. „Защита личности отъ произвола“... восклицалъ онъ съ комической торжественностью... „Оборона правъ отъ безправія“... Слова, слова...

И вмѣстѣ съ тѣмъ, онъ горячо любилъ „благородную профессію адвоката“, предпочиталъ ее всякой другой, гордился званіемъ присяжнаго повѣреннаго, и когда ему въ шутку говорили, что пойди онъ по „дипломатической части“ былъ бы онъ посланникомъ въ столь любезномъ его сердцу Парижѣ, онъ всегда отвѣчалъ, что даже въ воображеніи не можетъ представить себя никѣмъ инымъ, какъ адвокатомъ.

Изъ его „воспоминаній вслухъ“ — всегда яркихъ до ощущенія реальности, я знала, прогремѣвшіе на всю Россію causes celèbres, въ которыхъ онъ выступалъ защитникомъ, а одно время, „прокуроромъ поневолѣ“. Самымъ больнымъ пунктомъ въ этихъ воспоминаніяхъ было Люцинское дѣло. Онъ никогда не могъ говорить о немъ хладнокровно—и до конца остался при убѣжденіи, что явно невинныхъ людей „съ легкимъ сердцемъ“ отправили на каторгу.

— Съ тѣхъ поръ я равнодушенъ, увѣрялъ Урусовъ, иногда лишь во мнѣ просыпается азартъ игрока.

Тутъ Урусовъ, несомнѣнно, клеветалъ на себя. Я помню съ какимъ страстнымъ негодованіемъ онъ, вернувшись съ процессса въ Крожахъ, передавалъ разныя подробности этого дѣла. Его негодованіе всецѣло сообщалось слушателямъ. „Равнодушіе“—никогда не производитъ такого эффекта.

Мнѣ всегда казалось, что, если бы Урусовъ былъ лишенъ рѣдкостнаго дара — наслаждаться искусствомъ — an und für sich—онъ бы превратился въ озлобленнаго брюзгу, подобно многимъ даровитымъ русскимъ людямъ—(да и не только русскимъ)—пережившимъ „свои желанья“. Многіе любятъ искусство, но мало найдется людей, не принадлежащихъ по профессіи къ той или другой артистической спеціальности, которые бы отводили ему въ своей жизни такое первенствующее значеніе, какъ Урусовъ. Живопись, скульптура, романъ, коротенькій разсказъ, комедія и драма, трагедія и фарсъ — онъ интересовался всѣмъ, допускалъ всѣ школы, вѣянія, теоріи, увлекался всякой попыткой уловить трепетъ новыхъ ощущеній, новыхъ красокъ, новыхъ звуковъ тамъ, гдѣ все, повидимому, было уже разсказано, описано и спѣто.

Александръ Ивановичъ утверждалъ, что въ жизни каждаго человѣка есть единственные моменты. Мудръ тотъ, кто благодаренъ за мгновенье и не пытается его остановить.

Искусство фиксируетъ эти „единственные“ моменты и даетъ человѣку иллюзію вѣчности, а по сему оно — самое драгоцѣнное украшеніе жизни.

— 1200 экземпляровъ книги,—это ужъ 1200 шансовъ на безсмертіе, сказалъ Александръ Ивановичъ одному молодому автору, который поднесъ ему свое первое произведеніе.

Теперь, когда въ воображеніи оживаетъ образъ Урусова—внѣ власти „земной суеты“—его свѣтлая любовь къ искусству чувствуется особенно сильно. Эта главная, доминирующая черта его личности. Затушуйте ее — и нѣтъ Урусова. Такъ, улыбка, вспыхнувшій взоръ, словно сгоняютъ морщины съ поблекшаго лица—и оно вновь кажется молодымъ и прекраснымъ.

Урусовъ превосходно зналъ французскую литературу и любилъ пропагандировать новыхъ писателей. Увлеченный на первыхъ порахъ крестовымъ походомъ Золя противъ напыщенной фальши романтиковъ, Урусовъ скоро понялъ до какихъ фантастическихъ размѣровъ можетъ дойти погоня „за документомъ“.

Вотъ что онъ писалъ о Жерминалѣ *). „Оставляя въ сторонѣ нѣкоторыя подробности—это произведеніе огромнаго размаха, эпическаго объема. Слабая его сторона — вкусъ; сильная—отвращеніе. Есть признаки идіосинкразіи. Извѣстныя вещи притягиваютъ Золя, онъ долженъ ихъ высказать даже, если онѣ ведутъ отъ смѣшного къ гнусному. Напримѣръ, „садъ“ Мукеты смѣшонъ. Но освѣщенный заходящимъ солнцемъ и вознесенный на высоту символа — онъ уже гнусенъ“...

Писатель, котораго Урусовъ ставилъ на недосягаемую высоту былъ Флоберъ. Его поклоненіе Флоберу доходило до влюбленности. Онъ не находилъ у него ни одной слабой строки и любилъ повторять что m-me Bovary такъ же вѣчна, какъ и Библія.

---

*) Lettres à m-me X.

Какъ-то у меня въ домѣ, одинъ знакомый, обрушившись на Александра Ивановича за его „флобероманію“, которую онъ довольно отважно назвалъ одностороннимъ умопомѣшательствомъ, сталъ „разносить“ Флобера. Урусовъ слушалъ, какъ всегда, учтиво и внимательно, чуть чуть склонивъ красивую, тогда уже сѣдую голову, съ обычной тонкой усмѣшкой своего выразительнаго рта.

—Ну-съ, а Bouvard et Pécuchet, напримѣръ, что это такое по вашему? съ нескрываемымъ пренебреженіемъ воскликнулъ критикъ Флобера.—Un chef-d'oeuvre tout simplement, спокойно отвѣтилъ Урусовъ, сбрасывая привычной гримасой pince-nez и глядя на мозмущеннаго зоила своими блестящими, лукавыми смѣющимися глазами.

Пріятели Урусова—съ свойственной пріятелямъ подозрительностью усматривали въ его „культѣ Флобера“ позу и при случаѣ—донимали его.

Вчера—(пишетъ Александръ Ивановичъ)*) Утинъ мнѣ говорилъ: я бы дорого далъ, чтобы мнѣ объяснили—почему Флоберъ великій писатель.—А сколько бы ты далъ? Нужно, милый другъ, назначить хорошую цѣну. Можетъ быть тебя очень трудно убѣдить... Про себя я думалъ: бѣдный малый! всего твоего состоянія не хватило бы, еслибы ты пожелалъ купить себѣ на него вкусъ и пониманіе.

Отношеніе русской критики къ Флоберу его больше забавляло, чѣмъ сердило.

„Я собралъ русскіе матеріалы о Флоберѣ, чрезвычайно интересные. У меня имѣются журнальныя статьи о Бовари и Сантиментальномъ воспитаніи — гигантской глупости **).

Но что достовляло Урусову истинное огорченіе—это небрежное отношеніе молодыхъ писателей къ русскому языку, дурное произношеніе молодыхъ актеровъ, равнодушіе къ классикамъ.

---

*) Lettres à m-me X.
**) Lettres à m-me X.

— Пушкина нельзя перелистывать, говорилъ онъ, его надо изучать съ благоговѣніемъ...

Однажды, онъ при мнѣ спросилъ талантливую артистку А. П. Щ.

— Почему вы на литературныхъ вечерахъ читаете разную дребедень и никогда Пушкина?

— Потому что съ Пушкинымъ уйдешь „безъ хлопка“ возразила она.

Это резонъ, согласился Урусовъ, и вынувъ изъ кармана книжку записалъ: „съ Пушкинымъ уйдешь безъ хлопка“.

Изъ современныхъ русскихъ писателей Урусовъ больше всѣхъ любилъ и цѣнилъ Чехова. Толстого онъ, вообще, ни съ кѣмъ не сравнивалъ, ибо „геній во всемъ мірѣ — самъ по себѣ“. Въ Чеховѣ же онъ видѣлъ послѣдующую стадію „Тургеневской живописи“ съ сильнымъ отпечаткомъ „Мопассановскаго колорита“. Какъ онъ обрушился на „дикость публики“ и „тупость“ рецензентовъ за „провалъ“ Чайки—этой „удивительной пьесы, въ которой, какъ въ драгоцѣнномъ зеркалѣ, отразился сумбуръ русской жизни“.

— Русская публика! (гремѣлъ баритонъ Александра Ивановича, вибрируя всѣми оттѣнками самаго безмѣрнаго презрѣнія,)—русская публика!.. Она смакуетъ только вещи съ тенденціей, съ назидательнымъ заключеніемъ, съ точками на і... Ей и на эстетику и на этику нужно разрѣшеніе начальства. Пусть явится новый Бальзакъ — пока „Михайловскій не одобритъ“, она будетъ хмуриться, глубокомысленно молчать, или вдругъ, возьметъ и освищетъ, какъ Чехова.

— Будто одна только русская публика, Александръ Иванычъ! Не вы ли разсказывали, какъ элегантные парижане топали ногами, орали и кидали въ актеровъ скамейки на первомъ представленіи „Chapons“.

— Тамъ была задѣта самая чувствительная струна французовъ: патріотизмъ, сказалъ Урусовъ. А, впрочемъ, прибавилъ онъ помолчавъ немного, всѣ мѣщане грубы.

Въ своей ненасытной жаждѣ отыскивать новые таланты, Урусовъ бывалъ иной разъ наивенъ, какъ онъ самъ сознавался „не по лѣтамъ“. Вернется, бывало, съ защиты, откуда-нибудь изъ провинціи — и непремѣнно откопаетъ тамъ, „пропадающій талантъ“. То актера, то поэтессу, то „идеальную Джульетту“... (—Вѣдь наши патентованныя Джульетты—всѣ маститыя, восклицалъ онъ съ горечью,— la plus jeune frise la quarantaine). Нѣкоторое время Александръ Ивановичъ носится бывало съ новоявленнымъ самородкомъ (чаще это бывала „она“). Изъ витринки, которую я называла „Урусовскій иконостасъ“—вдругъ исчезала Джульетта „не сдержавшая обѣщаній“, и на ея мѣсто водворялась „Нора“ „подающая блестящія надежды“... А тамъ, глядишь,—„Нора“ пропала, въ иконостасѣ вакантное мѣсто—и Урусовъ замолкъ...

Спросишь: — ну что ваша поэтесса? Онъ захохочетъ, вынетъ изъ бокового кармана записную книжку и начнетъ скандировать избранные перлы.

— А какъ вы восторгались...

— Когда я восторгался, она была очаровательное дитя Wunderkind съ серьезной миной возражалъ Урусовъ—и въ глазахъ его бѣгали и играли лукавыя искры. Я не могъ предвидѣть, что, придя въ возрастъ,—она будетъ риѳмовать; „плечи и предтечи“... Всего предвидѣть нельзя!..

Урусовъ былъ коллекціонеръ по природѣ. Не даромъ онъ такъ „обожалъ“ букинистовъ.

Только книга даетъ больше, чѣмъ она стоитъ, пишетъ А. И. Это твореніе человѣка par excellence, единственное, которое остается. А букинисты! эти библіотекари невѣдомаго, эти хранители нелѣпостей и великолѣпія мысли— имъ я обязанъ самыми пріятными часами жизни... *)

Коллекціи Урусова, какъ все къ чему онъ ни прикасался, носили отпечатокъ своеобразной личности собира-

---

*) Lettres à m-me X.

теля: ихъ нельзя было подвести подъ одну рубрику. Тутъ были гравюры и чашки, автографы и ожерелья, портреты и кресты, пикантный парадоксъ, изящный афоризмъ, поблекшая лента и чудовищное по нелѣпости стихотвореніе... Иные, быть можетъ, самые цѣнные экземпляры, при всемъ желаніи, нельзя было помѣстить въ витрины, ибо то были люди, живые или сошедшіе со сцены, и Александръ Ивановичъ особенно бережно хранилъ память о нихъ въ „ковчегѣ сердца“.

Урусова соблазняли уники, какъ всякаго страстнаго коллекціонера: онъ даже забывалъ свою „скупость“, которою вообще любилъ хвастать.

Онъ признавалъ только подлинники, только настоящее, оригинальное, какъ въ красотѣ, такъ и въ уродствѣ. Все поддѣльное, фальшивое, „le toc“, было противно его душѣ, какъ лицемѣріе и обманъ. Какъ сейчасъ помню, нѣсколько лѣтъ тому назадъ, мнѣ подарили цѣлую стаю пестрыхъ искусственныхъ птицъ. Онѣ мнѣ очень нравились и я ихъ показала Урусову.

— Des jolis petits cadavres, проговорилъ онъ насмѣшливо, и послѣ этого мнѣ всегда бывало неловко, когда кто нибудь называлъ „прелестными птичками“ эти набитыя чучела.

О личномъ обаяніи Урусова, о невыразимой прелести его бесѣды, о его неистощимомъ остроуміи, о его мягкой, деликатной манерѣ спорить—долго будутъ помнить тѣ, кому случалось съ нимъ встрѣчаться. Урусовъ владѣлъ рѣдкостнымъ даромъ — покорять сердца. Въ немъ не было ни тѣни аффектаціи, онъ не кадилъ сильнымъ и не оскорблялъ смиренныхъ генеральскимъ благоволеніемъ, самый застѣнчивый человѣкъ чувствовалъ себя въ его домѣ свободнымъ. Священнодѣйствовать, вѣщать, млѣть въ блаженствѣ передъ собственной особой, всѣ позы и кривлянья нашей доморощенной Uebermenchheit... Какъ заразительно смѣялся надъ всѣмъ этимъ Урусовъ, и какъ все это было ему чуждо. Урусовъ былъ чарующе простъ,

потому что онъ былъ чарующе уменъ. И у него, несомнѣнно была своя Tour d'ivoire, куда допускались лишь избранные, но онъ не выставлялъ ее на показъ и „башня“ не только не давила, но и не принижала своимъ величіемъ простыхъ смертныхъ.

Вѣротерпимость Урусова и его терпимость были общеизвѣстны. И сколько за это сыпалось на его голову укоровъ изъ самыхъ противоположныхъ лагерей. Но онъ оставался вѣренъ себѣ. Онъ твердо помнилъ, что всѣ мы—изъ персти и никого не каралъ. Это происходило у него не отъ снисходительности и не отъ жалости—Урусовъ не былъ сантименталенъ,—но своимъ яснымъ умомъ онъ проникалъ во всѣ изгибы запутанныхъ житейскихъ отношеній, онъ понималъ и зналъ, что человѣкъ слабъ и несчастенъ, и судилъ его не какъ драконъ и не какъ филантропъ, а какъ философъ.

Тщеславіе, желаніе играть роль, мелкое самолюбіе, зависть... Какъ мало даже великихъ людей совершенно свободны отъ этихъ слабостей и какъ неповиненъ былъ въ нихъ милый Александръ Ивановичъ, такъ часто грѣшившій противъ патентованной морали! Онъ никогда не притворялся. Il se donnait tel quel—часто гораздо хуже, чѣмъ въ дѣйствительности... Если недоразумѣнія, непріятности и всяческія столкновенія суть печальные атрибуты человѣческаго существованія, то въ жизни адвоката, самой судьбой обреченнаго примирять и тушить страсти, они составляютъ неизбѣжный элементъ. И вотъ когда сказывалась выдержка Урусова, его тактъ, а иногда, въ особенно щекотливыхъ положеніяхъ, и великодушіе. Онъ не почиталъ для себя унизительнымъ сознаваться, что онъ былъ неправъ, не стыдился сдѣлать первый шагъ къ примиренію и совершенно искренно воздавалъ должное талантамъ коллегъ, противниковъ и даже—соперниковъ. Однажды, онъ проигралъ крупное дѣло, длившееся много лѣтъ. Присутствовавшій на процессѣ молодой адвокатъ разсказывалъ послѣ, что рѣчь знаменитаго противника князя ничѣмъ

особенно не отличалась, что князь говорилъ гораздо лучше. При встрѣчѣ съ Урусовымъ, я его спросила, какъ говорилъ NN.

— Трудно себѣ представить,—отвѣтилъ Урусовъ,—до какой степени это было геніально. Я былъ очарованъ, хотя и побитъ...

Изысканно любезный въ обращеніи, Урусовъ съ трудомъ переносилъ безцеремонный тонъ нашего „пріятельства", его коробило отъ той простоты, которою, какъ щитомъ, прикрывается грубость и невоспитанность. Самая натуральная риѳма къ „фамиліарно", это „вульгарно",— говаривалъ Урусовъ,—и утверждалъ, что нигдѣ, кромѣ нашего отечества, для защиты своихъ мнѣній такъ часто не прибѣгаютъ къ авторитету городового, и ни въ одномъ европейскомъ обществѣ, кромѣ нашего, при размолвкѣ такъ легко не раздаются по адресу вчерашняго друга слова: свинья, болванъ, подлецъ, шпіонъ.

— И все это безъ „злого умыслу", а такъ... ну сказалъ!.. Эка важность...

Въ самыхъ напряженныхъ положеніяхъ—въ судѣ, за пультомъ защитника, въ литературномъ засѣданіи, въ свѣтской гостинной и въ близкомъ кругу — Урусовъ никогда не переходилъ за ту демаркаціонную линію, которая отдѣляетъ культурную борьбу отъ „расправы". Сила ума, небрежная шутка, тонкій ядъ ироніи, грозный призывъ къ справедливости, полное грусти напоминаніе о „тайнахъ вѣчности и гроба"—вотъ струны урусовской лиры. Онъ обезоруживалъ противника, но не топталъ его ногами.

Урусову ставятъ въ упрекъ, что онъ не написалъ ничего „серьезнаго". Это не совсѣмъ вѣрно. Жаль, конечно, что А. И. не озаботился издать свои рѣчи, изъ которыхъ многія—настоящія художественныя произведенія. Но вѣдь существуютъ театральныя рецензіи Александра Иванова, сдѣланныя рукой мастера, его переводы изъ Боделэра передаютъ всю поэзію оригинала, а литературныя харак-

теристики Бодлэра и Гете — замѣчательны по изяществу. Но главный литературный памятникъ Урусова — впереди. Это — его обширная и разнообразная переписка. Много пройдетъ времени до той поры, когда обнародованіе этой переписки станетъ возможностью. Будемъ надѣяться, что свойственный намъ вандализмъ, на этотъ разъ пощадитъ драгоцѣнныя страницы, что въ цѣлости и сохранности дойдутъ онѣ до читателей грядущихъ поколѣній и разскажутъ имъ какъ думалъ, что читалъ, какъ дѣйствовалъ, работалъ, учился и наслаждался, страдалъ и грѣшилъ, веселился и негодовалъ, смѣялся, плакалъ и любилъ просвѣщенный русскій человѣкъ XIX вѣка.

„Продолжительная тяжкая болѣзнь"... Этими простыми словами обыкновенно начинается прелюдія смерти, особенно страшная тѣмъ, что она сплошь и рядомъ уродуетъ до неузнаваемости еще живой, еще вчера прекрасный образъ. Разрываемое страданіемъ тѣло—словно мститъ такъ долго державшему его въ своей власти духу, оно сразу стираетъ различіе между „сынами земли": геній жалуется и стонетъ, какъ темный поденщикъ, всесильный цезарь вопитъ о пощадѣ, какъ рабъ. Побѣда надъ тѣлесной немощью—удѣлъ рѣдкихъ избранниковъ. Такимъ оказался эпикуреецъ Урусовъ. Онъ жилъ какъ человѣкъ, которому ничто человѣческое не было чуждо, и умиралъ какъ мудрецъ. Въ этой послѣдней мучительной борьбѣ онъ обратился за помощью къ вѣрной, испытанной подругѣ всей своей жизни—къ книгѣ. Прикованный къ постели, глухой, лишенный живого обмѣна мыслей, этотъ неизмѣнно изящный lettré находилъ забвеніе жестокаго недуга въ волненіяхъ невидимыхъ, но безсмертныхъ созданій, радости и слезы которыхъ въ утѣшеніе и поученіе міру запечатлѣли поэты. Любовь къ искусству помогла Урусову сохранить до конца интересъ къ „зрѣлищу жизни" и даже способность къ дѣятельности. Онъ читалъ новыя книги, перечитывалъ старыхъ авторовъ, писалъ письма старымъ друзьямъ, за-

мѣтки въ газетахъ, написалъ блестящую, напоминающую его лучшіе годы, брызжущую юморомъ статью о памятникѣ Гоголю.

Москва 8/21 мая 1900 г.

*) Вы уже знаете... что я глухъ насколько возможно быть глухимъ. Понятіе о звукѣ, о живой рѣчи, о голосѣ существуютъ для меня только въ воспоминаніи. Я говорю мало, мнѣ пишутъ, я погруженъ въ чтеніе и воспоминанія, меня радуетъ видъ цвѣтовъ, я мечтаю о той минутѣ, когда я усну—я вижу сны—но мало. Вотъ теперь моя жизнь. Мое состояніе неизлѣчимо. Я много думалъ о Васъ все это время. Ровно годъ, какъ я боленъ и три мѣсяца, какъ я совершенно оглохъ, благодаря параличу акустическаго нерва—съ обѣихъ сторонъ. Кромѣ того, я не могу ходить, я тащусь, опираясь обѣими руками на стулъ, который я толкаю впередъ. Я невыношу тряски экипажа, уличнаго движенія. Изъ своей комнаты я выхожу только въ садъ; тамъ цвѣтутъ гіацинты. Я никогда не бываю грустенъ и мнѣ никогда не скучно. Это придетъ. Скука—роскошь. Я теперь читаю Ste-Beuv'a „Chateaubriand et son groupe". Во 2-мъ томѣ прелестныя письма M-me de Beaumont и Lucile. Но лучше всего чудесные Mémoires d'outre-tombe—эта любимая книга Флобера и Гонкуровъ...

**)... Я мечтаю уѣхать въ деревню недалеко отсюда—въ Бронницы. Я читаю, перечитываю Гёте, Гауптмана, La Plume. Думаю передѣлать статью о Боделэрѣ для Revue de Paris. Пора бы издать мою коллекцію Боделэровскихъ автографовъ. Нужно бы также написать этюдъ о Флоберѣ. Я началъ приводить въ порядокъ свои мемуары—о!.. чрезвычайно скромные во всемъ, что касается личныхъ отношеній...

... „Вы не могли сдѣлать мнѣ, больному, лучшаго подарка, чѣмъ... и эту забавную каррикатуру. Хотя меня

---

*) Lettres à M-me X.
**) Lettres à M-me X.

и противно смотрѣть теперь, а все же я буду счастливъ Васъ видѣть. Хотѣлъ Вамъ послать мои 2 фельетона изъ Новостей Дня (судейскіе протесты противъ „Воскресенья“) и Курьеръ, да Вы ужъ ихъ читали. Болѣзнь моя (о здоровьи какъ-то смѣшно и упоминать) какъ будто топчется на мѣстѣ. А когда она двинется, пойдетъ, — такъ, кажется, прямёхонько въ „Бюро процессій“. Но пока еще не унываемъ“.

„Самъ я не чувствую себя несчастливымъ, а просто чувствую, что я перестаю существовать, и что ничего въ этомъ особенно печальнаго нѣтъ. Ну, былъ человѣкъ и нѣтъ его. Замѣчательно, что чужое горе, въ особенности въ литературѣ, трогаетъ меня гораздо болѣе, а собственное, даже въ часы безсонницы, никогда не вызываетъ чувствительности. Вѣроятно, я еще ошеломленъ ударомъ и не чувствую его. А вѣдь потерять все: и слухъ, и общество, и работу, и даже зрѣлище жизни, это что нибудь да значитъ. Утѣшаетъ книга,—универсальный суррогатъ жизни“.

Нужна большая душевная сила, что бы стоя на краю могилы, такъ просто разставаться съ жизнью и съ такимъ достоинствомъ смотрѣть въ глаза смерти. А. И. Урусовъ былъ истинный рыцарь цивилизаціи. Онъ могъ ошибаться и падать, но своему девизу: Ueber die gräber immer forwärts—онъ остался вѣренъ отъ первой прочитанной имъ книги до послѣдняго біенія своего благороднаго сердца.

Р. М. Хинъ.

Александръ Ивановичъ Урусовъ.

Я мало зналъ покойнаго Урусова, а между тѣмъ, въ моихъ воспоминаніяхъ о немъ, я такъ живо ощущаю этого человѣка, что мнѣ и легко, и пріятно писать о немъ. Въ первый разъ я видѣлъ его въ судѣ. Шелъ одинъ громкій процессъ, и на скамьѣ защитниковъ сидѣли разныя знаменитости адвокатуры. Между ними былъ и Урусовъ. Помню, меня поразила его барственная фигура, широкіе, мягкіе жесты, полное русское лицо, озаренное какою-то привѣтливостью, и удивительный голосъ, въ которомъ звенѣли свободныя морозныя нотки. Помню эти впечатлѣнія съ отчетливостью и, какъ сейчасъ, чувствую возникающую къ нему симпатію. Одна деталь особенно поразила меня тогда: во все время свидѣтельскихъ показаній Урусовъ раскладывалъ и тасовалъ на столѣ какія-то колоды бѣлыхъ карточекъ, на которыхъ, вѣроятно, набрасывались штрихи будущей защитительной рѣчи. И, говоря рѣчь, онъ, дѣйствительно, все время игралъ этими карточками, поднималъ своей большой рукою то одну, то другую къ глазамъ, что-то вычитывалъ изъ нихъ и, какъ бы вдохновившись памятной замѣткой, бодро шелъ впередъ. Въ этомъ было что-то и странное, и увлекательное. Не скажу, чтобы самое краснорѣчіе Урусова захватило меня. Онъ говорилъ непринужденно, каждая фраза его рождалась какъ бы въ естественномъ изяществѣ, и можно сказать—не нуждалась въ обдуманной искусственной шлифовкѣ. Ни одного банальнаго слова, никакой аффектаціи,

столь часто раздражающей въ адвокатскомъ краснорѣчіи— все у Урусова было литературно въ лучшемъ и высшемъ смыслѣ. Это былъ истинный стилистъ и любитель слова, съ тонкимъ вкусомъ и изумительною изощренностью пониманія, воспитанною на совершеннѣйшихъ образцахъ европейской литературы. Захватывающей, цѣпкой, желѣзной логики, какъ у Пассовера, у него не было, и если онъ всетаки бралъ публику, то именно тѣми чертами своего таланта, въ которыхъ отражалась свѣжесть чувства, что-то вѣчно молодое, юношески непосредственное, и можетъ быть, даже дѣтски восторженное. Эта-то черта дѣтской восторженности и осталось въ моей памяти въ связи съ его образомъ. Ею именно, какъ мнѣ кажется, онъ и отдѣляется отъ своихъ знаменитыхъ сотоварищей по адвокатской дѣятельности, какъ Пассоверъ, Спасовичъ, Андреевскій, Карабчевскій. Я упоминаю имена только тѣхъ адвокатовъ, отъ краснорѣчія которыхъ я имѣлъ личныя впечатлѣнія.

Пассоверъ—это какой-то мудрецъ, можно сказать, Сократъ въ современной русской адвокатурѣ. Его краснорѣчіе мощно своей логикой, логикой сложной, глубокой, всегда неожиданной, которая въ минуты высшаго подъема горитъ особеннымъ энтузіазмомъ семитической натуры. При колоссальной образованности и ослѣпительной памяти, онъ дѣйствуетъ съ неотразимою силою. Онъ все къ чему-то подводитъ, загребаетъ со всѣхъ концовъ міра матеріалы для новыхъ и новыхъ обобщеній, выматываетъ логическій процессъ въ безконечную нить, по сократовски втягиваетъ слушателей въ свою умственную работу, хотя и совсѣмъ не по сократовски рѣжетъ иногда своихъ противниковъ острымъ и отравленнымъ ножомъ своего отрицанія. Въ этомъ отношеніи Пассоверъ представляетъ полную противоположность Урусову, который бывалъ великолѣпенъ въ полемикѣ легкостью и образной мѣткостью своихъ молодыхъ, почти шутливыхъ набѣговъ, но никогда никому не внушалъ того жуткаго чувства, какое долженъ внушать вѣчно мудрый и безпощадный Пассоверъ.

Не похожъ былъ Урусовъ и на Спасовича, у котораго, между прочимъ, я и встрѣчался съ нимъ одно время на засѣданіяхъ, такъ называемаго, шекспировскаго кружка. Краснорѣчіе Спасовича, тяжелое, угловатое, проникнутое темпераментомъ патріотическаго заговорщика, несмотря на блескъ исключительной литературной образованности, никогда, однако, не производило на меня чисто литературнаго впечатлѣнія. Въ немъ есть своя поэзія, но особенная, жизненная поэзія, какую можно найти въ протестантскихъ заговорахъ или въ большихъ шумныхъ культурныхъ предпріятіяхъ. Рѣчь Спасовича сначала задерживается и спотыкается, полна экстравагантныхъ выраженій и дополняется судорожными жестами. Все напряжено и своей напряженностью приковываетъ вниманіе. Но вдругъ краснорѣчіе его выносится съ свѣтлымъ грохотомъ на свободный просторъ, какъ поѣздъ, вылетѣвшій изъ тунеля, и въ эти минуты Спасовичъ властно захватываетъ публику. Урусовъ былъ всегда легокъ, всегда свободенъ, не требовалъ отъ публики никакихъ напряженій.

Андреевскій—это какъ бы живая віолончель адвокатуры. Его краснорѣчіе плавно, пѣвуче и всегда выдержано въ томномъ, меланхолическомъ темпѣ. Онъ говоритъ долго, словно не утомляясь, красивыми яркими словами, которыя могутъ показаться непринужденными, но въ дѣйствительности имѣютъ на себѣ печать какой-то литературной вылощенности. Рѣчь его, непосредственно перенесенная на бумагу, даетъ литературную статью на судебно-юридическую тему, съ массой отступленій въ область романтическихъ психологій, съ массой построеній въ романтическомъ стилѣ. Въ ораторѣ не чувствуется горѣнія воли, и сердце бьется у него ровно и прохладно. А между тѣмъ, сила ораторскаго слова заключается вовсе не въ живописныхъ, литературно-изобразительныхъ эффектахъ, а именно въ горѣніи воли и біеніи сердца, въ эмоціональной струѣ, напрягающей рѣчь и волнующей слушателя. Такой характеръ имѣетъ краснорѣчіе величайшихъ ораторовъ міра,

какъ Демосѳенъ, Цицеронъ, въ наше время Лассаль, Гамбетта, Гладстонъ. Тоже горѣніе нравственной воли прославило и французскаго адвоката Лабори. Можно сказать, что законъ адвокатскаго искусства сводится къ побѣдѣ слушателя на почвѣ волевыхъ настроеній, такъ сказать, мимо формальной логики, которая никогда не захватываетъ всей правды жизни и всей правды личнаго возбужденія оратора. Тутъ слово борется и должно бороться съ враждебными ему настроеніями среды, съ настроеніями, въ которыхъ есть, конечно, и своя логика, но въ которыхъ преобладаютъ разные инстинкты, что-то зыбкое и темное. Тутъ нужна та страстная гипнотизирующая музыка слова, въ которой дрожатъ двигательные нервы человѣка, его волевые импульсы. А искусный смычекъ Андреевскаго поетъ всегда меланхолическій цыганскій романсъ, который производитъ странное впечатлѣніе въ судебной залѣ, на фонѣ злыхъ и хищныхъ настроеній общества. Какъ мало похожъ въ этомъ отношеніи Андреевскій на своего покойнаго друга Урусова, въ рѣчахъ котораго всегда звенѣли и пѣли мягкія, сердечныя струны. Въ Урусовѣ есть что-то, напоминающее стремительнаго Лабори: онъ тоже зажигался иногда по поводу разныхъ жизненныхъ неправдъ, реагировалъ на нихъ съ непосредственнымъ волненіемъ, хотя его адвокатское протестантство носило всегда легкій, подвижной, барственно-осанистый оттѣнокъ, блистало импрессіонизмомъ, эстетикой, иногда склонялось къ изящному диллетантству. Что-то мѣшало Урусову разгораться въ направленіи нравственнаго паѳоса, гражданственнаго вдохновенія, которое столь свойственно русскому человѣку,—можетъ быть, какая-то капля татарской крови въ его крови. Богатая натура его развернулась по преимуществу въ сторону эстетики. Онъ доходилъ до паѳоса, вспыхивалъ искрами паѳоса, но былъ безсиленъ удержаться въ сферѣ паѳоса, и все патетическое выходило у него чуть-чуть напыщено.

Помню, какъ Урусовъ и Андреевскій читали въ одномъ литературномъ домѣ „Моцарта и Сальери“ Пушкина. Роль Сальери читалъ Андреевскій, читалъ изумительно хорошо, съ настоящимъ артистическимъ талантомъ. Слова Сальери звучали коварствомъ, тонкой скрытой завистью таланта къ генію. Это была минута истинно художественнаго удовольствія. Моцарта читалъ Урусовъ, и, несмотря на свой прелестный бархатный голосъ, читалъ нехорошо: предъ глазами не было этого патетическаго гуляки, безумца, этой ширины душевнаго и духовнаго размаха, который видится въ словахъ Пушкина. Мистики въ чувствахъ не было, когда Моцартъ говорилъ о черномъ человѣкѣ, заказавшемъ ему реквіемъ, потому что этой мистики, въ которой переливается глубокая органическая философія человѣческаго существа, не было въ самомъ Урусовѣ. Мнѣ разсказывала съ большимъ восторгомъ Л. Я. Гуревичъ о томъ, какъ Урусовъ читалъ однажды въ Москвѣ, въ домѣ А. А. Андреевой, „Education sentimentale“ Флобера. Онъ читалъ превосходно, безъ паѳоса, съ тысячью колоритныхъ оттѣнковъ. Видно было, что выточенныя фразы Флобера живутъ въ его воображеніи всею полнотою своихъ жизненныхъ образовъ и звуковъ. Такое именно чтеніе было по натурѣ Урусову. Повторяю, паѳосъ вспыхивалъ въ немъ только искрами, но того длительнаго паѳоса, который дается нравственно-волевыми настроеніями, у него не было.

Остается еще помянуть Урусова въ сопоставленіи съ героемъ современной адвокатуры, Карабчевскимъ. Эти два адвоката совсѣмъ не похожи другъ на друга. Краснорѣчіе Карабчевскаго полно какой-то буйственной воли, и, быть можетъ, позволительно сказать, что въ немъ больше голоса, чѣмъ словъ, ибо слова Карабчевскаго, воспринимаемыя тонкимъ ухомъ, кажутся слегка ординарными, а положенныя на бумагу, сами по себѣ, совсѣмъ не звучатъ. Слова же Урусова ничего не теряютъ на бумагѣ и производятъ органически-литературное впечатлѣніе. Если пред-

ставить себѣ этихъ двухъ ораторовъ, говорящихъ предъ одною аудиторіей, то можно съ увѣренностью сказать, что наиболѣе интеллигентная часть аудиторіи, впечатлительная къ изяществу въ словахъ и чувствахъ отдала бы всѣ свои симпатіи Урусову, хотя присяжные изъ мужичковъ, вѣроятно, вняли бы теплому, звучному и нѣсколько приподнятому голосу Карабчевскаго.

Среди адвокатовъ Урусовъ былъ настоящимъ литераторомъ, особенно чувствительнымъ ко всякимъ шероховатостямъ и тривіальностямъ рѣчи. Онъ носилъ при себѣ на цѣпочкѣ записную книжку, въ которую моментально заносилъ разные комизмы стилистики, не только адвокатской или прокурорской, но и литературной. Быть можетъ, Урусовъ усвоилъ себѣ эту привычку подъ вліяніемъ Флобера, который, какъ извѣстно, вылавливалъ отовсюду образцы человѣческой глупости и пошлости и запечатлѣвалъ ихъ въ своей книжкѣ съ какою-то внутренней яростью. У Урусова же эта охота за комизмами носила болѣе веселый, юмористическій характеръ. Во всемъ онъ былъ легокъ, остроуменъ, литературенъ, и литературному изяществу придавалъ особенную цѣну.

Помню нашу первую личную встрѣчу. Это было въ корридорѣ суда. Урусовъ весело подошелъ ко мнѣ своей широкой, мягкой походкой, съ улыбкой назвалъ свою фамилію и сейчасъ же непринужденно заговорилъ о литературѣ. Мое первое впечатлѣніе отъ него было великолѣпное: въ немъ сразу можно было почувствовать тонкаго эксперта литературы. Я сказалъ ему, что какъ разъ, на дняхъ, прочелъ въ рукописи романъ Мережковскаго „Отверженный“, предложенный авторомъ для „Сѣвернаго Вѣстника“. Я сдѣлалъ со своей стороны кое-какія критическія замѣчанія. Урусовъ отвѣтилъ: „Во всякомъ случаѣ, это вполнѣ литературно, Мережковскій несомнѣнный литераторъ“. Эти слова Урусова прозвучали для меня особенно симпатично: онъ видѣлъ и зналъ ту тонкую литературную границу, которая отдѣляетъ и самую несовер-

Помню, какъ Урусовъ и Андреевскій читали въ одномъ литературномъ домѣ „Моцарта и Сальери“ Пушкина. Роль Сальери читалъ Андреевскій, читалъ изумительно хорошо, съ настоящимъ артистическимъ талантомъ. Слова Сальери звучали коварствомъ, тонкой скрытой завистью таланта къ генію. Это была минута истинно художественнаго удовольствія. Моцарта читалъ Урусовъ, и, несмотря на свой прелестный бархатный голосъ, читалъ нехорошо: предъ глазами не было этого патетическаго гуляки, безумца, этой ширины душевнаго и духовнаго размаха, который видится въ словахъ Пушкина. Мистики въ чувствахъ не было, когда Моцартъ говорилъ о черномъ человѣкѣ, заказавшемъ ему реквіемъ, потому что этой мистики, въ которой переливается глубокая органическая философія человѣческаго существа, не было въ самомъ Урусовѣ. Мнѣ разсказывала съ большимъ восторгомъ Л. Я. Гуревичъ о томъ, какъ Урусовъ читалъ однажды въ Москвѣ, въ домѣ А. А. Андреевой, „Education sentimentale“ Флобера. Онъ читалъ превосходно, безъ паѳоса, съ тысячью колоритныхъ оттѣнковъ. Видно было, что выточенныя фразы Флобера живутъ въ его воображеніи всею полнотою своихъ жизненныхъ образовъ и звуковъ. Такое именно чтеніе было по натурѣ Урусову. Повторяю, паѳосъ вспыхивалъ въ немъ только искрами, но того длительнаго паѳоса, который дается нравственно-волевыми настроеніями, у него не было.

Остается еще помянуть Урусова въ сопоставленіи съ героемъ современной адвокатуры, Карабчевскимъ. Эти два адвоката совсѣмъ не похожи другъ на друга. Краснорѣчіе Карабчевскаго полно какой-то буйственной воли, и, быть можетъ, позволительно сказать, что въ немъ больше голоса, чѣмъ словъ, ибо слова Карабчевскаго, воспринимаемыя тонкимъ ухомъ, кажутся слегка ординарными, а положенныя на бумагу, сами по себѣ, совсѣмъ не звучатъ. Слова же Урусова ничего не теряютъ на бумагѣ и производятъ органически-литературное впечатлѣніе. Если пред-

ставить себѣ этихъ двухъ ораторовъ, говорящихъ предъ одною аудиторіей, то можно съ увѣренностью сказать, что наиболѣе интеллигентная часть аудиторіи, впечатлительная къ изяществу въ словахъ и чувствахъ отдала бы всѣ свои симпатіи Урусову, хотя присяжные изъ мужичковъ, вѣроятно, вняли бы теплому, звучному и нѣсколько приподнятому голосу Карабчевскаго.

Среди адвокатовъ Урусовъ былъ настоящимъ литераторомъ, особенно чувствительнымъ ко всякимъ шероховатостямъ и тривіальностямъ рѣчи. Онъ носилъ при себѣ на цѣпочкѣ записную книжку, въ которую моментально заносилъ разные комизмы стилистики, не только адвокатской или прокурорской, но и литературной. Быть можетъ, Урусовъ усвоилъ себѣ эту привычку подъ вліяніемъ Флобера, который, какъ извѣстно, вылавливалъ отовсюду образцы человѣческой глупости и пошлости и запечатлѣвалъ ихъ въ своей книжкѣ съ какою-то внутренней яростью. У Урусова же эта охота за комизмами носила болѣе веселый, юмористическій характеръ. Во всемъ онъ былъ легокъ, остроуменъ, литературенъ, и литературному изяществу придавалъ особенную цѣну.

Помню нашу первую личную встрѣчу. Это было въ корридорѣ суда. Урусовъ весело подошелъ ко мнѣ своей широкой, мягкой походкой, съ улыбкой назвалъ свою фамилію и сейчасъ же непринужденно заговорилъ о литературѣ. Мое первое впечатлѣніе отъ него было великолѣпное: въ немъ сразу можно было почувствовать тонкаго эксперта литературы. Я сказалъ ему, что какъ разъ, на дняхъ, прочелъ въ рукописи романъ Мережковскаго „Отверженный“, предложенный авторомъ для „Сѣвернаго Вѣстника“. Я сдѣлалъ со своей стороны кое-какія критическія замѣчанія. Урусовъ отвѣтилъ: „Во всякомъ случаѣ, это вполнѣ литературно, Мережковскій несомнѣнный литераторъ“. Эти слова Урусова прозвучали для меня особенно симпатично: онъ видѣлъ и зналъ ту тонкую литературную границу, которая отдѣляетъ и самую несовер-

тая, тонко звучащая нота полемики противъ партійнаго профессорства, которое на русской почвѣ выродилось въ какую-то каррикатуру. Урусовъ считаетъ фигуру профессора въ „Дядѣ Ванѣ“ превосходною, хотя въ ней, несомнѣнно, чувствуется нѣкоторый шаржъ. Но попытка Чехова осмѣять эгоизмъ и пошлость избалованной обществомъ позирующей учености вызываетъ у него полное сочувствіе и, какъ это у него бывало въ такихъ случаяхъ, сочувствіе безоглядное. Онъ сочувствовалъ новой, не-кружковской точкѣ зрѣнія на искусство, хотѣлъ бы высвободить русское искусство изъ подъ гнета узкаго направленства, и вотъ почему совершенно достаточно было Чехову брызнуть въ лицо самодовольному московскому профессорству прохладной водой своего юмора, чтобы Урусовъ переполнился удовольствіемъ. Въ немъ разыгралась столь свойственная ему радостная эмоція любителя свободной литературы.

Еще у меня остались въ памяти нѣкоторые штрихи, дополняющіе образъ Урусова со стороны его литературно-эстетическихъ интересовъ и энтузіазмовъ. Однажды Боборыкинъ читалъ рефератъ объ Оскарѣ Уайльдѣ въ засѣданіи шекспировскаго кружка, происходившемъ въ домѣ покойнаго М. А. Кавоса, тоже большого любителя и тонкаго цѣнителя литературы, друга и почитателя Урусова. Рефератъ Боборыкина, полный литературной эрудиціи, вызвалъ въ кружкѣ цѣлую бурю. Говорили Андреевскій, Арсеньевъ, Минскій, особенно распинавшійся противъ Уайльда. Еще одинъ литераторъ, изъ болѣе молодыхъ, полемизировалъ съ Боборыкинымъ и, мимоходомъ съ Минскимъ. Урусовъ, схвативъ нѣсколько словъ изъ импровизаціи этого журналиста, произнесъ небольшую живую рѣчь, не столько въ защиту Уайльда, сколько въ защиту современныхъ литературныхъ броженій вообще. Отчетливо помню то впечатлѣніе, которое произвела на меня эта рѣчь. Всѣ говорили взволновано, напряженно, съ разными полемическими ядовитостями. Одинъ только Урусовъ говорилъ легко и свѣтло. Обращаясь къ Боборыкину, Уру-

совъ упрекнулъ его въ томъ, что своимъ философскимъ позитивизмомъ онъ какъ бы хочетъ придавить молодыхъ мотыльковъ поэзіи, вылетающихъ изъ своихъ коконовъ. Логическіе ходы Урусова я помню очень смутно, но этотъ юношески-красивый образъ мотыльковъ врѣзался въ мою память, какъ что-то особенно типичное для Урусова, съ его подвижностью, съ изящной образностью его мыслей и настроеній.

Свою подвижность, свое природное изящество Урусовъ особенно вносилъ въ отношеніе къ театру. Это былъ истинный театралъ въ лучшемъ смыслѣ этого слова, поражавшій по вопросамъ сценическаго искусства изумительною тонкостью сужденій, какой не встрѣтишь не только у разныхъ профессіональныхъ рецензентовъ, но даже у такого просвѣщеннаго и широко-образованнаго писателя, какъ Боборыкинъ. Урусовъ былъ первокласный рецензентъ, и его замѣтки о театрѣ, которыя онъ писалъ въ дни своего наибольшаго увлеченія сценою, отличались, какъ я помню, рѣдкими достоинствами. Это были блестящіе летучіе наброски, рядъ критическихъ штриховъ, полезныхъ для артистовъ, интересныхъ для тонкой публики. Въ моихъ бесѣдахъ съ Урусовымъ и нѣкоторыми его друзьями, какъ А. А. Андреева, я много разъ убѣждалъ и его, и этихъ друзей его собрать и издать эти рецензіи отдѣльною книгою. Урусовъ радостно волновался по этому поводу и старался выпытать у меня болѣе отчетливое сужденіе объ этихъ его литературныхъ работахъ. Я и до сихъ поръ жалѣю, что рецензіи Урусова, затерявшіяся въ газетахъ, остались непереизданными, ибо я увѣренъ, что онѣ представили бы образецъ настоящей критики, добросовѣстной, впечатлительной ко всему талантливому, высоко культурной и изящной. Такая книга бросила бы надлежащій свѣтъ на современную полушантажную рецензію большихъ и малыхъ газетъ. Этотъ человѣкъ, въ самомъ дѣлѣ, до конца дней любилъ и умѣлъ любить театръ. Онъ любилъ его, какъ настоящее серьезное искусство, понималъ орга-

ническую связь театра съ литературою, и въ этомъ отношеніи вкусъ его отличался истиннымъ аристократизмомъ. Онъ любилъ талантливую пьесу въ талантливомъ исполненіи, и съ брезгливымъ отвращеніемъ говорилъ о современныхъ казенныхъ сценахъ, съ ихъ рутиною, мѣщанскимъ репертуаромъ и мѣщанскими знаменитостями. Онъ любилъ Дузе, съ ея нервностью, экстазностью, нравственнымъ благородствомъ ея игры, и заботился объ ея славѣ и ея интересахъ въ Россіи. И какъ всегда, когда онъ кѣмъ-нибудь увлекался, онъ называлъ Дузе геніальною актрисою. Было что-то трогательное, молодое, почти дѣтское въ этомъ его увлеченіи Дузе, какъ и во всѣхъ другихъ его увлеченіяхъ, всегда безкорыстныхъ, всегда имѣвшихъ эстетически-идейный характеръ. Тутъ былъ какой-то разбѣгъ всей его натуры, всей его искренности и правдивости по отношенію къ своимъ личнымъ впечатлѣніямъ. Онъ не боялся показаться смѣшнымъ въ своихъ восторгахъ, не придумывалъ для нихъ никакихъ оговорокъ съ оглядкою на болѣе холоднаго скептическаго слушателя. Живая современность была населена для него геніями: по собственному признанію, онъ считалъ геніальнымъ все эстетически законченное, все самобытное и цѣльное. Говоря о Пассоверѣ, онъ называлъ его геніальнымъ, искусство Чехова, искусство Дузе, какъ мы видѣли, тоже было для него геніальнымъ. При нѣкоторой неосторожности подобныхъ, иногда преувеличенныхъ сужденій о талантливыхъ людяхъ, въ нихъ чувствовалась какая-то широта натуры, барственная щедрость и сердечная теплота. Эти черты были сами по себѣ великолѣпны и плѣнительны въ этомъ плѣнительномъ человѣкѣ.

Я не могу закончить этихъ моихъ отрывочныхъ воспоминаній объ Урусовѣ, не коснувшись одного маленькаго эпизода, отъ котораго у меня бѣжитъ по душѣ какая-то холодная тѣнь. Въ этомъ эпизодѣ онъ былъ такъ трогателенъ, а я оказался виноватымъ передъ нимъ. И главное,—отъ чего мнѣ особенно больно,—это то, что эпизодъ

этотъ случайно оказался заключительнымъ аккордомъ нашего знакомства: послѣ этого я уже не видалъ его, онъ скоро умеръ. Однажды, въ морозную ночь, мы возвращались съ нимъ вмѣстѣ отъ какихъ-то знакомыхъ. Онъ былъ печально настроенъ, и рѣчь его — ясно помню — звучала меланхолически. Онъ шелъ своей широкой походкой, скрипя по снѣгу, въ большой шубѣ и бобровой шапкѣ, на что-то жаловался мнѣ, и вдругъ, подойдя къ ресторану Палкина, сталъ просить меня зайти съ нимъ туда, посидѣть и поболтать. Не помню теперь, почему, но я отказался. Онъ сталъ настаивать, убѣждалъ и упрашивалъ меня: это былъ одинъ изъ тѣхъ капризовъ настроенія, которые у артистическихъ натуръ принимаютъ характеръ какой-то серьезной душевной потребности. А я такъ и не сдѣлалъ ему этого удовольствія, и у меня до сихъ поръ осталось такое чувство, какъ если-бы я причинилъ ему большое человѣческое огорченіе. Это могло бы загладиться при новой встрѣчѣ, но онъ умеръ,—я такъ и не успѣлъ извиниться передъ нимъ. И все время, пока я писалъ настоящую замѣтку, въ душѣ моей звучала по отношенію къ Урусову боль виноватости. И хотя это теперь уже не имѣетъ никакого раціональнаго смысла, я чувствую всетаки потребность принести мое извиненіе передъ тѣмъ, что еще называется—Урусовъ. На какомъ мучительномъ диссонансѣ обрываетъ иногда смерть пріятное, свѣтлое знакомство.

26 ноября 1902 г. **А. Волынскій.**

Изъ письма къ издателямъ.

... О князѣ Александрѣ Ивановичѣ я могу сообщить Вамъ лишь очень немногое. Вы ошибаетесь, полагая, что стихи мои (переводы изъ Боделэра) были мною „посланы съ моей визитной карточкой". Я читалъ эти переводы лично А. И. и, по его просьбѣ, написалъ ихъ для него въ его кабинетѣ. Моя визитная карточка приложена къ нимъ совершенно случайно. Вѣроятно, это одна изъ тѣхъ, по которымъ докладывали обо мнѣ.

Бывалъ я у А. И. по дѣлу: онъ велъ одно судебное дѣло моего отца. (Я попрошу отца разсказать въ нѣсколькихъ строкахъ сущность этого дѣла и отношеніе къ нему А. И.) Но послѣ дѣловыхъ вопросовъ А. И. всегда удѣлялъ еще нѣсколько минутъ на литературные разговоры. Большей частью мы говорили о новыхъ французскихъ поэтахъ. А. И. очень хорошо отзывался о Henri de Régnier, хвалилъ также Vielé-Griffin, менѣе цѣнилъ онъ Verhaeren, котораго защищалъ я. А. И. порицалъ у молодыхъ французскихъ поэтовъ (и въ позднѣйшемъ творчествѣ Верлэна) намѣренную небрежность стиха. О Laurent Tailhade А. И. отозвался, что этотъ поэтъ „умѣетъ выбирать слова". У меня была книжка Tailhade „Vitraux", которой не было у А. И.; онъ бралъ ее у меня читать. Между прочимъ А. И. подарилъ мнѣ экземпляръ Fleurs du Mal Боделэра.

... Изо всего этого можно только еще разъ усмотрѣть, какъ привѣтливо и чутко относился князь А. И. ко всѣмъ начинающимъ поэтамъ, даже такимъ, творчеству которыхъ далеко не сочувствовалъ. Мнѣ кажется, что это единственный выводъ изъ моихъ краткихъ воспоминаній.

Валерій Брюсовъ.

Князь А. И. Урусовъ*).

(Страница любви и памяти).

Все собираюсь хорошенько погрустить о себѣ, но не выберу время: все некогда. Даже ночью въ безсонницу нѣтъ охоты сокрушаться о себѣ, и конецъ сознаю совершенно спокойно.

Слова въ одномъ изъ его предсмертныхъ писемъ.

Какъ тяжело жить среди мелкихъ людей, полныхъ ничтожными интересами минутности! Они не видятъ красоты міра, не чувствуютъ красоты искусства, не понимаютъ ничего оригинальнаго, ничего, дѣйствительно стоющаго вниманія, и въ то время, какъ въ чьихъ-нибудь словахъ возникаетъ интересное по необычности сочетаніе мыслей, на плоскихъ лицахъ ничтожныхъ людей играетъ безсмысленная улыбка. Ничего не можетъ быть мучительнѣе, какъ улыбка на лицѣ человѣка, душа котораго замкнута для ощущеній красоты. Такихъ людей, къ сожалѣнію, вездѣ большинство. Сердце задыхается среди нихъ, душа, способная создавать образы поэзіи, и живущая въ свѣтломъ мірѣ творчества, чувствуетъ себя въ современности, какъ въ пустынѣ, гдѣ рѣдкіе оазисы разбросаны на далекомъ разстояніи другъ отъ друга—какъ въ чуждой странѣ, гдѣ не слышно радостныхъ звуковъ родной рѣчи, гдѣ ежеминутно ощущаешь атмосферу вражды и недовѣрія, и гдѣ лишь изрѣдка встрѣтишь неожиданную отраду пониманія.

---

*) Читано въ засѣданіи О-ства Любителей Россійской Словесности 9 марта 1903 г., посвященномъ кн. А. И. Урусову.

Александръ Ивановичъ Урусовъ былъ однимъ изъ такихъ немногихъ людей, однимъ изъ этихъ рѣдкихъ утоляющихъ оазисовъ. Въ немъ чувствовалось что-то единичное, неповторяющееся, что-то вырывавшее его собесѣдника изъ полосы будничныхъ чувствованій. Онъ радовалъ взглядъ, какъ радуетъ большая зеленая ель, растущая среди ничтожныхъ мелкорослыхъ деревьевъ. Гдѣ бы онъ ни былъ, его нельзя было не замѣтить тотчасъ же. Когда онъ входилъ въ комнату, онъ однимъ своимъ появленіемъ радовалъ, двумя-тремя словами завладѣвалъ всеобщимъ вниманіемъ. Сердце исполнялось чувствомъ удовлетворенія, спокойной радостью утоленности, потому что чувствовалось, что вотъ, передъ тобой, наконецъ, что-то дѣйствительно настоящее — сильное, и въ то же время нѣжное — властное, и въ то же время утонченно-внимательное — безпритязательное, и въ то же время приковывающее. Быть можетъ, тѣ же самыя слова, которыя говорилъ Урусовъ, слышалъ когда-нибудь отъ другого, но въ устахъ другого они не радовали, а когда говорилъ ихъ онъ, они шли прямо въ душу, и запоминались навсегда. Онъ во все влагалъ лиризмъ, художественность исполненія, изящную артистичность манеры, индивидуализмъ гармонически-сложившейся натуры, знающей полноту чувства и мысли. Встрѣчамъ съ Урусовымъ душа неизмѣнно радовалась, какъ радуешься майскому утру, полному свѣжаго аромата, веселыхъ звуковъ жизни и свободныхъ цвѣтовъ. Урусовъ всѣмъ интересовался, онъ жадно пилъ усладу бытія, онъ глядѣлъ на небо и на землю понимающими глазами. Необыкновенно трогательна была эта дѣтская свѣжесть и непосредственность въ этомъ большомъ человѣкѣ, это чувство художественной пропорціональности и чувство умѣстности тѣхъ или иныхъ словъ и ощущеній.

Душа, въ которой живутъ образы поэзіи, чрезмѣрно чувствительна ко всему несоразмѣрному, дисгармоничному. Въ то время, какъ другіе, по большей части, ранятъ душу именно этимъ зрѣлищемъ дисгармоничности, Урусовъ вво-

дилъ ее въ стройный міръ изящныхъ соотвѣтствій. Онъ не писалъ стиховъ, но самъ былъ живой поэмой и, когда онъ говорилъ, въ слушателѣ возникало чувство ритмичности. Онъ не былъ писателемъ, если не считать немногихъ его статей, совершенно не дающихъ представленія объ очарованіи его личности, но онъ страстно любилъ литературное слово, онъ удачный стихъ отмѣчалъ и лелѣйно любилъ, какъ живое существо. Онъ могъ говорить объ удачномъ эпитетѣ съ тѣмъ выраженіемъ въ голосѣ и въ глазахъ, которое возникаетъ у насъ, когда мы говоримъ о дорогомъ для насъ человѣкѣ. У него была богатая душа. Я много разъ встрѣчался съ нимъ въ теченіи восьми лѣтъ нашего знакомства и нашей дружбы, и изъ этихъ встрѣчъ не было ни одной, о которой бы я пожалѣлъ. Врядъ ли я могу сказать это о комъ-нибудь другомъ, хотя сталкивался съ десятками и съ сотнями людей, и многіе изъ этихъ людей были интересны. Каждая встрѣча съ Урусовымъ давала что-нибудь новое, во время каждой встрѣчи онъ умѣлъ сказать какую-нибудь удачную мысль или мѣткимъ словомъ вызвать яркую мысль въ другомъ. За эти встрѣчи моя душа будетъ вѣчно благодарна Александру Ивановичу Урусову, и чѣмъ дальше отодвигается день его смерти, тѣмъ больше его любишь, тѣмъ чаще и все чаще чувствуешь, какъ его недостаетъ, какъ никто не можетъ его замѣнить, какъ многія минуты жизни были бы скрашены, если бы можно было на нѣсколько мгновеній опять увидать его лицо и вновь услыхать его чарующій голосъ.

Я не могу не испытывать признательности Урусову еще и за то, что онъ былъ однимъ изъ первыхъ, кто подарилъ мнѣ свѣтъ сочувствія, въ самомъ началѣ моей литературной жизни. Я познакомился съ Александромъ Ивановичемъ въ 1892-мъ году, когда я только что напечаталъ первый выпускъ сочиненій Шелли и собирался печатать первый свой стихотворный сборникъ *Подъ сѣвернымъ небомъ*. У меня въ то время гостилъ Минскій. Александръ Ивановичъ однажды заѣхалъ къ нему, и я, какъ сейчасъ, вижу

его лицо и слышу его голосъ. „Когда я стоялъ передъ вашей дверью“,—сказалъ онъ, улыбаясь,—„я подумалъ: вотъ здѣсь живетъ поэтъ, вся душа котораго обращена къ плѣнительнымъ образамъ Шелли“. Эта преувеличенная хвала, смягченная шутливымъ взглядомъ и милой усмѣшкой и то, какъ онъ вошелъ въ комнату,—какъ входятъ въ свой собственный домъ или къ старому другу,—сразу установили какое-то довѣріе и какую-то особенную спокойную радость. Я помню, меня удивило, что Урусовъ, эта знаменитость, этотъ избалованный любимецъ женщинъ и ораторъ тысячъ, могъ говорить именно такъ съ новичкомъ, будущее котораго было совершенно шатко и гадательно. Я помню также, что меня сразу покорила вся его манера держаться и вся его наружность съ ея барской красотой, этотъ ростъ, это лицо, этотъ мягкій, хотя и сильный, по-старинному, не чрезмѣрно изнѣженный голосъ.

Урусовъ первый подчеркнулъ мнѣ самому, въ послѣдующія наши встрѣчи, то, что жило во мнѣ, но чего я еще не понималъ ясно: любовь къ *поэзіи созвучій,* преклоненіе предъ *звуковой музыкальностью,* которая влекла меня и которой я въ то же время боялся отдаться, подъ давленіемъ извѣстныхъ литературныхъ предразсудковъ, казавшихся мнѣ тогда, какъ они кажутся еще теперь тысячамъ, непреложной истиной. Урусовъ помогъ моей душѣ освободиться, помогъ мнѣ найти самого себя. Между прочимъ, я испытывалъ тогда предвзятую нелюбовь къ французской литературѣ. Урусовъ заставилъ меня, какъ онъ заставилъ десятки русскихъ людей, ознакомиться подробно съ двумя крупными французскими писателями, изъ которыхъ одинъ является высоко-замѣчательнымъ. Я говорю о Флоберѣ и Бодлэрѣ. Эти имена въ Россіи неразрывно связаны съ именемъ Урусова, имя Бодлэра неразрывно связано съ именемъ Урусова и во Франціи, такъ какъ онъ первый и единственный въ строго-добросовѣстномъ и кропотливомъ изслѣдованіи установилъ точный критическій текстъ книги *Fleurs du Mal.* Урусовъ одинъ изъ главныхъ распространителей въ Россіи

поэзіи Бодлэра и одинъ изъ первыхъ, оказавшихъ нравственную поддержку представителямъ того теченія въ поэзіи, которое получило отъ толпы осудительное названіе декаденства.

Заимствую изъ бумагъ Александра Ивановича слѣдующія строки о Бодлэрѣ. „Шарль Пьеръ Бодлэръ родился въ 1821-мъ году, въ Парижѣ. Краткій этюдъ не можетъ дать настоящаго понятія о поэзіи Бодлэра: для этого нужно не знакомство только съ ней, а проникновеніе въ ея таинственныя нѣдра. Стихотворенія Бодлэра не поддаются переводу, потому что всякое истинно-поэтическое стихотвореніе представляетъ полную гармонію формы и содержанія. Содержаніе можетъ передать переводчикъ, но какъ передать форму, выборъ словъ, настроеніе, мелодію? Конечно, это невозможно“. Эти слова Урусова справедливы по существу, но слишкомъ суровы въ своей категоричности, продиктованной его религіознымъ преклоненіемъ передъ творчествомъ знаменитаго французскаго поэта. Нѣкоторыя изъ стихотвореній Бодлэра удачно переведены на русскій языкъ Якубовичемъ. Продолжаю цитаты. „Возможно ли“,—говоритъ Урусовъ,—„на пространствѣ какого-нибудь печатнаго листа дать представленіе о поэтѣ съ необыкновенной, до болѣзненности сложной натурой, когда этотъ поэтъ мало извѣстенъ у насъ, да и на родинѣ своей извѣстенъ преимущественно артистамъ и литераторамъ? Такая задача кажется мнѣ едва ли исполнимой. Можно дать односторонне, эффектно освѣщенный, „Рембрандтовскій“ снимокъ вродѣ эскиза: все лицо въ тѣни, съ узкой полоской свѣта,—пусть воображеніе дорисовываетъ остальное. Поэтъ грѣха, любви и смерти, внесшій съ собой новое настроеніе въ лирическую литературу романтизма, Бодлэръ стоитъ особнякомъ. Ему нельзя указать мѣста ни въ одной группѣ романтиковъ. У него нѣтъ въ литературѣ предковъ, онъ не основалъ школы, не имѣлъ при своей жизни подражателей, но вліяніе его становится все болѣе и болѣе замѣтнымъ въ слѣдовавшемъ за нимъ поколѣніи поэтовъ: Эредіа,

Верлэнъ, Суинбэрнъ". Къ этимъ именамъ, указаннымъ въ рукописи Урусова, можно прибавить длинный рядъ другихъ именъ: Вилье де Лиль-Адамъ, Маллярмэ, Жанъ Ришпенъ, Роллина, Мореасъ, Лафоргъ, Рэмбо, Альберъ Самэнъ и многіе другіе, французскіе и иностранные поэты должны быть разсматриваемы, какъ истинныя литературныя чада Эдгара По и Бодлэра. „Бодлэръ"—продолжаетъ Урусовъ—„интересенъ, какъ творческій создатель образовъ и звуковъ, какъ художникъ, соединившій въ себѣ архитектора—въ стройной конструкціи стихотвореній, музыканта—въ мелодіи и гармоніи стиха, живописца—въ блескѣ колорита, скульптора—въ рельефѣ подробности и округленности цѣлаго, и актера—въ созданіи настроенія". Архитектурную сторону въ творчествѣ Бодлэра Александръ Ивановичъ прекрасно и тонко отмѣтилъ въ своей интересной статьѣ *L'architecture secrète des Fleurs du Mal,* помѣщенной, какъ предисловіе, въ сборникѣ *Le tombeau de Baudelaire,* который онъ издалъ вмѣстѣ съ Маллярмэ и въ сотрудничествѣ съ цѣлымъ рядомъ французскихъ поэтовъ. Въ этомъ сборникѣ воспроизведены, между прочимъ, любопытнѣйшія стихотворенія Бодлэра, вырѣзанныя изъ *Цвѣтовъ Зла* по приговору суда, нашедшаго ихъ безнравственными. Кончая упомянутую статью, Урусовъ справедливо восклицаетъ: „О, поэтъ, ты былъ изъ расы тѣхъ, которые умѣли говорить *нѣтъ,* это слово, которое не могутъ произносить рабскія расы!"

И самъ Урусовъ не былъ изъ числа рабовъ. Онъ умѣлъ сказать *нѣтъ,* когда жизнь предъявила къ нему несправедливое требованіе. Онъ умѣлъ глядѣть въ глаза опасности. Нѣжный и утонченный, съ женски-чуткой душой, онъ мужественно встрѣтилъ самую страшную для людей гостью, смерть, онъ и ей сказалъ „нѣтъ", когда она вздумала принизить его, онъ и ей не подчинился, умирая, истерзанный болѣзнью. Онъ умеръ, какъ жилъ, съ яснымъ умомъ и съ яснымъ, спокойнымъ духомъ.

Радостный завѣтъ.

Памяти князя А. И. Урусова.

Мнѣ кажется, что каждый человѣкъ
Не по тому оцѣниваться долженъ,
Какъ жилъ онъ въ этой жизни на Землѣ,
А по тому, какъ онъ ушелъ изъ жизни.
Пока мы здѣсь, мы видимъ смѣну дней,
И въ этой смѣнѣ разное свершаемъ.
Пока мы здѣсь, мы слушаемъ напѣвы
Своей мечты: въ одномъ она нѣжнѣй,
Въ другомъ—грубѣй; во всѣхъ она случайна
И всѣмъ поетъ различно о различномъ.
А Смерть равняетъ всѣхъ, затѣмъ что властно
Стираетъ всѣ различія мечты.
Пока живемъ пьянящею игрою,
Мы думаемъ, что жизни нѣтъ конца,
Но Смерть къ намъ неожиданно приходитъ
И говоритъ: „Ты долженъ умереть“.
И только въ этотъ мигъ разлуки высшей
Со всѣмъ, что было дорого для сердца,
Является величіе души,
И разность душъ видна неустранимо.
Иной въ теченьи лѣтъ героемъ былъ
И въ мигъ одинъ съ себя свой блескъ свергаетъ.
Другой всю жизнь казался еле виднымъ,
И въ мигъ одинъ проснулся въ немъ герой.
Прекраснѣй всѣхъ—кто, вѣчно-свѣтлый въ жизни,
Не измѣнилъ себѣ, свой день кончая,
Но, озаривъ послѣднюю черту,

Безъ жалобы угасъ, какъ гаснетъ Солнце.
Вотъ почему тотъ самый человѣкъ,
Чья тѣнь теперь, невидимая, съ нами,
Не только дорогъ жизнью мнѣ своей,
Но тѣмъ, что былъ живымъ и въ самой Смерти.
Своихъ друзей, свою работу, книги
Не разлюблялъ онъ до послѣднихъ дней,
Онъ холодѣлъ—лишь для тѣлесной жизни,
Онъ отходилъ—безъ ропота и страха,
И намъ оставилъ радостный завѣтъ
Въ своемъ, какъ бы прощальномъ, восклицаньи.
Когда ужъ остывала кровь его,
И видѣлъ взоръ души—что можетъ видѣть
Лишь взоръ души, отъ путъ освобожденной,—
Онъ вдругъ воскликнулъ звучно, какъ поэтъ:
„Есть Богъ—хоть это людямъ непонятно!“
И снова повторилъ: „Есть Богъ! Есть Богъ!“
Да, вѣрю, знаю. Ты сказалъ передъ смертью,
Что каждый сознаетъ въ свой лучшій мигъ.
Есть родина для всѣхъ живыхъ созданій,
Есть Правда, что незримо правитъ Міромъ,
И мы ея достигнемъ на Землѣ,
И мы ее постигнемъ въ запредѣльномъ.
Безгласности вѣщанія внимая,
Къ незримому душою обратившись,
Я говорю вамъ: „Богъ насъ ждетъ! Есть Богъ!“

К. Д. Бальмонтъ.

Письма Кн. А. И. Урусова.

I.

Л. Н. Позняковой *).

Передъ Вами, Лукерья Николаевна, лежитъ невзрачная маленькая книжка, составленная изъ невзрачныхъ маленькихъ брошюръ. Незаслуженная внѣшность ея, вѣроятно, наведетъ Васъ на то же сравненіе, съ которымъ Джульетта обращается къ преступному Ромео (Д. III, сц. 2). Повинуясь требованіямъ приличія или, скорѣе, причудѣ автора, эта книжка облекается въ нѣсколько изящную наружность, подавая въ то же время поводъ къ несовсѣмъ выгодному сравненію этой наружности съ ея внутреннимъ содержаніемъ. Если эту мысль развить на досугѣ, она, безъ сомнѣнія, можетъ вызвать много посильныхъ, остроумно-мѣткихъ замѣчаній...

Но позвольте мнѣ завѣрить Васъ, снисходительная моя читательница, что я нисколько не обманываюсь насчетъ этихъ страничекъ, заключающихъ въ себѣ мои первые, шаткіе опыты. Я знаю, что это, по большей части, однѣ недомолвки, недостигающія цѣли. Цѣлью же этихъ очерковъ было внести въ область театральной критики другіе пріемы, чѣмъ тѣ, которые были въ ходу между театральными рецензентами,—и доводамъ личнаго вкуса (или даже

*) Впослѣдствіи Г. Н. Ѳедотовой. Подъ заглавіемъ „Взамѣнъ Предисловія", письмо это написано рукою автора на первыхъ страницахъ книжечки, переплетенной въ зеленую шелковую матерію и содержащей въ себѣ статьи напечатанныя въ I. т. на стр. 23, 53, 62 и 75. (Ред.)

личныхъ отношеній) противупоставить извѣстныя, опредѣленныя положенія, научныя, фактическія данныя. Благосклонный пріемъ, встрѣтившій меня на первыхъ же порахъ (и на который я, признаюсь, не имѣлъ никакого права разсчитывать), не можетъ, конечно, служить ручательствомъ успѣха, но, по крайней мѣрѣ, онъ позволяетъ мнѣ надѣяться, что слово мое не пропало даромъ и что попытка не безплодна.

Первый побудительный мотивъ, который заставилъ меня взяться за перо и попытать счастіе журнальною статьею— были Вы. Съ Вами неразрывно связаны мои глубокія симпатіи къ русской сценѣ, всѣ лучшія надежды на свѣтлое будущее, которое Вы ей готовите. Ваше имя было знамя, подъ которымъ я выступилъ, и съ Вашей легкой руки сталъ я трудиться на томъ литературномъ поприщѣ, которое въ настоящую минуту даетъ мнѣ случай выразить Вамъ мое полное сочувствіе Вашему прекрасному дарованію.

Въ одномъ только обстоятельствѣ высказывается мое авторское самолюбіе, и ничто мнѣ не такъ дорого, какъ мысль, что я первый высказалъ объ Васъ рѣшительное и обстоятельное сужденіе*). Я очень горжусь и дорожу о томъ воспоминаніемъ...

Теперь нѣсколько словъ о первой статьѣ: ее дружно исковеркали и окалѣчили корректоръ и цензура. Вотъ почему она является въ такомъ возмутительномъ видѣ, съ пестрыми помарками и поправками. Она была помѣщена въ „Библ. для Чтенія“, за 1862 г., въ сентябрѣ (№ 9).

Черезъ нѣсколько времени я надѣюсь собрать болѣе значительное число статей и тогда предложу Вамъ второй томъ полнаго собранія моихъ вдохновенныхъ твореній. У нихъ есть, однако, одно положительное достоинство, кото-

---

*) Вамъ, вѣроятно, извѣстно, что статья въ «Моск. Вѣд.», написанная В. Ѳ. Коршемъ (статья безъ всякаго критическаго значенія) была первоначально въ совершенно другомъ видѣ и что она передѣлана по словамъ одного общаго нашего друга и доброжелателя. (Прим. Кн. А. И. Урусова).

рымъ не совѣтую Вамъ пренебрегать: писанныя по большей части въ безсонныя ночи, эти творенія поглотили въ себя извѣстную долю снотворной силы и сохранили ее такъ, что, стоитъ только вникнуть въ ихъ содержаніе, чтобы почувствовать присутствіе этой таинственной силы. Въ этомъ увѣряли меня мои друзья и хорошіе знакомые—люди вполнѣ достойные довѣрія.

Указавъ Вамъ на все, на что только можно было указать, я, подобно Ноздреву, прихожу къ границѣ моихъ владѣній и болѣе ничего не нахожу интереснаго. Позвольте же мнѣ по старому авторскому обычаю сказать Вамъ до свиданія — въ другой книжкѣ и отъ души пожелать Вамъ въ жизни всего лучшаго.

А. Урусовъ.

Москва, четвергъ, 28 марта
1863 г.

II.

Ей-же (на своей фотогр. карточкѣ).

Лукерьѣ Николаевнѣ Позняковой отъ искренно-преданнаго ей А. Урусова. Москва, 1863 г., 28 марта.

Поздравляю Васъ! Со вчерашняго дня начинается для Васъ новый періодъ. Такой Джульеты и Офеліи еще не бывало на русской сценѣ и, наконецъ, исполнилось завѣтное желаніе Бѣлинскаго. Успѣхъ былъ полный. Благодарю Васъ за прекрасныя минуты, которыми Вы меня подарили, показавъ торжественное примиреніе простоты съ высочайшимъ идеаломъ искусства. Прощайте и будьте счастливы. 6 апрѣля 1863. Суббота.

III.

Кн. И. А. Урусову.

С.-Петербургъ, августа 16, 1870 г.

Добрый и дорогой отецъ, письмо твое было переслано мнѣ изъ Москвы вмѣстѣ съ цѣлою кипою писемъ и бумагъ. Я разскажу тебѣ, что я дѣлаю, и ты меня простишь,

если я не тотчасъ отвѣчалъ тебѣ. Я уже мѣсяцъ живу въ Петербургѣ. Здѣсь у меня въ Сенатѣ 3 дѣла, да и просто хотѣлось уѣхать изъ Московской глуши, отъ скучныхъ московскихъ физіономій и пріѣвшихся улицъ. Я каждое лѣто проживаю нѣсколько недѣль въ Петербургѣ, гдѣ у меня и въ судебномъ вѣдомствѣ и такъ,—много друзей и знакомыхъ, такъ что я не чувствую себя чужимъ. Я положительно отдыхаю здѣсь подальше отъ Азіи, поближе къ Европѣ и отъ души радуюсь, видя кругомъ цѣлую толпу людей, гдѣ никто не узнаетъ меня, не тычетъ на меня пальцемъ,—какъ въ Москвѣ. Не успѣлъ я здѣсь пожить, какъ мнѣ предложили нѣсколько защитъ по дѣлу о послѣднемъ заговорѣ. Защиты эти, конечно, безплатныя, я всѣ принялъ. Дѣло будетъ въ октябрѣ.

Я забылъ тебѣ сказать, что мнѣ, какъ находящемуся подъ судомъ, стоило нѣкотораго труда уѣхать изъ Москвы, чего я не вправѣ былъ сдѣлать безъ разрѣшенія Судебнаго Слѣдователя. Вотъ почему я не могу думать ни о Варшавѣ ни о заграницѣ до окончанія дѣла. Судить насъ будутъ въ сентябрѣ и дѣло кончится небольшимъ арестомъ на гауптвахтѣ. Никакого вліянія на мои адвокатскія занятія это имѣть не будетъ и не можетъ имѣть.

Возвращаюсь къ тому, что я дѣлаю. Кромѣ этихъ дѣлъ, о которыхъ я упомянулъ, предложили мнѣ защиту одного полковника, кавалергарда Богушевскаго, обвиняемаго въ разорваніи векселя. Разсмотрѣвъ дѣло, я его принялъ и получу за него 300 руб.

Время такое, что нельзя пройти его молчаніемъ. Ты можешь себѣ представить какъ интересно получать въ Москвѣ всѣ извѣстія днемъ позже, — а здѣсь всѣ газеты у меня подъ рукою. Не выходя изъ гостинницы (я у Демута), я читаю газетъ 20. Начало войны возбудило мои и друзей моихъ симпатіи въ пользу Пруссіи, но если бы пала разбойничья династія, которая царствуетъ во Франціи, я не могъ бы желать подавленія французскаго народа. Дурное и безнравственное носитъ въ самомъ себѣ заро-

дыши болѣе или менѣе близкой казни. Если царствованіе Наполеона окончилось бы блестяще, можно было бы отчаяваться въ судьбахъ человѣческой честности и поклониться въ землю пороку и злу...

IV.

П. А. Стрепетовой.

Многоуважаемая Полина Антиповна!

Позволяю себѣ предложить Вамъ прочесть или перечесть прилагаемую книгу. По словамъ Тургенева, это самый замѣчательный романъ за послѣднія 40 лѣтъ. У насъ о Флоберѣ говорятъ много, но знаютъ его мало. Книжка, прилагаемая здѣсь, очень рѣдка — ее подарилъ мнѣ одинъ изъ почитателей великаго писателя, г. А. Ѳ. Кони, и эта книга должна служить матеріаломъ для большой статьи о Флоберѣ, надъ которою я работаю. Коробчевскій, Ясинскій, я и нѣсколько другихъ, мы образовали кружокъ Флобертистовъ и изучаемъ его. Книга изобилуетъ драматизмомъ и удивительною правдивостью. Очень интересно было бы видѣть, какъ она понравится Вамъ. Посмотрите, напримѣръ, эпизоды перваго знакомства Эммы съ мужемъ, ея любовь къ Рудольфу, (76—III) операція (117) и, наконецъ, знаменитую сцену смерти. Это—первоклассныя красоты.

Посмѣйтесь, если хотите, надъ моею отчаянною рѣшимостью хоть чѣмъ нибудь быть Вамъ полезнымъ, но не сердитесь за эту попытку, памятуя, что „и копеечною свѣчкою Иверскую не обидишь“. Эту пословицу я нарочно сочинилъ.

Желаю Вамъ здоровья, а самъ засаживаюсь завтра за статью о Васъ и о Бѣдной Невѣстѣ и чувствую, что ничего путнаго у меня не выйдетъ.

Глубоко уважающій Васъ и преданный
А. Урусовъ.

Февраль 1881 г.

3. „Современныя Извѣстія“ 9 іюня 1880 г. № 157 „Городской обѣдъ“. Рѣчь Достоевскаго. NB.

4. „Молва“, 11 іюня. NB.

5. „Голосъ“, 7 іюня. NB. Передовая статья.

6. „Новое Время“, 7 іюня, № 1535. Пушкинская выставка и пр.

7. „Современ. Извѣстія“, № 153, отъ 5 іюня. Стихотворенія на смерть Пушкина: Жуковскаго, Норова, Тютчева, Губера, Креницына, Подолинскаго, Кольцова, Полежаева, Хитрово, Глинки, Вяземскаго, Лермонтова.

8. Прибавленіе къ № 157 „Молвы“: Адресы по поводу Пушкинскаго праздника. (28 адресовъ). NB.

9. „Московскія Вѣдомости“. Особое прибавленіе 6 іюня 1880 г. съ двумя рисунками памятника. NB.

10. „Молва“, 10 іюня. Пушкинская недѣля въ Москвѣ. NB.

11. Sonnet: Au Poëte par Alexandre Pouschkine trad. Prince Alexandre Ouroussof. La Plume 15—28 Février 1894 г. № 116 (Поэтъ, не дорожи...) переводъ подстрочный, въ прозѣ. NB. См. № 17.

12. Острогорскій В. П. „Русскіе писатели какъ воспитательно-образовательный матеріалъ“, С. П. Б. Кожанчиковъ, 1874 (О Пушк., стр. 31—44). NB.

13. Стоюнинъ В. Я. Мѣдный Всадникъ. Редакція и примѣчанія 1876 г., изданіе Я. Исакова, (брошюрка) NB.

14. Того же: Скупой рыцарь. NB.

15. Сочиненія (Александра Пушкина). Санктпетербургъ, 1838 г. Третій томъ въ обложкѣ, свѣжій экз. NB.

16. То-же, изд. Анненкова 1855 г.

17. La Plume (rue Bonaparte 31) № 96 du 15 Avril 1903: Fragment trad. de Pouschkine par le prince A. Ouroussof: Нѣтъ, я не дорожу... (à continuer).

18. Графъ Нулинъ, 1827. Въ обложкѣ. Плохой экземпляръ. NB.

19. Сочиненія Пушкина, изд. О-ва для пособія и пр. 1887.

20. Александръ Сергѣевичъ Пушкинъ. Изд. О-ва распространенія полезныхъ книгъ № 237. Составлено Ив. Рассадинымъ. Москва, 1880. Съ плохимъ портретомъ. (40 стр. Цѣна 10 коп.) NB.

21. Пушкинъ, сочиненія, изд. Суворина.

22. Незеленовъ А. И. Рѣчь о Пушкинѣ 1887.

23. В. Зелинскій. Русская критическая литература о произведеніяхъ Пушкина г. 1887. NB.

24. Мережковскій. А. С. Пушкинъ (въ книгѣ Перцова: Философскія теченія). Лучшее, что написано о Пушкинѣ въ русской критикѣ.

25. Бронзовый портретъ Пушкина по Опекушину (длина 16½ сант., ширина 10½ сант.)

Что Вамъ будетъ угодно получить изъ всѣхъ перечисленныхъ здѣсь книгъ и изданій — я вышлю Вамъ немедленно по почтѣ.

Съ совершеннымъ почтеніемъ
А. Урусовъ.

PS. Если угодно, сообщу и впослѣдствіи еще свѣдѣнія о Pouschkiniana.

VIII.

Ему-же.

Мая 31 дня 1899 г.

Многоуважаемый А. Ѳ.

Я сегодня получилъ Ваше письмо отъ 9/VI и постараюсь исполнить Ваше желаніе. Я часто думалъ о Вашей коллекціи въ эти дни, но не зналъ: не поручили ли Вы кому нибудь пріобрѣтеніе вещей для Вашего Пушкинскаго музея? Я все это время былъ боленъ воспаленіемъ средняго уха и ни на одномъ празднествѣ не могъ присутствовать, почему отдѣлъ личныхъ приглашеній, menus у меня отсутствуетъ. Зато я подбиралъ газеты и рисунки оныхъ. Съ завтрашняго же дня начну собирать жетоны, конфекты, папиросы и т. п., что еще можно имѣть, и вышлю ихъ Вамъ, по мѣрѣ накопленія, но вскорѣ.

Напишите о газетахъ: ихъ еще можно набрать много и, по-моему, это самая драгоцѣнная часть всякой Пушкинской коллекціи, ибо газетный листокъ — эфемеренъ и скоропреходящъ. Гдѣ его потомъ найдешь? Между тѣмъ, въ газетахъ то и дѣло проскакиваетъ многое, что никогда и нигдѣ не будетъ повторено. А книги о Пушкинѣ? Брошюры и проч., нужны ли онѣ? А ноты?

Не дожидаясь отвѣта, начну собирать и посылать. Все это стоитъ гроши, о которыхъ нечего и толковать, вѣдь Ваша коллекція не прихоть, а настоящее дѣло. Всякому участвовать въ немъ лестно.

Съ совершеннымъ почтеніемъ
Ал. Урусовъ.

IX.

Ему-же.

Іюня 4/16 дня 1899 г.

Многоуважаемый А. Ѳ.

Я послалъ Вамъ 1) Портретъ Пушкина, изд. Сытина, 2) Тоже, меньш. формата, 3) Духи Пушкина, 4) Дѣловая брошюра о Пушкинѣ съ объявленіемъ, 5) Брошюра „Пушкинскіе дни“, 6) Тоже — гаданіе по Пушкину, 7) Перочинный ножикъ съ портретомъ, 8) Портретъ на фарфоровой пластинкѣ, 9) Сборникъ для школъ, 10) Книгу „Пушкинскій уголокъ“, 11) и 12) Папиросы съ портретомъ.

Посылаю теперь: № 13) Медальонъ деревянный съ профилемъ Пушкина, изъ посеребреннаго металла съ золоченою надписью, 14) Жетоны: серебрянный en 3/4. На оборотѣ лира и надпись „на память столѣтія“, 15) Посеребр. металлическій круглый профиль налѣво. На оборотѣ „Душа въ завѣтной лирѣ“... 16) Овальный. На оборотѣ „И долго...“ 17) Позолоченный круглый. На оборотѣ памятникъ въ лучахъ.

Съ почтеніемъ А. Урусовъ.

№ 13 высылается особо.

X.

Ему-же.

Іюня 23 дня 1899 г.

Простите, что пишу наскоро, торопясь на поѣздъ.

*** мѣстами талантливъ, но не проникся Пушкинымъ. Однако, въ коллекціи онъ необходимъ. Присылаю 3 билетика.

Боленъ я. Выѣзжаю на-дняхъ въ Вѣну—уши лѣчить. Врядъ ли буду въ Парижѣ: работать надо.

Вашъ Урусовъ.

XI.

Ему-же.

1/13 окт. 1899 г.

Многоуважаемый А. Ѳ.

Посылаю Вамъ 1 экз. 2-го изданія „Братьевъ Разбойниковъ", который букинистомъ Старицынымъ (Москва, Арбатъ, 36) купленъ въ составѣ цѣлаго завода: 1200 экземпляровъ неброшюрованныхъ и, очевидно, не бывшихъ въ продажѣ.

Посылаю еще пакетъ съ портретомъ. Большая просьба! Купите мнѣ (за мой счетъ) сочиненія Фейербаха по-русски, швейцарское изданіе, переводъ Филомата... (или что-то въ этомъ родѣ—какой-то греческій псевдонимъ). И при первой оказіи пришлите его мнѣ, конечно, въ боковомъ карманѣ солиднаго путника. Впрочемъ, вскорѣ въ Парижѣ будутъ Бальмонты: если не у Васъ, то у нихъ или у Жана Броше, можетъ быть, найдется такой путешественникъ. Риска никакого. Карманы никогда не осматриваютъ. Думаю, что будетъ тома два.

Преданный Вамъ
Урусовъ.

XII.

Ему-же.

Ноября 3/15 1899 г.

Многоуважаемый А. Ѳ.

Получили ли Вы мою просьбу о Фейербахѣ, „Сущность христіанства“, изд. Trübner, Лондонъ?

Бальмонты въ Парижѣ. Оказія для пересылки можетъ быть во всякое время.

Посылаю Вамъ еще одно Pouschkinianum.

Получили ли кубокъ?

До свиданія

Вашъ Урусовъ.

XIII.

Д. В. Философову.

Москва, 20 сент. 99 г.

Многоуважаемый Дмитрій Владиміровичъ!

Въ Вашемъ письмѣ отъ 14 с. Вы любезно приглашаете меня сотрудничать въ „Ежегодникѣ“*). Я радуюсь за Дягилева, что его дѣятельность получаетъ и признаніе, и, несмотря на вопли враговъ, распространяется. Но мое сотрудничество врядъ ли принесетъ дѣлу пользу. Театръ давно потерялъ для меня большую часть своей привлекательности, а теперь, какъ я оглохъ—онъ просто невыносимъ. Конечно, могутъ быть воспоминанія, (Щепкинъ, Садовскій, Дузе) но я еще въ долгу передъ „М. Иск.“ и боюсь, суевѣрно боюсь обѣщать что либо. У меня какое то отвращеніе къ легкой, скорой газетчинѣ, а основательно писать некогда. Такъ лучше воздержаться. Вы знаете, что я съ такимъ удовольствіемъ всегда готовъ, если что будетъ, предложить именно Вамъ.

Съ почтеніемъ Урусовъ.

---

*) „Ежегодникъ Императорскихъ Театровъ,“ куда былъ приглашенъ редакторомъ С. П. Дягилевъ, издававшій вмѣстѣ съ Д. В. Философовымъ „Міръ Искусства“. (Ред.).

XIV.

Ему-же.

Москва, 3 окт. 99 г.

Многоуважаемый Д. В.

Въ отвѣтъ на Ваше письмо *) отъ 26 сент. я придумалъ вотъ что: у Чехова есть прекрасная комедія „Лѣшій“, которая никогда не была напечатана, а только налитографирована и игралась. Онъ ее передѣлалъ подъ заглавіемъ „Дядя Ваня“, по моему, испортилъ, хотя и въ испорченномъ видѣ она все-таки замѣчательна. „Дядя Ваня“ вошелъ въ составъ томика „Пьесы“, а „Лѣшій“ такъ и пропалъ: Богъ его знаетъ, есть онъ у Разсохина или нѣтъ? У меня есть экземпляръ, подаренный авторомъ, но я не увѣренъ, вслѣдствіе хаотическаго состоянія нѣкоторыхъ отдѣловъ моей библіотеки, найду ли его? Почему, скажете Вы, не напечатанъ „Лѣшій“? Это сложная исторія. Пьеса вызвала озлобленіе въ профессорскихъ кружкахъ, потому что выставленъ комическій и жалкій профессоръ, либералъ и эстетикъ. Чеховъ раскапризничалъ и не далъ пьесу въ печать. Дастъ ли онъ ее теперь—не знаю. Я могу его спросить. Нѣтъ сомнѣнія, что именно, какъ варіантъ „Дяди Вани“, она въ „Пантеонѣ“ была бы крупнымъ литературнымъ шедевромъ.

Статейку (покороче) „Чеховъ, какъ драматургъ“ можно, конечно, написать. Но, по правдѣ, что тутъ расписывать? Чеховъ—поэтъ особаго склада. Онъ и въ повѣстяхъ, и на сценѣ тотъ же. Онъ не особенно сложенъ. Его какъ-то не приходится очень изучать. И я неспособенъ злоупотреблять временемъ читателя, размазывая на 2 листахъ то, что можно сказать въ 4 страничкахъ, а еще лучше въ двухъ словахъ: Чеховъ—хорошій драматургъ.

---

*) Д. В. Философовъ состоялъ тогда членомъ Петербургскаго Театральнаго Литературнаго Комитета. Только что происшедшій въ Москвѣ инцидентъ съ забраковкой „Дяди Вани“ очень огорчилъ его и онъ черезъ кн. А. И. Урусова старался какъ нибудь замять это дѣло, т. к. тогдашній директоръ театровъ кн. Волконскій желалъ поставить „Дядю Ваню“ на Александринской сценѣ. (Ред.).

Я занятъ теперь (по окончаніи процесса Кредитки) подготовкою чтенія въ „Литер. Худож. Кружкѣ“, „Гёте и Пушкинъ. Двѣ годовщины“. Я занимался много Гёте'мъ въ Вѣнѣ отъ скуки, больной. Но... все это прожекты, а пока болѣзнь уха, коснувшаяся полукружныхъ каналовъ, даетъ себя чувствовать нетолько глухотою, но и шатаніемъ.

Отвѣтьте мнѣ кратко о „Лѣшемъ“. Я подожду запрашивать Чехова.

Преданный Вамъ Урусовъ.

PS. Нѣтъ ли у Васъ дублетовъ-автографовъ писателей русскихъ? Мы бы могли помѣняться.

XV.

Ему-же.

10 окт. 1899.

Многоуважаемый Д. В.!

Я написалъ Чехову убѣдительнѣйшее письмо на 4 страницахъ, гдѣ умоляю его о „Лѣшемъ“. Конечно, если онъ его дастъ, я напишу Вамъ этюдикъ о „Чеховѣ, какъ драматическомъ писателѣ“.

Гёте пока еще находится „dans les limbes“, еще я вбираю его въ себя—а выпущу паутину, когда нужда приспичитъ—къ сроку, значитъ. Подумайте: вѣдь его надо читать, да читать. Тоже авторъ не изъ маленькихъ. Глупости о немъ можно сказать огромныя. Я ужъ ихъ нѣсколько сказалъ.

Но Ваше письмо такъ любезно, что Вы можете прямо таки растрясти умершаго, встряхнуть его... Я именно такой умершій для внѣшней жизни, для всей области звуковъ, человѣкъ. Театръ, музыка, рѣчь людская—все исчезло. Но я все-таки не унываю.

Жму Вашу руку. А. Урусовъ.

PS. Только что получилъ изъ Брюсселя экземпляръ Salon de 1846 par Baudelaire Dufoys въ обложкѣ! превосходно сохранившійся экземпляръ 1-го изданія первой книги Боделэра.

Вотъ о чемъ есть писать, а то что?..

У меня есть рѣдчайшій экземпляръ Fleurs du Mal 1-го изданія съ 6-ю пьесами невырѣзанными и единственная коллекція автографовъ, писемъ и набросковъ Боделэра.

Все это—sera l'objet d'une publication spéciale.

XVI.

Ноября 17-го 1899 г.

Многоуважаемый Д. В.!

Чеховъ написалъ мнѣ длинное письмо, обѣщаетъ, если напишетъ пьесу, отдать ее Дягилеву, но самымъ рѣшительнымъ образомъ отказывается печатать „Лѣшаго"*).

Я 1-го декабря повторяю въ Москвѣ свое чтеніе о Гёте и, конечно, по написаніи реферата, съ удовольствіемъ предоставлю его „Міру Искусства", но профессіональныя дѣла продолжаютъ душить во мнѣ хилые побѣги литературности.

Съ совершеннымъ почтеніемъ
Урусовъ.

XVII.

Ноября 20-го 1899 г.

Многоуважаемый Д. В.!

Послѣ категорическаго отказа Чехова, возобновлять просьбу о „Лѣшемъ" не считаю возможнымъ. Но если писать статью о Чеховѣ, какъ драматургѣ, такъ можно привести въ дозволенныхъ размѣрахъ цитаты.

Еще неудобнѣе мнѣ представляется писать Чехову о какихъ то поправкахъ въ „Дядѣ Ванѣ" ради постановки его въ Петербургѣ. Рана, нанесенная его самолюбію ослинымъ копытомъ, еще не зажила и вдругъ я сталъ бы ему

*) См. ниже стр. 815. Намъ не удалось достать у А. П. Чехова писемъ Кн. А. И. Урусова, письма же Чехова, сохранившіяся въ коллекціи автографовъ А. И., печатаемъ ниже (см. стр. 312).

совѣтовать поправки! Нѣтъ, иниціатива постановки его пьесы должна исходить отъ дирекціи, и въ интересахъ литературы слѣдуетъ сдѣлать для Чехова исключеніе.

Я пріѣду въ Петербургъ 22 и пробуду до 29, вѣроятно, въ Европейской гост., побываю въ редакціи и у Васъ.

Съ совершеннымъ почтеніемъ
Урусовъ.

Письма А. П. Чехова къ Кн. А. И. Урусову.

9 ноября, 5½ часовъ веч. (91 г. помѣч. Урусовымъ).

1.

Уважаемый Александръ Ивановичъ, я не забылъ объ обѣщаніи, а я очень боленъ. У меня жаръ, знобъ, слабость, всего разломило — и въ тотъ четвергъ, когда мнѣ слѣдовало быть у Васъ, я лежалъ у себя въ спальнѣ... Какъ я жалѣю, что Вы меня на застали! Это такая для меня обида адская! Я только что вернулся отъ С., къ которому ѣздилъ затѣмъ, чтобы лѣчить его. Я забылъ мудрое правило: „врачу“ исцѣлился самъ. И меня назадъ привезли въ каретѣ, и начинаетъ голова болѣть.

Я все боюсь, какъ бы инфлуэнствующій С. не заболѣлъ воспаленіемъ легкихъ.

Будьте благодѣтелемъ, напишите мнѣ, въ какой день и часъ (послѣ 12 ноября) я могу побывать у Васъ такъ, чтобы не помѣшать Вашимъ занятіямъ. Для меня удобнѣй всего послѣ 6-ти вечера.

Искренно преданный А. Чеховъ.

2.

1 марта 1892 г.

Дорогой Александръ Ивановичъ, вчера я собирался къ Вамъ, но въ 8 часовъ вечера обстоятельства неожи-

данно погнали меня совсѣмъ въ другую сторону: пріѣхала одна особа и приказала мнѣ слѣдовать за ней. Я долженъ былъ повиноваться. Если бы это была полиція, то я оказалъ бы ей вооруженное сопротивленіе и всетаки попалъ бы къ Вамъ, но это была не полиція, а та власть, передъ которою дрожатъ даже боги.

За подарокъ сердечно благодарю. Вашу граціозную статейку буду беречь всю жизнь и внесу ее въ свой формулярный списокъ, гдѣ подъ рубрикой „незаслуженныя награды“ она будетъ занимать самое видное мѣсто. Впрочемъ, кажется, я витіевато выражаюсь. Но это ничего.

Отъ *** вой— полученъ отвѣтъ: она очень рада. Играть ей очень хочется, а актриса она, повторяю, очень недурная. Первое впечатлѣніе она даетъ какое то сюсюкающее— не смущайтесь этимъ. У нея есть огонекъ и задоръ. Хорошо поетъ цыганскія пѣсни и не дура выпить. Умѣетъ одѣться, но причесывается глупо. Въ среду въ Н. В. былъ напечатанъ ея разсказъ.

Я уѣду въ свое имѣнье въ четвергъ или въ пятницу. Жду утвержденія старшаго нотаріуса.

Еще разъ благодарю.

Вашъ А. Чеховъ.

3.

95 XI/21.

Дорогой Александръ Ивановичъ, Вы обладаете счастливымъ даромъ говорить и писать пріятное. Ваше карательное письмо очаровало меня.

Я добуду „Лѣшаго“, прочту и тогда пришлю Вамъ настоящій отвѣтъ. Кстати сказать, вчера я кончилъ новую пьесу, которая носитъ птичье названіе: „Чайка“. Комедія въ 4-хъ дѣйствіяхъ. Въ декабрѣ я буду въ Москвѣ (Больш. Московская Гостинница) и, буде пожелаете, пришлю или привезу Вамъ эту пьесу. Былъ бы очень, очень радъ, если бы взяли на себя трудъ прочесть. Трудъ этотъ нѣсколь-

ко облегчится тѣмъ, что пьеса будетъ напечатана на ремингтонѣ, и не придется разбирать мои каракули.

Сердечно благодарю Васъ и крѣпко жму Вамъ руку.

Вашъ А. Чеховъ.

Письмо это повезетъ въ Москву высокая, красивая вдова.

4.

1 февраля 1899 г.

Частыя неумѣренныя ласки лишаютъ насъ въ концѣ концовъ способности отвѣчать должнымъ образомъ на эти ласки; Ваша рецензія въ Курьерѣ, адресъ, письма изъ Москвы, гулъ славы, который изрѣдка доносится сюда сѣвернымъ вѣтромъ, истомили меня, я словно изнемогъ и все никакъ не соберусь написать Вамъ, дорогой Александръ Ивановичъ. Простите мнѣ великодушно, отпустите мнѣ мои грѣхи и вѣрьте—я благодаренъ Вамъ безконечно. Если бы я не жилъ въ Ялтѣ, то эта зима была бы для меня счастливѣйшей въ жизни.

Итакъ, я все еще въ Ялтѣ. Теперь вечеръ. Вѣтеръ дуетъ, какъ въ четвертомъ актѣ „Чайки“, но ко мнѣ никто не приходитъ, а напротивъ я самъ долженъ буду уйти послѣ десяти, надѣвши шубу. Въ общемъ живется скучно. Приходится дѣлать надъ собою усиліе, чтобы жить здѣсь изо дня въ день и не роптать на судьбу. Я читаю газеты, читаю про словарь Пушкина и конечно завидую тѣмъ, кто помогаетъ Вамъ.

Я продалъ Марксу свои сочиненія на вѣки вѣчные и ужъ послалъ ему для перваго тома цѣлый пудъ моихъ „лицейскихъ“ разсказовъ, не вошедшихъ еще ни въ одинъ изъ сборниковъ, мелкихъ какъ снѣтки. И всѣ вмѣстѣ они похожи на постный борщъ съ снѣтками. Изданіе вѣроятно будетъ хорошее.

Екатерина Великая кланяется и спрашиваетъ, когда же Вы пріѣдете въ Ялту; она глубоко вѣруетъ, что Вы скоро пріѣдете. М. А. все болѣетъ и худѣетъ.

Крѣпко жму Вамъ руку, низко кланяюсь и благодарю отъ всей души, отъ всего сердца. Будьте здоровы, счастливы и да будетъ Арбатъ и прилегающіе къ нему переулки самымъ пріятнымъ и благополучнымъ мѣстомъ на землѣ. Вашъ А. Чеховъ.

Въ январѣ мнѣ минуло 39 лѣтъ.

Вы обѣщали весной пріѣхать въ Ялту. Когда прикажете ждать Васъ: въ мартѣ или апрѣлѣ? По примѣтамъ, весна будетъ чудная, восхитительная.

5.

16 апрѣля 1899 г.

Дорогой Александръ Ивановичъ, я хотѣлъ быть у Васъ въ апрѣлѣ, чтобы повидаться, поблагодарить Васъ за тѣ радости, которыя Вы доставили мнѣ въ теченіе зимы, но наши общіе знакомые не пустили меня къ Вамъ, сказавши, что Вы сильно страдаете отъ нервной боли и что Вамъ не до гостей. А потомъ Вы уѣхали.

Милый Александръ Ивановичъ, умоляю Васъ, не сердитесь: я не могу печатать „Лѣшаго". Эту пьесу я ненавижу и стараюсь забыть о ней. Сама ли она виновата, или тѣ обстоятельства, при которыхъ она писалась и шла на сценѣ,—не знаю, но только для меня было бы истиннымъ ударомъ, если бы какіе нибудь силы извлекли ее изъ подъ спуда и заставили жить. Вотъ Вамъ яркій случай извращенія родительскаго чувства!

Ваше желаніе Вы выражаете въ письмѣ въ видѣ милой, дружеской просьбы, и мнѣ теперь безконечно стыдно, что я посылаю Вамъ не тотъ отвѣтъ, какой бы слѣдовало, и я не знаю, что мнѣ дѣлать. Дать Вамъ обѣщаніе? Извольте, обѣщаю, что напишу новую пьесу и пошлю ее Дягилеву. Напишу и пришлю Вамъ въ рукописи.

Если опять поѣдете заграницу, то пожалуйста напишите оттуда о Вашемъ здоровьѣ двѣ — три строчки. Это нужно и для меня, и для Вашихъ знакомыхъ, которые

часто обращаются ко мнѣ съ вопросомъ о Вашемъ здоровьѣ.

Я живу уже у себя, на томъ участкѣ, который Вы видѣли въ прошломъ году.

Воздвигнутъ домъ въ 2¼ этажа, бѣлый домъ, который извощики и татары называютъ „Бѣлой дачей". Видъ съ балкона чудеснѣйшій. Пыли, которою такъ извели меня, совсѣмъ нѣтъ. Здоровье мое сносно. Бациллы отошли на второй планъ, теперь приходится возиться съ геморроемъ и катаромъ кишекъ, который истощаетъ меня и придаетъ мнѣ постническое выраженіе. М-ме И. недавно вернулась изъ Карлсбада. Спрашивала о Васъ; говорила, что читала въ газетахъ о Вашихъ послѣднихъ успѣхахъ,—говорила и сіяла. Сегодня вызову ее къ телефону и прочту ей изъ Вашего письма строчки, относящіяся къ ней.

Погода сегодня изумительная, майская.

Низко вамъ кланяюсь, благодарю, благодарю, благодарю и жму крѣпко руку.

Вашъ А. Чеховъ.

Письма кн. А. И. Урусова.

XVIII.

К. Д. Бальмонту.

Марта 10 дня 1889 г.

Дорогой Константинъ Дмитріевичъ!

Отвѣчаю на Ваше письмо отъ 4 марта и на открытое письмо Е. А., полученное сегодня: какъ я ни искалъ, я ничего не нашелъ сейчасъ о Боделэрѣ кромѣ того, что у Васъ уже есть. Но укажу на память на кое-какія книги, изъ которыхъ часть Вы найдете въ Публичной Библіотекѣ, часть у Мельѐ; часть же постараюсь разыскать и пришлю: 1) Ste Beuve: Causeries de Lundi, см. алфавитный указатель, Index, 2) Les artistes Littéraires—не помню автора.

Спросите у Мельѐ или у Венгеровой. Тамъ есть хорошая статья. 3) Bourget: Essais de psychologie contemporaine: не пренебрегайте! Годится хотя бы для вожжей. 4) Brunetière — нѣсколько разъ писалъ. Все въ книжкахъ. 5) Maxime Du Camp.: Souvenirs littéraires. Несправедливъ, враждебенъ, тупъ. 6) De Banville: Portraits очень симпатиченъ. 7) Huysmans — въ A Rebours и въ Certains. (A suivre).

Въ свою очередь двѣ просьбы: 1) полное заглавіе Shelley's Lexicon. 2) Книжку Дефо: Journal of the Pleaque. Я выписалъ изъ Лондона, но пришлите пока. Кланяюсь Е. А., а Васъ обнимаю. Урусовъ.

XIX.

Ему-же.

Москва, 15/27 дек. 1896.

Дорогой К. Д.!

Сейчасъ нашелъ у себя на столѣ Ваше письмо, которое доставило мнѣ истинное удовольствіе. Если бы мой юбилей, (этотъ праздникъ, внутренній смыслъ котораго имѣетъ унылый оттѣнокъ, какъ поминки прошлаго) если бы онъ принесъ мнѣ только Ваше письмо,— и то я былъ бы имъ доволенъ. Но юбилей былъ очень веселъ: собралось много друзей, пришли актеры, много молодежи, говорили, читали (охъ, плохіе!) стихи, пѣли, даже танцовали. Мнѣ было весело. Я, однако, перебирая въ памяти отсутствующихъ, жалѣлъ о томъ, что не вижу Васъ, Е. А. и много другихъ. Никогда, дорогой К. Д., я не думалъ, что наши отношенія порвались или стали хуже. Могу сказать по совѣсти, что я какъ всегда высоко цѣнилъ Ваши достоинства, такъ и теперь ихъ цѣню. Даже „черной кошки“ между нами никогда не видѣлъ.

Благодарю Васъ за добрый отзывъ обо мнѣ. Въ моей натурѣ диллетанта, натурѣ безплодной, но отзывчивой, Вы могли найти искреннее сочувствіе. Я же цѣнилъ въ Васъ

продуктивную творческую натуру и всегда считалъ Васъ однимъ изъ рыцарей духа, трудомъ которыхъ создается высшая культура страны. Мало ли въ чемъ мы могли не сходиться — но за то всегда были точки соприкосновенія, а вѣдь въ этомъ то и главное.

Жаль, что Вы ничего не пишете мнѣ о Вашихъ работахъ. Исправьте этотъ пробѣлъ. Я заслуживаю съ Вашей стороны бо́льшаго довѣрія: Вы знаете, какъ меня всегда интересовали Ваши занятія. Изъ счастливыхъ поэтическихъ минутъ, пережитыхъ мною за послѣднее время, отмѣчу вечеръ въ Александринскомъ Театрѣ, на второмъ представленіи Чеховской „Чайки". Вещь удивительная! И говорятъ, что онъ хочетъ бросить сцену! Какое ослѣпленіе!

Здоровье мое плохо, невральгіи болѣе упорны и продолжительны. Живу я счастливо. Въ лицѣ двухъ племянницъ, переѣхавшихъ ко мнѣ, и моей крестницы А.— моя семья, мой домъ обогатился дочерьми. Но свободу я въ значительной степени утратилъ. Всякая привязанность — новыя путы.

Ужасно хотѣлось бы побывать съ Вами въ Парижѣ! Напишите непремѣнно — что Вы дѣлаете. Передайте мой поклонъ и благодарность Е. А. Преданный Вамъ А. Урусовъ.

XX.

Ему-же.

Москва, Января 18/30, субб. 1897.

Дорогой К. Д.! Благодарю Васъ за послѣднее Ваше письмо съ стихотвореніемъ „Аккорды", въ которомъ мнѣ нравятся мотивъ и настроеніе, но форма не представляетъ счастливыхъ находокъ и не даетъ яркихъ стиховъ*). Радуюсь за Васъ, что Вы увлекаетесь исторіей живописи. Это такъ естественно, чтобы поэтъ изучалъ ее... sit ut pictura poesis (Hor.).

---

*) Ради Бога не разсердитесь и не лишайте меня присылки слѣдующихъ стихотвореній: я всѣми интересуюсь, а нѣкоторыми восхищаюсь.

А я собираюсь къ Вамъ въ гости, въ Парижъ, въ февралѣ, въ концѣ нашего. А. П. Щ., по примѣру Московскихъ актеровъ, непремѣнно хочетъ ѣхать въ Парижъ постомъ, деньги копитъ, и племянницу свою, А., хочетъ взять съ собою. А я давно уже — годъ цѣлый! — не былъ на „умственной родинѣ“ и томлюсь по Парижу. А тутъ еще такая счастливая оказія: Вы и Е. А. въ Парижѣ, и близехонько. Я думаю остановиться 7 rue de l'Arcade. Я было думалъ ѣхать въ августѣ, но теперь Парижъ лучше, а въ августѣ Васъ, пожалуй, не будетъ. Пріѣду недѣли на 3. Познакомлю Васъ съ La Plume и Deschamps, можетъ быть, съ Юисмансомъ (если онъ не слишкомъ забрюжжитъ) могу предоставить Paul Adam, Hugues Le Roux, все народъ дошлый, Парижъ знаютъ хорошо. Пообѣдаемъ у Bailesve (или Boeslève) rue Geoffroy-Marie, 2 и отведемъ душу на русской бесѣдѣ. Мои дамы восторженно любятъ Вашу жену.

Я получилъ предложеніе писать, за высшую плату впередъ (15 к. строка), статью, о французской выставкѣ живописи здѣсь. Началъ — и бросилъ. Мало знаю. Совѣстно. Жму Вашу руку и прошу передать мой поклонъ Е. А. Урусовъ.

Къ Л-ой еще не попалъ. Да и не тянетъ.

XXI.

Ему-же.

Москва, 6/18 мая 1897.

Дорогой К. Д.! Благодарю Васъ за любезное письмо 5/17 апр. и очень сожалѣю, что не успѣю исполнить Вашего порученія относительно перевода стихотвореній. Я не могъ отыскать La Plume (библіотека еще въ хаотическомъ состояніи) и, не имѣя подъ рукою поэтовъ, указанныхъ Вами, не успѣю къ сроку Вашихъ чтеній отдѣлать требуемыя вещи.

Сегодня я получилъ доброе письмо Е. А. Не мнѣ на Васъ „сердиться“, а Вамъ на меня: такъ я завертѣлся, что и отвѣчаю поздно, и неисправенъ есмь. Глубоко сочувствую, соболѣзную Вашей невральгіи въ щекѣ. О, я тоже страдалъ отъ nervi trigemini. Къ счастью, эти адскія боли проходятъ безслѣдно, побѣждаемыя силами природы, которая усмиряетъ эти бунты нервовъ, какъ и всѣ прочіе, — и вводитъ игру жизненныхъ силъ въ нормальные предѣлы, или, если хотите, въ предѣлы нормы. Пройдетъ! Все пройдетъ! А пока совѣтую: жаропонижающіе внутрь! Бороться съ типическими болями посредствомъ всѣхъ антилихорадочныхъ! Какъ только боль приняла хроническій, періодическій характеръ—такъ лечить ее мышьякомъ, хининомъ и всей плеядой антипирозовъ съ кофеиномъ (для сердца!) Еще помогаютъ жаркія ванны (до 30° на ½ часа). Конечно, невральгіи требуютъ строгой индивидуализаціи леченія.

Я ничего не могу писать (заказанъ Боделэръ на 15 мая для „Cosmopolis“—и ни строчки). Я получаю отвращеніе къ собственной мысли, какъ только я ее написалъ. Глупости, которыя говорятся, исчезаютъ, а тѣ, которыя пишешь, живутъ и дразнятъ языкомъ „Мысль изреченная есть ложь“—вѣрная мысль Тютчева.

Чувствую себя хорошо, но слишкомъ занятъ. Дружески жму руку и жду извѣстій о лекціяхъ. Любящій Васъ А. Урусовъ.

Отыскалъ импровизацію Майкова. Однако! Эдакую штуку перевести на французскій — нелегко, ой, нелегко! И время нужно!

Не сердитесь, но это теперь невозможно. И охота Вамъ брать такую длинную вещь! Любящій Васъ А. У.

XXII.

Ему-же.

Москва, Февр. 22, 1898.

Дорогой К. Д.!

Мы пережили здѣсь ужасныя минуты тревоги и опа-

сеній. Болѣзнь Е. А., несчастные роды, осложненія, наступившія такъ внезапно—все это производило самое тяжелое впечатлѣніе. Я всѣми фибрами своихъ нервовъ болѣлъ вмѣстѣ съ Вами. Я боялся и еще боюсь за жизнь Вашей жены. Благородныя и добрыя созданія подвержены бо̀льшей опасности, чѣмъ обыкновенные люди. Невольно тѣснились печальныя мысли: у насъ бы ее лучше вылечили. У насъ совокупная сила любви столькихъ лицъ не могла бы не поднять ея силы! Но, слава Богу, кажется, что, благодаря энергичному и раціональному примѣненію серотерапевтическихъ впрыскиваній, доктора ее спасли. Только вчера я вздохнулъ свободнѣе, я повѣрилъ успокоительнымъ телеграммамъ. Я не хотѣлъ посылать вторичной телеграммы съ запросомъ о здоровьѣ: что можно сказать въ двухъ словахъ?

Сегодня я былъ у Н. М. съ моей племянницей О. Я подивился характеру и выдержкѣ старушки: она видимо была и потрясена и опечалена. „Какъ смерть бываетъ близко!“—сказала она съ кротостью и тотчасъ же, привѣтливо и ласково, спѣшитъ подѣлиться добрыми вѣстями и безъ многословія, точно сообщила все, что должно было успокоить гостей. Теперь и она поправилась и была бодрѣе. Отъ нея, конечно, скрыли тревожную телеграмму „état grave“, отъ которой на меня пахнуло могильнымъ холодомъ—но ея материнское сердце вѣрно угадало правду въ глазахъ и голосѣ окружающихъ. Теперь она ходила, говорила совершенно какъ прежде, но говорятъ, что эти послѣдніе дни она ужасно осунулась, словно постарѣла.

Мнѣ совѣстно бередить въ Васъ раны, нанесенныя Вашему сердцу этими страшными днями, но мнѣ ужасно хотѣлось бы имѣть отъ Васъ нѣсколько извѣстій. Я собираюсь въ Парижъ, но едва ли выберусь раньше марта, а до того времени Богъ знаетъ, что еще можетъ произойти. Миновала ли опасность? Нѣтъ ли возможности рецидива? Какъ дѣятельность сердца? Я слышалъ, что самочувствіе и аппетитъ были хороши даже при 40°. Неужели это прав-

да? Какіе Ваши планы? Гдѣ будетъ жить выздоравливающая? Не хотите ли вернуться въ Россію? Предлагаю Вамъ флигель отдѣльный, въ паркѣ, въ Марьинкѣ — но только если Вы навѣрное пріѣдете, а иначе мы Васъ съ женою устроимъ наверху, въ большомъ домѣ. Но это, кажется, утопія. Нужно запасаться силами за лѣто. Отвѣтьте мнѣ поскорѣе. Вы знаете, какъ я люблю Васъ и Е. А., да и всѣ у насъ Васъ (съ большимъ и маленькимъ *в*) любятъ. Молоко, деревенскій воздухъ, 10 минутъ отъ города, гдѣ 6 докторовъ, аптека, телеграфъ, почта и пр. Часть лѣта я проживу въ деревнѣ, часть на Кавказѣ, въ Ессентукахъ (діабетъ!) Тѣнистый садъ. Свобода... О себѣ не пишу: интереснаго ничего нѣтъ. Я написалъ нѣсколько строкъ въ Revue d'Art dramatique. Вашъ А. Урусовъ.

XXIII.

Ему-же.

Москва, Апрѣля 6/18 1898.

Дорогой К. Д.!

Благодарю отъ души Е. А. и Васъ за добрую память о 2 апрѣля. Какъ жалѣли мы всѣ не только о Вашемъ отсутствіи, но и о болѣзни нашей дорогой страдалицы! Праздникъ былъ не въ праздникъ намъ... И грустныя вѣсти не становились менѣе грустными отъ слабаго мерцанія надежды въ будущемъ! Какъ печально дѣйствуетъ это ужасное разстояніе! Повѣрьте, болѣзнь Вашей жены омрачила мой нравъ, лишила меня обычнаго настроенія. Могу сказать безъ преувеличенія, что я страдаю вмѣстѣ съ Вами. Поѣздка моя въ Парижъ разстроилась, но можетъ снова состояться.

Здѣсь ужасная весна: холодъ, морозъ, солнце угасло или замерзло. И скука же! Сѣрое, суровое небо... Какая картина для моихъ 55 лѣтъ!

Прочелъ Huysmans: la Cathédrale—это не романъ. Читаю русскіе журналы — уши вянутъ!..

Сегодня не могу ни о чемъ писать Вамъ, кромѣ удручающаго вопроса — какъ идетъ болѣзнь Е. А.? Что она дѣлаетъ? Можетъ ли читать? Неужели нѣтъ, неужели весь день страдаетъ это милое и святое существо?

Вчера я былъ въ Брюсовскомъ и обѣдалъ: традиціонный обѣдъ въ понедѣльникъ на Пасхѣ. Д. говорилъ мнѣ, что, по послѣдней телеграммѣ, температура упала, но не могъ сказать—на какой градусъ? Было 40, не правда-ли? Завтра ѣдетъ, кажется, А. А. Сегодня я заѣзжалъ къ С., но они ничего не знаютъ.

Въ Вашемъ письмѣ, дорогой К. Д., было такъ мало сказано: я давно знаю, что флебитъ, но я жажду картины послѣдняго времени, то-есть: когда Вы получите это письмо, въ тотъ день—какой онъ былъ, этотъ день? Очень ли она страдаетъ? Есть ли аппетитъ? Можетъ ли читать? Сколько t° утромъ и вечеромъ? Кто сидитъ у ней? Что она говоритъ?

Просто набросайте наскоро все это, хоть карандашомъ и бросьте на почту.

До свиданія, дорогой К. Д., пожалѣйте о насъ, далекихъ. Вашъ Урусовъ.

XXIV.

Ему-же.

Москва, 7 ноября 1898.

Дорогой К. Д.! Я только 3-го ноября вечеромъ вернулся изъ Ялты, а выѣхалъ я изъ Москвы 14 октября; вотъ почему я до сихъ поръ не писалъ Вамъ, чтобы поблагодарить за „Тишину“ и милое письмо отъ 19 октября. Я началъ читать „Тишину“, но такъ какъ моя воспріимчивость ограничена извѣстнымъ числомъ впечатлѣній, то до сихъ поръ я прочелъ, прочувствовалъ только небольшое число стихотвореній до „Эдельвейса“ включительно. Мнѣ показалось, что сборникъ носитъ на себѣ отпечатокъ все

болѣе и болѣе окрѣпшаго (нужно было бы иначе выразиться: крѣпнущаго, что-ли) стиля, Вашего собственнаго, Бальмонтовскаго стиля и колорита. Лучше всѣхъ стихотвореній (до стр. 36) мнѣ понравились „Аризона“, безукоризненный сонетъ, „Я тревожный геній“, „Ожиданьемъ утомленный“, меньше другихъ „Бромелія“. Но, прервавъ это письмо, я сталъ жадно читать дальше, останавливаясь только на тѣхъ стихотвореніяхъ, которыя меня захватывали сразу. Конечно, это вовсе не способъ оцѣнки, а только указаніе на родственность мотивовъ по темпераменту. Прелесть „Она какъ русалка...“! Это перлъ въ Вашемъ собраніи сокровищъ. „Полоса Свѣта“ чудная музыка „нѣтъ и не будетъ“. Съ наслажденіемъ вспомнилъ, какъ Вы читали „Тишина“, (стр. 69) „Лунная ночь“—прелестна, но 6-й стихъ содержитъ слишкомъ много *с*, и эта алитерація здѣсь не производитъ, кажется, желаннаго эффекта. Или я, можетъ быть, ошибаюсь и звукъ передаетъ шелестъ листьевъ? И дубъ, ласкающій сосну, меня смущаетъ. Совсѣмъ не нравится „Правда“. Прекрасно къ Шелли. Почему Вы пишете „Бомонтъ“, а не „Бьюмонтъ“? Великолѣпенъ „Донъ Жуанъ“! Въ немъ удивительно-сильные, счастливые стихи и яркій мотивъ, благотворно дѣйствующій на нервы, утомленные бѣлизною.

Я поѣхалъ осенью въ Ялту искать солнца, лазури, зеленой травы и розъ. Все это я нашелъ. Видѣлся каждый день съ Чеховымъ, встрѣтилъ даже одну или двѣ красивыхъ женщины. И все-таки... соскучился и покинулъ перламутровые оттѣнки Яйлы, сафировыя волны, берега окаймленные пѣною—безъ сожалѣнія. Людей мало, что ли, или просто меня стало тянуть къ своимъ, къ себѣ, домой. Здѣсь и пасмурно и сыро, но не скучно. А въ Петербургѣ, у васъ, въ обществѣ своихъ людей,—и совсѣмъ хорошо. Какъ я радъ, что Вы укоренились, принялись, такъ сказать, на Петербургской почвѣ, что у Васъ Чет-

верги, что я на нихъ буду! Пока еще не рѣшено, когда я пріѣду, но, конечно, скоро.

Обнимаю Васъ сердечно и шлю дружескій привѣтъ милой Е. К.

Любящій Васъ Урусовъ.

XXV.

Ему-же.

Москва, 13/26 мая 1900 г.

Дорогой К. Д.!

Благодарю за письмо изъ Біаррица и 3 стихотворенія. Они произвели на меня болѣе сильное, болѣе яркое впечатлѣніе, чѣмъ предыдущія, изъ Испаніи. Лучшимъ показалось мнѣ „Праздникъ Свободы". Въ красотѣ, музыкальности ритма, зеркальности не чужда нѣкоторой аффектаціи, а то стихотвореніе по стильности было бы, пожалуй, выше „Праздника". „Пожаръ"— превосходенъ по ритму, гармонирующимъ съ настроеніемъ пьесы, а вѣдь это такъ важно! У Минскаго, напр., ритмъ постоянно (или, вѣрнѣе, нерѣдко) не гармонируетъ съ содержаніемъ: ангелы (въ Геесим. ночи) поютъ куплеты, танцующіе размѣры должны передавать душевныя муки и т. д., а пятистопные ямбы— выражать воздушныя очертанія. Но Вы—виртоузъ ритма, только Вы злоупотребляете легкостью версификаціи и не даете кристаллизоваться вдохновенію. Всетаки у Васъ есть свой стиль, котораго ни у кого больше нѣтъ.

Моя болѣзнь мѣшаетъ мнѣ заниматься. Рѣдкій день выдастся безъ болей, то здѣсь, то тамъ. Сердце ослабло: бьетъ до 100 минуту: какая ужъ тутъ работа! Вслѣдствіе этой—„сильной слабости", какъ любятъ выражаться врачи, меня никуда не только не посылаютъ, а не пускаютъ. Я и надѣюсь только дотащиться до Марьинки. Мое состояніе похоже на то, будто смерть сидитъ у меня то въ спальнѣ, то въ передней. Я привыкъ къ этому сосѣдству, не надоѣдаю просьбами о безсмертіи и твердо уповаю на конечное

исчезновеніе въ вихрѣ химическихъ комбинацій. Настроеніе мое вообще веселое и пріятное: я цѣню такія блага жизни, какъ любовь, участіе близкихъ мнѣ людей, ласку друзей, чтеніе хорошей книги, нѣжность молодой листвы. Въ саду я поставилъ бюстъ Зевса Отриколійскаго. Можетъ быть, человѣчеству удалось создать болѣе возвышенное представленіе о Богѣ, но болѣе совершеннаго его образа оно не создало. Зевсъ кротко и задумчиво улыбается, когда я ему кланяюсь, читая книгу о смерти Андреевскаго въ ремингтонированной рукописи. Это лучшее, что онъ написалъ, и по красотѣ языка и по силѣ оно равняется Толстому.

Поздравляю дорогую Е. А. и Васъ съ декабрьскими ожиданіями. Дай Богъ всего хорошаго! Возвращайтесь въ Россію. Довольно Испаніи! Здѣсь чудесно, поздняя весна ласкова и нѣжна, красота ея удивительна! Пора! Вся заграница—въ насъ самихъ. А. Урусовъ.

XXVI.

Ему-же.

Москва, 10 февраля 1900.

Дорогой К. Д.! Благодарю Васъ за письмо отъ 21 января и за стихи. Прежде всего о нихъ: первое стихотвореніе „Великое Ничто“ содержитъ красоты: Какъ иней сновъ... Огонь ума... и вся 2-я часть. Есть слабости: пробѣлъ зноя... Впрочемъ, это придирка: здѣсь все стильно и то, что неясно, тоже въ стилѣ, и незачѣмъ всему быть яснымъ: на то есть газетная проза.

Второе стихотвореніе, несмотря на виртоузность формы, заключаетъ въ себѣ мотивы комическаго chef-d'oeuvr'изма, à la Брюсовъ: „предтеча...“ „я впервые...“ „все возьму...“ Это прямо напрашивается на пародію, и справедливую. Право, не знаю, какъ бы мнѣ выразить это впечатлѣніе: я понимаю, что для художника важно только одно, удачно ли вышло исполненіе задуманнаго или нѣтъ? Если удачно, значитъ стихотвореніе выразило интенсивно замыселъ, хотя и не вполнѣ, но съ утратою минимальной силы, а неудач-

но—ну, значитъ, дѣло пропало! Вашъ замыселъ 2-го стихотворенія былъ музыкально-виртуозный. Эта часть удалась вполнѣ. Вы хотѣли выразить хвастливое бахвальство, такъ сказать, фатовство стихотворнаго дэнди—и это вышло. Значитъ, стихотвореніе хорошо. А если непріятно шокируетъ это бахвальство, такъ ужъ тутъ вступаетъ въ дѣло „третье лицо", контроль этическихъ чувствъ. А третье лицо—постороннее.

Я, впрочемъ, радъ, констатируя, что Вашъ колоритъ остается сочнымъ и что запасъ словъ у Васъ не изсякаетъ; это, какъ Вы знаете, главное. Шаблонность языка выдаетъ шаблонность чувствъ. Хорошее слово „къ усладамъ" пріятно отзывается стариною. Старина непремѣнно должна дать новыя слова, т.-е. такія, которыя забыты, но пріятны подобно полинявшимъ и нѣжнымъ оттѣнкамъ штофа.

Я? Что про меня сказать? Я совсѣмъ оглохъ, бросилъ трубку, завидую кн. Тугоуховскому и сношусь съ людьми только письменно или знаками. Все собираюсь хорошенько погрустить о себѣ, но не выберу время: все некогда. Даже ночью, въ безсонницу нѣтъ охоты сокрушаться о себѣ и конецъ сознаю совершенно спокойно. Можетъ быть, поддерживаетъ мысль, что впереди будетъ и хуже, теперь, по крайней мѣрѣ, боли, страданій нѣтъ и самое худшее—постоянное головокруженіе, какъ у пьянаго.

Кончилъ каталогъ библіотеки: 5880 нумеровъ. О. уѣхала въ Нерви, близъ Генуи. С. (мой сынъ) уѣзжаетъ заграницу, будетъ въ Парижѣ, поручу ему быть у Васъ. Онъ ѣдетъ съ пріятелями и остановится, вѣроятно, въ Continental. Я собираюсь къ знаменитостямъ въ Берлинъ. Здѣсь бываю 3 раза въ недѣлю у д-ра Н., безъ всякой пользы. Массажъ, гальваника, мышьякъ, Vichy, Іодовозогенъ, электрическій массажъ и прижиганія уха—все пущено въ ходъ; результатъ—нуль. Хохоталъ я сегодня, читая о Жемчужниковѣ. Болѣе прозаическаго разсудочнаго поэта не бывало. Это хвалятъ! Некрасова въ „Курьерѣ" называютъ „знаменитѣйшимъ" изъ русскихъ поэтовъ. Это неправда. А Надсонъ?

Вашъ Урусовъ.

XXVII.

Ему-же.

29 мая 1900 г.

Дорогой К. Д.! Осенью выйдетъ сборникъ, издаваемый въ пособіе голодающимъ евреямъ. Я далъ имъ изъ моей коллекціи автографовъ 4 письма, неизданныхъ, Герцена и Тургенева. Дадутъ что нибудь и всѣ литераторы. Зная Вашу доброту, прошу Васъ разрѣшить мнѣ передать одно или 2 Вашихъ стихотворенія — изъ тѣхъ, которыя у меня и которыя Вами еще не посланы въ другія редакціи. Напишите. Сегодня посылаю большое письмо Е. А. Вашъ А. Урусовъ.

XXVIII.

Ему-же.

26 іюня 1900 г.

Боленъ. 15 дней и ночей мигрени безпрерывно. Ни читать, ни писать, ни ѣхать, ни ѣсть не могу. Настроеніе хорошее. Доктора ежедневно. Говорятъ „ничего“. Письма и стихи получилъ всѣ.

Урусовъ.

XXIX.

Екатеринѣ Алексѣевнѣ Бальмонтъ.

12 февраля 1895 г.

Дорогая Е. А!.

Благодарю Васъ за цвѣты, которые утѣшаютъ меня въ одиночествѣ. Я пережилъ очень трудныя минуты, очутившись передъ дилеммой: страшныя боли требуютъ морфія, а его такъ много поглощено, что онъ не дѣйствуетъ, а другихъ средствъ нѣтъ, между тѣмъ сердце слабѣетъ, а боли для ослабленнаго организма кажутся сильнѣе. Въ этихъ случаяхъ могутъ произойти сюрпризы со стороны сердца. Оказалось однако, что салициловый натръ и гальваническій токъ—остановили невральгію, или вѣрнѣе, что

она уже окончилась, продѣлавъ свои штучки до конца и уходила сама, когда врачи думали, что выгнали ее.

Теперь отъ всего остался ужасающій гриппъ: ларингитъ, кашель, горло, жаръ и проч. Но цвѣты, молча и кротко, красуются передо мною. Ихъ невинныя головки передали мнѣ поклонъ... я сейчасъ догадался отъ кого— но все еще не зналъ...

Цѣлую Ваши ручки. Судьба тоже караетъ. Вашъ Урусовъ.

Что Вы подѣлываете? Что читаете?

XXX.

14 февраля 1895 г.

Дорогая Е. А!.

На свѣтѣ ужасно мало вещей, которыя я могъ бы подарить Вамъ, доставивъ Вамъ при этомъ хоть какое нибудь удовольствіе, такъ что я даже не знаю, что бы могъ отказать моему дорогому другу по завѣщанію.

Но пока этотъ вопросъ не рѣшенъ, (температура днемъ почти нормальна) прошу Васъ сдѣлать мнѣ, больному человѣку удовольствіе: примите этотъ альбомъ. Вы его уже знаете. Онъ не новый, но на положеніи новаго лежитъ у меня такъ, безъ дѣла. Но вѣдь и я не новый, и тоже лежу.

Онъ пригодится Вамъ для фотографій, которыя портятся если ихъ не наклеить. Если будете клеить сами то помните, что оттискъ нужно сперва смочить губкой или широкой кистью, потомъ обсушить на пропускной бумагѣ, и наконецъ, слегка обмазать всего, тщательно положить на заранѣе отмѣченное карандашемъ мѣсто и крѣпко прогладить руками черезъ листъ бумаги или посредствомъ полотенца. Фотографическая бумага легко рвется.

Я все болѣю, горлу лучше, кашель также, а 17 я должен быть въ Совѣтѣ, а 21 долженъ, живой или мертвый, ѣхать въ Курскъ. Вашъ Урусовъ.

XXXI.

Ей-же.

15 февраля.

Дорогой другъ мой!

Для біографіи Боделэра есть только 2 книги: очеркъ Готье въ предисловіи къ Fleurs du Mal и—работа Crépet, которую я Вамъ посылаю. Здѣсь подробно указаны работы о По. Библіографію же переводовъ Вы найдете въ книжечкѣ „Souvenirs c.“.

Я все еще убійственно кашляю: точно желаю выкашлять свои внутренности, а не выкашливаю ничего кромѣ слезъ. Что же это за вещь, которую завѣщать Вамъ? А я не догадаюсь? Вы должны это сказать: я во имя дружбы требую это. А всетаки сегодня мнѣ лучше: мажу глотку, полощу...

„Скрипка Ротшильда“*)—превосходная вещь, чистый шедевръ. Кожи возвращаю — онѣ пока не нужны, переплетовъ дѣлать не будемъ. Вашъ А. У.

Прошу сообщить что стоитъ кожа? Пожалуйста. Одну кожу оставляю для рамки. 17 или 18 буду у Васъ.

XXXII.

Ей-же.

11 марта 1895 г.

Сегодня мнѣ хуже; докторъ запрещаетъ говорить: быть у Васъ и молчать—утопія. Что же дѣлать? Нужно имѣть характеръ и спасти голосъ—единственное орудіе труда.

Простите, но долженъ больше сидѣтъ дома. Ночью страшно кашлялъ, буду писать М. А. Придти не могу.

Вашъ А. Урусовъ.

---

*) Разсказъ Чехова.

XXXIII.

Ей-же.

12 марта 1895 г.

Дорогой другъ!

Мнѣ сегодня чуть-чуть лучше. Былъ Андреевскій. Превосходно замѣтилъ, что разсказъ Толстого представляетъ собою мастерское, но едва ли вѣрное изображеніе смерти, что въ ней нѣтъ того мелодраматическаго, тенденціознаго характера, который вложенъ Толстымъ въ эту сцену. „Вообще, замѣтилъ онъ, сюда вошло 2 элемента: „Метель“ и „Смерть Ивана Ильича“... но наблюденіе надъ смертью даетъ другую картину“...

Я цѣлый день сегодня сижу дома. Дочитываю En route, ничего подобнаго не писалъ ни Юисмансъ, и никто другой. Это автобіографическая, глубоко изученная исторія обращенія художника къ христіанской мистикѣ, и удивительная картина монастыря. Вспомнилъ я гнусный „Годъ въ монастырѣ“ Апухтина и чуть не стошнило. Юисманса читать трудно для публики. Томикъ содержательный, упругій.

Возвращаю Вамъ Толстого: что то не хочется его читать теперь и Рѣпина тоже... да и передъ отъѣздомъ не хочется брать ихъ.

Я радъ за успѣхъ Бальмонта. Но хороша публика смѣющаяся по поводу Silence. Вашъ А. У.

XXXIV.

Москва, 18 ноября 1897 г.

Дорогая Е. А!

Поздравляю Васъ, дорогой другъ, съ Вашими именинами. Надѣюсь, что это письмо дойдетъ до Парижа къ 24-му.

Только что узналъ, что К. Д. здѣсь. Но я сегодня вечеромъ уѣзжаю въ Петербургъ и до понедѣльника тамъ

останусь. Желаю Вамъ здоровья, счастливаго разрѣшенія, душевнаго мира—словомъ, счастія. Мнѣ кажется, что Вы счастливы и будете счастливы, насколько это слово — Богъ его знаетъ, что оно значитъ и какъ сложилось!— гармонируетъ со святымъ безпокойствомъ Вашей самоотверженной души.

Ну-съ, теперь обо мнѣ. Буду краткъ. Пишу Вамъ страшно утомленный, голодный, почти больной отъ истощенія. Что за ужасы? А вотъ что: вслѣдствіе затянувшагося и неудачнаго ремонта моего Московскаго дома, жена и племянницы остались въ Марьинкѣ, я съ С. здѣсь, но безъ прислуги, безъ хозяйства. Работаю до 6, плохо высыпаюсь, плохо кормлюсь. И скучно—одному въ цѣломъ домѣ. Пустыя комнаты зіяютъ. И та гостинная, гдѣ пережито столько впечатлѣній, имѣетъ какой-то мертвенный, по-упокойный видъ.

Чѣмъ я занятъ въ настоящую минуту? Читаю и изучаю „Зимнюю сказку" Шекспира. Готовлю даже о ней рефератъ въ общество Быковскаго. Пьесу даютъ на дняхъ въ М. театрѣ и я заинтересованъ ею.

Вчера видѣлъ въ 1-й разъ Тину ди Лоренцо въ „Faciamo divorzio" Это не геній, не сверхъ-человѣкъ, не Дузе— но это блестящій, яркій талантъ, съ большимъ сценическимъ темпераментомъ. И Андо опять играетъ, отличный актеръ! Armando!

Еще меня интересуютъ мои дѣла. На дняхъ я вернулся изъ Новочеркасска, гдѣ выигралъ одно изъ интереснѣйшихъ дѣлъ всей моей карьеры: присяжные отвергли фактъ подлога духовнаго завѣщанія умершаго архіерея— буддиста Донскихъ калмыковъ. Шестеро подсудимыхъ оправданы. Апплодисменты, оваціи, обѣды... и громадное ощущеніе счастья. Спасеніе людей отъ погибели... Какъ фонъ: мѣстный театръ, провинціальная труппа, симпатіи.

Раскрывать ли передъ Вами внутренніе затворы моего стараго сердца? Зачѣмъ? Оно еще бьется по прежнему и безуміе мечтаній — предпочитаетъ дѣйствительности. Но все таки это сердце гетеры, а не героя.

Жизнь моя, въ послѣднее время такъ сложилась, что я мало сижу на мѣстѣ, все въ разъѣздахъ. Здѣсь же я живу по прежнему: часто бываю у Вашихъ, очень часто у Ч., по субботамъ въ Симфоническихъ концертахъ съ А. Чаще въ М. театрѣ, который въ нынѣшнемъ году, послѣ Дузевскаго періода—послѣ 4-хъ лѣтъ—опять сталъ меня притягивать.

Въ четвергъ надѣюсь пріѣдутъ мои и жизнь будетъ болѣе нормальна.

Можетъ быть, въ февралѣ я пріѣду въ Парижъ, и оттуда—въ Ниццу. Пріѣду... одинъ.

Но уже 10-й часъ. Въ 11 идетъ поѣздъ, а я еще не уложился. И погода какая! дождь, гололедица...

Еще разъ поздравляю Васъ и крѣпко цѣлую Вашу руку. Преданный Вамъ Урусовъ.

XXXV.

Ей-же.

Москва. 30 іюня 1898.

Дорогая Е. А. Я сейчасъ только что пріѣхалъ изъ Марьинки съ М. и Л.: завтра у меня дѣла, а послѣ завтра вернусь. Я нашелъ Ваше письмо, прочелъ съ чувствомъ особенной, умиленной благодарности и радости. О Вашемъ состояніи я имѣлъ извѣстія изъ письма А. А. и недавней записки М. В. Я зналъ, что Вы на пути къ выздоровленію и что Вы часто пишете. Какъ я радъ, что всѣ эти ужасныя испытанія миновали! Возвращайтесь же скорѣе къ намъ, довольно странствовать на чужбинѣ. Теперь Вы какъ обновленная, какъ будто родились вновь—теперь Вы должны цѣнить больше свою жизнь, чѣмъ прежде. Я всегда думалъ, что только родной воздухъ цѣлебенъ. А вѣдь у Васъ старушка мать, всѣ Васъ любятъ—поживите опять въ Москвѣ. Бросьте эти курорты; ну ихъ. Довольно. Налечились.

Изъ тона моего письма Вы видите, что М. много лучше... Послѣ двухъ консультацій съ Московскими спеціалистами, можно надѣяться, что операцію удастся отложить до осени. Она съ ужасомъ думаетъ о необходимости уѣхать изъ Марьинки, гдѣ ее окружаетъ цѣлый міръ любимыхъ впечатлѣній. М. съ величайшимъ сочувствіемъ слѣдила за ходомъ Вашей болѣзни. Конечно всѣ мои планы на поѣздку, леченіе на Кавказѣ и пр. отложены на неопредѣленное время. Впрочемъ, мое здоровье вовсе не требуетъ пока экстренныхъ мѣръ. Нигдѣ я не чувствую себя лучше, какъ въ изумрудной атмосферѣ Марьинскихъ липъ, а когда онѣ зацвѣли сверху до низу, то меня окружало такое сказочное благоуханіе, что становилось почти неловко: все цвѣтетъ, жужжитъ, сіяетъ. Носятся волны изумительнаго по сладости запаха — а ты ходишь, обрюзглый, вульгарный, поношенный и вмѣсто гимна, какія то кассаціонныя рѣшенія: вообще неприлично.

Перехожу къ новостямъ дня, такъ сказать. Мой сынъ зачисленъ ко мнѣ помощникомъ присяжнаго повѣреннаго. Три племянницы по прежнему живутъ у меня, О. выучилась недурно играть въ шахматы. Сегодня она съ С. была на охотѣ на дикихъ утокъ. Убила одну, а онъ — восемь.

М. и Л. покупаютъ завтра себѣ по велосипеду. Я купилъ на Арбатѣ, противъ Военнаго Суда, домъ бывшій Корша: довольно красивой архитектуры съ магазинами и квартирами, но жить я останусь въ прежнемъ. Въ Марьинкѣ я продолжаю заниматься хозяйствомъ. Работаю надъ Боделэромъ.

Но возвращаюсь къ Вамъ: я увѣренъ, что нѣтъ лучшихъ сидѣлокъ, какъ монахини. Помилосердуйте: за что это я могъ бы на Васъ или на К. Д. сердиться! Я никогда не переставалъ любить Васъ обоихъ, какъ добрыхъ милыхъ друзей, а Васъ, мой дорогой другъ, я—единственную изъ всѣхъ моихъ знакомыхъ—прячу въ святыя. Въ Васъ этой самой святости—хоть отбавляй! Не ищите здѣсь ни шутки, ни ироніи. Вы по самоотверженной любви къ

ближнимъ были угодница Божья, а теперь стали великомученицей. Пріѣзжайте же скорѣй и, если не утомитъ, пишите Вашему искренно-преданному А. Урусову.

XXXVI.

Ей-же.

21 Августа 1898 г. Бронницы (Московск.) Марьинка.

Дорогая Е. А. Извините, если я не былъ у Васъ 20-го. До конца вечера надѣялся еще поспѣть, но у меня было назначено собраніе Директоровъ Литературно-Худож. Кружка. Я даже накупилъ посуды, приготовилъ угощеніе... ждалъ: явился изъ 11 — одинъ... и только. Но сидѣлъ такъ долго, что я, въ 12-мъ часу не рѣшился идти къ Вамъ. А сегодня я бѣжалъ. Утромъ былъ въ Судѣ и почти до отхода поѣзда работалъ—а потомъ бѣжалъ, бѣжалъ безъ оглядки. Да, здѣсь, въ этомъ деревенскомъ уголкѣ, гдѣ сохранены традиціи старины, но почти все передѣлано и организовано моимъ трудомъ я чувствую себя лучше, какъ моллюскъ въ своей раковинѣ. Привезъ книги о Боделэрѣ и буду работать до понедѣльника вечеромъ. При свиданіи попробую почитать Вамъ изъ Paradis artificiels, хотя наши литературные вкусы, кажется, сильнѣе расходятся, чѣмъ когда либо, да и мнѣ стало въ тягость много читать громко. Чтеніе настоящее, должно имѣть одного слушателя—самого себя. И только.

Дружески жму Вашу руку и надѣюсь, что здоровье Ваше продолжаетъ поправляться. Преданный Вамъ А. Урусовъ.

XXXVII.

Ей-же.

Москва, 22 апрѣля 1899 г.

Дорогая Е. А. Во все время, какъ я—съ 3-го апрѣля испытывалъ величайшія страданія—Ваше милое, доброе письмо было у меня подъ подушкой. Боли въ головѣ (трой-

ничнаго нерва trigeminus) были до того неистовы, что вся жизнь моя состояла въ ожиданіи: вотъ она!—и въ отдыхѣ: кажется утихло — нѣтъ вотъ опять боль и т. д. день и ночь. Единственное спасеніе давалъ морфій, но наконецъ и онъ потерялъ силу. Тогда меня перевезли въ хирургическую лѣчебницу. Боже мой! Никогда я не испыталъ ничего подобнаго... о! Я опишу ее... это точно Doctor Hieronymus Амаліи Скрамъ, это Чеховская „Палата № 6“... Опять привезли домой. Операціи не нужно (предлагалось продолбить стамеской и молотомъ толстый сосцевидный отростокъ черепа — у человѣка, у котораго проколъ — и тотъ не заживаетъ)! Дома мнѣ показалось—царствіе небесное: чистота, вниманіе, уходъ, сидѣлка.

Каждый день 2, 3 врача: Бѣляевъ, Усовъ, Щуровскій, Левенталь, Шацкій, Россолимо. Смерть угрожаетъ отъ воспаленія мозговыхъ оболочекъ, (такъ умеръ на дняхъ Макалинскій) но опасность миновала: воспаленіе локализировалось пока? или совсѣмъ — не знаю. Пока пишу — адскія боли въ вискѣ. Кончаю. Благодарю. Вашъ Урусовъ.

Выходилъ сегодня въ садъ, хожу весь обвязанный: голова въ полотенцѣ. Когда выздоровленіе?—и не говорятъ.

XXXVIII.

Ей-же.

3 іюля 1899 г. Вѣна.

Дорогая Е. А. Хорошо, что уѣхалъ: въ Москвѣ бы пропалъ. Сегодня я былъ въ 3-й разъ у Поллицера. Онъ нашелъ, что слѣдуетъ примѣнить болѣе энергическое лѣченіе — и выскабливаетъ грануляціи острою ложечкою, петлею и, кажется, пускаетъ въ ходъ какіе то не то щипцы, не то клещи—все это почти миніатюрнаго размѣра. Бываетъ непріятно, даже очень больно, но тотчасъ боль проходитъ безслѣдно. Глухота — по прежнему. Конечно, предварительно пускаетъ кокаинъ, но никто не держитъ голову, я стою передъ докторомъ, а онъ старается. Относительно предсказанія будущаго онъ выражается уклончи-

во. „Сначала попробуемъ удалить грануляціи, сдѣлаемъ продуваніе, введемъ бужи, а если все это не поможетъ, тогда операцію, удаленіе сосцевиднаго отростка“... Онъ ничего не обѣщаетъ, не успокаиваетъ и не пугаетъ. Человѣкъ онъ около 50, очень бодрый, спокойный, авторитетный. О цѣнѣ говоритъ, условимся послѣ... Живетъ богато: сотни картинъ, objets d'art...

Здѣсь мы устроились прекрасно. Отель выбрали поближе къ Поллицеру, который живетъ Gonzaga-Gasse, 19. Я фотографирую уличныя сцены, читаю l'Anneau d'améthiste и Pierre Nozières Анатоля Франса. Критическія статьи Hermann Bahr. Пишите. Жму Вашу руку. Вашъ А. У. Усердный поклонъ К. Д.

Ей-же.

XXXIX.

24 іюля 1899 г. Вѣна.

Дорогая Е. А. Я писалъ Вамъ отсюда 4 іюля, а сегодня 24. Вы, какъ я знаю изъ писемъ Т. А., ѣздили къ Н. В. Е. и вѣрно не получили моего письма? Мой адресъ: Wien I Hôtel Metropole. До 13 іюля меня лечилъ Поллицеръ, потомъ уѣхалъ, передавъ меня асистенту. Кое что удалось: катеризація лѣваго уха, удаленіе грануляціи... Но хотя общее состояніе мое было не дурно, но я всетаки слабъ и страдаю головокруженіемъ. Сегодня въ тѣни 22½ градуса! Послѣ 27 іюля мы должны ѣхать въ Карлсбадъ, оттуда послѣ 2-хъ недѣль вернуться къ возвращенію Поллицера, который внушаетъ мнѣ довѣріе. Слухъ мой безъ перемѣнъ. Нужна ли будетъ операція—еще неизвѣстно. Будетъ ли выздоровленіе... ничего не говорятъ, значитъ мало хорошаго въ виду. Но настроеніе мое очень хорошее и въ Вѣнѣ мы не скучаемъ: много фотографирую, уличная жизнь, кофейни, книги, журналы... къ сожалѣнію не могу много читать! Пишите. Вы знаете, что Ваши письма мнѣ дороги. Жму руку дорогому поэту и прошу не забывать меня. Что подѣлываетъ А. А.? Какъ здоровье Н. М. и Ваше? Вашъ А. У.

XL.

Ей-же.

Получилъ письмо отъ 17 іюля сейчасъ. По пути встрѣтилъ Ш., кузину Вашу, ѣхала въ Берлинъ. Пишу Вамъ сегодня закрытое. Завидую деревенской прохладѣ Вашей. Interno прочелъ въ Москвѣ: психіатрія.

XLI.

Ей-же.

Вѣна 8/20 авг. 1899 г.

Дорогой другъ, я получилъ Ваше письмо отъ 3 авг. и еще „состою" въ долгу за 17 іюля: въ открыткѣ обѣщалъ писать особо и только теперь исполняю. Дѣло въ томъ, что у меня былъ періодъ усиленія головокруженій—до того, что писать и много читать было невозможно. 2-го августа вечеромъ почувствовалъ, что не могу подняться. Я лежалъ на кровати, отдыхалъ отъ поѣздки въ Баденъ, близъ Вѣны. Хочу подняться—чувствую, голова кружится, сейчасъ будетъ обморокъ. Повторяю попытку—опять тоже. Что за чудеса! Никогда не бывало! Послалъ за докторомъ; тотъ сжалъ мнѣ голову руками, велѣлъ открыть окна, дѣлать глубокія вдыханія, прошпринцевалъ и продулъ слуховой проходъ—и я ожилъ. Вскорѣ однако, эти симптомы ослабли: я сталъ опять ходить одинъ, не очень раскачиваясь и главное получилъ возможность снова громадную массу читать, читать безъ конца и писать немного. Въ Карлсбадъ мы не поѣхали именно потому, что всякія Strapazen мнѣ вредны: какъ только конгестивное состояніе головы, такъ головокруженія усиливаются. Штука эта заключается въ раздраженіи лабиринта и полукружныхъ его каналовъ. Воду Карлсбадскую я пью здѣсь и уже кончаю свой мѣсяцъ. Дѣлать мнѣ тамъ нечего. Теперь сижу здѣсь и жду возвращенія Поллицера. Отъ 11 до 14 іюля я лечился у него, отъ 14 до 29 у его асистента д-ра Пинсъ, очень хорошаго, опытнаго врача; отъ 29 до 14 августа я долженъ отдыхать, а затѣмъ опять

начну ходить къ Пинсу. Около 3-го сентября вернется Поллицеръ и какую нибудь операцію (или большую, удаленіе сосцевиднаго отростка, или малую—вторичный разрѣзъ барабанной перепонки и удаленія косточекъ для очищенія средняго уха) онъ сдѣлаетъ. Я страдаю грануляціоннымъ воспаленіемъ средняго уха: пока грануляціи не будутъ удалены хирургическимъ путемъ или сморщены спиртомъ, воспаленіе не можетъ пройти. Діабетъ мой стушевался. Завидую Вамъ и К. Д., что вы проведете зиму въ поэтической и живописной Испаніи.

Моя умственная жизнь ограничивается чтеніемъ: исторіи Австріи (очень забавной), Esthétique de la langue française Rémy de Gourmont (я написалъ ему письмо о нѣкоторыхъ ошибкахъ), Andersen's (Sämmtliche) Märchen (прелесть!) Maupassant (посмертные разсказы. Не важно!) и газеты, газеты, газеты! Можно ли скучать, когда есть дѣло Дрейфуса! Живемъ мы здѣсь такъ мирно, что я часто чувствую себя, смѣшно сказать!—счастливымъ. И въ тѣ дни, когда я получаю письма такого добраго и вѣрнаго друга какъ Вы—я тоже счастливъ. Цѣлую холодную ручку и обнимаю К. Д. Жду, прошу стиховъ!! Урусовъ.

XLII.

Ей-же.

10 февр. 1900.

Дорогая Е. А. Отвѣчаю на Ваше милое двуспальное полу-письмо (эпитетъ не мой, а Герцена). Вы спрашиваете: надъ чѣмъ я работаю? До сихъ поръ занимаюсь приведеніемъ въ порядокъ того, что имѣю: книгъ, (только что кончилъ каталогъ 5800 №№) потомъ вещей, коллекцій, автографовъ, картинъ, наконецъ—воспоминаній и матеріальныхъ ресурсовъ. Я какъ Робинзонъ Крузо на пустынномъ островѣ. Я весь день одинъ, хотя меня окружаютъ люди мнѣ дорогіе и любящіе меня. Написалъ я нѣсколько строкъ о Гёте; въ № „Новостей“ отъ 8-го февраля напечатана моя рѣчь по дѣлу о безпорядкахъ въ Шкловѣ. Я собираюсь написать о Гёте обѣщанную въ М. Иск.

статью... я собираюсь написать еще много замѣчательныхъ вещей... собираясь,—я думаю, почти работаю. Сейчасъ (теперь 9 часовъ безъ четверти вечера) я пишу Вамъ подъ лампой, на моемъ письменномъ столѣ, который съ незапамятныхъ временъ (съ 1870... нѣтъ еще раньше купленъ) мнѣ служитъ, ѣздилъ за мной въ Варшаву и Петербургѣ — словомъ часть меня самого. Противъ меня сидитъ мой помощникъ, г. Р. и вноситъ въ книгу „Каталогъ библіотеки кн. А. И. Урусова“ фишки изъ 2-хъ коробокъ. Только что принесли мнѣ отъ Мюра и Мерилиза заказанные 3 футляра съ надписью: A. Ouroussof. Memoranda. Въ нихъ помѣстилъ я свои записныя книжечки съ 1890 по 1900 годъ. Боже мой! чего только нѣтъ въ этихъ книжкахъ. Все—и романы, и идилліи, и эклоги, и дѣла и расходы, адреса и рецепты, перлы и стихотворенія (чужія, конечно) и автографы. Посовѣтуйте, что мнѣ дѣлать съ ними? Я хочу ихъ въ желѣзную шкатулку и на сто лѣтъ въ Румянцевскій музей запереть, запечатать и ключъ забросить. Черезъ 100 лѣтъ это будетъ интересно, а теперь было бы скандалезно. Я старался записывать то, что вообще не пишется.

Съ М. А., за ея послѣдній пріѣздъ, я помирился совершенно. Говорить почти не могъ, хотя еще немножко слышалъ. Она уже тогда писала. Провели одинъ очень пріятный вечеръ у Т. А. Но я и относительно М. А. и всего міра—сдѣлался пустынникомъ, отшельникомъ. Все это для меня—исторія, прошедшее,—то, чего нѣтъ.

Радуюсь Вашему счастливому житью-бытью въ Парижѣ.

Написалъ сегодня А. А... Она все упорствуетъ въ разъясненіи Ибсена. Жестокая забава. Она восхищается Чеховскимъ „Въ Оврагѣ“. Вещь написана очень хорошо, но можетъ быть менѣе колоритна, чѣмъ „Мужики“. Жму Вашу руку и прошу незабывать Урусова.

XLIII.

Ей-же.

Москва, 5/18 апрѣля 1900.

Дорогая Е. А. благодарю Васъ за письмо отъ 10 апр., а К. Д. за письмо и стихотворенія: и тѣ, которыя были при письмѣ его, и тѣ, которыя при Вашемъ. Я дѣйствительно думалъ не безъ грусти, что Вы меня позабыли т.е. не то, чтобы совсѣмъ, но... бываетъ такъ, что человѣкъ оказывается совсѣмъ лишнимъ, и оставленъ въ сторонѣ. Подумайте-ка: сколько времени я не имѣю отъ Васъ буквально ни слова!

Недавно я узналъ отъ А. А., что у Васъ болитъ рука и тогда я понялъ Ваше молчаніе. Письмо Ваше отпечатано великолѣпно. Сообщите, какъ называется эта машинка, гдѣ, за сколько куплена? Но я уже вижу Ваше нетерпѣніе!.. Хорошо. Будемъ разсказывать о болѣзни. Въ сущности все одно и тоже. Въ головѣ вѣчный оглушительный шумъ, хожу—ковыляю, держась за стулъ, который толкаю передъ собою. Иначе падаю. Былъ у меня 25 марта знаменитый професс. Лейденъ, выписанный въ Москву какимъ то милліонеромъ. Онъ пробылъ на консультаціи съ У. 1½ часа и нашелъ, что мое состояніе не грозитъ опасности жизни, что головокруженія нужно стараться преодолѣвать упражненіями въ ходьбѣ, что операціи не нужно. Это такъ сказатъ, оффиціальная сторона заключенія: между строками можно было уразумѣть мимоходомъ брошенные намеки: что не мѣшало бы больному пріѣхать въ Берлинъ, что конечно слухъ едва-ли... и проч. А куда мнѣ ѣхать, когда я не переношу даже движенія пролетки?

Ну, пока лечатъ: пускаютъ пилокарпинъ. Не могу писать. Второй разъ бросаю.

6-го. Все также плохъ. Сегодня прервалъ пилокарпинъ. Получилъ „Альму“ Минскаго, пишу о ней. Стихотворенія К. Д. мнѣ нравятся. Прошу еще. Цѣлую Ваши ручки. Поздравляю: Христосъ воскресъ. Мамаша была у ме-

ня, добрая Н. М! Т. А. уѣхала въ Кіевъ на недѣлю. 2-го апрѣля я получилъ 18 горшковъ цвѣтовъ, 5 букетовъ. Вечеромъ никого не было. Днемъ 7 особъ. А было время! Какъ я помню его! Но я не могу ни жалѣть о прошломъ, ни скучать: я слишкомъ страдаю (не больно). Некогда скучать. Не могу больше. Обнимаю К. Д. Жму Ваши руки. Вашъ Урусовъ.

XLIV.

Ей-же.

Москва, 1/14 мая 1900 г.

Дорогая Е. А. вчера получилъ Ваше письмо изъ Біарица и благодарю за него. Не бѣда, что вы меня не поздравили къ 2 апрѣля. Я не праздновалъ этотъ день — праздновать звучитъ фальшиво въ моемъ положеніи: „манія существованія“ cette manie d'être, о которой говоритъ Chateaubriand — только она и связываетъ меня съ настоящимъ. Я существую, но живу ли я?—это вопросъ. Большинство моихъ друзей забыли меня въ этотъ день и сдѣлали очень хорошо. Другіе прислали цвѣты—и скоро передо мною высились группы благоухающихъ розъ, гіацинтовъ и желтофіолей; невинная иронія красокъ и запаховъ плѣняла какъ ласка, какъ улыбка.

Всѣ говорятъ, что мнѣ лучше—я хожу, все держусь за стулъ—но какъ будто не легче. Свинца въ черепѣ у меня какъ будто поубавилось. Жизнь, иныя стороны которой точно исчезли, робко опять заявила о своихъ правахъ и силы, или остатки силъ, мелькнули—вернулись. Ты живъ еще, шепталъ какой то голосъ. Но я не слышалъ, а только угадывалъ.

Получили ли Вы статейку объ „Альмѣ“? Я послалъ ее въ Севилью. Теперь я изучаю лирику Минскаго уже 2 недѣли, читаю и перечитываю, отмѣчаю лучшее, т. е. то, что мнѣ кажется такимъ. Пишу очень мало. Какъ трудно сказать, что даетъ поэтъ! Хочу, послѣ, дать характеристики группы: Фофановъ, Андреевскій, Мережков-

скій и Бальмонтъ. Сомнѣваюсь въ осуществимости и заранѣе знаю, что не „потрафлю“ никому. Но это и не важно. Я даю показаніе какъ свидѣтель, а не изрекаю приговора какъ судья. Судія—потомство.

Продолжаю вспрыскиваніе пилокарпина. Они ослабляютъ. Принимаю Nux vomica, сперминъ, глотаю антипиринъ съ кофеиномъ, массажируюсь, — чего-чего только не дѣлаю! На дняхъ былъ консиліумъ съ М.: это пройдетъ! Вы будете ходить! Это у васъ напускное. (!) Все оттого, что Вы медицинскія книжки читаете!..—Я скромно возразилъ, что читаю только Минскаго. Какъ глупы бываютъ врачи!

Ваши сестры, Т. А., А. А. меня не забываютъ. Изрѣдка заходятъ Е. Н. и Н.—О. здорова, все въ Nervi. Вотъ и май, а у насъ холодненько. Не знаю еще куда дѣваться лѣтомъ? Сперва думалъ переѣхать на Ваганьково, а теперь не знаю—Марьинка, Ессентуки, Вѣна? Лучше бы на Ваганьково: ближе. Поклонитесь К. Д.

Вашъ У.

XLV.

Ей-же.

Приложено: сирень и ландышъ.

Москва, 28 мая 1900.

Дорогая Е. А.! Сейчасъ получилъ Ваше письмо и „Нереиды“ К. Д. Благодарю! Я сегодня вялъ: проснулся отъ невральгическихъ (?) болей въ околоушныхъ железахъ и не могъ болѣе заснуть. Теперь у меня прибавилась еще одна болѣзнь: кромѣ 1) Глухоты, 2) Воспаленія, 3) Головокруженія — еще: 4) боли въ опухшихъ железахъ. Въ общемъ, однако, я чувствую себя немного лучше и даже пробую ходить не со стуломъ, а съ двумя палками. Дигиталисъ немного укротилъ сердечную мышцу, но одолѣваютъ безсонницы: въ 4, въ 6 регулярно просыпаюсь, мучаюсь, верчусь, накладываю компрессы изъ хлороформа, принимаю

антипиринъ — и часа черезъ 2 — 3 засыпаю тревожнымъ сномъ, до 11. Если это удается, я днемъ—такъ себѣ. Въ 9 вечера, однако, долженъ опять спать... Какъ все это неинтересно. Даже противно. А что дѣлать?

Врачи-спеціалисты (ушники) всѣ понемножку отъ меня—на попятный. Видятъ—дѣлать нечего. Теперь и Н., котораго я считалъ добродушнымъ и даже расположеннымъ ко мнѣ и которому я переплатилъ не одну сотню рублей—тоже отказался... до осени! Другой пишетъ: извиняюсь, уѣзжаю. С. отказался даже отъ консультаціи. Поллицеръ телеграфируетъ: если слабы, не пріѣзжайте въ Вѣну. Словомъ, сижу — и разлагаюсь потихоньку. Время идетъ, сердце слабѣетъ, жизнь обсыпается, какъ старая штукатурка. И ничего. Все это нисколько не грустно, и даже не скучно. Почему? А очень просто: грустно то, что, какъ намъ кажется, мы могли бы предотвратить, а оно налетѣло неожиданно: скучно—выздоравливать, да нескоро. А здѣсь—все равно, ни предотвратить ничего нельзя, ни помочь дѣлу, ни ждать выздоровленія. Да къ тому же постоянныя боли развлекаютъ: и хотѣлось бы поскучать, да некогда.

Одно непріятно: подрывается трудоспособность. Не могу ничего писать. Читать еще могу, но писать—нѣтъ. Я началъ свѣрять переводъ Гауптмана и хочу отвѣчать на какую то ругательную противъ К. Д. статью о „Колоколѣ". До сихъ поръ (я читаю медленно) переводъ я нахожу прекраснымъ, поэтическимъ. Въ Ганнеле есть промахи, не важные. (Amtsvorsteher — начальникъ округа (нужно участка) розовая кашка — нужно красный клеверъ; ключъ отъ царства небеснаго — нужно подснѣжникъ (?) и т. п. спорныя поправки). Но главное переводы стильны, а этимъ сказано все. Характеристика Гауптмана слаба, не характеристична и больше похожа на К. Д., чѣмъ на Гауптмана. Вообще характеристика и обобщеніе К. Д. я нахожу faiblement documentées. Не могу никакъ достать этотъ глупый журналъ. Т. А. посѣщаетъ меня часто. Это счастливые дни моей недѣли. Садъ мой (мы все еще въ Москвѣ) цвѣ-

тетъ великолѣпно: яблони пахнутъ какъ бѣлыя розы. Сирень лиловая и бѣлая красуется прелестью своихъ кистей. Въ кущѣ поставленъ бюстъ Зевса изъ Отриколи. Мы собираемся въ Марьинку. Повсюду роскошь весны и лѣта сливаются въ какой то праздникъ. Я не запомню подобной весны. Я много сижу и лежу въ саду. Въ „Міръ Иск.“ вышла веселая замѣтка моя о памятникѣ Гоголю. Пришлю ее, какъ только получу оттиски. Мысль о характеристикѣ поэтовъ бросилъ. Негдѣ писать. Ясинскаго не видалъ, т. е. его „Сочиненій“. Работаю надъ обѣщанной статьей о Гёте. Туго! Охъ, туго идетъ дѣло!

Ну-съ, милая Великомученица, пока цѣлую Ваши жалостливыя и сердобольныя ручки, затѣмъ обнимаю К. Д. и наконецъ, наконецъ, собираюсь наклеить на свои железы черный пластырь, авось онъ ихъ немножко проберетъ. Сегодня Троицынъ, завтра Духовъ день... все праздники. Т. А. поѣхала къ мамашѣ. Вашъ А. У.

XLVI.

А. А. Андреевой.

24 мая 1894 г.

Многоуважаемая Александра Алексѣевна!

Благодарю Васъ за любезное письмо и приглашеніе, но раньше четверга я никакъ не управлюсь. Здѣсь у меня дѣла много: провѣрка счетовъ, уплата по нимъ; домъ, (начали штукатурку), скотный дворъ, птичникъ, пруды, ночной караулъ, страхованіе скота и посѣвовъ и пр. и пр. Нахожу время читать Dernières études de critique et d'histoire Тэна (очень цѣнная книга) и „Lucien Leuwen“, неизданный романъ Стендаля, добытый изъ его рукописнаго (неисчерпаемаго!) клада—изъ библіотеки въ Греноблѣ. Въ Петербургѣ, во время дѣла о Грибановскомъ наслѣдствѣ, я познакомился съ Флексеромъ и очень сошелся съ нимъ, поздравивъ его съ походомъ противъ догматическаго богословія русской критики, которая уже съ Бѣлинскаго

стала псевдо-критикой, т.-е. замаскированной публицистикой, выродившейся до послѣдней степени упадка въ лицѣ Михайловскаго и какого-то старца изъ богадѣльни, глухонѣмого Скабичевскаго. Подробно—не письмомъ, на словахъ въ четвергъ, 4.50 дня.

Преданный Вамъ А. Урусовъ.

Въ La Plume напечатанъ мой переводъ Бальмонта.

XLVII.

Ей-же.

Марьинка, (Бронницы, Моск.) 15 іюня 1894 г.

Нѣтъ, многоуважаемая А. А. въ такую погоду невозможно дѣлать визиты! Съ утра льется дождь сѣрыми, унылыми струями. Шумитъ въ листвѣ березъ, барабанитъ по крышѣ, булькаетъ изъ водосточныхъ трубъ. Жаль, что нѣтъ молебствій противъ дождя, а то бы въ самую пору.

Прочелъ письма Бальзака къ его женѣ безъ особаго удовольствія: корреспонденція Флобера въ милліонъ разъ „сюгжестивнѣе“ и содержательнѣе. Бальзакъ только фабрикантъ, геніальный правда, но не мучимый пытками слова, т.-е. творчества формы.

Возвращаю съ благодарностью Revue de Paris, но Моск. Вѣдом. оставляю—себѣ. Зачѣмъ Вамъ коллекціонировать брань на меня? А я очень люблю ругательныя и поносительныя статьи: въ нихъ больше правды, чѣмъ въ похвалахъ, и онѣ интереснѣе.

Но въ случаѣ требованія—отдамъ и этотъ №.

Преданный Вамъ А. Урусовъ.

P. S. Какая дрянь Сенкевичъ! Это даже не литература, а просто журнальная беллетристика.

На что похожъ напр. прославленный „Бартекъ“? Что за описаніе битвы... три знамени взялъ Бартекъ! тенденціознѣйшее освѣщеніе.

XLVIII.

Ей-же.

Марьинка 21 іюня 1894 г. Вторникъ.

Многоуважаемая А. А.

Сейчасъ получилъ Ваше письмо отъ 19-го и моментально отвѣчаю. „Скучно“! пишете Вы (то есть пишете Вы-то занимательно, но о скукѣ), какъ можно скучать! Вотъ что противно моей философіи. О скукѣ позаботилась сама природа, надѣливъ насъ болѣзнями. Тутъ уже поневолѣ заскучаешь. Въ тюрьмѣ, въ больницѣ, въ вагонѣ, когда подъѣзжаешь къ желанной цѣли—скучно, но дома мы скучаемъ только по своей винѣ. Не скучайте, таковъ завѣтъ природы. Здѣсь же, въ Марьинкѣ, чудесно. Жасмины скромно благоухаютъ; изъ Москвы я привезъ соблазнительной красоты розъ, улыбающихся благоуханною улыбкой румяныхъ устъ. Желтыя лиліи — мой любимый цвѣтъ желтый—съ удивительной граціей изгибаются на длинныхъ стебляхъ...

Я пріѣду къ Вамъ, если позволите, 24-го въ пятницу, въ 5 ч. 11 минутъ вечера и уѣду въ Москву съ однимъ изъ послѣднихъ поѣздовъ. Привезу Вамъ съ благодарностью „Меланхолическую мандолину“ № 6. Что за бездарная беллетристика. Прочтите же Lucien Leuwen Стендаля и вообще—полюбите Стендаля. Онъ разгонитъ скуку дождливыхъ дней... Сообщеніе о Нитше вѣроятно мистификація. Послалъ сегодня два краткихъ посланія въ Борщень.

Преданный Вамъ Черный Чолнъ.

XLIX.

Ей-же.

6 іюля 1894 г. Марьинка.

Многоуважаемая А. А.

... Здѣсь я перечитываю Тургенева и дѣлаю замѣтки. Самая подходящая обстановка для чтенія Дворянскаго Гнѣзда. Тургеневъ—одинъ изъ немногихъ писателей, ко-

торыхъ слѣдуетъ перечитывать. Перечитывая, видишь какъ omnia mutantur et nos mutamur in illis. Я нахожу въ немъ наслоенія моихъ 20-ти лѣтъ и 30-ти и 50-ти все разныя. Раскопки въ самомъ себѣ, самораскопки, такъ сказать.

Получилъ письмо отъ Е. А. Все зовутъ въ Борщень. Зачѣмъ я туда поѣду, посудите сами. Здѣсь у меня работы, уборка, дѣятельность кипитъ, Тургенева прочесть надо, липы зацвѣтаютъ, стадо бренчитъ колокольчиками (изъ Швейцаріи, подарокъ Е. и М. А.) а я поѣду!.. въ этакую даль. Нѣтъ, нѣтъ.

Вашъ А. Урусовъ.

L.

Ей-же.

23 іюля 1894 г.

Многоуважаемая А. А.

..... Продолжаю читать Тургенева. Теперь сижу на „Запискахъ Охотника". Кое что „дѣланное" чувствуется теперь; тогда, когда русскій народъ и населяемый имъ материкъ еще не были изслѣдованы, картинки Тургенева были открытія въ родѣ Ливингстона.

До свиданія. Готовьтесь къ усиленной литературной бесѣдѣ: вѣдь описаніе жизни есть самое вѣрное, что есть въ жизни!

Вашъ А. Урусовъ.

LI.

Ей-же.

Февраля 14 Вт. 1895 г.

Многоуважаемая А. А.

Горло ужасно болитъ, кашель по ночамъ спать не даетъ, а потому и днемъ настроеніе, выражаясь салонно,— самое анафемское. Вотъ почему я никого не принимаю, а бесѣдую только съ безмолвными друзьями, которыхъ легко въ рукахъ держать—то есть съ книгами. 17-го обязанъ выѣхать въ Совѣтъ, далъ слово, но говорить рѣшительно не могу и мучаюсь, потому что хочется и неумѣю молчать прилично.

За книги очень благодаренъ. Обѣ очень интересны.

Поздравляю Васъ съ днемъ рожденія. Простите великодушно за старческую забывчивость: память маленько отшибло. Посылаю для любопытства 2-й экземпл. корректуры Боделэра, 1-й экземпляръ я уже вернулъ.

Вашъ Урусовъ.

LII.

Ей-же.

19 февраля 1895 г.

Многоуважаемая А. А.

Д-ръ Степановъ, приватъ-доцентъ горловыхъ болѣзней, осудилъ меня еще на недѣлю домосидѣнія и домомолчанія. У меня сильное воспаленіе голосовыхъ струнъ, чему содѣйствовалъ „Сальери“.

Завтра возвращается жена.

Читаю съ наслажденіемъ, раздѣляемымъ всею Россіею, дѣло Палемъ. Вотъ истинное ублаготвореніе инстинктовъ публики. „И кровъ, и любовъ“ и даже закрытыя двери! ахъ, какъ интересно! И вотъ это любопытство, это влеченіе къ крови, ко всему низко-животному, составляетъ основную глубочайшую черту психологіи, о которой и не снится нашимъ мудрецамъ. Это демонъ извращенности, котораго явственно видѣлъ По и котораго никогда не видѣлъ Гротъ и даже А.

Перечитываю Гонкуровъ: Portraits intimes du XVIIIs. Гонкуры, Флоберъ, Боделэръ, По—вотъ классики, вотъ кого изучать нужно, а Зола и Доде—это для публики.

Поблагодарите Е. А. за „Мельмота“. Трудно читается и что за гнусная печать!

Преданный Вамъ Урусовъ.

LIII.

Ей-же.

4 марта 1895 г.

Добрѣйшая А. А.

Я думаю сегодня посидѣть дома, благо горло издаетъ какіе то замогильные звуки, остатки бывшаго баритона для домашняго употребленія.

Вещь Толстого*)—геніальна; это шедевръ новеллы. Первое, что поражаетъ: изумительное знаніе быта, обиліе конкретныхъ словъ, (пріемъ чистаго натурализма) характерный подборъ мелкихъ фактовъ, иллюстрирующихъ душевныя движенія (пріемъ чисто—Флоберовскій, усвоенный и Мопассаномъ, какъ Вы вѣрно замѣтили). Потомъ—мастерство въ группировкѣ, въ аранжировкѣ перипетій и въ пользованіи удивленіемъ—и какъ фонъ, своеобразное воззрѣніе на жизнь, на смерть, на животныхъ... Удивительное мастерство! и чистѣйшій натурализмъ! Я очень благодарю Васъ за наслажденіе. Возвращаю книгу и Monod.

Вашъ А. Урусовъ.

LIV.

Ей-же.

9 іюня 95, Марьинка, (Бронницы Моск.)

Многоуважаемая А. А.

Привезли мою тушу сюда 1-го іюня вечеромъ, шагомъ, благополучно. Получилось лишь незначительное, хотя и экстренное повышеніе температуры 37,3.

Здѣсь чудесно: въ паркѣ такое нѣжное и сочное освѣщеніе—точно въ изумрудъ смотришь.

А. написала очень бездарную вещь. И по-русски швахъ: „онѣ уютно пили чай"... Видѣлъ ее на вокзалѣ, раскланялся...—„Сегодня читалъ Васъ съ такимъ удовольствіемъ"... Скромная улыбка.

Но сегодня у меня невральгія—тучи... электричество...

Вообще же чувствую себя хорошо. Все здѣсь устраиваемся. Боже! какъ я понимаю трудность задачи Петра I!

Вашъ А. Урусовъ.

LV.

Ей-же.

17 іюня 1895. Марьинка.

Простите, многоуважаемая А. А., если пишу на такой деревенской бумагѣ. Спѣшу отвѣтить и боюсь опоздать на почту.

*) „Хозяинъ и Работникъ".

... Сегодня 17-й день, что я на ногахъ. Вчера было сильное сердцебіеніе — отъ утомленія. Послѣ теплой ванны, исцѣлившей мою невральгію, но ослабившей меня, я увлекся разстановкой тысячи томовъ и томиковъ библіотеки и получилъ пульсъ 100 слишкомъ.

Жизненные аппетиты буйною толпою возвращаются въ покинутое ими сердце; шумѣть, стучать начали—и сердце дрожитъ подъ ихъ грубымъ напоромъ. Я не могу себѣ представить, что я болѣю, что я слабъ, я готовъ поднимать тяжести, обнимать необъятное — и вдругъ въ груди начинаетъ трепыхаться какой-то цыпленокъ.

Читаю старичка Монтаня, (а не Монтеня) увлекаюсь исторіей Греціи, но написать еще ничего не могу, больше по лѣни, впрочемъ.

Былъ у меня здѣсь Андреевскій. Онъ былъ очень милъ. Увѣрялъ, что я, стоя у канавки, отдѣляющей Марьинку отъ деревни, навѣрное обращаюсь къ крестьянамъ со словами: мы суть браты (изъ „Несчастной“ Тургенева). Долго сидѣли мы надъ прудикомъ и бесѣдовали о литературствующемъ Петербургѣ.

Ваша телеграмма съ отказомъ пріѣхать въ Марьинку глубоко опечалила меня, почти обидѣла! И почему это такъ невозможно? Еще есть время. Одумайтесь! Телеграфните: ѣдемъ къ Вамъ...

До скораго, надѣюсь, свиданія. Я въ августѣ надѣюсь ѣхать въ Мецъ къ сестрѣ и тогда разыщу Васъ хотя на днѣ морскомъ.

Будьте же здоровы и бодры.

Вашъ Урусовъ.

LVI.

Ей-же.

Марьинка, суббота 17 іюня.

Многоуважаемая А. А.

Меня смущаетъ мысль, что Вы можете подумать, что я не откликнулся на Ваше письмо отъ 15-го и, такимъ образомъ, какъ бы подтвердилъ Ваше скептическое замѣ-

чаніе объ иллюзіяхъ вообще и о друзьяхъ въ особенности. Но я получилъ письмо сегодня 17-го утромъ и тотчасъ написалъ отвѣтъ, который пойдетъ только завтра 18, а будетъ ли къ 19 въ понедѣльникъ въ Москвѣ?—неизвѣстно. И вотъ, чтобы разсѣять въ Вашей, отуманенной легкимъ облачкомъ меланхоліи душѣ, подозрѣніе относительно меня, — пишу сегодня же вторично и думаю, что хоть въ Цюрихъ-то попаду однимъ изъ первыхъ, можетъ быть, даже Вы сами, того не зная, довезете это письмо.

Вашъ отъѣздъ и отказъ побывать въ Марьинкѣ произвели на меня самое меланхолическое впечатлѣніе и вызвали рядъ эгоистическихъ ламентацій. Кому же я буду читать Madame Bovary? Съ кѣмъ же я буду говорить о литературѣ? Замѣтьте, все *я* да *я*. Но не могу же я сокрушаться о томъ, что Вы теряете такого замѣчательнаго собесѣдника.

Болѣзнь моя, этотъ предвѣстникъ неизлѣчимаго недуга, называемаго старостью, заставилъ меня еще болѣе дорожить добрыми отношеніями къ немногимъ, съ кѣмъ можно дѣлить хлѣбъ и вино умственныхъ интересовъ. О, какъ мало, какъ безконечно мало такихъ людей!

Между нами, у меня сложилось такое міросозерцаніе: для чего мы живемъ? Какая цѣль жизни?— Мы живемъ для того, чтобы продолжать работу рода человѣческаго; цѣль жизни — продолжать эту жизнь, обезпечить ея продолженіе, для чего нужна извѣстная работа. Стернъ сказалъ, что каждый человѣкъ (ужъ и каждый!) долженъ посадить дерево, выстроить домъ, произвести ребенка и написать книгу... Вотъ послѣднее я и не исполнилъ до сихъ поръ, а пока эта или эти книга или книги не произведены, я мучаюсь тоской неудовлетворенныхъ желаній.

Піететъ къ генію сопряженъ всегда съ жаждою сблизиться, сжиться съ нимъ — и въ этомъ общеніи кроется величайшее наслажденіе, служащее наградою труду. Но охранять память генія—это заслуга передъ жизнью. Вѣдь сколько въ ней пропадаетъ даромъ цѣннаго и прекрас-

наго. Какъ хрупко все прекрасное и какъ живуче безобразіе!

Но я забылъ, что мнѣ запрещена напряженная работа.

Крѣпко жму Вашу руку и желаю счастливаго исхода Вашему странствованію. Надѣюсь имѣть о Васъ подробныя свѣдѣнія.

Преданный Вамъ Урусовъ.

LVII.

Ей-же.

Марьинка, 28 іюня 1895.

Многоуважаемая А. А.!

Меня всѣ эти дни преслѣдуетъ мысль, что Вы обо мнѣ такого мнѣнія: „я ему написала премилое письмо, а онъ, неблагодарный, отмалчивается! Вотъ и права я была, когда и проч.“. Но, Вы не правы: во-первыхъ, я очень много думаю о моихъ отсутствующихъ друзьяхъ, мысленно слѣжу за ними... Это, положимъ, не много. Одна дама покупала попугая. Ее увѣрили, что онъ говоритъ. Оказалось, что онъ все молчитъ. Er spricht nicht!—жаловалась она продавцу.—Aber er denkt desto mehr, возразилъ находчивый продавецъ. Я подобенъ этому попугаю. Когда жена пристаетъ ко мнѣ съ разрѣшеніемъ разныхъ хозяйственныхъ проблемъ, я отвѣчаю: Ich bin ein Denker, что всегда приводитъ насъ обоихъ въ самое веселое настроеніе. „Во вторыхъ и въ послѣднихъ“, какъ говоритъ Клюква въ Much ado, я писалъ Вамъ и въ Москву, и, даже, въ Цюрихъ. Вольно же Вамъ было объѣзжать Швейцарію!

Надѣюсь, что настоящій, „развернутый конвертъ“ застанетъ Васъ при благопріятныхъ обстоятельствахъ, и что Вы мнѣ напишете о себѣ, о планахъ, о работахъ. Не бросайте Тургенева! Онъ составитъ Вашу славу, утвердитъ за Вами авторитетъ серьезной, добросовѣстной изслѣдовательницы... Изъ Ибсеновской работы Вы не сдѣлаете того же, что изъ Тургенева. Въ работѣ объ Ибсенѣ приходится то обвинять, то защищать, то судить — все это нелитера-

турно. Литература есть отрасль искусства, а не этики и не юриспруденціи... Медея убиваетъ своихъ дѣтей: всѣ въ восторгѣ. Нора оставляетъ ихъ папашѣ — всѣ негодуютъ. Люди глупы. Убѣждать ихъ не стоитъ: развѣ кто обязался это дѣлать по контракту.

О себѣ скажу, что здоровье мое, слава Богу, перестало быть предметомъ, о которомъ позволительно распространяться. Живъ вообще и въ частности. Ну, сердце тоже ничего. Собираюсь завтра въ Б. Тщетно зову сюда М. А. Роюсь въ своей Марьинской библіотекѣ. Нашелъ, что „угнетенная добродѣтель“ (у Гоголя „невинность“) „или поросенокъ въ мѣшкѣ“— есть заглавіе оригинальнаго романа Андрея Кропотова 1809 года. Отыскалъ настоящее заглавіе „Символы и Эмблемы“ (Двор. Гнѣздо). Вотъ оно: Избранные Эмблемы и Символы... объясненные прежде въ Амстердамѣ, а потомъ въ градѣ Св. Петра 1788 г. съ пріумноженіемъ 20 рубл.

Преданный Вамъ А. Урусовъ проситъ извѣстій о Е. А.

А. У.

LVIII.

Ей-же.

Открытое письмо. Почт. шт. 10 іюля 1895.

Добрѣйшая А. А.! Пишу сіе легкое антреме, только, чтобы поблагодарить, извѣстить о полученіи „Вашего почтеннаго отъ 3/15“ и поупражняться въ установленномъ Вами правописаніи. Но зачѣмъ, скажете, эти два ff? Жизнь коротка, чернила дороги, время—тоже, а Вы требуете двѣ согласныхъ, гдѣ одной довольно! Русскіе всегда расточительны. Герценъ говорилъ, что кто въ Россіи тратитъ только весь доходъ свой, тотъ считается скупымъ. Я сегодня, признаться, очень гордъ и самонадѣянъ: всѣ пять снимковъ — 2 портрета и 3 ландшафта — удались. И вотъ новая форма счастья: Вы улавливаете эфемерную, вѣчно исчезающую форму и обличіе вещей и фиксируете ихъ въ гипсюльфаты. Хрупкая, какъ паутинка, пленка сохра-

няетъ дорогія черты людей, тѣло которыхъ давно обратилось въ землю, а пленка засохла, затвердѣла — ее не смоешь. Я отпечаталъ старые негативы, которые прежде не успѣлъ передать на бумагу — и вдругъ увидалъ, впервые — исчезнувшія дружескія лица... Я дохнулъ на аристотипныя снимки, и бумага приподнялась и мягко опустилась, точно образъ вздохнулъ мнѣ въ отвѣтъ. Этотъ любопытный опытъ Вы можете продѣлать надъ не наклеенной фотографіей. До свиданія А. У.

Въ августѣ думаю ѣхать заграницу.

LIX.

Ей-же.

Марьинка 6 іюля 1895.

Многоуважаемая А. А.

Сегодня я получилъ Ваше цюрихское письмо. Я былъ очень радъ ему. Я вовсе не роптал на Ваше молчаніе, но все-таки былъ радъ, когда Вы, такъ сказать, уплатили долгъ — съ процентами. Мирная тишина лѣса, культурная кухня, отголоски вальсовъ, пестрота табль-д'ота*) — все это было бы недурно... Теперешняя моя „marotte" фотографія и химія. Я все живу помаленьку въ Марьинкѣ, на-дняхъ ѣздилъ въ Москву и ночевалъ у Вашихъ въ Б., а на обратномъ пути провелъ тамъ же цѣлый день. Вы повѣрите мнѣ, если я безъ лести скажу, что Ваше отсутствіе сильно чувствуется. Конечно, и теперь все прекрасно, пріемъ самый радушный, гостепріимство самое теплое, но Ваше отсутствіе для меня означаетъ отсутствіе тѣхъ интересовъ, которые у насъ съ Вами общіе. А меня, на старости лѣтъ, все болѣе и болѣе привлекаютъ интересы отвлеченные, литературные по преимуществу. Здоровье и настроеніе какъ Н. М., такъ и М. А. очень хороши; онѣ поглощены новымъ персонажемъ, который и будетъ теперь играть подобающую ему роль женъ-премье: у него такіе

*) Но табль-д'отъ требуетъ флирта, какъ ростбифъ—горчицы.

прекрасные голубые глазки и онъ уже очень мило капризничаетъ: ноготь ни за что не даетъ остричь... видите, я уже на него сплетничаю... Улыбается онъ только тетѣ Машѣ. Улыбочка у него блѣдненькая, какъ дождливый денекъ... но теперь онъ поправляется. М. А. обнаруживаетъ драгоцѣнное свойство матери и она все предусматриваетъ, за всѣмъ слѣдитъ.

Погуляли мы хорошо; ахъ, какъ хороши эти луга и деревья!—но сюгжестивность „дворца" производитъ непріятное впечатлѣніе. Это вовсе не жилище интеллигентовъ, это не дворецъ „власти роковой", съ которымъ миришься, какъ съ морозомъ. Это чертогъ Плутократіи. Ну — вѣетъ отъ него чѣмъ то...

Вы интересовались моимъ здоровьемъ: ничего. Чувствую себя очень хорошо. Волнуюсь, бѣгаю, даже фотографирую, неудачно, но безъ перебоевъ. Проѣздомъ въ Москву, былъ въ Малороссійскомъ театрѣ: очень мило!.. ѣлъ и пилъ, какъ здоровый — и ничего.

Наѣзжаютъ нерѣдко гости: Андреевскій пробылъ здѣсь день. М. А. обѣдала. А Вы? Недѣюсь на осень; очень надѣюсь. Здѣсь, въ сущности, я живу лучше, чѣмъ въ Москвѣ.

Но сказать, что я не скучаю, не раздражаюсь, не тягощусь жизнью—было бы чистая ложь! Я страдаю ужаснымъ одиночествомъ — умственнымъ. Просто безвыходное одиночество. Какъ мало людей, съ которыми можно дѣлиться помыслами—а соединяетъ ихъ книга и только книга, съ ея призраками и тѣнями. Я приблизился къ возрасту, гдѣ съ переходомъ на новое амплуа... да и не приблизился, а цѣликомъ торчу въ немъ,—въ амплуа-то: брюжжащій старецъ—резонеръ... Охъ, старость моя будетъ, кажется, очень мрачная. Кого боги любятъ, тому они посылаютъ раннюю смерть; а мы хлопочемъ, изъ кожи лѣземъ, чтобы уготовить себѣ побольше неистовыхъ болѣзней, да хорошенько помучиться, надоѣвъ порядочно всѣмъ окружающимъ.

Въ „La Plume“ безсмысленно напечатанъ отрывокъ моего этюда о Боделэрѣ.

Преданный Вамъ А. Урусовъ.

Прошу Васъ передать мой поклонъ Е. А., какъ ея здоровье?

LX.

Ей-же.

Марьинка, 21 іюля 95.

Сегодня, многоуважаемая А. А., принесли мнѣ 2 Вашихъ письма: о Вашей жизни, о Вашихъ планахъ я узналъ изъ нихъ многое. Передъ тѣмъ я получилъ письмо съ литературнымъ profession de foi, гдѣ съ удивленіемъ прочелъ, что титулъ „добросовѣстной изслѣдовательницы“ Вамъ кажется ничтожнымъ. А я считаю его трудно-достижимымъ. Я тоже несогласенъ съ тѣмъ, будто мы въ литературѣ можемъ пользоваться полной свободой: мы тѣсно связаны нашими силами, и что свыше ихъ—не можетъ удаться.

Сегодня же утромъ получилъ большое письмо отъ Дузе: коварная пишетъ, что хочетъ непремѣнно зимою въ Россію и на меня возлагаетъ обязанность лейбъ-юрисконсульта. Затѣмъ, сегодня же прислали мнѣ корректуру моей работы о Боделэрѣ, въ которую я втиснулъ разныя мимоходныя штучки и выходки болѣе или менѣе умѣстныя, тоже въ силу принципа свободы и каприза. Все читать легче, чѣмъ одни варіанты. Сверхъ сего, одинъ парижскій литераторъ, работающій въ Dictionnaire Larousse, (котораго я тоже задѣлъ) нѣкто Alcide прислалъ мнѣ сегодня же второе письмо по поводу пропущеннаго мною варіанта. Обширное письмо. Видно, ему дѣлать нечего. Я тоже отвѣтилъ, и пошла писать международная любезность. Однако, до vive la Russie еще не дошло, а пахнетъ.

И такъ, видите, какъ мы въ Марьинкѣ то живемъ: чистый Ферней! То бѣгу кормить Брюску, (Ваша телка) то фотографирую, то пишу на разныхъ языкахъ, то любуюсь утками и 12 утятами, опять фотографирую, ѣду въ поля,

читаю превосходную книгу „Geoffroy Le Coeur et l'Esprit“ (благодарю Васъ за нее: М. А. привезла. Отлично написано!) Старости почти не чувствую. Ахъ, займитесь какъ нибудь Гёте, да безъ глупаго нѣмецкаго идолопоклонства. А то я эту работу какъ нибудь сдѣлаю — одна литература Goethesche Jahrbücher какъ богата! А эта жизнь, сохраняемая Эккерманомъ, этотъ романъ въ Карлсбадѣ на 80-мъ году жизни... многое въ этой жизни удивительно интересно, но вовсе не въ смыслѣ возвеличенія.

Посылаю Е. А. мой дружескій привѣтъ: совсѣмъ она меня забыла.

Привѣтствую Васъ съ пожеланіемъ лучшаго.

Вашъ Урусовъ.

Еще не рѣшилъ, когда уѣду, но августъ долженъ быть за-границей. А здѣсь такъ отлично! Еслибы Вы видѣли Марьинку, когда косые лучи солнца пронизываютъ густую зелень аллей своимъ меланхолическимъ сіяніемъ! Какая тишина! Какимъ миромъ дышетъ этотъ сумракъ! Въ этихъ аллеяхъ ходили люди, самое имя которыхъ исчезло, но остались посаженныя ими деревья и упорно живучія розы. Здѣсь Фонъ Визинъ носилъ замыслы русско-сатирической музы. Здѣсь Декабристъ Пущинъ вспоминалъ о роковой неудачѣ 14 декабря! Кстати: привезите мнѣ, пожалуйста, за мой счетъ, конечно, Мемуары Декабриста, въ которыхъ упоминается о Марьинкѣ. Чьи это мемуары? Они есть у Пр—ва.

LXI.

Ей-же.

30 іюля 95 Марьинка.

Многоуважаемая А. А.

Я только что вернулся, получилъ Ваше письмо отъ 23 іюля и тотчасъ отвѣчаю. Думаю уѣхать заграницу въ эту пятницу, быть въ Б. въ среду; 28-го іюля поѣздъ, съ которымъ я ѣхалъ изъ Б. въ Москву потерпѣлъ крушеніе. Я отдѣлался незначительнымъ толчкомъ въ затылокъ, но до станціи дошелъ пѣшкомъ.

Здоровье мое хорошо и не заслуживаетъ упоминанія. Меня занимаетъ теперь больше всего фотографія; богиня или муза эта утомительная. Я кажется писалъ Вамъ, что получилъ большое письмо отъ Дузе: хочетъ зимою въ Россію—играть.

Ѣду черезъ Варшаву, но на пути остановлюсь дня на 2—осмотрѣть имѣніе.

Потомъ докачусь до Висбадена: недѣля семейныхъ бесѣдъ; потомъ—Парижъ: корректуры, Боделэръ, фракъ и бѣлый галстукъ: обѣдъ у Принцессы Митильды въ St Gratien — и все это schon alles da gewesen! Какъ монотонна жизнь! Какъ было бы ужасно безсмертіе души! Что за чудовищная выдумка! Помните Struddlbrugh'овъ у Свифта?

Вашъ Урусовъ.

LXII.

Ей-же.

21 декабря 1895 г.

Многоуважаемая А. А.

Я все время хвораю: невральгіи возвращались ежедневно съ аккуратностью кредитора. Сегодня, однако, ѣдемъ. Возвращаю съ благодарностью книгу Стриндберга. Прочелъ съ величайшимъ удовольствіемъ: натурализмъ не умеръ, да и врядъ ли можетъ умереть: природа кажется еще не собиралась подать въ отставку — молодцы эти скандинавскіе берзеркеры! Возвращаю и „XIX B". Купилъ. Былъ Андреевскій и исчезъ; все время пробылъ въ Судѣ.

Поздравляю Васъ и Н. М. съ наступающимъ праздникомъ. Дай Богъ Вамъ здоровья и счастья. Сохраните мнѣ Ваше снисходительное расположеніе, которымъ я очень дорожу.

Преданный Вамъ А. Урусовъ.

LXIII.

Ей-же.

24 декабря 1895 г. Висбаденъ.

Дорогая А. А.

Ваше письмо произвело на меня самое пріятное впечатлѣніе: я очень люблю, когда Вы меня браните. Если Вы припомните, Руссо въ своихъ Confessions тоже кается, что даже наказаніе воспринималъ съ удовольствіемъ. Браните же меня почаще, хотя я и не заслуживаю того. Ну-съ, обратимтесь къ дѣлу: 1) Сообщите мнѣ Вашу новую мысль, возникшую въ бесѣдѣ съ К., поскорѣе пожалуйста, а то я ее могу пронюхать: Вы знаете, что мысли носятся въ воздухѣ. 2) Моя новая мысль (пока секретная: только Вамъ и М. А. извѣстная) — хочу все продать въ Москвѣ и домъ, и движимость, и деревню и жить заграницей, а въ Россію ѣздить по дѣламъ, если будутъ (будутъ!) 3) Застали мы здѣсь матушку здоровою, хотя жена не могла удержаться отъ слезъ, видя ее такою слабою— совсѣмъ ходить не можетъ... Поживемъ здѣсь недѣли двѣ, заѣдемъ къ сестрѣ и врядъ ли попадемъ въ Ниццу. 4) Купилъ у Бэра: Бильбасова Екатерину 2-ю два томища. Strindberg'a Vergangenheit eines Thoren, толстая автобіографія (Plaidoyer d'un fou) здѣсь сожжено, Tchandala, романъ и еще романъ. Вашъ же романъ — лучшій и читается съ аппетитомъ. 5) Сейчасъ иду къ Maman бесѣдовать о декабристахъ. „Екатерина" превосходно написано, образцовое произведеніе. 6) Дузе въ Брюсселѣ. 7) У меня невральгія и я наркотизированъ, потому пишу все по пунктамъ. Но пока довольно. Поздравляю Васъ сердечнѣйше съ Новымъ годомъ и прошу передать мое поздравленіе добрѣйшей Н. М., о добротѣ которой ко мнѣ всегда памятую. 8) Скажите, сдали ли домъ?

Преданный Вамъ Урусовъ,

Флобертистъ и Почетный табетикъ многихъ Европейскихъ Дворовъ.

LXIV.

Ей-же.

8/20 января 1896 г. Висбаденъ.

Многоуважаемая А. А.

Часовъ въ 10 утра, подъ вліяніемъ легкаго наркоза, я спалъ сномъ невинности. Стукъ въ дверь. Herein! Ваше письмо отъ 2-го. Куда дѣвался сонъ невинности! Требую кофе, слышу какъ сосѣдка — американка опять заиграла свой трудный вальсъ—и читаю.

Отвѣтствую по пунктамъ: 1) Ваше предположеніе, что Москва утратила для меня интересъ, когда исчезли изъ нея „молодость и красота“ — не тае, совсѣмъ не тае! Вы меня не знаете... „какъ съ гуся вода“. Я не романтикъ и всѣ увлеченія мои были „коллекціонированіе эмоцій или этюдовъ“. Только въ дружбѣ я постояненъ... Whereof I take this that you call love, to be a sect or scion, говоритъ добрый Яго. 2) Ваша мысль о чтеніи о Декабристахъ осуществима не безъ затрудненій; нужна очень маленькая аудиторія въ родѣ Боделэровской, да и то... Въ манифестѣ Екатерины „о молчаніи“ въ 1763 было объявлено: „желаніе и воля наши есть, чтобы всѣ и каждый изъ нашихъ вѣрноподданныхъ единственно прилежали къ своему званію и должности, удаляясь отъ всякихъ продерзкихъ и непристойныхъ разглашеній“ и потому Она „матерински увѣщеваетъ“: „удалиться отъ всякихъ вредныхъ разсужденій... прилежа единственно званію своему... и препровождая время не въ праздности или невѣжествѣ... но въ полезныхъ и свойственныхъ каждому упражненіяхъ на пользу свою и ближняго“.

Мои упражненія должны заключаться въ сочиненіи кляузъ и каверзъ, а отнюдь не въ сужденіяхъ продерзкихъ о томъ, что до моей должности не надлежитъ. Говоря серьезно, я въ русской исторіи еще новичекъ, чтобы не сказать болѣе. Мнѣ-ли дѣлиться скудными крохами своего знанія и надѣвать личину профессора? Къ тому же занятія исторіею пріучаютъ къ объективности, а съ этимъ

свойствомъ не понравишься никому. Здѣсь, заграницей, я не имѣлъ никакой возможности продолжать занятія исторіею воцаренія Николая I за совершеннымъ отсутствіемъ матеріаловъ: у Бэра въ Берлинѣ не оказалось ничего кромѣ скучныхъ піэтическихъ трактатовъ Гр. Л. Толстого. По возвращеніи въ Москву займусь обозрѣніемъ библіографіи Декабрьскаго возмущенія. Для уразумѣнія его необходимо знать прошлое Россіи въ XVIII вѣкѣ. 14 декабря есть блѣдная копія 28 іюня 1762, которое есть повтореніе Елизаветинскаго переворота. Но времена уже были не тѣ... да и въ возмущеніяхъ, сопровождавшихъ вступленіе на престолъ Елизаветы и Екатерины, участіе гвардіи было сознательное: дочь Петра Великаго была дѣйствительно его дочерью; Анна Леопольдовна и Петръ Ѳедоровичъ были дѣйствительно нѣмцы, чужіе—и потому не только лейбъ-компанцы, но и народъ, населеніе Петербурга—могли участвовать, зная, что имъ нужно. Но въ основѣ 14 декабря лежало „недоразумѣніе“ и „Конституція“ все таки была только „женою Константина Павловича“, а это уже совсѣмъ плохо. Въ прошлыхъ движеніяхъ народъ, конечно, тоже не участвовалъ, но вѣдь солдаты—тотъ же народъ. Его можно было поднять оскорбленіемъ православія, походомъ въ Данію, ненавистью къ Курляндцу Бирону, но нельзя было воодушевить „Русскою Правдою“ Пестеля, которая, впрочемъ, и не была русскою, если только была правдою. 3) Матушкѣ стало немного лучше, опасенія за роковой исходъ на время исчезаютъ и слова Ницца — на минуту — снова... быть можетъ... 4) Конецъ Января — въѣздъ въ Москву. Продолжаю читать Бильбасова, Шекспира въ изд. Деліуса и Соколовскаго (разношу!) Не читаю, а изучаю, корплю надъ Отелло, Лиромъ и Макбетомъ; подозрѣвалъ и нынѣ доказалъ себѣ, что Отелло былъ негръ, а не испанскій мавръ, какъ идеализируетъ Соколовскій и нѣмцы. Арапъ былъ.

Преданный Вамъ А. Урусовъ.

LXV.

Ей-же.

15/27 января 96 г.

Сейчасъ, многоуважаемая А. А. получилъ Ваше письмо отъ 10-го. Увы, здоровье матушки не поправляется— прошла только лихорадка, миновала только непосредственная опасность, но слабость ужасна. Я читалъ Волынскаго не безъ удовольствія, потому что раздѣляю (или вѣрнѣе сказать самъ давно говорилъ), что русская критика съ Бѣлинскимъ во главѣ — есть слабѣйшая отрасль русской литературы, что престижъ ея основанъ на мистификаціи однихъ невѣждъ другими таковыми же. Вообще поклоненіе Бѣлинскому, Добролюбову есть характерный признакъ убожества нашего литературнаго образованія и педагогическаго шарлатанства. Волынскій дерзнулъ прикоснуться къ кумирамъ. Это его слава.

Что Вы начали писать? Что бросили? Можно ли читать И. И. Жизнь коротка и болѣе достойныя задачи ждутъ Васъ. Водите компанію только съ высшими міра сего... а то еще А! Господи! да когда я только вспомню о ея дикообразной наружности, меня начинаетъ тошнить. В. совершенно напоминаетъ противную слащавость салициловаго натра въ зельтерской водѣ: чистое рвотное! А воображаетъ себя шампанскимъ.

Здѣсь какіе же Декабристы? Прочелъ исторію Катерины II-ой. Такъ вѣрно, что непреодолимое отвращеніе возбуждаютъ эти 2 зеленые тома. Что можетъ быть гнуснѣе исторіи вообще! какими невинными, безобидными, чистыми существами кажутся послѣ прочтенія этой исторіи всѣ „погибшія, но милыя созданія“.

Изучаю Шекспира. Читаю 31-й томъ Jahrbuch der Shakespeare Gesellschaft.

Фотографирую.

Преданный Вамъ Урусовъ.

LXVI.

Ей-же.

6 марта 1896 г.

Добрѣйшая А. А.

Благодарю за книгу, возвращаю Вамъ „An offener See“ (романъ не для дѣвицъ младшаго возраста, но мнѣ нравится. Нехорошо только, что герой, передъ рѣшительной минутой — надѣваетъ фракъ и ордена. Ордена эти такъ очаровали героиню, что катастрофа становится неизбѣжной... Удивительное дѣйствіе Станислава на шеѣ!) Завтра буду. Въ Думѣ была убійственная скука и я полагаю, что только изъ экономіи насъ не замѣняютъ автоматами.

Преданный Вамъ А. Урусовъ.

LXVII.

Ей-же.

Многоуважаемая А. А.

Какъ здоровье Н. М.? Какія температуры? Заѣзжалъ и не засталъ Васъ: очень сожалѣю. Сегодня весь день все общественнымъ интересамъ предавался съ излишествомъ. Бѣдныя лошади простояли на ногахъ съ 11 до 4! Это ужасно! А все Фотографическое Общество, право собственности, Выставка и т. п. глупости!

Завтра утромъ—Собраніе у меня наслѣдниковъ по одному дѣлу. Вечеромъ—я у прис. повѣр. Д. Въ Воскресенье въ 11 утра—засѣданіе особой коммиссіи о правѣ фотогр. собственности подъ моимъ предсѣдательствомъ, потомъ экскурсія въ Физіологическій Институтъ, вечеромъ—засѣданіе Съѣзда, гдѣ я обязанъ предсѣдать на рефератѣ Буринскаго. Такъ что и въ этотъ, священный такъ сказать день, я не попаду къ Вамъ. А потому, такъ какъ я страшно усталъ и дѣла много, то думаю придти къ Вамъ сюрпризомъ сегодня.

Преданный Вамъ Общественный Дѣятель
и Свѣтлая Личность А. Урусовъ.

LXVIII.

Ей-же.

СПБ. Сергіевская 6. 6 апрѣля 1896 г.

Многоуважаемая А. А.

Здѣсь необычайная для Москвы интенсивность жизни: вчера напр. было собраніе литературное у Вейнберга (о Стриндбергѣ) и въ то же время—собраніе въ адвокатскомъ клубѣ, гдѣ болѣе ста лицъ слушало Турчанинова, Жуковскаго и меня—рефератъ о дѣлѣ бывшемъ въ Вильнѣ, (закрытіе костела въ Крожахъ). Сегодня — пріемный вечеръ у Гр. Г.-К., обѣдъ у Кавоса и вечеръ въ Юрид. Об—вѣ, рефератъ Арсеньева о судѣ присяжныхъ. Въ четвергъ jour К—овой и вечеръ у Д. В. С—ва и т. д. Я еще не знаю, когда выѣду отсюда. Во всякомъ случаѣ къ 11—12 я буду непремѣнно въ Москвѣ, а 14-го уѣду въ Бронницы на защиту... Солнца здѣсь мало, однако красота линій и красота размѣровъ побѣдоносно торжествуютъ надъ банальностью формъ московскихъ улицъ...

Преданный Вамъ А. Урусовъ.

LXIX.

Ей-же.

Козловъ, 2 мая 1896 г.

Обращаю Ваше вниманіе, многоуважаемая А. А. на статью г-жи Смирновой въ „Нов. Врем.“ отъ 30 апрѣля о мемуарахъ Погодина и его эпохѣ. Эта статейка кажется мнѣ образцовой обработкой литературной задачи въ предѣлахъ газетнаго фельетона... Мастерски пользуется авторъ цитатами, точно иллюстраціями текста. И все время чувствуется сдержанная улыбка, ироническая складка невысказанной до конца собственной мысли, которую читатель, однако, чувствуетъ. Я уже замѣтилъ эти интересныя свойства г-жи Смирновой (по мужу Сазоновой, жена актера, авторъ „Огонька“ и др. романовъ сѣроватаго колорита, уже давно напечатанныхъ). Недавно она напечатала фельетонъ въ Н. В. о д-рѣ Швенингерѣ, врачѣ Бисмарка.

Казалось-бы о чемъ тутъ писать? а вышло очень недурно, тоже искусное пользованіе матеріаломъ, тоже полу-улыбочки. Но теперешняя статья гораздо лучше. Я сохраню ее для Васъ. Ѣду больной, лѣвый бокъ одержимъ интеркосталкой; однако здѣсь, гдѣ теплѣе, мнѣ какъ будто лучше. 5-го и 6-го буду въ Москвѣ.

Преданный Вамъ Урусовъ.

LXX.

Ей-же.

За книги—восторженная благодарность! Вы, развлекая больного, содѣйствовали его выздоровленію. Посылаю Вамъ, въ свою очередь, хорошенькое дѣло объ убійствѣ. Кровь имѣетъ мистическія свойства „Das ist ein besondres Saft“ говоритъ, кажется, Мефистофель въ пьесѣ знаменитаго нѣмецкаго ботаника Гёте. Кровь да излѣчитъ Васъ отъ гриппа. А интеркосталка дѣйствуетъ, чтобъ ей пусто было! это, впрочемъ, хорошо, что интеркосталка, а не нѣчто похуже изъ потроховъ, какъ въ 1895-мъ. Я ужъ сегодня ходилъ по саду, гдѣ цвѣтутъ прехорошенькіе гіацинты.

Завтра надѣюсь... да что „надѣюсь“!—буду защищать Нефедова. Расчитываю sur le coup de fouet de l'émotion professionelle!

Нанялъ квартиру: Сивцевъ Вражекъ, д. Капнистъ. 4 комнаты и кухня на время коронаціи.

И Вы могли повѣрить въ интересность иллюминаціи! Кромѣ скуки ничего не будетъ.

А. Урусовъ.

Какъ я радъ, что вернулась Т. А.

LXXI.

Ей-же.

1896 пятница 26 вечеромъ 12 часовъ.

Многоуважаемая А. А! Дѣйствительно отъ старости и морфія немножко подался (вотъ истинно русское выраженіе, а не то что „въ курсѣ дѣла“ и т. п.). Но неужели,

невѣрно Blut ist ein ganz... (besondrer)? Saft? Гмъ! сейчасъ „выведемъ на справку“ (Сенатскій жаргонъ). Преступленіе высылаю. Въ дождь ѣздилъ въ Думу и не страдалъ невральгіею почему-то. Болѣзнь эта женскаго рода и потому капризна, не то, что мужественный ревматизмъ—упорный и суровый.

Сегодня былъ у Васъ; завтра вечеромъ надѣюсь (но только надѣюсь, а не увѣренъ) пріѣхать въ 8¼ вечера.

Преданный Вамъ А. Урусовъ.

LXXII.

Ей-же.

Май 1896.

Извольте. Пусть не будетъ А-скаго. А я хотѣлъ явиться съ нимъ... оазисъ въ пустынѣ.

Господи, что за разливъ тупоумія всѣ эти дни! Я положительно одурѣлъ.

Скорѣе отсюда вонъ, подальше. Зелень луговъ—молчаніе. Сіяющее небо... Главное—молчаніе.

Вашъ А. Урусовъ.

LXXIII.

Ей-же.

Многоуважаемая А. А.

Очень благодарю за Чехова.*) Еслибы не нѣкоторый излишекъ резонерства въ полу-серьезномъ тонѣ, повѣсть была бы прелестна. Онъ всегда хорошо писалъ подростковъ. Колоритъ этой вещицы очень пріятный, поэтичный. Прочелъ и „отрывокъ“ Кирпичникова, весьма интересный, хотя ни Чаадаева, ни атмосферы его времени тамъ не видно. У меня сегодня невральгія интеркостальная. Завтра не опоздаю, а сегодня боялся придти съ невральгіей, которая Вамъ еще не представлена. Juliens Tagebuch читаю съ наслажденіемъ—вкусный натурализмъ!

Вашъ А. Урусовъ.

*) Разсказъ: „Домъ съ мезониномъ“.

LXXIV.

Ей-же.

6 іюня, 1896. Марьинка.

Многоуважаемая А. А.

Я только вчера пріѣхалъ сюда и нашелъ Вашу записку. Я съ 1-го іюня совсѣмъ поправился. Даже написалъ Iconographie Baudelairienne и отослалъ въ La Plume. Читаю Rosny первый романъ Nell Horn. Прочелъ съ изумленіемъ, что Толстой ставитъ Мопассана выше Флобера; мотивъ—одно слово: „конечно". Охъ ужъ эти мнѣ вегетаріанцы!

Чтобы Вамъ и Е. А. пріѣхать въ Марьинку? Жена очень проситъ... Мы во всякое время можемъ устроить Вамъ приличный ночлегъ. Сколько разъ я у Васъ былъ,— а Вы у меня здѣсь ни разу. У насъ гоститъ только А.

Съ совершеннымъ почтеніемъ А. Урусовъ.

LXXV.

Ей-же.

19 іюня, 1896 Марьинка.

Многоуважаемая А. А.

Я сегодня получилъ 2 Вашихъ письма и спѣшу отвѣтить: я никуда не уѣзжалъ и не былъ боленъ. Я съѣздилъ 2 раза въ Москву: съ 1 по 5 и съ 11 по 15, все по дѣламъ: и засѣданія и перестройка московскаго дома. Написалъ Iconographie Baudelairienne, переписалъ 9 страницъ его стихотвореній изъ Crepet и розысканную мною пѣсню, все это отослалъ отсюда. Это не работа, а полуработа—механическое что-то, къ чему я всего болѣе склоненъ. Вы счастливы — можете работать самостоятельно, высказываться, интересоваться вопросами... Я уже писалъ Вамъ, что у меня гоститъ моя крестница А. К. Завтра я везу ее на 3 дня въ Кунцево. Затѣмъ мы вернемся съ учителемъ, который будетъ жить здѣсь и готовить ее къ экзамену учительницы исторіи, по сентябрь. Пока я занимаюсь съ нею ежедневно исторіей и французскимъ язы-

комъ. Она читаетъ вслухъ l'Albatros, Elévation и другія невинныя стихотворенія. Книга же остается у меня. Затѣмъ она каждый день громко декламируетъ Пушкина, исполняетъ монологъ Татьяны и проч. Я много фотографирую. С. то поживетъ здѣсь, то уѣдетъ на рыбную ловлю. Я строю, совершенствую...

Вы напрасно думаете, что Б. мнѣ антипатично. Мѣсто хорошее, но сырое. Я непремѣнно навѣщу Васъ и можетъ быть услышу побольше о Вашей работѣ. Кстати покажу Вамъ кое-какіе снимки, которыми я однако недоволенъ.

Съ совершеннымъ почтеніемъ А. Урусовъ.

Иллюстрированное приложеніе:

1. Тверская въ коронаціонномъ убранствѣ.
2. Воздвиженка тоже.
3. Мой садъ: яблони въ цвѣту (въ Москвѣ).
4. Ходынка 18 мая въ 4 ч. дня: гуляніе опустѣло, направо группы зрителей у труповъ.
5. Тоже оврагъ и ямы. Вдалекѣ войска.
6. Арбатская площадь.
7. Домъ Сабашниковыхъ.
8. Пожарные везутъ трупы.
9. Тоже.

LXXVI.

Ей-же.

Марьинка, 22 іюля 1896.

Добрѣйшая А. А.

Благодарю Васъ за Ваше письмо. Оно принесло мнѣ отрадное впечатлѣніе среди переживаемаго мною періода глубочайшаго нравственнаго одиночества. Я не зналъ, что такъ тяжело стариться.

Теперь я плохой собесѣдникъ—и мыслей ужасно мало. Только въ Baudelair'ѣ я нахожу отголоски своего душевнаго настроенія и онъ страшно взвинчиваетъ мои нервы. Съ виду я совершенно счастливъ и здоровъ.

Завтра я уѣзжаю въ Самару, по дѣлу. Это необходимо для того, чтобы стряхнуть поразившую меня апатію. Ничто меня не интересуетъ. Вернусь 28 іюля. Постараюсь собраться къ Вамъ, если буду чувствовать себя сколько нибудь лучше.

Сегодня именины М. А. Я не рѣшился ей телеграфировать—изъ апатіи. Но я поздравилъ ее отъ души и безмолвно. И пожелалъ ей счастья. Передайте, прошу Васъ, мой сердечный привѣтъ Е. А.

Преданный Вамъ Урусовъ.

LXXVII.

Ей-же.

9 августа 1896. Марьинка.

Многоуважаемая А. А.

Благодарю Васъ за доброе письмо. Я очень дорого цѣню Ваше доброе отношеніе ко мнѣ, которое я видѣлъ не только въ минуты, когда я, больной, готовился отплыть въ безбрежную даль, но и въ тѣ минуты, когда я переживалъ разныя невзгоды. Худшая изъ нихъ — старость безъ дряхлости и безъ примиренія съ жизнью. Мое общество кажется мнѣ самому невыносимымъ, хотя я недурно притворяюсь спокойнымъ и веселымъ. Въ сущности, ничего нѣтъ такого, чтобы я могъ разсказать, потому что, нельзя же искать утѣшенія въ томъ, что жизнь ушла, что страсти остались, что Жеронтъ есть комическій типъ. Вообще нельзя даже говорить о горькомъ осадкѣ жизни, потому что это банальная истина, которой только лира великаго поэта можетъ придать значеніе и величіе. Кто постигъ безпощадное значеніе жизни, этого палача иллюзій, тотъ долженъ смириться и ждать.

Seul le silence est grand, tout le reste est faiblesse.

Вы напрасно думаете, что я, по легко понятнымъ причинамъ, не люблю Б. и что мнѣ въ немъ тяжело. Даю Вамъ честное слово, что никогда, подъ сѣнью этихъ деревьевъ, меня не осѣняло меланхолическое воспоминаніе

о прошедшемъ. Это прошедшее не оставило во мнѣ никакихъ иныхъ воспоминаній, кромѣ добрыхъ, отрадныхъ, но несложныхъ; совершенно ясныхъ, словомъ—симпатичныхъ воспоминаній, легкихъ, какъ засохшій листокъ. Мучительны и ужасны только нераздѣленныя симпатіи. Наконецъ, какія же причины могли бы меня удалить отъ дома, гдѣ я всегда встрѣчалъ такое доброе къ себѣ отношеніе? Нѣтъ, повѣрьте мнѣ, трудно, охъ, какъ трудно стариться. Но, довольно.

Въ воскресеніе, 11, я, можетъ быть, пріѣду къ Вамъ утромъ изъ Москвы въ 11-мъ часу утра, т. е. съ поѣздомъ № 8. Мнѣ самому давно хотѣлось Васъ повидать, но въ гости нужно ѣздить въ приличномъ видѣ.

Преданный Вамъ Урусовъ.

LXXVIII.

Ей-же.

Добрѣйшая А. А.

Благодарю Васъ за добрую память. Сегодня ночью опять страдалъ сильными болями и все время чувствую ихъ, даже теперь, хотя и слабѣе. Хожу въ валенкахъ... „Юбилей“ состоится, но юбиляръ унылъ. Какова штука, если бы я въ этотъ день, да заболѣлъ!

Сижу дома, читаю Б. Челлини и Вашего Мэтерлинка.

Преданный Вамъ Урусовъ.

29 ноября 1896.

Въ домѣ разставляютъ мебель.

LXXIX.

Ей-же.

Многоуважаемая А. А.

Благодарю за доброе вниманіе. Еще полеживаю, но и встаю, хожу... прострація. Читаю много: все Ваше. Письма Ж. Зандъ къ Мюссе—очень замѣчательный памятникъ глубокой страсти. Она выступаетъ въ нихъ съ замѣчательной прелестью.

Сейчасъ пріѣхала жена.

У меня 3 племянницы и А. Хаосъ еще царствуетъ повсюду.

Что то дѣлается въ Университетѣ!

Думаю завтра быть у Васъ. Вашъ Урусовъ.

XXC.

Ей-же.

Европейская Гост. СПб., 19 дек. 96.

Многоуважаемая А. А.

Я останусь здѣсь дольше, чѣмъ предполагалъ. Съ одной стороны—докторъ находитъ необходимымъ гальванизировать меня, какъ старый приборъ изъ накладного серебра, съ котораго серебреніе слѣзло. Съ другой—Дузе меня электризовала своею по прежнему изумительною игрою. Сегодня я опять увидѣлъ La moglie di Claudio. 2-й актъ, можетъ быть, высшее, что она можетъ дать. Третьяго дня я провелъ у нея вечеръ въ обществѣ авторши The wings of Icarus, Miss Alma Tadema.

Я читалъ имъ Боделэра и никогда не имѣлъ такой восторженной аудиторіи. Въ результатѣ—общая безсонница. Сегодня я ужиналъ у ней по случаю Новаго Года и поднесъ ей фрукты и ананасъ, убранный зелеными орѣхами, въ качествѣ символической и декадентской елки. Сборы въ театрѣ превосходные — около 4000 р. въ вечеръ. Въ Москвѣ я упросилъ ее играть Нору. Такъ какъ вслѣдствіе странной случайности, время моего леченія совпадаетъ какъ разъ съ временемъ пребыванія Дузе въ Петербургѣ, то я думаю вернуться къ 1-му января.

Miss Alma Tadema — крупная, не столько красивая, сколько дебелая и породистая голландка, можетъ быть, семитка, похожа на Р.; очень умная и начитанная, очень разговорчивая, безъ англійской pruderie.

Надѣюсь на Вашу доброту и письмо и поздравляю Васъ съ праздникомъ Рождества.

Преданный Вамъ Урусовъ.

XXCI.

Ей-же.

(Янв. 97).

Добрѣйшая А. А.

Здоровье поправилось. Becque вовсе не шаблоненъ, онъ самъ создалъ шаблонъ pièce rosse.

Неужели можно слушать чтеніе Гоголя Т—мъ? Жарты эти такъ устарѣли! Кажется, что „Мертвыя Души“ разсказываютъ о жизни Геркуланума и Помпеи. Я въ дурномъ настроеніи и богохульствую. Получилъ письмо отъ Дузе: хулитъ По.

Думаю безъ предувѣдомленія нагрянуть. Сегодня вечеромъ я у Корсова. Обновляю фонографъ.

Вашъ Урусовъ.

XXCII.

Ей-же.

1897. 15 февр., воскресенье.

Многоуважаемая А. А.!

Отвѣчаю на Ваше письмо отъ 13 февр. по пунктамъ.

1.

Здоровье мое поправляется. Вчера я, однако, впрыснулъ 1/8 грана морфія (предыдущіе дни—по двѣ дозы, 1/4 грана), но выѣзжалъ и ужъ не испытывалъ наркоза, кромѣ наклонности къ мечтательному и проникновенному молчанію. Сегодня, послѣ боли, пишу Вамъ въ 2 часа дня, лежа въ постели, въ довольно тускломъ настроеніи, въ которомъ жизнь представляется до-нельзя скучной.

2.

Ѣдемъ 24-го въ понедѣльникъ на 1-й недѣлѣ. Возвращаюсь 18 марта. Пребываніе — исключительно Парижъ, отъ котораго ничего не жду, кромѣ усталости новаго рода.

3.

А что же проектъ о Вашемъ лѣтѣ и гощеніи въ Марьинкѣ? Весною я отдѣлаю заново особый флигель. Но думаю, Что вы лучше сдѣлаете, перенеся свои пенаты за-

границу въ пансіонъ, вблизи моря или на горахъ. Необходимо для эластичности нервовъ—мѣнять воздухъ и людей. А вѣдь Марьинка, это все тоже, все мы.

4.

Я переговорю съ Пр—ымъ. Я въ сущности ничего не имѣлъ бы противъ сотрудничества въ „Н. С.“, но на практикѣ это вопросъ сложный. а) Меня усиленно приглашаютъ: Новости Дня (15 коп. строчку и выше, писать, что и когда хочу), Сѣверный Вѣстникъ (carte blanche. Гонораръ неизвѣстный), Биржевыя (гдѣ редакторъ, старинный мой пріятель), Новости (тоже) и кромѣ того я могъ бы разсчитывать на пріязненное отношеніе въ „Вѣстн. Евр.“ (давнишнее хорош. знаком. съ Стасюл. и Пыпинымъ) Русск. Вѣд. (съ ограниченіями) и проч. Но я не пишу нигдѣ. Во 1-хъ потому, что для меня это вдвойнѣ невыгодно—матеріально: отвлекаетъ отъ профессіональнаго дѣла и плохо вознаграждается.—Нравственно: мѣшаетъ сосредоточиться на спеціальности, требующей всѣхъ силъ; подрываетъ авторитетъ, вовлекаетъ въ легкую работу журналистическихъ обобщеній. Во 2-хъ я могъ бы работать лишь при условіи вѣры, что такая работа полезна другимъ и мнѣ самому, что она служитъ источникомъ высшаго самоудовлетворенія, т.-е. желанію славы. Но я не вѣрю въ плодотворность такой работы, а безъ вѣры нельзя ничего дѣлать. Есть люди истинное призваніе которыхъ—мыслить, выдумывать и болтать, развѣвая эти мысли на воздухъ, служа миссіонерами художественныхъ или другихъ идей. Невидимое сотрудничество такихъ людей не проходитъ безслѣдно. Они являются невидимыми иниціаторами многихъ идей, которыми живутъ эпохи. Когда они начинаютъ писать, они берутся не за свое дѣло, нарушаютъ принципъ раздѣленія труда. Я, можетъ быть, принадлежу къ числу этихъ безполезныхъ, но необходимыхъ болтуновъ и книгоношъ.

Сколько я распространилъ Флоберовскихъ и Боделэровскихъ томовъ! Вѣдь это мнѣ зачтется, въ странѣ, гдѣ зачитываются Сенкевичемъ и Надсономъ. Но въ сущности это—немного, а больше сдѣлать мѣшаетъ дѣйствительная бѣдность натуры, справедливо боящейся обнаружить свое ничтожество. Но съ практической стороны журналистика у насъ можетъ просвѣтить, только торгуя въ разносъ пикантнымъ либерализмомъ. О причинахъ такого аппетита излишне распространяться. Фактъ на лицо; умѣренные, художественные журналы одержимы собачьей старостью, хирѣютъ и дохнутъ. Чѣмъ меньше истинной свободы въ нравахъ и учрежденіяхъ, тѣмъ болѣе потребность лакомиться пикулями протеста. Эта потребность даже, а не капризъ только. Но тутъ уже должна бы начаться трюистическая рацея о контрастѣ идеи и пользы, красоты и добра и пр. Вообще—ненужныя слова.

Резюме: очень буду радъ писать въ „Н. С.“

5.

О. была очень рада, когда я сообщилъ ей Вашъ любезный отзывъ и я, конечно радъ за симпатіи къ О. и ея неуспѣхъ меня бы огорчилъ. Она легкомысленна, довольно добра, очень ласкова, привязчива—всѣ счастливыя условія для средняго успѣха.

6.

Вчерашній мой „балъ“ былъ менѣе удаченъ чѣмъ первый. Ужинало 27 персонъ, былъ очень хорошій таперъ. Изъ новыхъ: болѣзненная дѣвочка 16 лѣтъ, подруга А., пишетъ стихи, считаетъ 1-мъ поэтомъ Надсона, а Лермонтова выше Пушкина. Былъ еще аляповатаго вида юноша, декоративный М., 2 студента: П. и У. Была А. П. Щ., племянница моя К. С. Ш. съ мужемъ. Все это на меня, морфинизированнаго, подѣйствовало тускло. Милѣе всѣхъ была Ваша племянница М. В. С.

Преданный Вамъ Урусовъ.

XXCIII.

Ей-же.

Парижъ. 11/22 марта 1897 г.

Дорогая А. А.

Сегодня получилъ Ваше письмо отъ 5-го. Какъ жаль, что Васъ здѣсь нѣтъ! Я каждый день видаю Вашихъ сестеръ и чувствую себя прекрасно. Здѣсь такъ много умственныхъ интересовъ, такая громадная продуктивность, такъ отсутствуетъ скука!

Въ среду мы читаемъ въ университетѣ, передъ русскими классами проф. Boyer—русскія вещи. Я—Моцарта и Сальери А. П.—Полонскаго.

Я порядочно таки усталъ отъ бѣготни по театрамъ. Сегодня уже взяты билеты, а 15-го мы мчимся назадъ, домой, исчерпавъ радости Парижа.

До свиданія. Усталый, валюсь.

Преданный Вамъ Урусовъ.

Сестры Ваши здоровы.

XXCIV.

Ей-же.

9 апрѣля 1897 г.

Добрѣйшая А. А.

...Посылаю Вамъ книгу кн. Волконской. Я читаю съ возрастающимъ интересомъ прекрасную книгу O. Wilde Le portrait de Dorian Grey. Въ ней бездна таланта и ума. Блестящими парадоксами и тонкими мыслями вся книга заткана, какъ золотыми цвѣтами. Авторъ чувствуетъ красоту съ удивительною силою и одинаково легко и изящно пишетъ, какъ фантастическія сцены, такъ и житейскія. Эту книгу нужно купить и переплести. Ее придется перечитывать. Я на праздникѣ непремѣнно долженъ Васъ поздравить и Н. М. также. Жена хочетъ тоже пріѣхать..

Преданный Вамъ Урусовъ.

XXCV.

Ей-же.

3 мая 1897 г.

Многоуважаемая А. А.

Благодарю Васъ за письмо и сожалѣю, что мы, т.-е.

Мережковскій и я — не застали Васъ дома. Возвращаясь во свояси съ нимъ на имперіалѣ омнибуса, мы встрѣтили тамъ, въ качествѣ имперіалиста — молодого и красиваго юношу—Философова и имѣли философскій разговоръ, Мережковскій доказывалъ, что міръ — иллюзія, а я, опираясь на прейсъ-куранты физическихъ и химическихъ магазиновъ, утверждалъ, что міръ и матерія очень даже существуютъ, а что слова „сущность всего“ и т. п. суть питтацизмы, а наивные вопросы о „причинѣ, цѣли всего“ и т. д.—пережитки лепета дикарей.

Здѣсь весна устроила великолѣпное представленіе. Конецъ апрѣля походилъ на апоѳеозъ іюня, но изумительная нѣжность зелени превосходила все, что можетъ дать зной и блескъ іюня. Теплынь стоитъ неправдоподобная. Здѣсь, въ нашемъ саду въ Москвѣ, сегодня расцвѣли яблони, давно уже стоятъ въ цвѣту вишни и груши. Трава вспрыснутая теплыми дождями, вся усѣяна великолѣпными одуванчиками. Сегодня я рѣшусь осуществить давно лелѣянную мечту: посадить у себя здѣсь въ огородѣ десять кустовъ эстрагона! Сотню цвѣтной капусты, гряду земляной груши—а спаржу мы давно рѣжемъ свою. Вотъ насъ пока и не такъ тянетъ въ Марьинку, куда мы однако ѣдемъ въ четвергъ или пятницу. Я все не принялся за свои литературныя работы. Боделэръ лежитъ, Флоберъ покоится сномъ праведныхъ, выставки лежатъ, Чеховскіе мужики тоже. Былъ въ театрѣ, смотрѣлъ „Цѣну жизни“ вотъ дрянь-то! Манекены, начиненные трухою идейности! Du faux Ibsen! de l'Ibsen en toc. Какъ я бы разнесъ его если бы не лѣнь.

Всѣ эти дни приводилъ въ порядокъ свою коллекцію автографовъ. Пріѣзжайте пожалуйста въ Москву и въ Марьинку. Вы вѣдь отлично знаете, какъ я дорожу Вашимъ присутствіемъ. У Васъ я не былъ, съ М. А. не простился, а у Т. А. обѣдалъ во вторникъ.

Преданный Вамъ А. Урусовъ.

XXCVI.

Ей-же.

20 мая 1897 г.

Хуже! Добрѣйшая А. А. Трудно писать. Сегодня впервые вскрикнулъ „умираю!“ громкимъ, но непріятнымъ голосомъ. Былъ одинъ, ноги отнялись (казалось), еле дотащился до дверей—прибѣжали люди... и черезъ немного времени два доктора, Щуровскій и Левенталь, хлопотали. Я самъ себѣ сдѣлалъ 2 вспрыскиванія — и немножко поправился. Докторъ сидитъ, ванну готовятъ. „Отходитъ“ сказалъ я Щуровскому—но не больной, а боль. Посылаютъ въ Карлсбадъ.

Завтра напишу еще. Благодарю А. У.

XXCVII.

Ей-же.

26 мая 1897.

Многоуважаемая А. А.

Я почти выздоровѣлъ, осталось легкое одурѣніе отъ наркотиковъ. Сегодня, въ понедѣльникъ, я впервые выѣзжалъ и нашелъ Москву довольно живописной. Завтра же, во вторникъ, въ 4 часа дня я уѣзжаю въ Марьинку и очень желалъ бы увлечь Васъ съ собою. А. также ѣдетъ, блистательно окончивъ экзамены. Меня доктора ссылаютъ въ Карлсбадъ, съ лишеніемъ всѣхъ особыхъ правъ. Вы тоже скоро уѣдете. Теперь въ деревнѣ хорошо. Вы обѣщали. Поѣдемте! Имѣйте въ виду, что очень сильныя невральгіи могутъ вызвать смерть посредствомъ рефлекторной остановки дѣятельности сердца. На это какъ бы указываетъ постоянное распоряженіе Щуровскаго — сварить для меня кофе. Сообщаю это Вамъ потому, что, не придавая никакого особаго значенія этой возможности или вѣроятности, я все таки думаю, что Вы не откажете въ просьбѣ старому знакомому, побывавшему въ когтяхъ черной феи. Недаромъ же, въ первый разъ моей жизни зычно прокричалъ: „умираю!“. И мысленно дополнилъ мое знаменитое изрѣченіе. La mort — une syncope suivie d'un désagrégement... et précédée d'ennuis considérables.

Затѣмъ отъѣздъ Вашъ въ Меррекюль и все это распредѣленіе лѣта... нѣтъ! право, соберитесь и пріѣзжайте на Рязанскій вокзалъ къ 4-мъ!

Выздоровѣвшій А. Урусовъ.

XXCVIII.

Ей-же.

7 сент. 97.

Добрѣйшая А. А.

Вчера хирургъ меня подрѣзалъ, а сегодня перевязку дѣлалъ. Среди пыли перестройки и неубранныхъ комнатъ я рискую всѣми скуками инфекціи—и порѣзъ на шеѣ жалобно ссаднитъ, и голову вертѣть нельзя, больно. Конечно, торчу дома. Видъ гнусный. Настроеніе, однако, весьма недурно. Что то въ родѣ стоицизма.

Возмутилъ меня Соловьевъ своею гнусною статьею „Судьба Пушкина". Вотъ пунктъ, на которомъ обнаруживается весь радикальный, непримиримѣйшій разрывъ между людьми 60-хъ годовъ и 90-хъ. Я написалъ негодующее письмо Мережковскому, которому сочувствую. Возвращаю 4 журнала съ благодарностью. Загадка для меня „Amor". Что это за белиберда? И стоило двумъ писать ее, безъ стиля?

Вашъ А. Урусовъ.

Перечитываю Гонкура — самый для меня подходящій писатель во всей литературѣ всего міра.

XXCIX.

Ей-же.

10 января 1898.

Многоуважаемая А. А.

Молчаніе—знакъ согласія въ приглашеніяхъ къ обѣду. Молчаніе—золото. Могу-ли не быть?

Придется сегодня рано уѣхать: въ $6^1/_2$ въ Думу, „непремѣнно" пишетъ голова въ особыхъ письмахъ — и тоже безъ отвѣта пишетъ.

А я еще сегодня же хочу уѣхать въ Питеръ надолго.

Занятъ. Невральгіи. Безсонница... оттого и пошли дефекты Вашего Урусова.

XC.

Ей-же.

2 февр. 98.

Многоуважаемая А. А.

„Петрушка“ боленъ, но въ Петербургъ „его“ везутъ только 11-го февраля, а 8-го онъ, т. е. я—могу... и благодарю.

Простудилъ я свои скверныя ноги на литературѣ, въ Университетѣ.

Вашъ А. Урусовъ.

XCI.

Ей-же.

Ноябрь 98.

Многоуважаемая А. А.

Въ отвѣтъ на Ваше предложеніе читать публично изъ Ибсена, спѣшу Вамъ отвѣтить:

1) Я считаю неумѣстнымъ лѣзть на кафедру, чтобы читать переводы не мои, а чужіе и скверные.

2) Я питаю непреодолимое отвращеніе къ ненужной, необязательной публичной дѣятельности. Въ Судѣ я выступаю по профессіи, я у себя дома. Въ Думѣ — по избранію согражданъ. Но въ омерзительной аудиторіи Историческаго музея, передъ амфитеатромъ точно отрѣзанныхъ головъ, я выступать не имѣю никакого основанія. Я не профессоръ, не учитель и не проповѣдникъ. Я стыжусь мысли, что могутъ подумать: „онъ добивается аплодисментовъ“, что уподобило бы меня такимъ ничтожествамъ, какъ В. и т. п.

3) Я понимаю, что, написавъ статью объ Ибсенѣ, Вы желаете ее прочесть для пользы курсовъ или т. п. Вѣроятно, и я бы прочелъ (а чего добраго и буду читать) какую-нибудь свою работу. Вашу мысль я понимаю. Но читать чужое—есть нелѣпѣйшая изъ претензій на талантъ

чтеца. Не изъ робости (могу ли я бояться публики?) но изъ отвращенія къ рекламѣ, пуффизму и выскоченству — долженъ отказаться отъ чтенія.

4) „Новое Время“ напечатало вздоръ: никогда „извѣстный адвокатъ кн. А. И. У.“ и не думалъ обѣщать кому либо чтенія о декадентахъ: не чувствую призванія къ миссіонерству и прозелитизму.

На дняхъ буду имѣть честь лично явиться къ Вамъ. Я вернулся только 3-го дня вечеромъ.

Съ совершеннымъ почтеніемъ Урусовъ.

XCII.

Ей-же.

10 февраля 1900.

Добрѣйшая А. А.

Благодарю Васъ за любезное письмо отъ 1 февраля, за присылку афиши Вашей лекціи и за полученную сегодня для прочтенія „Жизнь“ № 1. Хворая и брюжжа, я не спѣшилъ Вамъ отвѣтомъ: что, думалъ, тоску нагонять?.. Однако, Чехова*) я прочелъ еще раньше (О. дала прочесть) и порадовался за то, что колоритъ и рисунокъ у него остались прежней силы! Стиль Чеховскій въ предѣлахъ повѣсти того размѣра, въ которомъ написаны лучшія его вещи,—и здѣсь на лицо. Особая атмосфера... ну, да нечего повторять то, что Вамъ хорошо извѣстно. Но въ смыслѣ композиціи это не лучшая вещь, а гораздо слабѣе „Мужиковъ“. Здѣсь я вижу—шевелится кончикъ мышинаго хвостика и тенденція выглядываетъ изъ норки. Видите ли: сыщикъ—онъ и преступникъ, а нищая—одна прелесть. Богатые да устыдятся... и вдругъ запахло постнымъ маслицемъ Толстовской „благой вѣсти“. Натура то и стушевалась. Я уже не вижу художника, одареннаго высшею степенью воспріимчивости и потому передающаго міръ дѣйствительности съ неудержимою, роковою, полубезсознатель-

*) Разсказъ «Въ Оврагѣ».

XXCVI.

Ей-же.

20 мая 1897 г.

Хуже! Добрѣйшая А. А. Трудно писать. Сегодня впервые вскрикнулъ „умираю!“ громкимъ, но непріятнымъ голосомъ. Былъ одинъ, ноги отнялись (казалось), еле дотащился до дверей—прибѣжали люди... и черезъ немного времени два доктора, Щуровскій и Левенталь, хлопотали. Я самъ себѣ сдѣлалъ 2 вспрыскиванія — и немножко поправился. Докторъ сидитъ, ванну готовятъ. „Отходитъ“ сказалъ я Щуровскому—но не больной, а боль. Посылаютъ въ Карлсбадъ.

Завтра напишу еще. Благодарю А. У.

XXCVII.

Ей-же.

26 мая 1897.

Многоуважаемая А. А.

Я почти выздоровѣлъ, осталось легкое одурѣніе отъ наркотиковъ. Сегодня, въ понедѣльникъ, я впервые выѣзжалъ и нашелъ Москву довольно живописной. Завтра же, во вторникъ, въ 4 часа дня я уѣзжаю въ Марьинку и очень желалъ бы увлечь Васъ съ собою. А. также ѣдетъ, блистательно окончивъ экзамены. Меня доктора ссылаютъ въ Карлсбадъ, съ лишеніемъ всѣхъ особыхъ правъ. Вы тоже скоро уѣдете. Теперь въ деревнѣ хорошо. Вы обѣщали. Поѣдемте! Имѣйте въ виду, что очень сильныя невральгіи могутъ вызвать смерть посредствомъ рефлекторной остановки дѣятельности сердца. На это какъ бы указываетъ постоянное распоряженіе Щуровскаго — сварить для меня кофе. Сообщаю это Вамъ потому, что, не придавая никакого особаго значенія этой возможности или вѣроятности, я все таки думаю, что Вы не откажете въ просьбѣ старому знакомому, побывавшему въ когтяхъ черной феи. Недаромъ же, въ первый разъ моей жизни зычно прокричалъ: „умираю!“. И мысленно дополнилъ мое знаменитое изрѣченіе. La mort — une syncope suivie d'un désagrégement... et précédée d'ennuis considérables.

Затѣмъ отъѣздъ Вашъ въ Меррекюль и все это распредѣленіе лѣта... нѣтъ! право, соберитесь и пріѣзжайте на Рязанскій вокзалъ къ 4-мъ!

Выздоровѣвшій А. Урусовъ.

XXCVIII.

Ей-же.

7 сент. 97.

Добрѣйшая А. А.

Вчера хирургъ меня подрѣзалъ, а сегодня перевязку дѣлалъ. Среди пыли перестройки и неубранныхъ комнатъ я рискую всѣми скуками инфекціи—и порѣзъ на шеѣ жалобно ссаднитъ, и голову вертѣть нельзя, больно. Конечно, торчу дома. Видъ гнусный. Настроеніе, однако, весьма недурно. Что то въ родѣ стоицизма.

Возмутилъ меня Соловьевъ своею гнусною статьею „Судьба Пушкина". Вотъ пунктъ, на которомъ обнаруживается весь радикальный, непримиримѣйшій разрывъ между людьми 60-хъ годовъ и 90-хъ. Я написалъ негодующее письмо Мережковскому, которому сочувствую. Возвращаю 4 журнала съ благодарностью. Загадка для меня „Amor". Что это за белиберда? И стоило двумъ писать ее, безъ стиля?

Вашъ А. Урусовъ.

Перечитываю Гонкура — самый для меня подходящій писатель во всей литературѣ всего міра.

XXCIX.

Ей-же.

10 января 1898.

Многоуважаемая А. А.

Молчаніе—знакъ согласія въ приглашеніяхъ къ обѣду. Молчаніе—золото. Могу-ли не быть?

Придется сегодня рано уѣхать: въ 6½ въ Думу, „непремѣнно" пишетъ голова въ особыхъ письмахъ — и тоже безъ отвѣта пишетъ.

А я еще сегодня же хочу уѣхать въ Питеръ надолго. Занятъ. Невральгіи. Безсонница... оттого и пошли дефекты Вашего Урусова.

XC.

Ей-же.

2 февр. 98.

Многоуважаемая А. А.

„Петрушка“ боленъ, но въ Петербургъ „его“ везутъ только 11-го февраля, а 8-го онъ, т. е. я—могу... и благодарю.

Простудилъ я свои скверныя ноги на литературѣ, въ Университетѣ.

Вашъ А. Урусовъ.

XCI.

Ей-же.

Ноябрь 98.

Многоуважаемая А. А.

Въ отвѣтъ на Ваше предложеніе читать публично изъ Ибсена, спѣшу Вамъ отвѣтить:

1) Я считаю неумѣстнымъ лѣзть на кафедру, чтобы читать переводы не мои, а чужіе и скверные.

2) Я питаю непреодолимое отвращеніе къ ненужной, необязательной публичной дѣятельности. Въ Судѣ я выступаю по профессіи, я у себя дома. Въ Думѣ — по избранію согражданъ. Но въ омерзительной аудиторіи Историческаго музея, передъ амфитеатромъ точно отрѣзанныхъ головъ, я выступать не имѣю никакого основанія. Я не профессоръ, не учитель и не проповѣдникъ. Я стыжусь мысли, что могутъ подумать: „онъ добивается аплодисментовъ“, что уподобило бы меня такимъ ничтожествамъ, какъ В. и т. п.

3) Я понимаю, что, написавъ статью объ Ибсенѣ, Вы желаете ее прочесть для пользы курсовъ или т. п. Вѣроятно, и я бы прочелъ (а чего добраго и буду читать) какую-нибудь свою работу. Вашу мысль я понимаю. Но читать чужое—есть нелѣпѣйшая изъ претензій на талантъ

чтеца. Не изъ робости (могу ли я бояться публики?) но изъ отвращенія къ рекламѣ, пуффизму и выскоченству — долженъ отказаться отъ чтенія.

4) „Новое Время“ напечатало вздоръ: никогда „извѣстный адвокатъ кн. А. И. У.“ и не думалъ обѣщать кому либо чтенія о декадентахъ: не чувствую призванія къ миссіонерству и прозелитизму.

На дняхъ буду имѣть честь лично явиться къ Вамъ. Я вернулся только 3-го дня вечеромъ.

Съ совершеннымъ почтеніемъ Урусовъ.

XCII.

Ей-же.

10 февраля 1900.

Добрѣйшая А. А.

Благодарю Васъ за любезное письмо отъ 1 февраля, за присылку афиши Вашей лекціи и за полученную сегодня для прочтенія „Жизнь“ № 1. Хворая и брюжжа, я не спѣшилъ Вамъ отвѣтомъ: что, думалъ, тоску нагонять?.. Однако, Чехова*) я прочелъ еще раньше (О. дала прочесть) и порадовался за то, что колоритъ и рисунокъ у него остались прежней силы! Стиль Чеховскій въ предѣлахъ повѣсти того размѣра, въ которомъ написаны лучшія его вещи,—и здѣсь на лицо. Особая атмосфера... ну, да нечего повторять то, что Вамъ хорошо извѣстно. Но въ смыслѣ композиціи это не лучшая вещь, а гораздо слабѣе „Мужиковъ“. Здѣсь я вижу—шевелится кончикъ мышинаго хвостика и тенденція выглядываетъ изъ норки. Видите ли: сыщикъ—онъ и преступникъ, а нищая—одна прелесть. Богатые да устыдятся... и вдругъ запахло постнымъ маслицемъ Толстовской „благой вѣсти“. Натура то и стушевалась. Я уже не вижу художника, одареннаго высшею степенью воспріимчивости и потому передающаго міръ дѣйствительности съ неудержимою, роковою, полубезсознатель-

*) Разсказъ «Въ Оврагѣ».

ною мощью: нѣтъ, я вижу господина, который желаетъ кое-чему меня, грѣшнаго, наставить. Я бы, пожалуй, и не прочь: ну, наставляй... Но, вѣдь, это дѣло не генія, а посредственности. Вообще же говоря, когда въ беллетристикѣ появляются добрые нищіе, смѣшные генералы, (какъ въ „Воскресеніи") и умирающіе младенцы, тогда дѣло идетъ плоховато, наблюдательность изсякаетъ и появляется пріятный, всѣми любимый шаблонъ.

Нѣтъ, „Въ Оврагѣ" написано хорошо и пейзажики чудесно схвачены и нравы, и бытъ... но внутренній міръ, кажется, подслащенъ въ угоду рынку, сахаринцемъ.

Я, вслѣдствіе своего увѣчья, (я оглохъ совершенно) конечно, начинаю выращивать въ себѣ Апемонтуса, но не унываю, а сегодня, читая комическія восхваленія величайшаго прозаика въ поэзіи, Жемчужникова, испыталъ (изъ статьи Курьера) нѣсколько отрадныхъ минутъ. Рекомендую, прочтите. Пишу Вамъ въ Петербургъ. Что то дѣлаетъ „Владиміръ Каренинъ"? А Е. П. Л. и пр.?

Надѣюсь, что Вы навѣстите инвалида по возвращеніи. О. уѣхала. Телеграфировала изъ Варшавы—благополучно-де.

Преданный Вамъ Урусовъ.

XCIII.

Ей-же.

Апр. 20 дня 1900 г.

Многоуважаемая А. А.

Возвращаю Вамъ съ благодарностью „Жизнь" и пьесу Ибсена, и съ сожалѣніемъ—пьесу Гауптмана: послѣднюю желалъ бы имѣть. Она геніальна! куда выше старческаго послѣдыша Ибсена! А Жизнь содержитъ массу пухлой ахинеи: весь Горькій, напримѣръ, невыносимо размазанъ и бездаренъ! Отвратительны и разсказы Тимковскаго и все остальное. Гнусна фотографія, изображающая просто группу рабочихъ, но почему то озаглавленныхъ, по Горькому, „бывшіе люди"! О, пошляки! Разсказы Кнута очень плохи. Присылаю Вамъ свою статейку о Минскомъ... Читаю, крехтя и охая, лирику Минскаго. Тяжело! Все

ищу красоты. Вѣдь, есть же она, чортъ возьми, да гдѣ? Я поставилъ себѣ правиломъ: сперва выясни красоты, потомъ недостатки, но дурацкая моя натура тянетъ меня только къ недостаткамъ. Но Гауптманъ! Voilà mon homme! какъ сказалъ Юисмансъ, принимая отъ меня книгу о Baudelair'ѣ.

Жалѣю, что Вы были въ такую минуту, когда я лежалъ хворый. Вы бы написали: я буду тогда-то. Я бы и подтянулся. Получили письмо изъ Нерви: О. здорова.

Вашъ Урусовъ.

L.

Ей-же.

4 іюня 1900. Москва.

Многоуважаемая А. А.

Прочелъ Ѳому Гордѣева — не подъ-рядъ; невозможно размазано, но почти подъ-рядъ. Авторъ—закоренѣлый романтикъ, воспитанный на самыхъ плохихъ традиціяхъ русской, крѣпостной журналистики. Онъ, видимо, малый снаровистый: знаетъ, какъ потрафлять рынку, и преуспѣлъ тотчасъ же, что вообще въ литературѣ не очень хорошій признакъ: только старое нравится толпѣ, новое обыкновенно нравится слѣдующему поколѣнію. Романтизмъ виденъ въ фальшивомъ колоритѣ всего романа. Авторъ не любитъ свое изображеніе, не можетъ дойти до эпическаго восхищенія пошлостью—онъ все обличаетъ, какъ сатирикъ, все морализируетъ, какъ публицистъ. Ѳома—кутитъ и развратничаетъ. Это могло бы быть прекрасно, но нужно, чтобы оно было наивно и наблюдено по болѣе острой наводкѣ на фокусъ. Дѣвы, раздѣляющія его восторги, очерчены недурно... но авторъ все портитъ, заставляя и своего пьяницу и дѣвицъ „искать правду", сокрушаться, обличать зло! Это до тошноты невыносимо и фальшиво. Всѣ плачутъ, всѣ рыдаютъ (у насъ въ беллетристикѣ даже соловьи не поютъ, а рыдаютъ—хотя, кажется, въ эпоху пѣнья соловью рѣшительно нѣтъ причинъ рыдать... развѣ только объ отсутствіи конституціи!) Всѣ эти озлобленныя тирады отдаютъ

мертвечиной журнальной этики. А по этой этикѣ можно изображать что и какъ угодно, лишь бы пришпиливать къ подолу Музы назидательную сентенцію. Безвкусіе автора и его шутовское отношеніе къ природѣ, слабая индивидуализація личностей и изобиліе ругательствъ (маскирующихъ вялость вымысла) также должны быть поставлены ему въ счетъ дефектовъ. Въ немъ не чувствуется настоящей силы, а всѣ внѣшнія признаки ея, подобіе, изображеніе. Такой писатель, при отвратительной манерѣ все размазывать и все изображать подъ условнымъ угломъ зрѣнія, едва-ли принадлежитъ къ крупнымъ. Это — журналистика, а не поэзія.

Бальмонтъ прислалъ „Горящія зданія". Первое впечатлѣніе—крайне неблагопріятное. Mania grandiosa, кровожадныя гримасы. Эпиграфомъ слѣдуетъ поставить: изумляю міръ злодѣйствомъ и упокойнички спасибо скажутъ, что умерли. Но его „faculté-maitresse" искусство оттѣнковъ замѣнило какое-то гоготаніе. Книга производитъ впечатлѣніе психіатрическаго документа. Ну, а Добролюбовъ съ Брюсовымъ, это уже — на чистоту! изъ клиники душевнобольныхъ. Книжка о Гауптманѣ написана сухо, но умно и содержитъ кое-какія свѣдѣнія объ исторіи пьесы.

Я очень слабъ: пульсъ 100. Мечтаю объ уѣздѣ въ уѣздъ.

Съ почтеніемъ Урусовъ.

Н. А. Никулиной.

14 апрѣля 1900 г.

Дорогая Надежда Алексѣевна!

Поздравляю Васъ съ праздникомъ. Христосъ Воскресъ! Не плачьте. Подумайте, сколько людей болѣе несчастливы, чѣмъ Вы, сколько Вы могли еще потерять, а сохранили— и увидите, что Вы еще счастливѣе многихъ и осушите слезы. Не стоитъ плакать, причинять себѣ новыя страданія. Когда можно жить, видѣть, слышать, двигаться, пить, ѣсть,— не стоитъ огорчаться, даже когда всего этого не

можешь. Иногда я думаю, что скука и грусть—роскошь, доступная только тому, кому есть досугъ. Я не скучаю, я болѣю и не грущу, потому что на смѣну одному идетъ другое. Я спокойно ожидаю развязки и, по вѣчному шуму въ ушахъ, по постоянному головокруженію и слабости сердца, не могу забыть, что конецъ-то не за горами. Всѣ люди умираютъ, постараемся же, думаю я про себя, быть изъ числа немногихъ, которые умираютъ спокойно, мужественно и безъ фразъ. Можетъ быть, и это—фраза...

Лейденъ старался успокоить, сказалъ, что нѣтъ опасности для жизни, что шатаніе пройдетъ, что пилокарпинъ можно вспрыскивать. И вотъ началось. Вспрыскиваетъ, сперва каждый день, теперь черезъ день—докторъ Богушъ, энергичный, умный и ученый хохолъ. Слѣдятъ за мною Усовъ и Никольскій, но изрѣдка. Все равно, нужно продѣлать 17 — 20 вспрыскиваній. Отъ нихъ слабѣю, сердце ускоряетъ свои удары, т. е. слабѣетъ. Пользы, пока, никакой. Сдѣлано 8 проколовъ по $^1/_4$ грана каждый. До этой дозы сдѣланы были пробныя.

Другъ мой! Я не дѣлаю себѣ иллюзій. Богушъ увѣряетъ и божится, что все будетъ хорошо. Что мнѣ спорить? Пока я потерялъ только 3 способности: 1) слухъ, 2) вкусъ сладкаго и кислаго—кажется соленымъ, 3) передвиженія, хотя танцую немножко со стуломъ. Оставшіяся способности пока налицо. Нельзя ли ихъ приспособить къ счастью? Я еще вижу, дышу, чувствую, мыслю, часто смѣюсь. Часто, глядя на свои книги, на добрыя лица моихъ близкихъ, на розаны, цвѣтущіе во множествѣ въ комнатахъ, на все, что меня окружаетъ, я говорю себѣ: „да это же и есть счастье! Подумай, каково бы тебѣ было въ санаторіи, заграницей, одному съ раненой головой... Ты счастливъ“. И я, дѣйствительно, счастливъ. Мнѣ не хочется на выставку, какъ не хочется на луну, но мнѣ хочется, чтобы Вы, въ сердцѣ которой, я знаю, не умерли нѣжные слѣды прошедшаго, заходили почаще къ медленно угасающему другу. Поклонитесь сестрѣ.

Вашъ А. Урусовъ.

Переводы изъ Ш. Боделэра.

О сущности поэзіи.

(Отрывокъ изъ предисловія къ Nouvelles histoires extraordinaires).

Поэзія,—если только углубиться въ себя, если спросить свою душу, если вспомнить о минутахъ энтузіазма,—поэзія не имѣетъ другой цѣли кромѣ себя самой; да она и не можетъ имѣть иной цѣли и никакая поэма не будетъ такъ велика, такъ благородна, такъ достойна истиннаго званія поэмы, какъ та, которая написана исключительно для удовольствія—написать поэму.

Я вовсе не хочу сказать, чтобы поэзія не облагораживала нравы,—поймите меня какъ слѣдуетъ,—я не говорю чтобы, въ конечномъ результатѣ, поэзія не возвышала человѣка надъ уровнемъ вульгарныхъ интересовъ. Это была бы нелѣпость. Я говорю только, что поэтъ преслѣдующій моральную цѣль, умаляетъ свою поэтическую силу и можно побиться о закладъ, что произведеніе его будетъ плохо. Поэзія не можетъ, подъ страхомъ смерти или упадка, отождествляться съ наукою и нравственностью. Поэзія имѣетъ предметомъ не Истину, а Поэзію. Способы доказательства истинъ совершенно иные и находятся въ иной области, Истина ничего не имѣетъ общаго съ пѣснями и все, что составляетъ прелесть, грацію и непреодолимое очарованіе пѣсни, отнимаетъ у Истины ея авторитетъ и могущество. Холодное, спокойное, невозмутимое разсудочное настроеніе отталкиваетъ отъ себя алмазы и цвѣты украшающіе Музу, а потому это настроеніе—какъ разъ противоположность поэтическаго настроенія.

Чистый интеллектъ стремится къ Истинѣ. Вкусъ показываетъ намъ Красоту, а Нравственное Чувство учитъ насъ Долгу. Правда, что среднее изъ этихъ чувствъ тѣсно связано съ двумя крайними и отличается отъ нравственнаго чувства такими легкими оттѣнками, что Аристотель не обинуясь отнесъ къ добродѣтелямъ нѣкоторыя изъ деликатныхъ операцій Вкуса. Вотъ почему главное, что возмущаетъ человѣка со вкусомъ въ зрѣлищѣ Порока— это его безобразіе, его непропорціональность. Порокъ оскорбляетъ Справедливость и Истину, возмущаетъ интеллектъ и совѣсть; но какъ нарушеніе гармоніи, какъ диссонансъ, порокъ особенно оскорбляетъ нѣкоторые поэтическіе умы и мнѣ кажется, что нѣтъ ничего скандалезнаго въ мысли, что всякое отступленіе отъ морали, отъ морально-прекраснаго будетъ какою-то ошибкою противъ всемірнаго ритма и прозодіи.

Въ силу этого чуднаго, безсмертнаго инстинкта Прекраснаго мы смотримъ на землю и ея зрѣлища, какъ на намекъ, на соотношеніе (correspondance) Неба. Неутомимая жажда всего, что тамъ, что прикрывается жизнью, какъ занавѣсомъ или вуалью — вотъ живѣйшее доказательство нашего безсмертія.

Посредствомъ поэзіи и, въ то же время, сквозь поэзію, посредствомъ музыки и сквозь музыку, душа смутно различаетъ дивное великолѣпіе загробной жизни. И когда очаровательная прелесть стихотворенія извлекаетъ слезы изъ очей—эти слезы не доказываютъ избытокъ наслажденія, онѣ скорѣе свидѣтельствуютъ о раздраженной меланхоліи, о постуляціи нервовъ натуры, томящейся въ изгнаніи, въ области несовершеннаго—и желающей немедленно, тутъ же на землѣ, овладѣть обѣтованнымъ раемъ.

Итакъ, самый принципъ поэзіи заключается, говоря точно и просто, въ стремленіи человѣка къ высшей Красотѣ, а выражается этотъ принципъ въ энтузіазмѣ, въ подъемѣ души, въ энтузіазмѣ совершенно чуждомъ, какъ страсти, которая опьяняетъ сердце, такъ и истины, которая питаетъ разумъ.

Вѣдь страсть вещь естественная, даже слишкомъ естественная и потому вноситъ какой-то оскорбляющій оттѣнокъ и диссонансъ въ область чистой красоты; страсть слишкомъ фамильярна и груба, чтобы не вспугнуть чистыя Желанія, граціозныя Меланхоліи и благородныя Отчаянія, витающія въ супранатуралистическихъ сферахъ Поэзіи.

О декадентизмѣ.

(Отрывокъ изъ Notes nouvelles sur Edgar Poe).

Литература декадентовъ! Littérature de Décadence! Литература упадка!—пустыя слова, которыя мы часто слышимъ раздающимися со звучностью эмфатической зѣвоты изъ устъ одного изъ тѣхъ сфинксовъ, лишенныхъ всего загадочнаго, которые сторожатъ священныя врата классической эстетики и каждый разъ, какъ раздается неопровержимое изреченіе оракула, можно побиться о закладъ, что дѣло идетъ о произведеніи болѣе занимательномъ, чѣмъ Илліада.

Стихотворенія въ прозѣ.

Чужеземецъ.

— Кого любишь ты больше всѣхъ, скажи, загадочный человѣкъ? отца твоего, мать, сестру или брата?

— Нѣтъ у меня ни отца, ни матери, ни сестры, ни брата.

— Твоихъ друзей?

— Вы произнесли слово, смыслъ котораго до сихъ поръ мнѣ непонятенъ.

— Отечество?

— Не вѣдаю, гдѣ, подъ какою широтою лежитъ оно.

— Красоту?

— Я полюбилъ бы ее, но какъ богиню и безсмертную.

— Золото?

— Ненавижу его, какъ вы ненавидите Бога.

— Такъ что-же ты любишь, странный чужеземецъ?

— Люблю я облака, тѣ, что плывутъ мимо, тамъ, далеко... чудныя облака.

У каждаго своя Химера.

Подъ громаднымъ сѣрымъ небосводомъ, среди обширной пыльной равнины, безъ дорогъ, безъ травы, безъ бурьяна, я встрѣтилъ нѣсколькихъ людей, которые шли согнувшись.

Каждый изъ нихъ несъ на спинѣ огромную Химеру, тяжелую, какъ мѣшокъ муки или доспѣхи римскаго пѣхотинца.

Но чудовищный звѣрь не былъ мертвою тяжестью, напротивъ: Химера обнимала человѣка и давила его своими упругими, могучими мышцами. Она вцѣплялась огромными когтями въ его грудь, а чудовищная голова ея возвышалась надъ его челомъ, какъ тѣ ужасные шлемы, которыми древніе воины думали устрашать врага.

Я обратился къ одному изъ этихъ людей съ вопросомъ: куда они идутъ? Онъ отвѣтилъ, что ни онъ, ни другіе этого не знаютъ, но что они, очевидно, куда-то идутъ, потому что ихъ влечетъ и толкаетъ непреодолимая сила.

И—странное дѣло! никто изъ путниковъ не выказывалъ озлобленія противъ хищнаго звѣря, повисшаго на его выѣ. Казалось, что онъ считаетъ звѣря частью самого себя.

Всѣ эти утомленныя и угрюмыя лица не являли отчаянія; подъ сумрачнымъ сплиномъ небосвода шагая по пыльной землѣ, столь-же безотрадной, какъ и небо, они брели, храня въ лицѣ покорность людей, обреченныхъ на вѣчное упованіе. И шествіе прошло мимо и углубилось въ туманъ на рубежѣ небесъ, гдѣ округленная поверхность планеты скрываетъ даль отъ любопытствующаго взора людей. И нѣсколько минутъ я упорно старался уразумѣть эту

тайну, но скоро охватило меня непреодолимое равнодушіе и тяжестью его я былъ удрученъ еще ужаснѣе, чѣмъ они своими подавляющими Химерами.

Глаза бѣдняковъ.

А! Вы хотите знать, за что я васъ ненавижу сегодня? Мнѣ объяснить это легко, но Вамъ понять меня труднѣе: вѣдь Вы являете собою такой великолѣпный образецъ женской непроницаемости.

Мы вмѣстѣ провели долгій день, который мнѣ показался короткимъ. Мы говорили другъ другу, что отнынѣ наши мысли будутъ общія и что отнынѣ наши души сольются воедино—мечта, въ которой, впрочемъ, нѣтъ ничего оригинальнаго, развѣ только то, что подобную мечту лелѣютъ всѣ люди, а не осуществилъ ее никто.

Вечеромъ, нѣсколько усталая, Вы пожелали сѣсть передъ новымъ кафѐ, на углу новаго бульвара. Еще загроможденное мусоромъ, кафѐ уже торжественно красовалось въ своемъ недоконченномъ великолѣпіи. Кафѐ сверкало. Даже газъ пылалъ съ усердіемъ дебютанта, изо всѣхъ силъ озаряя стѣны бѣлизны ослѣпительной, сіяющую глубину зеркалъ, золотыя рамы и карнизы, пажей съ пухлыми щеками, влекомыхъ сворою собакъ, смѣющихся дамъ съ соколомъ на рукѣ, нимфъ и богинь, несущихъ на головѣ плоды, пирожное и дичь, Гебъ и Ганимедовъ съ вытянутою рукою, презентующихъ чайникъ или двухцвѣтный обелискъ мороженаго; исторія и миѳологія въ услуженіи обжорству!

Прямо противъ насъ, на улицѣ, стоялъ неподвижно бѣднякъ лѣтъ сорока, съ усталымъ лицомъ и сѣдѣющею бородою, держа за руку мальчика, а на рукахъ—другого ребенка, слишкомъ слабаго, чтобы ходить. Онъ няньчилъ своихъ дѣтей и вывелъ ихъ вечеромъ подышать свѣжимъ воздухомъ. Всѣ въ лохмотьяхъ. Эти три лица были необыкновенно серьезны, и три пары глазъ пристально со-

зерцали новое кафѐ съ одинаковымъ восторгомъ, но съ разными по возрасту оттѣнками.

Глаза отца говорили: какъ хорошо! Какъ хорошо! Точно все золото бѣднаго люда пошло на эти стѣны.— Глаза мальчика: какъ хорошо! Какъ хорошо! но въ этотъ домъ пускаютъ только людей, которые... не такіе какъ мы. — А глаза младшаго ребенка были такъ очарованы, что въ нихъ выражалась лишь радость безсмысленная и глубокая.

Слыхалъ я въ пѣсняхъ, что радость дѣлаетъ душу добрѣе и смягчаетъ сердце. Относительно меня пѣсня въ тотъ вечеръ была права.

Я не только былъ растроганъ глазами этихъ бѣдняковъ, но мнѣ стало какъ будто стыдно, глядя на стаканы и графины—превышавшіе нашу жажду. Я взглянулъ на Ваши очи, чтобъ прочесть въ нихъ мою мысль; я погрузился въ Ваши очи, которыя такъ прекрасны и странно-кротки, въ Ваши зеленыя очи — ихъ обитаетъ прихоть и вдохновляетъ луна... какъ вдругъ Вы мнѣ сказали: невыносимы эти люди съ ихъ вытаращенными глазами. Нельзя ли сказать хозяину, чтобъ онъ ихъ отсюда прогналъ?

Такъ вотъ, какъ трудно понимать другъ друга, о, дорогой мой ангелъ, и какъ невозможно мысленное общеніе даже для любящихъ.

Благодѣянія луны.

Луна—воплощенная прихоть—заглянула въ окно, пока ты спала въ колыбели и молвила: мнѣ нравится это дитя. И мягко опустившись по своей облачной лѣстницѣ, она безшумно проникла сквозь стекло окна. Съ гибкой нѣжностью матери простерлась она надъ тобою и запечатлѣла свой цвѣтъ на твоемъ лицѣ. Вотъ почему твои зрачки кажутся зелеными, а ланиты твои такъ странно блѣдны. Пристально всматриваясь въ ночную гостью, глаза твои удивительно расширились и Луна такъ нѣжно обняла твое горло, что съ тѣхъ поръ тебѣ все хочется плакать.

Между тѣмъ въ порывѣ радости Луна наполняла всю комнату фосфорическою атмосферою, какъ свѣтящимся ядомъ, и все это живое сіяніе думало и говорило: ты вѣчно останешься подъ вліяніемъ моего поцѣлуя. Ты будешь красавицей подобной мнѣ и на мой ладъ, полюбишь то, что я люблю, и то, что меня любитъ: воду, облака, безмолвіе и ночь; безконечное и зеленое море; воду безформенную и разнообразную; мѣсто, гдѣ тебя не будетъ; любовника, котораго ты не узнаешь; чудовищные цвѣты; благоуханія, доводящія до бреда; кошекъ, которыя замираютъ на рояляхъ и стонутъ подобно женщинамъ голосомъ хриплымъ и нѣжнымъ.

И полюбятъ тебя мои любовники, а мои придворные за тобою ухаживать будутъ. И быть тебѣ царицей людей съ зелеными глазами, людей, которыхъ я тоже обнимала по ночамъ, ласково сжимая имъ горло, людей, что любятъ море, море безбрежное, бурливое и зеленое, воду безформенную и разнообразную, страну, гдѣ ихъ нѣтъ, женщину которую они не знаютъ, зловѣщіе цвѣты, похожіе на кадильницы невѣдомыхъ религій, благоуханія, разстраивающія волю, животныхъ дикихъ и сладострастныхъ, служащихъ эмблемою ихъ безумія.

Вотъ почему проклятое и милое балованное дитя, я, лежа у твоихъ ногъ, ищу въ тебѣ отраженіе грознаго Божества, зловѣщей воспріемницы, кормилицы отравляющей всѣхъ лунатиковъ.

Изъ „Цвѣтовъ Зла“.

I.

Врагъ.

Юность моя была лишь мрачною бурею,
Порой озаренною яркимъ солнцемъ;
Громъ и дождь произвели такія опустошенія,
Что въ моемъ саду осталось мало румяныхъ плодовъ.

***

И вотъ уже достигъ я осени мыслей
И приходится брать заступъ и грабли,
Чтобы вновь сравнять затопленную землю,
Гдѣ вода прорыла ямы, обширныя какъ могилы.

***

Кто знаетъ? новые цвѣты, о которыхъ я мечтаю,
Найдутъ ли въ этой почвѣ, размытой подобно морскому берегу,
Мистическую пищу, могущую ихъ подкрѣпить?
О, горе! о, горе! Время пожираетъ жизнь
И темный Врагъ, грызущій наше сердце,
Кровью, которую мы теряемъ, растетъ и крѣпнетъ.

Поэтъ оплакиваетъ торжество времени и потерю силъ.

Напечатано впервые въ Revue des deux mondes 1 іюня 1855; перепечатано во 2-мъ и 3-мъ изд. безъ варіантовъ. (Примѣчаніе кн. А. И. Урусова).

II.

Балконъ.

Воспоминаній мать, любовницъ всѣхъ царица,
О, ты, вся моя радость, о, ты, весь долгъ мой,
Ты вспомнишь прелесть ласкъ
И нѣгу очага, и чары вечеровъ,
Воспоминаній мать, любовницъ всѣхъ царица!
Вечера, озаренные жаромъ угля,
И вечера на балконѣ, съ вуалемъ розовыхъ облаковъ.
Какъ сладостна была мнѣ грудь твоя! Какъ добро ко мнѣ было твое сердце...
Мы часто говорили безсмертныя рѣчи
Въ вечера, озаренные жаромъ угля.
Какъ прекрасно солнце въ теплые вечера,
Какъ глубока даль! Какъ могущественно сердце!
И склонясь надъ тобою, царица обожаемыхъ,

Мнѣ чудилось, что вдыхаю благоуханіе твоей крови.
Какъ прекрасно солнце въ теплые вечера!
Сгущался сумракъ ночи, какъ стѣна.
И глаза мои во мракѣ отгадывали твои зѣницы,
И пилъ я твое дыханье, о, прелесть, о, ядъ!
И ножки твои засыпали въ моихъ братскихъ рукахъ.
Сгущался сумракъ ночи, какъ стѣна.
Я знаю искусство вызывать блаженныя минуты
И переживаю вновь счастливое прошлое, прижавшись
къ твоимъ колѣнамъ.
И гдѣ искать всю прелесть ночи томной,
Какъ не въ твоемъ миломъ тѣлѣ и въ твоемъ нѣжномъ
сердцѣ?
Я знаю искусство вызывать блаженныя минуты.
Тѣ клятвы, тѣ благоуханья, тѣ безконечные поцѣлуи
Возстанутъ ли вновь изъ бездны недоступной нашимъ
измѣреніямъ,
Какъ поднимаются на небо помолодѣвшія солнца,
Омывшись на днѣ морей глубокихъ?
О, клятвы, о, благоуханья, о, безконечные поцѣлуи!

Молодой Урусовъ *).

I.

Изъ всего жизненнаго пути, пройденнаго А. И., я выбираю его первую молодость — полосу нашего ранняго знакомства, вплоть до отъѣзда моего заграницу во второй разъ, въ зиму 66—67 гг.

Тотъ Урусовъ былъ самый жизненный и пріятный; но въ немъ и тогда уже сидѣли всѣ его задатки, всѣ характерныя черты его душевнаго и бытоваго склада, оставшіяся въ немъ до смерти.

Сношенія наши начались перепиской. Въ „Библіотекѣ для Чтенія", (которую я только что тогда, въ 1863 г., пріобрѣлъ), Урусовъ напечаталъ уже, подъ редакціей Писемскаго, свою статью о Маломъ театрѣ, по поводу дебютовъ воспитанницы Позняковой — впослѣдствіи Ѳедотовой — въ моей драмѣ „Ребенокъ", въ Январѣ 1862 г.

Я уже слышалъ въ Москвѣ (кажется отъ Н. Х. Кетчера, приглашеннаго на репетицію „Ребенка"), что псевдонимъ „Александръ Ивановъ" прикрываетъ одного юнаго студента, кн. Урусова. И, сдѣлавшись редакторомъ-изда-

---

*) Приносимъ живѣйшую благодарность П. Д. Боборыкину за то, что, откликнувшись—почти три года тому назадъ—однимъ изъ первыхъ на нашъ призывъ, онъ далъ намъ эту страницу своихъ воспоминаній, а теперь, когда рукопись оказалась, не по нашей винѣ, утраченною, онъ согласился вновь написать ее. (Издатели).

телемъ „Библіотеки“ я, первый, обратился письмомъ къ этому „юному студенту“ и просилъ его о продолженіи сотрудничества въ моемъ журналѣ.

Вскорѣ послѣ того студентъ явился въ Петербургъ, сначала съ своей матушкой, княгиней Екатериной Ивановной, а потомъ, во второй свой пріѣздъ, остановился у меня въ редакціонной квартирѣ и вмѣсто 2-хъ недѣль зажился на весь постъ и всю Святую, до самыхъ каникулъ весенняго семестра. Тутъ вотъ и произошло наше сближеніе, въ воздухѣ молодости, свободы, всѣхъ „откровеній бытія“, какія мы оба воспринимали безъ всякихъ задержекъ съ разницей между нами всего въ семь лѣтъ, хотя по общественному положенію, онъ былъ только студентъ 3-го курса, а я — уже драматургъ, романистъ и руководитель толстаго журнала.

Урусовъ былъ тогда—въ полномъ расцвѣтѣ своей „жизнерадости“. Петербургъ нравился ему чрезвычайно. Онъ ходилъ по нему цѣлыми днями, восхищался по ночамъ „линіями огней“, ухаживалъ въ знакомыхъ домахъ, кое-что работалъ для журнала, сохраняя въ себѣ букетъ типичнаго москвича. Тогда онъ былъ настоящее „барское дитё“, воспитанное гувернерами, съ ранняго возраста очень литературное, обожающее театръ, уже попавшее въ интересные московскіе кружки, съ остроумной и оригинальной оцѣнкой актрисъ, актеровъ, своихъ и чужихъ профессоровъ, разныхъ свѣтскихъ москвичей, красивыхъ женщинъ, товарищей по гимназіи и университету.

По факультету — юристъ, онъ рано приблизилъ себя къ Ѳ. И. Буслаеву, и отъ него узналъ очень многое изъ міра искусства, и древняго и эпохи Возрожденія, чѣмъ заурядные студенты никогда не интересуются.

Живо памятны мнѣ забавныя подробности его „гощенія“ въ редакціи „Библіотеки“. Онъ спалъ на диванѣ въ моемъ кабинетѣ. По средамъ бывали редакціонные пріемы. Онъ вернется наканунѣ очень поздно. Первый звонокъ къ 12 часамъ! Урусовъ грузно вскакиваетъ, и такъ съ одѣя-

ломъ на плечахъ, съ простыней и подушками бѣжитъ черезъ смежную комнату въ мою спальню.

Мы часто хаживали въ театръ и всего сильнѣе увлекались тогдашней нѣмецкой знаменитостью Фредерикой Госсманъ, особенно въ 2-хъ ея роляхъ: Фадетты (изъ передѣланной пьесы Жоржъ-Сандъ) и Гетевской Гретхенъ.

Было въ немъ и тогда еще много мило-дѣтскаго. Часто онъ, возвращаясь домой, приносилъ что-нибудь въ картузикѣ: какой-нибудь сласти—финиковъ, пастилы, орѣховъ, и угощалъ меня и секретаря редакціи, моего товарища, недавно умершаго въ Нижнемъ, Д. А. Вѣнскаго. Съ нимъ они, несмотря на разницу натуръ и настроеній, очень сошлись и на долгіе годы.

Въ тотъ періодъ своей „эволюціи“ А. И. былъ захваченъ всего сильнѣе міромъ изящнаго слова, искусствомъ, литературно-критическими идеями. Тогдашній „нигилизмъ“ коснулся его больше какъ общее свободомысліе, въ протестѣ противъ всего мистическаго, чѣмъ по политическому и соціальному движенію. Радикализмъ и даже „Робеспьерство“—какъ я шутилъ надъ нимъ—явились уже позднѣе, къ окончанію курса, когда я, вернувшись изъ первой своей поѣздки заграницу, очутился лѣтомъ 1866 г. въ Москвѣ и довольно долго гостилъ на дачѣ Урусовыхъ, тотчасъ послѣ того какъ А. И. сдалъ свой выпускной экзаменъ и тогда уже думалъ о карьерѣ адвоката.

II.

Лѣто 1866 г. въ Сокольникахъ — самая яркая и радостная полоса въ моихъ молодыхъ воспоминаніяхъ. И наше пріятельство съ Урусовымъ приняло тогда форму особенно задушевнаго сближенія съ приподнятымъ строемъ идей, вкусовъ, интимныхъ разговоровъ, всего, что поднимаетъ настроеніе и раздвигаетъ болѣе широкія перспективы будущаго.

Мои личныя дѣла были тогда совсѣмъ не радужныя. Я вернулся изъ-заграницы, правда, освѣженный содержа-

тельной жизнью въ Парижѣ за цѣлые полгода, но въ очень тяжелыхъ обстоятельствахъ. На журналъ должно было уйти мое земельное состояніе и грозилъ еще крупный долгъ, съ которымъ я вполнѣ раздѣлался только черезъ 20 лѣтъ личнымъ трудомъ.

Но молодость брала свое. И въ маленькихъ комнатахъ антресоля дачи Урусовыхъ мнѣ жилось такъ, какъ будто у меня не было никакого бремени на плечахъ. Я работалъ, готовилъ статью о Парижѣ по утрамъ, а всѣ остальные часы дня до поздней ночи проводилъ почти неразлучно съ А. И.

Онъ тогда собирался писать свою кандидатскую диссертацію (сначала кажется по римскому праву), но такъ ее и не написалъ, хотя и получилъ какъ-то степень кандидата. Для него то, что онъ тогда переживалъ, было въ полномъ смыслѣ „праздникъ жизни“: ученье — позади, а впереди широкій путь, гдѣ его даровитая и отзывчивая натура должна была доставить видное мѣсто на жизненномъ пиру.

Въ немъ и тогда сохранилось еще множество самыхъ юныхъ, почти дѣтскихъ чертъ, при необыкновенномъ развитіи головы и уже порядочномъ знаніи людей и условій жизни. Кутить было еще не на что. Отъ матери онъ получалъ весьма скудныя карманныя деньги, одѣвался франтовато, но больше кое на что, не могъ ни покупать много книгъ, ни позволить себѣ какіе-нибудь особенные расходы; и не унывалъ: всегда веселый, сыплющій остротами, вбирающій въ себя все, что могло питать его воспріимчивость, умъ, вкусъ, любопытство, разнообразную любознательность. А кругомъ его шла дворянско-бытовая жизнь, гдѣ онъ катался какъ сыръ въ маслѣ, запоемъ ухаживалъ за дѣвицами, ходилъ къ свѣтскимъ дамамъ, тоже не безъ влюбленности, любилъ дурачиться, вплоть до продѣлыванья всякихъ дѣтскихъ забавъ, вродѣ разбиванія старыхъ цвѣточныхъ горшковъ, стрѣляя въ нихъ камешками въ саду ихъ дачи.

Мы много жили вдвоемъ на воздухѣ; часто съ утра уходили въ лѣсъ, „любить природу“ и тамъ, гдѣ-нибудь около просѣки, ложились въ траву и часами читали вслухъ Курсъ Положительной Философіи.

Изъ Парижа я вернулся уже совсѣмъ готовымъ позитивистомъ. Оттуда я часто писалъ Урусову о моихъ чтеніяхъ и знакомствахъ въ мірѣ позитивизма. И къ возвращенію моему въ Москву онъ былъ уже очень пылкій неофитъ положительнаго міропониманія и собирался переводить чуть не всѣ 6 томовъ Курса, нашелъ и какого-то богатенькаго барина, на котораго разсчитывалъ, какъ на издателя.

Религіозныхъ сомнѣній и колебаній въ тогдашнемъ Урусовѣ не замѣчалъ я никакихъ. Онъ гораздо раньше освободилъ уже себя отъ всякаго мистицизма и принадлежности къ какому-нибудь исповѣданію. И въ то лѣто позитивизмъ его былъ въ самомъ разгарѣ; а политическія идеи пріобрѣли окраску гораздо болѣе радикальную. Но все-таки онъ не выказывалъ никакой особенной склонности къ революціонной пропагандѣ, къ тому, чтобы „идти въ народъ“, какъ тогда говорили, не увлекался вовсе тогдашними властителями думъ молодежи, Чернышевскимъ или Писаревымъ. Не помню, чтобы и Добролюбовымъ онъ зачитывался. Все это было для него уже позади.

Увлеченіе системой Ог. Конта нисколько не мѣшало ему оставаться большимъ любителемъ литературы, театра, художественной критики, съ разными видами диллетантства—до писанья русскихъ и французскихъ мадригаловъ и эпиграммъ. Но чѣмъ нибудь опредѣленнымъ, статьей, собираніемъ матеріаловъ онъ тогда совсѣмъ не занимался. Тему диссертаціи мѣнялъ до трехъ разъ и что-то такое записывалъ въ книжку, но эта работа такъ и осталась въ области сладкихъ мечтаній.

А лѣто прошло и надо было перебираться въ городъ.

III.

Въ Москвѣ, за цѣлыхъ 4 послѣднихъ мѣсяца 1866 г. (до вторичнаго моего отъѣзда заграницу, къ новому 1867 г.)— мы видались съ А. И. очень часто. Гостепріимный домъ княгини Екатерины Ивановны (квартировали Урусовы въ Стар. Конюш.) всегда былъ полонъ молодежи обоего пола. Будущая адвокатская знаменитость занимала 2 скромныхъ комнатки, куда надо было проникать черезъ что-то вродѣ дѣвичьей. При немъ состояла и старая дворовая Фима, нѣчто вродѣ общей няньки и наперстницы, курьезная особа, имѣвшая склонность къ возліяніямъ Бахусу. А. И. былъ неистощимъ въ шутливыхъ разговорахъ съ нею.

На этой чисто-студенческой половинѣ, куда часто захаживали его товарищи, постоянно раздавался смѣхъ, велись горячіе споры, и гудѣла веселая болтовня. Амфитріонъ этихъ дѣтскихъ комнатъ, уже готовившій себя въ служители Ѳемиды, вскорѣ поступилъ въ кандидаты на судебныя должности, и еще при мнѣ получилъ первую свою защиту по назначенію Суда, на которой я присутствовалъ.

Преступленіе было не изъ громкихъ. Какой-то крестьянинъ или мастеровой совершилъ попытку что-то такое стащить въ церкви. Это звучало зловѣщимъ словомъ „святотатство“, но было въ сущности довольно безобидно. И прокуроръ, подъ стать дѣлу, оказался весьма тусклымъ и нуднымъ. Помню, онъ все повторялъ слово „побёгъ“ вмѣсто „побѣжалъ“. Защитникъ проговорилъ свою первую рѣчь бойко и красиво, въ тонѣ своихъ бесѣдъ, безъ излишняго пафоса, съ тѣмъ оттѣнкомъ академичности, который и впослѣдствіи замѣчался въ его рѣчахъ.

Его ждалъ уже быстрый тріумфъ, послѣ моего отъѣзда изъ Москвы: дѣло крест. Мавры Волоховой. Я оставилъ А. И. все еще кандидатомъ на судебныя должности „подающимъ надежды“. Но я ни мало не сомнѣвался,

что онъ далеко пойдетъ на этомъ поприщѣ — и это меня не особенно радовало. Съ тѣмъ Урусовымъ, кто такъ отдавался другимъ „откровеніямъ бытія“ — литературѣ, искусству, мышленію, приходилось разставаться. А вѣдь, не откройся тогда новый гласный Судъ, и А. И. не могъ-бы сдѣлать себѣ блестящей адвокатской карьеры, и изъ него, конечно, вышелъ бы писатель по преимуществу, даже если-бы онъ поступилъ на какую-нибудь легкую службу, дающую много досуговъ.

Тотъ Урусовъ, который мечталъ объ изданіи Курса Положительной Философіи, задумывалъ этюды по критикѣ, считалъ себя, и совершенно законно, призваннымъ къ литературному дѣлу,—уже отходилъ на задній планъ, хотя и оставался въ жизни еще прежнимъ милымъ студентомъ, гостившимъ когда-то въ редакціи „Библіотеки для Чтенія“. И всѣ его инстинкты были на лицо. Если бы средства позволяли, онъ велъ бы и блестящую свѣтскую жизнь съ его склонностью ко всякимъ видамъ внѣшняго изящества и комфорта.

Но въ немъ всетаки на всю его жизнь должна была сохраниться связь съ высшей интеллигенціей, съ университетской наукой, съ міромъ изящнаго творчества, со всѣми завоеваніями западной культуры и общественной жизни. Онъ былъ и раньше чистѣйшій западникъ, и я не помню, чтобъ въ немъ когда-либо и впослѣдствіи всплывали какія-нибудь славянофильскія или руссофильскія настроенія.

И вотъ этотъ молодой Урусовъ — еще до его адвокатской славы — послужилъ мнѣ нѣкоторымъ образомъ моделью, героемъ того романа „Въ чужомъ полѣ“, который я какъ разъ въ это житье въ Москвѣ, съ сентября по декабрь, написалъ тутъ же, въ Кокоревскомъ подворьѣ, гдѣ жилъ сначала по переселеніи изъ Сокольниковъ. Съ этой вещью А. И. знакомъ былъ только по нашимъ разговорамъ, но прочелъ ее въ печати, когда я былъ уже въ Парижѣ. Я взялъ такого жизнерадостнаго и влюбленнаго

въ Парижъ русскаго и провелъ его черезъ испытанія, созданныя уже цѣликомъ моимъ воображеніемъ. Думаю, что психика Боровскаго (фамилія героя) — въ однихъ тонахъ съ тогдашней жаждой жизни А. И. Быть можетъ онъ, когда читалъ романъ, и не былъ доволенъ всѣмъ въ характеристикѣ и похожденіяхъ моего героя; но наше пріятельство отъ этого не пострадало, что и доказывается нашей дальнѣйшей перепиской, съ января 67 г. въ теченіи нѣсколькихъ лѣтъ, до возвращенія моего изъ-заграницы въ январѣ 71 г. Но въ эту переписку не попало много крупныхъ событій его жизни. Были длинные пробѣлы,— не съ моей стороны — вызванные вѣроятно захватами его пестрой и довольно бурной жизни, за этотъ періодъ, когда ему было не до писанія большихъ писемъ.

IV.

Четыре года прошли для насъ съ Урусовымъ, для каждаго по своему: для меня—въ неустанномъ трудѣ писателя (и беллетриста и публициста), въ знакомствѣ со всѣми сторонами западной жизни на континентѣ и въ Англіи. И вернулся я все тѣмъ-же литературнымъ работникомъ, безъ прочнаго положенія, безъ всякихъ гарантій привольнаго и обезпеченнаго житья и съ большимъ еще долгомъ. Для Урусова это была кажется самая бурная полоса его карьеры и интимныхъ переживаній. На нея пришлись: и быстрая громкая слава—послѣ дѣла Волоховой—и приливъ крупныхъ заработковъ, и успѣхи у женщинъ, и первыя любовныя связи, и дуэль. Всѣ эти перипетіи мало вошли въ письма Урусова ко мнѣ, что не мѣшало мнѣ самому писать ему — особенно въ первую половину этого періода—часто и по многу.

Мои письма А. И. сохранялъ. Ихъ осталось болѣе ста съ чѣмъ-то. Перечитывая нѣкоторыя изъ нихъ теперь, я переживалъ опять тѣ минуты моей заграничной жизни, въ которой проявлялась моя постоянная жажда въ общеніи съ молодымъ пріятелемъ и огорченіе тѣмъ, что отъ

него я не получалъ въ обмѣнъ многаго, чего ждалъ всегда такъ нетерпѣливо. Адвокатскіе его успѣхи мало входили въ нашу переписку. Для меня Урусовъ не переставалъ быть прежде всего литературнымъ человѣкомъ, развитымъ и чуткимъ цѣнителемъ, съ обостреннымъ пониманіемъ всего, что тогда входило въ кругъ моихъ интересовъ, всего, что я переживалъ въ моихъ тогдашнихъ странствіяхъ наблюдателя западной культуры, но съ довольно горькимъ чувствомъ душевнаго одиночества.

И все самое крупное, что переживалось мною, я сообщалъ Урусову, вплоть почти до послѣднихъ мѣсяцевъ моихъ заграничныхъ переѣздовъ. Къ этой полосѣ принадлежитъ и мое письмо о смерти А. И. Герцена, передъ моимъ отъѣздомъ изъ Парижа въ Вѣну въ началѣ заграничнаго января 1870 г.

Писемъ Урусова о двухъ событіяхъ его московской жизни, дуэли и позднѣе ссылки, я въ настоящую минуту что-то не помню. Изъ ссылки т. е. изъ Вендена и потомъ изъ Риги, врядъ-ли онъ часто писалъ мнѣ; но это случилось уже послѣ того, какъ мы встрѣтились въ Петербургѣ, по возвращенію моемъ въ Россію.

И вотъ тогда Урусовъ предсталъ передо мною уже въ другомъ образѣ: — знаменитымъ адвокатомъ, возмужалымъ, сильно пополнѣвшимъ, очень франтоватымъ, съ новымъ тономъ разговора, съ замѣтнымъ оттѣнкомъ того, что даетъ большой успѣхъ во всѣхъ смыслахъ.

Мы встрѣтились пріятелями, но это уже было далеко не то петербургское и московское „содружество“ писателя съ юношей-студентомъ и съ кончившимъ курсъ кандидидатомъ на судебныя должности. Я видѣлъ, что его уже трудно повернуть къ дѣятельному участію въ литературномъ движеніи. Отъ мечты издавать Конта не осталось ничего. И ни на одинъ изъ тѣхъ проектовъ созданія журнала или газеты, о которыхъ я усиленно писалъ ему изъ-за границы, онъ не имѣлъ уже охоты отозваться ни тогда, ни теперь, когда его матеріальное положеніе, множество связей въ обще-

ствѣ, особенно въ Москвѣ, сдѣлали-бы изъ него виднаго участника литературно-политическаго органа, о какомъ я такъ долго мечталъ изъ Парижа и разныхъ другихъ мѣстъ моихъ переѣздовъ.

А вскорѣ стряслась надъ нимъ бѣда — ссылка по ничтожному въ сущности поводу. Но его политическая „платформа“ была всетаки гораздо краснѣе, чѣмъ впослѣдствіи, послѣ того какъ онъ, чтобъ освободиться отъ ссылки, пошелъ въ прокуроры, откуда его не сразу пустили въ адвокаты.

Изъ ссылки я не помню большихъ писемъ ко мнѣ. Въ эти годы я самъ переживалъ нелегкія испытанія, сильно заболѣлъ и принужденъ былъ опять долго скитаться по Европѣ, ища здоровья и продолжая въ тѣхъ же тяжкихъ условіяхъ работать по прежнему.

И что-же! Вѣдь ни что иное, какъ ссылка вернула опять А. И. къ литературѣ, къ театру, даже къ наукѣ. Она помогла ему снова найти въ себѣ того отзывчиваго разносторонняго „интеллигента“, который уже до смерти, не покидая адвокатскаго заработка, оставался чуткимъ цѣнителемъ и даже энтузіастомъ, во всѣхъ своихъ поклоненіяхъ таланту, творчеству, новизнѣ и смѣлости—всему, въ чемъ живетъ поэзія и красота.

П. Боборыкинъ.

Декабрь 1906. Москва.

Князь А. И. Урусовъ.

(Къ характеристикѣ литератора и человѣка) *).

Талантливый ораторъ,—адвокатъ, сперва блестяще проявившій себя въ Москвѣ въ 1867 году, а затѣмъ прогремѣвшій на всю Россію, кн. Урусовъ принадлежалъ къ передовымъ выдающимся людямъ своего поколѣнія. Основными свойствами своей натуры и личной судьбой своей онъ представляетъ характерное явленіе нашего общества за истекшіе полвѣка. Если время его біографіи еще не наступило, то на тѣхъ, кто близко стоялъ къ его жизни и дѣятельности, лежитъ теперь обязанность закрѣпить въ сознаніи общества память объ этомъ замѣчательномъ человѣкѣ и тѣмъ сохранить его для исторіи. Друзья и сотрудники, взявшіе на себя эту обязанность, встрѣтились при выполненіи ея съ серьезными препятствіями. Прежде всего въ самомъ матеріалѣ, рукописномъ и печатномъ, который кн. Урусовъ оставилъ послѣ себя, они не нашли тѣхъ проявленій, которыя дали бы полную мѣру его личности и объяснили бы значеніе его талантливой, всесторонне развитой и обаятельной натуры. До нѣкоторой степени это значеніе и обаятельность характеризуются тѣми воспоминаніями, которыя написали о немъ свидѣтели его жизни. Но къ сожалѣнію, воспоминанія эти не такъ многочис-

---

*) По личнымъ воспоминаніямъ и по бумагамъ Кн. А. И. Урусова, даннымъ въ распоряженіе издателей семьею покойнаго. Читано въ первонач. редакціи въ засѣд. О-ства Любителей Россійской Словесности 9 марта 1903 г. и значительно дополнено для настоящаго изданія. А. А.

ленны, какъ бы того можно было ожидать. Наконецъ, наиболѣе важный біографическій матеріалъ оказался недоступенъ въ настоящее время: по распоряженію кн. Урусова его записки и дневники, даже ранней поры дѣтства и юношества, могутъ быть оглашены не ранѣе установленнаго имъ срока.

Такъ какъ значеніе его личности не исчерпывается тѣми его статьями, которыя предлагаются теперь на судъ публики, то мнѣ хочется, оставивъ въ сторонѣ профессіональную дѣятельность кн. Урусова, напомнить о немъ, какъ о человѣкѣ и литераторѣ широкаго европейскаго образованія. Вкладъ кн. Урусова въ литературу, особенно въ сравненіи съ страстной его любовью къ ней, невеликъ. А между тѣмъ литература въ широкомъ смыслѣ слова была его настоящимъ призваніемъ; но только та область, гдѣ проявлялось это призваніе, была не печать, а устное живое слово. Въ этой области онъ былъ большимъ мастеромъ, дѣйствительно художникомъ „милостью Божіей".

Краснорѣчіе было прирожденнымъ ему дарованіемъ: это былъ талантъ, который всякій фактъ его поразившій, всякую мысль свою и чужую умѣлъ одѣть словомъ живымъ, мѣткимъ и яркимъ. Оттого рѣчь его, даже безпритязательная, разговорная, была художественнымъ произведеніемъ изящной словесности; перенесенная на бумагу, она много теряла своей яркости и силы; потому сохранить ее для будущаго невозможно. Всѣ, кто слыхалъ судебныя рѣчи кн. Урусова знаютъ, что въ печати онѣ совсѣмъ не то, чѣмъ были въ дѣйствительности. Возстановить ихъ можно только приблизительно. Но и сохраненная даже стенографіей рѣчь его не можетъ производить того впечатлѣнія, которое оставалось отъ нея у слушателей: такое необходимо существуетъ различіе между слогомъ рѣчи устной и рѣчи писанной. Художникъ живого слова, кн. Урусовъ обладалъ и тѣми дарованіями, которыя даютъ краснорѣчію особенную силу: острый умъ, память, находчивость, воображеніе, широта и разносторонность образованія, по-

движность и отзывчивость природы, живой и пылкій темпераментъ, при внѣшнихъ средствахъ: богатствѣ, гибкости голоса и привлекательности наружности—все придавало его слову и внѣшній блескъ и силу внутренняго содержанія. Прирожденность этого дарованія сказывалась не только потребностью отзываться словами на всякое внѣшнее впечатлѣніе, но и способностью быстро находить для этого впечатлѣнія, для своей мысли или своего чувства, наиболѣе вѣрную и мѣткую форму. Это соотвѣтствіе формы и содержанія, лучшій признакъ художественности, производило то, что краснорѣчіе кн. Урусова рѣдко поражало съ перваго слова: въ немъ не было ни оригинальничанія, которое бросается въ глаза, ни фразистости общихъ мѣстъ. Все, что онъ говорилъ носило печать непосредственнаго, природнаго вкуса и изящной простоты; оттого самый обыденный разсказъ о самомъ прозаическомъ случаѣ, когда разсказчикъ давалъ волю своей „болтливости", какъ онъ это называлъ, оставлялъ впечатлѣніе вполнѣ литературное. Обрисовать человѣка, подъ свѣжимъ впечатлѣніемъ встрѣчи съ нимъ, нѣсколькими штрихами, указывая тѣ черты внѣшности, въ которыхъ сказывается и внутренняя физіономія и свойства его быта и профессіи, дать почувствовать самыми простыми, будничными словами драматичность событія, было тѣмъ неподражаемымъ и непередаваемымъ мастерствомъ кн. Урусова, которое дѣлало его разговоръ, независимо даже отъ разнообразнаго содержанія, рѣдкимъ литературнымъ наслажденіемъ. И наслажденіе слушателей было тѣмъ сильнѣе, чѣмъ больше Александръ Ивановичъ былъ поглощенъ своимъ сюжетомъ и чѣмъ больше отдавался своему непосредственному настроенію, увѣренный въ сочувствіи своихъ слушателей. И наоборотъ, совсѣмъ иное, менѣе литературное впечатлѣніе давали тѣ разсказы, гдѣ разсказчику приходилось считаться со своей аудиторіею и заботиться о производимомъ имъ эффектѣ. Кромѣ этой безыскусственности въ красотѣ рѣчи, которая, однако, не мѣшала ей быть заранѣе обдуманной и прочувствован-

ной, прирожденность этого дарованія проявлялась и въ отсутствіи повтореній. Насколько мнѣ извѣстно, у кн. Урусова не существовало, какъ у многихъ говоруновъ— литераторовъ, тѣхъ готовыхъ разсказовъ, затверженныхъ разъ навсегда со всѣми эффектными оборотами и словечками, разсказовъ крайне интересныхъ, когда ихъ слышишь въ первый разъ и не менѣе досадливыхъ, когда они постоянно возвращаются въ своихъ неподвижныхъ формахъ. Такой неподвижности не знала, всегда готовая къ экспромтамъ, остроумная, до послѣдняго времени экспансивная природа Александра Ивановича. Наоборотъ, онъ склоненъ былъ впадать въ другую крайность, освѣщая одно и тоже, разсказанное имъ, событіе по разному, сообразно измѣнявшимся настроеніямъ: часто забавное вчера казалось ему глупымъ сегодня, а интересное сегодня было нелѣпо-скучнымъ вчера...

Кромѣ дара устнаго изложенія кн. Урусовъ имѣетъ и другія права на званіе литератора. Его часто называли диллетантомъ, т. е. любителемъ въ томъ обидномъ значеніи этого слова, которое указываетъ на внѣшнее поверхностное отношеніе къ задачамъ литературы. Признаки и такого любительства были у кн. Урусова. Онъ любилъ такъ называемое легкое чтеніе, зналъ новинки беллетристики, собиралъ большую библіотеку, былъ охотникъ до старыхъ и рѣдкихъ изданій, водилъ знакомство съ литераторами, дорожилъ ихъ обществомъ и расположеніемъ, не чуждался кружковыхъ симпатій и антипатій и т. п. Но не въ меньшей степени была ему присуща и настоящая любовь къ изящному слову; а эта любовь, вѣрнѣе культъ литературы, давала ему не только забавы и радости, но и серьезный трудъ. Кн. Урусовъ любилъ писать и всегда писалъ очень много. Это было у него потребностью почти физіологическою. Отъ природы живой и воспріимчивый, онъ обладалъ острою впечатлительностью, иногда вслѣдствіе нервно-мозгового страданія, повышенною до крайности. Отсюда быть можетъ и та потребность у него от-

зываться на всякое ощущеніе устнымъ словомъ—онъ былъ на рѣдкость сообщителенъ и словоохотливъ. Отсюда же и потребность удерживать и сохранять свои впечатлѣнія, одѣвая ихъ словами и закрѣпляя на бумагѣ. Съ самаго ранняго дѣтства онъ велъ дневникъ и записки, пространно описывая (большею частью по французски) событія своей внѣшней и внутренней жизни. Позже онъ только записывалъ и отмѣчалъ изо дня въ въ день всѣ свои впечатлѣнія. Чего-чего не заносилъ онъ въ записную книжечку, которая не переводилась у него въ теченіе 43-хъ лѣтъ; и мимолетныя впечатлѣнія, и денежныя траты, и душевныя волненія, и анекдоты, и свои наблюденія надъ жизнью, и характерныя мелочи житейскихъ отношеній, и тѣ словечки, большею частью стилистическія нелѣпицы и безвкусицы, тѣ несообразности въ слогѣ, выискивать которыя въ устной и писанной рѣчи доставляло ему такое удовольствіе. Говорятъ, что дневники ведутъ только люди необщительные и одинокіе, очень чувствительные, которые не находятъ иного примѣненія своей чувствительности, т. е. не имѣютъ ни людей близкихъ, съ кѣмъ бы могли дѣлиться впечатлѣніями, ни внѣшней дѣятельности, которая притупляла бы ихъ впечатлительность. Въ дѣятельной, общительной, экспансивной природѣ кн. Урусова такихъ причинъ къ писанію дневника не существовало. А между тѣмъ мнѣ извѣстно, что въ самый разгаръ блестящей своей и шумной дѣятельности, 24—25 лѣтъ, когда прогремѣла уже по всей Россіи слава его краснорѣчія, когда онъ зарабатывая бѣшеныя деньги, пользовался баснословными успѣхами въ обществѣ, и молодость била черезъ край—онъ велъ дневникъ и пространно описывалъ самыя интимныя свои ощущенія; тутъ не одиночество, не чувствительность созерцательной натуры, тутъ нѣчто иное заставляетъ этого баловня счастья взяться за перо и углубиться въ міръ тѣхъ чувствъ, которыя находятъ естественный и вполнѣ, казалось бы достаточный исходъ во внѣшней его жизни. Кн. Урусовъ любилъ жизнь во всей ея пестротѣ и слож-

ности и какъ никто любилъ пользоваться ею, быть ея дѣятельнымъ участникомъ во всемъ, начиная отъ лучшихъ передовыхъ проявленій общественности, и кончая самыми пустыми, вздорными ея мелочами. Но пользуясь всѣмъ существомъ своимъ благами жизни и безъ удержу отдаваясь своимъ увлеченіямъ, онъ постоянно наблюдаетъ и анализируетъ себя, свою жизнь и постоянно записываетъ свои наблюденія. Въ этихъ записяхъ сохраняется то произведеніе искусства, какимъ художническая натура кн. Урусова сдѣлала его жизнь. А вмѣстѣ съ тѣмъ въ нихъ и матеріалъ для того шедевра, который создать могъ бы только кн. Урусовъ—могъ бы, если бы владѣлъ въ литературѣ творческимъ даромъ. Выше этого дара онъ ничего не признавалъ въ жизни, но самъ обладалъ имъ не въ той степени, чтобы быть творцомъ самобытныхъ созданій, а только въ мѣрѣ достаточной для того, чтобы чувствовать присутствіе этого дара у другихъ и уважать его до благоговѣнія. Когда онъ сталъ описывать свою жизнь, незадолго до смерти, у него не хватило ни охоты, ни силъ возвращаться мыслью назадъ и работать надъ накопленнымъ матеріаломъ; записки его оборвались на первыхъ же страницахъ, а потомъ онъ началъ съ средины, съ административной высылки въ Венденъ, которая составляетъ переломъ въ его жизни, но и тутъ не повелъ разсказа дальше самыхъ признаковъ надвигавшейся грозы. Впрочемъ, если бы у больного при смерти разсказчика и хватило силы, я сомнѣваюсь, чтобы онъ могъ много не писать о себѣ. Онъ не любилъ подолгу заниматься „раскопками въ своей жизни“, какъ онъ называлъ заглядыванье въ свои старыя бумаги, сувениры и трофеи. Онъ слишкомъ живо чувствовалъ настоящее, чтобы отдаваться прошлому, слишкомъ цѣнилъ все новое, живое, что получалъ извнѣ, чтобы надолго уходить въ себя и въ свои воспоминанія. Отъ этого онъ и не собралъ и не переиздалъ многихъ статей своихъ, о которыхъ вспоминалъ не безъ удовольствія и которыя удовлетворяли его требовательный вкусъ. А требователенъ онъ былъ къ себѣ

не менѣе, чѣмъ къ другимъ, и въ этомъ тоже отчасти причина малочисленности его литературныхъ работъ. Пробовалъ онъ себя на многомъ, но мало чѣмъ оставался доволенъ: въ бумагахъ его попадаются и беллетристическіе опыты, наброски и планы повѣстей, которыя онъ обдумывалъ и начиналъ писать. Но, очевидно, онъ скоро сознавалъ безсиліе, найти ту форму для своей наблюдательности, которая стояла бы на высотѣ его художественнаго вкуса. Поневолѣ приходилось довольствоваться красотою чужихъ твореній и ея изученіемъ.

Но и въ этомъ изученіи, въ критикѣ и изслѣдованіи чужого творчества, онъ былъ бы плодовитѣе, еслибы меньше пользовался даромъ устнаго слова. Большая часть его критическихъ работъ осталась ненаписанной: принципы его литературныхъ сужденій постоянно имъ излагались въ разговорахъ о текущей литературѣ; а нѣкоторыя историко-литературныя изслѣдованія тщательно разрабатывались (напр., лекція о Маріи Стюартъ по поводу бенефиса Ермоловой) и говорились по конспекту, который сохранился въ его бумагахъ, но не даетъ понятія о самой работѣ. Такимъ же образомъ сохранились или, вѣрнѣе, исчезли тѣ доклады, которые кн. Урусовъ дѣлалъ въ разныхъ литературныхъ кружкахъ, особенно въ Петербургѣ. Если бы онъ на бумагѣ изложилъ все то, что имъ было съ такимъ мастерствомъ говорено на вечерахъ Шекспировскаго Кружка и Драматическаго Общества, гдѣ онъ принималъ участіе, какъ опытный спорщикъ—то навѣрное составилась бы интересная книга съ ясно проведенною идеею и остроумно подобранными доводами въ защиту чистаго искусства. Но книга эта не написалась; не написалось и большое изслѣдованіе о Флоберѣ, матеріалы для котораго онъ копилъ много лѣтъ; не написалась и работа о Боделэрѣ, небольшая часть которой (глава о критикѣ текста Fleurs du Mal), напечатана имъ была въ изданіи Le tombeau de Baudelaire. Не написалось все это потому, что живое устное слово было его настоящимъ призваніемъ. Мнѣ до-

велось слышать его сообщеніе о жизни и произведеніяхъ Боделэра; разсказъ длился около 2-хъ часовъ, и разсказчикъ не только излагалъ факты, но и придавалъ имъ свое освѣщеніе; освѣщеніе это намъ казалось спорнымъ и, какъ всякій спорный вопросъ, слушая который мысленно возражаешь,— вызывало усиленное вниманіе; тѣмъ не менѣе сообщеніе это никого не утомило, такъ просто, легко, какъ бы шутя и забавляясь, велъ его Урусовъ. А между тѣмъ этому сообщенію предшествовало далеко не шуточное, тщательное, продолжительное изученіе предмета, а самъ разсказчикъ былъ взволнованъ тѣмъ, что ему предстояло покорить слушателей, переубѣдить ихъ, насилуя ихъ вкусы и сложившіяся понятія. Переубѣждать не слушателя, а читателя, оказывая своею аргументаціею давленіе на его мысль, совсѣмъ иной трудъ и требуетъ отъ литератора совсѣмъ иныхъ данныхъ, чѣмъ отъ оратора. Но и эти данныя имѣлись у кн. Урусова и труда онъ не боялся. На упорную подготовительную работу для устныхъ его сообщеній, указываютъ тѣ записки, выписки и замѣтки, которыя онъ во множествѣ вносилъ въ свои конспекты; эта работа производилась съ несомнѣнною любовью къ дѣлу и только изъ-за любви къ нему. Писанныя статьи его, журнальныя и газетныя, подготовлялись не менѣе тщательно. Фельетоны газеты „Порядокъ“ стоили автору не мало труда; это видно по тому количеству черновиковъ, которые сохранились, напр., для 1-го фельетона *). Вообще всѣ черновики и наброски, оставшіеся въ бумагахъ кн. Урусова, говорятъ и о добросовѣстномъ трудѣ, и объ уваженіи его къ печати, и о той нетерпимости ко всякой неряшливости въ обращеніи со словомъ, которыя доводились имъ до смѣшного. Все это служило выраженіемъ его культа литераратуры; тому же культу служили и большія познанія его въ русской и иностранной литературѣ и его знаніе языковъ: французскимъ и нѣмецкимъ кн. Урусовъ владѣлъ

*) См. т. I, стр. 229.

настолько, что свободно писалъ на обоихъ для печати: въ послѣдніе годы онъ сотрудничалъ въ La Plume, а раньше, въ 80-хъ годахъ, въ различныхъ французскихъ изданіяхъ; по нѣмецки же, кромѣ фельетоновъ въ Петерб. Herold'ѣ, онъ писалъ еще въ разныхъ нѣмецкихъ изданіяхъ, когда жилъ въ ссылкѣ въ Остзейскомъ краѣ. Исторіей русской литературы кн. Урусовъ интересовался съ гимназіи: интересъ этотъ какъ ему, такъ и другимъ товарищамъ привитъ былъ учителемъ русскаго языка, горячимъ послѣдователемъ и ученикомъ Буслаева; а позднѣе, въ университетѣ, и самимъ Буслаевымъ, который очень любилъ вспоминать объ Урусовѣ, какъ о студентѣ-юристѣ, приходившемъ слушать его лекціи въ университетъ и заниматься у него на дому.

Если и природное и культивированное профессіею краснорѣчіе отвлекало кн. Урусова отъ письменныхъ занятій литературою, и онъ чаще прибѣгалъ къ устному слову, чѣмъ къ печати, то тѣмъ самымъ онъ значительно съузилъ сферу своей литературной дѣятельности, и сферу вліянія для тѣхъ взглядовъ, которыхъ онъ былъ горячимъ защитникомъ. А кромѣ того вліянію этихъ взглядовъ мѣшало еще и свойство его критическаго метода. Методъ его былъ исключительно эстетическимъ анализомъ и филологическою работою надъ текстомъ. Кн. Урусовъ не любилъ „объяснять“ писателя: онъ умѣлъ разсказать характерно и живописно біографію и заразить слушателей или своимъ увлеченіемъ, подтверждая свои восторги цитатами, дѣйствовавшими въ его чтеніи неотразимо, или своимъ презрѣніемъ, если писатель не удовлетворялъ его. Съ такою эстетическою оцѣнкою неразрывно связанъ и нѣкоторый фетишизмъ, способность къ фанатическому поклоненію одному писателю, какъ непогрѣшимому авторитету. Такой фетишизмъ былъ очень характерною чертою кн. Урусова, потому что вытекалъ изъ его темперамента и изъ крайне субъективнаго отношенія его къ литературѣ. Литература для этого диллетанта не была внѣшнею роскошью, развлеченіемъ или отдыхомъ отъ труда. Нѣтъ, это было нѣчто глубоко-интим-

ное, сросшееся съ его внутреннимъ міромъ. Въ любимомъ авторѣ онъ какъ будто любилъ часть собственной души, какъ будто находилъ въ немъ выраженіе для того неотливавшагося въ художественную форму запаса чувствъ и мысли, который накапливался въ немъ сложной разнообразной жизнью его, знакомой со всякими страданіями и всякими радостями. Объективность, безпристрастіе были совершенно чужды его природѣ: до старости, имѣя огромный жизненный опытъ и ту ясность и трезвость ума, которая позволяла ему всѣ свои увлеченія видѣть въ настоящемъ свѣтѣ, кн. Урусовъ, тѣмъ не менѣе, всегда поддавался своимъ увлеченіямъ и потому всѣмъ оцѣнкамъ писателей и творчества ихъ придавалъ оттѣнокъ субъективный. Этотъ элементъ личнаго чувства симпатіи или антипатіи при тонкости и вѣрности его вкуса, дѣлалъ его очень проницательнымъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ и крайне произвольнымъ въ сужденіяхъ. Оттого въ немъ иногда совмѣщались странныя и противорѣчивыя симпатіи, которыя нельзя объяснить ничѣмъ инымъ, какъ только субъективностью ихъ происхожденія. Такъ, напр., я очень долго не подозрѣвала о сочувствіи кн. Урусова къ Ибсену. Всѣмъ извѣстно было его преклоненіе передъ Флоберомъ; девизъ Lisez Flaubert былъ напечатанъ на одномъ изъ его портретовъ и вызывалъ у него насмѣшливую надъ собой цитату изъ одной газеты, гдѣ осмѣивался присяжный повѣренный, рекомендующій французскаго романиста,—какое, молъ, адвокату дѣло до Флобера! Мнѣ казалось несовмѣстимымъ любить Флобера — этого объективнаго романтика, съ тщательностью ювелира оттачивающаго каждую деталь фразы въ заботахъ о внѣшней красотѣ повѣствованія,—и въ то же время цѣнить тенденціозность, обличительность, разсудочность Ибсена въ драмѣ, гдѣ вся красота въ сжатости, суровости идейнаго построенія. Когда я узнала, что Урусова считаютъ однимъ изъ первыхъ у насъ по времени ибсенистовъ, я готова была повѣрить, что это пристрастіе было у него дѣломъ моды: Ибсенъ, говорили мнѣ, былъ вновѣ у насъ, загадо-

ченъ, непонятенъ, его хвалили только немногіе, Урусовъ слѣдовалъ новѣйшимъ вкусамъ, желая принадлежать къ меньшинству, создающему эти вкусы. Это неправда. Позже, разговорившись съ нимъ какъ то о „Привидѣніяхъ“ Ибсена, я была поражена тѣмъ волненіемъ, въ которое его приводила эта трагедія наслѣдственности, и ея отрицаніе установленныхъ формъ нравственности. Мода, поверхностный интересъ къ новымъ теченіямъ литературы такъ не проявляются: его видимо волновало отраженіе въ пьесѣ его личныхъ страданій — не физическихъ только; трагически перечувствованное, пережитое вкладывалось моимъ собесѣдникомъ въ драму, которая для меня представляла интересъ только теоретическій. Да и не одни „Привидѣнія“: драма счастливца Сольнеса была имъ при первомъ же чтеніи прочувствована во всей ея мрачной сущности, разгадана съ проницательностью, недоступною модникамъ. Александръ Ивановичъ никогда не признавался въ этомъ личномъ интересѣ къ писателю. Только одинъ разъ я, не понимая его увлеченія „Чайкою“ Чехова, пристала съ разспросами: почему именно нравится ему эта вещь? отчего? что онъ въ ней находитъ?—Онъ высказалъ, не помню какими словами и полусловами, что эта пьеса почти до физической боли волнуетъ и радуетъ его вѣрностью наблюденія: онъ зналъ ту среду, которую тамъ рисуетъ Чеховъ и видѣлъ ея жизнь такъ же, какъ ее видитъ Чеховъ. Отсюда не слѣдуетъ, впрочемъ, что кн. Урусовъ руководился въ своихъ вкусахъ симпатіею только къ „сюжету“. Нисколько. Ни одно изображеніе не трогало его своими намѣреніями, своимъ содержаніемъ, если въ самомъ замыслѣ и разработкѣ его онъ не чувствовалъ искренности, самобытности и силы таланта. Послѣднимъ предметомъ его фетишизма былъ Боделэръ: я не сомнѣваюсь, что и тутъ большую роль играло сродство излюбленныхъ мотивовъ у этого поэта съ болѣзнеными настроеніями Урусова, быстро старѣвшагося и все чаще вынужденнаго заглушать свои боли наркотиками. Это участіе личнаго чувства сим-

патіи вмѣстѣ съ тонкостью художественнаго вкуса надо считать основою его литературныхъ мнѣній — особенно въ послѣдніе годы его жизни.

II.

Своей литературностью, знаніемъ языковъ и любовью къ изящнымъ искусствамъ кн. Урусовъ обязанъ прежде всего своему дворянскому происхожденію и воспитанію. О своихъ дѣдахъ онъ говоритъ въ мемуарахъ, гдѣ упоминаетъ и о томъ, что мать его не была очень счастлива въ бракѣ. Нелады родителей продолжались, по отзывамъ ихъ знакомыхъ, очень долго: они разъѣзжались и дѣлили дѣтей, когда тѣ были уже взрослыми. Потому, быть можетъ, не всѣ дѣти ихъ вынесли изъ родной семьи силу тѣхъ нравственныхъ устоевъ, которые составили бы противовѣсъ прирожденному легкомыслію и увлекательности темперамента. А. И.—старшій, былъ любимцемъ и учиться началъ у матери. По французски онъ читалъ раньше, чѣмъ по русски. Неудивительно, что онъ на всю жизнь сохранилъ пристрастіе къ французскому языку и литературѣ: дѣтскіе дневники его писаны по французски, по французски же онъ всю жизнь велъ и переписку съ родными. Изъ отрывковъ дѣтскаго дневника, какіе попались въ бумагахъ, видно, что А. И. относился къ матери и сестрамъ съ какой то восторженной нѣжностью. Отъ матери, по его словамъ, онъ наслѣдовалъ нѣкоторую сентиментальность, такъ легко уживающуюся съ чувственностью, а отецъ наградилъ его характеръ строптивостью: отецъ служилъ въ военной службѣ, за строптивый нравъ былъ разжалованъ, но на Кавказѣ отличился, получилъ Георгія за храбрость и дослужился до чина полковника. На юбилеѣ своемъ А. И. говорилъ, что многое въ его судьбѣ объясняется этою наслѣдственной строптивостью; такому признанію нельзя не вѣрить, потому что А. И. отлично себя зналъ и умѣлъ отдавать себѣ отчетъ во всѣхъ своихъ чувствахъ и мотивахъ дѣйствій. Не знаю, отличался-ли строптивый офицеръ,

отецъ его, строгостью къ дѣтямъ: Александръ Ивановичъ всегда имѣлъ видъ человѣка, котораго съ дѣтства баловали, т. е. который росъ въ холѣ и ласкѣ, безъ угрозъ и насилія; непринужденностью и общительностью онъ поразилъ и новыхъ товарищей, когда поступилъ въ гимназію. Что отецъ очень заботился объ его талантахъ доказывается надписью Александра Ивановича на одномъ газетномъ листѣ, сохраненномъ имъ въ бумагахъ со статьею „Корнеліусъ и картоны его въ Берлинѣ". Въ собственноручной надписи на газетѣ А. И. указалъ на интересъ отца къ его работѣ*).

Упражняться въ слогѣ оригинальными статьями и переводами кн. Урусовъ началъ гораздо раньше: въ гимназическомъ журналѣ, издававшимся имъ съ двумя товарищами, онъ писалъ о театрѣ, котораго былъ съ дѣтства страстнымъ любителемъ. Въ гимназіи же затѣвались переводы не только статей, но и цѣлыхъ большихъ историческихъ изслѣдованій, которыя если и не доводились до конца, то указывали на вкусы молодежи, очевидно находившіе поощреніе не только въ школѣ, но и въ родительскомъ домѣ.

Кромѣ любви къ театру, къ балету, къ литературѣ и ко всему изящному, семья дала А. И. и благовоспитанность, т. е. тотъ внѣшній лоскъ манеръ, привычекъ въ обращеніи съ людьми, которымъ потомъ новыя широкогуманныя вѣянія той эпохи—начинались 60-е года—придали слыслъ не одной только пустой свѣтскости, но и дѣйствительной культурности, т. е. утонченности въ формахъ соціальнаго обихода. Высокое общественное положеніе семьи дало кн. Урусову культурность, а ея недостатокъ денежныхъ средствъ, особенно съ прекращеніемъ крѣпостного права, пріучилъ Александра Ивановича къ мысли о трудѣ для заработка. Впрочемъ, дворянская непрактичность князей Урусовыхъ и неумѣнье ихъ управлять своими финансами, передались и Александру Ивано-

*) Томъ I, стр. 15.

вичу въ видѣ необыкновенной довѣрчивости ко всякимъ дѣльцамъ и аферистамъ. Не смотря на большую разсчетливость въ мелочахъ, которая въ послѣднее время была замѣтна въ Александрѣ Ивановичѣ, его финансовыя, экономическія соображенія, а онъ очень любилъ разсуждать о нихъ, были довольны шатки и малоосновательны. Думаю, что это—черта семейная. Когда при кн. Урусовѣ заходилъ разговоръ о происхожденіи или объ образованіи индивидуальныхъ характеровъ, онъ придавалъ большое значеніе вліянію ремесла, профессіи, быта, не меньше, чѣмъ наслѣдственности или расѣ. Но предразсудковъ сословныхъ у него было такъ же мало, какъ національныхъ; въ этомъ отношеніи онъ былъ дѣйствительно высоко-культурный человѣкъ. Несмотря на то, что въ наше время научныя теоріи наслѣдственности напомнили о преимуществахъ рожденія и тѣмъ какъ будто снова возродили старые предразсудки фамильныхъ родословныхъ—этого возрожденія у кн. Урусова не произошло: такъ глубоко было его уваженіе къ таланту, знанію, къ личному значенію человѣка преимущественно передъ всѣми иными данными, передъ титуломъ и происхожденіемъ. Напр. надъ дворянствомъ и его вырожденіемъ онъ любилъ посмѣиваться, а про своихъ предковъ, смѣясь, говорилъ, что они были татары, грабившіе по большимъ дорогамъ, и—прибавлялъ онъ иногда—держали гаремы! А между тѣмъ фатумъ наслѣдственности тяготѣлъ надъ нимъ въ самой трагической его формѣ, но о немъ онъ никогда никому не говорилъ. Фатумъ это татарскій темпераментъ, какъ лично его, такъ и его предковъ. Если традиціи русской барской культуры наложили свою печать на внѣшній и духовный обликъ кн. Урусова точно такъ же и татарское наслѣдіе не только сказалось въ чертахъ лица, но и физіологически осложнило его культурность и оказало наиболѣе разрушительное вліяніе на всю его жизнь и на всю дѣятельность. Я говорю о той болѣзни, которая такъ долго и такъ жестоко мучила Александра Ивановича, раньше чѣмъ свела его въ могилу.

Упоминая въ своихъ мемуарахъ о томъ, что у дѣда его были парализованы ноги, „атавизмъ, прибавляетъ Александръ Ивановичъ, отразился на поколѣніи его внуковъ: табетическія заболѣванія поразили сыновей кн. Ивана, Петра и Павла“.*) О наслѣдственномъ происхожденіи своего табеса Урусовъ никогда не упоминалъ; только собственной жизни онъ приписывалъ свои страданія; онъ никогда не ссылался на чужую вину, оставаясь и тутъ вѣренъ тому сознанію личности, присущему сильнымъ людямъ, которое не хочетъ видѣть въ себѣ жертву, хотя бы и роковой стихіи. Съ болѣзнью своей онъ боролся только наркозомъ, а наркозъ въ концѣ концовъ подтачивалъ умственныя и душевныя его силы. Когда Александръ Ивановичъ переселился въ 1889г. изъ Петербурга въ Москву, онъ былъ уже совсѣмъ больнымъ человѣкомъ, но храбро несъ свое страданіе, и надо было только удивляться той любви къ жизни, той необычайной живучести, которая его поддерживала до послѣднихъ почти дней и позволяла съ юморомъ относиться къ своимъ немощамъ и находить утѣшеніе тамъ, гдѣ другіе видѣли одну горькую безнадежность. Александръ Ивановичъ пишетъ про своихъ родственниковъ, что у нихъ подъ старость проявлялась на лицѣ кроткая томность. „Томность эта, говоритъ онъ, отражала усталость жизни и умиротвореніе“. Откуда была усталость жизни, какъ не отъ игры страстей, которую умиротворялъ только старческій упадокъ организма? Буйный татарскій темпераментъ изживалъ себя въ Александрѣ Ивановичѣ до послѣднихъ лѣтъ его жизни, но не вносилъ умиротворенія въ его старость. „Мурза“, называли товарищи кн. Урусова по гимназіи и прощали ему и заносчивость и вспыльчивость за то обаяніе, которое онъ производилъ на нихъ своею даровитостью, остроуміемъ и веселостью.

Онъ поступилъ на юридическій факультетъ московскаго университета 18 лѣтъ, въ 1861 году. Въ студенческихъ

---

*) См. томъ I. стр. 5.

безпорядкахъ того года, кончившихся Дрезденскимъ побоищемъ на Тверской площади, Урусовъ, если и принималъ, то весьма незначительное участіе. Не безпорядки виноваты въ томъ, что онъ оставался два года на одномъ курсѣ (на второмъ): отъ лекцій его отвлекали литература и театръ. Новыя вѣянія въ драматической литературѣ, появленіе новыхъ силъ на сценѣ, дебюты Ѳедотовой, Никулиной сильнѣе интересовали 19-ти лѣтнаго театрала, чѣмъ юридическія науки. На второй годъ своего пребыванія въ университетѣ, осенью, онъ пишетъ восторженную статью о драмѣ Боборыкина „Ребенокъ", гдѣ дебютировала Познякова-Ѳедотова и ведетъ зимой 1862—1863 г. въ Московскихъ Вѣдомостяхъ „Лѣтопись Малаго театра", *) подъ псевдонимомъ „Александръ Ивановъ".

Театральныя рецензіи тогдашняго студента не утратили своего интереса и до нашего времени. Онѣ сохранились въ памяти у многихъ современниковъ, благодаря не только талантливости и живости ихъ изложенія, но также благодаря и ихъ основательности и дѣльности: сужденія его, вѣрныя и мѣткія, впослѣдствіи вполнѣ оправдались на судьбѣ тѣхъ пьесъ и ихъ исполнителей, по поводу которыхъ они произносились. Потому въ этихъ статьяхъ оживаетъ передъ нами интересная страница изъ исторіи нашего театра; оживаетъ и личность ихъ даровитагоавтора. Большая молодость его сказывается въ вступленіяхъ, въ предварительныхъ объясненіяхъ своихъ задачъ и критическихъ методовъ, въ тѣхъ широкихъ обобщеніяхъ, которыми онъ устанавливаетъ свои новые взгляды, какъ бы любуясь и дивясь самъ ихъ новизнѣ и широтѣ. Черезъ 20 почти лѣтъ вновь выступая въ роли театральнаго критика (въ газетѣ Порядокъ) „А. Ивановъ" подходитъ ближе къ предмету своихъ наблюденій: для него тогда, какъ для человѣка зрѣлаго и жестоко поплатившагося за свои взгляды, театръ не имѣетъ прежняго значенія: потому то онъ и

*) См. томъ I, стр. 53—124.

начинаетъ свои фельетоны съ анекдота изъ жизни М. С. Щепкина, со словъ его: „Россіи теперь не до комедій“. Но тѣмъ не менѣе онъ и тутъ остается вѣренъ, какъ своей страстной любви къ литературѣ, ко всеобщей литературѣ, которая рѣдко совмѣщается съ сценическимъ искусствомъ, такъ и тѣмъ широкимъ взглядамъ общественнаго дѣятеля, какіе не мирятся съ рутиной и казенщиной, въ чемъ бы онѣ ни проявлялись. Онъ постоянно ратуетъ за независимость искусства отъ всякой опеки, отъ всякихъ указокъ и поощреній, ото всего извнѣ, хотя бы и съ самыми высокими цѣлями вносимаго въ художественную дѣятельность какъ отдѣльныхъ лицъ, такъ и цѣлаго учрежденія. Частную иниціативу въ дѣлѣ театра А. Ивановъ отстаивалъ при всякомъ удобномъ случаѣ. Свободному началу, лежащему въ основѣ всякой истинно научной и истинно художественной дѣятельности, кн. Урусовъ остался вѣренъ навсегда. Потому его никогда и не озадачивали тѣ новыя формы, въ какія выливалась мысль или фантазія творческихъ умовъ. Не имѣя готовыхъ шаблоновъ, съ природною чуткостью ко всему неподдѣльному, искреннему, онъ всегда горячо привѣтствовалъ и новыя направленія и свѣжія дарованія, когда тѣ и другія обѣщали нѣчто самобытное, идущее на смѣну рутинѣ. Если таланты Ѳедотовой и Никулиной нашли въ немъ убѣжденнаго цѣнителя, то не меньше восторговъ вызвали у него впослѣдствіи и Ермолова, и Стрепетова и, наконецъ, Дузе. Говорилось въ свое время, что послѣ Дузе кн. Урусовъ охладѣлъ къ русскому искусству, особенно къ московскому Малому театру. Дѣйствительно, въ послѣднее время „образцовая русская сцена“ не давала ему прежнихъ радостей: новыхъ талантовъ онъ въ ней не находилъ, и репертуаръ ея былъ недостаточно литературенъ. Однажды, проходя съ нимъ по корридору Малаго театра, кто-то возмутился на дурной запахъ, заглушаемый дезинфекціей. „Здѣсь пахнетъ разложеніемъ, полу-насмѣшливо, полу-огорченно замѣтилъ А. И., здѣсь столько проваливается пьесъ!“ Не-

успѣхъ Чехова, Ибсена на казенной сценѣ подтверждалъ его недовѣріе къ ней. И тѣмъ охотнѣе привѣтствовалъ онъ возникновеніе Художественнаго театра. Тамъ успѣхъ Чеховской „Чайки“ оправдалъ его высокое мнѣніе и объ этой пьесѣ и о Чеховѣ, какъ о драматургѣ.

Но какъ ни любилъ кн. Урусовъ театра и какъ ни увлекался своими рецензентскими обязанностями, онѣ въ университетѣ не поглощали всѣхъ его умственныхъ силъ. Студента-юриста интересуетъ химія, глубоко захватываетъ философія позитивизма: упорно занятъ онъ переводомъ Конта. Судя по такимъ интересамъ онъ, казалось, долженъ былъ сочувствовать тѣмъ мыслящимъ реалистамъ, которые увѣковѣчены Тургеневымъ въ типѣ Базарова. Въ нѣкоторыхъ кружкахъ его и считали тогда нигилистомъ. „Вы декадентъ? сказала однажды при мнѣ А. И. одна общественная дѣятельница—ахъ, зачѣмъ!“ Потомъ кн. Урусовъ смѣясь разсказалъ намъ, какъ въ молодости его точно также жалѣли: „Вы нигилистъ? Ахъ, зачѣмъ!“. Въ дѣйствительности же онъ не принадлежалъ ни къ какой партіи. Уже самый выборъ журнала и близость его съ П. Д. Боборыкинымъ указываютъ на то направленіе мысли, которому Урусовъ никогда не измѣнялъ: направленіе прогрессивное, требовавшее самой широкой свободы для мысли и для искусства, но не замыкавшееся ни въ какія догмы и не служившее никакимъ партіямъ.

Партійной узости и склонности къ крайностямъ какого либо направленія въ натурѣ кн. Урусова не было: для этого онъ былъ слишкомъ скептикъ и юмористъ. Если онъ и защищалъ когда крайнія мнѣнія, то это большею частью вытекало изъ какого нибудь каприза или новаго увлеченія его фантазіи, или вызывалось задоромъ и духомъ противорѣчія, присущимъ его строптивой природѣ, желаніемъ противопоставить обыденному и общепринятому, нѣчто иное изъ ряду вонъ выходящее—знай нашихъ! épatons le bourgeois! Оттого то смолоду его принимали за нигилиста, а на моей памяти за декадента. Какъ съ

нигилизмомъ его сближало уваженіе къ точнымъ методамъ науки, такъ черезъ 40 почти лѣтъ, любовь къ чистому искусству роднила его съ декадентами; и это не мѣшало ему относиться отрицательно къ типу Базарова и защищать противъ его подражателей искусство, а защищая декадентовъ—видѣть уродливыя и нелѣпыя проявленія ихъ талантовъ.

Такую защиту искусства и его историческаго и культурнаго значенія отъ нападокъ нигилистовъ онъ произвелъ однажды въ 65-мъ году въ „Библіотекѣ для Чтенія".*) Статейку эту онъ послалъ изъ Петербурга Ѳ. И. Буслаеву и тотъ отвѣтилъ письмомъ, которое Александръ Ивановичъ сохранилъ въ своей коллекціи автографовъ. Письмо это настолько характерно, что приведу его цѣликомъ.

„Москва 1865 г. марта 4 д.

Много благодарю Васъ, Александръ Ивановичъ, за Ваше письмо ко мнѣ, любезности котораго принимаю за чистую монету, если Вы позволите мнѣ объяснить ихъ нашею взаимною пріязнью.

Статью Вашу о зарождающемся Обществѣ Древн. Рус. Искусства я читалъ съ большимъ удовольствіемъ, но, какъ членъ Общества, почитаю неприличнымъ благодарить Васъ за нее, въ увѣренности, что тотъ самъ находитъ въ своемъ собственномъ сознаніи полное удовлетвореніе, кто понимаетъ честныя и разумныя стремленія нашего Общества, какъ дѣло всенародное, и, сочувствуя ему, смѣло говоритъ и за себя лично, не боясь мальчишествующихъ крикуновъ Русскаго Слова и другой Петербургской дребедени.

Скоро ли Вы бросите этотъ гадкій городишко? хоть и вообще я не большой охотникъ до нашего возлюбленнаго отечества, но Петербургъ—это самое послѣднее мѣсто, куда-бы я не желалъ быть сосланнымъ, потому что нигдѣ не чувствуется такъ сильно вся пошлость обезьянской

*) См. томъ I, стр. 211—227.

жизни русскихъ дикарей, какъ въ этомъ каменномъ лагерѣ, испещренномъ иностранными вывѣсками.

А какія прелести я Вамъ покажу подъ мирною сѣнію Власія на Сивцевомъ Вражкѣ! Мои художественныя впечатлѣнія доселѣ еще не перестаютъ тянуться вереницею и изъ Франціи, и съ Рейна, и изъ Италіи, и тѣхъ поръ какъ мы съ Вами разстались, я получилъ существенныя дополненія къ моимъ коллекціямъ.

Вашъ Ѳ. Буслаевъ."

Подъ тою же „мирною сѣнію" Власія на Сивцевомъ Вражкѣ оставилъ намъ свои коллекціи и кн. Урусовъ. Было впослѣдствіи нѣчто общее съ Буслаевымъ и въ отношеніи его къ „каменному лагерю". Поселившись въ послѣдніе годы жизни въ приходѣ церкви Св. Власія, въ особнячкѣ, купленномъ имъ еще въ первые годы его адвокатуры, кн. Урусовъ по дѣламъ часто ѣздилъ въ Петербургъ, гдѣ сохранилъ дружескія связи въ нѣкоторыхъ литературныхъ кружкахъ. Возвращаясь оттуда и передавая разныя литературныя новости, онъ съ умиленіемъ говорилъ о кучкѣ одинокихъ независимыхъ умовъ, безкорыстно преданныхъ поэзіи и высшимъ вопросамъ литературы—и это тамъ, въ Петербургѣ, гдѣ, говорилъ онъ, могущественная, колоссальной сложности работа государственно-административнаго механизма, отводитъ такое незначительное мѣсто интересамъ поэзіи, искусства... Такъ же какъ Буслаевъ, любилъ Урусовъ приводить и примѣры дикости и некультурности нашего общества, прибавляя при этомъ: „У насъ все толкуютъ о просвѣщеніи народа. А вѣдь не мѣшало бы позаботиться о просвѣщеніи и нашихъ, такъ, называемыхъ образованныхъ людей. Пора, пора,—смѣялся онъ—подумать объ этомъ". Но въ шестидесятыхъ годахъ, въ пору его студенчества не туда были направлены его мысли и заботы. Отъ созерцательности ученаго, возмущеннаго русскою современностью кн. Урусовъ былъ въ то время такъ же далекъ, какъ и отъ „мальчишествую-

щихъ“ крикуновъ нигилизма. Коллекціонируя рѣдкія и старопечатныя книги, студентъ записывалъ на ихъ листахъ свои нетерпѣливыя и ревнивыя мечты передъ любовнымъ свиданіемъ. Намъ попалась у букиниста одна старинная астрологія въ пергаментномъ переплетѣ. А. И. въ 1864 г. расписался на ней полностью, какъ собственникъ ея и тутъ же помѣстилъ небольшой списокъ другихъ рѣдкостей, имѣвшихся въ его библіотекѣ, а на послѣдней бѣлой страницѣ записалъ по французски, что онъ думалъ и чувствовалъ ожидая *ее* и подозрѣвая *его*... Очевидно, требовалось сбыть съ души мучительныя чувства, а обычной тетради подъ руками не нашлось. Съ изумленіемъ взглянулъ А. И. на эту книжку въ 1900-мъ году, когда ему показали ее, и назвалъ имена тѣхъ, о комъ онъ писалъ въ ней. *Она* была его первая любовь или точнѣе первая страсть, о которой онъ навсегда сохранилъ самое свѣтлое воспоминаніе. Ему, студенту, было тогда 19, ей, воспитанницѣ Театральной школы, 16 лѣтъ. Страсть была взаимная, но романъ, сначала счастливый, длился не долго. Природный умъ артистки, ея красота, грація, большая живость и остроуміе при успѣхахъ на сценѣ и выдающемся дарованіи привлекали ей много поклонниковъ. А ея счастливый избранникъ читалъ съ ней Шекспира, знакомилъ ее съ химіей и философіей и при пылкомъ темпераментѣ обладалъ и соотвѣтствующей ему ревностью. Взрывы этой необузданной страсти и отравляли счастье, пока не охладѣла любовь. Молодые люди не связали своей свободы; но, когда *она* полюбила другого и вышла за того замужъ, въ *немъ* любовь вспыхнула было съ новой силой, и не нашла уже взаимности: романъ былъ конченъ навсегда. Отъ него на всю жизнь осталось у кн. Урусова теплое дружеское чувство къ предмету первой любви.

Указанія на этотъ романъ часто попадаются въ его студенческихъ тетрадяхъ, въ иниціалахъ-вензеляхъ, которыми онъ тогда украшалъ конспекты уголовнаго, русскаго и иныхъ правъ. Впрочемъ, въ пестротѣ этихъ набросковъ

всего много: и каррикатуръ, и портретныхъ эскизовъ, иногда очень удачныхъ, и женскихъ и мужскихъ головокъ и всякихъ нелѣпостей. Для того поколѣнія характеренъ одинъ эскизъ: это три рисунка медалей съ женской фигурой*) въ фригійскомъ колпачкѣ, на одной надпись Libertas и 93-й годъ, на другой 48-й годъ, а на 3-й 190—? съ вопросительнымъ знакомъ. Тутъ же голова съ надписью Caret схвачена за волосы какою-то мускулистою рукою, а пониже въ цвѣтистыхъ рисункахъ „Л. Каракозовъ".

Ни политическія грезы и мечтанія, на которыя эпоха реформъ вдохновляла молодыя головы, ни занятія литературою и позитивною философіею, ни любовь къ юной даровитой артисткѣ,—ничто не помѣшало студенту окончить курсъ кандидатомъ правъ въ 1866-мъ году и поступить въ Московскій Окружный Судъ кандидатомъ на судебныя должности. Осенью того же года онъ дебютируетъ защитникомъ на выѣздной сессіи въ гор. Коломнѣ, а тою же зимою 11 февраля 1867 защита и оправданіе Мавры Волоховой создаетъ ему громкую извѣстность и открываетъ рядъ его тріумфовъ на поприщѣ судебнаго краснорѣчія. Кому въ это время не знакомо было имя кн. Урусова? Кто не смѣялся его остроумнымъ выходкамъ, и въ то же время не умилялся на новый судъ и на тѣ новыя понятія гласности, гражданственности, общественной совѣсти, равенства передъ закономъ и т. п., которыя изъ суда проникали во всѣ слои народа? Кн. Урусовъ своимъ умомъ и дарованіемъ, своею увлекательною, широкою натурою, покорявшею всѣ сердца,—сразу нашелъ для себя ту дорогу, гдѣ онъ лучше всего могъ проявить себя и сослужить лучшую службу обществу. Съ того времени сохранилось много разсказовъ о повсемѣстной, напр., популярности кн. Урусова, какъ защитника крестьянскихъ интересовъ. Анекдотъ о томъ, что въ Полтавской губерніи малороссы говорили, когда обижены бывали на судѣ: „Треба идти до кн. Уру-

*) Изображена на виньеткѣ въ заголовкѣ этой статьи.

сова“, теперь украшаетъ уже календари. Очевидцы передаютъ и много курьезовъ про его безыскусственно-доброе отношеніе съ кліентами изъ простого народа, которые быстро осваивались съ „бариномъ“ и спокойно излагали ему свое дѣло. Объ этихъ пріемахъ гуманнаго отношенія ко всякому, кто бы ни нуждался въ его совѣтахъ, которые сохранились у кн. Урусова до послѣдняго времени, самъ А. И. не любилъ говорить. Думаю, что они были у него проявленіемъ столько же личной его природы, сколько и духа того времени, когда онъ началъ свою практику. Общественныя заслуги адвокатуры той первой лучшей ея эпохи оцѣнены и извѣстны: не мнѣ на нихъ останавливаться.

Въ послѣдніе годы свои Александръ Ивановичъ иногда жаловался, что онъ слишкомъ мало сдѣлалъ въ жизни и ничего крупнаго послѣ себя не оставитъ. Когда ему указывали на ту роль, которую онъ игралъ въ 60-е года, и на славу, такъ рано имъ заслуженную, онъ обыкновенно говорилъ, что гласный судъ былъ тогда вновѣ и краснорѣчіе цѣнилось выше, чѣмъ теперь: такихъ-де ораторовъ потомъ было очень много! Я думаю, что это невѣрно. При этомъ онъ неизмѣнно вспоминалъ, что своею карьерою и профессіею, которую онъ такъ любилъ и такъ высоко ставилъ, онъ всецѣло обязанъ Петру Михайловичу Щепкину, тогдашнему товарищу предсѣдателя Московскаго Окружнаго Суда: Щепкинъ, по его словамъ, первый понялъ и указалъ ему его призваніе. Личности П. М. Щепкина и семьѣ его кн. Урусовъ считалъ себя обязаннымъ очень многимъ и это чувство признательности было въ немъ очень трогательно. При томъ „классическомъ легкомысліи“, о которомъ любили говорить люди не симпатизировавшіе ему и которое онъ добродушно на себя принималъ, у кн. Урусова было замѣчательное постоянство его дружескихъ связей, а при крайней независимости нрава не менѣе замѣчательное чувство благодарности за всякое добро и ласку, ему оказываемыя, а главное, чувство

покорности нравственному авторитету, если онъ былъ однажды признанъ имъ за таковой. Всѣ эти чувства—и постоянства въ дружбѣ и благодарности и уваженія къ авторитету—имъ проявлялись въ семьѣ Щепкиныхъ. Онъ публично, на юбилеѣ своемъ, признавался, что Щепкинъ съ тѣхъ поръ, какъ онъ узналъ его юношей, на всю жизнь оставался для него высшимъ судьею, рѣшающимъ всѣ спорные вопросы его внутренней жизни. Даже когда того не было уже въ живыхъ, если кн. Урусовъ колебался, какъ ему поступить, онъ мысленно обращался къ П. М., припоминалъ, что бы тотъ ему посовѣтовалъ, или что бы самъ сдѣлалъ, и дѣйствовалъ сообразно съ этимъ. Такое уваженіе къ нравственному авторитету излюбленныхъ людей—характерная черта кн. Урусова, которая проявлялась и въ литературномъ фетишизмѣ его. Напомню по этому случаю анекдотъ. Когда кн. Урусовъ въ 1871 г. судился за дуэль съ П. Н. Островскимъ (изъ-за несогласія въ Артистическомъ Кружкѣ), былъ осужденъ и приговоренъ къ 3-хъ недѣльному аресту на гауптвахтѣ, онъ громко заявилъ, что „предпочитаетъ лучше быть такъ виноватъ, какъ Лассаль и Пушкинъ, чѣмъ такъ правъ, какъ обвинитель“. Радушный, гостепріимный хозяинъ, М. П. Щепкинъ былъ душою кружка молодежи, гдѣ кн. Урусовъ студентомъ принятъ былъ, какъ родной, и гдѣ онъ нашелъ благопріятную атмосферу умственныхъ и артистическихъ интересовъ и скромную безпритязательную обстановку. „Фатъ, иди съ нами кашу ѣсть!“—Такъ иногда мать семейства приглашала къ столу студента, который при всей родовитости и фатоватости, неумѣло справляясь съ своими скудными средствами, ходилъ въ очень отрепанномъ платьѣ. Отецъ Щепкина, геніальный артистъ Михаилъ Семеновичъ, былъ еще живъ. Александръ Ивановичъ знавалъ его и не безъ умиленія разсказывалъ намъ, что онъ, ночуя у Щепкиныхъ, спалъ на томъ диванѣ, гдѣ Гоголь читалъ Ревизора. Близость М. С. со всѣми выдающимися силами литературы и интеллигенціи сказалась въ образованности и въ передовомъ

направленіи его сыновей; а близость семьи къ театральному міру отразилась и на интересахъ того новаго поколѣнія, къ которому принадлежалъ кн. Урусовъ. Одна дочь П. М., Ольга Петровна, бывшая потомъ замужемъ за Л. А. Куперникомъ, была хорошая музыкантша и кн. Урусовъ подолгу могъ слушать серьезную музыку въ ея исполненіи; другая дочь, Александра Петровна, долгое время была на сценѣ Малаго Театра. У молодыхъ талантливыхъ дѣвушекъ были подруги и родственницы, и двоюродные братья, и актрисы, и писатели, и студенты, все это не только веселилось и дурачилось — въ играхъ и шарадахъ Александръ Ивановичъ отличался, конечно, находчивостью, остроуміемъ и изобрѣтательностью,— но и затѣвало споры на самыя серьезныя темы. Въ этихъ спорахъ опредѣлялись и выяснялись воззрѣнія молодыхъ людей и завязывались вмѣстѣ съ тѣмъ крѣпкія дружескія связи на всю жизнь.

„Здѣсь", пишетъ Л. Куперникъ въ небольшой статьѣ, посвященной кн. Урусову черезъ 2 недѣли послѣ его смерти*), говоря о домѣ П. М. Щепкина, „въ частномъ кругу Урусовъ былъ самымъ увлекательнымъ собесѣдникомъ, какого только можно себѣ представить. Онъ всѣмъ интересовался, обо всемъ говорилъ, все зналъ, начиная съ послѣдняго крупнаго научнаго или литературнаго произведенія и кончая новѣйшей французской шансонеткой (которыя онъ очень любилъ и охотно распѣвалъ). Юношески увлекаясь, жизнерадостный, уже прославленный ораторъ онъ весело дурачился, живо и остроумно разговаривалъ о самыхъ разнообразныхъ предметахъ. Онъ любилъ, говоря, грызть что нибудь, орѣхи, баранки. Покойный П. М. Щепкинъ, неподражаемый юмористъ, замѣтивъ, что Урусовъ заговорился, подсовывалъ ему подъ руку сначала баранки, потомъ сухари, потомъ калачъ, и, лукаво подмигивая намъ, съ хохотомъ глядѣлъ, какъ Урусовъ все истреблялъ, не переставая говорить, какъ, на-

*) „Русск. Вѣд." 31 іюля 1900 г.

конецъ не замѣчалъ, что онъ уже давно грызетъ корку чернаго хлѣба".

Четверть вѣка спустя, въ 1890 году, кн. Урусовъ писалъ однажды Т. Л. Щепкиной-Куперникъ: (См. выше стр. 173-174) „Меня же, когда Господь Богъ судить будетъ: на вопросъ: „да что же ты любилъ, кромѣ Флобера?" непремѣнно спасетъ реплика моего добраго ангела: „Онъ всегда любилъ Щепкиныхъ". Всѣ члены этого семейства, перечисляетъ онъ далѣе, „мнѣ были всегда дороги, милы, родственны болѣе, чѣмъ кто-либо на свѣтѣ".— Я думаю, что въ этомъ шутливо-патетическомъ признаніи лежитъ серьезный смыслъ. Любовь къ Флоберу — это культъ красоты слова, и вмѣстѣ съ тѣмъ любовь къ той иллюзіи, которая порождается художественнымъ творчествомъ. Эта любовь къ красотѣ слова замѣнила собою во вторую половину его жизни ту вѣру въ силу и свободу слова, съ которою онъ вступалъ на общественное поприще и которая потерпѣла въ русской дѣйствительности 70-хъ годовъ полное крушеніе. Всегда любя Щепкиныхъ, онъ любилъ чувства и надежды, которыми богата молодость: онъ любилъ въ нихъ память лучшихъ своихъ увлеченій, а главное, ту искренность и безкорыстную теплоту дружескихъ чувствъ, на которую самъ всегда умѣлъ отвѣтить взаимностью.

III.

„Блистательный кн. Урусовъ", какъ его въ 1868 году назвалъ въ одномъ письмѣ А. Ѳ. Кони, дѣйствительно, въ тѣ годы представляетъ выдающееся явленіе въ общественной жизни: не говоря уже о внутреннихъ преимуществахъ богатой талантами природы, самая внѣшность его, вѣжливость и любезность обращенія, увлекательность въ разговорѣ, заразительная веселость, изящество наружности, дѣлающее его законодателемъ моды,— все это обезпечиваетъ ему успѣхъ въ свѣтѣ. Онъ вездѣ бываетъ, всѣмъ интересуется, обо всемъ говоритъ, надо всѣмъ остритъ: за кулисами театра его видятъ такъ же часто, какъ въ зданіи

Суда; а побѣды его надъ женщинами такъ же многочисленны, какъ и удачныя защиты. Ему 25 лѣтъ. Неудивительно, если отъ всего блеска у молодого человѣка закружится теперь голова, а темпераментъ развернется во всю ширь русско-татарской породы. И неудивительно, если въ этомъ блескѣ окажутся и темныя пятна, которыя, разростаясь и сгущаясь, благодаря преувеличеніямъ и клеветѣ завистниковъ, бросятъ подъ конецъ невыгодную тѣнь на даровитаго человѣка. Къ числу такихъ пятенъ относится одинъ изъ безчисленныхъ романовъ его тогдашней поры. Въ свое время романъ этотъ породилъ много злословія и даже въ наше время на него иногда ссылаются во многихъ судейскихъ и купеческихъ кружкахъ Москвы, когда хотятъ очернить кн. Урусова съ нравственной стороны. Къ счастью, у насъ есть документъ, который проливаетъ яркій свѣтъ на это приключеніе и опровергаетъ значительную часть клеветы. Это — письмо самого кн. Урусова, писанное 9 лѣтъ спустя; оно излагаетъ всѣ обстоятельства дѣла сжато, но со всею откровенностью и безъ всякаго намѣренія оправдать или выгородить его автора. Напротивъ, вся выгода автора была въ томъ, чтобы возстановить истину, хотя бы въ ущербъ недавнему прошлому. Потому правдивость изложенія—внѣ сомнѣнія.

Героинею романа является молоденькая женщина изъ купечества. Когда, въ послѣдніе уже годы, при кн. Урусовѣ называли ея фамилію, онъ всегда вспоминалъ о ней, какъ о замѣчательной красавицѣ. Ей только что исполнилось 21 годъ, когда она познакомилась съ Урусовымъ и поручила ему, какъ адвокату, вести процессъ ея съ мужемъ, который началъ противъ нея дѣло о разводѣ. Процессъ этотъ интересовалъ адвоката не юридической своей стороной—этою „лубочною контрафакціей Декамерона въ древне-русскомъ приказномъ стилѣ:“ онъ началъ съ того, что влюбился въ красавицу; она отвѣтила ему взаимностью. Это поставило его въ очень неудобное положеніе по отношенію и къ ней самой, и къ ея мужу, и къ ея род-

нымъ; а особенно по денежной сторонѣ дѣла, которая вызвала больше всего нареканій на него. Съ мужемъ онъ началъ было, по ея требованію, переговоры объ ея обезпеченіи. Онъ поѣхалъ къ нему, спросилъ, намѣренъ ли тотъ обезпечить жену и получилъ отвѣтъ, что она имъ обезпечена уже достаточно... Разговоръ о деньгахъ съ мужемъ любимой женщины былъ настолько тягостенъ для влюбленнаго, что онъ поспѣшилъ его прекратить. Процессъ кончился въ пользу мужа, потому что жена, хотя и не получила обезпеченія, но очень желала сама поскорѣй освободиться отъ несчастнаго брака. Вину, взводимую на нее, она принять на себя не хотѣла, но, вмѣстѣ съ тѣмъ, и отрицала ее и опровергала показанія свидѣтелей, безъ всякихъ доказательствъ, совершенно голословно. Вина и была признана за нею. Кн. Урусовъ, какъ адвокатъ ея, не хотѣлъ послѣ этого возбуждать новаго дѣла, преслѣдовать мужа и его лжесвидѣтелей, потому что онъ не разсчитывалъ на успѣхъ, не вѣрилъ въ возможность опровергнуть показанія подкупныхъ свидѣтелей и доказать ложь ихъ обвиненій. Къ тому же бракоразводными процессами онъ никогда не интересовался, а въ то время у него было много другихъ дѣлъ, крупныхъ и значительныхъ. Да и личныхъ поводовъ затѣвать процессъ—ненависти къ мужу или корыстныхъ цѣлей—у него не было. О возможности же доставить молодой женщинѣ свободу для вторичнаго замужества тогда и рѣчи еще не заходило. Свобода эта потребовалась ей позже, когда романъ съ Урусовымъ былъ конченъ. Длился этотъ романъ недолго: въ маѣ 1867 года они познакомились, а въ январѣ 1868-го разошлись совершенно, „не по моей волѣ, но по моей винѣ“, говоритъ разсказчикъ. Она вскорѣ сблизилась съ другимъ, и вотъ, для брака съ этимъ то поклонникомъ, ей и необходимо стало начать дѣло противъ мужа и снять съ себя вину, возведенную лжесвидѣтелями. Тогда на кн. Урусова, какъ на падшаго министра, и посыпались всяческія обвиненія—главнымъ образомъ, со стороны друзей и

родственниковъ, окружавшихъ г-жу Т. Среда эта была крайне некультурная: ссоры супруговъ Т. доходили до замоскворѣцкихъ побоищъ, хватанія ножей, взлома ящиковъ стола и т. п. Въ этомъ темномъ царствѣ не любили Урусова, человѣка иныхъ взглядовъ, иного круга, не любили въ немъ „барина". „А меня, говоритъ кн. Урусовъ, шокировала анархія ихъ понятій и безпорядочность привычекъ". При внѣшнемъ изяществѣ и нѣкоторомъ лоскѣ образованія — любовная переписка велась по французски — легкомысліе молодой женщины выражалось нетолько быстротою ея увлеченій, но и расточительностью въ образѣ жизни. Отъ этой расточительности, которою пользовались всѣ ея окружающіе, кн. Урусовъ, къ несчастью для себя, и пытался было спасти ее. Видя, какъ она безсмысленно тратитъ деньги и какъ ее эксплуатируютъ родные, и зная, что % съ капитала, оставленнаго ей мужемъ до разрыва, ей не хватаетъ даже на прожитіе, онъ посовѣтовалъ ей положить капиталъ, чтобы уберечь хоть часть его, подъ залогъ недвижимости. Самъ онъ тогда въ деньгахъ не нуждался; напротивъ, къ нему въ 1867-мъ г. „широкими струями текли бѣшеныя деньги защиты" „и тратилъ я ихъ, говоритъ онъ, съ беззаботливостью настоящей богемы". Спасаніе капитала отъ родственниковъ не могло, конечно, имъ понравиться. А когда „баринъ" оказался плохимъ совѣтчикомъ въ финансовыхъ дѣлахъ, то они, не стѣсняясь, дали волю своей враждебности къ нему и всюду кричали, что онъ обобралъ и разорилъ г-жу Т. А онъ, дѣйствительно, оказался плохимъ совѣтчикомъ, но больше всего для своихъ собственныхъ финансовъ, потому что легковѣріе и неопытность его въ этихъ вопросахъ сдѣлали его жертвою разныхъ темныхъ аферистовъ. Вышло такъ, что „дѣлецъ", съ которымъ г-жа Т. совѣтовалась, по рекомендаціи кн. Урусова, о помѣщеніи своихъ денегъ, предложилъ ей дать ихъ подъ залогъ одного имѣнія, подъ которое уже раньше дала деньги мать кн. Урусова, по совѣту другого дѣльца. Кн. Урусовъ ничего не зналъ о такомъ совпаденіи, иначе не допустилъ бы его.

Когда имѣніе было продано, повѣренный княгини сталъ дѣлать затрудненія въ уплатѣ денегъ по второй закладной г-жи Т. Кн. Урусовъ считалъ своей обязанностью не допускать для г-жи Т. никакихъ затрудненій, взялъ имѣніе за себя и все заплатилъ. Имѣніе доходу не давало, и онъ нетолько вошелъ въ долги, но и далъ противъ себя оружіе для своихъ враговъ. Обвиненіе, что онъ деньги г-жи Т. употребилъ такъ, что ими могла воспользоваться его мать, имѣло правдоподобіе: его стали потому шантажировать адвокаты, эксплуатировали и дѣльцы — мошенники. Онъ платилъ и старался не думать, росли расходы, росли и грязныя сплетни, позорившія его и какъ адвоката, и какъ человѣка. Г-жа Т. капиталъ прожила и нуждалась въ деньгахъ для продолженія бракоразводнаго процесса, для новыхъ адвокатовъ. Смѣнившій кн. Урусова поклонникъ ея ни состояніемъ, ни большимъ заработкомъ не располагалъ и возмущался вмѣстѣ съ ея родными на исчезновеніе ея капитала. Негодовали на мужа, недостаточно обезпечившаго жену, но еще болѣе негодовали на кн. Урусова, несумѣвшаго вытребовать отъ мужа обезпеченія; говорили, что кн. Урусовъ продалъ ея интересы мужу, вошелъ съ его адвокатомъ въ сдѣлку и т. п. Клевета охотно и жадно принималась публикой, потому что, говорилъ кн. Урусовъ, „въ нашей публикѣ есть непреодолимое влеченіе къ грязи, къ ассимилляціи всякой мерзости, которую разсказываютъ о человѣкѣ“,—добавлю о человѣкѣ выдающемся, успѣхи котораго возбуждаютъ зависть, а легкомысленное отношеніе къ женщинамъ и къ быстро заработаннымъ и столь же быстро истраченнымъ деньгамъ вызываетъ справедливое порицаніе. „Да, наконецъ, говоритъ далѣе кн. Урусовъ, презумпція о всякой пакости другого человѣка представляется болѣе вѣроятной, чѣмъ его правдивость“. Такимъ образомъ, слухи, рождавшіеся вокругъ безразсудно мотавшей деньги красавицы, быстро распространялись по Москвѣ, благодаря извѣстности молодого адвоката и накатывались въ большой комъ грязи, кото-

рый не могъ подъ конецъ не прилипнуть къ его блестящему имени. Какой же отпоръ давалъ онъ клеветѣ? Онъ старался о ней не думать! Но когда она урывками доходила до него, то, вотъ его краснорѣчивое признаніе. „Однажды въ театрѣ въ 1869 г. я вдругъ взбѣсился, схватилъ въ корридорѣ одного изъ той клики, нѣкоего Л... за горло, я обѣщалъ поступить съ нимъ законопротивно, если „ты“ осмѣлишься повторять клеветы и пр. Л. клялся, что ничего не говорилъ. Тѣмъ дѣло и кончилось“. Эти проявленія буйнаго темперамента были плохими средствами обороны: отъ нихъ только обогащалась скандальная хроника и сгущалась атмосфера враждебности у клеветниковъ. Обезоружить ихъ было нельзя, и кн. Урусовъ жестоко поплатился за этотъ „маленькій романъ своей безпутной юности“, какъ онъ его называетъ. Поплатился онъ нетолько за то, что, поддавшись соблазну красоты, взялся за дѣло, которое ему было неинтересно и даже тягостно, но и за тѣ добрыя, великодушныя чувства къ красавицѣ, которыя побудили его впутаться въ мало ему знакомыя денежныя операціи. Злорадная молва не хотѣла признавать того рыцарски-благожелательнаго отношенія къ женщинѣ, которое руководило легкомысленнымъ адвокатомъ и потому это быстро промелькнувшее любовное приключеніе надолго легло пятномъ на его блестящемъ имени.

Еще одно его пылкое увлеченіе относится къ тому же періоду его московской жизни. Но въ этомъ романѣ и начало и исходъ его были совершенно иные. Онъ завершился бракомъ, въ которомъ кн. А. И. нашелъ прочную и единственную свою любовь, единственную, несмотря на безчисленныя и разнообразныя увлеченія. Дѣвушка замѣчательной красоты, нерусскаго происхожденія, безъ приданаго и безъ опредѣленнаго общественнаго положенія, никогда не умѣвшая раздѣлить съ нимъ его умственные интересы, сумѣла навсегда удержать его привязанность добрыми свойствами души и характера. Свойства эти оцѣнила въ ней родня А. И., сперва косо смотрѣвшая на

этотъ бракъ, высоко цѣнилъ и самъ А. И., всегда искренно преклонявшійся передъ семейной добродѣтелью женщины, даже передъ тѣми узко буржуазными ея формами, которыя противорѣчили, казалось бы, общимъ его широкимъ взглядамъ на жизнь. — Жену онъ любилъ горячо, а единственнаго сына этого брака любилъ до обожанія, много няньчился съ нимъ, когда тотъ былъ ребенкомъ, много заботился объ его воспитаніи, развитіи, образованіи.

При той подвижной внѣшней жизни, которую велъ тогда кн. Урусовъ, тратя богатыя природныя силы и на обширную практику и на свѣтскія развлеченія, и на общественныя затѣи, вродѣ Артистическаго Кружка, и на увлеченія театромъ и богемою,—оставалось-ли у него время на литературу? Статей его отъ этого времени въ его бумагахъ не сохранилось. Но если онъ ничего и не писалъ, то стремленія его удовлетворялись и театромъ, и дружбою—пріятельствомъ со многими литераторами, слѣды которой остались въ его бумагахъ; наконецъ, литературные вкусы эти находили отголосокъ и въ его адвокатской практикѣ; такъ, между прочимъ, онъ защищалъ на Судѣ И. С. Аксакова въ 1868 году, Ѳ. Б. Миллера въ 1869-мъ; близокъ онъ былъ съ А. Н. Плещеевымъ, отъ котораго сохранилъ съ того времени много писемъ. Всѣ они касались денежныхъ дѣлъ поэта, тогда весьма запутанныхъ. Плещеевъ служилъ въ то время въ Москвѣ, то въ Контролѣ, то въ Почтамтѣ, видался съ кн. Урусовымъ очень часто: театръ, для котораго тогда писалъ и переводилъ Плещеевъ, сближалъ ихъ, а денежныя ссуды, которыми выручалъ Урусовъ пріятеля изъ затрудненія, надолго придали этому пріятельству прочность дружеской связи. Кн. Урусовъ не меценатствовалъ, къ нему обращались просто, какъ къ человѣку одного круга понятій; это видно напр. по запискамъ несчастнаго А. И. Левитова, который то звалъ его къ себѣ въ больницу, то въ чемъ-то упрекалъ, будучи уже совсѣмъ невмѣняемымъ („пьянъ какъ собака“ пишетъ онъ). Плещееву кн. Урусовъ могъ быть полезенъ не

одними деньгами. Изъ одного письма видно, что онъ могъ оказать протекцію у какого-то сановника, когда писатель искалъ въ Петербургѣ казеннаго мѣста въ Ученомъ Комитетѣ, или въ Публичной Библіотекѣ. Связи и громкое имя было у кн. Урусова и въ журналистикѣ: такъ редакторъ „Дѣла", Благосвѣтловъ просилъ Плещеева поговорить, не возмется ли кн. Урусовъ написать разборъ нѣсколькихъ книжекъ по юридической отрасли. „Само собою разумѣется, прибавляетъ Благосвѣтловъ, что Дѣлу не нужно глубокомысленнаго филистерства, а нуженъ умъ и правда, даже горькая правда о самомъ правѣ."—„Я думаю, комментируетъ Плещеевъ, что ему просто нужно имя кн. Урусова, извѣстнаго адвоката; и если бы вы не только горькую правду о правѣ, но дифирамбъ Баршеву написали, то и тогда бы вашу статью помѣстили; и развѣ бы только оговорку сдѣлали: что хотя мы не совсѣмъ согласны съ многоуважаемымъ и т. д. но... Дайте мнѣ отвѣтъ поскорѣе."

Изо всѣхъ литературныхъ связей того времени особенной близостью, живостью и продолжительностью отличалась дружба кн. Урусова съ П. Д. Боборыкинымъ. Къ сожалѣнію, П. Д. не могъ дать намъ писемъ, адресованныхъ ему кн. Урусовымъ, и характеръ этой дружбы мы можемъ возстановить теперь только по письмамъ П. Д. Боборыкина, собраннымъ у кн. Урусова въ отдѣльную коллекцію, свыше ста. — Привожу ниже, съ разрѣшенія П. Д. Боборыкина, нѣсколько отрывковъ изъ этихъ писемъ, характерныхъ для обоихъ корреспондентовъ и особенно для кн. Урусова.

Сближеніе молодыхъ людей началось въ 1863 г., когда, студентъ 2 курса и страстный театралъ, кн. Урусовъ написалъ,—какъ уже было упомянуто выше — восторженную рецензію на пьесу г. Боборыкина „Ребенокъ". Затѣмъ онъ сталъ посылать статьи о театрѣ и въ „Библіотеку для Чтенія," которую издавалъ тогда г. Боборыкинъ. Дѣла журнала шли не очень успѣшно, и уже 1 октября 1864 г. редакторъ раскаивается, что взялся за издатель-

ство. Кн. Урусовъ восхищался свѣжестью и задушевностью таланта у молодого романиста, тогда только что кончавшаго свой первый большой романъ „Въ путь-дорогу.“ А романиста плѣняла въ юномъ — кн. Урусовъ былъ на 7 лѣтъ моложе своего редактора, — критикѣ, его искренность и отзывчивость. „Если въ романѣ моемъ васъ восхитила задушевность, пишетъ г. Боборыкинъ, то позвольте и мнѣ безъ лести сказать, что я до глубины души восхищенъ вашей искренностью. Здѣсь, на гнилыхъ петербургскихъ болотахъ нѣтъ такихъ проявленій, не только въ людяхъ, сколько-нибудь прикосновенныхъ къ литературѣ, но, я думаю, въ отрокахъ.“ — „Вижу, что дѣйствительно вы прочувствовали романъ въ самомъ лестномъ для него отношеніи и радуюсь этому.“ — „Еще болѣе радуетъ меня и то, что вы высказались, какъ посторонній литературѣ человѣкъ. Это всего дороже!“—„Нелицемѣрно любя драматическое дѣло,“ романистъ спрашивалъ у своего критика, какой талантъ сильнѣе въ немъ,—драматическій или повѣствовательный? „Не скажете-ли вы мнѣ объ этомъ свѣжаго нелитературнаго слова? Вы такъ непосредственно относились къ моимъ драмамъ“... Задыхаясь въ растлѣвающей атмосферѣ журнальныхъ дрязгъ и сплетенъ, беллетристъ не находитъ въ себѣ душевнаго равновѣсія для творческой работы и проситъ: „Пишите и пришлите мнѣ что-нибудь свѣжее, сильное, такое, чтобы во мнѣ, какъ въ драматургѣ, усилилась энергія при видѣ истиннаго сострастія дѣлу сценическаго творчества“.—И въ позднѣйшихъ письмахъ изъ-за границы мы всюду видимъ, какъ дорожитъ литераторъ по призванію и по ремеслу тѣми импульсами, которые ему даетъ „сострастіе“ студента всѣмъ запросамъ его интеллектуальной и художественной жизни.

А князь Урусовъ, не обладая самъ творческимъ дарованіемъ, способностью „создавать нѣчто по образу и по подобію своему“, которую предполагалъ въ немъ ех-редакторъ, тѣмъ сильнѣе привязывался къ людямъ, прояв-

лявшимъ эту способность. Притомъ-же съ г. Боборыкинымъ его, помимо общности умственныхъ и художественныхъ интересовъ, связывало и сходство происхожденія: оба выросли въ дворянской атмосферѣ жизни съ ея повышенной внѣшней культурой, знаніемъ иностранныхъ языковъ и литературъ, но и съ недостаточными денежными средствами, у г. Боборыкина къ тому-же разстроенными неудачнымъ издательствомъ журнала. Одаренные въ одинаковой степени той живостью ума и характера, которая выражалась въ быстротѣ и остротѣ ихъ воспріятій, въ ихъ интересѣ къ живой жизни и въ наблюденіяхъ надъ ней, — оба, какъ люди передовые, насмѣшливо-отрицательно относились къ своей свѣтской средѣ съ ея предразсудками затхлаго барства. Беллетристъ вносилъ это отрицаніе въ обличительность своихъ повѣстей того времени, а кн. Урусовъ проявлялъ его во внѣшнихъ сношеніяхъ съ окружающими, не соблюдая всѣхъ условностей, обязательныхъ для людей этого круга. Онъ и въ мелочахъ любилъ выказывать тотъ политическій и общественный радикализмъ, который у этого круга заслужилъ ему кличку „нигилиста,“ и надъ которымъ подтрунивалъ его старшій пріятель. Такъ осенью 1865 г. онъ писалъ ему изъ Женевы: „Вы, Анахарсисъ и поклонникъ Жанъ-Жака, бродите въ окрестностяхъ Собачьей Площадки, а я могу хоть по цѣлымъ днямъ сидѣть на островкѣ, подъ голыми вѣтвями платана, противъ памятника творца Новой Элоизы, и предаваться созерцаніямъ, какимъ мнѣ угодно. Мало этого, могу всласть упиваться радикализмомъ тупоумныхъ Женевцевъ и воззваніями, приклеенными по стѣнамъ, съ стереотипнымъ обращеніемъ: Дорогіе сограждане! Chers Concitoyens! Все это создано для васъ; но вы-то и не войдете въ сей эдемъ, гдѣ, между прочимъ скука смертная, и погода мерзѣйшая. На дняхъ столкнулся я и съ тѣмъ, кто дополнитъ теперь радикальную физіономію Женевы своимъ переселеніемъ, т.-е. съ Герценомъ. Имѣетъ онъ помѣщичью фигуру, въ родѣ Писемскаго, лицо до-

вольно уже обрюзглое, голосъ высокій, московскій; говоритъ часто, акцентуируя иностранныя слова. Демоническаго элемента—никакого. Просто говорунъ, даже довольно добродушный".—Не слѣдуетъ заключать изъ этого мимолетнаго замѣчанія о Герценѣ, что авторъ письма относится къ нему безъ должнаго уваженія; напротивъ, смерть Герцена заставила П. Д. Боборыкина написать кн. Урусову письмо внѣ очереди, чтобы только подѣлиться съ нимъ этой горестной вѣстью. Вотъ это письмо цѣликомъ:

Штутгардтъ. 30 января 1870.

„Случилось такъ, дорогой Александръ Иванычъ, что тотчасъ послѣ того, какъ я отправилъ вамъ мое послѣднее письмо, пришла мнѣ вѣсть о кончинѣ, такъ нежданно поразившей всѣхъ насъ. Наканунѣ я нарочно не справлялся о здоровьѣ, ожидая рѣшительнаго кризиса въ субботу; его ужъ не было въ живыхъ... За недѣлю текли еще веселыя рѣчи, жизнь еще такъ ярко играла въ этой блестящей интеллигенціи. За 2 дня до того, какъ онъ слегъ, игривыя воспоминанія о томъ, что было 20 лѣтъ тому назадъ наполнили цѣлый вечеръ. Вы знаете, что я всегда относился къ его дѣятельности со сдержанностью и анализомъ, которыя не позволяли мнѣ безусловнаго увлеченія; но и воздержали отъ тѣхъ нареканій, какими люди слѣдующей генераціи поторопились смутить закатъ его служенія мысли и общественному добру. Человѣкъ былъ полонъ симпатичныхъ особенностей и даровитаго чутья людей и явленій. Такой молодости интеллигентнаго темперамента нѣтъ ни у кого изъ людей нашего и вашего поколѣнія. Смерть пришла не поздно для дѣятеля; но слишкомъ рано для человѣка, и тѣ, кому удалось застать его въ живыхъ и всецѣло оцѣнить эту натуру—необычайно счастливы. Съ какою горечью за васъ, дорогой другъ, пожалѣлъ я о вашей московской неподвижности, помѣшавшей вамъ проѣхаться по западу. А къ вамъ онъ относился съ большими симпатіями... И случится можетъ, что ваши услуги

понадобятся по дѣлу, о которомъ я буду писать вамъ впослѣдствіи.

Вы рады будете все дѣлать для тѣхъ, въ комъ осталась хоть какая-нибудь доля дорогого вамъ возбудителя вашихъ лучшихъ стремленій.

Завтра я доберусь до Вѣны. Пишите. Вашъ ПБ.".

Въ 1865 г. П. Д. Боборыкинъ увлеченъ позитивизмомъ: „Прозрѣлъ я, Александръ Ивановичъ, прозрѣлъ!" пишетъ онъ. „Вѣрьте мнѣ: только положительное мышленіе можетъ послужить фундаментомъ къ зданію дорогой для сердца нашего драматургіи. Въ „Курсѣ позитивной философіи" Конта (Cours de philosophie positive) есть отвѣты на всѣ наши колебанія, всѣ запросы критикующаго и творящаго ума". — Неудивительно, послѣ такого отзыва, что рѣчь о позитивизмѣ почти не сходитъ съ листковъ этой переписки. Естественно, что и кн. Урусовъ дѣлитъ это увлеченіе: онъ задумалъ и началъ переводить 6-ти томный Курсъ позитивной философіи Конта. Въ бумагахъ его сохранилось письмо Г. Н. Вырубова, издававшаго тогда въ Парижѣ, вмѣстѣ съ Литтре французскій органъ позитивизма. Въ этомъ письмѣ онъ отговариваетъ кн. Урусова отъ такого большаго труда, для русской публики совершенно непригоднаго. Не меньше доводовъ противъ этого предпріятія высказываетъ и П. Д. Боборыкинъ въ своихъ письмахъ изъ Парижа. Такимъ образомъ одинъ пріятель въ Парижѣ штудируетъ Конта и ищетъ научныхъ основъ эстетики, распредѣляя свое время между кабинетными занятіями, посѣщеніемъ разныхъ лекцій и знакомствомъ съ театрами, не оставляя и газетно-журнальной поденщины,— другой, въ окрестностяхъ Сивцева Вражка и Собачьей Площадки, предается—въ нѣсколько меньшей мѣрѣ—тѣмъ же интересамъ; но онъ не испытываетъ того одиночества, тѣхъ нравственныхъ мученій и колебаній, которыя выпали на долю его ех-редактора. Ему, пока, живется легко, и онъ навлекаетъ на себя упреки въ лѣни и небрежности къ друзьямъ. Но зато и живительное дѣйствіе оказываютъ

на пріятеля его посланія: „Наконецъ-то отозвались вы, дорогой другъ А. И., весьма вкуснымъ посланіемъ. (Письмо отъ 4/16 марта 1866 г.). Восхищаете вы меня обиліемъ „жизненныхъ соковъ“, какъ выражалась покойная біологія, восхищаете эллинскимъ духомъ и вожделѣніями, воздѣланными въ садахъ Эпикура! Такъ слѣдуетъ жить, такъ искать икса въ томъ алгебраическомъ уравненіи, которое составляетъ суть нашего бытія. Хоть вы и переводчикъ Конта, но вамъ еще лѣтъ на 10, а то и побольше, можно позволить „срывать цвѣты удовольствія“ до оскопленія себя позитивной моралью. Эта сторона положительной системы нуждается, по моему глупому разумѣнію, въ большихъ измѣненіяхъ“. — Письмо 22 марта того-же года начинаеся такъ:

„Теперь гонись за жизнью дивной
И каждый мигъ въ ней подмѣчай,
На каждый звукъ ея призывный
Отзывной пѣснью отвѣчай!“

„Вкушайте, вкушайте, дорогой другъ, отъ сладкой трапезы бытія, дондеже не оскудѣетъ вѣра и не ослабѣетъ во удѣхъ вашихъ! Вамъ дана аффективная способность,— стало, вамъ-же подобаетъ облекать ею, какъ ризой златотканною, ступени многострадальной житейской лѣствицы!“—Дальше: „Радуюсь, дорогой А. И., всѣмъ сердцемъ радуюсь вашему психическому состоянію и глубоко благодарю за нѣсколько строкъ лирическаго изліянія, начертаннаго въ предѣлахъ Кокоревскаго фаланстера. Вы теперь такъ переполнены аффективной жизнью, что совѣстно и обращаться къ вамъ съ другими болѣе частными интересами; но, зная, что натура ваша—„велика и обильна“, сообщу въ краткихъ чертахъ во 1-хъ то, что былъ у начетчика нашей ереси. Литтре—весьма добродушный, до невѣроятности скромный и до умилительности мизерный съ виду человѣкъ. Вотъ бы показать его нашимъ ученымъ генераламъ для посрамленія. Онъ — какъ есть эрудитъ съ глубокими убѣжденіями и необычайной искренности. Я

вамъ вышлю его карточку, а въ поясненіе скажу, что онъ крошечнаго роста, ризы имѣетъ весьма истасканныя, на ногахъ какіе-то суконные коты; въ манерахъ очень неловокъ, дара слова совсѣмъ не имѣетъ, такъ, что, если ему возразить понашему, то онъ сейчасъ съежится, начнетъ конфузиться и заикаться. Къ устной полемикѣ, вообще, совсѣмъ не способенъ".—Въ заключеніи: „Еще разъ благодарю васъ, дорогой другъ, за присылку масличной вѣтви, которая отряхнула меня росой молодой страстности. Распускайте теперь стихотворныя крылья. Не упускайте этого момента."—Не всегда эта молодая страстность принимала у москвича ту форму жизнерадостности, на которую его благословлялъ изъ Парижа пріятель. Отъ элевзинскихъ таинствъ крайне низменнаго свойства ему приходилось отвлекать пріятеля напоминаніемъ объ иномъ мірѣ, о мірѣ творчества, о мірѣ идей, свободной мысли и т. п. Въ Урусовѣ, кромѣ сердечныхъ, аффективныхъ свойствъ натуры, которыя дѣлали его дружбу очень цѣнной отсутствующему пріятелю, нуждавшемуся въ душевномъ участіи и сочувствіи, была и плѣнявшая его даровитость „сосуда милости Божіей": „Глубоко раздѣляю ваше воспріятіе красоты, пишетъ г. Боборыкинъ 6 мая 1866 г. Ахъ, если-бы всѣ русскіе беллетристы умѣли такъ смотрѣть на красоту, не было-бы у насъ невыносимаго резонерства съ примѣсью чиновничьей сантиментальности. Богатые матеріалы можете вы накопить, А. И.! Прежде я васъ все торопилъ писать. Это была мерзкая редакторская замашка. Теперь я скажу: торопиться—нечего, играть въ литературу также, но грѣхъ вамъ будетъ забыть, что изъ всѣхъ мнѣ извѣстныхъ молодыхъ людей у васъ одного есть настоящая аффективная и игривая жилка. Ergo: вы напишете прекрасную повѣсть. Мнѣ такъ пріятно, что вы развиваете въ себѣ область ума, того, что французы зовутъ esprit. Въ послѣднее время онъ у насъ былъ въ страшномъ загонѣ. Но что-же дали въ замѣнъ его? Вы сами знаете". А черезъ годъ, той-

же „великой и обильной природѣ“ посылается строгій выговоръ: „Чѣмъ больше я всматриваюсь въ вашу фигуру, тѣмъ печальнѣе мнѣ представляется противорѣчіе между вашей даровитостью и вашимъ бездѣльничаньемъ... Lachons le mot, не сердитесь! Я къ вамъ снисходительнѣе, чѣмъ кто-либо, мало того питаю положительную слабость къ вашему курносому носу и всей неисчерпаемой цыганщинѣ, засѣвшей въ утробу вашу, и то, подъ-часъ, огорчаюсь... Жалко, чего? не знаю, но жалко и за васъ самихъ и за общество, какъ говорятъ либеральные дураки! А между тѣмъ, вы живете, какъ говорятъ тѣ-же либеральные дураки, вамъ весело, вы заразительно дурачитесь, вы первый номеръ въ „районѣ вашей эксплуатаціи“, какъ выражаются на русскихъ желѣзныхъ дорогахъ!“ (Письмо 3/15 февраля 1867 г.). Но это бездѣльничанье происходило быть можетъ оттого, что кандидатъ на судебныя должности не нашелъ еще своего истиннаго призванія, а оно было не въ беллетристикѣ. Черезъ недѣлю послѣ написанія этого письма П. Д. Боборыкинымъ, для Урусова открылось поприще, гдѣ онъ могъ примѣнить всю свою даровитость: 11 февраля 1867 г. защита Мавры Волоховой опредѣлила это призваніе. О блестящемъ дебютѣ этомъ П. Д. Боборыкинъ узналъ изъ газетъ и горячо привѣтствовалъ его: „да, дружище, вы вдвинулись въ эту колею въ самый еще задорный, цвѣтистый, вдохновенный моментъ! Даже слюнки текутъ! Но я... кричу: „знай нашихъ, вотъ мы какъ!“ И способенъ былъ, какъ старикъ-смотритель въ „Тысячѣ Душъ“ Писемскаго подсовывать номеръ Вѣдомостей французамъ и весьма нетонко докладывать, что вотъ молъ у насъ нынче какъ“... Черезъ нѣкоторое время, прочитавъ всю нашумѣвшую рѣчь, пріятель отнесся къ ней съ дружелюбной критикой: „Рѣчь ваша... „Я доволенъ, я доволенъ,“ какъ бормочетъ Иванъ Александровичъ. Только вступленіе нельзя не уподобить критическимъ мелодіямъ Эдельсона: и подучено, и скучно, и не ново! Въ горячей части рѣчи есть пріемы

передовыхъ статей Библіотеки. „Продолжаю. Кончилъ.“ Вы помните: „Поставимъ вопросъ. Объяснимся!“ И потомъ, дражайшій мой Квинтильянъ: всегдашняя ваша замашка, пообѣщавши что-либо присяжнымъ, не сейчасъ приступать къ исполненію, а охолодить промежуточными фразами. Такъ и тутъ. Пообѣщавши доказать, что убійство въ избѣ произойти не могло, вы начали доказывать черезъ пять минутъ, тогда, какъ нужно было приступить къ этому сейчасъ-же послѣ такого вѣскаго заявленія. Дѣло крупное! Теперь загребайте только деньгу и спите поменьше!..“ Увлеченному своими успѣхами адвокату не до переписки съ старыми друзьями, но ему все прощается и слава и небрежность; пусть его письмо послѣ 4-хъ мѣсячнаго молчанія дышетъ „необузданнымъ эгоизмомъ счастья и удачи“, другъ его, „подавленный одиночествомъ“, „заѣденный поденщиной“ (газетной и журнальной) не перестаетъ думать о немъ: „Я въ буквальномъ смыслѣ, пишетъ онъ 20 февр. (4 марта) 1867 г., алчу и жажду вашей бесѣды, совѣтовъ, смѣха, аѳинской соли и русскаго задора, курносаго вашего носа и размашисто-развалистаго пошиба!..“ Онъ жалѣетъ, что даровитый, подающій столько надеждъ человѣкъ уйдетъ изъ общей ему съ нимъ сферы высшихъ интересовъ. Онъ не устаетъ „тормашить“, „встряхивать“ своего корреспондента. Въ декабрѣ того-же года онъ ликуетъ: „Ожидалъ я, дружище, что въ вашей адвокатской утробѣ зашевелится, наконецъ, интеллигентно-цивическій, а главное, художественный червякъ. И онъ зашевелился! И я этому премного радъ! Да, еслибы вы были способны удовлетвориться судейской извѣстностью, рысаками, сутяжнической возней и трактирной жратвой съ гостиннодворческими угощеніями, развѣ я распинался-бы изъ-за васъ, вашей пріязни, вашего молчанія, вашей жизненной доли“!.. „Стряхните-же сколько-нибудь шелуху успѣха, поработайте для идеи“. Мечта о совмѣстной работѣ не покидаетъ пріятелей: планамъ журнальнаго дѣла посвящено много писемъ, начиная съ апрѣля 1868 г. „Вы теперь —

человѣкъ извѣстный во всѣхъ углахъ русскаго царства. Вамъ и стыдно и неразумно было-бы не распространить своей дѣятельности, служа собственной популярности (если вамъ ея мало) послужить дорогимъ, когда-то, вамъ идеямъ". Такими словами начинаетъ П. Д. Боборыкинъ излагать свой планъ изданія газеты при непремѣнномъ участіи въ ней кн. Урусова, какъ человѣка, „въ котораго я клалъ и кладу, пишетъ онъ, лучшія свои упованія".— „Высшимъ духовнымъ наслажденіемъ была-бы для меня совмѣстная дѣятельность около самой ничтожной кучки такихъ русскихъ дѣятелей, въ которыхъ сидятъ всѣ жизненные и обновляющіе инстинкты новаго человѣчества", говоритъ П. Д. Боборыкинъ осенью того же года, снова дружески упрекая кн. Урусова въ недостаткѣ и участія къ одинокому другу, глубоко-одинокому по самымъ лучшимъ своимъ думамъ. „Во мнѣ сѣтуетъ и скорбитъ русскій идейный человѣкъ! Никого я не знаю воспріимчивѣе и умственно—смѣлѣе васъ изъ моихъ „друзей пріятелей". Вскорѣ, въ томъ же январѣ 1869 г., „дождался я праздничка, пишетъ П. Д. Б., добраго и толковаго письма отъ васъ". Кн. Урусовъ повидимому былъ противъ журнальной дѣятельности и зазывалъ друга—въ адвокатуру. У того были на ближайшее время опредѣленные планы по части драматургической, но предложеніе кн. Урусова не отталкивало его. „Если то, что вы пишите мнѣ объ нашей совмѣстной дѣятельности, вами серьезно продумано и „выношено", я конечно остановлюсь на адвокатурѣ съ меньшей неохотой, нежели на какой-бы то ни было, другой обстановкѣ".

Такимъ образомъ, оказалось: какъ ни трунилъ беллетристъ надъ увлеченіемъ своего пріятеля-единомышленника „судейской извѣстностью", „сутяжническою возней" и т. п., у молодого адвоката нашлись такіе аргументы, которые сумѣли поколебать антипатію литератора къ этой формѣ общественнаго служенія. Но литераторъ все-таки не пошелъ по той дорогѣ, которую указывалъ ему кн. Урусовъ.

А за то самого кн. Урусова не одинъ только г. Боборыкинъ прельщалъ публицистикой. Молва, приписывавшая ему издательство вновь возникавшаго журнала, проникла въ нѣмецкія газеты. „Что это, утка или дѣльный слухъ?“ спрашивалъ П. Д. дня черезъ три послѣ предыдущаго письма. „Если что нибудь подобное затѣвается, не охлаждайте вы зачина вашими разсужденіями о журналистикѣ. Régime d'abstention никуда не годится. Вы бы должны были отказаться отъ адвокатуры, слѣдуя этому режиму. Въ журналѣ можно теперь быть неизмѣримо свободнѣе, чѣмъ въ камерѣ Окружнаго Суда! Да развѣ вся работа такихъ людей, какъ „дѣятели петербургскаго періода журналистики“ не на лицо, чтобъ доказать полную реальность ихъ просвѣтительной пропаганды, которая, вдобавокъ, была извнѣ гораздо больше скована, чѣмъ теперешняя публицистика!“ Онъ молитъ объ одномъ: „поддержите желаніе молодыхъ дѣятелей сплотиться и основать свой органъ. Безъ печатнаго слова, какое бы оно ни было, нельзя жить разумной солидарностью“. — „Цѣлый міръ адвокатскій, соціологія, драматургія, кооперативное движеніе и, наконецъ, ваша мечта, которой я отдамся съ полнымъ сострастіемъ — подготовленіе женщины къ общественной роли! Развѣ этого мало? Пребудьте вы только вѣрны вашей недавней фразѣ: „мнѣ было бы пріятно работать въ одной газетѣ съ вами“ — больше мнѣ ничего не нужно“. „Женщина-адвокатъ, это — цѣлая программа воспитательной подготовки“.

Журнальная работа не могла состояться, но горячая дружба продолжается: „Ваше письмецо глубоко тронуло меня“, пишетъ черезъ годъ П. Д. „Вѣдь, я на васъ всегда смотрѣлъ какъ на enfant de la balle, какъ на кровное дитя, которому я пророчилъ всѣ лучшіе успѣхи человѣка и гражданина. Въ теченіи трехъ лѣтъ нашего разъединенія меня, вѣрьте мнѣ, огорчало не личное неудовлетвореніе, а сознаніе того, что охладѣваетъ и порывается связь двухъ стремленій, двухъ принциповъ, двухъ упованій, въ нашей

странѣ болѣе необходимая и плодотворная, чѣмъ гдѣ-либо. Безъ такой связи мы пропали...“—„Начнемъ общее дѣло— и жизнь моя сейчасъ же получитъ полноту, ясность и силу... Вы найдете меня все тѣмъ же... Вы увидите, какъ крѣпка та задушевная привязка, которая зародилась и засѣла во мнѣ подъ вліяніемъ нашего житья-бытья!“—„О Москвѣ я мечтаю; но не иначе, какъ въ сожительствѣ съ вами и по горло въ такомъ дѣлѣ, въ которомъ и вы участвуете духомъ и плотью“.

Мечтѣ этой не суждено было осуществиться, хотя П. Д. Боборыкинъ тщательно разрабатывалъ планъ изданія, а съ своей стороны кн. Урусовъ въ это время носился съ мыслями о новой жизни и новой дѣятельности. Очень характерно для него, что объ эту пору ни удачи и успѣхи, избранной имъ профессіи, общественное значеніе которой заключалось въ защитѣ личности противъ произвола— (предлагая ему одно дѣло, Плещеевъ однажды писалъ: „на этотъ разъ Вамъ придется защитить полицію, но потрепать высшую администрацію въ лицѣ вице-губернатора и т. д.“)—ни возможность проявить въ этой профессіи лучшія свои дарованія,—ничто какъ будто не давало ему полнаго удовлетворенія. Доказательство тому— интересный документъ у насъ подъ руками. Это письмо Григорія Николаевича Вырубова.

Знакомство на письмахъ съ Г. Н. Вырубовымъ состоялось, при посредствѣ П. Д. Боборыкина, который привезъ ему въ 1865 г. письмо отъ кн. Урусова о переводѣ Конта. Русскій философъ-позитивистъ высказалъ свое мнѣніе тотчасъ по полученіи этого письма; онъ отвѣчалъ Урусову длиннымъ, обстоятельнымъ изложеніемъ доводовъ противъ этого изданія. Кн. Урусовъ проникся живѣйшимъ увлеченіемъ не только къ доктринѣ, но и къ личности позитивиста, и это увлеченіе приняло, по словамъ П. Д. Боборыкина, характеръ какого то „лирическаго порыванія“: кн. Урусовъ „заносился“ изъ области положительнаго въ область „возможнаго по своимъ задушевнымъ желаніямъ“

и настолько вѣрилъ въ Г. Н. Вырубова, что предоставилъ на его обсужденіе планъ своей новой жизни. Въ чемъ этотъ планъ состоялъ, мы не знаемъ, потому что объ этомъ у насъ есть только одно свидѣтельство, а именно—письмо Г. Н. Вырубова отъ 1869 г. Въ немъ онъ благодаритъ кн. Урусова за то, что среди своей шумной и блестящей дѣятельности „онъ не забылъ скромнаго дѣятеля, за нѣсколько тысячъ верстъ отъ Васъ находящагося и раскапывающаго маленькій уголокъ обширной области науки“.—„Ваши планы на будущее, говоритъ онъ далѣе, чрезвычайно раціональны, но, признаюсь Вамъ, мнѣ кажется, трудно ихъ исполнить. Всякая дѣятельность, а въ особенности дѣятельность адвоката, когда она при томъ сопровождается тѣмъ блескомъ, которымъ Вы окружили себя съ Вашихъ первыхъ шаговъ, обращается въ неумолимую привычку; человѣкъ сживается съ ней; для него она дѣлается скоро необходимою потребностью. Нужно много силы воли, или какія-нибудь особыя обстоятельства, чтобы остановиться на извѣстной точкѣ и свернуть вдругъ съ лежащей передъ Вами дороги. Нечего говорить, что я очень желаю, чтобы эта воля или эти обстоятельства совершили такой переломъ; хоть я съ Вами согласенъ, что судебная реформа есть улучшеніе, я все таки полагаю, что съ Вашими дарованіями Вы могли избрать себѣ болѣе благодарную дѣятельность. Быть можетъ, съ моей стороны это—предубѣжденіе, но я отчаянный врагъ всего того, что касается судебнаго порядка и магистратуры. Слово судить представляется мнѣ какимъ то остаткомъ средневѣковья и инквизиціи, оно странно звучитъ въ ушахъ человѣка 19-го столѣтія... Но не хочу здѣсь начинать разсужденія и т. д.“ Письмо кн. Урусова, которое вызвало этотъ отвѣтъ и содержало мысли о перемѣнѣ карьеры, къ сожалѣнію, не сохранилось или не нашлось у г. Вырубова. Былъ ли серьезно блистательный адвокатъ неудовлетворенъ своею профессіею и дѣйствительно думалъ о болѣе широкой и раціональной общественной дѣятельности? Или это было

временное настроеніе, къ которому кн. Урусовъ бывалъ иногда склоненъ, то настроеніе сосредоточенія внутри самого себя, въ которомъ онъ подводилъ въ своихъ дневникахъ итоги своему уму и характеру и нравственнымъ свойствамъ? Или, быть можетъ, тѣ минуты пресыщенія и тоски у баловня жизни, въ которыя человѣку хочется уйти ото всего окружающаго его и окунуться въ новую жизнь, въ другіе интересы? Трудно сказать съ достовѣрностью. Что ему надоѣдала его извѣстность и онъ отдыхалъ отъ нея въ Петербургѣ, онъ самъ говоритъ въ одномъ письмѣ того времени: „Я отъ души радуюсь, видя кругомъ цѣлую толпу людей, гдѣ никто не узнаетъ меня, не тычетъ на меня пальцемъ, какъ въ Москвѣ“. (См. выше стр. 300). Къ тому же въ его извѣстности были темныя стороны, которыя способны были, какъ мы видѣли, отравить существованіе и менѣе живому воспріимчивому человѣку, чѣмъ кн. А. И. Неудивительно, если ему хотѣлось иногда бѣжать отъ своего ремесла. Но куда? Какую бы дѣятельность долженъ онъ былъ избрать, гдѣ настолько широко могли примѣниться его дарованія, чтобы дать ему удовлетворенія больше, чѣмъ гласный судъ? Государственная служба нетолько не вязалась съ его убѣжденіями, но и въ самой натурѣ его не находила должнаго властолюбія или честолюбія. Литературная работа въ области критики была бы уже тѣхъ общественныхъ задачъ, которыя онъ вносилъ въ свою профессію. Я не говорю о наукѣ въ строгомъ смыслѣ слова, можно ли себѣ представить кн. Урусова кабинетнымъ ученымъ? Остается публицистика. Въ одномъ письмѣ Левитова есть намекъ на то, что кн. Урусовъ затѣвалъ газету. Левитовъ въ этомъ письмѣ упрекаетъ А. И. за то, что тотъ, объявляя о газетѣ, которая должна быть „нетолько юридическая, но и литературная“, не пригласилъ его сотрудникомъ. Слухъ объ этомъ издательствѣ подтверждается и письмами П. Д. Боборыкина. Общественное значеніе рѣчей кн. Урусова было тогда настолько ярко, что онъ вправѣ былъ мечтать о службѣ обществу въ тѣхъ размѣ-

рахъ и съ тою независимостью, которыя могутъ дать журналисту политическое вліяніе. А если и въ ту пору у насъ не было политической жизни, то наступленіе ея ожидалось въ недалекомъ будущемъ: такъ твердо даже положительные, трезвые умы надѣялись тогда, что за всѣми реформами Александра II послѣдуетъ политическая реформа. И какъ многіе тогда краснорѣчію и талантамъ кн. Урусова сулили болѣе широкую арену гласности, чѣмъ залы Суда! Быть можетъ, онъ и самъ мечталъ объ этой аренѣ и видѣлъ въ газетѣ—юридической и литературной, если затѣвалъ таковую—первые шаги на пути къ политической дѣятельности. Но мечтамъ этимъ не суждено было осуществиться: „Особыя обстоятельства, говоря словами Вырубова, совершили переломъ и заставили вдругъ кн. Урусова свернуть съ лежавшей передъ нимъ дороги"; но обстоятельства эти зависѣли не отъ его воли и ужъ ни въ коемъ случаѣ не дали его дарованіямъ большаго простора. Въ 1872 году адвокатская дѣятельность кн. Урусова прекращена на 9 лѣтъ. 4 года онъ жилъ въ ссылкѣ, въ Остзейскомъ краѣ, то въ Венденѣ, то въ Ригѣ, а затѣмъ былъ принятъ на государственную службу и 5 лѣтъ служилъ товарищемъ прокурора.

Блестящимъ завершеніемъ перваго періода его адвокатской дѣятельности было его участіе въ Нечаевскомъ процессѣ; оно то и послужило главною причиною перелома въ его жизни. О томъ впечатлѣніи, которое на этомъ процессѣ производилъ кн. Урусовъ, говоритъ К. К. Арсеньевъ, участвовавшій въ дѣлѣ вмѣстѣ съ нимъ, Спасовичемъ, Стасовымъ и другими: „Помимо изящества манеры, красоты языка и сердечнаго отношенія къ обвиняемымъ, меня поразилъ превосходный юридическій анализъ различія между заговоромъ и тайнымъ обществомъ. Остальнымъ защитникамъ пришлось дополнить этотъ анализъ лишь немногими чертами и онъ сильно повліялъ на мягкость приговора, произнесеннаго Судебной Палатой..." (См. выше, стр. 237). О сердечномъ отношеніи къ подсудимымъ мы имѣемъ и

подлинныя свидѣтельства отъ одной изъ нихъ. Это была— по описанію корреспондента „Московскихъ Вѣдомостей"— миловидная дѣвушка 22 лѣтъ съ умнымъ выраженіемъ лица и пріятнымъ, немного дѣтскимъ голосомъ. Кн. Урусовъ сохранилъ ея записки къ нему изъ крѣпости, писанныя карандашемъ на клочкахъ бумаги, очевидно, передававшіяся секретно. Онъ не былъ ея защитникомъ, но въ этихъ запискахъ рѣчь идетъ о новомъ дѣлѣ, которое она возбуждала, находясь уже подъ стражей. Судя по отвѣтамъ ея, Александръ Ивановичъ упрекалъ ее, между прочимъ, за малодушное отчаяніе, о которомъ онъ заключалъ по побитымъ ею въ тюрьмѣ стекламъ и истерикѣ. Въ свое оправданіе она разсказываетъ ему этотъ случай, обыкновенный въ тюрьмѣ, гдѣ нервы напряжены до крайности, а ея „нервы не изъ желѣза". По этому поводу она и проситъ его, защищая другого подсудимаго, коснуться въ своей рѣчи общаго имъ всѣмъ болѣзненнаго состоянія, обратить на это вниманіе судей и довести до свѣдѣнія публики, „какъ подло деспотически поступаютъ съ ними". У кн. Урусова отношенія съ этою молодежью были самыя короткія, пріятельскія; онъ проявлялъ тутъ и свою обычную шутливость, и безобидную насмѣшливость, за которую кліентка бранитъ его полушутя, полусерьезно, и ласковое вниманіе, ту любезность къ молодой дѣвушкѣ, которая трогаетъ ее, „какъ провинціальную дурочку". Ея совѣтъ, упомянуть въ рѣчи про ихъ болѣзненныя настроенія, конечно, былъ исполненъ. Кн. Урусовъ такъ хорошо воспользовался имъ, что былъ остановленъ предсѣдателемъ въ очень оскорбительной для него формѣ. Совѣтчица была въ отчаяніи: „Милый, добрый Александръ Ивановичъ, пишетъ она, я проклинаю, проклинаю себя, что попросила Васъ упомянуть въ своей рѣчи обо мнѣ!... Конечно, я впередъ знала, что онъ Васъ остановитъ, но могла ли я думать, что онъ рѣшится позволить себѣ грубость въ отношеніи Васъ? Добрый Александръ Ивановичъ! Простите ли Вы когда нибудь меня, что я, такимъ образомъ, была причиной

этой для Васъ непріятности? Какъ бы я хотѣла лично пожать Вамъ руку! Вы совершенно несправедливо говорите, что ничего не сдѣлали для насъ. Вы одинъ защищали наше дѣло! Вы одинъ не глумились надъ нашими бѣдными дѣтскими силами. Вы одинъ поняли, какъ любили мы нашу общую цѣль, хотя и старались достигнуть ея такими слабыми неумѣлыми шагами. И за это мы всегда съ глубокою признательностью будемъ вспоминать о Васъ".

Сердечное участіе въ судьбѣ этихъ подсудимыхъ граничило, казалось, съ сочувствіемъ ихъ революціоннымъ цѣлямъ. Это то и было главнымъ поводомъ той административной кары, которая обрушилась на кн. Урусова въ 1872 году. Административная высылка въ Остзейскій край нетолько внѣшнимъ образомъ измѣнила теченіе его жизни, но вмѣстѣ съ тою болѣзнью, которая вполнѣ уже въ ту пору опредѣлилась, перевернула весь внутренній строй его жизни: ссылка многому его научила, хотя ничего не заставила позабыть изъ лучшихъ и наиболѣе серьезныхъ завѣтовъ молодости. О причинахъ этой ссылки ходитъ много ложныхъ слуховъ: Александръ Ивановичъ мнѣ ничего про нихъ не говорилъ — онъ не любилъ говорить о давно прошедшихъ временахъ. А написанныя имъ воспоминанія его (См. т. I стр. 8—9) обрываются на поѣздкѣ его заграницу послѣ обыска, бывшаго у него въ маѣ 1872 г. и обнаружившаго переписку съ политически-ссыльными. „Ѣхалъ я заграницу, пишетъ онъ, довольно напуганнымъ! Это слово неточно передаетъ мою мысль—я былъ настражѣ, но думалъ, что буря миновала..." Напуганность эта, т. е. умѣнье быть осторожнымъ въ словахъ, являлась теперь уже слишкомъ поздно. Участь его была рѣшена раньше этой поѣздки; но онъ этого не зналъ и былъ совершенно спокоенъ, потому что не сознавалъ за собою вины: онъ никогда не участвовалъ ни въ какихъ заговорахъ, „питая, говоритъ онъ, глубокое отвращеніе къ деспотической дисциплинѣ тайныхъ обществъ и къ морали бандитизма". Онъ зналъ подкладку тайныхъ обществъ изъ Нечаевскаго дѣла;

„не отказывая, говоритъ онъ, въ сочувствіи и состраданіи нѣкоторымъ идеалистамъ изъ этой среды, я не испытывалъ ни малѣйшаго влеченія къ ихъ ребяческимъ планамъ. Считая себя эпикурейцемъ и скептикомъ, я былъ, говоритъ онъ, прежде всего, адвокатъ, который защищаетъ какого бы то ни было подсудимаго, разъ тотъ призвалъ его на помощь...“ Слова эти наврядъ ли справедливы; авторы мемуаровъ и воспоминаній, разсказывая событія своей давно прошедшей молодости, часто бросаютъ на нихъ освѣщеніе болѣе соотвѣтствующее позднѣйшимъ настроеніямъ, чѣмъ дѣйствительности минувшаго: они склонны приписывать себѣ тѣ взгляды и мотивы дѣйствій, которыми они стали руководствоваться много позже. Такъ, я думаю, было и съ княземъ Урусовымъ: выдвигая въ данномъ случаѣ на первый планъ свою профессіональную идейно-безразличную точку зрѣнія, онъ или забылъ про политическія увлеченія своей молодости—такъ многое за 30 почти лѣтъ послѣ того онъ испыталъ и передумалъ,—или не хотѣлъ признаваться въ этихъ увлеченіяхъ даже передъ самимъ собою, такъ какъ видѣлъ въ нихъ слишкомъ много юношескаго, почти ребяческаго. Именно какъ на ребячество онъ и смотрѣлъ на нихъ впослѣдствіи, когда, по увѣренію свидѣтелей, пользовавшихся его полной откровенностью, онъ находилъ, что революціонныя увлеченія — это своего рода болѣзни, которыя также нужны смолоду, какъ въ дѣтяхъ корь или скарлатина. Если это такъ, то кн. Урусовъ перенесъ эти болѣзни въ зрѣлую пору своей молодости, но при тогдашнемъ настроеніи общества, онъ и самъ не могъ смотрѣть на нихъ, какъ на ребячество. Въ бумагахъ его есть интересные отрывки о политическихъ процессахъ позднѣйшаго времени... Это, вѣроятно, были корреспонденціи въ иностранныя газеты, въ которыхъ онъ въ то время много сотрудничалъ анонимно. Приводимъ эти характерные отрывки въ оригиналѣ и въ нашемъ переводѣ.

„La salle a un aspect froid et sinistre. Un jour faux, reflété par le mur de la prison qui s'élève devant les fe-

nêtres, fait flotter comme une nuée blanche sur le crépuscule. Peu de monde aux tribunes: les billets ayant été disbribués avec la plus circonspecte parcimonie. Pas de femmes. Des parements d'uniformes, des colets rouges partout—l'élement militaire domine. Sur la table des preuves matérielles, devant laquelle se tient un soldat en faction avec une sorte de mitre en cuivre battu sur la tête — un tas énorme de proclamations, de journaux révolutionnaires, des révolvers, des échantillons de dynamite. Un silence lourd plane sur la salle. On allume le gaz: une lueur orange tombe d'applomb sur les têtes. Tout à coup, un mouvement se produit, un cliquetis d'armes et d'éperons. L'officier de service, faisant fonction d'huissier annonce l'entrée du tribunal. Le public se lève. Les juges entrent à la file. Ils sont tous en uniformes, avec leurs sabres au coté. Des décorations font des tâches rouges ou bleues sur le drap noir de leur poitrine. La lumière égratigne les galons des collets, les épaulettes d'or ou d'argent, les boutons qui brillent. Il y a des favoris touffus, des moustaches soignées, des chevelures lisses. Sur leurs visages ennuyés, pleins, joufflus ou blêmes on lit la détente d'une fatigue trop longue et l'impassibilité de la discipline militaire. Le drap rouge de la table en fer à che-

---

„Видъ залы холоденъ и зловѣщъ. Денной свѣтъ, отраженный стѣною тюрьмы, возвышающейся передъ окнами, носится надъ сумерками въ видѣ бѣлаго тумана. На хорахъ мало народу: билеты распредѣлялись съ осторожнѣйшей бережливостью. Ни одной женщины. Шитье мундировъ, всюду красные воротники—преобладаніе военнаго элемента. На столѣ вещественныхъ доказательствъ, передъ которымъ стоитъ солдатъ на часахъ, съ чѣмъ то вродѣ митры изъ чеканной мѣди на головѣ—огромная куча прокламацій,—революціонныхъ газетъ, револьверовъ, образцовъ динамита. Тяжелое молчаніе носится въ залѣ. Зажигаютъ газъ: желтоватый свѣтъ падаетъ отвѣсно на головы. Вдругъ, какое то движеніе, бряцанье оружія и шпоръ. Дежурный офицеръ, въ роли судебнаго пристава, возвѣщаетъ, что судъ идетъ. Публика встаетъ. Судьи входятъ одинъ за другимъ. Всѣ въ полной формѣ, съ саблями съ боку. Ордена выдѣляются у нихъ на черномъ сукнѣ красными и голубыми пятнами.

Свѣтъ блеститъ на галунахъ воротниковъ, на золотѣ и серебрѣ эполетъ, на ясныхъ пуговицахъ. Густыя бакенбарды, холеные усы, гладкія прически... На ихъ скучающихъ лицахъ, и полныхъ, и одутловатыхъ, и

val est couvert de dossiers, de notes. On introduit les accusés. Ils entrent accompagnés de gendarmes. L'attention génerale se fixe sur eux. Les voilà donc ces hommes qui ont terrorisé le pays, qui ont préparé les attentats à la dynamite, qui ont fait sauter une partie du Palais d'hiver, le train impérial à Moscou, qui ont miné le chemin de fer en Crimeé, qui ont tué le prince Krapotkine, gouverneur géneral de Kharkow, qui ont pris part à l'attentat de Solowiev etc.! Parmi ces hommes il y a trois femmes, jeunes encore, mais laides. La lumière terreuse de la prison se reflète sur leurs visages. Les hommes sont barbus, à longs cheveux, quelques uns en lunettes, en redingotes noires. Ils ont l'aspect intelligent et paraissent très calmes. Les accusés échangent qnelques paroles avec leurs avocats—des jeunes stagiaires militaires;—de temps en temps, un accusé demande un verre d'eau, on le lui passe. Ils remercient poliment. On les regarde boire comme s'ils faisaient par là aussi, quelque chose d'extraordinaire. L'interrogatoire, les réponses, les débats ont un caractère tout à fait particulier: ils sont tout à fait dénués de passion, d'emportement. Un ton calme, un ton d'affaire, aussi modéré que sec, y règne tout le temps.—„Vous avez pris part au congrès socialiste

---

блѣдныхъ, написано успокоеніе послѣ слишкомъ долгой усталости и безстрастіе военной дисциплины. Красное сукно стола покоемъ покрыто дѣлами и записями.

Вводятъ подсудимыхъ. Они входятъ, сопровождаемые жандармами. Общее вниманіе сосредоточивается на нихъ. Такъ вотъ они, эти люди, которые терроризовали страну, которые приготовили покушеніе съ динамитомъ, которые взорвали часть Зимняго Дворца, императорскій поѣздъ въ Москвѣ, минировали желѣзную дорогу въ Крыму, убили князя Крапоткина, харьковскаго губернатора, участвовали въ покушеніи Соловьева и т. п.! Среди этихъ людей 3 женщины, еще молодыхъ, но некрасивыхъ. Землистый свѣтъ тюрьмы отражается на ихъ лицахъ. Мужчины бородаты, длинноволосы, нѣкоторые въ очкахъ и черныхъ сюртукахъ. Видъ у нихъ интеллигентный и они кажутся очень спокойными. Подсудимые обмѣниваются нѣсколькими словами со своими защитниками—время отъ времени, кто либо изъ подсудимыхъ проситъ пить, ему передаютъ стаканъ воды. Они вѣжливо благодарятъ. Всѣ смотрятъ, какъ они пьютъ, будто и въ этомъ у нихъ есть что нибудь необыкновенное. Протоколъ допроса, отвѣты, пре-

de Lipezk où l'attentat régicide a été discuté et projeté", demande le président.—„Oui, répond un des accusés, le régicide y a été décidé en principe, mais je ne me souviens pas si nous en avions fixé la date. Je me rappelle parfaitement que nous y avons décidé de rejeter l'attentat de Solowiew, mais en nous servant de la dynamite... on dirait la discussion d'un projet de construction, d'une bâtisse quelconque ou d'un entreprise commerciale. Pas d'aveux accompagnés de repentirs..."

...„Le procès des 16 socialistes a duré 6 jours. On croit que c'est un des derniers procès de ce genre et que le mouvement révolutionnaire est enrayé. Peut être le combat finit-il faute de combattants, peut être les mesures modératrices du comte Loris-Mélikow contribuent elles à créer une sorte de trêve. Des réformes promises, un vague espoir, qui miroite au loin, un appaisement des appétits répréssifs à outrance, la mode à la pacification qui domine depuis l'avénement au pouvoir du comte, tout ceci amène incontestablement, une situation meilleure que celle où le pays se débattait l'hiver passé. Après l'horreur des attentats est venue celle des supplices, une rage froide semblait s'être emparée des adversaires et la destruction, l'extermi-

---

нія носятъ совершенно особенный характеръ: они совершенно лишены страсти, увлеченья. Все время царитъ тонъ спокойный, дѣловой, настолько же умѣренный, насколько и сухой.—„Вы принимали участіе въ соціалистическомъ конгрессѣ въ Липецкѣ, гдѣ обсуждалось и проектировалось цареубійство?" спрашиваетъ предсѣдатель.—„Да, отвѣчаетъ одинъ изъ подсудимыхъ, цареубійство было рѣшено тамъ въ принципѣ, но я не помню, чтобъ ему былъ назначенъ день. Я отлично помню, что мы отказались отъ покушенія Соловьева, но пользуясь динамитомъ..." можно было подумать, что рѣчь шла о проектѣ сооруженія какого нибудь зданія или о торговомъ предпріятіи. Ни одного признанія, сопровождаемаго раскаяніемъ..."

...„Процессъ 16 соціалистовъ, продолжался 6 дней. Думаютъ, что это одинъ изъ послѣднихъ процессовъ въ этомъ родѣ, и что революціонное движеніе остановлено. Быть можетъ борьба кончается за недостаткомъ борцовъ, быть можетъ мягкія мѣропріятія графа Лорисъ-Меликова способствуютъ установленію рода перемирія. Обѣщанныя реформы, неясная надежда, мерцающая вдали, утоленіе жажды репрессій, доведен-

nation finale se présentait comme le seul moyen d'action. Depuis, un sentiment indéfinissable de lassitude, de courbature morale semble paralyser cette effervescence hommicide. Un dégoût, un découragement géneral a succedé aux redondantes menaces, toujours démenties par les événements, aux proclamations délirantes, à l'effarement des incapacités, à la furie des assassinats hautement avoués, à l'atrocité des supplices donnés en spectacle.

L'histoire dira un jour ce que fut pour la Russie cette époque néfaste, où une „poignée de factieux" toujours la même, toujours debout, terrorisa le pays par les entreprises d'une geurre civile latente. Mais le train des événements se déroulait avec une logique implacable. L'oeuvre d'appaisement entreprise par le Ministre de l'Intérieur actuel a porté ses fruit. Il a non pas supprimé, comme on s'est trop hâté de le dire, la fameuse III section, mais il en a brisé la suprématie en soumettant la police politique au Ministre de l'Intérieur. Il a provoqué une enquête générale, s'étendant à tous les ressorts et confiée à des sénateurs. Un changement décisif s'est produit dans les sphères de l'administration supérieure. Le comte Tolstoi avait transformé le Ministère de l'Instruction publique en un ministère de la guerre contre

---

ныхъ до крайности, мирное теченіе, которое преобладаетъ съ возвышенія графа, все это даетъ странѣ положеніе несомнѣнно лучше того, въ которомъ она билась прошлую зиму. Послѣ ужаса покушеній насталъ ужасъ казней, холодная злоба казалось овладѣла противниками, и разрушеніе, даже уничтоженіе представлялось единственнымъ средствомъ дѣйствій. Съ этихъ поръ, необъяснимое чувство усталости, нравственной разбитости видимо парализуетъ это смертоносное возбужденіе. Отвращеніе, общее уныніе послѣдовали за громогласными угрозами, которыя всегда опровергались событіями, за безумными прокламаціями, за оторопѣлостью бездарностей, за жестокостью убійствъ.

Исторія когда нибудь скажетъ, чѣмъ была для Россіи эта злосчастная эпоха, когда „горсть мятежниковъ" все одна и таже, всегда наготовѣ терроризовала страну предпріятіями скрытой гражданской войны. Но ходъ событій развертывался съ неумолимой логикой. Дѣло усмиренія, предпринятое теперишнимъ министромъ внутреннихъ дѣлъ, принесло плоды. Онъ не упразднилъ, какъ поторопились это сказать, знаменитое III отдѣленіе но онъ сломилъ его главенство, подчинивъ Государственную полицію Ми-

la jeunesse des écoles, en y introduisant les duretés implacables d'un système draconien. Une suite de désordres, réprimés par la force brutale, l'augmentation à vue d'oeil des cadres de l'émeute et toute une interminable série de suicides commis par des enfants—tels furent les résultats auxquels aboutit le comte Tolstoi. Dès que les idées de modération eurent pris le dessus, ce ministre devait tomber. Il tomba et M. Sabourow, curateur de l'Université de Dorpat, fut appelé à lui succéder. Anciennement président à la cour d'assises de Petersbourg, M-r André Sabourow y avait laissé les souvenirs les plus vivaces et les plus sympathiques. Doué d'une grande mansuétude unie à une force de caractère froide et disciplinée, M-r Sabourow avait fait preuve de beaucoup de tact dans ses rapports autant avec le corps enseignant à Dorpat, qu'avec la foule tumultueuse de la jeunesse universitaire. A la nouvelle inattendue que M-r Sabourow était nommé Ministre de la Justice, il y eut dans le pays comme une explosion de joie exaltée. Enfin, cet odieux système de haine systématique, qui traitait la jeunesse des écoles en ennemi, était renversé. On allait respirer! C'était bien fini!"

вистерству внутреннихъ дѣлъ. Онъ произвелъ генеральное разслѣдованіе, распространилъ его на всѣ вѣдомства и поручилъ сенаторамъ. Рѣшительное измѣненіе произошло въ сферахъ высшей администраціи. Графъ Толстой превратилъ министерство народнаго просвѣщенія въ министерство войны противъ учащейся молодежи, введя туда неумолимыя строгости драконовой системы. Рядъ безпорядковъ, подавленныхъ грубою силой, очевидное увеличеніе числа мятежниковъ и безконечная серія самоубійствъ среди дѣтей—вотъ результаты, къ которымъ привелъ графъ Толстой. Какъ только либеральное теченіе взяло верхъ, этотъ министръ долженъ былъ пасть. Онъ палъ, и А. А. Сабуровъ, ректоръ Дерптскаго Университета, призванъ на его мѣсто. Бывшій предсѣдатель уголовнаго суда въ Петербургѣ, А. А. Сабуровъ оставилъ тамъ самое живое и симпатичное воспоминаніе. Одаренный большимъ добродушіемъ при силѣ характера, холоднаго и дисциплинованнаго, А. А. Сабуровъ выказалъ много такта въ своихъ отношеніяхъ какъ съ учащимъ персоналомъ въ Дерптѣ, такъ и съ бурной толпой университетской молодежи. При неожиданномъ извѣстіи о назначеніи А. А. Сабурова министромъ юстиціи, въ странѣ произошелъ взрывъ восторженной радости. Наконецъ была свергнута эта ненавистная система, обращавшаяся съ учащейся молодежью, какъ съ рагомъ. Можно будетъ вздохнуть! Наконецъ-то кончилось!"

Въ первомъ отрывкѣ, — описаніе политическаго процесса, въ которомъ чувствуется больше литературности автора, больше внѣшней наблюдательности беллетриста, чѣмъ опредѣленнаго политическаго взгляда; — во второмъ отрывкѣ, надежды—неосуществившіяся впослѣдствіи—возлагавшіяся на либеральныя мѣропріятія гр. Лорисъ-Меликова,—все это вмѣстѣ взятое указываетъ, какъ далеко,—за 10 лѣтъ протекшихъ между этими процессами—ушелъ кн. Урусовъ отъ тѣхъ юношескихъ симпатій къ революціонному движенію, на которое впослѣдствіи онъ смотрѣлъ, какъ на дѣтскую болѣзнь, и за которую такъ дорого расплатился.

О причинахъ ссылки, значительно излѣчившей его отъ этой дѣтской болѣзни, обыкновенно говорилось, что заграницею, называютъ иногда Брюссель, кн. Урусовъ произнесъ гдѣ-то публично революціонную рѣчь, а затѣмъ въ Бернѣ или въ Цюрюхѣ тоже публично порицалъ наше правительство, требовавшее выдачи Нечаева, не какъ политическаго, а какъ простого уголовнаго преступника. Я не имѣю права не вѣрить этимъ слухамъ, они проникли и въ печать, приводятся напр. въ ст. Захарьина (Якунина). „Жизнь въ Москвѣ въ 70-хъ г.г.“ (Истор. Вѣстн. 1902. XI). Не имѣю основанія отрицать и вмѣшательство кн. Урусова въ вопросъ о выдачѣ Нечаева. Лицо, которое близко стояло къ кн. Урусову послѣ его ссылки, слышало отъ него лично, что Швейцарское союзное правительство, запрашивало его по этому вопросу, и онъ не могъ не высказаться. Тѣ оффиціальныя данныя, на которыхъ Е. А. Пушкинъ основываетъ свой разсказъ объ этомъ событіи даютъ ему слѣдующее объясненіе. Оказывается, что административная кара была рѣшена на основаніи, какъ полицейскихъ донесеній, такъ и результатовъ того обыска, которымъ кн. Урусовъ былъ напуганъ. Полиція имѣла основаніе быть недовольной кн. Урусовымъ: онъ сдѣлалъ своею спеціальностью въ адвокатской практикѣ нападки на ея произволъ, подкупность и незаконныя дѣянія: его

защита кондитера Морозкина и купца Бутикова, обвинявшихся въ оскорбленіи полиціи, надолго осталась у всѣхъ въ памяти необыкновеннымъ остроуміемъ, съ которымъ онъ вышучивалъ и осмѣивалъ оскорбленныхъ блюстителей закона. Этой спеціальностью онъ нажилъ себѣ въ данной средѣ опасныхъ враговъ; они тщательно слѣдили за его словами, улавливая въ нихъ революціонный или антиправительственный смыслъ. Оно въ то время было и не трудно: „это было такое время, пишетъ Е. А. Пушкинъ (см. выше стр. 105), когда никто не стѣснялся—а Александръ Ивановичъ меньше, чѣмъ кто-либо — въ громкомъ порицаніи всѣхъ дѣйствій администраціи, бывшихъ или казавшихся не либеральными или нарушающими законъ, строгое храненіе котораго всѣмъ представлялось прочно установленнымъ со введеніемъ въ дѣйствіе новыхъ судебныхъ порядковъ“. Естественно, что все это могло служить признакомъ политической неблагонадежности. А затѣмъ когда въ Нечаевскомъ процессѣ кн. Урусовъ проявилъ щедрость и любезность по отношенію къ осужденнымъ, то это поставилось ему въ серьезную вину. „Александръ Ивановичъ (см. стр. 106), тронулся горькою участью одного изъ нихъ, нѣкоего князя Ч., которому предстояла ссылка въ Сибирь, и при свиданіи съ нимъ въ Москвѣ успѣлъ передать ему 25 р., причемъ обнялъ его и поцѣловалъ. Ч. былъ этимъ очень тронутъ и въ благодарность за полученное вспомоществованіе написалъ Александру Ивановичу письмо, въ которомъ, высказывая ему свои взгляды на способъ веденія революціоннаго дѣла въ Россіи, убѣждалъ его принять на себя въ Москвѣ ту-же роль руководителя молодежи, которую въ Петербургѣ игралъ Чернышевскій. Копіи этого письма какимъ-то образомъ получили распространеніе среди учащейся молодежи и содержаніе его скоро сдѣлалось извѣстнымъ полиціи, вслѣдствіе чего въ маѣ мѣсяцѣ у Александра Ивановича былъ произведенъ обыскъ“... Дознаніе, произведенное по этому дѣлу, было передано на разсмотрѣніе министровъ Внутреннихъ дѣлъ и Юстиціи и

участь Александра Ивановича была рѣшена. Тотчасъ по возвращеніи въ Москву онъ былъ арестованъ и высланъ въ Венденъ — маленькій лифляндскій городокъ, принадлежащій фамиліи гр. Сиверсъ, когда то владѣтельныхъ феодаловъ мѣстечка.

Странныя шутки любитъ шутить русская жизнь: кн. Урусовъ разсказывалъ намъ, что два раза онъ неодинаково торжественно въѣзжалъ въ Венденъ: одинъ разъ въ сопровожденіи жандарма, въ качествѣ ссыльнаго, а другой разъ черезъ нѣсколько лѣтъ въ свадебномъ поѣздѣ въ качествѣ шафера своей сестры, выходившей замужъ за гр. Сиверса.

IV.

Имѣлъ-ли однако же и въ ту пору кн. Урусовъ тѣ убѣжденія, которыя ему приписывали участники Нечаевскаго процесса и могъ-ли онъ мечтать о роли, какая ему предназначалась въ письмѣ кн. Ч.? Думаю, что нѣтъ. Симпатизируя революціонерамъ, какъ энтузіастамъ и идеалистамъ, онъ могъ сочувствовать и убѣжденіямъ ихъ, но никакъ не ихъ дѣятельности. Возможно, что ему льстило ихъ довѣріе, ихъ желаніе видѣть его руководителемъ молодежи, но наврядъ-ли могло его прельщать агитаторство, тайная пропаганда и т. п.; не потому что, какъ онъ говоритъ, онъ былъ эпикуреецъ и семейный обезпеченный человѣкъ, т.-е. попросту— эгоистъ; а потому что эта дѣятельность требовала иной, чѣмъ у него, природы и иныхъ вкусовъ. Какъ въ судебныхъ рѣчахъ своихъ, касаясь общественныхъ вопросовъ, онъ являлся ораторомъ — публицистомъ, такъ и на болѣе широкой аренѣ, онъ могъ-бы стать крупной силой въ явной,—а никакъ не въ тайной—политической борьбѣ и могъ-бы занять тамъ опредѣленную позицію подъ знаменемъ авторитетнаго вождя. Онъ самъ признавался, на своемъ юбилеѣ, что общественная борьба, какую онъ велъ, была у него дѣломъ только строптиваго нрава, унаслѣдованнаго отъ отца. У него протестъ противъ самовластья, насилія

не коренился въ глубинѣ его нравственнаго существа, изъ котораго вытекаютъ обыкновенно руководящія начала жизни: протестъ его былъ дѣломъ независимаго ума и той свободолюбивой фантазіи, которая, при легко-возбуждаемомъ темпераментѣ, составляетъ строптивость и своенравіе непокорныхъ натуръ. Увлекательность, задоръ, духъ противорѣчія, желаніе поражать и удивлять людей, а съ тѣмъ вмѣстѣ и привлекать ихъ симпатіи,—все это какъ нельзя болѣе совмѣщается со строптивостью, и все это мы знали у кн. Урусова, какъ собесѣдника, литератора, оратора. Оно давало популярность и блескъ его дарованіямъ, но не оно даетъ власть и создаетъ авторитетъ. Если революціонная молодежь и могла принять кн. Урусова за единомышленника, если и самъ онъ мысленно шелъ по пути освободительныхъ реформъ дальше, чѣмъ шло наше правительство, если, наконецъ онъ могъ горячо увлекаться, входя въ чувства и желанія обвиненныхъ и осужденныхъ, — то все-таки онъ не имѣлъ съ ними той внутренней связи, которая побудила-бы его къ революціонной дѣятельности. Политика тайныхъ обществъ, говоритъ онъ, отталкивала его своею „деспотическою дисциплиною“; но и вообще его природа трудно мирилась съ какою-бы то ни было опредѣленною доктриною и трудно подчинялась дисциплинѣ какого-бы то ни было кодекса. Онъ многое понималъ, многому въ жизни сочувствовалъ, многимъ увлекался, но ничему не умѣлъ отдаваться сполна и навсегда. Поэтому онъ и могъ откровенно признаваться, что не имѣлъ убѣжденій, т.-е. тѣхъ общихъ взглядовъ, которые даютъ не только строго опредѣленную цѣль жизни, но и соотвѣтствующую ей программу дѣйствій. Тѣмъ не менѣе, — или быть можетъ, даже въ силу этой широты взглядовъ, — онъ навсегда остался вѣренъ тѣмъ прогрессивнымъ воззрѣніямъ, которыя съ молоду внушены ему были всѣмъ образованіемъ его и духомъ его времени. Ссылка только научила его тому, что этимъ свободнымъ началамъ нѣтъ мѣста въ жизни нашего общества. Ссылка

сломила задоръ мальчишества, рѣзкость и крикливость либерализма. Она дала понять всю силу существующаго строя, силу „каменнаго лагеря“, который правитъ нашей жизнью, и навсегда отбила охоту отъ активнаго противодѣйствія этой силѣ на почвѣ общественно-политической.

Существованіе въ Венденѣ было очень строгимъ наказаніемъ для человѣка общительнаго, привыкшаго къ той широкой жизни, которую кн. Урусовъ велъ въ Москвѣ. Къ сожалѣнію у меня очень мало данныхъ, чтобъ составить себѣ ясное представленіе о настроеніяхъ и времяпровожденіи кн. Урусова въ Остзейскомъ Краѣ. Онъ былъ слишкомъ молодъ, чтобъ уйти въ семейную жизнь и въ тѣ кабинетныя, литературныя занятія, которыми онъ пытался наполнить свой досугъ въ Венденѣ. Живя въ домѣ городского головы, съ которымъ онъ и семья его навсегда сохранили самыя дружескія отношенія, А. И. разгонялъ свою тоску и изученіемъ латышскаго языка, и переводами изъ Раблэ,—слѣды которыхъ остались въ его бумагахъ,— а главнымъ образомъ, кажется, перепискою съ друзьями и хлопотами объ смягченіи наказанія.

Къ этому времени относится одинъ автографъ Щедрина-Салтыкова, которому кн. Урусовъ писалъ изъ Риги по поводу пьесы пріятеля своего Антропова. *)

„Письмо Ваше, многоуважаемый князь, застало меня на самомъ отъѣздѣ въ Москву и въ деревню. Сейчасъ уѣзжаю и спѣшу отвѣтить. Антроповъ доставилъ намъ свою комедію, но она такъ слаба, что даже на сценѣ не имѣла успѣха. Вообще мы съ драмами очень осторожны и, кромѣ Островскаго, принимаемъ неохотно. Очень радъ, что Вы сдѣлались семьяниномъ и отъ души желаю, чтобы искусъ Вашъ кончился. Времена трудныя.

Крѣпко жму Вашу руку, остаюсь искренно Вамъ преданный

М. Салтыковъ.“

---

*) О литературной дѣятельности Антропова см. его некрологъ Т. I, стр. 458.

Помѣщаемъ кстати и другой автографъ Щедрина-Салтыкова, относящійся къ болѣе позднему времени, когда кн. Урусовъ встрѣтился съ сатирикомъ въ Парижѣ.

„Многоуважаемый князь,

я два дня сряду приходилъ къ Вамъ, но безъ карточки. Вчера Вамъ ходили даже докладывать (это было около 11½ часовъ), но, вѣроятно, Вы предположили, что пришелъ какой нибудь рефюжье. Если Вы свободны въ воскресенье вечеромъ, то возьмите билеты въ fauteuils d'orchestre на La biche au bois (th. Porte St. Martin) и увѣдомьте меня. Но надо взять билеты завтра. Ближе 4-го ряда не берите. Location въ 5 часовъ запирается. Я все еще боленъ и съ трудомъ хожу. Но будетъ же конецъ этому.

Весь Вашъ

М. Салтыковъ.

16 сентября.

Если сами не поѣдете, то и для меня не берите билета. Ибо похабство — это такая вещь, которая требуетъ обмѣна мыслей.“

Жизнь въ Ригѣ, куда кн. Урусовъ былъ переведенъ послѣ усиленныхъ хлопотъ матери, была разнообразнѣе. Тутъ былъ театръ, записнымъ посѣтителемъ котораго и рецензентомъ въ русской газетѣ не могъ не сдѣлаться А. И.; были и нѣмецкія газеты, въ которыхъ онъ также сотрудничалъ, хорошо владѣя нѣмецкимъ языкомъ; былъ клубъ, гдѣ онъ сталъ страстнымъ шахматнымъ игрокомъ; было чопорное общество нѣмецкихъ бароновъ, къ которому онъ принадлежалъ по родственнымъ связямъ; былъ неменѣе чопорный кругъ бюргеровъ, въ которомъ долго спустя хранилась память о веселыхъ и вольныхъ нравахъ русскаго князя. На почвѣ своихъ служебныхъ отношеній (кн. Урусовъ былъ прикомандированъ къ канцеляріи губернатора) онъ не могъ не проявить той строптивости, иногда игривой и веселой, иногда и крайне задорной, дерзкой, которая въ залѣ суда навлекала на него замѣчанія предсѣдателя, а въ канцеляріи начальника края могла совершенно испор-

тить его чиновничью карьеру. Отзываясь на общественныя событія, кн. Урусовъ больше считался съ своими личными взглядами и убѣжденіями, чѣмъ съ видами и усмотрѣніями начальства. Такъ, въ 1873 г. онъ помѣстилъ въ „Рижскомъ Вѣстникѣ“ статью о голодѣ въ Самарѣ: онъ предлагалъ основать въ Ригѣ Комитетъ для сбора пожертвованій и привлечь въ этотъ Комитетъ представителей всѣхъ національностей края. Предложеніе было встрѣчено прессой сочувственно; Комитетъ былъ образованъ подъ почетнымъ предсѣдательствомъ лифляндскаго губернатора; въ бумагахъ А. И. сохранился экземпляръ подписного листа и „Воззваніе о помощи голодающимъ въ Самарской губерніи“, на русскомъ, нѣмецкомъ и латышскомъ языкѣ. На „Воззваніи“ рукой кн. Урусова сдѣлана помѣтка: „За это дѣло я былъ высланъ изъ Риги въ Венденъ“.

Состоять на государственной службѣ ему было трудно, не служить невозможно. Позже, устроившись въ Варшавѣ, гдѣ онъ былъ товарищемъ прокурора, онъ писалъ одному родственнику: Je suis installé, casé, fixé à Varsovie. Je Vous envoie une carte à moi pour Vous montrer que j'ai fait peau neuve, comme les serpents dont je dois—quoique un peu tard—imiter la sagesse. C'est très facile pendant qu'on n'est pas obligé de ramper. Peut être, que les serpents ne sont aussi sages que parce qu'ils rampent à plat-ventre. Nous, c'est difficile. (Посылаю Вамъ карточку, чтобы Вы могли видѣть, что я перемѣнилъ кожу, какъ змѣя, которой я долженъ — хоть и поздненько! подражать въ мудрости. Это— легко, пока не приходится ползать. Быть можетъ, змѣи оттого и мудры, что ползаютъ на животѣ. Намъ это — трудно.) Поступленіе на государственную службу часто ставилось въ упрекъ кн. Урусову, какъ ренегатство, какъ измѣна убѣжденіямъ. А между тѣмъ, это — былъ единственный выходъ изъ того ложнаго положенія, въ которое онъ былъ поставленъ, зачисленный по недоразумѣнію въ революціонеры, близости съ которыми у него быть не могло. Перейдя въ прокуратуру, онъ оставался на

службѣ того-же правосудія, гдѣ только и могли примѣниться его таланты и познанія. Въ Варшавѣ популярности его содѣйствовала не только обаятельность его дарованій, но и отсутствіе національныхъ предразсудковъ. Позже, въ 1899 г., кн. Урусовъ такъ въ одномъ письмѣ (въ редакцію польской газеты, по поводу юбилея Пушкина) формулировалъ свои взгляды: „Я всегда принадлежалъ къ числу тѣхъ русскихъ людей, для которыхъ племенная ненависть представляетъ невозможную форму патріотизма. Любя свой народъ и свое отечество, я не могъ не горевать, видя, какъ внутренніе раздоры и междоусобія, дикія расовыя озлобленія и лицемѣрное варварство выдаются за истинную мудрость „истинно-русскихъ“ людей. Такія теоріи несомнѣнно выгодны,—но только не для государства.“ Изъ Варшавы кн. Урусовъ былъ переведенъ въ 1878 г. товарищемъ прокурора въ Петербургъ. Возвращеніе въ сословіе присяжныхъ повѣренныхъ, о которомъ онъ хлопоталъ, разрѣшено ему было не сразу. „Послужите, сказалъ ему тогдашній министръ, гр. Паленъ, на просьбу его объ отставкѣ, успѣете еще нажиться.“ Только въ 1881 г., при гр. Лорисъ-Меликовѣ, онъ вернулся къ адвокатурѣ.

Но вернулся онъ безъ прежнихъ иллюзій: и ссылка, и государственная служба значительно усилили природный скептицизмъ его и воспитали политическій индифферентизмъ, къ которому онъ и раньше былъ склоненъ. Жизнь шла впередъ, унося одни понятія, вырабатывая другія. Кн. Урусовъ шелъ вмѣстѣ съ жизнью. Излюбленныя выраженія временъ его молодости—„свѣтлая личность“, „честное направленіе“ и т. п.—приняли для него подъ конецъ оттѣнокъ чего-то комичнаго, устарѣлаго, сданнаго въ архивъ. На вопросъ, какъ перевести по-французски „свѣтлая личность“ онъ однажды иронически замѣтилъ: le monsieur chic. Измѣняясь съ годами, но ничему существенному въ себѣ не измѣняя, кн. Урусовъ утрачивалъ постепенно свои иллюзіи, замѣняя ихъ насмѣ-

шливымъ недовѣріемъ ко всѣмъ проявленіямъ нашей общественности. Въ набросках его 1880 г. есть интересный отрывокъ: „Адвокатура, пишетъ онъ, была привлекательна, пока существовали иллюзіи! возстановленіе нарушенныхъ правъ — охрана личности отъ посягательствъ произвола—защита, оборона правъ отъ безправія—иллюзіи эти значительно опали, осѣли, какъ зданіе изъ сахара, воздвигнутое на фундаментѣ изъ взбитыхъ сливокъ. Гранитъ этого правосудія оказался тортомъ, а мраморъ—марципаномъ. Часть адвокатовъ, наибольшая, устремилась рѣзвымъ аллюромъ за наживою. Часть ушла за кулисы, стала торопливо ковать рубли и ефимки изъ людской глупости. Часть—пропала даромъ, познакомилась съ мѣстами, куда, по знаменитому выраженію, „Макаръ телятъ не гонялъ“, но гдѣ, по другому, не менѣе знаменитому, всетаки „на бѣднаго Макара шишки валятся.“ — Когда А. И. самъ вернулся въ сословіе присяжныхъ повѣренныхъ, онъ испыталъ новыя разочарованія, сильно, болѣзненно его огорчившія. Люценское дѣло 1885 г., гдѣ онъ искреннѣйше былъ убѣжденъ въ невинности защищаемыхъ имъ евреевъ, сперва оправданныхъ, а потомъ осужденныхъ за убійство христіанской дѣвушки,—разрушило его послѣднія иллюзіи. Давленіе администраціи на правосудіе стало слишкомъ очевидно. Разочарованія и жизненныя испытанія сказались и на его краснорѣчіи.

Е. А. Пушкинъ утверждаетъ, что послѣ прокуратуры, въ защитительныхъ рѣчахъ А. И. не было прежней смѣлости и той убѣжденности въ справедливости своихъ доводовъ, которая такъ сильно дѣйствовала на умы слушателей. Въ характерѣ его съ теченіемъ времени произошла другая перемѣна: всѣ, кто зналъ кн. Урусова въ Москвѣ до 72 года и встрѣчалъ его потомъ, могли замѣтить, сколько прибавилось у него мягкости, терпимости и добродушія и сколько исчезло задору, веселости и беззаботности. При установившемся въ немъ скептицизмѣ и индифферентизмѣ, кн. Урусовъ не перешелъ подобно многимъ

въ крайность, противоположную его прежнимъ воззрѣніямъ, онъ не перешелъ въ тотъ лагерь торжествующаго циническаго оппортунизма и не заразился тѣми „патріотическими“ вѣяніями, которыя несли съ собою расовую нетерпимость, лакейское подобострастіе и т. п. А за это-то на него и сыпались изъ этого лагеря злыя и гнусныя насмѣшки, поддерживаемыя и распространяемыя всѣми, въ комъ онъ умѣлъ возбудить непріязнь или зависть къ себѣ. Къ тому же клевета, усердно распространяемая, какъ это было и въ молодость его въ Москвѣ, часто получала въ силу его характера, и нѣкоторое подобіе истины: онъ никогда не боялся казаться хуже, чѣмъ былъ въ дѣйствительности; кн. Урусовъ имѣлъ не только рѣдкое у насъ мужество своего мнѣнія, но и мужество еще болѣе рѣдкое своихъ вкусовъ и симпатій. Много насмѣшекъ и пошлыхъ инсинуацій со стороны нашихъ „патріотовъ“ вызывало, напримѣръ, его пристрастіе къ французскому языку и къ моднымъ теченіямъ французской литературы. Выступленіе же его въ Парижѣ, въ Судѣ, гдѣ онъ защищалъ романиста и памфлетиста Леона Блуа, (см. выше, стр. 229) создало часто повторявшееся недоброжелателями А. И. насмѣшливое словцо: le prince-avocat не былъ для парижанъ le prince des avocats. Но и это словцо было только видоизмѣненіемъ той фразы, которую кн. Урусовъ написалъ на своей карточкѣ, подаренной имъ Ж. Фавру. (См. выше, стр. 246) Онъ будто-бы не имѣлъ на Судѣ никакого успѣха и рѣчь его, гдѣ онъ щегольнулъ знаніемъ и французскаго языка, и французскихъ законовъ, была будто-бы длинна, скучна, полна претензій: это невѣрно. Успѣхъ былъ, но, конечно, не такой, какой могъ бы дать процессъ крупнаго общественнаго значенія. Дѣло шло о печатной сплетнѣ, о перебранкѣ двухъ литераторовъ второстепеннаго достоинства, принадлежавшихъ къ одному и тому же лагерю мистически настроенныхъ католическихъ писателей. Съ Л. Блуа, необычайно дерзкимъ, ожесточеннымъ ругателемъ, при томъ же очень нуждавшемся, кн. Урусова познакомилъ Юис-

мансъ, (см. выше стр. 226) самъ перешедшій въ литературѣ изъ крайностей натуралистической школы, которую всегда высоко ставилъ кн. Урусовъ, въ крайность католическаго мистицизма. Какъ защитникъ дерзкаго пасквилянта, кн. Урусовъ оказался хорошо освѣдомленнымъ нетолько во французскомъ законодательствѣ, но и въ тѣхъ литературныхъ явленіяхъ современности, о которыхъ шла рѣчь. Газеты цитировали нѣсколько мѣткихъ словечекъ, которыми русскій адвокатъ характеризовалъ С. Пеладана, противника его кліэнта, „который разрабатываетъ порнографическую жилку, сказалъ онъ, и приправляетъ ее соусомъ магіи, мистицизма и католицизма.“ Дѣло кн. Урусовъ выигралъ: Л. Блуа былъ оправданъ. Вотъ какъ онъ самъ писалъ объ этомъ процессѣ одному пріятелю, поздравившему его съ блестящимъ успѣхомъ: „судъ и адвокатура отнеслись ко мнѣ съ почти-трогательнымъ участіемъ: верхъ учтивости, достигающей полнаго сходства съ сердечной добротой! Два дня извѣстности въ Парижѣ... вотъ самая яркая страница моей оканчивающейся карьеры. Я привезъ съ собой до полсотни газетъ и до пресыщенія насладился комплиментами. „Новое Время“ было бы совершенно право, если бы замѣтило недостатки моей рѣчи, страдавшей скомканностью слишкомъ густо-напичканнаго матеріала и наивнымъ педантизмомъ, которымъ я такъ часто хвораю! Репортеръ ничего не понялъ въ дѣлѣ и далъ такіе глупые совѣты, (напр. слѣдовало выбрать легкій шутливый тонъ!!), что ничего нельзя извлечь изъ нихъ полезнаго. Замѣчу, что никто изъ адвокатовъ не вышелъ изъ залы во время рѣчи.“

Адвокатура съ утратой своего общественнаго значенія, никогда не переставала интересовать кн. Урусова. Онъ горячо любилъ свою профессію, любилъ въ ней и трудъ, дающій средства къ независимости, и привычное занятіе, сродное природѣ его дарованій, и возможность быть полезнымъ въ этой спеціальной сферѣ интересовъ. Но профессіональная дѣятельность какъ адвоката, такъ и проку-

рора не поглощала всѣхъ его умственныхъ силъ. Много времени онъ отдавалъ театру, литературѣ. Въ его бумагахъ сохранилось много набросковъ и памятныхъ листковъ, указывающихъ на оживленное общеніе съ редакціями и литературными кружками. Приведемъ два шутливыхъ стихотворенія. Въ отвѣтъ на приглашеніе въ стихахъ редакціи „Молвы“ къ обѣду 8-го октября 1879 г. кн. Урусовъ отвѣчалъ такъ же стихами:

„Изъ дальнихъ странствій возвратясь,“
Изъ нѣдръ блестящаго Парижа,
Въ суровый Питеръ въ дождь и грязь,
— Друзья Молвы! Я снова васъ увижу.
На пиръ осьмого октября
Приду, желаніемъ горя,
Дабы тотъ „пиръ“ по блеску и по тону
Достоенъ былъ Эрнеста—и Платона.“

Другой разъ, изъ той же редакціи, въ декабрѣ 1879 г. Д. Минаевъ послалъ слѣдующее приглашеніе съ нелишенными интереса политическими намеками.

„Пока въ Россіи запрещенья,
Нѣтъ на ѣду—Творцу хвала!
Въ Медвѣдь „безъ страха и сомнѣнья“
Васъ просимъ пятаго числа
Обѣдать, съѣсть двѣ-три тартинки
И скромно выпить за печать
(Ужъ намъ ли „Маковой росинки“
На языкѣ не ощущать?)
Усѣвшись чинно у прибора
Безъ смутъ—уставъ цензурный зри!—
Мы подъ „надзоромъ прокурора“
Проговоримъ часа два, три.
Затѣмъ, post scriptum: на обѣдѣ
Въ „Медвѣдѣ“ будете, иль нѣтъ—
Васъ съ быстротой извѣстной „Леди“
Заранѣ просимъ дать отвѣтъ.“

Отвѣтъ послѣдовалъ въ слѣдующей формѣ.

„Изъ засѣданія С.-Петербургской Судебной Палаты, Исправляющій должность товарища прокурора палаты:

Балуясь риѳмой по приказу
Молвѣ спѣшу я дать отвѣтъ
И извѣщаю комитетъ,
Что въ среду, снова, безъ отказу,
Не проманкировавъ ни разу,
Приковыляю на обѣдъ.“

Вообще кн. Урусовъ любилъ баловаться стихами, и оставилъ въ своихъ бумагахъ листъ подъ заглавіемъ „Стишонки А. И. Урусова“, на которомъ, кромѣ вышеприведеныхъ отрывковъ, помѣщены его эпиграммы разныхъ годовъ, въ томъ числѣ, кромѣ той—на Д. Д. Г—ва, которую цитируетъ въ своихъ воспоминаніяхъ Е. А. Пушкинъ, (См. выше, стр. 101) двѣ особенно нравившіяся въ свое время (60-хъ г.г.). Одна на извѣстную картину Флавицкаго „Княжна Тараканова.“

Такъ, въ казематахъ изнывая,
Въ борьбѣ со властью роковой
За вольность, мысль и край родной
Россія гибнетъ молодая.

И другая, популярная въ театральныхъ кружкахъ, на артиста В—е. „Новообращенному“.

Повѣрь мнѣ, нѣмецъ аматёръ,
Цѣнить умѣемъ мы таланты:
Хоть право—славный интриганъ ты,
Но право—скверный ты актеръ.

Въ это время кн. А. И. Урусовъ сотрудничалъ во многихъ русскихъ и иностранныхъ изданіяхъ, перечень которыхъ находимъ также въ его бумагахъ. Вотъ этотъ перечень: Comédie humaine, Прогрессъ, Порядокъ, Русскія Вѣдомости, Herold, Современныя Извѣстія, Молва. Фель-

етоны *) Порядка пользовались живѣйшимъ успѣхомъ, и кн. Урусовъ сталъ тогда въ 81 г. замѣтною величиною въ кругу Петербургскихъ литераторовъ. Его живость, разносторонность, отзывчивость, при несомнѣнномъ талантѣ и любви къ литературѣ намѣчали въ немъ виднаго дѣятеля журналистики: онъ сталъ замышлять ежемѣсячный журналъ „Новое Обозрѣніе“ который и началъ издавать вмѣстѣ съ Коропчевскимъ. Но журналъ прекратился на первыхъ же книжкахъ: катастрофа 1-го Марта 1881 г. много измѣнила въ общественномъ настроеніи и редакція распалась. Яркое примѣненіе своимъ талантамъ нашелъ кн. Урусовъ позже въ 1888—1889 годахъ въ кружкахъ, гдѣ читались и обсуждались рефераты по русской и иностранной литературѣ. Тутъ онъ могъ проявить блескъ своего словеснаго дарованія, свои познанія и начитанность. Въ бумагахъ его сохранились отъ этихъ вечеровъ тѣ листы, на которыхъ во время чтенія реферата и дебатовъ онъ набрасывалъ и свои замѣчанія и наблюденія надъ присутствующими, чертилъ всякія арабески, иногда портреты-каррикатуры и т. п. Все это настолько неразборчиво и отрывочно, что возсоздать картину такого вечера могъ бы только онъ самъ или членъ собранія, обладающій хорошей памятью. Что А. И. былъ опаснымъ собесѣдникомъ нетолько по силѣ своей аргументаціи, но и по опредѣленности вкуса и по безпощадности своихъ критическихъ приговоровъ, видно, напримѣръ, по одному наиболѣе удобочитаемому изъ его набросковъ 27 марта 1889 г. Референтъ „являлъ видъ какого-то большаго упитаннаго павлина безъ хвоста, но съ птичьимъ гоготаньемъ вмѣсто голоса. Жирный, рослый и румяный съ превосходной черной шевелюрой надъ румянымъ лицомъ, онъ картавя, читалъ о какомъ-то „таму'ахѣ“. Дѣйствіе происходитъ въ древнѣйшемъ Иранѣ—какіе-то жертвенники — жрецы. Всѣ дѣйствующія лица говорятъ

*) См. стр. 229 и слѣд., т. I.

плохими стихами безъ всякаго стиля. Хотя сюжетъ по увѣренію румянаго пессимиста заимствованъ изъ Зендъ-Авесты, но восточнаго въ стилѣ ни слѣда. Персонажи говорятъ какимъ-то безцвѣтнымъ языкомъ, болѣе всего напоминающемъ благородный паѳосъ Гербеля. Чтецъ онъ плохой, монотонный. Какой-то эмфазъ неувѣренный.—Непонятно — кто — что — о чемъ. Замѣчанія гр. Г. К. о выборѣ сюжета. Авторъ выражаетъ, что отдаленіе не измѣняетъ общечеловѣческихъ идей.—Вопросъ о стилѣ. Мои возраженія: человѣка нѣтъ—общечеловѣка нѣтъ.—Мысли и чувства не сущность... Колоритъ — Саламбо — Пуническ. войны".

Въ 1889 году кн. Урусовъ переѣхалъ на постоянное жительство въ Москву. Здѣсь, на родинѣ, хотѣлъ онъ доживать свой вѣкъ, въ собственномъ домѣ, расположивъ свою обширную библіотеку, окруживъ себя своими сувенирами, трофеями, разными коллекціями, портретами, картинами и т. п. Обзавелся онъ и „подмосковной", имѣніемъ-дачей, гдѣ съ увлеченіемъ—особенно въ первый годъ „въ медовый мѣсяцъ обладанія землей", какъ онъ выражался,—принялся за миніатюрное хозяйство. Извнѣ казалось, что жизнь его складывалась мирно, старость надвигалась незамѣтно... онъ много и регулярно работалъ, освоился съ своею болѣзнью... „усталость—вотъ что выдѣляетъ жизнь, усложненная психологическими комбинаціями", писалъ какъ-то А. И. объ эту пору своему старому пріятелю, а жизнь его не бѣдна была всяческими осложненіями и онъ на многихъ, при своемъ водвореніи въ Москвѣ, производилъ впечатлѣніе усталаго, пресыщеннаго, скучающаго и безцѣльно брюзжащаго... Но это впечатлѣніе было обманчиво; онъ производилъ его тогда, когда извнѣ ничто не возбуждало его жизнедѣятельности, когда онъ чувствовалъ себя непонятымъ, среди обстановки и людей, чуждыхъ его вкусамъ и симпатіямъ. А въ Москвѣ онъ не находилъ той среды, къ которой онъ привыкъ въ С.-Петербургѣ, не находилъ литературныхъ кружковъ, гдѣ

бы изящная литература цѣнилась внѣ всякаго ея публицистическаго или педагогическаго значенія; Флобером мало кто интересовался. Къ театру А. И. охладѣлъ; только увлеченія талантомъ Дузе и игра М. Н. Ермоловой — въ тѣхъ пьесахъ, которыя не противорѣчили его литературнымъ вкусамъ — воскрешали въ немъ иногда прежняго театрала.

Въ 1891 г. на одномъ спектаклѣ, а затѣмъ въ кружкѣ восторженныхъ поклонницъ Дузе, я случайно познакомилась съ кн. Урусовымъ и онъ сдѣлался частымъ и всегда желаннымъ гостемъ, въ нашемъ домѣ, гдѣ лично знали и любили Дузе, гдѣ водились книги Флобера и гдѣ была смѣшливая женская молодежь, всегда весело привѣтствовавшая всякую остроту, всякое мѣткое словцо А. И. Частыя его посѣщенія не мало удивляли тѣхъ, кто не близко зналъ кн. Урусова, и не зналъ сколько въ этомъ пресыщенномъ человѣкѣ, такъ много на своемъ вѣку пережившемъ и страстей, и увлеченій, таилось еще искренности, свѣжести чувства и семейственной отеческой нѣжности. Пора безпутной молодости давно миновала; но отъ нея осталась нетолько большая впечатлительность и способность увлекаться, но и большое знаніе людей и жизни, огромный житейскій опытъ, которымъ общительный и словоохотливый собесѣдникъ такъ же любилъ дѣлиться съ молодыми друзьями, какъ и литературными своими вкусами. Видя его въ кругу молодежи и слушая его оживленную болтавню, трудно было опредѣлить возрастъ этого 50-лѣтняго человѣка, надломленнаго болѣзнью, съ которой онъ боролся уже столько лѣтъ. Говорилъ-ли онъ о хозяйственныхъ пустякахъ — вродѣ изготовленія изъ яблоковъ пастилы „кондитера А. Урусова“, или о сохраненіи овса въ металлическомъ ящикѣ, гдѣ вдругъ — въ силу непонятнаго самозарожденія—оказываются мыши, или разсказывалъ свои впечатлѣнія отъ выставки картинъ, отъ новаго романа или новой пьесы — все говорилось съ такимъ „brio“, съ такимъ искреннимъ увлеченіемъ, что мож-

но было только дивиться этой молодости и радоваться на художественность формы, въ которую отливалась это отзывчивость. Не забуду, напр., какъ мастерски онъ передалъ мрачное впечатлѣніе отъ драмы Метерлинка „Слѣпые“, тогда только что прогремѣвшей во Франціи. И о чемъ бы онъ ни говорилъ, во всякій пустякъ и во всякую шутку онъ вносилъ свой особый интересъ — не поддававшійся объясненію.

Помѣщенныя выше письма его ко мнѣ, передаютъ отчасти тѣ оттѣнки юмора, шутливости и ироническаго отношенія къ своей болѣзни, которыми такъ богата была его устная рѣчь. Но живя въ одномъ городѣ, часто видаясь, то мелькомъ, то подолгу, онъ не велъ съ нами той продолжительной, интимной переписки, по поводу которой писала мнѣ одна изъ его корреспондентокъ, въ отвѣтъ на приглашеніе дать его письма къ ней для напечатанья, или составить по нимъ свои воспоминанья.

„Постараюсь“, пишетъ она, отказавшись дать самыя письма по многимъ причинамъ, „выбрать все чисто литературное и общее изъ его писемъ, хотя это мнѣ представляется просто святотатствомъ, потому что до такой степени въ этихъ письмахъ, очаровательныхъ по формѣ, все переплелось: шутки и серьезныя мысли; личное и общее; маленькія остроты и насмѣшки, относящіяся до какихъ нибудь устныхъ разговоровъ, и потому понятныя только 2-мъ корреспондентамъ, и нуждающіяся въ сильныхъ комментаріяхъ для постороннихъ, — и чисто лирическія страницы, относящіяся до глубокой жизни писавшаго“... Вы, продолжаетъ она, „легко можете себѣ представить эту смѣсь настроеній и выраженій въ его письмахъ, и знаете, какъ онъ очаровательно писалъ, особенно по французски (почти всѣ его письма ко мнѣ написаны на этомъ языкѣ) но Вы также поймете, что эти письма не могутъ быть напечатаны, какъ они ни характеристичны для автора ихъ... Это документы душевныхъ настроеній величайшей цѣнности. Какъ другъ А. И. — если это не самонадѣянно,

такъ сказать—скажу что это зеркальное отраженіе его личности, безконечно мнѣ дорогой. Какъ женщина скажу, что если бы я его не знала, то могла бы по письмамъ влюбиться въ него,—но... это не для печати".

Нерѣдко мы видали кн. Урусова настолько больнымъ, что пропадало все его оживленіе. Тогда онъ входилъ, опираясь на палку, тяжело ступая больными ногами, съ тусклымъ взглядомъ и безжизненнымъ лицомъ, черезъ силу опускался въ кресло, чрезъ силу и поднимался, упоминалъ про свой приступъ невральгіи, но не жаловался,—потомъ мы узнали отъ его семейныхъ, до чего страданія его бывали жестоки — и старался вызвать какой-нибудь разсказъ или разговоръ, лишь бы не говорить самому. Потомъ заинтересуется чѣмъ-нибудь, опять оживится, опять шутитъ, опять строитъ планы чтенія на сегодня, на завтра. А если не разговорится, морщится, морщится, вздохнетъ и скажетъ уходя: „Да, смерть грѣшниковъ люта." Скажетъ полушутя, полусерьезно, но звучитъ это очень горько. Въ такія минуты онъ казался на много-много лѣтъ старше своего возраста, и такъ становилось понятно, что нетолько здоровье и веселость молодежи, сочувствіе ея и участіе къ нему, но даже не свои стѣны, не свои люди легче, чѣмъ привычная домашняя обстановка могли разогнать хандру тяжело больного старика. Угрюмость и нелюдимость проявились у него только въ послѣдній періодъ его болѣзни, въ послѣдній годъ его жизни, когда онъ сталъ глохнуть и оглохъ окончательно, но и тогда онъ упорно боролся съ собой и со своими мрачными настроеніями, призывая на помощь всю способность къ наслажденію жизнью, которою отъ природы онъ былъ такъ щедро надѣленъ. Это умѣнье наслаждаться онъ и рекомендуетъ, какъ утѣшеніе въ горѣ, въ одномъ изъ послѣднихъ писемъ своихъ. (См. стр. 384—385).

Молодость и увлекательность его художнической натуры ни въ чемъ не проявлялась такъ ярко, какъ въ чтеніи литературныхъ произведеній и особенно въ чтеніи

Флобера. Онъ часто говорилъ, что красота литературнаго шедевра можетъ дѣйствовать только на человѣка читающаго или въ одиночествѣ, или въ самомъ небольшомъ кругу лицъ одинаково настроенныхъ. Дѣйствительно, въ красотѣ слова, въ изяществѣ слога, фразы, есть что-то интимно-глубокое, недоступное массамъ. Красота слова требуетъ того тихаго сосредоточенія на читаемомъ, которое не дается человѣку въ публикѣ, въ массѣ себѣ подобныхъ. Масса требуетъ отъ художественнаго слова яркихъ красокъ, и не чувствуетъ оттѣнковъ и переливовъ колорита; она ждетъ сильныхъ громкихъ звуковъ, а не полутоновъ сложной гармонизаціи. Оттого въ большой публикѣ кн. Урусовъ—виртуозъ художественнаго чтенія, читалъ иногда безъ того успѣха, которымъ пользуются посредственные чтецы. Чтобы оцѣнить его талантъ, надо было слышать его тамъ, гдѣ самъ онъ весь отдавался наслажденію любимымъ авторомъ и заражалъ имъ другихъ. Трудно опредѣлить манеру его чтенія. Впрочемъ „манеры", а тѣмъ болѣе „манерности" здѣсь не было и помину. При внѣшнихъ преимуществахъ звучнаго голоса, богатаго всѣми оттѣнками интонаціи, и при знаніи всѣхъ тонкостей языка, его преклоненіе передъ авторомъ и передъ текстомъ, который для него былъ образцовымъ и непогрѣшимымъ, дѣлало его чтеніе Флобера чѣмъ-то изумительнымъ и неподражаемымъ: вы видѣли, что онъ переживалъ описываемое событіе; онъ слышалъ говорящихъ лицъ и вы слышали ихъ вмѣстѣ съ нимъ; онъ видѣлъ каждый жестъ, который онъ иногда подчеркивалъ подражательно—но рѣдко и очень слегка—онъ видѣлъ всѣ линіи изображаемаго словами пейзажа и вы все это видѣли вмѣстѣ съ нимъ. Необыкновенная сила и та суггестивная сжатость слога, которыми въ немногихъ краткихъ чертахъ заставляетъ васъ угадывать нѣчто большое, сложное и глубокое, эта краткость, отточенность слога необычайно выгодна для автора при чтеніи вслухъ: тогда только и цѣнишь всю силу его изобразительнаго таланта. Только въ чтеніи кн. Урусова, который пережи-

валъ читаемое, и воспроизводилъ такъ, что и слушатель переживалъ его вмѣстѣ съ нимъ, можно было вполнѣ оцѣнить красоту языка и стиля у Флобера. Впечатлѣніе отъ прочитаннаго было настолько сильно, что не хотѣлось думать о слышанномъ, какъ о чемъ то выдуманномъ; люди съ ихъ дѣйствіями, словами и жестами возставали какъ бы взятые изъ дѣйствительности: казалось, будто вы имѣли дѣло съ живыми людьми, которые не могли дѣйствовать иначе, чѣмъ они дѣйствуютъ у автора. Такъ сильно стоялъ чтецъ самъ подъ обаяніемъ красоты слова, такъ умѣлъ подчинить этому обаянію своихъ слушателей. Какъ часто приходилось видѣть иного скептическаго или равнодушнаго слушателя, иногда въ душѣ даже негодовавшаго на Урусовскій эстетизмъ, который сперва сопротивлялся, а потомъ тѣмъ сильнѣе поддавался очарованію и его чтенія и его разсказа. Клянетъ мысленно эстетику и чистое искусство иной „соціально"-настроенный молодой собесѣдникъ, но не возражаетъ на „возмутительныя" рѣчи, а слушаетъ, слушаетъ видимо съ невольнымъ удовольствіемъ. Да и трудно было возражать кн. Урусову или спорить со старымъ Флобертистомъ. Флоберовское поклоненіе красотѣ было культомъ и у его поклонника: возможность внесенія въ этотъ эстетизмъ какихъ-либо иныхъ началъ жизни, было для кн. Урусова совершенно немыслимо. Къ тому же у него была не только та абсолютная точка зрѣнія, которая не терпитъ возраженій, но и очень часто абсолютистическіе пріемы споровъ: вмѣсто всякаго аргумента онъ иногда пускалъ въ ходъ насмѣшливыя улыбки, презрительно-снисходительныя мины, сострадательныя гримасы, которыя заставляли молодого, неувѣреннаго въ себѣ собесѣдника раздраженно умолкнуть: зато и самъ онъ не обижался, когда въ отвѣтъ на его гримасу вырывалось иное нетерпѣливо-рѣзкое слово, звучавшее далеко неуважительно. Въ такихъ спорахъ онъ часто проявлялъ только строптивость и духъ противорѣчія, очень часто не желая съ чѣмъ нибудь согласиться потому только, что оно было сказано лицомъ ему

несимпатичнымъ. Вообще игра личныхъ симпатій и антипатій была очень сильна въ немъ, а разъ собесѣдникъ замѣчалъ ее, то у него пропадала и охота спорить. Но зато А. И. всегда подкупалъ своей искренностью: онъ охотно сознавался въ своихъ противорѣчіяхъ, въ своихъ симпатіяхъ и антипатіяхъ, а за это невольно ему прощалась та неустойчивость мысли и та капризная измѣнчивость настроеній, которая часто, я думаю, зависѣла и отъ физическихъ его недуговъ. Эта-же искренность А. И. вмѣстѣ съ подвижностью и измѣнчивостью и дѣлала его „неподражаемымъ" и „единственнымъ" въ своемъ родѣ и чтецомъ и собесѣдникомъ. Какъ часто пытались его поклонники уловить его манеру декламаціи и это удавалось въ самыхъ рѣдкихъ случаяхъ: читая стихотвореніе Боделэра, кн. Урусовъ очень рѣдко произносилъ его два раза подрядъ одинаково. И въ декламаціи стиховъ у него еще можно было уловить нѣкоторые искусственные пріемы; но чтеніе художественной прозы и разсказъ о прочитанномъ или испытанномъ былъ всегда проникнутъ той безыскусственностью, которая не поддается подражанію...

Совершенно понятно, что его частыя посѣщенія дорого цѣнились его друзьями. Не говоря уже про художественное чтеніе, доставлявшее минуты высокаго наслажденія, самая болтовня его, въ которой никогда не было пошлыхъ сплетенъ, слуховъ или пересудовъ, вносила много свѣжаго, живого и серьезнаго въ умственный обиходъ его собесѣдниковъ. Да самъ и онъ высказывался тутъ съ большой откровенностью: какъ часто подъ впечатлѣніемъ только что прочитаннаго, онъ раскрывалъ передъ нами многія сомнѣнія и противорѣчія своего внутренняго міра! Авторъ, съ которымъ онъ давно сроднился душой, волновалъ всѣ фибры его существа, и вызывалъ въ немъ тѣ чувства и мысли, которыя вырабатывались его богатымъ жизненнымъ опытомъ и которымъ онъ не стѣснялся давать волю; онъ ничего не требовалъ отъ своихъ слушателей, кромѣ сочувствія, и находилъ это сочувствіе; если не всегда встрѣчалъ

онъ полное пониманіе, то и принимались его слова безъ суда, безъ предубѣжденія, такъ же прямо и искренно какъ говорились... И какъ непохожъ былъ тотъ Урусовъ, который засиживался послѣ „отъ Флобера чтенія“ и вдругъ припоминалъ какой-нибудь случай изъ практики, какую нибудь характерную черту человѣческихъ отношеній, или излагалъ свои взгляды на дѣйствительную живую жизнь, на себя, на близкихъ,—какъ непохожъ онъ былъ на того, пресыщеннаго жуира, надушеннаго старичка-эстета, ухаживающаго за молодыми дѣвицами, какимъ многіе рисовали его себѣ! Какъ мало общаго было у него тогда съ тѣмъ пошло-легкомысленнымъ тономъ мецената, привычнаго посѣтителя кулисъ балета, и т. п., подъ видомъ котораго его иногда изображали! Кто часто слыхалъ его въ то время, знали, что и религіозныя настроенія посѣщали иногда этого язычника, поклонника внѣшней, чувственной красоты, какимъ онъ любилъ казаться, тѣ и не удивились его христіанской кончинѣ. Былъ ли то малодушный страхъ передъ конечнымъ истребленіемъ, передъ тѣмъ désagrégement final, распаденіемъ атомовъ, составляющихъ наше я, какъ онъ называлъ смерть въ стилѣ матеріалистовъ прошлаго столѣтія? Нѣтъ, я думаю, что чувства его были глубже и его фразистый матеріализмъ былъ очень поверхностнымъ,—служилъ позой, которой онъ огораживался отъ непріязненнаго заглядыванья въ его душу; быть можетъ это были пережитки стараго эпикурейскаго барства, осложненнаго нигилистическими вѣяніями и позитивизмомъ его молодыхъ годовъ, но очевидно это были не тѣ убѣжденія, которыя помогаютъ жить, помогаютъ и умереть. Умиралъ онъ вѣрующимъ, и если не праведникомъ въ христіанскомъ смыслѣ слова, то и не тѣмъ бездушнымъ эгоистомъ, играючи и припѣваючи изживающимъ себя, какимъ его считали близорукіе наблюдатели.

Послѣдній годъ или полтора, болѣзнь кн. Урусова и особенно глухота сильно сократили его общительность. Онъ могъ выступать въ Судѣ: напомню блестящую его рѣчь

по дѣлу Московскаго Кредитнаго Общества; могъ съ успѣхомъ читать рефератъ о „Гете и Пушкинѣ“, двухъ юбилеяхъ 1899 года, но наслаждаться чтеніемъ Флобера было ему уже не подъ силу. Онъ сталъ угрюмъ и замкнутъ, насколько то возможно было его экспансивной природѣ. Мрачными предчувствіями своими онъ не дѣлился ни съ кѣмъ; напротивъ, онъ говорилъ о своей болѣзни, о смертельномъ ея исходѣ легко и просто, какъ о самомъ неважномъ фактѣ. Онъ много ѣздилъ и въ Крымъ, и заграницу, для лѣченья, и въ провинцію для защиты, много читалъ и много писалъ. За этотъ годъ имъ было напечатано больше, чѣмъ за все его пребываніе въ Москвѣ. Отрѣшенный глухотою отъ внѣшняго общенія съ людьми, съ трудомъ передвигая ноги, онъ сталъ рѣдко выѣзжать изъ дому; онъ разбирался въ своей библіотекѣ, многое вспоминалъ, многое перечитывалъ, принялся было за писаніе мемуаровъ. Къ болѣзни своей—она подробно описана имъ въ письмахъ къ сестрѣ, — онъ относился съ юморомъ, долго его не покидавшимъ: „весело я разрушаюсь“ заключалъ онъ иногда, на вопросъ о здоровьѣ, перечисленіе разныхъ симптомовъ своего недуга. И дѣйствительно: съ разрушеніемъ своимъ онъ боролся, если не весело, то энергично-упорно и этимъ какъ будто обманывалъ врачей: говорили, что онъ доживетъ до осени. Но какое это было мучительное доживаніе: потерявъ сперва слухъ, онъ потомъ потерялъ обоняніе и вкусъ, грозила и потеря рѣчи. Но смерть сжалилась: онъ умеръ 16 іюля, сохранивъ до конца и рѣчь и сознаніе. Похоронить себя онъ завѣщалъ на томъ же кладбищѣ, гдѣ похоронены Мих. Сем. и Петръ Мих. Щепкины. Самъ онъ часто говорилъ о Ваганьковскомъ кладбищѣ, но т. к. Щепкины похоронены на Пятницкомъ, то тамъ же могила и кн. Урусова.

На похороны его собралось немного друзей. Былъ сырой пасмурный день, и рѣчи на могилѣ заглушались дождемъ.

Самый близкій другъ покойнаго, С. А. Андреевскій, пріѣхалъ на похороны изъ Петербурга, и сказалъ у открытой могилы рѣчь, которую потомъ напечаталъ въ Новомъ Времени. Позволяю себѣ привести ее цѣликомъ.

„Благодарю васъ, товарищи, что вы предоставили мнѣ говорить первымъ, какъ ближайшему другу покойнаго. Не думалъ я, чтобы мнѣ когда бы то ни было пришлось произносить надгробное слово, но вотъ что случилось.

Когда послѣ кончины Жуковскаго я выходилъ изъ его квартиры, многіе меня спрашивали: буду ли я произносить рѣчь? Я возразилъ, что совсѣмъ не понимаю надгробнаго краснорѣчія, что передъ величіемъ смерти невольно уста нѣмѣютъ... Со мной согласился бывшій тутъ же Куперникъ. Онъ сказалъ „Дѣйствительно, можно было бы говорить, если бы только знать, что слѣдуетъ въ такомъ случаѣ сказать“! Всю эту бесѣду я однажды передалъ Урусову. Онъ высказалъ: „Да. Но было бы какъ-то странно и грустно, если бы надъ человѣкомъ, вся жизнь котораго была посвящена слову, не было сказано ни слова!“ По выраженію его глазъ (Урусовъ былъ уже тогда больной) я понялъ, что онъ завѣщаетъ мнѣ исполнить эту обязанность...

И вотъ, я подавляю личныя чувства, сознавая важность настоящей минуты.

Мы теряемъ лицо историческое — изъ тѣхъ, которыя остаются жить среди людей и послѣ своей смерти. Въ истекающемъ столѣтіи Урусовъ оставилъ свое незабвенное имя, какъ воплощеніе могучаго русскаго дарованія. Но исторія имѣетъ свои непроходимые туманы, въ которыхъ всякая тропа можетъ затеряться для потомства, если современники въ должную минуту не освѣтятъ этой тропы факелами. Такіе факелы должны мы, собравшіеся здѣсь, зажечь теперь надъ этой могилой. Мы должны освѣтить личность покойнаго и сказать вовсеуслышаніе, что мы хоронимъ *первоздателя русской уголовной защиты*, — перваго защитника подсудимаго въ реформированной Россіи. Другія громкія имена возникали въ адвокатурѣ и раньше

Урусова, и послѣ него. Такъ, прежде него выступили Спасовичъ и Лохвицкій. Спасовича на его юбилеѣ я назвалъ первымъ по Петербургу и первымъ по главенству въ адвокатурѣ, потому что этотъ человѣкъ съ своимъ талантомъ, обширнымъ умомъ, образованностью, трудолюбіемъ, и количествомъ всего имъ сдѣланнаго, рѣшительно подавляетъ всѣхъ. Но и Спасовичъ и Лохвицкій, взявшись за судебное дѣло послѣ каѳедры, остались немножко профессорами и на трибунѣ. На нашей же трибунѣ первый типъ защитника подсудимаго созданъ Урусовымъ. Онъ первый далъ образецъ защиты живой, человѣческой, общедоступной. Мы помнимъ, какимъ дѣйствительно весеннимъ громомъ пронеслось надъ Россіей это молодое, чудесное имя. Каждая фраза, сказанная Урусовымъ, читалась въ газетахъ какъ новое слово. Онъ былъ не изъ тѣхъ адвокатовъ, которые дѣлаются извѣстными только тогда, когда попадаютъ въ громкое дѣло. Нѣтъ, онъ былъ изъ тѣхъ, которые самое заурядное дѣло обращали въ знаменитое однимъ только прикосновеніемъ своего таланта. Оригинальный умъ, изящное слово, дивный голосъ, природная ораторская сила, смѣлый, громкій протестъ за каждое нарушеніе правъ защиты, плѣнительная шутливость, тонкое остроуміе—все это были такія свойства, передъ которыми сразу преклонились и заурядная публика, и самые взыскательные цѣнители.

Слава твоему имени, Александръ Ивановичъ! Слава Москвѣ, подарившей тебя Россіи!

Я кончилъ рѣчь... Но развѣ это надгробное слово? Надгробное слово осталось у меня въ сердцѣ, застряло въ душѣ и никогда изъ нея не вылетитъ.

Прощай, мой милый! Когда я къ тебѣ обращаюсь, то мнѣ кажется, что ты еще живъ, потому что еще задолго до твоей смерти мой голосъ уже не достигалъ до твоего слуха, какъ и теперь; съ тобой приходилось разговаривать записками. Разница только въ томъ, что теперь ни на голосъ, ни на записку ты уже никогда ничего не отвѣтишь...

У Пушкина есть стихотвореніе „Эхо“, выражающее глубокую трагедію человѣчества. Въ немъ говорится, что эхо отзывается на всѣ явленія въ жизни природы, но само уже не получаетъ отъ природы никакого отзыва. „Таковъ—сказано въ концѣ—и поэтъ“. Ты всегда любилъ поэтовъ, искалъ ихъ общества... Знай же, что никогда такое множество, такая толпа поэтовъ не окружаетъ человѣка, какъ именно въ ту минуту, когда его опускаютъ въ могилу! Теперь всѣ здѣсь собравшіеся, всѣ мы — поэты, потому что каждый изъ насъ вмѣстѣ съ поэтомъ мучительно сознаетъ безотвѣтность для душъ нашихъ той великой природы, которая тебя взяла и не вернетъ никогда...

Прощай!“

Въ одной изъ папокъ, гдѣ собраны газетныя статьи кн. Урусова, на внутренней сторонѣ находимъ собственноручную его надпись: „Собраны для Саши ради любопытства объ отцѣ. 14 марта 1883 г.“—„Fuit homo.“—„Люби печать“. Эти немногія слова очень содержательны. Въ нихъ и сила родительскаго чувства: Александръ Ивановичъ съ страстною нѣжностью любилъ сына, и естественно желалъ жить въ его памяти не только какъ отецъ, но и какъ человѣкъ, которому ничто человѣческое не было чуждо; fuit homo, т. е. былъ и теперь нѣтъ его, а память о немъ остается. Тутъ-же и любовь къ слову, къ печати, какъ замѣнѣ того живого слова—которое было призваніемъ кн. Урусова. Художникъ живого слова, ораторъ-публицистъ не нашелъ того общественно-политическаго примѣненія своимъ талантамъ, о которомъ мечтало его поколѣніе. Умственная жизнь его распалась на двое: профессію и любительство; въ профессіи онъ остался вѣренъ тѣмъ культурнымъ началамъ законности, гуманности, терпимости, уваженія къ личности и любви къ образованію, которыя внесены въ жизнь эпохою реформъ. Въ литературѣ онъ держался того культа красоты, который отдѣляетъ поэзію въ особую отъ дѣйствительности область, вѣчную, безсмерт-

ную, гдѣ поэты-художники уподобляются божеству, ибо творятъ жизнь изъ своей мечты. Этотъ культъ искусства отрѣшеннаго отъ нравственныхъ и общественныхъ задачъ, перенесеннаго за предѣлы временнаго, преходящаго, сближаетъ кн. Урусова съ декадентами.

Нигилистъ для многихъ свидѣтелей его молодости, декадентъ для позднѣйшихъ поколѣній, кн. Урусовъ является тою богатою натурою, которая беретъ отъ своего времени все истинно-цѣнное въ немъ. Идетъ онъ нетолько наравнѣ съ своимъ вѣкомъ, какъ человѣкъ неустанной работы мысли, но впереди другихъ, какъ умъ независимый, какъ личность — несмотря на противорѣчія природы и судьбы—цѣльная. Въ этой судьбѣ—яркая страница истекшаго столѣтія, съ его высокой культурой, привитою къ дворянскимъ традиціямъ, пережиткамъ крѣпостного права, съ его подъемомъ гуманныхъ демократическихъ стремленій въ эпоху реформъ,—и съ тѣмъ появленіемъ хмурыхъ людей, сѣрыхъ будней жизни, которымъ ознаменовались несбывшіяся надежды общества. Мысль уходила въ дѣло, въ технику, въ ремесло, въ профессіональные интересы; надежды и мечты— въ культъ творческой индивидуальности. Не раздѣляя крайностей новаго индивидуализма, кн. Урусовъ самъ былъ тою крупною, яркою индивидуальностью, значеніе и размѣры которой трудно поддаются опредѣленнію тѣхъ, кто близко видѣлъ эту жизнь. Если въ литературѣ и въ жизни онъ не создалъ ничего крупнаго, что пріобщило бы его тому безсмертію, въ которомъ онъ видѣлъ лучшую цѣль жизни, то это не его вина: въ натурѣ, надорванной, и болѣзнью и опытомъ жизни, не было той твердости и устойчивости, которая объединяетъ общей цѣлью всѣ мелочи существованія, не было и того, что подчиняетъ людей, даетъ надъ ними власть. Въ немъ была иная сила. Она не покоряла, а плѣняла: „блистательный кн. Урусовъ“ былъ—плѣнительный человѣкъ. Онъ до старости сохранилъ ту обаятельность блестящихъ дарованій, которая обыкновенно исчезаетъ съ молодостью. Это была—

обаятельность изящной природы утонченной и образованіемъ, и опытомъ жизни,—обаятельность пылкой натуры, открытой для всѣхъ впечатлѣній внѣшняго міра и особенно для свѣтлыхъ, радостныхъ его сторонъ. Не вынесши изъ своего опыта ни горечи, ни злобы, ни цинизма, ни лицемѣрія, онъ сохранилъ способность юношески увлекаться, но сохранилъ вмѣстѣ съ этимъ и ту ясность мысли, искренность и правдивость чувства, которая обезоруживала самыхъ строгихъ судей его увлеченій. А его самого это дѣлало строгимъ къ себѣ и снисходительнымъ къ другимъ. Оттого при выдающемся умѣ и характерѣ онъ никогда не подавлялъ никого своимъ превосходствомъ. Напротивъ, въ его присутствіи всѣ себя чувствовали легко и свободно: столько онъ вносилъ съ собою интереса къ людямъ и безпритязательной любви къ жизни. Онъ любилъ нравиться, любилъ быть любимымъ, и не боялся оттого казаться малодушнымъ и легкомысленнымъ. Онъ былъ глубже, серьезнѣе, лучше, чѣмъ его многіе считали. Его жизнерадостность была полна энергіи и мужества. Потому, любя жизнь, онъ не боялся смерти, и принялъ конецъ своего долгаго, мучительнаго умиранья съ такою твердостью и ясностью духа, какая доступна для немногихъ. Онъ умеръ не для всѣхъ: онъ живъ еще, живъ какъ счастливая память о чемъ то сильномъ, яркомъ, единственномъ, о чемъ то свѣтломъ и свободномъ, что никогда не умретъ въ душѣ тѣхъ, кто могъ узнать его при жизни и желалъ бы теперь закрѣпить эту память въ сознаніи родного общества.

А. Андреева.

20 февраля 1903 г.—18 декабря 1906 г.

GF BINDING CO
'ARK

Stanford University Libraries
3 6105 010 598 535

C17
078
190
v.2

STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES
CECIL H. GREEN LIBRARY
STANFORD, CALIFORNIA 94305-6004
(415) 723-1493

All books may be recalled after 7 days

DATE DUE

APR 25 1995

APR 3 0 1995